

АЛЕК- САНДР ДЮМА



АНЖ ПИТУ





Александр Дюма

Анж Питу



С. – Петербург

1992

ББК
84 ФР
Д 105

Перевод с французского
Е. Баевской, И. Русецкого и Л. Цывьяна
под редакцией *Ю. Корнеева*
Предисловие *В. Балахонова*
Художник *Э. Кузнецов*

Первое издание нового литературного перевода
исторического романа известного французского писателя,
продолжение романа "Ожерелье королевы".

Литературно-художественное издание

А. ДЮМА "АНЖ ПИТУ"

Ответственный редактор
Л. Б. Кандель

Корректор
Е. Н. Серпокрылова

Набор и верстка выполнены на персональных ЭВМ
МНТК "Принт"

Сдано в набор 01.07.91. Подписано к печати 10.10.91. Формат 84×108/32.
Гарнитура «Балтика». Печать высокая. Уч.-изд. л. 30,5. Тираж 200 000 экз.
Заказ № 1751.

Издательство «ЛИК» 194354, С.-Петербург, а/я 187.
Отпечатано с диапозитивов в объединении «Печатный Двор».
197110, Санкт-Петербург, П-110, Чкаловский пр., 15.

ISBN 5—87188—003—7

© Малое предприятие ЛИК,
С.-Петербург, 1992.
Перевод, вступительная статья,
оформление.

Предисловие

Исторический роман, как и другие виды романа вообще, знал за время своего почти двухсотлетнего (если мы согласимся считать его "отцом" Вальтера Скотта) существования и моменты всеобщего к нему интереса и периоды, когда сама возможность воссоздания истории средствами художественного произведения ставилась под сомнение, а писатель как бы утрачивал право писать о том, участником или свидетелем чего он сам не был. Именно исторический роман—и в этом нет никакой *игры словами*—возможно, более других произведений литературы подвержен влиянию Истории, ее событий.

Потребность понять, что же принесла человечеству французская революция XVIII в. и последовавшие за ней наполеоновские войны, которые потрясли Европу и перекроили ее политическую карту, была одной, хотя, разумеется, не единственной причиной появления исторического романа в точном смысле слова, причем совершенно не обязательно, чтобы роман обращался только к этим историческим событиям: так, действие в "Айвенго" В. Скотта относится ко времени после завоевания Англии норманнами (XII—XIII вв), а его же "Квентин Дорвард"—ко времени борьбы герцога Бургундского с королем Франции Людовиком XI (XV в.).

Читателям было интересно все: одежда, утварь, вооружение, особенности быта, обычаи и нравы людей ушедших в прошлое эпох и то, какое место занимали они в происходящих событиях. Героем романов В. Скотта, как мы знаем, было чаще всего *частное* лицо, человек, в силу различных обстоятельств оказавшийся где-то между противоборствующими силами. Реальные исторические персонажи—короли и королевы, герцоги и бароны, полководцы и кардиналы оставались в романе, как правило, на втором плане.

Исторический роман во Франции мог стать и произведением, в котором прошлое помогало понять настоящее, его жгучие политические и социальные проблемы. Один из характер-

ных в этом отношении примеров—роман А. де Виньи "Сен-Мар" (1826). Весьма актуальная в годы Французской революции, оставшаяся актуальной и в период Реставрации проблема возможности и законности использования иностранного военного вмешательства в государственные дела Франции здесь решается на материале XVII в., борьбы старого дворянства против абсолютной монархической власти.

В 30—40-е годы интерес к истории заметно упал. Французская литература совершала медленный, но отчетливо заметный поворот к изображению современности, в которой писатели открывали новые, ранее неизвестные пласты жизни. В литературе периоды Июльской монархии социальные вопросы оттесняли историю на задний план, большое распространение получила так называемая "народная" литература, адресованная "простому" люду; она не чуждалась истории, точнее—ее суррогата, но использовала ее как некий фон, на котором развевались похождения выдуманных автором персонажей. "История" давала широкий простор писательской фантазии, по ней, как по канве, вышивались захватывающие воображение читателя приключения.

Именно в эти годы возник особый жанр романа с характерными для него особенностями, жанр романа-фельетона, публиковавшегося из номера в номер в периодической печати; тогда появилась и известная до сих пор "формула"—*продолжение следует*: читателю, желающему узнать, что же все-таки произошло с полюбившимся ему героем, ничего другого не оставалось, как покупать очередные номера газеты.

В огромной массе "народной" или близкой к ней литературы были и давно канувшие в Лету романы-однодневки, и произведения, дошедшие до наших дней. Существовали и просто развлекательные романы-фельетоны, и романы, ставившие острые социальные вопросы,—в этом отношении достаточно вспомнить хотя бы "Парижские тайны" Э. Сю, появившиеся в начале 40-х годов. Были и романы, авторы которых не пренебрегали историей, конечно, в определенных, весьма узких пределах. Бесспорно одно: лучшие из них становились своеобразными пропагандистами исторических знаний, возбуждали у читателей интерес к прошлому.

Установление отдаленных аналогий в истории литературы далеко не всегда благодарное дело, особенно тогда, когда мы говорим о произведениях, отделенных друг от друга многими десятилетиями, но, рассуждая о том, какой след в сознании читателей оставили произведения французских романистов, обращавшихся к истории в середине прошлого века, таких, как П. Феваль, Э. Сю, А. Дюма, невольно вспоминаешь и имя

В. Пикуля: его романы многим помогли заинтересоваться отечественной Историей, а не только историями, всерьез задуматься над своим прошлым.

А. Дюма... Вот мы и произнесли это имя, которому, собственно говоря, и должны быть посвящены несколько вступительных страниц к его роману "Анж Питу". О жизни великого романиста мы, хотя и очень кратко, уже говорили в небольшой статье, предваряющей роман "Ожерелье королевы". Не будем возвращаться к ней, но напомним, что "Анж Питу"—лишь одна (третья по счету) часть обширной тетралогии А. Дюма "Записки врача".

В первой части, романе "Жозеф Бальзамо", действие заканчивалось в 1774 г. Главным ее персонажем был знаменитый в свое время авантюрист, алхимик и врачеватель, называвший себя графом Калиостро. С графом мы встретимся через 10 лет в романе "Ожерелье королевы", охватывающем небольшой отрезок времени—1774—1776 годы и рассказывающем о трагикомической истории попытки похищения драгоценного колье, которое должно было украшать благородную грудь королевы Франции Марии Антуанетты.

Оба романа связаны между собой и с последующими романами—"Анж Питу" и "Графиня де Шарни"—не только несколькими общими персонажами как реальными историческими лицами, так и созданными воображением писателя. У Дюма есть своя, спорная, скорее всего не выдерживающая строгой научной критики, концепция истории Франции последней четверти XVIII в. Граф Калиостро, как мы узнаем с первых же страниц романа "Жозеф Бальзамо", был, помимо всего прочего, активным членом тайных обществ, имевших свои отделения в ряде европейских стран. Общества эти ставили перед собой задачу устранения во Франции королевской династии. История с ожерельем, задуманная у Дюма (вопреки исторической точности) графом Калиостро, должна была скомпрометировать и королеву, и королевский двор с их вызывающей роскошью и непомерными расходами, тяжелым бременем ложившимися на плечи французских крестьян, ремесленников, мелких буржуа.

Франкмасон Калиостро, франкмасонские ложи в изображении Дюма становились едва ли не главной силой, подготовившей буржуазную революцию. И все-таки, работая над романами, Дюма вносил существенные коррективы в свои взгляды на происхождение, цели и движущие силы революции. Среди подлинных исторических лиц в этих романах появляется, в частности, Ж. Ж. Руссо—один из идеологов приближающейся революции, роль которого Дюма, хотя и не до конца,

все же понимал. У него Руссо—учитель и идейный наставник юного сироты Жильбера, *простолюдина*, бывшего садовника барона Таверне. Жильбер, следуя за покорившей его сердце дочерью барона Андреа, попадает в Париж, где ему удается реализовать свои далеко идущие честолюбивые замыслы.

В "Жозефе Балзамо" мы встречаемся также с *другом народа* Маратом, а в "Ожерелье королевы"—и с Робеспьером. В романе же "Анж Питу" на сцену выходит сам народ Франции, и это, как мы увидим,—важнейшая особенность романа, отличающая его от первых частей "Записок врача".

Протагонист гражданской исторической драмы, воссоздаваемой большим художником,—монархия и народ.

Все, что происходит в романе, довольно точно укладывается в ограниченное время—июль-октябрь 1789 г., иначе говоря—в самый ранний период революции. Два центральных эпизода определяют стремительно развивающееся в романе действие и поведение всех его героев. Это взятие Бастилии и события, произошедшие в октябре, главным действующим лицом в которых был народ.

Отметим еще одно обстоятельство: если история с ожерельем и все то, что связано с графом Калиостро, ограничено почти исключительно Парижем и Версалем, резиденцией короля, то в "Анж Питу" значительное место уделено провинции и ее обитателям. Франция конца XVIII в. являлась страной, в которой из 26 миллионов жителей 22 миллиона были крестьянами, и позиция сельского населения оказывала значительное воздействие на ход исторических событий.

Дюма, знакомый с трудами его современника, выдающегося историка Ж. Мишле, разделял с автором "Истории революции" мысль о том, что в первые месяцы революции французский народ, все его классы и социальные группы оказались едиными в борьбе против монархии, против феодалов. Среди тех, кто поднялся на штурм Бастилий старого режима, было немало и крестьян. Сам Анж Питу—крестьянский парень, как и папаша Бийо, тоже крестьянин, правда, зажиточный. Но вот что любопытно: как только действие в романе переходит в провинцию, повествование приобретает какой-то бурлескный, почти комедийный оттенок, контрастирующий с тем "эпическим" началом, которое писатель подчеркивает, изображая события в Париже. Этому можно было бы найти не одно объяснение; возможно, определенную роль здесь сыграло чуть ироническое отношение Дюма к своему деревенскому прошлому. Историки литературы почему-то прошли мимо очевидных автобиографических элементов в "Анж Питу", а их немало, как немало и моментов, напоминающих некоторые эпизоды из жизни отца писателя.

Обратимся, однако, к наиболее важным историческим событиям, чтобы помочь читателю разобраться в том, что же происходит в произведении Дюма, в том, насколько близко он подходит к исторической правде. Известно, что писатель много и внимательно занимался изучением писем и воспоминаний современников революции, широко использовал архивные материалы, подлинные документы эпохи, что, конечно, не мешало ему временами перекраивать историю по своему усмотрению, изменяя, в частности, хронологическую последовательность событий, подчиняя действие развитию *романтической* интриги. В целом же, рядом с грубыми ошибками, произвольной трактовкой роли тех или иных исторических персонажей в романе реалистически изображены нравы эпохи, точно воспроизведены многие детали жизни и быта французов того времени.

Так что же происходило в стране накануне революции и в описываемые в романе дни?

Следует сказать, что писатель, уделив значительное место картинам провинциального сельского быта, в общем, обошел вниманием бедственное положение, в котором находилась подавляющая часть французского крестьянства. Конкретные стороны социальной жизни деревни (как, впрочем, и города) его, в отличие от современных ему писателей-реалистов, практически не интересовали, но тем самым мотивы прихода к революции Питу и Бийо, как и многих других, оказывались менее убедительными и понятными. Конечно, жизнь в Арамоне, как ее изображает Дюма, ничем не напоминает идиллические картины крестьянского быта, не затронутого городской цивилизацией, рисуемые в некоторых романах XVIII в., но он еще далек от того, как показана сельская жизнь, например, в "Крестьянах" Бальзака или даже у Диккенса в его "Повести о двух городах". Голод и нищета были уделом крестьянства, разоряемого непосильными налогами, беззаконием богатых землевладельцев, частыми неурожаями.

Тяжелые условия труда (к конкретному изображению которого французская литература должна была проделать еще долгий путь) вызывали волнения трудящихся и в городе, и в деревне. Росло недовольство населения. Правителям Франции не удавалось привести в порядок финансы страны, королевский двор не мог найти выход из углубляющегося с каждым годом кризиса. Безрезультативными оказались и меры, предпринимавшиеся известным финансистом банкиром Неккером. В 1788 г. король вынужден был дать согласие на созыв Генеральных штатов, в июне 1789 г. провозгласивших себя Национальным, позже—Учредительным собранием, целью которого стала выработка ограничивающей королевскую власть конституции.

Увольнение Неккера (кстати, появляющегося, как и его дочь, г-жа де Сталь, в романе в качестве эпизодического персонажа), упрекавшего королевский двор за расточительство, вызвало взрыв народного гнева. Парижане штурмом овладели Бастилией, крепостью, символизирующей старый феодальный мир. Слово символ в данном случае более уместно, чем какое бы то ни было другое. Бастилия в конце XVIII в. не была той неприступной крепостью, героический штурм которой воспевали в прозе и в стихах (вспомним и прекрасную пьесу Р. Роллана "14 июля"); защищавший ее гарнизон состоял всего из нескольких десятков солдат. Рисуя картину взятия Бастилии, Дюма следовал существовавшей в художественной литературе и в историографии традиции и был, в конечном счете, прав: то, что произошло на восточной окраине Парижа 14 июля 1789 г., явилось началом революции. Народ почувствовал свою силу, обрел веру в возможность изменить жизнь к лучшему, в народном сознании этот эпизод навсегда остался символом освобождения. В своей "Социалистической истории Французской революции" Ж. Жорес писал: "Мрачный и печальный замок, где томилось столько политических узников, как простолудинов, так и дворян, который, возвышаясь над беспокойным Сент-Антуанским предместьем, преграждал путь к жизни и радости, был отвратителен Парижу, всему Парижу".

Живописуя картины и народного гнева, и народного торжества, последовавшего за взятием Бастилии, Дюма в целом придерживался исторической правды. К борцам за свободу, подлинным революционерам вроде Бийо, готовым жертвовать собой ради справедливого дела, примешалась, как это не раз бывало в истории, городская чернь (в том числе и часть парижской буржуазии), без суда и следствия расправлявшаяся с противниками революции. Так были убиты купеческий старшина Флессель, интендант Бертье, государственный советник Фулон. Фулона обезглавили и голову его, посаженную на пикет, таскали по улицам.

4 августа 1789 г. Учредительное собрание приняло ряд важных решений, провозгласив, в частности, отмену феодализма, многих старых феодальных прав и привилегий дворянства. Монархия, однако, не собиралась сдавать позиции без боя. Король заявил о своем несогласии с решениями Собрания; архиепископу Арльскому он писал: "Я никогда не соглашусь на то, чтобы ограбили мое духовенство, мое дворянство; я никогда не санкционирую декреты, ведущие к их разорению, ибо тогда французский народ в один прекрасный день обвинит меня в несправедливости и слабости".

У королевской резиденции в Версале сосредоточивались

верные королю войска: Фландрский полк, полк Монморанси. В самом Версале происходили контрреволюционные манифестации. Одной из них стал организованный в Оперном зале версальского дворца описанный Дюма банкет для гвардии, которую приветствовал весь "цвет" французской аристократии—принцессы, герцогини, маркизы. Энтузиазм роялистов вызвало появление на банкете Марии Антуанетты, а затем и короля.

Над революцией нависла опасность. В столице положение осложнялось тем, что на нее надвигался голод. Были закрыты десятки лавок, за хлебом выстраивались очереди. Страх остаться без хлеба охватил и значительную часть провинции. Жители деревень сопротивлялись отправке хлеба в Париж, обозы с зерном нередко задерживались в городах, лежавших на пути к столице.

Возмущение парижской бедноты вылилось 5 октября в поход на Версаль; участвовали в нем преимущественно женщины—работницы городских предместий. "Это были,—писал Жорес, возражая реакционным историкам, которые хотели бы представить участниц похода свирепыми, разъяренными фуриями,—добрые и доблестные женщины, их материнские сердца невыносимо страдали от жалоб голодных детей". Уже на следующий день, 6 октября, Людовик XVI, сопровождаемый толпами народа, солдатами и королевских войск и Национальной гвардии, выехал в Париж. Возможно, читателю будет небезынтересно сопоставить то, как повествует об этом Дюма, с тем, как событие описывается в цитированной выше работе Жореса: "Впереди шествовала длинная процессия женщин, которые несли ветви деревьев, уже тронутые красками осени; пушки были замаскированы зеленой листвой; на склоне дня, около 6 часов вечера, король въехал в Париж. Дома были иллюминированы, и в этих причудливых сумерках, в этом смешении пышности и грусти Революция шагала, полная энтузиазма, но недостаточно уверенная в себе; народ приветствовал короля, а король, словно поднятый волной этого бескрайнего моря, плыл, как во сне, к туманному горизонту. Причудливый и смутный час, когда поражение королевской власти выглядело, как ее торжество, когда Париж, наполовину победивший, наполовину обманутый, был опьянен бурной радостью и забыл о вчерашних кознях".

Изображая штурм Бастилии, ликование парижан, затем—октябрьские события, Дюма сделал большой и существенный для французской литературы шаг. Едва ли не впервые *масса народа*, находящиеся в движении людские толпы нашли отражение на страницах художественного произведения. До

него нечто подобное пытались сделать П. Мериме в его драматической хронике "Жакерия" и—в романтическом духе, но не обращаясь к реальному историческому событию—В. Гюго в "Соборе Парижской богородицы". На ярких, динамичных картинах, нарисованных Дюма, сказались и общее движение современной писателю реалистической литературы, и его собственный опыт участника революции 1848 г. Вспомним и то, что Дюма был опытным драматургом, прекрасно знающим требования, предъявляемые к театральному зрелищу, и, конечно, на массовых сценах романа есть некоторый налет эффектной театральности. Дюма удается показать толпу, массу, а в ней, одновременно,—отдельных людей, создать поистине живое, впечатляющее зрелище.

Дюма создавал особый тип романа. Исторического? Да, и об этом мы уже говорили. Романа любовного? Разумеется, но о любви в "Анж Питу" стоит сказать несколько слов. В самом деле, в типичном "классическом" романе в центре—главный герой (или героиня) и его борьба за свое чувство: Жюльен Сорель стремится завоевать любовь госпожи де Реналь, затем—Матильды де ла Моль; сердечные дела других персонажей не интересуют ни Стендаля, ни его читателей. Эсмеральда любит (ненавидит) Квазимодо и Клод Фролло, сама Эсмеральда отдает свое сердце прекрасному Фебу де Шатоперу—вот, в целом, и все в романе Гюго по части любви: писателя интересовали совсем другие вопросы. У Дюма в этом отношении нет единого центра, каким были у Стендаля или Бальзака Жюльен Сорель, Эсмеральда, Фабрицио дель Донго или Эжени Гранде. Сам Анж Питу влюблен в Катрин Бийо, но у нее—роман с благородным Изидором де Шарни, брат которого Оливье пылает возвышенной страстью к Марии Антуанетте, но должен любить ангельски чистую Андреа Таверне, которой преступно овладевает Жильбер. Все эти истории в каком-то смысле "равновелики", хотя участники их принадлежат к совершенно различным общественным слоям, и художественные "стили", употребляемые в том или другом случае романистом, тоже различны. Любовь Оливье де Шарни возвышенна и платонична; любовь Питу—чувство вполне земное, хотя он сам и сравнивает себя со "скромной фиалкой, источающей незримый аромат": комический элемент, характерный для изображения в романе деревенской жизни, присутствует и здесь, но к бедному Питу мы еще вернемся.

Психологическое обоснование поведения персонажей—не самая сильная сторона романа Дюма. Его герои в большинстве случаев подчиняются в своих поступках прежде всего законам созданного писателем жанра романа, в котором причудливым

образом сочетается история и вымысел, далеко не всегда состоящие в дружеских отношениях, как далеко не всегда романтическая интрига позволяет Дюма оставаться верным исторической правде. Герои романа ведут себя так, как положено вести себя людям именно их положения, звания, состояния в определенных случаях, индивидуальные особенности характера играют второстепенную роль. Это касается прежде всего аристократов, в том числе и королевской четы. Так, Мария Антуанетта мало чем отличается от других коронованных особ, каких немало в романах Дюма, хотя и появляется здесь в двух ипостасях—как королева и как любящая или ненавидящая женщина, но и в том и в другом случае она, как и ее придворные, как Андреа Таверне, следует и некоему устойчивому кодексу правил поведения и условиям игры, определенным в "любовно-историческом" романе Дюма. Дюма многому научился у Бальзака и Стендаля (об этой стороне художественной практики писателя в научной литературе говорилось, к сожалению, еще очень мало), но изображение тонкостей развития чувства, "кристаллизации" любви, страсти ему не давалось.

Пожалуй, помимо Анжа Питу, наиболее живого, свободно от "правил", повинующегося простым и понятным инстинктам, обстоятельствам, в которые он попадает, персонажа, унаследовавшего, быть может, что-то от героев плутовского романа, только Жильбер проходит через своего рода эволюцию. Весьма важно то, что возвышение Жильбера в романе становится как бы иллюстрацией возвышения простого человека, взламывающего—не всегда законным, честным способом—словные перегородки. Отвергнутый любимой им Андреа, он становится отцом ее ребенка; бедный сирота, находящийся в услужении у барона Таверне, он—философ, ученик Руссо, "теоретик революции"; участник войны Соединенных Штатов Америки за независимость, Жильбер—один из советников короля, проповедующий примирение народа и монархии, он "запросто" беседует с Неккером и с г-жой де Сталь.

Для Дюма Революция—момент рождения нового мира, вместе с которым рождается новый человек, однако его отношение к конечным результатам революции совсем неоднозначно. Конечно, Жильбер—не alter ego писателя, на него Дюма смотрит как бы со стороны, но именно ему он доверяет высказать в общем пессимистический взгляд на ход истории, с которым готов согласиться и сам.

Роман-фельетон чаще всего делился на главы, которые заканчивались (точнее—не заканчивались) в драматический для кого-нибудь из его героев момент, а потому, как мы говорили

уже в самом начале, читателю оставалось только ждать следующего номера газеты, где роман публиковался. Вместе с тем повествование в целом должно было быть завершено: герой погибал или торжествовал над своими врагами, женился или навсегда расставался с возлюбленной. Как бы там ни было, история заканчивалась (слава богу, большей частью благополучно). А вот в романе "Анж Питу" происходит нечто неожиданное и непонятное.

Отважный начальник арамонской Национальной гвардии после пирушки с друзьями и их подругами в изрядном подпитии возвращается домой, предаваясь возвышенным мыслям о прекрасной Катрин, о своем и ее поведении, и на узкой тропинке, ведущей к ферме, натывается на бездыханное, как ему кажется, тело девушки. Так мы и застаем его на последней странице романа держащим на коленях лишившуюся чувств Катрин. Что случилось с бедной девушкой, знаем мы, но не знает Питу, но ни он, ни мы не знаем, что же случилось дальше с героями романа. Зато нам известно, что произошло с самим романом.

Поделится своими сведениями с читателями. Роман "Анж Питу", как и другие части "Записок врача", публиковался на протяжении нескольких месяцев на страницах газеты "Ла Пресс", которую издавал Э. де Жирарден, журналист не самых прогрессивных убеждений. Роман-фельетон со своим интересом к социальным проблемам не вызывал сочувствия властей и республики и II Империи. В посвященной "народной" литературе главе "Литературной истории Франции" приводится любопытная выдержка из документа 1854 г. Императорский прокурор писал в связи с готовящейся публикацией романа Э. Сю "Семья Жуффруа": "Автор, как представляется, поставил целью стимулировать ненависть и чувство зависти низших классов к классу состоятельных людей общества". Прямо запретить крамольные романы, рассчитанные на широкий круг читателей, власти не решались, но еще в июле 1851 г. была введена такса на художественные произведения, публикуемые в периодической печати. Из осторожности и не желая нести дополнительные расходы, Э. де Жирарден "рекомендовал" Дюма воздержаться от дальнейшего печатания романа "Анж Питу", который и оборвался, как говорится, на самом интересном месте. Случай еще небывалый в истории романа.

Впрочем, тот, кто заинтересуется судьбой героев Дюма, может заглянуть в следующий роман тетралогии—"Графиня де Шарни": ему все-таки удалось появиться на свет в 1852—55 гг.

В. Е. Балахонов

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. Глава, в которой читатель знакомится с героем этой истории и с местом, где тот явился на свет

На границе Пикардии и Суассоне, на том куске французской земли, которая под названием Иль-де-Франс составляет часть давнего родового домена наших королей, посреди огромного леса площадью в пятьдесят тысяч арпанов*, что тянется полумесяцем с севера на юг, стоит в сени большого парка, названного Франциском I и Генрихом II**, городок Виллер-Котре; он прославился тем, что в нем родился Шарль Альбер Демустье***, который в ту пору, когда началась эта наша история, писал там "Письма к Эмили о мифологии" к вящей радости прекрасных дам, с упоением зачитывавшихся ими по мере выхода в свет.

Добавим для полноты поэтической репутации города, которому его недоброжелатели, невзирая на королевский замок и две тысячи четыреста жителей, отказывают в этом звании и упрямо норовят именовать поселком, так вот, добавим, что он находится в двух лье от Лаферте-Милона, где родился Расин****, и в восьми лье от Шато-Тьерри, где родился Лафонтен*****.

Добавим еще, что мать автора "Британика" и "Гофолия" происходит из Виллер-Котре.

Ну а теперь обратимся к королевскому замку и двум тысячам четверемстам горожанам.

* Арпан—старинная французская мера земли (от 0,3 до 0,5 га).

** Франциск I (1494—1547) и его сын Генрих II (1519—1559)—французские короли династии Валуа (здесь и далее прим. перев.).

*** Демустье, Шарль Альбер (1760—1801)—французский писатель. Его "Письма к Эмили о мифологии", вышедшие с 1786 по 1798 г., пользовались большой популярностью. Кстати, сам А. Дюма тоже родился в Виллер-Котре.

**** Расин, Жан (1639—1699)—французский драматург, один из крупнейших представителей классицизма. Ему принадлежат упоминающиеся ниже трагедии "Британик" и "Гофолия".

***** Лафонтен, Жан де (1621—1695)—французский поэт, автор всемирно известных "Басен".

Королевский замок, начатый Франциском I, чьих саламандр он хранит на стенах, и достроенный Генрихом II, чей вензель, переплетенный с вензелем Екатерины Медичи* и украшенный тремя полумесяцами Дианы де Пуатье**, его украшает, так вот, этот замок после того, как он служил убежищем любви короля-рыцаря и г-жи Д'Этамп***, а затем любви Луи Филиппа Орлеанского**** и красавицы г-жи де Монтесон, оставался со дня смерти герцога Луи Филиппа практически необитаемым; его сын Филипп Орлеанский, взявший себе впоследствии прозвище Эгалите, низвел замок из ранга резиденции принца до положения простого места сбора участников охот.

Как известно, замок и лес Виллер-Котре являлся частью наследственного удела, дарованного Людовиком XIV своему брату Месье*****, когда младший сын Анны Австрийской женился на сестре Карла II Генриетте Английской.

Что же касается двух тысяч четырехсот жителей, о которых мы пообещали читателю сказать несколько слов, то они, как и во всех поселениях, где соединяются две тысячи четверста человек, являли собой сообщество, состоящее из:

1. Нескольких дворян, которые проводили лето в окрестностях замка, а зиму в Париже и, рабски подражая герцогу, лишь изредка показывались в городке.

2. Довольно большого числа буржуа, которые в определенное время выходили с зонтиком в руке из своих домов, дабы совершить ежедневную послеобеденную прогулку, всякий раз заканчивающуюся у широкого рва, отделяющего парк от леса, каковой находился на расстоянии четверти лье от города; назывался этот лес "Охохо", надо полагать, по причине астматических вздохов, вырывавшихся из грудей гуляющих, которые тем самым выражали радость, что проделали такой большой конец и не заработали особо сильной одышки.

3. Ремесленников, составлявших подавляющее большинство населения, работавших всю неделю и только по воскресеньям позволявших себе прогулку, которой их более удачливые земляки могли наслаждаться ежедневно.

* Екатерина Медичи (1519—1589)—супруга Генриха II, мать последних королей династии Валуа Франциска II, Карла IX, Генриха III.

** Диана де Пуатье (1499—1566)—возлюбленная короля Генриха II.

*** Д'Этамп, Анна, герцогиня де (1508—1576)—возлюбленная Франциска I, прозванного современниками королем-рыцарем.

**** Луи Филипп герцог Орлеанский (1725—1785)—сын племянника Людовика XIV Филиппа Орлеанского, бывшего регента при малолетнем Людовике XV. Его сын Филипп Жозеф (1747—1793) находился в оппозиции ко двору, в 1789 г. во время Великой Французской Революции называл себя Филиппом Эгалите (т. е. Равенство). Во время якобинского террора был казнен.

***** Месье—титул брата французского короля. Здесь имеется в виду Филипп Орлеанский (1640—1701), младший брат Людовика XIV, женатый первым браком на сестре английского короля Карла II Генриетте (1644—1670).

4. И наконец, нескольких жалких пролетариев, не имевших на неделе даже воскресенья, так как шесть дней они работали за поденную плату то ли у дворян, то ли у буржуа, то ли у тех же ремесленников, а в седьмой отправлялись в лес собирать хворост или сухостой, сложенный грозью, этим лесным жнецом, для которого и дубы не более, чем колосья, и который легко валит на влажную черную землю высокоствольные деревья, величественное достояние герцога.

Поскольку Виллер-Котре (Villeries od Cotiam-Retique) имел несчастье быть городом, игравшим довольно важную роль в истории, археологи занялись им и проследили последовательные стадии его преобразования из деревни в поселение, а из поселения в город, каковую стадию, как мы уже упоминали, кое-кто оспаривает; они неопровержимо установили, с чего началась эта деревня, представлявшая собою два ряда домов, построенных вдоль дороги из Парижа в Суассон; затем, сообщают они, удобное расположение деревни, стоящей на краю прекрасного леса, привело к тому, что население ее постепенно увеличивалось, к первой улице прибавились новые, расходящиеся, подобно лучам звезды, и устремляющиеся к другим небольшим селениям, с которыми важно было иметь сообщение; все эти улицы сходились в одной точке, ставшей, само собой разумеется, центром, то есть тем, что в провинции называется *Площадь*, вокруг которой строились самые красивые дома деревни, превратившейся в поселок, а в середине возвышается фонтан, украшенный в наше время четырехугольными солнечными часами; наконец, археологи точно установили дату, когда возле скромной церкви, предмета первой необходимости жителей, были заложены первые камни в фундамент будущего обширного замка, последнего каприза короля Франциска; замок этот, поочередно побывавший королевской и герцогской резиденцией, в наши дни превратился в унылый и безобразный дом призрения, находящийся на иждивении префектуры департамента Сена.

Но в те времена, когда начинается наша история, дела монархии хотя уже пошатнулись, однако еще не пали так низко, как сегодня; да, правда, герцог уже не жил в этом замке, но еще и не поселились нищие; он был просто-напросто пуст: обитали в нем только те, кто был необходим, чтобы держать его в порядке, среди каковых следует отметить привратника, смотрителя зала для игры в мяч и капеллана; все окна этого обширного здания, как выходящие в парк, так и выходящие на вторую площадь, аристократически именуемую *Замковой*, были закрыты, и это еще больше усиливало унылость и пустынную площадь, по одну сторону которой стоял небольшой дом, и, я надеюсь, читатель позволит мне сказать о нем несколько слов.

Этот небольшой домик был обращен к площади, если можно так выразиться, спиной. Но как и у некоторых особ, эта спина имела то преимущество, что была самой авантажной и своеобразной его частью. И действительно, его фасад, сообщавшийся с Суассонской улицей, одной из главных улиц городка, посредством нескладных арочных ворот, которые во-

надцать часов из двадцати четырех были наглухо заперты, как бы вступал в противоречие с противоположной стороной, жизнерадостной и веселой; иначе говоря, противоположная сторона была окружена садом, и верхушки его деревьев—черешен, яблонь, слив—возносились над садовой стеной, а по обе стороны калитки, открывающей выход на площадь или, если угодно, вход с нее в сад, стояли две столетние акации, которые весной, казалось, тянули ветви из-за стены, стремясь усыпать землю вокруг благоуханными цветами.

То был дом замкового капеллана, который, кроме того что обслуживал герцогскую церковь, где, несмотря на отсутствие владельца замка, по воскресеньям отправлялись мессы, еще держал маленькую школу, причем ей по особой милости были приданы две стипендии—одна в коллеже Плеси, а вторая в Суассонской семинарии. Излишне будет говорить, что оплачивало стипендии семейство герцогов Орлеанских; стипендию в семинарии учредил сын регента, а в коллеже—отец принца. Стипендии эти были предметом честолюбивых вожделений родителей и доставляли отчаяние ученикам, для которых они стали поводом для самых невозможных сочинений, каковые имели место каждую неделю по четвергам.

И вот в один из четвергов июля месяца 1789 года, бывший достаточно хмурым днем, поскольку его омрачила гроза, пронесшаяся с запада на восток, под порывами ветра которой обе уже упоминавшиеся нами великолепные акации утратили девственную нетронутость своего весеннего наряда, обронив на землю несколько листков, пожелтевших от первого летнего зноя, так вот, повторяем, в один из июльских четвергов тишина, до того нарушаемая лишь шорохом листьев, круживших по убитой земле площади, да чириканием воробья, преследующего на этой же площади мошек, вдруг взорвалась, едва часы на острокопечной крытой черепицей башне ратуши пробили одиннадцать.

Тотчас же раздался крик "ура!", подобный тому, какой способен издать целый полк уланов и притом сопровождаемый громом, который сравним только с грохотом лавины, когда она низвергается со скалы на скалу; калитка между двумя акациями отворилась или, верней будет сказать, с размаху распахнулась, и из нее на площадь вырвался поток мальчишек, который тут же разбился на несколько веселых крикливых компаний: одни сбились кучками и принялись запускать волчок, другие занялись игрой в котел, гоня камешек по начерченным мелом квадратам, остальные же расположились вокруг выкопанных по кругу ямок, в которые стали закатывать мячик, причем попадание или непопадание его в ямку определяло выигрыш или проигрыш пустившего мяч.

Кроме озорных школьников, которых обитатели немногих домов, что выходят на площадь, наградили званием шалопаев и которые, по преимуществу, одеты были в штаны, продранные на коленях, и в куртки с дырами на локтях, имелись и те, кого называли послушными и кто, по мнению кумушек, несомненно, был услугой и гордостью родителей; отделясь от толпы, они, каждый неся свою корзину, каждый своей дорогой, мед-

ленно, нога за ногу, что свидетельствовало об их сожалении, побрели под отеческий кров, где в качестве награды за отказ от участия в общем веселье их ожидал кусок хлеба с маслом или с вареньем. Их штаны и куртки были, как правило, целы и вообще имели приличный вид, что наряду со столь превозносимой послушностью и делало их предметом насмешек, а то и ненависти со стороны не столь хорошо одетых, а главное, куда менее дисциплинированных соучеников.

Наряду с этими двумя категориями школьников, которые мы определили как "озорные" и "послушные", существовала еще и третья, и ей мы дадим наименование "ленивые"; эти почти никогда не выходили из школы вместе с остальными учениками, чтобы играть на площади у замка или возвратиться в родительский дом, поскольку представители сей несчастной категории обыкновенно оставляли в качестве наказания в классе, а это значит, что когда их товарищи, выполнив переводы на латынь или с латыни, запускали волчок или лакомились хлебом с вареньем, они сидели, пригвожденные к скамейкам за попиртами, и делали переводы, которые не сделали во время урока, если только их провинность была не настолько велика, что требовала высшей кары, а именно, наказания линейкой, розгами или плеткой.

Если бы мы воспользовались, чтобы пройти в школу тем путем, который проделали ученики, чтобы вырваться из нее, то нам пришлось бы проследовать по дорожке, бегущей вдоль фруктового сада и приводящей в широкий двор, куда выбегали школьники во время перемен; войдя в него, мы бы услышали раздающийся с верха лестницы громкий, отчетливый голос и увидела школяра, которого беспристрастность историка вынуждает нас отнести к третьей категории, то есть к категории ленивых, быстро сбегающего по ступенькам и производящего плечами такие движения, какие проделывают ослы, чтобы сбросить всадника, и школьники, чтобы встряхнуться после удара плеткой.

—Нечестивец! Безбожник! Змееныш!—гремел голос.—Убирайся! Вон отсюда! *Vade! Vade!* Запомни, я терпел три года, но есть негодяи, которые истощают терпение даже самого Отца Небесного! Сегодня пришел конец, окончательный и бесповоротный. Забирай своих белок, лягушек, ящериц, шелковичных червей и майских жуков и убирайся к тетке, к дядьке, если он у тебя есть, да хоть к самому дьяволу, ежели тебе охота, лишь бы я тебя больше не видел! *Vade, Vade!*

—Простите меня, добрейший господин Фортъе,—умоляюще отвечал с низа лестницы другой голос.—Да стоит ли такого вашего гнева один несчастный варваризм и парочка, как вы их изволите называть, солецизмов**?

* Изыди, изыди! (*лат.*).

** Варваризм—слово из чужого языка или оборот, построенный по образцу чужого языка, нарушающий чистоту речи. Сolecизм—неправильный в синтаксическом отношении оборот речи.

—Три варваризма и семь солецизмов в сочинении на двадцать пять строк!—яростно загремел голос с верха лестницы.

—Так это ж потому что четверг, господин аббат. Говорю вам, четверг для меня несчастливый день. Ну а вдруг завтра я прекрасно переведу на латынь, так неужто вы не простите мне сегодняшнюю мою неудачу? Ну, скажите, господин аббат?

—Вот уже три года в день сочинения ты, лодырь, твердишь мне одно и то же. А экзамен назначен на первое ноября, и мне, который, уступив мольбам твоей тетушки Анжелики, имел слабость внести тебя в списки кандидатов на вакантную стипендию в Суассонской семинарии, со стыдом придется узреть, как тебе в ней отказывают, и слышат повсюду: "Анж Питу—осел! *Angelus Pitovius asinus est!*"*

Поспешим сказать, чтобы сразу привлечь внимание благожелательного читателя к этому отроку, какового внимания он вполне заслуживает, что Анж Питу, которому аббат Фортье только что дал такую выразительную характеристику на латыни, является героем этого повествования.

—О добрейший господин Фортье! О дорогой мой учитель!—канючил в отчаянии школяр.

—Твой учитель?—возопил аббат, до глубины души оскорбленный таким обращением.—Хвала Господу, я уже не твой учитель, и ты не мой ученик. Я отрекаюсь от тебя! Знать тебя не знаю! Видеть тебя не хочу! Запрещаю тебе так обращаться ко мне и даже кланяться запрещаю! *Retgo*, негодный, *retgo***!

—Господин аббат,—ныл бедняга Питу, у которого явно была серьезная причина не порывать с учителем,—умоляю вас, не отвергайте меня из-за какого-то несчастного скверного перевода.

—Ах вот как!—вскричал аббат, выведенный из себя этой просьбой до такой степени, что даже спустился четырьмя ступеньками ниже, отчего Анж Питу мгновенно тоже спустился на последние четыре ступеньки и встал на землю двора.—Ты уже изучаешь логику, а между тем не можешь написать простенькое сочинение. Ты рассчитываешь на стойкость моего терпения, а сам не можешь отличить подлежащее от дополнения.

—Господин аббат, вы были так добры ко мне,—отвечал творец варваризмов,—так почему бы вам не замолвить за меня словечко господину епископу, который будет нас экзаменовать?

—Несчастный, ты хочешь, чтобы я солгал вопреки своей совести?

—Но вы тем самым совершите доброе дело, и Господь простит вас.

—Никогда! Ни за что!

—А потом, кто знает, вдруг экзаменаторы ко мне будут не более суровы, чем к Себастьяну Жильберу, моему молочному брату, который в прошлом году тоже домогался получения стипендии в Париже. Он ведь тоже, слава Богу, допускал варваризмы, хотя ему было только тринадцать лет, а мне семнадцать.

* Анж Питу—осел! (*лат.*)

** Прочь! (*лат.*)

—Вот она, вот она твоя глупость!—объявил аббат, окончательно спустившись с лестницы и выйдя во двор с плеткой в руках, по причине каковой Питу предусмотрительно старался сохранять первоначальную дистанцию между собой и наставником.—Да, я сказал, глупость,—подтвердил аббат, с негодованием взирая на своего ученика.—Вот каков результат моих уроков диалектики! Трижды скотина, вот как ты затвердил правило “*Noti minora, locui majora volens.*”^{*} Но это именно потому, что Жильбер младше тебя, и к четырнадцатилетнему ребенку отнесутся гораздо снисходительней, чем к восемнадцатилетнему балбесу.

—Да, и еще потому, что он сын господина Оноре Жильбера, у которого восемнадцать тысяч ренты в прекрасных землях только на равнине Пийле,—грустно заметил логик.

Аббат Фортье, вытянув трубочкой губы и нахмутив брови, воззрился на Питу.

—А вот это не так уж глупо,—пробормотал он после недолгого молчания и раздумья.—И тем не менее утверждение это лишь кажется правдоподобным и ни на чем не основано. *Species, non autem corpus*^{**}.

—Вот если бы я был сыном человека, у которого десять тысяч ренты!—протянул Анж Питу, которому показалось, что его ответ произвел некоторое впечатление на наставника.

—Да, но у тебя нет такого отца. Зато ты невежествен, как тот шалопай, о котором рассказывает Ювенал^{***}. Цитата эта из язычника,—аббат перекрестился,—но тем не менее справедлива. *Arcadius juvenis*^{****}. Готов присягнуть, ты даже не знаешь, что означает *Arcadius*.

—А чего тут такого? Аркадиец,—горделиво выпрямившись, отвечивал Питу.

—И что это значит?

—Как, что значит?

—Аркадия была страна ослов, а у древних, как и у нас, слово *asinus* было синонимом слова *stultus*^{*****}.

—Нет, я не хотел бы понимать это так,—заметил Питу,—поскольку мне не хотелось бы думать, что строгий ум моего достойного наставника может опуститься до сатиры.

Аббат Фортье вновь воззрился на него—и не менее внимательно.

—Право,—пробормотал он, несколько даже смягченный столь грубой лезтью,—временами можно подумать, что этот негодяй не так глуп, как кажется.

—Простите меня, господин аббат,—вновь захныкал Питу, который хоть и не разобрал слов наставника, но по перемене

* Знать меньшее, желая сказать большее (лат.).

** Поверхностно, не основательно (лат.).

*** Ювенал (ок. 60—ок. 127)—римский сатирик.

**** Юный аркадиец (лат.). У древних служило синонимом глупца, простака.

***** Глупец, дурак (лат.).

выражения его лица догадался, что тот склоняется к милосердию,—простите, и вы увидите, какой великолепный перевод я сделаю завтра.

—Ладно, согласен,—произнес аббат, засунув в знак примирения плетку за пояс и подойдя к Питу, который, узрев этот миролюбивый жест, остался на месте.

—О, благодарю вас, благодарю!—воскликнул Питу.

—Погоди, погоди, не спеши благодарить. Да, я прощу тебя, но при одном условии.

Питу поник головой, но поскольку был в полной власти достойнейшего аббата, смиренно ждал продолжения.

—Ты ответишь мне без единой ошибки на вопрос, который я тебе задам.

—На латыни?—с тревогой поинтересовался Питу.

—Latine,—подтвердил наставник.

Питу испустил глубокий вздох.

Настало молчание, и в тишине до слуха Анжа Питу донеслись радостные вопли школьников, играющих на площади перед замком.

Питу вновь испустил вздох, более глубокий, чем первый.

—Quid virtus? Quid religio*?—задал вопрос аббат.

Слова эти, произнесенные с самоуверенностью педагога, прозвучали для бедняги Питу, словно труба ангела, возвещающего Страшный суд. Он так напряг все силы своего разума, что на миг ему показалось: сейчас он сойдет с ума.

Однако умственная эта работа была столь же напряженна, сколь и безрезультатна, так что ждать ответа на поставленный вопрос можно было до бесконечности. В ожидании его безжалостный экзаменатор, не торопясь, с шумом заправил обе ноздри нюхательным табаком.

Питу понял, что отвечать все-таки надо.

—Nescio**,—объявил он в надежде, что невежество его будет выглядеть более простительным, ежели он признается в нем по-латыни.

—Ты не знаешь, что такое добродетель?—задыхаясь от негодования, возопил аббат.—Не знаешь, что такое вера?

—Да нет, по-французски знаю,—объявил Анж.—Я по-латыни не знаю.

—В таком случае, убирайся в Аркадию, juvenis! Между нами все кончено, оболтус ты этакий!

Питу был до такой степени удручен, что не сделал и шагу, чтобы убежать, хотя аббат Фортье извлек из-за пояса плетку с такой важностью, с какой на поле боя командующий армией извлекает из ножен шпагу.

—Но что же мне делать?—вопросил несчастный юнец, горестно опустив руки.—Кем же мне стать, если у меня нет надежды поступить в семинарию?

—Становись кем угодно, мне это, черт бы тебя побрал, безразлично!

* Что есть добродетель? Что есть вера? (лат.).

** Не знаю (лат.).

Добрейший аббат был до того разъярен, что уже почти дошел до богохульств.

—Но вы же не знаете, что моя тетушка уже считает меня аббатом!

—А теперь она узнает, что ты не достоин даже стать пономарем.

—Но, господин Фортье...

—Я сказал тебе: вон! *Limina linguae**.

—Ну что ж,—произнес Питу с видом человека, который долго противился принятию мучительного решения, но, наконец, принял.—А вы позволите мне забрать мой поупитр?—спросил он, надеясь, что это даст ему некоторую отсрочку, а за это время в сердце аббата Фортье возобладают чувства милосердия и жалости.

—Забирай, забирай,—прозвучало в ответ,—и поупитр, и все, что в нем находится.

Поскольку школа размещалась на втором этаже, Питу уныло поплелся вверх по лестнице. Он вошел в класс, где вокруг большого стола, казалось, все еще занимают четыре десятка школьников, с огромными предосторожностями приподнял крышку своего поупитра, чтобы проверить, все ли обитатели онога на месте, с бережностью, свидетельствовавшей о заботливом отношении к этим представителям животного мира, водрузил его на голову и медленно, размеренным шагом побрел по коридору.

В конце его, указывая на лестницу рукой, сжимающей плетку, стоял аббат Фортье.

Хочешь не хочешь, а надо было пройти через это Кавдинское ущелье**, и Анж Питу постарался сжаться и принять как можно более приниженный вид. Впрочем, это не спасло его от последнего контакта с орудием, которому аббат Фортье был обязан успехами лучших своих учеников, хотя воздействие онога на Анжа Питу, гораздо более частое и продолжительное, чем на кого-либо другого, привело, как мы уже могли убедиться, к совершенно ничтожным результатам.

Пока Анж Питу, неся на голове поупитр, бредет в Пле, квартал, где проживает его тетка, мы скажем несколько слов о его наружности и о его прошлом.

II. Глава, в которой доказывается, что тетка— это совсем не то что мать

В тот момент, с которого начинается наше повествование, Луи Анжу Питу, как он сам сообщил в только что происходившем разговоре с аббатом Фортье, было семнадцать с половиной лет. Это был длинный худой парень, желтоволосый, красноще-

* Прикуси язык, замолчи (*лат.*).

** Ущелье, где в 321 г. до н. э. римляне были разбиты италийским племенем самнитов, принудившим побежденных в знак позора пройти под ярмом.

кий, с темно-голубыми глазами. По его круглой физиономии был разлит свежий, невинный румянец, а толстогубый и, что называется, до ушей рот, который Питу частенько разевал, позволял увидеть полный набор великолепных, грозных—для всего, что съедобно,—зубов. Костистые руки, заканчивающиеся лапищами размером с лопату, умеренно кривоватые ноги, могучие колени чуть ли не с детскую голову, из-за которых едва не лопались тесные черные панталоны, ступни, огромные, но тем не менее вполне удобно помещавшиеся в порыжевших от долгой носки кожаных башмаках, а если к этому еще добавить некую хламиду из бурой саржи, нечто среднее между курткой и блузой, то вот вам точный и беспристрастный портрет теперь уже бывшего воспитанника аббата Фортве.

Теперь нам остается обрисовать его нравственный облик.

В возрасте двенадцати лет Анж Питу имел несчастье стать сиротой, лишившись матери, у которой он был единственным сыном. А это означает, что после смерти отца, которая случилась, когда Анж был младенцем, он мог, поскольку мать души в нем не чаяла, делать все, что ему заблагорассудится, и это весьма способствовало его физическому развитию, каковое изрядно обогнало духовное. Родившись в очаровательной деревне по названию Арамон, расположенной в лесу на расстоянии одного лье от города, юный Анж, едва начав ходить, принялся за изучение родимых чащоб, а все силы ума направил на войну с животными, населяющими их. И такое направление ума к одной-единственной цели привело к тому, что в десять лет Анж Питу был искуснейшим браконьером и первоклассным птицеловом, причем стал он им без особого труда, а главное, без чьих-либо наставлений, дойдя до всего благодаря лишь инстинкту, которым природа одаривает человека, рожденного среди лесов, инстинкту, в какой-то мере сходному с инстинктом животных. Следы зайцев и кроликов были для него открытой книгой. На три лье в окружности он знал все мочажки*, и повсюду там на деревьях, пригодных для ловли птиц на манок, можно было обнаружить следы его ножа. Непрестанными упражнениями Питу достиг в некоторых видах подобной охоты высочайшего мастерства.

Его длинные руки и ноги позволяли ему обхватывать самые толстые стволы, и он, разоряя птичьи гнезда, взбирался на высочайшие деревья с легкостью и уверенностью, которые вызывали восхищение приятелей, а в экваториальных широтах снискали бы ему уважение обезьян; не было ему равных и в охоте с манком, охоте, заманчивой и для взрослых, при которой охотник подманивает птиц на дерево, намазанное клеем, подражая крику сойки либо галки, которые вызывают у пернатых ненависть столь сильную, что каждый зяблик, каждая синица, каждый чиж со всех крыльев несутся на этот крик в надежде вырвать хотя бы перышко у извечного недруга, но чаще всего сами оказываются ошипанными. Приятели Питу при этой охоте использовали либо живых галок и соек, либо

* Лужицы, куда птицы прилетают пить (примеч. автора).

делали дудочки и с их помощью более или менее удачно подражали голосу одной из этих птиц. А вот Питу пренебрегал подобными средствами, презирал подобные ухищрения. Он сражался, рассчитывая лишь на собственные силы, расставлял ловушки, используя лишь природные способности. Одними только губами и горлом он воспроизводил резкие, неприятные звуки, приманивавшие даже птиц той же самой породы, которые обманывались, заслышав столь безукоризненное подражание их—нет, тут, пожалуй, надо сказать не песне, а крику. Что же касается ловли птиц возле мочажек, то для Питу это было плевое дело, и с позиций высокого искусства он, несомненно, презирал бы этот способ, не будь оный так продуктивен в смысле добычливости. Так что презрение ничуть ни мешало ему заниматься этим легким видом охоты, и ни один, даже самый опытный охотник, не умел так искусно, как Питу, накрыть папоротником мочажку, слишком большую для расстановки ловушек: то был вопрос навыка; никто лучше Питу не умел придать веткам, намазанным клеем, нужное положение, чтобы даже самая сторожкая птица не смогла попить ни под ними, ни над ними; наконец, никто не обладал столь верной рукой и точным глазомером, необходимым при смешении неравных и ведомых только изготовителю долей древесной смолы, масла и клея, чтобы полученная ловчая субстанция не оказалась ни слишком жидкой, ни слишком быстро высыхающей.

Поскольку почет, определяемый достоинствами человека, меняется в зависимости от сцены, где эти достоинства проявляются, и от зрителей, перед которыми человек проявляет их, можно утверждать, что Анж Питу, живший в родной деревне Арамон среди крестьян, то есть людей, удовлетворяющих, по меньшей мере, половину своих потребностей за счет природы и питающих, как все крестьяне, инстинктивную неприязнь к цивилизации, пользовался там определенным признанием, и это обстоятельство мешало его бедной матушке предположить, что сын ее идет неверным путем и что истинное образование, которое человек может получить лишь за большие деньги, не имеет ничего общего с тем образованием, какое ее ребенок приобретает самостоятельно и задаром.

Но когда эта славная женщина заболела, почувствовала, что приближается смерть, и поняла, что оставляет свое дитя одного-единственного в целом мире, она стала искать опору для будущего сироты. И тут ей припомнилось, как десять лет назад к ним в дверь среди ночи постучался молодой человек, принесший новорожденного младенца, на содержание которого он не только отвалил довольно внушительную сумму, но еще более круглую сумму положил на сохранение у нотариуса в Виллер-Котре. Сперва она знала про этого таинственного молодого человека только то, что его зовут Жильбер. Но примерно три года назад она снова увидела его; то был уже двадцатисемилетний мужчина с несколько чопорными манерами, который говорил тоном, не допускающим возражений и поначалу несколько холодным. Однако этот образовавшийся было ледок тотчас же треснул, стоило ему только взглянуть на

своего ребенка; Жильбер убедился, что тот красив, здоров, весел и вырос в непосредственном общении с природой, как он сам того и пожелал; поэтому он пожал доброй женщине руку и заявил:

—В случае необходимости рассчитывайте на меня.

После чего забрал сына, осведомился о дороге на Эрменонвиль, совершил паломничество на могилу Руссо и вернулся в Виллер-Котре. Здесь, соблазненный, надо думать, здоровым воздухом и прекрасным отзывом, который нотариус дал о пансионе аббата Фортье, он оставил Жильбера-младшего у этого достойнейшего человека, чью философическую направленность угадал с первого же взгляда; дело в том, что в ту эпоху философия была настолько великой силой, что проникала даже в среду церковнослужителей.

Затем, оставив свой адрес аббату Фортье, он возвратился в Париж.

Мать Анжа Питу знала это обстоятельство. И в смертный час слова "В случае нужды рассчитывайте на меня" всплыли у нее в памяти. Это было как озарение. Несомненно, Провидение вело все к тому, чтобы бедняга Питу обрел, быть может, больше, чем утрачивал. Она послала за кюре, поскольку сама была неграмотна; кюре написал письмо, и в тот же день оно было вручено аббату Фортье, который немедленно надписал адрес и отдал его на почту.

Сделано это было в самую пору, потому что через день она скончалась.

Питу был слишком мал, чтобы осознать всю огромность постигшей его утраты; он плакал по матери, но не потому что понимал: могила воздвигла между ними вечную преграду, а потому что мать лежала остывшая, бледная, обезображенная; скоро бедный ребенок инстинктивно догадался, что ангел-хранитель их домашнего очага отлетел, что дом их со смертью матери стал пустым и нежилым; он не только не представлял, что с ним станет в будущем, но даже не знал, как проживет завтрашний день; и вот он проводил покойницу в последний путь; первые комья забарабанили по крышке гроба, потом вырос холмик свежей, рыхлой земли, и тогда Анж уселся на нем и на все призывы уйти с кладбища только мотал головой и отвечал, что никогда не покинет свою матушку Мадлен и останется там, где она.

Конец дня и всю ночь он провел на ее могиле.

Там-то достойный доктор—надо ли говорить, что будущий покровитель Питу был врач?—и нашел мальчика; поняв всю огромность долга, какой он взял на себя, дав некогда обещание, Жильбер самолично приехал з Арамон уже спустя двое суток после отсылки письма.

Анж был очень мал, когда в первый раз видел доктора. Но как известно, детские впечатления необыкновенно остры и на всю жизнь отпечатываются в памяти, да к тому же приезд таинственного молодого человека не прошел бесследно для их дома. В нем поселился уже упоминавшийся нами младенец, а вместе с ним и благосостояние; Анж помнил, что мать всегда

произносила имя Жильбера с чувством, смахивающим на благоговение; ну, и наконец, когда он вновь появился у них уже взрослым человеком и со званием доктора медицины, посулив к прошлым благодеяниям и будущие, Питу счел необходимым присоединить к материнским благодарностям и свои: он пролепетал, не слишком понимая смысла, услышанные от матери слова о безграничной признательности и о том, что он вечно будет помнить доброту г-на Жильбера.

Так что, едва заметив доктора сквозь решетчатую кладбищенскую калитку, увидев, как тот идет вдоль заросших травой могил с порушенными крестами, Анж сразу узнал его, встал и пошел навстречу, так как понял, что тот приехал по зову его матери; когда Жильбер взял его за руку и, плачущего, уводил прочь с кладбища, мальчик не сопротивлялся, а лишь, пока была возможность, оглядывался. У ворот их ждал элегантный кабриолет; Жильбер посадил в него мальчика и, оставив пока что дом под охраной общественной совестливости и сочувствия к беде, повез его в город, где вышел вместе с ним у лучшего постоянного двора, каковым в ту эпоху был "Дофин". Едва поселившись, Жильбер послал за портным, который был заранее предупрежден и явился с уже готовой одеждой. Жильбер предусмотрительно выбрал для Питу одежду на два-три дюйма длинней, но ежели судить по той быстроте, с какой рос наш герой, этого запаса должно было хватить ненадолго; затем он отправился с мальчиком в уже упоминавшийся нами квартал, именуемый Пле.

По мере приближения к этому кварталу Питу все замедлял и замедлял шаг, так как ему стало ясно, что его ведут к тете Анжелике, и хотя бедный сирота отнюдь не часто видел свою крестную—именно тетушка Анжелика выбрала ему при крещении столь поэтическое имя,—он сохранил о почтенной родственнице самые ужасные впечатления.

И то сказать, в тете Анжелике не было ничего хоть сколько-нибудь привлекательного для ребенка, привыкшего, подобно Питу, к материнской заботе; к тому времени тетя Анжелика являла собой образчик старой девы лет пятидесяти пятидесяти восьми, одуревшей от чрезмерно щепетильного исполнения самых ничтожных религиозных обрядов; в душе ее превратно понятое благочестие вытеснило все теплые, сострадательные, человеческие чувства, чтобы принять на их месте природный побег алчной хватки, который изо дня в день разрастался все сильнее и сильнее благодаря неустанному общению с городскими святошами. Нельзя сказать, что тетушка Анжелика жила подаянием: она продавала лен, который сама прядла на прялке, сдавала во время богослужения стулья внаем, на что получила право от капитула церкви, однако иные богобоязненные души, поддавшись на ее притворную набожность, время от времени вручали ей небольшие суммы денег; мелкую медную монету она меняла на серебряную, а серебряную на лудоры, и те тут же исчезали, да так, что никто не только не замечал их исчезновения, но даже не догадывался об их существовании: исчезали они в сидении ее рабочего кресла и в

этом темном тайнике встречались с изрядным числом своих собратьев, которым выпала такая же судьба быть изъятыми из обращения до того пока что неведомого дня, когда смерть старой девы не предаст их в руки ее наследника.

В обителище этой почтенной родственницы и направлялся доктор Жильбер, ведя за руку долговязого, потому что, начиная с трехмесячного возраста, Анж был куда длиннее, чем его ровесники.

Мы сказали—долгоязого, потому что, начиная с трехмесячного возраста, Анж был куда длиннее, чем его ровесники.

В тот момент, когда отворилась дверь, чтобы впустить племянника и доктора, мадемуазель Роза Анжелика Питу пребывала в исключительно радостном настроении. В тот же день, когда в арамонской церкви служили заупокойную мессу над телом ее невестки, в церкви Виллер-Котре происходили крестины и свадьбы, так что выручка за сданные стулья в один этот день составила шесть ливров. Медяки, слагающие эти шесть ливров, м-ль Анжелика преобразовала в большой эку, каковой, будучи добавлен к трем таким же монетам, скопленным в разное время, дал золотой луидор. И этот луидор присоединился к другим луидорам, а день, когда происходило такое соединение, был, как это легко понять, для м-ль Анжелики праздничным.

Тетушка Анжелика только-только отперла дверь, запертую на время операции, в последний раз обошла кресло, желая убедиться, что по внешнему его виду невозможно догадаться о том, какие сокровища оно скрывает, и тут вошли доктор и Анж Питу.

Последовавшая сцена могла бы показаться умильной, но на взгляд столь наблюдательного человека, как доктор Жильбер, она выглядела всего лишь гротескной. Узрев племянника, старая ханжа произнесла несколько слов о своей драгоценной сестре, которую она так любила, и сделала вид, будто утирает слезу. Со своей стороны, доктор, желавший составить более основательное впечатление о сердце старой девы, прежде чем вынести окончательный приговор, похоже, собрался прочесть ей наставление о долге тетушек по отношению к племянникам. Но едва он завел речь, едва с его уст начали срываться елейные слова, как с неулажившихся глаз старой девы испарились незримые слезы, в лице ее проступила та сухость, о которой начинаешь думать, когда видишь старинный пергамент; она оперлась острым подбородком на левую руку, а на пальцах правой принялась подсчитывать, сколько еще су примерно может принести ей до конца года сдача стульев в церкви; по случайности, подсчет этот завершился, когда доктор закончил свою речь, так что мадемуазель Анжелика незамедлительно смогла сообщить, что как ни велика ее любовь к несчастной сестре, какое бы безмерное сочувствие она ни испытывала к своему дорогому племяннику, недостаточность средств не дает ей возможности, невзирая на то, что она является и его тетушкой, и крестной матерью, позволить себе столь непомерные дополнительные расходы.

Впрочем, доктор ждал отказа и ничуть не удивился ему; он был пылким сторонником всех новых идей и, поскольку уже

прочитал недавно вышедший первый том труда Лаватера*, решил применить физиогномическую доктрину цюрихского философа к тощей, желтой физиономии м-ль Анжелики.

Результат же оказался следующий: горящие глаза старой девы, длинный нос и тонкие губы свидетельствовали, что в ней сошлись алчность, эгоизм и лицемерие.

Поэтому ответ ее, как мы уже сказали, не вызвал у доктора ни малейшего удивления. Однако как исследователь человеческих характеров он пожелал удостовериться, до какой степени старая богомолка готова проявлять эти свои гнусные пороки.

—Мадемуазель, но ведь Анж Питу—сын вашего брата, и теперь остался сиротой,—заявил он.

—Ах, господин Жильбер, да вы послушайте,—отвечала старая дева,—ведь это же увеличение расходов самое малое на шесть су в день, да и то при самых дешевых ценах: этот шалопай съедает за день, должно быть, не меньше фунта хлеба.

Питу скорчил гримасу: он съедал полтора фунта только за завтраком.

—Это если не считать мыла, что пойдет на стирку,—продолжала м-ль Анжелика.—Я ведь помню, как он пачкает одежду.

Да, правда, Питу очень быстро пачкал одежду, что вполне объяснимо, если взять в соображение, какую жизнь он вел, но тут следует отдать ему справедливость и добавить, что еще быстрее он ее рвал.

—Господи!—воскликнул доктор.—Мадемуазель Анжелика, вы так преуспели в следовании христианскому милосердию и вдруг начинаете считать, когда дело идет о вашем племяннике и крестнике!

—Это без учета расходов на починку одежды!—взорвалась криком старая святоша, вспомнив, сколько ее невестка зашивала прорех на блузе племянника и ставила заплат на штанах.

—Короче,—подытожил доктор,—вы отказываетесь принять к себе племянника. Ну что ж, сирота, выгнанный из дома своей тети, вынужден будет просить милостыню в чужих домах.

Как ни жадна была м-ль Анжелика, но тут она смекнула, какой позор падет на нее, ежели вследствие отказа принять племянника, он будет вынужден прибегнуть к подобной крайности.

—Нет, нет, я позабочусь о нем,—объявила она.

—Прекрасно!—промолвил доктор, обрадованный тем, что в сердце, которое он считал совершенно иссохшим, еще сохранились добрые чувства.

—Да,—продолжала старая дева,—я порекомендую его августинцам в Бур-Фонтене, они возьмут его послушником.

* Лаватер, Йохан Каспар (1741—1801)—создатель физиогномики, т. е. метода определения характера человека по чертам его лица.

Доктор, как мы уже упоминали, был философ. А что значило слово философ в ту эпоху, известно всем.

Он тут же решил вырвать юного неопита из лап августинцев с тем же рвением, с каким августинцы, в своей черед, постарались бы вырвать юного адепта у философов.

—Ну что ж, дражайшая мадемуазель Анжелика,—объявил он, глубоко засунув руку в карман,—раз вы находитесь в таком трудном положении, что из-за недостатка средств вынуждены препоручить родного племянника милосердию чужих людей, мне придется поискать кого-нибудь, кто способен успешнее использовать на содержание бедного сироты ту сумму, которую я для него предназначил. Мне необходимо вернуться в Америку. Перед отъездом я отдам вашего племянника Питу в учение к столяру или каретнику. Впрочем, он сам выберет, к чему его больше влечет. Пока меня не будет, он вырастет, а когда я вернусь, у него уже будет ремесло, и тогда я посмотрю, что еще смогу для него сделать. Итак, мой мальчик,—заключил доктор,—поцелуй свою тетю и пошла отсюда.

Доктор не успел закончить, а Питу протянул уже к почтенной девице свои длинные руки; он страшно торопился запечатлеть на ее лице прощальный поцелуй в надежде, что этот поцелуй станет знаком вечной разлуки между ними.

Однако слово "сумма", жест, каким доктор запустил руку к себе в карман, серебряный звон, раздавшийся при этом и свистельствовавший, как, впрочем, и выпуклость кармана, что в нем находится изрядное количество больших экю, произвели огромное впечатление на старую деву, и она чуть не задохнулась от жадности.

—А знаете, дорогой господин Жильбер,—объявила она,—я вам кое-что скажу.

—Что же?—поинтересовался Жильбер.

—Как Бог свят, никто на свете не будет любить это бедное дитя больше, чем я.

И, сплетя свои иссохшие руки с протянувшимися к ней руками Питу, она кисло чмокнула племянника в обе щеки, отчего тот содрогнулся от макушки до пяток.

—Я в этом не сомневаюсь,—заверил доктор.—Я уверен в ваших добрых чувствах к нему и хотел, чтобы вы стали его естественной опорой. Но недавние ваши слова, дражайшая мадемуазель Анжелика, убедили меня как в вашей доброй воле, так и в невозможности оказать помощь тому, кто беднее вас, ибо вы сами, как я вижу, крайне бедны.

—Ах, дорогой господин Жильбер,—отвечала старая ханжа,—разве нет на небе всемилостивого Господа и разве небо не посылает пищу своим созданиям?

—Вы правы,—согласился Жильбер.—Но дело в том, что оно дает пищу птицам небесным, но вот сирот в учение не определяет. А именно это и нужно сделать для Анжа Питу, однако вы, как я понял, при ваших ничтожных средствах на это не способны.

—Господин доктор, но если вы дадите ту сумму...

—Какую сумму?

—Про которую вы только что упомянули и которая лежит у вас в кармане,—пояснила м-ль Анжелика, указав крючковатым пальцем на полу докторского каштанового кафтана.

—Можете быть спокойны, дражайшая мадемуазель Анжелика, я дам ее,—заверил доктор,—но предупреждаю: при одном условии.

—Каким?

—При условии, что мальчик получит профессию.

—Обещаю вам, господин доктор, он ее получит. Слово Анжелики Питу!—воскликнула старая пустосвятка, не отрывая глаз от кармана.

—Значит, обещаете?

—Обещаю!

—Без обмана?

—Господом истинным клянусь, господин Жильбер!

И м-ль Анжелика вытянула костлявую руку.

—Ну что ж, ладно,—сказал доктор и извлек из кармана пухлый, туго набитый мешочек.—Как видите, я готов дать деньги, а вы, со своей стороны, готовы отвечать передо мной за этого мальчика?

—Истинный крест!

—Не стоит, дражайшая, так злоупотреблять клятвами. Лучше мы с вами подпишем договор.

—Подпишу, господин Жильбер.

—У нотариуса?

—У нотариуса.

—Идемте тогда к папаше Ниге.

Ниге, которого доктор по причине долгого знакомства называл по-дружески папашей, был, как известно читателям, знакомым с нашей книгой "Жозеф Бальзамо", лучшим здешним нотариусом.

Папаша Ниге был, кстати, и нотариусом мадемуазель Анжелики, так что она ничего не могла возразить против выбора доктора. И вот они пришли в контору, и там нотариус зарегистрировал на письме данное девицей Розой Анжеликой Питу обещание принять под свою опеку и отдать в учение для получения достойного ремесла племянника Луи Анжа Питу, за что ей ежегодно будет выплачиваться двести ливров. Договор был заключен на пять лет; восемьсот ливров доктор положил у нотариуса, а двести выдал авансом м-ль Анжелике.

На следующий день, уладив кое-какие дела с одним из своих арендаторов, с которым позже нам еще предстоит встретиться, доктор покинул Виллер-Котре. А м-ль Питу, схватившая, подобно коршуну, вышеупомянутые двести полученных авансом ливров, спрятала в своем кресле восемь луидоров.

Что же касается оставшихся восьми ливров, то они еще три недели ждали на фаянсовом блюдечке, куда в течение чуть ли не сорока лет складывались монеты самого разного достоинства, пока от сборов в церкви на накопилась сумма в двадцать четыре ливра, каковая, как мы уже объяснили, была достаточна для обращения в золото, после чего тоже исчезли в сидении кресла.

III. Анж Питу у тетки

Мы видели, сколь мало склонности выказал Анж Питу к длительному проживанию у своей доброй тети Анжелики; несчастный мальчик, одаренный инстинктом, равным, а может, и превосходящим инстинкт лесных зверей, с которыми он вел неустанную войну, заранее предугадал, какие оно сулит ему, нет, вовсе не разочарования—на этот счет, как мы заметили, у него ни на миг не было даже малейших иллюзий,—но огорчения, неприятности и муки.

Надо, правда, сказать, что поначалу, после отъезда доктора Жильбера, вопрос об отдаче в учение даже не возникал, и вовсе не это настраивало его против тетушки. Добрейший нотариус было заикнулся об этом главнейшем условии, но м-ль Анжелика заявила, что племянник слишком мал, а главное, слишком нежного здоровья, чтобы отдавать его в работу, которая, вполне возможно, будет ему не под силу. Услышав такой ответ, нотариус восхитился добрым сердцем м-ль Питу и перенес срок отдачи в учение на следующий год. Время терпит, мальчику исполнилось всего лишь двенадцать лет.

Питу, поселившись у тетушки, пока та ломала голову, как извлечь наибольшую выгоду из племянника, сразу же отправился, можно уже так сказать, к себе в лес и произвел обследование на местности, поскольку намеревался вести в Виллер-Котре ту же жизнь, что и в Арамоне.

Обойдя окрестности, он определил, что наилучшие мочажки располагаются близ дорог в Данпле, в Компьнь и Вивьер, а дичью всего богаче так называемые Волчи вересковища.

Определив это, Питу произвел соответственные приготовления.

Самым простым, не требующим вложения никаких денежных средств, было изготовление клея и ловушек для ловли птиц на клей: он истолок пестом кору остролиста, промыл как следует в большом количестве воды и получил клей, ну а что касается ловушек, для них годились ветки чуть ли не любого дерева в окрестностях. Питу втайне нарезал с тысячу веток, запасся горшочком первоклассного клея и как-то утром на рассвете, взяв накануне у булочника за тетушкин счет четырехфунтовый хлеб, ушел на весь день и возвратился только вечером, когда уже темнело.

Питу, разумеется, никогда бы не решился на это, не рассчитав результат. Он предвидел: будет гроза. Но, даже не обладая мудростью Сократа, он изучил характер тети Анжелики не хуже, чем прославленный наставник Алкивиада изучил характер своей супруги Ксантиппы*.

Питу не ошибся в предвидении, но только он рассчитывал противостоять грозе, представив старой лицемерке плоды сво-

* *Ксантиппа*—жена прославленного древнегреческого философа Сократа (V в. до н. э.), наставника афинской молодежи, в том числе и афинского полководца Алкивиада, отличалась вздорным, злобным характером, вошедшим в поговорку.

их дневных трудов. Однако он не смог угадать, где и когда поразит его молния.

А она поразила его уже при входе.

М-ль Анжелика, чтобы не прозевать возвращения племянника, затаилась в засаде за дверью, и едва Питу посмел переступить порог, как тут же получил здоровенную затрещину по затылку; ему не потребовалось проводить тщательного расследования, чтобы понять, что затрещину эту нанесла костлявая рука старой пустосвятки.

К счастью, у Питу была крепкая голова, и хотя затрещина не причинила ему особых страданий, он, желая умиловить тетку, гнев которой еще более возрос, потому как, не рассчитав силы удара, она ощутила боль в костлявых пальцах, притворился, будто падает, и растянулся во весь рост на полу; увидев, что тетка направляется к нему с веретенком в руках, он поспешно вытащил из кармана талисман, который, как он надеялся, поможет ему снискать прощение за целодневное отсутствие.

То были дюжины две птиц, в том числе дюжина малиновок и с полдюжины певчих дроздов.

Глаза м-ль Анжелики до невозможности округлились от изумления; не переставая ворчать, она выхватила у племянника его добычу и засеменила с нею к лампе.

—Это что такое?—спросила она.

—Птицы, тетечка,—ответил Питу.

—А есть их можно?—осведомилась старая дева, которая, как большинство святош, была изрядной чревоугодницей.

—Можно ли их есть?—изумился Анж Питу.—Малиновок и дроздов? Еще как можно!

—Где ты украл этих птичек, негодник?

—Я их не украл, я их поймал.

—Где?

—У мочажки, где же еще.

—Что такое мочажка?

Питу с изумлением воззрелся на тетку: он не мог поверить, будто существуют люди, чье невежество столь велико, что они не знают, что такое мочажка.

—Мочажка?—переспросил он.—Мочажка—это мочажка и есть.

—Вот как? А вот я, негодяй ты этакий, не знаю, что такое мочажка.

Поскольку Питу был весьма сострадателен к невеждам, он пояснил:

—Мочажка—это небольшая лужица, в лесу их тут штук тридцать. Вокруг них устанавливают ловушки, намазанные клеем, птицы прилетают туда попить, ни о чем, глупые, не догадываются и ловятся.

—На что?

—На клей.

—А-а,—протянула тетя Анжелика,—теперь понятно. Но кто тебе дал деньги?

—Деньги?—удивился Питу, у которого, как легко можно понять, никогда в жизни не было ни денье.—Вы спрашиваете, кто мне дал деньги?

—Да.

—Никто.

—А на что ты в таком случае купил клей?

—Я сам его сделал.

—А ловушки?

—Тоже.

—Значит, эти птички...

—Да, тетечка?

—Они тебе достались даром?

—Мне нужно было только наклониться и взять их.

—А часто можно ходить на мочажку?

—Да хоть каждый день.

—Это хорошо.

—Только это нельзя.

—Что нельзя?

—Ходить каждый день.

—Почему?

—Потому что это погубит.

—Что погубит?

—Да мочажку. Понимаете, тетя Анжелика, вот эти птицы, они уже пойманы...

—Ну да.

—И там их больше нет.

—Верно,—согласилась тетя.

Впервые после появления племянника в своем доме тетя Анжелика признала его правоту, и это, пусть непроизвольное, признание обрадовало Анжу Питу.

—Но в тот день, когда нельзя пойти на одну мочажку, можно пойти на другую. А когда нельзя ловить птиц, можно ловить еще кого-нибудь.

—Кого?

—Ну, хотя бы кроликов.

—Кроликов?

—Да. Мясо их едят, а шкурки можно продавать. Одна шкурка стоит два су.

Тетя Анжелика с восхищением смотрела на племянника: она даже не подозревала, что он такой великий экономист. Он буквально вырос в ее глазах.

—Но кроличьи шкурки продавать буду я?

—Конечно,—отвечал Питу.—Моя мама Мадлен тоже продавала их.

В его детском мозгу никогда не возникала мысль, что он может предъявить на свою добычу иные права, кроме участия в ее съедении.

—И когда ты пойдешь ловить кроликов?—поинтересовалась тетя Анжелика.

—Когда у меня будут силки,—отвечал Питу.

—Так сделай их.

Питу замотал головой.

—Но ведь ты сделал клей и ловушки для птиц.

—Клей и ловушки я умею делать, а медную проволоку—нет. Ее надо покупать в лавке.

—И дорого она обойдется?

—Если у меня будет четыре су,—отвечал Питу, посчитав на пальцах,—я сделаю две дюжины силков.

—И сколько же кроликов ты сможешь поймать в эти две дюжины силков?

—Это как повезет—четыре, пять, шесть, а потом силки служат долго, до тех пор, пока их не найдет лесник.

—Вот тебе четыре су,—сказала тетя Анжелика,—ступай купи у господина Данбрена медной проволоки и завтра отправляйся на охоту за кроликами.

—Завтра я их поставлю,—пояснил Питу,—и только послезавтра утром, если что-нибудь попадется, принесу кроликов.

—Ну хорошо, ступай.

Медная проволока в городе оказалась дешевле, чем в деревне, так как арамонские торговцы сами делали закупки товаров в Виллер-Котре. За две дюжины силков Питу заплатил три су. Одно су он возвратил тетке.

Стол неожиданная честность прямо-таки растрогала старую деву. На миг она даже заколебалась, не оставить ли племяннику это неистраченное су. Но, к несчастью для Питу, кто-то расплющил эту монетку молотком, и в темноте она могла бы сойти за два су. М-ль Анжелика решила, что грех отказываться от монеты, которая может принести сто процентов барыша, и опустила ее в карман.

Питу заметил колебания тетки, но не удосужился их проанализировать. Ему и в голову не могло прийти, что его тетя Анжелика способна подарить ему су.

Он принялся за изготовление силков.

Утром он попросил у м-ль Анжелики мешок.

—Зачем тебе?—осведомилась старая дева.

—Нужно,—кратко ответил Питу. Он был полон таинственности.

М-ль Анжелика выдала ему требуемый мешок, положив туда кусок хлеба с сыром, который должен был послужить племяннику, уходящему спозаранку на Волчьи вересковища, завтраком и обедом.

Сама же м-ль Анжелика начала день с того, что ошипала дюжину малиновок, каковых предназначила себе на завтрак и обед. Двух дроздов она отнесла аббату Фортье, а четырех оставшихся продала трактирщику, хозяину "Золотого шара", который заплатил ей по три су за штуку и пообещал в дальнейшем брать по такой же цене столько дроздов, сколько она принесет.

Тетушка Анжелика возвратилась домой, исполненная ликования. Поистине, с появлением Питу на ее дом снизошла небесная благодать.

"Да,—думала она, поедая малиновок, которые оказались жирными, как садовые овсянки, и нежными, как лесные жаворонки,—правильно говорю, что ни одно доброе дело никогда не остается без награды".

Вечером вернулся Анж, притащив восхитительно набитый мешок. На сей раз тетя Анжелика караулила его не за дверью, а на пороге, и встречен мальчик был не затрепачкой, а гримасой, которая могла бы с натяжкой сойти за улыбку.

—А вот и я!—объявил Питу, входя в дом с уверенностью, свидетельствующей, что совесть его чиста и день он провел не зря.

—Ты и мешок!—поправила тетя Анжелика.

—Да, я и мешок,—согласился Питу.

—И что же у тебя в нем?—с любопытством поинтересовалась тетя Анжелика, протягивая к нему руки.

—Буковые орешки*,—сообщил Питу.

—Буковые орешки?

—Ну, конечно. Вы же понимаете, тетя Анжелика, что если бы папаша Ла Женес, лесник на Волчьих вересковицах, увидел, как я без мешка брожу по его участку, то задал бы мне вопрос: "Что ты тут делаешь, побродяжка?" Не говоря уж о том, что он заподозрил бы меня. А вот если бы он задал вопрос, что я тут делаю, увидев меня с мешком, я ответил бы: "Собираю буковые орешки. Это что, запрещено?"—"Нет"—"А если не запрещено, так чего вы ко мне цепляетесь?" Так что у папаша Ла Женеса не было бы никакого права приставать ко мне.

—Выходит, бездельник, ты весь день собирал буковые орешки, вместо того чтобы ставить силки!—возмутилась тетя Анжелика, запутавшаяся в хитростях племянника и решившая, что кроликов ей теперь не видать.

—Вовсе нет, собирая орешки, я ставил силки, и лесник все время видел, что я занят своим делом.

—И он тебе ничего не сказал?

—Нет, сказал: "Передай поклон своей тете Питу". Он вроде славный человек, этот папаша Ле Женес.

—Ну, а как же кролики?—осведомилась тетя Анжелика, которую ничто не могло сбить с главной мысли.

—Кролики? Луна восходит в полночь, а в час я пойду погляжу, не попалось ли что.

—Куда пойдешь?

—В лес.

—Как! В час ночи ты пойдешь в лес?

—Ну да.

—И не боишься?

—А чего бояться?

От храбрости Питу тетя Анжелика пришла в восторг, сравнимый разве с изумлением от его рассуждений.

Действительно, Питу, как всякое дитя природы, не имел даже представления о тех надуманных опасностях, которые так пугают городских детей.

* Для читателей, которые хуже нас знакомы с лесным кодексом, поясняем, что буковые орешки—это плоды бука. Из них получается неплохое масло, и для бедняков они являются своего рода манной, которая, два месяца в году падает им с неба. (прим. автора).

В полночь он вышел из дому и проследовал вдоль кладбищенской ограды, ни разу даже не взглянув на нее. Невинный ребенок, даже в мыслях никогда не оскорбивший ни Бога, ни людей, он боялся мертвых ничуть не больше, чем живых.

Он опасался одного-единственного человека, и этим человеком был папаша Ла Женес; поэтому из предосторожности Питу сделал крюк и прошел мимо его дома. Окна и ставни в нем были закрыты, свет погашен, однако Питу, чтобы убедиться, что лесник дома, а не на участке, залаял по-собачьи, причем проделал он это с таким совершенством, что Ронфло, такса папаши Ла Женеса, поддавалась на обман, залилась лаем и, прикинув носом к щели под дверью, принялась жадно втягивать воздух.

С этой минуты Питу был спокоен. Ежели Ронфло дома, то, значит, и папаша Ла Женес тоже. Ронфло и лесник были неразлучны; стоило увидеть одного, и можно было быть уверенным, что сейчас же появится и вторая.

Убедившись в безопасности, Питу напрямик направился на Волчьи вересковища. Силки были поставлены не зря: в двух из них Питу нашел задохнувшихся кроликов.

Питу сунул их в карман куртки, которая поначалу была ему длинновата, а по истечении года станет коротковатой, и возвратился к тетушке.

Старая дева уже легла, но жадность не давала ей заснуть; подобно Перетте*, она подсчитывала, сколько могут дать ей четыре кроличьих шкурки в неделю, и эти расчеты завели ее так далеко, что она просто не в силах была сомкнуть глаза и потому прямо-таки с нервической дрожью спросила у вернувшегося племянника, что он принес.

—Двух кроликов. Я не виноват, тетя Анжелика, что не принес больше: похоже, кролики папаши Ла Женеса очень хитры.

Но добыча и без того превзошла все надежды старой девы; трепеща от радости, она взяла бедных зверьков, тщательно осмотрела их шкурки, убедилась, что они не повреждены, и заперла их в кладовой, которая никогда, пока за снабжение не взялся Анж Питу, не хранила в себе подобной провизии.

После этого тетя Анжелика ласково велела Анжу ложиться спать, что тот, утомясь за день, тут же и исполнил, не попросив даже поужинать, чем дополнительно порадовал тетушку.

Через день Питу повторил поход в лес, и на сей раз ему повезло больше. Он принес трех кроликов.

Два из них отправились в трактир "Золотой шар", а третий—в церковный дом. Тетя Анжелика была весьма внимательна к аббату Фортье, который при случае рекомендовал ее своим милосердным прихожанам.

Так все продолжалось месяца четыре. Тетя Анжелика была в восторге, а Питу находил свое положение вполне терпимым.

* *Перетта*—героиня басни Жана де Лафонтена "Молочница и кувшин молока". Неся на рынок кувшин молока, Перетта мечтала, как продаст его, на эти деньги купит сотню яиц, разведет кур, затем, продав их, заведет свинью и т. д., однако споткнулась, разбила кувшин и осталась ни с чем.

Да и то сказать, он, хоть и лишившись осенявшей его материнской любви, продолжал и в Виллер-Котре вести почти такую же жизнь, что в Арамоне. Но одно неожиданное событие, которого, в сущности, следовало ожидать, разбило тетушкин горшок с молоком и прекратило лесные походы племянника.

От доктора Жильбера из Нью-Йорка пришло письмо. Ступив на землю Америки, наш философ-путешественник не забывая про своего маленького протеже. Он написал мэтру Ниге, чтобы узнать, следуют ли его инструкциям, а ежели нет, предложил потребовать исполнения условий договора, либо в случае отказа, расторгнуть его.

Положение сложилось тяжелое. На карту была поставлена репутация нотариуса, поэтому он с письмом доктора явился к м-ль Питу и ультимативно предложил исполнить данное обещание.

Отступать было некуда, всякие ссылки на слабость здоровья мальчика опровергались его внешним видом. Питу был длинный и тонкий, однако ведь и деревья в лесу длинные и тонкие, но это не мешает им превосходно чувствовать себя.

М-ль Питу попросила неделю, чтобы мысленно настроиться на выбор ремесла для своего племянника.

Питу впал в такую же унылость, что и его тетка. Свое нынешнее положение он считал наилучшим и никаких перемен не желал.

Всю эту неделю не было и речи ни о мочажках, ни о браконьерстве; впрочем, уже настала зима, а зимой птицы могут утолять жажду где угодно, и к тому же пошел снег; по снегу же Питу не осмеливался ставить силки. Дело в том, что на снегу остаются следы, а у Питу были такие лапищи, что по их отпечаткам папаша Ла Женес в один миг догадался бы, какой коварный вор опустошает его участок.

За эту неделю старая дева вновь выпустила когти. Тетя Анжелика стала снова такой, какой ее узнал с самого начала Питу и которая нагнала на него столько страха: ведь только корысть, извечный движитель всей ее жизни, принудила старую лицемерку притворяться, будто у нее бархатные лапки.

Чем ближе подходил срок, тем ужасней становилось настроение старой девы. На пятый день Питу уже пламенно желал, чтобы тетка немедленно выбрала какое-нибудь ремесло; ему было все равно какое, лишь бы перестать быть козлом отпущения, лишь бы старая святоша не срывала на нем злость.

И вдруг в ее воспаленном, возбужденном мозгу блеснула прекрасная мысль. И эта мысль мгновенно вернула ей покой, которого она не имела уже шесть дней.

А состояла эта мысль в том, чтобы упросить аббата Фортье принять бедняжку Питу без всякой платы к себе в школу, а кроме того, добыть для него стипендию в семинарии, установленную его светлостью герцогом Орлеанским. При таком исходе учение не стоило бы ни гроша м-ль Анжелике, а г-н Фортье, не говоря уже о том, что старая ханжа в течение полугода снабжала его дроздами и кроликами, просто обязан был что-то сделать для племянника той, кто сдает внаем стулья у него в церкви.

Так оно и случилось. Анж был принят аббатом Фортье без всякой мзды. Этот аббат был славный человек, совершенно бескорыстный, щедро раздававший свои знания нищим духом, а свои деньги просто нищим; он был неуступчив лишь в одном-единственном пункте: солецизмы выводили его из себя, а от варваризмов он впадал в ярость. Тут для него не существовало ни друга, ни врага, ни бедного, ни богатого, ни ученика своекоштного, ни ученика бесплатного, и за эти провинности он карал с римской беспринципностью и лакедонским стоицизмом, а так как рука у него была сильная, то карал он крепко. Это обстоятельство было известно родителям, и им предстояло выбирать: вручать или не вручать своих чад попечением аббата Фортье, поскольку, вручив, они их полностью отдавали в его власть; на все материнские ходатайства аббат отвечал девизом, который велел выгравировать на ручках указки и плетки: "Кто крепко любит, тот крепко наказывает". Анж Питу по рекомендации своей тетушки был принят в школу аббата Фортье. Старая ханжа, страшно гордая найденным выходом, который оказался куда менее радостным для Анжа, так как ставил конец его вольготной, независимой жизни, явилась к г-ну Ниге и объявила, что не только исполнила, но и превзошла пожелания доктора Жильбера. В самом деле, тот потребовал, чтобы Анжу Питу дали приличную профессию, а она сделала стократ больше, так как дает ему приличное образование. А главное, где она дает ему образование? В том самом пансионе, где получил оное Себастьян Жильбер, за что доктор платил пятьдесят ливров.

На самом деле Анж получал образование даром, но никакой необходимости сообщать об этом доктору Жильберу не было, а буде это стало бы ему известно, то только лишний раз подтвердило бы беспристрастность и бескорыстие аббата Фортье. Подобно своему небесному владыке, аббат раскрывал объятия со словами: "Пустите детей ко мне"*. Только вот, раскрывая отеческие объятия, он в одной руке держал учебник латыни, а в другой пучок розг, и ежели к Иисусу дети приходили в слезах, а уходили утешенные, то с аббатом все было наоборот: бедные дети шли к нему со страхом, а уходили плачущими.

Новый школяр явился в класс со старым сундучком под мышкой, чернильницей из рога в руке и тремя огрызками перьев за ухом. Сундучок должен был заменить, насколько это возможно, пропитр. Чернильницу Анжу подарил бакалейщик, а огрызки перьев м-ль Анжелика прибрала у мэтра Ниге, когда делала ему визит.

Анж Питу был принят с той братской нежностью, которая зарождается в детстве и упрочивается во взрослом возрасте, то есть ошикан. Весь класс принялся насмехаться над ним. При этом два школяра были оставлены после уроков из-за его желтых волос, а два других из-за его великолепных колен, о которых мы уже имели возможность упомянуть. Один из этих

* А. Дюма не совсем точно цитирует Евангелие от Матфея (19, 14), Марка (10, 14), Луки (18, 16).

двоих сказал, что ноги Питу похожи на колодезную веревку, на которой завязан узел. Шутка имела успех, обошла по кругу весь стол, возбудила всеобщую веселость и, как следствие, раздражение аббата Фортье.

В конечном итоге, выходя в полдень, то есть после четырех часов занятий из класса, Питу, который не сказал никому ни слова и вообще ни чем иным не занимался, кроме как зевал за своим сундучком, уже имел шестерых врагов, тем более ожесточенных, что ни одному из них он ничего худого не сделал. Над печкой, которая в классе представляла алтарь отечества, эта шестерка принесла торжественную клятву—кто вырвать у Питу его желтые космы, кто поставить под его синими глазами не менее синие фонари, кто выпрямить его кривые ноги.

Питу не имел ни малейшего представления об этих враждебных приготовлениях. Выходя, он спросил у соседа, почему шестеро их товарищей остаются в классе, когда все уходят.

Сосед посмотрел сквозь Питу, обозвал его ябедником и удалился, не пожелав продолжить разговор.

Питу задумался, почему его обозвали ябедой, хотя за все четыре часа занятий он ни разу не открыл рта. Однако за это время он наслушался столько непонятного и от учеников и от аббата Фортье, что отнес обвинение соседа к числу вещей слишком возвышенных для его понимания.

Когда Питу в полдень возвратился домой, тетя Анжелика, горя желанием тоже приобщиться к учению, ради которого она принесла столь огромные жертвы, поинтересовалась у племянника, чему он научился.

Питу ответил, что он научился молчать. Ответ был достоин пифагорейца*. Только пифагореец дал бы его посредством знаков.

На вечерние занятия новый ученик шел без особого отвращения. Если утренние занятия ученики посвящали изучению внешности Питу, то вечерние занятия учитель посвящал исследованию его духовных качеств. Проведя же это исследование, аббат Фортье пришел к твердому убеждению, что у Питу есть все предрасположения стать Робинзоном Крузо, но крайне мало шансов стать Фонтенелем или Боссюз**.

В продолжение всего вечернего урока, куда более тягостного для будущего семинариста, нежели утренний, школяры, наказанные из-за него, неоднократно показывали ему кулаки. Во всех странах, как цивилизованных, так и нецивилизованных

* Пифагорейцы—религиозно-этическое и философское братство, основанное древнегреческим мыслителем, мистиком и математиком Пифагором Самосским (VI в. до н. э.). Одним из требований, предъявляемых к членам братства, было умение молчать и обходиться минимумом слов.

** Фонтенель, Бернар ле Бовье де (1657—1757)—французский писатель, популяризатор научных знаний. Боссюз, Жак Бенинь (1627—1704)—епископ, писатель, автор историко-философских трудов, проповедей и надгробных речей, которые считались образцами стиля.

демонстрация кулака воспринимается как угроза Питу решил быть настороже.

Наш герой не ошибся: едва он вышел или, вернее сказать, покинул пределы дома аббата, шестеро учеников, оставленных после уроков, возвестили Питу, что он им заплатит за эти два часа незаконного заключения.

Питу понял, что речь идет о кулачном поединке. Хоть он еще не изучал шестую книгу Энеиды, в которой юный Дарет и старец Энтелл упражняются в кулачном бое под громкие рукоплескания быстроногих троянцев, но этот вид развлечения был ему знаком, поскольку не был чужд поселянам из его родной деревни. Он объявил, что готов сойтись на ристалище сначала с тем из противников, который пожелает выйти первым, а затем поочередно с остальными пятью. Это заявление снижало ему всеобщее уважение.

Предложенные Питу условия поединка были приняты. На ристалище был образован круг, и бойцы, скинув—один куртку, а второй кафтанчик,—вступили в него и встали друг против друга.

Мы уже говорили о руках Питу. Созерцание его рук не доставляло удовольствия, но еще меньше удовольствия доставляло соприкосновение с ними. Руки его кончались кулаками величиной с детскую голову, и хотя бокс еще не получил распространения во Франции и, следовательно, Питу не имел возможности ознакомиться с началами этого искусства, тем не менее он сумел нанести такой точный удар первому противнику, что вокруг глаза у того мгновенно появился темно-синий круг, геометрически столь совершенный, как если бы его очертил с помощью циркуля опытейший математик.

На ристалище вступил второй противник. Следовательно, для Питу это был второй поединок, но на сей раз его соперник был куда слабее, чем первый. И сражение было куда более коротким. Чудовищный кулак врезался в нос, и почти в ту же секунду из ноздрей, подвергшихся воздействию кулака, двойным потоком хлынула кровь.

Третий отделался легче всех: у него был выбит зуб. Трое остальных заявили, что не имеют к Питу никаких претензий.

Питу прошел сквозь толпу, которая расступилась перед ним с почтением, достойным триумфатора, и, целый и невредимый, возвратился к родимому, а верней будет сказать, к теткинскому очагу.

На следующий день, когда трое учеников пришли в школу—один с подбитым глазом, другой с расквашенным носом, а третий со вздувшейся губой, аббат Фортье произвел дознание. Но школяры держались молодцом. Ни один из пострадавших не показал себя болтливым, и только назавтра аббат Фортье узнал—причем не прямым путем, а от случайного свидетеля драки, не имеющего никакого касательства к школе,—что это Питу произвел такие повреждения на физиономиях его учеников, повреждения, разбору причин которых он посвятил весь вчерашний день.

Надо иметь в виду, что аббат Фортье отвечал перед родителями не только за нравственные успехи своих учеников, но и за их телесную сохранность. Три семейства подали наставнику жалобу. Следовало дать им удовлетворение. И Питу трижды оставался после занятий: один день за глаз, один день за нос, один день за зуб.

В один из этих трех дней м-ль Анжелике пришла хитроумная мысль. А состояла она в том, чтобы лишать Питу обеда всякий раз, когда аббат Фортье будет оставлять его после уроков. Такой порядок несомненно должен был пойти на пользу Питу, поскольку вынуждал дважды подумать, прежде чем совершить проступок, влекущий двойную кару.

Да только вот Питу никак не мог взять в толк, почему его обзвали ябедой, хотя он не промолвил ни слова, и почему наказали за то, что он побил намеревавшихся побить его, но если бы он все в мире понимал, то жизнь утратила бы для него одну из главнейших своих прелестей—таинственность и непредсказуемость.

Питу три дня сидел в классе после уроков, и все эти три дня довольствовался лишь завтраком и ужином.

Нет, довольствовался—не совсем то слово, поскольку Питу отнюдь не был доволен этим, но язык наш так скуден, а Академия* так строга, что приходится *довольствоваться* тем, что у нас есть.

Но зато наказание, которое претерпел Питу, ни словечком не выдав, что он всего-навсего противостал нападению, снискало ему всеобщее уважение. Правда, три нанесенных им могучих удара кулаком, надо полагать, тоже в какой-то мере способствовали этому уважению.

Начиная с этого дня, жизнь его стала схожа с жизнью остальных школяров с той лишь незначительной разницей, что остальным могло повезти или не повезти на письменных работах, тогда как Питу неизменно оказывался в числе пяти или шести последних, вследствие чего оставался после уроков вдвое чаще, чем любой другой из его одноклассников.

Правда, следует сказать, что в характере Питу была одна особенность, проистекающая от начального образования, какое он получил, или верней, не получил, особенность, которой он обязан, по меньшей мере, третьей части наказаний, а именно прирожденная склонность к животным.

Пресловутый сундучок, который тетушка Анжелика одарила именем попитра, являл собой благодаря объемистости и множеству перегородок, устроенных внутри него Анжем Питу, некое подобие Ноева ковчега, где обитало по паре всевозможных тварей—ползающих, скачущих и летающих. В нем имелись ящерики, ужи, муравьиные львы, жуки, лягушки, и все эти создания были настолько дороги Питу, что ради них он неоднократно терпел более или менее суровые наказания.

Обитателей своего зверинца Питу набирал во время воскресных прогулок. Ему очень хотелось иметь саламандр, которые

* Основной задачей Французской Академии было составление нормативного словаря французского языка.

были весьма популярны в Виллер-Котре, поскольку были гербом Франциска I и тот велел извять их на всех трубах; Питу удалось их раздобыть, и только одна деталь весьма его озадачивала, хотя в конце концов он опять отнес ее к числу вещей, превосходящих его разумение; дело в том, что саламандр он неизменно находил в воде, меж тем как поэты утверждают, будто те живут в огне. Это несоответствие преисполнило Питу, обладающего точным умом, глубочайшим презрением к поэтам.

Заполучив двух саламандр, Питу взялся за поиски хамелеона, однако на сей раз все его старания оказались тщетны и не принесли никаких плодов. В результате этих своих бесплодных поисков Питу пришел к заключению, что либо хамелеонов вообще не существует, либо они обитают в других широтах.

И на том Питу прекратил поиски хамелеона.

Причиной же остальных двух третей наказаний, которым подвергался Питу, были чертовы солецизмы и проклятые варваризмы, пышно расцветавшие в сочинениях Питу, словно куколь на пшеничном поле.

Что же касается четвергов и воскресений, то есть дней, когда занятий не было, то Питу проводил их или на мочажках, или за браконьерством, но поскольку он вырос, вымахал за пять футов четыре дюйма ростом и достиг шестнадцатилетия, появилось некое обстоятельство, которое несколько отвлекло его от излюбленных занятий.

По дороге к Волчьим вересковицам находится деревня Пислэ, быть может, та самая, что дала фамилию прекрасной Анне д'Эйи, возлюбленной Франциска I.

В деревне Пислэ была ферма папаша Бийо, и на пороге этой фермы почти всякий раз, когда мимо проходил Анж Питу, по чистой случайности оказывалась прелестная девушка, свежая, игривая, жизнерадостная, крестильное имя которой было Катрин, но которую чаще всего называли малышка Бийо.

Питу начал с того, что стал кланяться малышке Бийо, затем понемножку до того осмелел, что поклон сопровождал улыбкой, а однажды дошел до неслыханной отчаянности, остановился и, покраснев, выпалил фразу, казавшуюся ему вершиной вольности:

—Добрый день, мадемуазель Катрин!

Катрин была славная девушка, она ответила Питу как старому знакомому. Она действительно давно знала его, так как чуть ли уже не года три наблюдала, как он, самое меньшее, раз в неделю, проходит мимо фермы то в сторону леса, то из леса. Но Катрин обращала внимание на Питу, а Питу на Катрин не обращал. Дело в том, что в самом начале Катрин было шестнадцать лет, а Питу четырнадцать. Ну а теперь мы видели, что случилось, когда Питу тоже достиг шестнадцати лет.

Постепенно Катрин начала оценивать таланты Питу, поскольку он приобщал ее к своим талантам, одаривая самыми красивыми птицами и самыми жирными кроликами. Она осыпала Питу похвалами, а Питу, падкий на похвалы, тем более что ему редко приходилось выслушивать их, поддался очарованию новизны и, вместо того чтобы продолжить путь до Вол-

чьих вересковищ, как сделал бы он это прежде, и посвятить день сбору буковых орешков и установке силков, застревал на полдороге и терял время, бродя вокруг фермы папаши Бийо в надежде хоть на секунду увидеть Катрин.

Результатом этого стало чувствительное уменьшение количества кроличьих шкур и почти полное отсутствие малинок и дроздов.

Тетя Анжелика сетовала. Питу отвечал, что кролики стали недоверчивы, а птицы, которые теперь научились распознавать ловушки, утоляют жажду с листиков и в дуплах деревьев.

При такой столь далеко продвинувшейся сообразительности кроликов и хитрости птиц, каковые тетя Анжелика связывала с успехами философии, ее утешало лишь одно: племянник получит стипендию, поступит в семинарию и через три года выйдет из нее аббатом. Дело в том, что м-ль Анжелика всегда мечтала стать домоправительницей аббата.

И эта честолюбивая мечта должна была в скором времени осуществиться, поскольку, став аббатом, Анж Питу просто не посмел бы не взять свою тетушку домоправительницей, учитывая все то, что она сделала для него.

Блаженные мечты старой девы омрачала одна-единственная тучка: однажды она заговорила об этой своей надежде с аббатом Фортье, и тот, покачав головой, сказал:

— Дорогая мадемуазель Питу, чтобы стать аббатом, вашему племяннику надо бы поменьше заниматься естественной историей, и побольше "De viris illustribus" или "Selectoe profanis scriptoribus"*.

— Как это понимать? — осведомилась м-ль Анжелика.

— А так, что он допускает слишком много варваризмов и бесконечно больше солецизмов, — отвечал аббат Фортье.

После такого ответа м-ль Анжелика пребывала в самой тягостной неопределенности.

IV. Какое влияние могут оказать на жизнь человека три варваризма и семь солецизмов

Эти подробности необходимы, чтобы достаточно сообразительный читатель, каким мы его и считаем, мог представить себе весь ужас положения, в котором оказался внезапно вышвырнутый из школы Анж Питу.

В ушах у него еще гремели гневные слова аббата Фортье; уныло свесив одну руку, а второй придерживая на голове сундучок, он брел по дороге к кварталу Пле в задумчивости, которую можно определить лишь как высшую степень ошеломления.

И вдруг в мозгу Питу забрезжила некая мысль, и с уст его сорвались два слова, выражающие ее:

— Господи, тетка!

* "О прославленных мужах", "Выбранные места из языческих авторов" (лат.).

Ведь надо же будет сказать м-ль Анжелике, что все ее надежды рухнули!

О планах старой девы Анж узнал благодаря тому же способу, каким умные, верные собаки узнают о планах своих хозяев, то есть наблюдая за ее лицом. Это путеводитель, столь же драгоценный, как инстинкт: он никогда не обманывает. А вот умозаключения могут оказаться ложными из-за вмешательства воображения.

Поводом для этих размышлений Анжа Питу и жалобного возгласа, изданного им и приведенного нами чуть выше, было то, что он понимал, как разочарована будет старая дева, когда узнает ужасную новость. И еще то, что он на собственном горьком опыте знал, каковы бывают последствия разочарований м-ль Анжелики. Только на сей раз причина разочарования была неизмеримо огромней, а следовательно, и последствий надо ждать неизмеримо более страшных.

Вот под каким жутким впечатлением Питу вступил в Пле. На путь от ворот дома аббата Фортье до их улицы он затратил почти четверть часа, хотя всего-то надо было пройти сотни три шагов.

В этот миг часы на церкви пробили час.

Питу сообразил, что его последний разговор с аббатом и медлительный путь к дому заняли шестьдесят минут, иначе говоря, он на тридцать минут опоздал к тому крайнему сроку, после которого в доме тети Анжелики обеда ему уже не полагалось.

Мы уже упоминали, каким благотворным способом старая дева пыталась воздействовать на племянника, дабы он, во-первых, старательно учился, а во-вторых, на шалил, и благодаря этому ей удавалось за год сэкономить на бедняге Питу, худобно, до шестидесяти обедов.

Но на сей раз опоздавшего школяра беспокоили не сожаления о скудном тетушкином обеде; как бы ни был скуден завтрак, у Питу было слишком тяжело на сердце, чтобы он заметил, что желудок его пуст.

Существует чудовищная пытка, хорошо знакомая школьнику, будь он даже величайшим лодырем, и пытка эта—противоестественное безделье после исключения из школы, вынужденный и бессрочный отдых, к которому он приговорен, меж тем как его соученики идут с книгами под мышкой заниматься своим каждодневным трудом. В такие дни прежде столь ненавистная школа становится желаннейшим местом в мире. Школьник самым серьезным образом раздумывает о столь важных вещах, как переводы с латыни и на латынь, которыми там занимаются в его отсутствие, хотя прежде он никогда о них не думал. И вообще, у школьника, изгнанного своим наставником, есть изрядное сходство с тем, кто отлучен от церкви за неверие и больше не имеет права войти в храм: он тоже умирает от желания прослушать мессу.

Вот почему по мере приближения к теткиному дому будущее бездельное прозябание в этом жилище все больше ужасало беднягу Питу. Вот почему впервые в жизни школа ему представи-

лась земным раем, откуда только что его изгнал карающий ангел аббат Фортъе, правда, не огненным мечом, а плеткой.

И хотя Питу плелся медленней нельзя, хотя после каждых десяти шагов делал передышки, которые становились тем продолжительней, чем ближе была цель, все же в конце концов он добрал до порога этого столь пугающего его дома.

—Ах, тетя Анжелика, я так болен,—сразу же объявил он, желая предотвратить любые насмешки или попреки, а может быть, даже пробудить к себе сострадание.

—Ну, ну,—заметила м-ль Анжелика,—мне известна эта болезнь. Ее легко можно вылечить, передвинув стрелки часов назад на полтора часа.

—Вовсе нет,—горестно промолвил Питу —Я ничуть не хочу есть.

Тетя Анжелика удивилась и даже, можно сказать, встревожилась; болезнь вызывает тревогу и у любящих матерей, и у мачех: у любящих матерей из-за опасности, которую она несет, у мачех из-за опустошений, которые она производит в кошельке.

—Ну-ка, говори, что с тобой?—спросила старая дева.

После этих слов, произнесенных тем не менее без всякой нежности и сочувствия, Анж Питу заревел, и надо признать, что гримасы, которые он корчил, заливаясь горючими слезами, были самые безобразные и противные, какие только можно представить.

—Ах, милая тетечка, со мною случилась страшная беда!—объявил он.

—Какая еще беда?—бросила старая дева.

—Господин аббат выгнал меня!—возопил Анж Питу, взрываясь громогласными рыданиями.

—Выгнал?—переспросила м-ль Анжелика, словно еще не поняв, в чем дело.

—Да, тетечка.

—Откуда?

—Из школы.

И Питу зарыдал еще громче.

—Из школы?

—Да, тетечка.

—Насовсем?

—Да, тетечка.

—Значит, не будет ни экзаменов, ни конкурса, ни стипендии, ни семинарии?

Теперь Питу уже не рыдал, а прямо-таки выл. М-ль Анжелика смотрела на него с такой пронзительностью, словно хотела проникнуть в глубины его сердца и вычитать там причину изгнания.

—Готова поклясться, что вы прогуливали уроки и бродили вокруг фермы папаши Бийо. Фи, и это будущий аббат!

Анж замотал головой.

—Вы лжете!—взвизгнула старая дева, гнев которой возрастал по мере того, как она прониклась пониманием, что положение сквернее некуда.—Лжете! В воскресенье вас видели в Аллее вздохов с этой девицей Бийо.

Лгала-то сейчас м-ль Анжелика, но во все времена ханжи уверены в своем праве лгать, опираясь на правило иезуитов: "Дозволено утверждать ложь, дабы вынудить правду".

—Да не могли меня видеть в Аллее вздохов,—запротестовал Анж,—мы прогуливались у Оранжереи.

—Ага, негодник! Вот видите, вы были с нею!

—Да нет, тетечка,—покраснев, отвечал Анж,—мадемуазель Бийо тут вовсе ни при чем.

—Вот-вот, называйте ее мадемуазель, чтобы скрыть свое порочное поведение! Но я все расскажу исповеднику этой кривляки.

—Тетечка, но я клянусь вам, мадемуазель Бийо вовсе не кривляка.

—А, так вы защищаете ее, вместо того чтобы повиниться! Я вижу, вы спелись с нею. Чего уж лучше! Куда мы катимся, Господи Боже ты мой! Шестнадцатилетние дети!

—Тетечка, да вовсе мы не спелись с Катрин. Напротив, Катрин всегда прогоняет меня.

—Ага! Вот вы и выдали себя! Сейчас вы назвали ее просто Катрин. Конечно, она, лицемерка, прогоняет вас... когда люди смотрят.

—Гляди ты,—протянул Питу, которого вдруг осенило.—Ведь верно. А мне и в голову даже не приходило!

—Ага, вот видишь,—бросила старая дева, использовав простодушное восклицание племянника для того, чтобы убедить его, что он в сговоре с малышкой Бийо.—Ну, а теперь позвольте мне заняться этим делом. Господин Фортве—ее исповедник. Я попрошу его поддержать тебя две недели взаперти на хлебе и воде. Что же касается мадемуазель Катрин, то если для того, чтобы умерить ее страсть к тебе, потребуется монастырь, что ж, она отведает его. Мы запрем ее в монастырь Сен-Реми.

Последние слова старая дева произнесла с такой властью и с такой убежденностью в своем всемогуществе, что Питу затрепетал.

—Милая тетечка,—молитвенно сложив руки, обратился он к ней,—клянусь вам, вы ошибаетесь, если думаете, будто мадемуазель Бийо хоть капельку повинна в моем несчастье.

—Разврат—родитель всех пороков,—наставительно обрезала его м-ль Анжелика.

—Тетечка, да повторяю вам: господин аббат выгнал меня не потому, что я порочный. Он выгнал меня, потому что я допускаю слишком много варваризмов, а также из-за солицизмов, которые время от времени тоже случаются у меня. И он сказал, что это лишает меня всяких шансов на получение стипендии в семинарии.

—Ты говоришь, всяких шансов? Значит, ты не получишь стипендии и не станешь аббатом? И значит, я не стану твоей домоправительницей?

—Да, тетечка, да.

—А кем же ты тогда станешь?—в смятении поинтересовалась старая дева.

— Не знаю. — Питу скорбно возвел глаза к небу. — Как будет угодно Провидению, — добавил он.

— Провидению? А, теперь я понимаю, в чем дело! — вскричала старая дева. — Ему задурили голову, научили новым идеям, внушили принципы философии.

— Нет, тетечка, так не бывает, потому что философию начинают учить, только когда закончат риторику, а я все никак не могу покончить с тривиумом*.

— Смейся, смейся. Я говорю не про эту философию. Я имею в виду философию философов, негодник ты этакий! Я имею в виду философию господина Аруз**, философию господина Жан Жака, философию господина Дидро, который написал "Монахиню".

М-ль Анжелика перекрестилась.

— "Монахиню"? — переспросил Питу. — А что это такое?

— Ты читал ее, несчастный?

— Тетечка, клянусь, нет!

— Вот почему ты и не хочешь стать служителем церкви.

— Тетечка, ведь все же не так: это церковь не хочет, чтобы я стал ее служителем.

— Нет, это решительно не ребенок, это змееныш! Он дерзит мне.

— Да нет же, тетечка, я просто объясняю.

— Все, он погиб! — вскричала м-ль Анжелика, выказывая все признаки глубокого упадка сил, и побрела к своему любимому креслу.

На самом-то деле возглас — "Он погиб!" — означал совсем другое, а именно: "Я погибла!"

Опасность была неминуема. Тетя Анжелика приняла окончательное решение, вскочила, как будто ее подбросила пружина, и помчалась к аббату Фортье, чтобы попросить у него объяснений, а главное, попытаться умиловить его.

Питу следил за тетушкой до самой двери, а когда она выскочила, сам вышел на порог и увидел, как она стремительно — он даже и заподозрить не мог, что она способна развить такую скорость, — несется в сторону Суассонской улицы. С этой минуты у него не было никаких сомнений насчет намерений м-ль Анжелики: она направлялась к его наставнику.

Это означало, по меньшей мере, четверть часа покоя. И Питу решил воспользоваться этой четвертью часа, дарованной ему Провидением. Он собрал остатки тетушкиного обеда и покормил ящериц, наловил мух для муравьев и лягушек, а затем открыл хлебный ларь и шкаф и позаботился о еде для себя, так как вместе с одиночеством к нему вернулся аппетит.

Произведя все вышеназванные действия, он встал в дверях, чтобы не прозевать возвращения своей второй матери.

М-ль Анжелика величала себя второй матерью Питу.

* Тривиум — в средние века первый цикл образования (семи свободных искусств), включавший грамматику, риторику и диалектику.

** Настоящая фамилия Вольтера.

Он стоял и смотрел, и вдруг в переулке, идущем от Суассонской улицы к Лорметской, показалась красивая девушка. Она сидела на крупной лошади, везущей две корзины; в одной были куры, во второй—голуби. И эта девушка была Катрин. Завидев Питу, торчавшего на пороге теткиного дома, она остановила лошадь.

Питу по своему обыкновению покраснел и замер с открытым ртом, восхищенно взирая на м-ль Бийо, поскольку для него она была высшим воплощением женской красоты.

Катрин стрельнула глазками вдоль улицы, чуть заметным кивком поздоровалась с Анжем и продолжила свой путь.

Питу ответил ей, дрожа от радости.

Эта сцена заняла ровно столько времени, сколько нужно, чтобы долговязый школяр, восхищенно взиравший на м-ль Катрин и продолжавший созерцать то место, где только что находилась она, прозевал возвращение тетки; та как раз вернулась от аббата Фортье и, побледнев от гнева, схватила племянника за руку.

Анж, внезапно вырванный из дивных мечтаний электрическим ударом, ибо именно такое действие всегда производило на него прикосновение м-ль Анжелики, очнулся, перевел взгляд с гневного тетушкиного лица на собственную руку и с ужасом обнаружил в ней огромный ломоть хлеба, намазанный толстым слоем сливочного масла и накрытый солидным куском белого сыра.

М-ль Анжелика издала яростный вопль, Питу ойкнул от страха. Анжелика подняла руку, Питу наклонил голову. Анжелика зацепилась рукавом за стоящую рядом метлу, Питу уронил бутерброд и, не вдаваясь в дальнейшие объяснения, задал деру.

Два этих сердца без слов поняли—отныне между ними все кончено.

М-ль Анжелика вошла в дом и заперла дверь. Питу, которого скрежет ключа, поворачивающегося в замке, ужаснул как свидетельство продолжающейся бури, понесся с удвоенной скоростью.

А из этого проистекли последствия, которые м-ль Анжелика просто не могла предвидеть, а уж Питу, разумеется, тем более не ожидал.

V. Фермер-философ

Питу бежал, словно за ним по пятам гнались все силы ада, и в мгновение ока очутился за пределами города.

Завернув за угол кладбища, он чуть было не ткнулся носом в лошадиный круп.

—Боже мой!—раздался приятный голосок, так хорошо знакомый Питу.—Да куда же вы так мчитесь, господин Анж? Вы так нас перепугали, что еще немного и наш Каде понес бы.

—Ах, мадемуазель Катрин!—вскричал Питу, отвечая своим мыслям, а вовсе не девушке.—Какое несчастье, мадемуазель Катрин! Господи, какое несчастье!

—Боже, вы меня пугаете,—ответила Катрин, останавливая лошадь.—Что с вами приключилось, господин Анж?

—А то, мадемуазель Катрин,—произнес Питу таким тоном, словно он собирался открыть страшную тайну,—что я никогда не буду аббатом.

Но вместо того чтобы горестно всплеснуть руками, чего ожидал от нее Питу, м-ль Бийо расхохоталась.

—Не будете аббатом?—переспросила она.

—Нет,—ответчал потрясенный Питу,—похоже, этому никогда не бывать.

—Ну, тогда станете солдатом,—бросила Катрин.

—Солдатом?

—Ну да. Господи, да стоит ли отчаиваться из-за такого пустяка! Я-то сперва решила, что вы пришли сообщить о скоропостижной смерти вашей тетушки.

—Но для меня,—с горечью промолвил Питу,—это все равно, как если бы она умерла, потому что она выгнала меня.

—Прошу прощения, но тогда у вас вообще нет причины плакать,—заметила м-ль Бийо и опять залилась прелестным смехом, чем опять же возмутила Питу.

—Вы, я вижу, не поняли, что она выгнала меня!!—воскликнул отчаявшийся школяр.

—Вот и прекрасно,—ответила Катрин.

—Вам легко смеяться, мадемуазель Бийо. Это доказывает, что у вас счастливый характер и беды других людей для вас ничто.

—А кто вам сказал, господин Анж, что я не пожалела бы вас, если бы с вами случилась настоящая беда?

—Вы пожалели бы меня, если бы со мной случилась настоящая беда? Но вам, видно, неизвестно, что я остался без всякой поддержки.

—Тем лучше!—бросила Катрин.

Питу был совершенно сбит с толку.

—А есть!—возопил он.—Ведь мне же нужно есть, мадемуазель, тем паче что я все время хочу есть.

—А вы не хотели бы поработать, господин Питу?

—Работать? Где? Как? Господин Фортье и тетушка всегда твердили мне, что я ни на что не годен. Уж лучше бы меня отдали в учение к столяру или каретнику, чем пытаться сделать из меня аббата! Ах, мадемуазель Катрин,—произнес Питу с жестом отчаяния,—решительно надо мной тяготеет проклятье.

—Увы,—сочувственно вздохнула девушка, зная, как и все в округе, горестную историю Питу.—В том, что вы говорите, дорогой господин Анж, очень много справедливого, но... А почему бы вам не сделать одну вещь?

—Какую?—воскликнул Питу, хватаясь за предложение м-ль Бийо, как утопающий хватается за соломинку.—Скажите, какую?

—Мне кажется, у вас есть покровитель?

—Да, господин доктор Жильбер.

—И вы были школьным товарищем его сына, потому что он учился вместе с вами у аббата Фортье.

—Ну да. И я даже неоднократно выручал его, когда его хотели поколотить.

—Тогда почему бы вам не обратиться к его отцу? Он вас не оставит.

—Я обязательно бы это сделал, знай я, где он находится. Но, может быть, вашему отцу это известно? Он ведь арендует ферму у доктора Жильбера.

—Я знаю только, что часть арендной платы отец посылает в Америку, а часть кладет у нотариуса в Париже.

—В Америку? Это далеко,—произнес со вздохом Питу.

—Вы поедете в Америку?—воскликнула девушка, можно сказать, напуганная решением Питу.

—Я—в Америку? Нет, мадемуазель Катрин, никогда! Ни за что! Если бы я знал, где и как найти себе пропитание, я нашел бы его и во Франции.

—Вот и хорошо,—облегченно вздохнула м-ль Бийо.

Питу опустил глаза. Катрин замолчала. Молчание продлилось некоторое время. Питу погрузился в мечты, весьма поразившие бы аббата Фортье, который был очень логичным человеком.

Мечты эти, родившиеся из некой темной точки, постепенно засверкали, потом стали чуть более расплывчатыми, оставшись, правда, столь же яркими, как зарницы, происхождение которых скрыто, а источник неведом.

Каде тем временем пошел шагом, и Питу побрел рядом с ним, держась рукой за одну из корзинок. Что же касается м-ль Катрин, она тоже, подобно Питу, погрузилась в мечты, не испытывая опасений, что ее скакун понесет. Впрочем, чудовища на дороге не предвиделось, да и Каде был из породы, не имеющей никакого отношения к коням Ипполита*.

Когда лошадь встала, Питу машинально тоже остановился. Они прибыли на ферму.

—А, это ты, Питу!—воскликнул человек могучего сложения, стоявший с гордым видом у корыта, из которого пил его конь.

—Да, господин Бийо, это я.

—С беднягой Питу опять случилось несчастье,—сообщила Катрин, соскакивая с лошади и ничуть не обеспокоенная тем, что юбка ее задралась и присутствующие могут видеть, какого цвета у нее подвязки,—тетка выгнала его.

—А чем он так досадила старой пустосвятке?—поинтересовался фермер.

—Оказывается, я не слишком силен в греческом,—объяснил Питу.

Хвастун, он должен был сказать—в латыни!

—Не силен в греческом?—удивился широкоплечий фермер.—А на кой тебе быть сильным в греческом?

* *Ипполит*—герой греческого мифа, сын афинского царя Тесея. Его мачеха Федра, любовь которой он отверг, оклеветала его перед Тесеем, и тот попросил Посейдона покарать Ипполита. Когда Ипполит ехал на колеснице вдоль берега, из моря вышло чудовище; кони в страхе понесли, сбросили Ипполита на землю, и он погиб.

—Чтобы толковать Теокрита* и читать "Илиаду".

—А какая тебе польза от толкования Теокрита и чтения "Илиады"?

—Это помогло бы мне стать аббатом.

—Вот возьми меня,—сказал г-н Бийо.—Разве я знаю греческий? Разве я знаю латынь? Разве я знаю французский? Разве я умею читать и писать? И что же, по-твоему, это мешает мне сеять, жать и сохранять собранный урожай?

—Ну, так вы же, господин Бийо, не аббат, вы—земледелец, *agricola*, как пишет Вергилий. О *fortunatos nimium***...

—Уж не думаешь ли ты, глупый поповский прихвостень, что земледелец не стоит попа, особенно если у земледельца на виду шестьдесят арпанов земли и припрятана тысяча луидоров?

—Мне всегда говорили, что нет ничего на свете лучше, чем стать аббатом. Правда,—добавил Питу, улыбнувшись самой приятной своей улыбкой,—я не всегда слушал, что мне говорили.

—И был прав, парень. Между прочим, я ведь тоже не больно-то слушаю, когда лезут в мои дела. Мне кажется, в тебе достаточно доброго материала, чтобы стать кем-нибудь получше, чем аббатом, и тебе повезло, что ты не стал им, а погода теперь скверная для аббатов.

—Ну да?—удивился Питу.

—Надвигается гроза,—продолжал фермер.—Так что можешь мне поверить. Ты парень честный, ученый...

Питу, крайне польщенный, поклонился: впервые в жизни его назвали ученым.

—Ты ведь и по-другому можешь заработать на жизнь,—заклучил фермер.

М-ль Бийо, которая снимала с лошади корзины с курами и голубями, с интересом прислушивалась к разговору между Питу и ее отцом.

—Вот заработать-то на жизнь как раз для меня самое трудное.

—Что ты умеешь делать?

—Ловить птиц на клей, ставить силки. А еще я очень хорошо подражаю птичьим голосам. Правда ведь, м-ль Катрин?

—Что правда, то правда. Он свищет, как зяблик.

—Да, но только это не ремесло,—заметил папаша Бийо.

—Так черт меня подери, я о том и толкую!

—О, ты умеешь ругаться? Это уже хорошо.

—Я выругался?—испугался Питу.—Господин Бийо, прошу меня простить.

—Не за что,—успокоил его фермер,—со мной иногда тоже такое случается. Разрази тебя гром небесный!—вдруг повернулся он к своей лошади.—Ты что, не можешь постоять спо-

* Теокрит—древнегреческий поэт (III в. до н. э.), родоначальник буколического жанра в поэзии.

** Трнадцать блаженные (земледельцы) (лат.)—Вергилий, Георг. II, 458.

койно? Ох, уж эти чертовы першероны, вечно они то ржут, то копытом бьют. Ну-ка, скажи мне,—вновь обратился он к Питу,—ты ленив?

—Не знаю, я ведь всю жизнь занимался только латынью да греческим и...

—И что?

—И не скажу, чтобы я в них особенно преуспел.

—Тем лучше,—сделал вывод папаша Бийо.—Это доказывает, что ты не так глуп, как я думал.

От изумления глаза Питу округлились и расширились до невозможности: впервые перед ним гласно исповедывали круг идей, ниспровергавших все теории, которые ему приходилось слышать до сих пор.

—Так вот я спрашиваю, ленив ли ты, скоро ли устаешь?

—А, устаю? Это совсем другое дело. Мне случалось проделывать по десять лье, и я не чувствовал усталости,—заверил Питу.

—Это уже кое-что,—усмехнулся папаша Бийо.—Если бы тебе похудеть еще на несколько фунтов, из тебя получился бы скороход.

—Похудеть?—удивился Питу, взглянув на себя, на свои костистые руки и длинные, похожие на палки, ноги.—Мне кажется, господин Бийо, что я и без того достаточно худой.

—Нет, право, дружище,—рассмеялся фермер,—ты настоящее сокровище.

И опять же впервые в жизни Питу оценили столь высоко. Неожиданности следовали одна за другой.

—Послушай меня,—продолжал Бийо.—Я все-таки хочу знать, ленив ли ты в работе?

—В какой работе?

—Вообще в работе.

—Не знаю, я же никогда не работал.

Катрин расхохоталась, но на этот раз папаша Бийо воспринял ответ Питу крайне серьезно.

—Вот каковы они, эти мерзавцы-попы!—вскричал фермер, грозя кулачищем в направлении города.—Вот как они воспитывают молодежь—в праздности и никчемности! Чем, спрашиваю я вас, такой малый может быть полезен своим братьям?

—Да ничем,—промолвил Питу,—и я это знаю. К счастью, у меня нет братьев.

—Под братьями я подразумеваю всех людей,—пояснил Бийо.—Уж не желаешь ли ты, случаем, сказать, что люди не являются братьями?

—Нет, нет. Кстати, так написано и в Евангелии.

—И равными друг другу,—продолжал фермер.

—А вот это уже другое дело,—не согласился Питу.—Если бы мы были равны с аббатом Фортье, он не бил бы меня так часто плетью и линейкой, а если бы мы были равны с тетей, она не выгнала бы меня.

—А я тебе говорю, что все люди равны,—упорствовал фермер,—и очень скоро мы это докажем тиранам.

—Tigrannis!—повторил Питу.

—И в подтверждение этого,—продолжал Бийо,—я беру тебя к себе.

—Вы берете меня к себе, господин Бийо? Это правда, или вы решили посмеяться надо мной?

—Правда, правда. Что тебе нужно, чтобы прожить?

—Примерно три фунта хлеба в день.

—А кроме хлеба?

—Немножко масла или сыра.

—Я гляжу, прокормить тебя нетрудно,—заметил Бийо.—Ну что ж, прокормим.

—Господин Питу,—вступила в разговор Катрин,—а вам больше ничего не нужно от моего отца?

—Нет, мадемуазель, нет!

—А почему вы сюда пришли?

—Потому что вы сюда ехали.

—Весьма галантный ответ,—улыбнулась Катрин,—но я оцениваю комплименты только так, как они того стоят. Господин Питу, вы пришли сюда, чтобы узнать у моего отца известия про вашего покровителя.

—Верно!—воскликнул Питу.—Странно, но я совсем забыл.

—Ты имешь в виду достойнейшего господина Жильбера?—осведомился фермер, и по тону его было ясно, какое глубокое уважение он питает к своему арендодателю.

—Ну да,—отвечал Питу,—только теперь мне в этом нет нужды. Господин Бийо взял меня к себе, и я могу спокойно подождать его возвращения из Америки.

—В таком случае, дружок, тебе не придется долго ждать: он уже вернулся.

—Да?—удивился Питу.—И когда же?

—Точно не знаю, мне известно только, что неделю назад он был в Гавре, потому как у меня в седельной сумке лежит пакет от него, который он отправил сразу по прибытии и который сегодня утром мне вручили в Виллер-Котре. Вот он, можете убедиться.

—Отец, а кто вам сказал, что он от господина Жильбера?

—Черт побери, но в пакете лежит письмо от него.

—Простите, папа,—улыбнулась Катрин,—но вы, как мне известно, не умеете читать. Я говорю это только потому, что вы недавно хвастались, что не умеете ни читать, ни писать.

—Да, я хвастаюсь этим. Я хочу, чтобы обо мне могли сказать: "Папаша Бийо никому ничем не обязан, даже школьному учителю. Папаша Бийо сам составил себе состояние". Вот чего я хочу. А письмо мне прочел жандармский унтер-офицер, которого я встретил.

—И что же написано в письме? Господин Жильбер по-прежнему доволен нами?

—Суди сама.

Папаша Бийо извлек из кожаного бумажника письмо и протянул дочери.

Катрин пропла:

"Дорогой господин Бийо!

Я прибыл из Америки, где нашел народ, который куда богаче, могущественней и счастливей, чем наш. И причина в том, что он свободен, а мы—нет. Но мы тоже движемся к новой зре, и каждый должен трудиться, чтобы приблизить день, когда воссияет свет. Дорогой господин Бийо, мне известны Ваши правила, я знаю, как велико Ваше влияние на Ваших собратьев-фермеров и на Ваших честных работников и земледельцев, над которыми Вы властвуете, но не как король, а как отец. Внедряйте в них принципы самоотверженности и братства, которые я встретил в Вас. Философия всеобъемлющая, все люди должны прочесть о своих правах и обязанностях при свете ее факела. Посылаю Вам книжицу, в которой изложены все эти обязанности и права. Эта книжица написана мной, хотя на обложке мое имя отсутствует. Распространяйте же принципы, проистекающие из всеобщего равенства, велите читать их вслух в долгие зимние вечера. Чтение насыщает ум, как хлеб насыщает тело.

В ближайшие дни я приеду повидать Вас и предложить Вам новый принцип арендной платы, весьма широко распространенный в Америке. Он заключается в разделе урожая между арендатором и владельцем земли. Мне представляется, что он более соответствует первоуродным законам общества, а главное, Божеским.

Привет и братство!

*Оноре Жильбер,
гражданин Филадельфии "*

—О!—воскликнул Питу.—Мне кажется, это письмо очень хорошо написано.

—Правда, да?—обрадовался Бийо.

—Да, папа,—подтвердила Катрин,—только я сомневаюсь, что мнение лейтенанта жандармов совпадает с вашим.

—Почему же?

—Мне кажется, что это письмо может повредить не только доктору Жильберу, но и вам.

—Ну да,—сказал Бийо,—вечно ты всего боишься. Но как бы то ни было, брошюра у меня, а заодно я нашел тебе дело, Питу: вечером ты будешь нам ее читать.

—А днем?

—Днем будешь пасти овец и коров. А вот и брошюра.

И фермер извлек из седельной сумки брошюру в красной обложке, одну из тех, что в огромном количестве издавались в ту эпоху—с дозволения либо без дозволения властей.

Правда, в последнем случае автор рисковал угодить на галеры.

—Питу, прочти-ка мне название, чтобы я мог говорить о нем в ожидании, когда смогу пересказать содержание книги. Ее ты прочтешь мне позже.

Питу на первой странице прочел слова, смысл которых впоследствии от частого употребления сделался неопределенным и ничтожным, но которые в ту эпоху вызывали глубокий отзвук во всех сердцах: *"О Независимости Человека и Свободе Наций"*.

—Ну, что ты на это скажешь Питу?—поинтересовался фермер.

—Скажу, господин Бийо, что, как мне кажется, независимость и свобода—это одно и то же. Господин Фортё выгнал бы моего покровителя из класса за употребление плеоназма*.

—Не знаю, плеоназм тут или нет, но это книга о чело-бе-ке,—заявил фермер.

—И все равно, папа,—сказала Катрин, побуждаемая паразитическим женским инстинктом,—умоляю вас, спрячьте вы ее! Наделает она вам неприятностей. Мне и видеть-то ее боязно.

—А почему ты думаешь, что у меня будут из-за нее неприятности, если их не было у автора?

—Да откуда вы это знаете, отец? Это письмо написано неделю назад. Неужели пакет из Гавра шел целую неделю? Да, я ведь тоже получила сегодня утром письмо.

—От кого?

—От Себастьяна Жильбера Он шлет приветы своему молочному брату Питу, я просто забыла передать их.

—И что же еще он пишет?

—Что вот уже три дня ждет отца, который должен был приехать в Париж, но так и не приехал.

—Мадемуазель права,—заметил Питу.—Мне тоже такая задержка кажется подозрительной.

—Помолчи-ка, трус, и прочти лучше книгу доктора: тогда ты станешь не только ученым, но и человеком.

Да, именно так выразались в ту пору, бывшую вступлением к десятилетию, в которое французская нация повторила все фазы великой истории греков и римлян: самоотверженность, проскрипции, победы и рабство.

Питу с такой торжественностью принял книгу и сунул ее под мышку, что окончательно завоевал сердце фермера.

—Кстати, ты обедал?—поинтересовался Бийо.

—Нет, сударь,—отвечал Питу с благоговейно-героическим видом, который появился у него, как только он получил книгу.

—Он как раз собирался обедать, но тут его прогнали,—объяснила Катрин.

—Тогда ступай к матушке Бийо, пусть она тебя накормит, а завтра приступишь к работе,—распорядился фермер.

Питу поблагодарил г-на Бийо выразительным взглядом и, сопровождаемый Катрин, проследовал в кухню, место, где самодержавно правила г-жа Бийо.

VI. Буколика

Г-же Бийо было лет тридцать шесть; крупная, круглая, как шарик, свежая, пухлая, добродушная, она непрестан-

* Плеоназм—сочетание однородных по значению слов, лиш-них с точки зрения логики (напр., масляное масло).

но сновала между птичником и голубятней, между овчарней и коровником, проверяла, подобно генералу, инспектирующему квартиры своей армии, кастрюли, горшки, противни, с одного-единственного взгляда определяя, все ли в порядке, и уже по запаху распознавая, достаточно ли положено в еду тимьяна и лаврового листа; по привычке она при этом ворчала, но без всякого намерения уязвить мужа, которого почитала наравне с самыми могущественными монархами, или дочь, которую любила ничуть не меньше, чем г-жа де Севинье* любила г-жу де Гриньян, или поденщиков, которых кормила, как ни одна фермерша на десять лье в округности. Совершенно естественно, что люди домогались работать у г-жи Бийо. Но, к сожалению, как и на небе, среди тех, кто претендовал на работу, было много званных, а мало избранных**.

Как мы видели, Питу, не будучи зван, оказался среди избранных. И эту свою удачу он смог вполне оценить, только когда увидел справа от себя золотистый каравай, слева кувшин сидра, а прямо перед собой кусок вареной свинины. После того как Питу потерял мать, а с той поры прошло уже пять лет, ему ни разу, даже в большие праздники, не доводилось видеть такого обеда.

Исполненный признательности Питу поглощал хлеб со свиной, обильно орошая их сидром, и в нем все возрастали и возрастали восхищение фермером, уважение к его жене и любовь к его дочери. И только одно омрачало настроение Питу: унижительная роль, которую ему предстоит исполнять днем, то есть пасти овец и коров, и которая так мало соответствовала его будущим вечерним занятиям, состоящим в возвещении человечеству самых возвышенных принципов общественного устройства и философии.

Именно об этом размышлял Питу после обеда. Но превосходный обед все-таки оказал воздействие и на эти его мысли. Питу начал смотреть на вещи под другим углом зрения, на который не был способен натошак. Роль охранителя овец и коровьего пастыря, которую он считал ниже своего достоинства, между прочим, исполняли и боги, и полубоги.

Аполлон, оказавшийся в положении, сходном с его, то есть изгнанный Юпитером с Олимпа, точь в точь как Питу был изгнан тетей Анжеликой из Пле, вынужден был заняться пастушеским ремеслом и охранял стада Адмета***. Правда, Адмет был царем-пастухом, но ведь и Аполлон был богом.

* *Севинье*, Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза де (1626—1696)—французская писательница, ее письма к дочери графине де Гриньян считаются образцом эпистолярного жанра.

** Слова из евангельской притчи о работниках в винограднике (Матф. 20, 16).

*** *Адмет* (греч. миф.)—царь города Фер в Фессалии. Аполлон, мстя Зевсу (Юпитеру) за убийство молнией Асклепия, переманил ковавших молнии киклопов и был осужден на это семь лет служить пастухом у Адмета.

Геракл, как следует из мифологии, тоже был в некоторой степени скотником, так как утащил за хвосты коров Герiona*; ну, а тянуть корову за хвост или за рога—всего лишь дело привычки того, кто ее тянет, и это вовсе не повод отказать ему в звании погонщика коров, то есть пастуха.

Более того, возлежащий у подножия бука Титир**, о котором повествует Вергилий и который в таких прекрасных стихах благодарит Августа за дарованный ему отдых, тоже был пастухом. Пастухом был и Мелибей, который так поэтически оплакивает расставание с родным домом.

И хотя оба они достаточно хорошо говорили по латыни, чтобы стать аббатами, тем не менее предпочитали следить за тем, как их козы обглаживают горький рацитник, а не служить обедни и вечерни. Из этого можно заключить, что в положении пастуха есть своя прелесть. А кроме того, кто мешает Питу вернуть званию пастуха утраченное достоинство и неэтичность, кто мешает вызвать на состязание в пении Меналков и Палемонов из окрестных деревень? Питу неоднократно пел в церкви, и если бы однажды не хлебнул вина из церковного сосуда, за что аббат Фортье со своей обычной суровостью сей-же-момент изгнал его из певчих, талант его мог бы весьма развиться. Правда, он не умел играть на свирели, зато умел извлекать любые звуки из манка, а свирель и манок очень похожи. Он не вырезал себе свирель из высоченного тростника, как это сделал поклонник Сиринги***, а только свистки из каштана и липы, но совершенство его свистков как раз снискивало ему шумное одобрение товарищей. Так что Питу вполне мог стать пастухом, не испытывая от этого унижения: он не опустился бы до этого занятия, весьма мало ценимого в новые времена, но возвысил бы его до себя.

К тому же овчарни находились в ведении м-ль Бийо, а это значит, что Питу получал бы распоряжения от Катрин.

Но Катрин, со своей стороны, тоже следила, чтобы достоинство Питу не было унижено.

Вечером, когда он подошел в ней и спросил, в котором часу ему явиться в овчарню, Катрин улыбнулась и ответила:

—А вам не нужно в овчарню.

—Как это?—удивился Питу.

—Я дала понять отцу, что полученное вами образование не позволяет вам исполнять те обязанности, о которых он говорил. Вы останетесь на ферме.

—Прекрасно!—воскликнул Питу.—Значит, мне не придется разлучаться с вами!

Это восклицание произвольно вырвалось у простодушно-го Питу, и только оно вырвалось, как он тут же залился

* Имеется в виду десятый подвиг Геракла, когда он похитил пастухов на о-ве Эрития коров трехголового великана Герiona

** Титир, Мелибей, Меналк, Палемон—имена пастухов персонажей "Буколик" римского поэта Вергилия (70—19 до н. э.).

*** Сиринга (греч. миф)—нимфа, которая, спасаясь от преследований Пана, превратилась в тростник. Из этого тростника Пан сделал себе свирель.

краской до корней волос, а Катрин опустила голову и улыбнулась.

—О, простите, мадемуазель, мне эти невольные слова,— принялся оправдываться Питу.— Не надо на меня сердиться.

—Я нисколько не сержусь на вас, господин Питу,— отвечала Катрин.— То, что вам нравится быть со мной, вовсе не преступление

И они оба замолчали. В этом нет ничего удивительно-го: молодые люди, произнеся так мало слов, сказали очень много.

—Но я же не могу оставаться на ферме без дела. Что я буду делать?—спросил Питу.

—То, что делала я: вести счетные книги, расчеты с поденщиками, записывать расход-приход. Вы ведь умеете считать?

—Я знаю четыре правила арифметики,— гордо объявил Питу.

—Значит, на одно больше, чем я,— сказала Катрин.— Мне так и не удалось продвинуться дальше трех. Вот видите, отец выиграет от того, что вы будете у него счетоводом, я выиграю, вы выиграете, короче, все будут в выигрыше.

—А в чем же ваш выигрыш, мадемуазель?— удивился Питу.

—Во времени, и это время я потрачу на шитье чепцов, чтобы стать еще красивей.

—А по мне,— заявил Питу,— вы и без чепцов красивы.

—Вполне может быть,— рассмеялась девушка,— но это только на ваш вкус. И потом, не могу же я пойти в воскресенье танцевать в Виллер-Котре, не надев чепец. Это только знатные дамы, которым разрешено пудрить волосы, могут ходить простоволосыми.

—А я так считаю, что ваши волосы куда красивей без пудры,— объявил Питу.

—Глядите-ка, вы, кажется, уже начинаете делать мне комплименты.

—Нет, мадемуазель, я не умею их делать, у аббата Фортье этому не учили.

—А танцевать учили?

—Танцевать?— изумился Питу

—Да, танцевать.

—Танцевать у аббата Фортье! Господи Иисусе, мадемуазель! Это же надо, танцевать!..

—Значит, танцевать вы не умеете?—спросила Катрин.

—Нет,— ответил Питу.

—Ну да все равно, вы проводите меня в воскресенье на танцы и поглядите, как танцует господин де Шарни. Он танцует лучше всех молодых людей в округе.

—А кто этот господин Шарни?—поинтересовался Питу.

—Владелец замка Бурсонн.

—И в воскресенье он будет танцевать?

—Разумеется.

—С кем?

—Со мной.

Непонятно почему, сердце Питу сжалось.

—Значит, вы хотите быть красивой, чтобы танцевать с ним?—спросил он.

—С ним, с другими, со всеми.

—Кроме меня.

—А почему, кроме вас?

—Потому что я не умею танцевать.

—Научитесь.

—Ах, мадемуазель Катрин, если бы вы согласились показать мне, уверяю, я научился бы гораздо скорей, чем наблюдая за господином де Шарни.

—Посмотрим,—сказала Катрин.—А пока пора спать. Спокойной ночи, Питу.

—Спокойной ночи, мадемуазель Катрин.

В том, что м-ль Бийо сообщила Питу, было и хорошее, и плохое; хорошее—что он возвысился от пастуха до счетовода; плохое—что он не умеет танцевать, а г-н де Шарни умеет, и мало того, по словам Катрин, даже танцует лучше всех.

Всю ночь Питу снилось, будто он смотрит, как танцует г-н де Шарни, и тот танцует очень скверно.

Назавтра Питу под руководством Катрин приступил к трудам, и тут его поразила одна вещь: оказывается, у иных учителей очень приятно учиться. Через два часа он уже твердо знал все, что ему нужно будет делать.

—Ах, мадемуазель,—промолвил он,—если бы латыни учили меня вы, а не аббат Фортье, уверен, я не допускал бы варваризмов.

—И тогда вы стали бы аббатом?

—Да, стал бы аббатом,—подтвердил Питу.

—Но тогда вас заперли бы в семинарии, куда не может войти ни одна женщина...

—Да-а,—протянул Питу.—Я об этом даже не подумал, мадемуазель Катрин... Нет, лучше уж я не буду аббатом.

В девять вернулся папаша Бийо, а ушел он задолго до того, как поднялся Питу. Каждый день в три утра фермер назначал, куда какой телеге, куда какой лошади ехать, затем до девяти обходил поля, присматривая, все ли на своих местах, у всех ли есть работа; в девять он возвращался позавтракать, а в десять вновь уходил; в час был обед, а после обеда Бийо обходил, как утром, свои владения. Поэтому дела у папаши Бийо шли отлично. Как он сказал, на виду у него было шестьдесят арпанов и тысяча луидоров припрятана. Но вполне вероятно, что если бы хорошо посчитать и если бы Питу провел этот подсчет, не слишком отвлекаясь присутствием м-ль Катрин или мечтами о ней, то у добряка Бийо могло бы оказаться на несколько луидоров и на несколько арпанов больше, чем он признавался.

Позавтракав, фермер предупредил Питу, что первое чтение опуса доктора Жильбера состоится послезавтра в десять утра в риге.

Питу робко заметил, что десять утра—это время мессы, но фермер заявил, что он намеренно выбрал этот час, чтобы испытать своих работников. Мы уже упоминали, что папаша Бийо был философ.

Он питал отвращение к попам, считал их апостолами тирании и, найдя случай воздвигнуть против старого алтаря новый, поспешил этим случаем воспользоваться.

Г-жа Бийо и Катрин рискнули высказать кое-какие возражения, но фермер ответил, что женщины могут, если им хочется, идти к мессе, поскольку религия была придумана для женщин, а вот что касается мужчин, они либо будут слушать произведение доктора, либо могут катиться на все четыре стороны.

У себя дома философ Бийо был крайне деспотичен; у одной только Катрин была привилегия оспаривать его решения, но ежели решение уже прочно укоренилось в его мозгу, ему достаточно было нахмурить брови, и дочь тотчас же замолкала, подобно остальным домочадцам.

Но зато Катрин придумала, как использовать сложившиеся обстоятельства на пользу Питу. Встав из-за стола, она обратила внимание отца, что Питу слишком бедно одет для тех возвышенных материй, которые послезавтра ему предстоит возвещать; он же будет как бы учителем, потому что будет учить, а учитель не должен краснеть перед учениками.

Бийо велел дочери сговориться насчет одежды Питу с г-ном Делоруа, портным из Виллер-Котре.

Катрин была права, и новый наряд был для бедняги Питу отнюдь не предметом излишества: он носил все те же панталоны, что ему заказал пять лет назад доктор Жильбер; панталоны эти, бывшие поначалу чересчур длинными, стали чересчур короткими, но надо сказать, что заботами м-ль Анжелики за год они удлиннились на два дюйма. Что же касается кафтанчика и куртки, то они уже года два как сносились, и теперь их заменила хламида из саржи, в которой наш герой предстал перед очами читателей на первых страницах этого повествования.

Питу никогда не думал о том, как он одет. В доме тетушки Анжелики зеркала отсутствовали, а поскольку в отличие от прекрасного Нарцисса Питу не имел ни малейших поползновенных влюбиться в самого себя, то ему никогда и не приходило в голову глядеться в источники, над которыми он устанавливал намазанные клеем ловушки.

Но после того как м-ль Катрин попросила Питу пойти с ней на танцы, после того как она упомянула об элегантном кавалере де Шарни, рассказала про чепцы, благодаря которым рассчитывает стать еще красивей, он взглянул на себя в зеркало, пришел в уныние от ветхости своего туалета и задумался, чем может он дополнить свою природную привлекательность.

К сожалению, на этот вопрос никакого ответа Питу не сумел найти. Его одежда пришла в полную негодность. Но на новую одежду нужны деньги, а у Питу в жизни не было ни гроша.

Питу знал, что, оспаривая награду за игру на свирели или за стихи, пастушки увенчивали себя розами, однако подумал, и вполне справедливо, что венки, как бы ни был он ему к лицу, лишь подчеркнут убожество его наряда.

В воскресенье в восемь утра Питу сидел и ломал голову, каким образом ему приукрасить себя, и тут произошел прият-

ный сюрприз: вошел Делоруа и повесил на стул небесно-голубые кафтан и панталоны, а также длинный белый в красную полоску жилет.

Следом вошла белошвейка и положила на второй стул сорочку и галстук; ежели сорочка окажется впору, она сошьет поддюжины таких же.

Это был час сюрпризов: за белошвейкой явился шляпник. Он принес маленькую треуголку по самой последней моде, ладную и элегантную, одним словом, какую могли сделать только у г-на Корню, лучшего шляпника Виллер-Котре.

Затем было явление сапожника, положившего к ногам Питу пару сшитых специально для него башмаков с серебряными пряжками.

Питу было потрясен и не мог поверить, что все это великолепие предназначается ему. Даже в самых дерзких своих мечтах он не осмеливался возноситься до подобного гардероба. Слезы навернулись ему на глаза, и он только и смог пробормотать:

—Ах, мадемуазель Катрин, мадемуазель Катрин, я никогда не забуду того, что вы сделали для меня.

Все было прекрасно, все было сшито словно в точности на Питу, кроме башмаков, которые оказались малы, вдвое меньше, чем нужно. Сапожник г-н Лодро снял мерку для них с ноги своего сына, который был на четыре года старше Питу.

Наш герой, узнав о таком своем превосходстве над Лодромладшим, было возгордился, но эта вспышка гордости тут же погасла при мысли, что на танцы ему придется идти либо босиком, либо в старых башмаках, а это ни в коей мере не сочетается с его новым нарядом. Однако тревога его длилась недолго. Дело было улажено с помощью пары башмаков, заказанных для папаши Бийо и принесенных вместе с башмаками Питу. По счастью, у папаши Бийо и у Питу ноги оказались одинакового размера, что постарались скрыть от фермера из боязни, как бы он не оскорбился.

Пока Питу облачался в новый роскошный наряд, вошел парикмахер. Он разделил желтые волосы Питу на три части: средней и самой значительной предназначено было ниспадать в форме хвоста на воротник, а боковым—ниспадать вдоль висков, и это носило не слишком поэтическое название "собачьи уши", но что поделать, таково название.

А сейчас признаемся: когда Питу, причесанный, завитой, с хвостом и собачьими ушами, в голубом кафтане и голубых панталонах, бело-розовом жилете и сорочке с жабо подошел к зеркалу, то не узнал себя и оглянулся, желая увериться, не снизошел ли на землю Адонис* собственной персоной.

Но он был один. И тогда Питу улыбнулся, горделиво вздернул голову, сунул большие пальцы в карманы жилета и, приподнявшись на цыпочки, промолвил:

—Что ж, поглядим на этого господина де Шарни!

* Адонис—в греч. мифологии прекрасный юноша, из-за которого вступили в соперничество богини любви Афродита и владычица подземного царства Персефона.

Надо признать, что в своем новом наряде Анж Питу был похож, как две капли воды, нет, не на пастухов Вергилия, а на пастушков Ватто*.

Питу вошел в кухню—и это был его триумф.

—Матушка, посмотрите, как хорош собой Питу!—воскликнула Катрин.

—Да его и не узнать,—заметила г-жа Бийо.

К сожалению, от общего впечатления девушка перешла к частностям. А ежели разбирать по частностям, то Питу оказался не так хорош, как в целом.

—Смешно,—сказала Катрин,—какие у вас огромные руки!

—Да,—согласился Питу,—руки у меня сильные.

—И большущие колени.

—Это означает, что я еще буду расти.

—Но мне кажется, господин Питу, что вы и так высокий.

—Все равно я еще буду расти, мне же только семнадцать с половиной.

—И у вас совсем нет икр.

—Да, правда. Но ничего, они тоже нарастут.

—Будем надеяться,—сказала Катрин.—Но все равно, вы очень хороши.

Питу отвесил поклон.

—О!—воскликнул фермер, войдя в кухню и оглядев Питу.—Эк, ты славно выглядишь, парень! Очень бы мне хотелось, чтобы твоя тетя Анжелика увидела тебя.

—Мне тоже,—сказал Питу.

—Интересно, что бы она сказала?

—А ничего бы не сказала, разозлилась бы.

—Пала,—с некоторой тревогой поинтересовалась Катрин,—а она не имеет права забрать его у нас?

—Нет, потому что она его выгнала.

—И еще потому, что пять лет уже прошли,—сообщил Питу.

—Какие пять лет?—спросила Катрин.

—На которые доктор Жильбер оставил ей тысячу франков.

—Он оставил твоей тетке тысячу франков?

—Да. Чтобы выучить меня ремеслу.

—Вот человек!—восхитился фермер.—Расскажи такое кому-нибудь, скажут, придумал. Нет, за него,—Бийо решительно махнул рукой,—можно в огонь и в воду!

—Он хотел, чтобы я получил профессию,—сказал Питу.

—И был прав. И вот как извращаются самые лучшие намерения. Человек оставляет тысячу франков, чтобы научить мальчишку ремеслу, а вместо этого его отдают к попу, который собирает сделать из него семинариста. И сколько же она платила этому твоему аббату Фортье?

—Кто?

—Твоя тетка.

—Нисколько не платила.

—Выходит, она прикарманивала двести ливров господина Жильбера?

* *Ватто*, Антуан (1684—1721)—французский художник.

—Наверно.

—Послушай, Питу, я тебе дам хороший совет. Когда эта старая пустосвятка, твоя тетка, окочурится, хорошенько перерой все шкафы, тюфяки да горшки.

—Зачем?—не понял Питу.

—А затем, что ты найдешь клад, старые луидоры, которые она складывала в чулок. Будь уверен, ей не найти такого большого кошелка, чтобы туда поместились ее сбережения.

—Вы так думаете?

—Убежден. Но поговорим об этом в должное время и в должном месте. А сейчас нам предстоит небольшой моцион У тебя с собой книга доктора Жильбера?

—Да, лежит в кармане.

—Отец, вы хорошо подумали?—спросила Катрин.

—Дитя мое, чтобы сделать доброе дело, не нужно долго думать,—ответил ей фермер.—Доктор велел мне читать его книгу, распространять принципы, которые в ней изложены, значит, книга будет прочитана и принципы будут распространены.

—А нам с матушкой можно пойти к мессе?—робко поинтересовалась Катрин.

—Ступайте к мессе,—разрешил Бийо.—Вы—женщины, а мы—мужчины, это совсем другое дело. Пошли, Питу.

Питу поклонился г-же Бийо и Катрин и последовал за фермером, страшно гордый тем, что его называли мужчиной.

VII. Глава, в которой наглядно демонстрируется, что длинные ноги хоть и неуклюжи в танце, зато очень удобны, когда удираешь

Народу в риге собралось много. Работники, как мы уже говорили, почитали Бийо; хотя он часто поругивал их, зато кормил и платил хорошо.

Поэтому все они поспешили явиться по его приглашению.

А ко всему прочему, в ту эпоху среди народа распространилось странное возбуждение, охватывающее нации, когда они приступали к трудам. Незнакомые, новые, почти непонятные речи срывались с уст, которые доселе никогда не произносили их. То были речи о свободе, независимости, равенстве в правах, и, странное дело, речи эти звучали не только в народе, нет, прежде всего их стало произносить дворянство, так что голос народа был всего лишь эхом.

Свет этот, столь яркий, что способен был не только все осветить, но сжечь, пришел с Запада. В Америке взошло это солнце, и, верша свой путь, оно уже готово было разжечь во Франции гигантский пожар, при зареве которого ужаснувшиеся народы прочтут слово "республика", начертанное кровавыми письменами.

Поэтому в ту пору собрания, на которых обсуждались политические проблемы, были не так уж редки, как можно подумать. Люди, явившиеся неведомо откуда, апостолы незримого и почти непостижимого божества, обходили города и веси, рассен-

вая слова свободы. Правительство, которое до сей поры было слепо, начинало прозревать. Те, кто стоял во главе огромного механизма, именуемого государством, чувствовали, что некоторые шестеренки застопорились, хотя не могли понять, откуда идут помехи. Противодействие было в умах, пока еще не в руках; незримое, но существующее, осязаемое, угрожающее, оно было тем более опасным, что, подобно призраку, было неосязаемым: о нем догадывались, однако схватить его не могли.

Более двух десятков батраков—все они зависели от Бийо—собрались в риге.

Вошел Бийо в сопровождении Питу. Присутствующие сняли шапки. Чувствовалось, что эти люди готовы пойти на смерть по одному знаку своего хозяина.

Фермер объяснил им, что книга, которую сейчас будет читать Питу, написана доктором Жильбером Доктора Жильбера хорошо знали в кантоне: ему тут принадлежали многие земли, а самой крупной была ферма Бийо.

Для чтеца приготовили бочку. Питу влез на эту импровизированную трибуну и начал читать.

Замечено, что люди из народа, а я так даже осмелюсь сказать, все люди вообще, слушают с тем большим вниманием, чем меньше понимают. Было очевидно, что общий смысл брошюры ускользает даже от самых просвещенных участников этой сельской ассамблеи, в том числе и от Бийо. Но среди умных фраз сверкали, подобно молниям на темном, заряженном электричеством небе, блистающие слова: свобода, независимость, равенство. И этого оказывалось достаточно; тотчас же начиналась овация, звучали возгласы: "Ура доктору Жильберу!" Когда примерно треть брошюры одолели, было принято решение, что полное ее прочтение произойдет в три приема.

Слушатели получили приглашение собраться в следующее воскресенье, и все пообещали прийти.

Питу читал просто превосходно. Ничто так не воодушевляло, как успех. Чтец получил свою долю аплодисментов, какими было награждено сочинение, и даже г-н Бийо под влиянием обретенного относительного знания ощутил, что в нем рождается нечто вроде уважения к ученику аббата Фортье. Питу же, и без того достаточно высокорослый, внутренне вырос на целых десять локтей.

И лишь одного ему не доставало: м-ль Катрин не видела его триумфа.

Но папаша Бийо, обрадованный воздействием, какое произвело творение доктора Жильбера, рассказал об успехе жене и дочери. Г-жа Бийо промолчала, она была женщина недалекая.

Катрин же грустно улыбнулась.

—Ну, чего ты?—спросил фермер.

—Отец! Отец!—воскликнула Катрин.—Я боюсь, вы этим повредите себе.

—Ну что ты каркаешь? Я предпочитаю слышать жаворонка, а не ворону.

—Отец, меня уже просили предупредить вас, что вы на заметке

—Ну-ка выкладывай, кто тебя предупредил?
—Друг.
—Друг? Такое предупреждение заслуживает благодарности. Скажи-ка мне имя этого друга. Ну, кто он?
—Человек, которому, очевидно, многое известно
—Так кто же он?
—Господин Изидор де Шарни.
—Какого черта этот щеголь суется не в свои дела? Он что, собирается мне указывать, как я должен думать? Или, может быть, я лез к нему с советами, как ему одеваться? Похоже, придется ему намекнуть, что это не его дело
—Отец, я ведь передала вам это не для того, чтобы попугать Совет был дан от доброго сердца.
—Ну, а ты передай ему мой совет.
—Какой?
—Чтобы его собратья постереглись. Их здорово трясут в Национальном Собрании, и там не раз уже поднимался вопрос о фаворитах и фаворитках. Это предупреждение его братцу господину Оливье де Шарни, который, как говорят, в большой милости у Австриячки.

—Отец, вы опытнее нас, поступайте, как вам угодно,—промолвила Катрин.

—И правда,—проворчал Питу, исполнившись после сегодняшнего успеха самоуверенности,—чего это ваш господин Изидор лезет, куда его не просят.

Катрин то ли не расслышала, то ли сделала вид, что не слышит, и на этом тема исчерпалась.

Обедали, как обычно. Никогда еще Питу обед не казался таким долгим. Ему не терпелось показать себя в новом роскошном наряде да еще рука об руку с м-ль Катрин. Да, это воскресенье было для него великим днем, и он поклялся навсегда сохранить в памяти дату 12 июля.

Вышли они около трех. Катрин выглядела очаровательно. Она была прелестная блондинка с черными глазами, тоненькая и гибкая, словно ивы, что склонялись над родником, откуда брали воду для фермы. Сверх того она обладала той природной кокетливостью, что подчеркивает все преимущества женщины, ну а чепец, который она, как похвасталась Питу, сшила сама, был ей чудо как к лицу.

Танцы обыкновенно начинались не раньше шести. В этом бальном зале под открытым небом с эстрадой, сколоченной из досок, играли четверо местных музыкантов, получавших два су шесть денье за контрданс. В ожидании шести часов все прогуливались по пресловутой Аллее вздохов, которую уже упоминала тетя Анжелика, или смотрели, как молодые люди из города и окрестностей играют в мяч под руководством мэтра Фароле, главного зрителя зала для игры в мяч его высочества герцога Орлеанского. Мэтра Фароле слушались, как оракула, и все его решения по части, как отбит, как подан, куда упал мяч, принимались с благоговением, какого и заслуживали его годы и достоинства

Питу, сам не зная почему, очень хотел остаться в Аллее вздохов, но Катрин не для того сшила элегантный чепец, так восхитивший Питу, чтобы оставаться в сени двух рядов высоких буков, образующих эту аллею.

Женщины подобны цветам, что по случайности выросли в тени; они беспрерывно тянутся в свету, им просто необходимо раскрыть свои свежие, благоуханные венчики на солнце, от жара которого они вянут и засыхают.

И только фиалки, если верить поэтам, настолько скромны, что предпочитают укрываться в тени, но зато их бесполезная красота и исполнена грусти.

Катрин достаточно настойчиво тянула за руку Питу в направлении площадки, где играли в мяч. И нам придется признать, что Питу не очень сопротивлялся. Ему так же не терпелось показать свой небесно-голубой кафтан и кокетливую трюфолку, как Катрин—свой чепец и сине-сизый корсаж.

Одно обстоятельство особенно радовало нашего героя и давало ему некоторое преимущество над Катрин. Поскольку Питу до сих пор никто не видел в столь роскошном наряде, то его просто не узнавали, принимая за приезжего, племянника или кузена семейства Бийо, возможно даже, претендента на руку Катрин. Однако Питу весьма старательно способствовал собственному опознанию, так что заблуждение вскорости разъяснилось. Он так усердно кивал друзьям, приподнимал шляпу перед знакомыми, что в конце концов в нарядном поселении узнавали недостойного ученика аббата Фортье и среди гуляющих пошли перешептывания:

—Это Питу! Вы видели Анжа Питу?

Слух такой дошел и до м-ль Анжелики, но поскольку общественное мнение, ежели судить по этому слуху, приняло за ее племянника симпатичного уверенно выступающего юношу, меж тем как она привыкла к тому, что Питу косолапила и ходила при ней, втянув голову в плечи, то старая дева лишь покачала головой и изрекла:

—Ошибаетесь, это не может быть мой лоботряс-племянник.

Двое молодых людей играли в мяч. В этот день состоялось состязание между игроками из Суассона и Виллер-Котре, так что игра проходила весьма азартно. Катрин и Питу встали на уровне веревки, ограждающей площадку, почти у самого подножья откоса; Катрин сочла, что это самая удобная позиция.

Почти в тот же миг раздалась громкая команда мэтра Фароле:

—Оба! Перебегаем!

Игроки побежали—каждый к тому месту, куда упал его мяч. Один из них на бегу с улыбкой поклонился Катрин, она ответила реверансом и зарделась. А Питу почувствовал, как рука Катрин, которую он сжимал в своей, нервно вздрогнула.

Какое-то доселе неведомое ощущение, похожее на испуг, жало сердце Питу.

—Это господин де Шарни?—спросил он, взглянув на свою спутницу.

—Да,—ответила Катрин.—Вы что, знаете его?

—Нет, не знаю, но догадался.

Да, после того, что говорила вчера Катрин, Питу было легко угадать г-на де Шарни.

Игрок, поклонившийся м-ль Бийо, был эlegantный молодой дворянин лет двадцати трех-двадцати четырех, красивый, стройный, изящного вида; движения его отличались той особой ладностью, которая присуща тем, кто с колыбели получил аристократическое воспитание. Все физические упражнения, хорошо получающиеся лишь при условии, ежели ими заниматься с детства, г-н Изидор де Шарни выполнял с отменным совершенством; кроме того, он принадлежал к людям, чья одежда, в точности соответствует своему назначению. Всем была известна эlegantность его охотничьих костюмов; когда он по утрам упражнялся в фехтовальном зале, то мог бы послужить моделью для самого св. Георгия; наконец, костюмы для верховой езды у него были, а верней, казались благодаря манере носить их, какого-то особенного покроя.

В этот день г-н де Шарни, младший брат нашего старого знакомого графа де Шарни, причесанный с небрежностью, присущей утреннему туалету, был одет в светлые облегающие панталоны, которые позволяли вполне оценить все изящество его бедер и икр, тонких и в то же время мускулистых, и эlegantные сандалии для игры, подвязанные ремешками, которые он надел на время игры, сняв туфли на красных каблуках* или сапоги с отворотами; жилет из белого пике облегал его грудь, словно это был корсет; наконец, на откосе стоял его слуга, держащий зеленый кафтан с золотыми галунами.

Оживление от игры на время вернуло ему все очарование и свежесть юности, которые, несмотря на свои двадцать три года, он из-за приверженности к ночным бдениям и кутежам, а также карточной игре, затягивавшейся до рассвета, уже утратил.

Ни одно из его достоинств, оцененных, вне всякого сомнения, Катрин, не ускользнуло и от Питу. Глядя на руки и ноги г-на де Шарни, он начал меньше гордиться щедростью природы, которая помогла ему одержать верх над сыном башмачника, и подумал, что природа могла бы лучше и разумнее распределить на его теле то, чем его наделила.

Действительно, из того излишнего материала, который был затрачен на ступни, руки и колени Питу, природа могла бы вылепить очень красивые ноги. Дело в том, что все у него было не на месте: где должно быть тонко, там оказалось вздутие, где полагается быть выпуклости, там было ровно.

Питу глянул себе на ноги с тем же настроением, с каким олень из басни** смотрел на свои.

—Что с вами, господин Питу?—поинтересовалась Катрин.

Питу ничего не ответил и только вздохнул.

* В дореволюционной Франции право носить туфли на высоких красных каблуках было привилегией дворянства.

** Имеется в виду басня Эзопа "Олень и лев"

Партия кончилась, Виконт де Шарни воспользовался перерывом между партиями, чтобы подойти и поздороваться с Катрин. Он приближался, а Питу видел, как кровь приливает к щекам Катрин; ее рука нервно трепетала в его руке.

Виконт кивнул Питу, а потом со снисходительной вежливостью, с какой в те времена дворяне разговаривали с горожаночками и гризетками, осведомился у Катрин о ее здоровье и пригласил на первый контрданс. Катрин приняла приглашение Молодой дворянин улыбкой поблагодарил ее. Началась следующая партия, его позвали. Он поклонился Катрин и удалился с той же непринужденностью, с какой подошел.

Питу почувствовал, какое преимущество перед ним имеет этот человек, который умеет так разговаривать, улыбаться, подходить, уходить.

Да если бы он даже целый месяц подряд пытался подражать самым простейшим движениям г-на де Шарни, это все равно выглядело бы—и Питу это понимал—самой настоящей пародией.

Если бы сердцу Питу было ведомо чувство ненависти, с этой минуты он возненавидел бы виконта де Шарни.

Катрин наблюдала за игрой в мяч до того момента, когда игроки велели своим слугам подать кафтаны. После этого она направилась на танцы к великому отчаянию Питу, которому, похоже, в этот день предназначено было против своей воли следовать за девушкой всюду, куда она шла.

Г-н де Шарни не заставил себя долго ждать. Незначительная перемена в туалете превратила игрока в мяч в элегантного танцора. Только скрипки подали сигнал, как он, напомнив Катрин о данном обещании, предложил ей руку.

То, что испытывал Питу, когда почувствовал, как рука Катрин высвобождается из его руки, когда смотрел, как зардевшаяся девушка вступает со своим кавалером в круг танцующих, было, надо полагать, самым неприятным ощущением в его жизни. Холодный пот выступил у него на лбу, в глазах появился какой-то туман; он протянул руку и ухватился за балюстраду, так как его колени, несмотря на всю их огромность, стали вдруг ватными.

Ну а Катрин даже не представляла, да, вероятно, и не могла представить, что происходит в сердце Питу; она была счастлива и горда—счастлива, оттого что танцует, горда тем, что танцует с самым красивым кавалером в округе.

Если Питу поневоле пришлось восхищаться тем, как г-н де Шарни играет в мяч, то тем более он должен был отдать должное г-ну де Шарни—танцору. В ту эпоху мода еще не дошла до того, чтобы заставлять людей заниматься вместо танцев маршировкой. Танец был искусством, составляющим часть системы воспитания. Не говоря уже о г-не де Лозене*, который обязан

* Лозен, Антуан герцог де (1632—1723)—один из самых блестящих придворных при дворе Людовика XIV. Из-за авантюрных склонностей неоднократно попадал в опалу, был заключен в Бастилию, десять лет просидел в тюрьме на о-ве Пиньероль.

своим возвышением тому, как он станцевал первую куранту* в кадрили короля, очень многие составили себе положение при дворе благодаря особой манере выпрямлять колено или тянуть носок. В этом смысле виконт был образец изящества и совершенства и мог бы, как Людовик XIV, танцевать в театре, имея все шансы сорвать аплодисменты, хотя он не был ни королем, ни актером.

Питу снова взглянул на свои ноги и вынужден был признать, что даже произошли большие изменения в этой части его организма, ему все равно пришлось бы отказаться от попытки снискать успех, подобный тому, какой сейчас пожинал г-н де Шарни.

Контрданс кончился. Для Катрин он длился всего несколько секунд, для Питу—целую вечность. Вернувшись под руку со своим кавалером, Катрин обратила внимание на перемену, какая произошла в Питу. Он был бледен, на лбу блестел пот, и хотя он сдерживал слезы ревности, одна слезинка все-таки сползла у него по щеке.

—Господи!—воскликнула Катрин.—Что с вами, Питу?

—После того как я видел, как вы танцуете с господином де Шарни,—отвечал бедняга,—я никогда не осмелюсь танцевать с вами.

—Ну не стоит так унывать,—успокоила его Катрин.—Будете танцевать, как умеете, и мне все равно это будет очень приятно.

—Ах!—вздыхнул Питу.—Вы говорите так, мадемуазель, чтобы утешить меня, но я-то понимаю, что вам всегда будет куда приятней танцевать с этим молодым дворянином, чем со мной.

Катрин промолчала, так как не хотела лгать, но поскольку она была человек исключительной доброты и поскольку начала замечать, что в душе бедного парня происходят какие-то странности, она принялась всячески выказывать ему свое расположение, однако даже это было не способно вернуть Питу утраченную радость и веселость. Папаша Бийо правильно сказал: Питу становился мужчиной—он страдал.

Катрин станцевала еще несколько контрдансов, причем один из них опять с г-ном де Шарни. На этот раз Питу, хоть и страдал, и не меньше, внешне выглядел спокойней. Он следил взором за каждым движением Катрин и ее кавалера. По движению их губ пытался прочесть, о чем они говорят, а когда, исполняя очередную фигуру танца, им приходилось братья за руки, мучительно старался угадать, просто ли они держатся или при этом еще обмениваются пожатиями.

Несомненно, именно этого контрданса и дождалась Катрин, потому что едва он кончился, предложила Питу возвращаться на ферму. Никогда ни одно предложение не принималось с большей поспешностью, однако удар был уже нанесен, и Питу, шедший таким широким шагом, что Катрин время от времени приходилось сдерживать его, молчал, как рыба.

* Куранта—старинный французский танец. Кадриль—первоначально танец, исполнявшийся четверьмя парами.

—Да что это с вами?—спросила наконец Катрин.—Почему вы молчите?

—Потому, мадемуазель,—отвечал Питу,—что я не умею говорить так красиво, как господин де Шарни. Что я могу вам сказать после тех любезностей, которые он наговорил, когда танцевал с вами?

—Вы не справедливы, господин Анж. Мы как раз говорили о вас.

—Обо мне? То есть как это?

—Видите ли, господин Питу, если вы лишитесь старого покровителя, вам придется найти нового.

—Что же, я не подхожу вести счетные книги на ферме?—со вздохом осведомился Питу.

—Напротив, господин Анж, мне кажется, что ведение счетов на ферме не слишком подходит вам. При том образовании, какое вы получили, вы могли бы преуспеть гораздо больше.

—Я не знаю, в чем я могу преуспеть, но одно знаю твердо: преуспевать с помощью господина де Шарни я не желаю.

—А почему вы отказываетесь от его покровительства? Его брат граф де Шарни, мало того что занимает высокое, прекрасное положение при дворе, но еще и женат на близкой подруге королевы. Господин Изидор сказал, что если мне это будет приятно, он сумеет доставить вам место в управе по сбору соляной пошлины.

—Крайне обязан, мадемуазель, но я уже сказал, что мне нравится мое нынешнее положение, и если только ваш отец не прогонит меня, я останусь на ферме.

—А какого черта мне тебя прогонять?—раздался громкий голос, в котором Катрин, вздрогнув, узнала голос отца.

—Дорогой Питу, прошу вас, не упоминайте про господина Изидора,—шепнула она.

—Ну, чего молчишь?

—Не... не знаю,—пролепетал смущенный Питу.—Может, вы считаете меня недостаточно сведущим, чтобы быть вам полезным.

—Недостаточно сведущим! Да ты считаешь, как Барем*, а считаешь стократ лучше, чем наш школьный учитель, который тем не менее полагает, будто он большой ученый. Нет, Питу, это сам Бог посылает сюда людей, которые нанимаются ко мне, и, войдя в мой дом, они остаются в нем столько, сколько угодно Богу.

Получив такие заверения, Питу вошел в дом, однако хоть они и обнадежили его, этого все-таки оказалось недостаточно. За короткое время между уходом на танцы и возвращением в нем произошла большая перемена. Он утратил нечто, что, единожды утратив, уже невозможно обрести, и это нечто было уверенность в себе. Оттого Питу, вопреки обыкновению, плохо спал. Во время бессонницы он вспоминал книгу доктора Жиль-

* Барем, Бернар Франсуа (1640—1703)—автор и издатель "Книги готовых счислений", названной его именем, которая служила для производства всевозможных подсчетов.

бера; она была направлена, главным образом, против дворянства, против злоупотребления привилегированного класса, против малодушия тех, кто соглашается с ними; Питу казалось, что только сейчас он начал понимать все те прекрасные слова, которые читал утром, и потому он пообещал себе, как только рассветет, про себя и для себя перечитать шедевр, прочитанный громко и для других.

Но поскольку спал он плохо, то проснулся поздно. Тем не менее он не отказался от намерения перечитать книгу. Было еще только семь, фермер возвратится в девять; впрочем, возвратясь, он может лишь одобрить занятие, к которому сам и призывал.

Питу спустился по узенькой лестнице и уселся на скамейке под окошком Катрин. По случайности ли Питу выбрал это место или, может быть, знал, какая скамейка под чьим окном находится?

Но как бы то ни было, Питу, облаченный в свое старое каждодневное платье, которое еще не успели заменить, состоявшее из черных панталон, зеленой хламиды и порыжевших башмаков, вытащил из кармана брошюру и стал читать.

Не станем утверждать, будто, начав чтение, Питу не отрывал глаз от книги и не поднимал их к окну, но так как в окошке, обрамленном настурциями и выюнками, не появлялось девичье лицо, взгляд его вновь обращался к строчкам.

Но несмотря на кажущееся глубокое внимание, его рука то забывала перевернуть страницу, то переворачивала сразу несколько, и это позволяло сделать вывод, что мысли Питу бродили далеко и он, вместо того чтобы читать, предавался мечтам.

Вдруг Питу показалось, что на страницы, доселе освещенные утренним солнцем, упала тень. Она была слишком темной, чтобы быть тенью облачка, и могла быть отброшена лишь непрозрачным телом; однако бывают непрозрачные тела, весьма приятные для глаза, и Питу живо обернулся, желая посмотреть, кто же это заслонил ему солнце.

Питу ждало разочарование. Да, действительно непрозрачное тело застило ему солнечный свет, тепло, точь в точь как Александр Македонский Диогену, что и возмутило философа. Но это непрозрачное тело отнюдь не было очаровательным и даже, напротив того, было крайне неприятного вида.

Мужчина лет сорока пяти, ростом и худобой превосходящий Питу и в такой же, как у него, поношенной одежде, стоял у него за спиной и через плечо читал книгу с интересом, сравнимым разве что с рассеянностью юноши.

Питу пребывал в крайнем изумлении. Мужчина в черном раздвинул в вежливой улыбке губы, явив взору четыре последних зуба—два сверху, два снизу,—торчащих вперед, точно клыки у кабана.

—Американское издание,—гнусавым голосом произнес он,—формат ин-октаво, "О свободе людей и независимости наций", Бостон, тысяча семьсот восемьдесят восьмой год.

Человек в черном сообщал это, а Питу в удивлении все шире и шире раскрывал глаза, так что когда тот кончил, глаза

юноши стали совершенно круглыми и дальше открываться им было просто некуда.

—Бостон, тысяча семьсот восемьдесят восьмой год. Верно, сударь,—подтвердил Питу.

—Сочинение доктора Жильбера,—продолжал человек в черном.

—Да, сударь,—вежливо отвечал Питу.

И он встал, поскольку ему всегда твердили, что неприлично разговаривать сидя с теми, кто выше тебя по положению, а по простоте душевной Питу полагал, что любой человек имеет право считать себя вышестоящим по отношению к нему.

Встав же, Питу заметил в окошке движение чего-то розового и тотчас обратил туда взор. Этим розовым видением была м-ль Катрин. Она как-то странно смотрела на Питу и делала ему непонятные знаки

—Сударь, не сочтите за нескромность,—спросил человек в черном, который стоял спиной к окну и потому не видел, что там происходит,—скажите, кому принадлежит эта книга?

И он указал пальцем, однако не касаясь страницы, на книгу, которую держал в руках Питу.

Питу собрался уже ответить, что книга принадлежит г-ну Бийо, но тут до него долетели слова, произнесенные чуть ли не умоляющим шепотом.

—Скажите, что она ваша.

Человек в черном, все внимание которого было приковано к книге, этих слов не расслышал.

—Сударь, книга принадлежит мне,—величественно объявил Питу.

Человек в черном поднял голову: он заметил, что время от времени Питу отводит от него удивленный взгляд и куда-то смотрит. Он оглянулся на окно, но Катрин догадалась о его намерении, и, быстрая, как птичка, скрылась.

—Что это вы все смотрите наверх?—поинтересовался человек в черном.

—Сударь,—с улыбкой сказал ему Питу,—позвольте вам заметить, что вы чрезмерно любопытны. *Ciriosus*, или вернее, *avidus cognoscendi**, как сказал бы мой учитель аббат Фортье.

—Значит, вы утверждаете,—спросил человек в черном, ничуть, похоже, не оробевший от доказательства учености, которое дал ему Питу, дал намеренно, дабы его собеседник составил о нем более высокое мнение, нежели у того сложилось с первого взгляда,—что эта книга принадлежит вам?

Питу скосил глаза так, чтобы окошко оказалось в поле его зрения. Там на миг возникла Катрин и кивнула.

—Да, сударь,—подтвердил Питу.—Вы хотели бы почитать ее? *Avidus legendi libri* или *legendae historiae***.

—Сударь,—сказал человек в черном,—мне кажется, ваше положение выше, чем можно было бы подумать, судя по ваше-

* Любопытный... жадный до знаний (лат.)

** Жадный до чтения книг... чтения истории (лат.).

му платью. *Non dives vestiti sed ingenio**. Вследствие чего я вас арестую.

—Как арестуете?—вскричал совершенно потрясенный Питу.

—Да, сударь, вы арестованы. Прошу вас, следуйте за мной.

Питу оглянулся вокруг и обнаружил двух полицейских стражников, ожидающих распоряжений человека в черном, они, казалось, выросли из-под земли.

—Составим протокол, господа,—распорядился человек в черном.

Один из стражников связал Питу руки веревкой и забрал у него книгу доктора Жильбера.

Второй веревкой он привязал Питу к кольцу, вбитому под окном.

Питу намеревался протестовать, но услышал, как тот же самый голосок, имевший такую власть над ним, шепнул:

—Не противьтесь.

Поэтому Питу покорно позволил себя связать и привязать, чем очаровал стражников, а главное, человека в черном. По этой причине они спокойно оставили его, а сами вошли в дом, где оба стражника уселись за стол, а человек в черном... Впрочем, о его действиях мы узнаем чуть позже.

Чуть только стражники и человек в черном скрылись за дверь, как тот же самый голос произнес:

—Поднимите руки.

Питу поднял не только руки, но и голову и увидел бледное, растерянное лицо Катрин, в руках у нее был нож.

—Выше, еще выше,—прошептала она.

Питу встал на цыпочки.

Катрин свесилась из окна, лезвие перерезало веревку, и руки Питу снова стали свободны.

—Возьмите нож,—сказала Катрин,—и перережьте веревку, которой вы привязаны к кольцу.

Питу не заставил повторять дважды: он перерезал веревку, и теперь был полностью свободен.

—А теперь вот вам двойной луидор,—продолжала Катрин.—У вас быстрые ноги, спасайтесь. Бегите в Париж и предупредите доктора.

Она успела закончить: в дверях показались оба стражника, и двойной луидор упал к ногам Питу.

Питу мигом поднял его. А стражники стояли в дверях, застыв от изумления при виде представившейся им картины: тот, кого они так хорошо связали, освободился. У Питу же при виде стражников волосы зашевелились на голове, чем-то смутно напоминая *in crinibus angues Эвменид***.

Питу и стражники какое-то мгновение, замерев, смотрели друг на друга, точь-в-точь как заяц и гончая. Но как заяц при

* Суди не по одежде, но по уму (*лат.*).

** Змеи в волосах (*лат.*) Эвменид. Эвмениды—в греческой мифологии богини мщения, изображавшиеся безобразными старухами со змеями, кишачими в волосах.

малейшем движении собаки задает стрекача, так и Питу, стоило стражникам шевельнуться, совершил чудовищный прыжок и перемахнул через ограду.

Стражники издали согласный крик и ринулись к полицейскому в черном, который держал под мышкой небольшую шкатулку. Тот не стал тратить время на выяснение и бросился в погоню за Питу. Стражники последовали его примеру. Однако у них не достало бы силы перемахнуть, подобно Питу, через забор высотой в три с половиной фута, и потому им пришлось обежать его.

Когда же они добежали до края ограды, то обнаружили, что Питу опередил их шагов на пятьсот и напрямик устремился к лесу, до которого ему не больше четверти лье, так что через несколько минут он в нем скроется.

В этот миг Питу оглянулся, увидел, что стражники намерены преследовать его—скорей для очистки совести, чем в надежде догнать,—наддал еще, достиг кромки леса и исчез.

Так Питу бежал еще минут пятнадцать, хотя мог бы бежать и два часа, будь в том необходимость: дыхание и скорость у него были, как у оленя.

Но через четверть часа, инстинктивно сообразив, что опасность миновала, он остановился, отдышался, прислушался и, убедившись, что погони нет, пробормотал:

—Просто невероятно, сколько событий могут произойти за три дня.

Потом осмотрел двойной луидор, нож и подумал:

"Да, неплохо было бы разменять золотой и вручить мадемуазель Катрин два су, а то боюсь, как бы этот нож не перерезал нашу дружбу. Ну да неважно, раз она велела сегодня быть в Париже, пойду в Париж".

Сориентировавшись, Питу понял, что находится между Бурсоном и Ивором, и взял направление на Кондревильское вересковище, через которое проходит дорога в Париж.

VIII. Для чего человек в черном явился вместе со стражниками на ферму

А теперь вернемся на ферму и расскажем о случившейся там катастрофе, развязкой которой был эпизод с Питу.

В шесть утра в Виллер-Котре явился из Парижа полицейский в сопровождении двух стражников, представился комиссару полиции и получил сведения о местонахождении фермера Бийо.

Не доходя шагов пятьсот до фермы, полицейский увидел работающего на поле поденщика. Он подошел и справился, дома ли г-н Бийо. Поденщик ответил, что г-н Бийо никогда не возвращается домой раньше девяти, то есть только к завтраку. Но в этот миг поденщик случайно поднял взгляд и показал пальцем на верхового, который беседовал с пастухом примерно в четверти лье от них.

—Вы его ищите,—сказал поденщик,—а он вот он.

—Господин Бийо?

—Да.

—Этот всадник?

—Он самый.

—Послушайте, друг мой, а не хотели бы вы доставить радость своему хозяину?—поинтересовался полицейский.

—С огромным удовольствием.

—Тогда подите и передайте ему, что на ферме его ждет один господин из Парижа.

—Уж не доктор ли Жильбер?

—Идите, идите,—произнес в ответ полицейский.

Поденщик тотчас же пошел через поле к хозяину, а полицейский и оба стражника затаились за полуразрушенным забором, как раз почти напротив входа в дом.

Очень скоро послышался цокот копыт: это прискакал Бийо.

Он въехал во двор, соскочил с коня, бросил поводья конюху и поспешил на кухню в полной уверенности, что сейчас увидит доктора Жильбера в широком дорожном плаще; однако в кухне была только матушка Бийо: она сидела на стуле и со всем тщанием и старательностью, каких требует подобное занятие, ошпывала уток.

Катрин же у себя в комнате шила чепец к следующему воскресенью. Катрин готовилась к нему загодя: женщинам доставляет одинаковое удовольствие не только, как они выражаются, принарядиться, но и сам процесс принарядивания и подготовка к нему.

Бийо остановился на пороге, оглядел кухню и поинтересовался:

—Кто меня спрашивает?

—Я,—ответил за спиной у него приятный голос.

Бийо обернулся и увидел человека в черном и двух стражников.

—Вот те на!—воскликнул он, отступая назад.—Что вам от меня нужно?

—Суций пустячок, господин Бийо,—сообщил обладатель приятного голоса.—Произвести у вас обыск, только и всего.

—Обыск?—удивился Бийо.

—Да, обыск,—подтвердил полицейский.

Бийо бросил взгляд на ружье, висящее над очагом.

—А я-то думал,—сказал он,—что с тех пор как у нас образовалось Национальное Собрание, граждане больше не подвергаются притеснениям, которые свойственны прошлым временам и отдают старым режимом. Я смиренный человек, законов не нарушаю. Чего вы от меня хотите?

У всех полицейских мира есть нечто общее: они никогда не отвечают на вопросы своих жертв. Только обыскав их, арестовав, связав, они начинают сострадать этим несчастным; такие-то опасней всего, потому что кажутся лучше других.

Тот же, кто заявился к фермеру Бийо, был из школы Тапена и Дегре, людей елейной доброты, всегда готовых пустить слезу над участью тех, кого они преследуют, однако руки у них при этом заняты отнюдь не утиранием глаз.

И вот полицейский, испутив горестный вздох, дал знак стражникам, которые шагнули к Бийо, однако тот стремительно отскочил назад и попятился к ружью. Но рука его, чуть было уже не схватившая оружие, вдвойне в этот миг опасное, потому что оно убило бы и того, кто им воспользовался бы, и того, против кого оно было бы использовано, так вот рука его была удержана парой ручек, силу которым придал ужас, а любовь придала твердости.

Дело в том, что Катрин вышла на шум и вовремя подоспела, чтобы не дать отцу стать преступником, взбунтовавшимся против правосудия.

После этого Бийо уже не оказывал никакого сопротивления. Человек в черном велел запереть его в комнате на первом этаже, Катрин—в комнате на втором этаже, что же касается г-жи Бийо, то он счел ее совершенно безвредной и, не испытывая на ее счет никаких опасений, позволил ей остаться в кухне. После чего, сочтя себя хозяином положения, принялся обшаривать секреты, шкафы и комоды.

Бийо, оказавшись в одиночестве, решил бежать. Однако на окнах этой комнаты были решетки. Человек в черном сразу приметил их, а вот Бийо, который сам их ставил, про них забыл.

Тогда он приник к замочной скважине и увидел, что полицейский и два приспешника перевернули всю кухню вверх дном.

—Эй, вы!—закричал Бийо.—Вы что делаете?

—Вы сами отлично видите, милейший господин Бийо,—отвечал полицейский,—мы ищем некую вещь, которую пока еще не нашли.

—А вдруг вы грабители, разбойники, воры?

—Сударь, вы обижаете нас,—укоризненно произнес полицейский.—Мы такие же честные люди, как вы, но только мы состоим на службе его величества и, следовательно, обязаны исполнять его приказание.

—Приказание его величества!—возопил Бийо.—Значит, это король Людовик Шестнадцатый приказал вам рыться в моем секретере и все перевернуть в моих шкафах и столах?

—Да.

—Его величество?—повторил Бийо.—Но почему-то его величество не соизволил побеспокоиться о нас, когда в прошлом году настал такой страшный голод, что мы уже думали, что придется съезть лошадей, и в позапрошлом году, когда тридцатого июля град побил все наши посевы. Чем же сейчас его заинтересовала моя ферма, которой он никогда не видел, и я, которого он не знает.

—Сударь, сейчас вы меня, вне всякого сомнения, извините,—промолвил полицейский, осторожно приотворив дверь и показывая Бийо приказ, подписанный начальником полиции, однако начинающийся, как обычно, словами "Именем короля".—Его величество слышал о вас, и даже если он вас лично не знает, не отвергайте чести, которую он оказывает вам, и примите, как надлежит, тех, кто пришел к вам от его имени.

Полицейский отвесил учтивый поклон и, дружелюбно прищурив глаз, закрыл дверь, после чего обыск возобновился.

Бийо молчал, скрестив на груди руки, метался по низенькой комнатке, словно лев в клетке; он понимал, что находится во власти этих людей.

Обыск продолжался в полной тишине. Казалось, эти люди упали с неба. Никто их не видел, кроме поденщика, указавшего им дорогу. Собаки во дворе даже не залаяли; надо полагать, глава экспедиции был опытен в своем деле, а подобная вылазка—не первой в его жизни.

Бийо слышал всхлипывания дочки, запертой в комнате над ним. Ему припомнились ее почти пророческие слова; вне всяких сомнений, преследование, которому подвергся фермер, имеет причиной книгу доктора Жильбера.

Но вот пробило девять, и Бийо устался в зарешеченное окно, подсчитывая работников, которые один за другим возвращались с полей. Этот подсчет дал ему уверенность, что в случае столкновения если не право, то сила будет на его стороне. Когда он подумал об этом, кровь закипела у него в жилах. Он уже был больше не в силах сдерживаться и, подскочив к двери, так грохнул по ней кулаком, что второго подобного удара она бы не выдержала и сорвалась с петель.

Полицейские тут же открыли ее, фермер с угрожающим видом встал на пороге: все в доме было перевернуто вверх дном.

—Черт возьми, так что вы ищете у меня в доме?—крикнул Бийо.—Говорите, а иначе, клянусь, я заставлю вас сказать!

Приход работников не ускользнул от наблюдательного, в чем можно не сомневаться, взгляда человека в черном. Он прикинул число батраков на ферме и понял, что в случае конфликта поле боя отнюдь не обязательно останется за ним. Поэтому он с преувеличенной учтивостью подошел к Бийо, поклонился чуть не до земли и произнес:

—Дорогой господин Бийо, сейчас я вам все объясню, хотя это и против моих правил. Мы ищем у вас подрывную книгу, поджигательское сочинение, внесенное в запретный индекс королевскими цензорами.

—Книгу у фермера, который даже не умеет читать?

—А что в этом удивительного, коль вы друг автора, который вам ее прислал?

—Я вовсе не друг доктора Жильбера,—отвечал Бийо,—я всего-навсего его покорный слуга. Быть другом доктора слишком большая честь для ничтожного фермера вроде меня.

Необдуманное это признание, которым Бийо выдал себя, признавшись, что знает не только автора—это-то было вполне естественно, поскольку автор являлся владельцем фермы,—но и книгу, обеспечило победу полицейскому. Он выпрямился, изобразил самую любезную улыбку, хотя улыбался одними губами, дотронулся до локтя Бийо и произнес:

—"Ты имя назвала"*.

Вам знаком этот стих, дражайший господин Бийо?

* Слова Федры, героини трагедии Расина "Федра" (1, 3).

—Я вообще не знаю стихов.
—Это господин Расин, великий поэт.
—Ну и что же значит этот стих?—осведомился обеспокоенный фермер.

—То, что вы себя выдали.

—Я?

—Да, вы.

—Каким же образом?

—Первым назвав господина Жильбера, имя которого мы предусмотрительно не упоминали.

—Да, ваша правда,—буркнул Бийо.

—Итак, вы признаетесь?

—Я сделаю даже большее.

—О дорогой господин Бийо, вы слишком добры к нам. Так что же вы сделаете?

—Если я вам скажу, где эта книга, которую вы ищите,—спросил фермер с тревогой, которую ему не удавалось скрыть,—вы перестанете рыться?

Человек в черном сделал знак своим подручным.

—Ну, разумеется,—сказал он,—потому что она и есть причина обыска. Но только,—добавил он, скорчив улыбку,—не будет ли так, что вы выдадите нам один экземпляр, меж тем как у вас их десяток?

—Клянусь вам, у меня всего одна книга.

—Вот это-то мы и обязаны установить, произведя самый тщательный обыск, дражайший господин Бийо. Потерпите еще минуток пять. Мы всего лишь ничтожные полицейские, получающие приказы от властей, и вы, дорогой господин Бийо, надеюсь, не захотите препятствовать людям чести—а они есть во всех сословиях—исполнить их долг.

Человек в черном нашел верный тон. Именно так и следовало говорить с Бийо.

—Ладно, делайте свое дело,—буркнул фермер,—только побыстреей.

И он повернулся спиной к полицейским.

Человек в черном тихонько затворил дверь, еще тише повернул ключ в замке. Бийо, пожав плечами, не воспрепятствовал ему запереть себя.

А полицейский дал знак стражникам вернуться к прерванному занятию, и они все трое с удвоенной энергией принялись рыться в ящиках, разворачивая белье, быстро проглядывая книги и бумаги.

Вдруг в глубине опустошенного шкафа полицейский обнаружил дубовую шкатулку, окованную железом. Он ринулся на нее, как стервятник на падаль. С первого взгляда, с первого прикосновения, а верней сказать нюхом, он понял—это то, что он искал, мгновенно спрятал шкатулку под лоснящийся плащ и знаком дал понять стражникам, что дело сделано.

Бийо же, терпение которого дошло до предела, как раз подошел к запертой двери.

—Я же говорил вам, что вы не найдете книгу, если я не скажу, где она!—крикнул он.—Вы только зря перевернули все

мое имущество. Я же никакой не заговорщик, черт бы вас под-
рал! Эй, вы меня слышите? Отвечайте, а не то, провалиться
мне на этом месте, я отправлюсь в Париж и буду жаловаться
королю, Собранию, всем и вся!

В ту эпоху короля еще ставили выше народа.

—Мы слышим вас, дорогой господин Бийо, и готовы внять
вашим доводам. Мы вполне убедились, что у вас один экземп-
ляр, так что скажите нам, где он, мы заберем его и удалимся.

—Ну ладно,—сказал Бийо,—книга у одного славного па-
ренька, которому я дал ее, чтобы он отнес ее к моему другу.

—И как зовут этого славного паренька?—ласково осведо-
мился человек в черном.

—Анж Питу. Это сирота, которого я взял из милости. Он
даже не знает, о чем эта книга.

—Благодарю вас, дорогой господин Бийо,—отвечал поли-
цейский, заталкивая белье в шкаф, после чего запер его, хотя
шкатулки в нем не доставало.—А где находится этот милый
отрок?

—Кажется, когда я приехал, он сидел у беседки, увитой ту-
рецкими бобами. Заберите у него книгу, но только не причи-
няйте ему зла.

—Чтобы мы причинили зло!.. О дорогой господин Бийо,
как вы плохо нас знаете! Да мы и мухи не обидим.

Полицейские направились туда, куда им было указано. Об-
наружив беседку, увитую турецкими бобами, они сразу же
увидели и Питу, который благодаря своему росту выглядел бо-
лее опасным, чем был в действительности. Решив, что страж-
никам понадобится его помощь, чтобы справиться с юным ги-
гантом, полицейский снял плащ, завернул в него ларец и спря-
тал сверток, но так, чтобы в любой момент его можно было
взять.

Однако Катрин, которая подслушивала, прикинув ухом к
двери, уловила смутные слова "книга", "доктор", "Питу". И
вот, видя, что гроза, которую она предсказывала, разразилась,
Катрин решила смягчить ее последствия. Поэтому-то она шеп-
нула Питу, чтобы он назвал себя владельцем книги. Мы уже
рассказывали, что произошло в дальнейшем: как Питу был
схвачен и связан полицейским и его подручными, как Катрин
вернула ему свободу, воспользовавшись тем, что оба стражни-
ка пошли поискать стол, а человек в черном взять плащ и шка-
тулку. Еще мы рассказали, как Питу убежал, перескочив через
забор, но еще не поведали об одном—о том, как полицейский,
будучи человеком весьма умным, воспользовался его бегством.

И то сказать, теперь, когда оба поручения, полученные сы-
щиком, были выполнены, бегство Питу стало для него и для
обоих стражников превосходным поводом сбежать самим.

Человек в черном, хоть и не имел никакой надежды до-
гнать беглеца, подстрекнул и собственным голосом и собствен-
ным примером обоих стражников, да так успешно, что через
минуту вся троица уже неслась по клеверам, по люцерне, по
хлебан с таким видом, словно они были злейшими врагами
Питу, хотя в глубине души благословляли его.

Но едва Питу скрылся среди деревьев, а сами они достигли кромки леса, как сразу же за кустами остановились. По дороге к ним присоединились еще два стражника, оставленные вблизи фермы в засаде; им велено было прибежать, только ежели их позовет предводитель.

—Какое, ей-Богу, счастье,—промолвил сыщик,—что у этого верзила была книга, а не шкатулка. Тогда нам пришлось бы, чтобы поймать его, брать почтовую карету. Продельвать такие прыжки и так бегать впору оленю, а не человеку.

—Но шкатулка не у него, господин Тихой-Сапой?—спросил один из стражников.—Она у вас?

—Разумеется, мой друг. Вот она,—отвечал человек в черном, чье имя, а верней, кличку мы впервые упомянули. Она была ему дана за бесшумную походку и коварство.

—Значит, мы имеем право на наградные?

—Держите,—промолвил Тихой-Сапой, извлек из кармана четыре луидора и выдал по одному каждому из четырех стражников, не делая различия между тем, кто участвовал в обыске, и теми, кто сидел в засаде.

—Ура господину начальнику полиции!—завопили стражники.

—Кричать ура господину начальнику полиции—дело похвальное,—заметил Тихой-Сапой.—Но всякий раз, когда кричишь, это надо делать с соображением. На этот раз платит не господин начальник полиции.

—А кто же?

—Кто-то из его друзей, пожелавший остаться неизвестным, так что я даже не знаю, мужчина это или дама.

—Голову готов прозакладывать, что шкатулка будет передана этому господину или госпоже,—объявил один из стражников.

—Риголо, друг мой,—сказал человек в черном,—я всегда утверждал, что ты чертовски проницателен, но в ожидании, когда твоя проницательность принесет плоды и подтвердится наградой, нам надо бы взять ноги в руки. У этого чертова фермера вид не слишком благодушный, и, обнаружив, что шкатулка исчезла, он вполне может пустить в погоню за нами всех своих работников, а это такие парни, что вполне способны подстрелить вас не хуже самого меткого швейцарца из гвардии его величества.

Мнение это, как видно, разделяла вся пятерка полицейских, потому что они тут же тронулись в путь вдоль кромки леса, который скрывал их от чужих глаз, и, пройдя примерно три четверти лье, вышли на дорогу.

Предосторожность эта была отнюдь не излишней, так как Катрин, едва увидела, что человек в черном и оба его спутника покинули ферму и бросились в погоню за Питу, тут же, уверенная в быстроте того, кого они преследуют, и в том, что он в силах, если ничего непредвиденного не случится, увести их весьма далеко, позвала поденщиков, которые видели, что на ферме что-то происходит, но не знали, что именно, и велела им открыть дверь. Поденщики тут же прибежали, и Катрин, обретшая свободу, тотчас же возвратила свободу отцу.

Бийо, казалось, пребывал в странной задумчивости. Он отнюдь не бросился из комнаты, а с какой-то недоверчивостью, медленно вышел на середину кухни. Казалось, он не решается остаться в своем узилище и в то же время боится бросить взгляд на мебель, взломанную и обшаренную полицейскими.

—Ну что, взяли они книгу или нет?—спросил Бийо.

—Думаю, взяли, отец, но его не взяли,—ответила Катрин

—Кого его?

—Питу. Он сбежал. И если они все еще гонятся за ним, то сейчас должны быть уже где-нибудь в Кеоле или в Восьене.

—Тем лучше. Бедный парень, это я виноват в том, что с ним случилось.

—Не тревожьтесь за него, отец, подумайте лучше о нас. Можете быть уверены, Питу выпутается. Боже мой, какой разгром! Матушка, вы только посмотрите!

—Мой бельевой шкаф!—возопила г-жа Бийо.—Они даже в него залезли! Да они же сущие разбойники!

—Они рылись в бельевом шкафу?—воскликнул Бийо.

Он ринулся к шкафу, который, как мы помним, сыщик старательно закрыл, и стал что-то нащупывать в беспорядочной куче наваленных туда полотенец.

—Нет, этого не может быть,—пробормотал он.

—Что вы ищете, отец?—спросила Катрин.

С какой-то растерянностью Бийо огляделся вокруг.

—Посмотри в шкаф, есть ли там что-нибудь? Да нет, пусто. И в этом комодке тоже. В секретере тоже ничего. К тому же она была здесь, здесь! Я сам ее туда положил. Еще вчера я видел ее. Эти мерзавцы искали не книгу, а шкатулку.

—Какую шкатулку?—спросила Катрин.

—Да ты сама прекрасно знаешь, какую.

—Шкатулку доктора Жильбера?—отважилась вступить в разговор г-жа Бийо, которая в сложных обстоятельствах всегда хранила молчание, давая другим возможность действовать и говорить.

—Ну да, шкатулку доктора Жильбера!—с яростью крикнул Бийо.—И мне даже в голову это не пришло! Я даже не подумал о шкатулке! Господи, что скажет доктор? Что он подумает обо мне? Он сочтет, что я предатель, трус, негодяй!

—Боже мой, отец, а что было в этой шкатулке?

—Не знаю. Единственное, могу сказать, что поручился за нее перед доктором своей жизнью и должен был погибнуть, а не отдать ее.

И Бийо с таким отчаянием махнул рукой, что жена и дочь в ужасе попятнулись от него.

—Господи, отец, уж не сходите ли вы с ума?—простонала Катрин и заплакала.—Ну что вы молчите? Да ответьте же, ради всего святого!—упрашивала она его сквозь всхлипывания.

—Пьер, дорогой,—вступила г-жа Бийо,—ответь же своей дочери, ответь жене.

—Коня! Коня!—крикнул фермер.—Подать мне коня!

—Куда вы, отец?

—Предупредить доктора. Я должен его предупредить

—Но где его искать?

—В Париже. Разве ты не прочла в письме, которое он прислал нам, что он едет в Париж? Он должен быть там. Я отправляюсь в Париж. Коня! Коня!

—И вы покинете нас, отец? Покинете в такую минуту? Оставьте нас, исполненных тревог и страха?

—Так надо, детка. Так надо,—повторил фермер, взяв в ладони лицо дочери и судорожно целуя ее.—“Если ты когда-нибудь потеряешь шкатулку,—сказал мне доктор,—или, тем более, если у тебя ее похитят, в тот же миг, как только обнаружишь кражу, поспеши, Бийо, известить меня, где бы я ни был, и пусть ничто не остановит тебя, даже человеческая жизнь”.

—Господи, да что же может быть в этой шкатулке?

—Не знаю. Знаю только одно: она была мне отдана на сохранение, а я позволил взять ее у меня. А, вот и лошадь. Я заеду в коллеж к сыну и узнаю, где найти отца.

Поцеловав в последний раз жену и дочь, фермер вскочил в седло и напрямик через поля галопом поскакал к парижской дороге.

IX. Дорога в Париж

Однако вернемся к Питу.

Питу несся без оглядки, побуждаемый двумя величайшими стимулами—Страхом и Любовью.

Страх говорил прямо:

—Питу, тебя могут арестовать или поколотить, а потому—берегись!

И этого было достаточно, чтобы Питу мчался, как лань.

Любовь же говорила голосом Катрин:

—Скорее спасайтесь, дорогой Питу!

И Питу спасался.

Воздействие этих двух, как мы уже сказали, стимулов привело к тому, что Питу не бежал, а летел.

Воистину велик Бог и непогрешим в своем творении!

Длинные ноги, которые Питу казались рахитичными, и огромные колени, так некрасиво выглядящие на балу, показали себя с самой лучшей стороны при беге по полю, а сердце его, расширившееся от страха, билось со скоростью три удара в секунду.

Да уж, господин де Шарни с его маленькими ступнями, изящными коленками, икрами, симметрично посаженными там, где и надлежит им быть, так бежать бы не смог.

Питу припомнилась прелестная басня*, в которой олень, глядясь в источник, сокрушался по причине своих тонких ног, и хотя на голове юноши не было того украшения, в котором четвероногий герой басни увидел некое возмещение за худобу конечностей, Анж даже упрекнул себя за то, что столь пренебрежительно относился к своим жердам.

* Имеется в виду уже упомянутая басня Эзопа “Олень и лев”.

Именно так—жердями—назвала г-жа Бийо ноги Питу, когда он созерцал их в зеркале.

И вот Питу мчался по лесу, оставив Кеоль справа, а Ивор слева; время от времени он оглядывался, чтобы посмотреть, а верней, прислушаться, потому как же давно никого не видел, обогнав преследователей благодаря поразительной быстроте своих ног: расстояние между ними, первоначально составившее тысячу шагов, возрастало с каждой секундой.

Ах, почему Аталанта* была замужем! Питу вступил бы с ней в состязание, но чтобы одолеть ее, ему в отличие от Гиппомена не было бы нужды прибегать к хитрости с тремя золотыми яблоками.

Правда, люди г-на Тихой-Сапой вполне, как мы уже упоминали, удовлетворенные полученным трофеем, не собирались более преследовать Питу, но он-то этого не знал.

Так что за Питу никто, кроме тени, не гнался.

Что же касается людей в черном, они были полны уверенности в себе, что вообще присуще тем, кто ленив.

—Беги, беги!—бормотали они, позвякивая в карманах наградами, полученными от г-на Тихой-Сапой.—Беги, глупый. Когда надо будет, мы тебя все равно отыщем.

И эти слова были отнюдь не пустым хвастовством, а истинной правдой.

А Питу бежал, как будто слышал эти речи подручных г-на Тихой-Сапой.

Он петлял, как это делают лесные звери, чтобы сбить со следу свору гончих, и когда так хитроумно запутал следы, что даже сам Нимрод** не сумел бы их распутать, внезапно принял решение повернуть вправо и выйти неподалеку от Кондревильских вересковищ на дорогу, что соединяет Виллер-Котре с Парижем.

Приняв такое решение, он свернул почти под прямым углом, пошел по лесосеке и через пятнадцать минут увидел дорогу—желтые песчаные откосы и два ряда растущих вдоль нее зеленых деревьев.

Итак, через час после бегства с фермы он очутился на королевском тракте.

За этот час он проделал четыре с половиной лье. Это все равно, как если бы скакать на хорошей лошади крупной рысью.

Питу бросил взгляд назад. На дороге пусто.

Питу глянул вперед. Две женщины на ослах.

Мифологию Питу постигал по гравюрам в книжке младшего Жильбера. В ту эпоху очень интересовались мифологией.

* *Аталанта (миф.)*—знаменитая аркадская охотница, предлагавшая искателям ее руки состязаться в беге и убивающая всех, кого обгоняла. Гиппомен хитростью одержал победу над ней: во время бега он бросал подаренные ему Афродитой золотые яблоки, и Аталанта, поднимая их, отстала от него.

** *Нимрод*—упоминаемый в Ветхом Завете внук Хама, о котором сказано: "он был сильный зверолов перед Господом" (Быт., 10,8).

История богов и богинь греческого Олимпа входила в круг образования молодых людей. Разглядывая гравюры, Питу познакомил с мифологией: видел, как Зевс превратился в быка, чтобы похитить Европу*, в лебедя—чтобы бесстыдно овладеть дочерью Тиндара**; видел он, как и другие божества совершают более или менее живописные перевоплощения, но чтобы агент полиции его величества превратился в осла—нет, такое просто немыслимо! Даже у царя Мидаса были всего-навсего только ослиные уши, а ведь он был царь и мог все, что угодно, превращать в золото, так что имел возможность купить целиком шкуру этого четвероногого.

Несколько успокоенный увиденным, а вернее тем, что он не увидел, Питу рухнул на кромке леса в траву, вытер рукавом покрасневшее лицо и, растянувшись на зеленом ковре, предался сладостному отдохновению.

Однако нежные ароматы люцерна и майорана не могли заставить Питу забыть ни свинину матушки Бийо, ни краюху черного хлеба весом фунта в полтора, которую Катрин отрезала ему за каждой трапезой, то есть три раза в день.

Хлеба, стоящего тогда четыре с половиной су за фунт—чудовищная цена, соответствует современным девяти су,—не хватало по всей Франции, и ежели он был пригоден в пищу, то казался вкусней тех самых сказочных пирожных, которыми герцогиня де Полиньяк*** велела или посоветовала питаться парижанам, когда у них не будет больше муки.

Питу философски решил, что м-ль Катрин—самая великодушная принцесса на свете, а ферма папаши Бийо—самый роскошный дворец во вселенной.

После чего, подобно израильтянам на берегу Иордана, он обратил томный взгляд на восток, то есть в сторону благословенной фермы, и вздохнул.

Впрочем, вздыхать не так уж неприятно для челоуека, которому нужно отдышаться после безумного бега.

Вздыхая, Питу переводил дыхание, и чувствовал, что мысли его, доселе смятенные и запутанные, приходят в порядок вместе с обретением способности ровно дышать.

«Почему,—вопрошал он себя,—со мной произошло столько необыкновенных событий за такой короткий промежуток времени? Почему на три дня пришлось происшествий больше, чем

* В греческой мифологии дочь финикийского царя, которую Зевс в облике быка похитил, когда она гуляла с подругами на морском берегу.

** Ошибка Дюма: согласно мифу, Зевс, обратившись в лебедя, овладел не дочерью спартанского царя Тиндара, а его женой Ледой, которая родила от Зевса Елену Прекрасную и близнецов-братьев Кастора и Полидевка (Диоскуров).

*** Полиньяк, Жюли, герцогиня де (1749—1793)—ближайшая подруга Марии Антуанетты, воспитательница королевских детей, возбуждавшая особую ненависть народа. Совет парижанам есть пирожные, раз у них нет хлеба, приписывают и самой королеве.

на всю предшествующую жизнь? Все потому, что мне приснилась кошка, которая шипела на меня,"—решил Питу.

И он кивнул своим мыслям, как бы подтверждая, что причина всех его несчастий найдена.

"Нет,—продолжал Питу после минуты размышлений,—тут нет логики, которой учил нас преподобный аббат Фортъе. Все эти события произошли со мной вовсе не потому, что мне снилась разъяренная кошка. Сны ниспосылаются человеку только как предостережение.

Вот ведь, не помню, какой автор сказал: "Ты видел сон—будь осторожен". Cave, somniasti*.

Somniasti?—испуганно спохватился Питу.—Уж не допустил ли я опять варваризм? Нет, я просто пропустил буквы. Somniavisti, вот как надо правильно сказать.

Это удивительно,—восхитился собой Питу,—до чего хорошо я знаю латынь, хотя перестал учить ее".

И, похвалив таким образом себя, он продолжал путь.

Питу шел широким, но спокойным шагом. Так он делал два лье в час.

В результате спустя два часа после выхода в дорогу он миновал Нантейль и приближался к Даммартену.

Вдруг до его слуха, столь же чуткого, как слух американского индейца, донесся стук лошадиных подков по каменному мощению дороги.

—О!—воскликнул Питу и продекламировал знаменитый стих Вергилия:

—*Quadrupedante putrem sonitu unqula campum**.*

Он оглянулся.

Дорога была пуста.

Может, то ослы, которых он обогнал в Левиньяне и которые перешли на галоп? Нет, поскольку по камням стучали стальные копыта, как сказал поэт, а Питу за все годы, прожитые им в Арамоне и даже в Виллер-Котре, видел всего одного подкованного осла, который принадлежал мамаше Сабо, да и подкован он был только потому, что мамаша Сабо осуществляла почтовое сообщение между Виллер-Котре и Крепи.

Он тут же позабыл про донесшийся звук и вернулся к размышлениям.

Кто такие эти люди в черном, которые выспрашивали у него про доктора Жильбера, связали ему руки, преследовали его, но от которых он все-таки удрал?

Откуда появились эти люди, которых в кантоне никто не знает?

И почему они набросились именно на него, Питу, хотя он их никогда не видел и, следовательно, не знает?

И вообще, как это получается: он их не знает, а они его знают? Почему м-ль Катрин велела ему отправляться в Париж и, чтобы он не терпел нужды в дороге, дала двойной луидор,

* Берегись, сновидец (*непр. лат.*).

** Топотом звонких копыт потрясается рыхлое поле (*лат. "Энеида", VIII, 596.*)

составляющий сорок восемь ливров, иначе говоря на сто сорок фунтов хлеба, если считать по четыре су за фунт, каковым хлебом можно питаться восемьдесят дней, то есть почти три месяца, ежели разумно ограничивать его потребление?

Быть может, м-ль Катрин предположила, что Питу придется восемьдесят дней не возвращаться на ферму?

Вдруг Питу вздрогнул.

—Снова цокот подков,—промолвил он.

И он оглянулся.

—Нет, сейчас мне не послышалось,—пробормотал Питу.—Я действительно слышу цокот подков скачущей лошади. Поднимусь-ка повыше, чтобы увидеть ее.

Не успел он закончить эту фразу, как на вершине невысокого холма, с которого он недавно спустился, то есть шагах в четверхстах от него, показалась лошадь.

Питу, который совершенно не допускал, что агент полиции способен обернуться ослом, очень даже допускал, что тот может сесть на коня, чтобы как можно скорей настичь ускользнувшую добычу.

Страх, совсем недавно отпустивший Питу, опять овладел им и придал его ногам неутомимость и стремительность даже больше, чем два часа назад.

Поэтому, не раздумывая, не осмотревшись как следует, не попытавшись даже придать какую-то видимость бегству и рассчитывая только на неутомимые ноги, Питу одним прыжком перемахнул через дорожную канаву и понесся по полю в направлении Эрменонвиля. Питу не знал, что бежит к Эрменонвилю. Просто он увидел на горизонте верхушки деревьев и подумал:

"Ежели я добегу до этих деревьев, которые, вероятно всего, стоят у кромки леса, я спасен".

И он помчался к Эрменонвилю.

На сей раз ему предстояло обогнать скачущую лошадь. У Питу на ногах выросли крылья.

Способствовало этому и то, что, пробежав по полю с сотню шагов, Питу оглянулся и обнаружил: всадник принудил лошадь совершить прыжок и перенести его через канаву.

С этого момента у беглеца уже не было сомнений относительно намерений всадника; поэтому он удвоил скорость и бежал, даже не оглядываясь, из страха потерять время. Подгонял беглеца сейчас вовсе не стук подков по камню: люцерна и вспаханная земля глушили этот звук; нет, подгонял беглеца преследующий его крик, последний слог фамилии Питу, выкрикиваемой всадником,—у! у!—и казавшийся отзвуком его ярости; крик этот летел по воздуху следом за беднягой.

После десяти минут такого безумного бега Питу ощутил тяжесть в груди и туман в голове. Глаза у него вылезали из орбит. Ему казалось, будто колени у него вздулись до чудовищных размеров, а в крестец кто-то насыпал мелкие камешки. Иногда он запинался за борозды—он, который при беге обычно так высоко поднимал ноги, что можно было видеть все гвозди в подошвах его башмаков

Как бы там ни было, лошадь уже по своей природе превосходит человека в искусстве бега, и она настигла двуногого Питу, который теперь уже слышал, что всадник кричит не "у! у!", а совершенно явственно и отчетливо: "Питу! Питу!"

Питу стало ясно: он погиб.

Тем не менее он продолжал бежать, но это были уже какие-то механические движения, и совершались они лишь благодаря силе отталкивания. Вдруг колени у него подогнулись, он пошатнулся и, испустив тяжелый вздох, рухнул навзничь на землю.

Но в тот же миг, как он упал, твердо решив не вставать, по крайней мере, по собственной воле, удар кнута обжег ему поясницу. Одновременно раздалось громогласное проклятье, и голос, показавшийся ему знакомым, произнес:

—Ах, ты тупица! Ах, болван! Да ты никак решил загнать Каде!

Имя Каде положило конец нерешительности Питу.

—Ой!—воскликнул он и перевернулся, так что теперь уже лежал не лицом к земле, а на спине.—Да это же голос господина Бийо!

Действительно, это был папаша Бийо. Окончательно удостоверившись, что это и вправду он, Питу сел.

Фермер же остановил Каде, покрытого хлопьями белой пены.

—Ах, дорогой господин Бийо!—вскричал Питу.—Как хорошо, что вы догнали меня! Клянусь, я вернулся бы на ферму, как только проел бы двойной луидор мадемуазель Катрин. Но поскольку вы догнали меня, возьмите этот двойной луидор, который все равно принадлежит вам, и давайте возвратимся на ферму.

—Тысяча чертей!—рявкнул Бийо.—Какая к дьяволу ферма! там фараоны.

—Фараоны?—переспросил Питу, не понявший значения этого слова, значения, которое совсем еще недавно вошло в язык.

—Да, фараоны,—подтвердил Бийо,—или люди в черном, если так тебе понятней.

—Ах, люди в черном! Как вы прекрасно понимаете, дорогой господин Бийо, мне совсем не улыбалось дожидаться их.

—Браво! Но они отстали.

—Надеюсь на это. Во всяком случае, я так бегаю, что думаю, оторвался от них.

—Но если ты уверен, что оторвался, почему так удирал от меня?

—Да потому что решил: их начальник гонится за мной на коне, чтобы его не обвинили, будто он упустил меня.

—Поди ж ты! А ты вовсе не так бестолков, как мне казалось. Ну, пока дорога свободна, вперед в Даммартен!

—Как? Вперед?

—Да. Вставай, пойдешь со мной.

—В Даммартен?

—Да. Я возьму лошадь у кума Лефрана, а Каде оставлю у него, бедный конь выбился из сил. Вечером мы будем в Париже.

—Ладно, господин Бийо.

—Ну, вперед!

Питу попытался встать.

—Я с дорогой бы душой, господин Бийо, но не могу,—собщил он.

—Не можешь подняться?

—Не могу.

—Но совсем недавно ты так подскочил.

—В этом нет ничего удивительного: я услышал ваш голос и к тому же получил плеткой по спине. Но такие вещи действуют только раз, сейчас я уже привык к вашему голосу, что же касается плетки, то уверен: вы используете ее лишь для того, чтобы стронуть с места беднягу Каде, который устал не меньше меня.

Рассуждения Питу, в точности следовавшие логике, которой учил его аббат Фортье, убедили и, можно сказать, тронули фермера.

—Ладно, у меня нет времени оплакивать твою судьбу,—объявил он Питу.—Сделай усилие, и садись на круп Каде.

—Но ведь мы так погубим бедного Каде,—сказал Питу.

—Не бойся, через полчаса мы будем у папаша Лефрана.

—Но, дорогой господин Бийо,—запротестовал Питу,—мне кажется, что мне совершенно незачем ехать к папаше Лефрану.

—Почему?

—Да потому что вам нужно в Даммартен, а не мне.

—Все так, но мне нужно, чтобы ты поехал со мной в Париж. Там ты мне понадобишься. У тебя крепкие кулаки, а я уверен, что вскоре там со всех сторон посыплются тумачи и затрешины.

—Вот как?—протянул Питу, не слишком обрадованный открывающейся перспективой.—Вы так думаете?

И он вскарабкался на Каде, причем Бийо подсаживал его, словно он был куль с мукой.

Фермер выехал на дорогу и так успешно действовал уздой, коленями и каблуками, что меньше чем через полчаса доехал до Даммартена.

В город Бийо въехал по узенькой улочке. Он оставил Питу и Каде во дворе фермы папаша Лефрана, а сам пошел напрямиком в кухню, где папаша Лефран как раз застегивал гетры, собираясь объехать поля.

—Кум, быстрее самую сильную твою лошадь,—потребовал Бийо, не дав папаше Лефрану даже времени высказать удивление.

—Это значит Марго,—отвечал тот.—Добрая кобыла. Она как раз оседлана, я собирался ехать.

—Ладно, Марго так Марго. Только предупреждаю, может вполне случиться, что я ее загоню.

—Загонишь Марго! А зачем это тебе?

—Сегодня вечером мне нужно быть в Париже,—хмуро ответил Бийо.

И он показал Лефрану масонский знак, свидетельствующий о крайней срочности.

—В таком случае можешь загнать Марго,—согласился папаша Лефран.—Но ты мне отдашь Каде.

—Согласен.

—Стаканчик вина?

—Два.

—Похоже, ты не один?

—Да, со мной один славный парень, но он так устал, что даже не смог зайти сюда. Вели дать ему что-нибудь.

—Сейчас, сейчас,—сказал фермер.

За десять минут кумовья выпили каждый по бутылке вина, а Питу проглотил двухфунтовый хлеб и полфунта сала. Пока он насыщался, работник фермы, добрый малый, обтирал его пучком свежей люцерны, словно Питу был его любимым конем.

Растертый и подкрепившийся Питу тоже выпил стакан вина, налитый из третьей бутылки, которая была опустошена куда быстрее, чем первые две, поскольку Питу, как мы уже упомянули, принял участие в ее распитии. После этого Бийо сел верхом на Марго, а Питу, негнувшийся, словно циркуль, устроился у него за спиной.

Подстрекаемая шпорами, добрая кобыла мужественно потрусила в Париж, неся на спине двойную тяжесть: на ходу она неутомимо отгоняла хвостом мух, смахивая заодно пыль со спины Питу, а временами и хлестала его по тощим икрам в плохо натянутых чулках.

Х. Что произошло в конце пути, которым следовал Питу, то есть в Париже

От Даммартена до Парижа восемь лье. Первые четыре лье Марго преодолела довольно легко, но после Бурже ноги ее, хотя к ним и прибавились длинные ноги Питу, утратили гибкость. Смеркалось.

Около Ла Виллет Бийо заметил в стороне Парижа зарево.

Он указал Питу на красное свечение, простиравшееся до горизонта.

—Так это войска встали там биваком и разожгли костры,—объяснил ему Питу.

—Какие еще войска?—удивился Бийо.

—А они и здесь есть,—сообщил Питу.—Почему же им не быть там?

Действительно, внимательней глянув вправо, папаша Бийо обнаружил, что в темноте по равнине Сен-Дени перемещаются в молчании отряды пехоты и конницы.

Лишь иногда при бледном свете звезд поблескивало оружие.

Питу, который во время своих ночных вылазок в лес привык видеть в темноте, указал даже хозяину на пушки, увязшие чуть ли не до ступиц на сыром лугу.

—Ого!—протянул Бийо.—Выходит, там произошли какие-то события? Давай-ка поторопимся, дружище.

—А вон там тоже огонь,—объявил Питу, сумевший приподняться на крупе Марго.—Видите? Видите? Вон искры.

Марго остановилась. Бийо спрыгнул на дорогу и подошел к группе солдат в сине-желтых мундирах, устроившихся биваком под придорожными деревьями.

—Друзья,—обратился он к ним,—вы не можете мне сказать, какие новости из Парижа?

В ответ он услышал ругательства, произнесенные на немецком языке.

—Что они такое говорят?—спросил Бийо у Питу.

—Единственное, что я могу сказать, дорогой господин Бийо: это не латынь,—ответил дрожащий Питу.

Бийо задумался и огляделся.

—Экий же я болван!—воскликнул он.—Это же надо, заговорить с цесарцами.

Однако он продолжал стоять на дороге, с любопытством осматриваясь.

К нему подошел офицер.

—Протолшайте сфой путь,—приказал он.—Пыстро, пыстро.

—Прошу прощения, капитан,—обратился к нему Бийо,—но дело в том, что я еду в Париж.

—Так в шем тело?

—Да вот увидел вас на дороге и теперь боюсь, что меня задержат на заставе.

—Не затершат.

Бийо сел на лошадь и поехал дальше.

Но, доехав до Ла Виллет, он наткнулся на гусар из полка Бершени*, которыми были забиты все улочки.

Поскольку на сей раз Питу имел дело с соотечественниками, расспросы оказались более успешными.

—Прошу прощения, сударь,—обратился он к одному,—какие новости из Парижа?

—Да эти ваши бешеные парижане требуют обратно своего Неккера** и обстреливают нас из ружей, как будто мы имеем к этому какое-то касательство.

—Требуют обратно Неккера?—воскликнул Бийо.—Они что же, потеряли его?

—Само собой, если король его сместил.

—Король сместил господина Неккера?—возопил Бийо с возмущением, подобным возмущению верующего, услышавшего про святотатство.—Сместил этого великого человека?

—Да, друг мой. И более того, этот великий человек уже следует в Брюссель.

—В таком случае, мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним,—грозно бросил Бийо, даже не подумав о том, какой он подвергается опасности, произнося столь мятежные речи в окружении тысячи с лишним роялистских сабель.

Он вскочил на Марго и нещадно подбадривал ее каблуками вплоть до самой заставы.

* Бершени, Ласло граф (1689—1778)—венгерский магнат на французской службе, с 1758 г. маршал Франции.

** Неккер, Жак (1732—1864)—генеральный контролер (министр) финансов в 1777—1781, 1788—1790 г., пытался проводить экономические реформы. Придворная клика вынудила Людовика XVI дать Неккеру отставку, что привело к восстанию в Париже и взятию Бастилии.

Но чем ближе он к ней подъезжал, тем явственней видел багровые отблески пожара; в районе заставы к небу взметались столбы пламени.

Оказывается, горела сама застава.

Ревущая, разъяренная толпа, в которой было много женщин, проклинающих и кричащих, как обычно, куда громче, чем мужчины, бросала в огонь обломки ограждения, вещи и мебель таможенных писцов.

На дороге с ружьями к ноге стояли венгерский и немецкий полки, спокойно смотрели на происходящий разгром и никаких действий не предпринимали.

Бийо не остановился перед огненной преградой. Он погнал Марго сквозь пламя, она отважно преодолела горящую рогатку, но, преодолев ее, вынуждена была остановиться перед плотной толпой народа, хлынувшего из центра города к заставам,—кто с песнями, а кто с криками: "К оружию!".

Бийо выглядел тем, кем он был в действительности, то есть фермером, приехавшим в Париж по своим делам. Быть может, он слишком громко кричал: "Дорогу! Дорогу!" Зато Питу так вежливо повторял после него: "Пропустите, пожалуйста! Пропустите, пожалуйста!"—что получалось: один исправляет другого. Никто не был заинтересован препятствовать Бийо ехать по своим делам, так что его пропустили.

К Марго вернулись силы; огонь опалил ей шерсть, непривычные крики пугали. Теперь уже Бийо выбивался из сил, чтобы не раздавить кого-нибудь из многочисленных зевак, столпившихся у заставы, и не менее многочисленных зевак, победивших от заставы к рогаткам.

Направляя Марго то вправо, то влево, Бийо кое-как добрался до бульвара, но там ему пришлось остановиться.

По бульвару от Бастилии к Хранилищу мебели—а в ту эпоху это были два каменных узла, скрепляющих пояс на боках Парижа,—шла процессия.

Процессия эта, заполнившая бульвар, несла носилки. На них стояли два бюста—один задрапированный крепом, второй увенчанный цветами.

Крепом был задрапирован бюст Неккера, министра, не то чтобы попавшего в опалу, а просто смещенного; цветами же был увенчан бюст герцога Орлеанского, который при дворе открыто взял сторону женеvского экономиста*.

Бийо поинтересовался, что это за процессия: ему объяснили, что народ воздает честь г-ну Неккеру и его защитнику герцогу Орлеанскому.

Бийо родился в краю, где имя герцога Орлеанского уже полтора столетия окружено почитанием. К тому же он принадлежал к философской секте, а следовательно, считал Неккера не только великим министром, но и апостолом человечества.

Словом, объяснение оказалось вполне достаточным, чтобы воспламенить Бийо. Он соскочил с лошади и смешался с толпой, крича:

* Неккер был родом из Женевы.

—Да здравствует герцог Орлеанский! Да здравствует Неккер!

Однако стоит человеку смешаться с толпой, и он сразу лишается индивидуальности и свободы. Как известно каждому, в ней человек утрачивает свободу воли, хочет того же, чего хочет толпа, делает то же, что делает толпа. Впрочем, Бийо тем более просто позволил увлечь себя, что он оказался не в хвосте, а ближе к голове процессии.

Люди во все горло кричали:

—Да здравствует Неккер! Долой чужеземные полки! Долой чужеземные войска!

Бийо присоединил свой могучий голос к общему реву.

Народ всегда оценивает превосходство, в чем бы оно ни выражалось. Жители парижских предместий, обладающие пискливыми либо хрипылыми голосами, так как их голосовые связки были ослаблены из-за недоедания или же подточены вином, оценили полный, свежий и звучный голос Бийо и пропустили его вперед, так что вскорости он, не слишком затолканный, задавленный и придушенный, пробился к носилкам.

Минут через десять один из носильщиков, энтузиазм которого превосходил его силы, уступил фермеру свое место.

Бийо, как мы видим, стремительно и неуклонно следовал своим путем.

Еще вчера, скромный пропагандист брошюры доктора Жильбера, он стал сегодня одним из орудий торжества Неккера и герцога Орлеанского.

Но едва он подхватил ручку носилок, в голове у него мелькнула тревожная мысль.

Куда девалась Питу? Куда девалась Марго?

Не отпуская носилки, Бийо обернулся и при свете факелов, которые несли в процессии, и плашек, которыми были иллюминированы все окна, увидел посреди толпы некое движущееся возвышение, составленное не то пятью, не то шестью кричащими и размахивающими руками мужчинами.

Посреди этого вихря жестикуляции и беспорядочных криков легко можно было различить голос и длинные руки Питу.

Питу делал все, что мог, чтобы защитить Марго, однако, несмотря на его усилия, кобылу захватили. Недавно она везла на себе Бийо и Питу, и это была весьма приличная ноша для бедной скотины.

Теперь она везла столько народу, сколько смогло уместиться у нее на спине, на крупе, на шее и на холке.

В ночи, прихотливо увеличивающей размеры всех предметов, Марго выглядела, словно слон, на котором охотники выехали на тигра.

На широкую спину Марго водрузились человек шесть и иступленно кричали:

—Да здравствует Неккер! Да здравствует герцог Орлеанский! Долой чужеземцев!

А Питу вторил им:

—Вы раздавите Марго!

Восторг был всеобщий.

Бийо было подумал, не пойти ли на выручку Питу и Марго, но сообразил, что тогда ему придется отказаться от завоеванной чести нести носилки, а вернувшись, он навряд ли сумеет вновь ухватиться за оставленную ручку. И еще Бийо подумал, что они договорились с папашей Лефраном в крайнем случае совершить обмен Каде на Марго, посему Марго как бы уже принадлежала ему, и ежели с ней случится какое несчастье, то он на этом, в конце концов, потеряет всего-навсего три или четыре сотни ливров, а он достаточно богат, чтобы пожертвовать ради отечества четырьмя сотнями ливров.

Тем временем процессия продолжала двигаться. Повернув налево, она спустилась по улице Монмартр к площади Побед. Около Пале-Рояля путь ей преградила группа мужчин с зелеными листьями на шляпах, которые кричали:

—К оружию!

Следовало разобраться, кто эти люди, запрудившие улицу Вивьен,—друзья или враги? Зеленый цвет—цвет графа д'Артуа*. Почему у них зеленые кокарды?

После недолгих переговоров все разъяснилось.

Узнав о высылке Неккера, из кафе де Фуа** выбежал молодой человек, вскочил на стол и, потрясая пистолетом, воззвал:

—К оружию!

Все гуляющие в Пале-Рояле собрались вокруг него крича:

—К оружию!

Как мы уже говорили, все иностранные полки были сконцентрированы вокруг Парижа. Ходили слухи о вторжении австрийков; да даже сами фамилии командиров этих полков—Рейнах, Салис-Самад, Дисбах, Эстергази, Ремер—звучали пугающе для французского уха; достаточно было произнести их, чтобы толпа тут же поняла: речь идет о врагах. Молодой человек произнес их; он объявил, что швейцарцы, стоящие лагерем на Елисейских полях и имеющие четыре пушки, сегодня вечером вступят в Париж следом за драгунами принца Ламбеска***. Он предложил новую кокарду, сорвал лист с каштана и нацепил на шляпу. В тот же миг присутствующие последовали его примеру. Три тысячи человек в десять минут ободрали все деревья Пале-Рояля.

Утром имя этого молодого человека было никому неизвестно, вечером оно было у всех на устах.

Звали его Камиль Демулен****.

* Младший брат Людовика XVI, будущий французский король Карл X (1757—1836).

** Знаменитое кафе в Пале-Рояле, просуществовавшее со второй половины XVIII в. до 1863 г., один из центров интеллектуальной жизни Парижа.

*** Ламбеск, Шарль Эжен, принц де (1754—1825)—полковник королевского немецкого полка, после революции один из вождей эмиграции.

**** Демулен, Камиль (1760—1794)—один из активных деятелей французской революции. Казнен в период террора.

Обстоятельства выяснились, все друг с другом побратались, обнялись, и процессия продолжала путь.

Во время случившейся остановки любопытство тех, кто ничего не мог увидеть, даже привстав на цыпочки, обременило Марго новой тяжестью: кто только мог, пытаясь подняться, цеплялся за узду, за седло, за пахви, за стремяна, так что, когда процессия снова тронулась, бедная кобыла была буквально раздавлена навалившимся на нее бременем.

На углу улицы Ришелье Бийо вновь оглянулся: Марго исчезла.

Он испустил горестный вздох, помянув тем самым несчастное животное, после чего во весь голос трижды воззвал к Питу, как это делали римляне при погребении своих родных; ему показалось, будто из толпы чей-то голос ответил на его зов. Однако этот одинокий голос был заглушен многочисленными непонятными криками, то ли угрожающими, то ли приветственными.

Процессия продолжала двигаться.

Все лавки были заперты, зато все окна открыты, и из них к участникам процессии летели одобряющие, ликующие клики.

Так дошли до Вандомской площади.

Но там процессии встретилось непредвиденное препятствие.

Подобно деревьям, которые увлекает с собой разлившаяся река и которые, столкнувшись с быками моста, отлетают назад, на плавуцкие следом за ними щепки и ветки, народная армия натолкнулась на Вандомской площади на эскадрон Королевского немецкого полка.

Эти иностранные солдаты были драгуны; увидев поток, вырывающийся с улицы Сент-Оноре и начинающий уже затоплять Вандомскую площадь, они отпустили поводья своих коней, уставших от пятичасового стояния, и на всем скаку атаковали народ.

Те, кто нес бюсты, первыми приняли удар, были опрокинуты, а на них свалилась их ноша. Савояр, шедший впереди Бийо, вскочил раньше него, схватил изображение герцога Орлеанского, водрузил его на палку и поднял над головой, крича то "Да здравствует герцог Орлеанский!"—хотя сам он никогда его не видел, то "Да здравствует Неккер!"—хотя и его он тоже не знал.

Бийо собрался сделать то же самое с бюстом Неккера, но его опередили. Молодой человек лет двадцати четырех-двадцати пяти, одетый достаточно элегантно, чтобы сойти даже за мюскадена*, проследил, куда падает бюст, что ему было гораздо проще, нежели Бийо, который его нес, и как только бюст коснулся земли, буквально ринулся на него.

И вдруг улицу осветила вспышка. В тот же миг послышались выстрелы, засвистели пули; что-то ударило Бийо в лоб, он упал и сперва даже подумал, что убит.

* *Мюскаден* (букв. мускусник)—презрительная кличка, данная народом роялистам, которые отличались от санкюлотов изысканностью нарядов и душились по тогдашней моде мускусом. Однако Дюма ошибается: эта кличка родилась не в 1789, а в 1793 г.

Но поскольку сознания он не потерял и ничего, кроме резкой боли в голове, не чувствовал, Бийо понял, что он всего-навсего ранен. Он дотронулся до лба, желая определить тяжесть раны, но определил, что всего лишь контужен, хотя рука у него красна от крови.

Нарядный молодой человек, опередивший Бийо, получил пулю в грудь. Убит был он. И это его кровь окрасила руку Бийо. А удар, который получил Бийо, был нанесен свалившимся ему на голову бюстом Неккера, поскольку держать его было уже некому.

Бийо закричал—от ярости и от ужаса.

Он отскочил от бившегося в агонии молодого человека. Другие люди, что стояли возле убитого, тоже отшатнулись от него, а крик Бийо подхватила толпа, и он покатился, подобно погребальному эху, вдоль улицы Сент-Оноре.

Но крик—это ведь новое свидетельство мятежа. Раздался второй залп, и тотчас в толпе образовались глубокие пустоты, показывающие, куда попали пули.

Ярость подтолкнула Бийо схватить бюст, лицо которого было залито кровью, водрузить себе на голову и громогласно выкрикивать проклятия; все это он проделал с каким-то воодушевлением, не подумав даже, что его могут убить, как того красивого молодого человека, чье тело лежало у его ног.

Но в тот же миг чья-то большая, сильная рука легла на плечо фермера и так нажала, что ему пришлось пригнуться. Бийо попытался освободиться, но другая рука, не менее тяжелая, чем первая, опустилась ему на второе плечо. Он взревел и обернулся, желая взглянуть, кто его неприятель, но только удивленно воскликнул:

—Питу!

—Да, я,—отвечал Питу.—Пригнитесь-ка немножко и сейчас все поймете.

Нажав еще сильнее, Питу заставил сопротивляющегося фермера лечь на землю рядом с собой.

Едва он прижал Бийо лицом к земле, прогремел следующий залп. Савояр, державший бюст герцога Орлеанского, получил пулю в бедро и медленно оседал.

Затем послышалась дробь по каменной мостовой. Драгуны вторично пошли в атаку; конь, неистовый и яростный, подобно коням Апокалипсиса, пролетел над несчастным савояром, и тот, ощутив холод вонзившейся в грудь пики, повалился на Бийо и Питу.

Буря пронеслась по улице, сея ужас и смерть, и стихла. На мостовой остались только трупы. Все, кто мог, бежали по смежным улочкам. Окна захлопнулись. Воцарилось мрачное молчание, сменив восторженные клики и яростные вопли.

Бийо, которого осторожный Питу продолжал прижимать к земле, некоторое время ждал; потом, поняв, что опасность отдается вместе с шумом, привстал на колени; Питу не то чтобы поднял голову, а, наподобие зайца на лежке, насторожил ухо.

—Да, господин Бийо,—заметил он,—похоже, вы верно сказали, что мы прибыли в самое время.

—Помоги мне.

—В чем дело? Нам надо спастись.

—Нет. Молодой мюскаден убит, но бедняга-савояр, мне кажется, только потерял сознание. Помоги-ка мне взвалить его на спину. Мы не можем бросить парня здесь, потому что проклятые немцы прикончат его.

Слова фермера отозвались в сердце Питу. Возразить он не мог, и ему оставалось лишь подчиниться. Он поднял окровавленного, бесчувственного савояра и взвалил, словно мешок, на могучие плечи Бийо; тот, видя, что улица Сент-Оноре пуста и, похоже безопасна, вместе с Питу побрел по ней к Пале-Роялю.

XI. Ночь с 12 на 13 июля

Улица была пуста потому, что драгуны, ринувшись преследовать бегущую толпу, проскакали до рынка Сент-Оноре, а дальше разъехались по улицам Гайон и Людовика Великого, но чем ближе Бийо подходил, машинально бормоча ругательства и проклятия, к Пале-Роялю, тем больше людей стояло на углах, у вылетов аллей, в воротах домов; испуганные и безмолвные, они первым делом осматривались вокруг и, убедившись, что драгунов нету, пристраивались к Бийо, образуя как бы погребальную процессию; люди молчали, повторяя—сперва тихо, затем во весь голос и, наконец, на крик—одно только слово:

—Мсть!

Питу шел следом за фермером, сжимая в руке колпак савояра.

Так эта чудовищная траурная процессия вышла на площадь Пале-Рояля, где разъяренный народ держал совет и упрашивал французских солдат поддержать их против чужеземцев.

—Кто эти люди в мундирах?—спросил Бийо, остановившись перед целью солдат, которые с ружьями к ноге перегораживали площадь Пале-Рояля, от главного входа дворца до Шартрской улицы.

—Это французские гвардейцы,—ответили несколько голосов.

—А, так вы французы!—бросил Бийо, подойдя к солдатам и демонстрируя им тело уже мертвого савояра.—И вы позволяете немцам убивать нас?

Французские гвардейцы невольно сделали шаг вперед.

—Мертвый!—произнес кто-то в строю.

—Да, мертвый! Он убит, как и множество других.

—Кем?

—Драгунами из Королевского немецкого полка. Вы что же, не слышали криков, залпов и галопа коней?

—Верно! Верно!—отозвались сотни три голосов.—На Ван-домской площади убивали народ!

—Да вы ведь тоже народ, черт бы вас побрал!—крикнул солдатам Бийо.—Это трусость—позволять убивать своих братьев!

—Трусость?—угрожающе прозвучало из солдатских рядов.

—Да, я сказал—трусость и повторяю это,—заявил Бийо, подойдя ближе к цели, как только там прозвучали эти угрожающие голоса.—Может быть, вы убьете меня, чтобы доказать, что вы не трусы?

—Ну, ладно, ладно.—отозвался один из солдат.—Вы—храбрецы, но вы—штатские и можете делать, что вам угодно, а солдат—человек военный и действует по приказу.

—Значит, если вам прикажут,—воскликнул Бийо,—вы будете стрелять в нас, безоружных людей? Вы, наследники победителей при Фонтенуа, которые предложили англичанам стрелять первыми*?

—Я-то точно не буду стрелять,—пробурчал кто-то из солдат.

—И я! Я тоже!—ответили ему сотни две-три голосов.

—Тогда не дайте и другим стрелять в нас,—обратился к солдатам Бийо.—Если вы позволите немцам перебить нас, это будет все равно, как если вы сами нас перебьете.

—Драгуны! Драгуны!—раздались голоса, и толпа, рассыпавшись, кинулась бежать по улице Ришелье.

Пока еще издали, но все приближаясь, доносился топот копыт скачущей галопом тяжелой кавалерии.

—К оружию! К оружию!—кричали беглецы.

—Тысяча чертей!—выругался Бийо, сбрасывая на землю тело савояра, которое он так и держал на спине.—Дайте ружья нам, коль не хотите сами воспользоваться ими.

—Э нет, мы уж сами воспользуемся ими,—отвечал солдат, к которому обратился Бийо, и вырвал у него из рук ружье, потому что фермер почти уже завладел им.—Скуси патрон! Ежели австрияки что-нибудь скажут этим храбрецам, тогда мы им покажем.

—Еще как покажем!—закричали солдаты, доставая из лядунок патроны и скусывая их.

—Вот ведь проклятие!—огорченно топнул ногой Бийо.—Надо ж мне было оставить дома охотничье ружье. Но, даст Бог, кого-нибудь из этих негодяев-австрийцев подстрелят, и тогда я обзаведусь мушкетом.

—А пока возьмите этот карабин,—раздался голос.—Он заряжен.

И тут же какой-то человек вложил в руки Бийо богато изукрашенный карабин.

В эту минуту на площадь ворвались драгуны, давя конями и рубя саблями всех, кто попадался им на пути.

Офицер, командовавший французскими гвардейцами, вышел на четыре шага вперед.

* В 1745 г. близ бельгийской деревни Фонтенуа французская армия одержала победу над англо-австрийской. В начале сражения англичане остановились на расстоянии полусотни шагов от французской гвардии, неприятельские офицеры раскланялись, и командир англичан предложил французам сделать первый залп, на что граф д'Отрош учтиво ответил: "После вас, господа англичане!" Английский залп дорого обошелся французам, произведя большие опустошения в их первой линии.

—Эй, господа драгуны,—крикнул он,—благovolите остановиться!

То ли драгуны не услышали его, то ли не захотели услышать, а может, скакали слишком стремительно, чтобы остановиться, но только они, произведя полуоборот направо, сшибли и растоптали какую-то женщину и старика.

—Огонь! Огонь!—закричал Бийо.

Он стоял рядом с офицером, так что можно было подумать, что это офицер отдал команду. Солдаты вскинули ружья и дали залп, мигом остановивший драгунов.

—Эй, господа гвардейцы!—обратился к ним немецкий офицер, выехавший перед фронтом смешавшегося эскадрона.—А знаете ли вы, что вы стреляли в нас?

—Еще бы не знать, черт побери!—крикнул Бийо.

Он выстрелил в офицера, и тот упал.

Тем временем гвардейцы дали второй залп, и немцы, видя, что на сей раз им придется иметь дело не с горожанами, пускающимися наутек при первом ударе саблей плашмя, а с солдатами, которые неколебимо готовы встретить атаку, развернулись и поскакали обратно на Вандомскую площадь под такой громовой рев "ура!" и торжествующие крики, что иные кони понесли и расшибли головы о закрытые ставни.

—Да здравствуют французские гвардейцы!—кричал народ.

—Да здравствуют солдаты отчизны!—кричал Бийо.

—Благодарим!—отвечали те, к кому были обращены здравницы.—Вот мы и побывали в огне и получили крещение.

—И я тоже побывал в огне,—заметил Питу.

—И как?—поинтересовался Бийо.

—Да ничего. Оказывается, это не так страшно, как я думал.

—А теперь надо бы узнать, чье это ружье,—бросил фермер, уже успевший осмотреть карабин и оценивший, насколько это дорогое оружие.

—Моего господина,—ответил голос, уже однажды прозвучавший за спиной Бийо.—Но мой господин счел, что вы превосходно с ним обходитесь, и отдает его вам.

Бийо обернулся и увидел человека в ливрее герцога Орлеанского.

—И где же твой господин?—осведомился он.

Человек указал ему на приоткрытую штору, из-за которой герцог мог видеть все, что происходило на площади.

—И твой господин с нами?—спросил Бийо.

—Всем сердцем и всей душой он с народом.

—В таком случае—ура герцогу Орлеанскому! Друзья, герцог Орлеанский за нас! Да здравствует герцог Орлеанский!—закричал Бийо, указывая на штору, за которой укрылся герцог.

Штора полностью открылась, и герцог Орлеанский трижды поклонился.

После этого штора была задернута.

И хотя все это произошло буквально в несколько секунд, народному ликованию не было предела.

—Да здравствует герцог Орлеанский!—ревели тысячи три глоток.

—Громи оружейные лавки!—крикнул кто-то в толпе.

—В Дом Инвалидов!—закричали несколько старых солдат.—У Сомбрейля* там двадцать тысяч ружей.

—В Дом Инвалидов!

—В Ратушу!—призывали третьи.—У купеческого старшины** Флесселя ключи от арсенала полицейской стражи, он отдаст их нам!

И народ, разделившись, растекся по трем направлениям.

В это время драгуны снова собрались на площади Людовика XV вокруг барона де Безанваля*** и принца де Ламбеска.

Этого-то и не знали Бийо и Питу, которые не примкнули ни к одной из трех групп и чуть ли не в одиночестве остались на площади Пале-Рояля.

—Господин Бийо, скажите, пожалуйста, куда мы направимся?—поинтересовался Питу.

—Эх!—крикнул Бийо.—Очень уж мне хочется пойти с этими отважными людьми. Нет, не к оружейникам: у меня уже есть прекрасный карабин, а в Ратушу или в Дом Инвалидов. Но мы приехали в Париж не сражаться, а найти адрес господина Жильбера. Так что думаю, мне надо идти в коллеж Людовика Великого, где находится его сын, а уж повидею доктора, можно будет принять участие в этой заварухе.

В глазах фермера сверкнул грозный огонек.

—Отправиться первым делом в коллеж Людовика Великого мне представляется весьма логичным,—наставительно произнес Питу,—потому что именно для этого мы и приехали.

—Ладно, возьми ружье, саблю и вообще какое-нибудь оружие у этих лежебок, что там валяются,—велел Бийо, указывая на несколько драгунов, распростертых на земле,—и пошли в коллеж Людовика Великого.

—Но ведь это оружие не мое,—нерешительно заметил Питу.

—А чье оно?—поинтересовался Бийо.

—Оно принадлежит королю.

—Оно принадлежит народу,—отрезал фермер.

После такого утверждения Бийо Питу, который знал, что фермер не способен взять у соседа без спросу и зернышка пшеницы, с величайшими предосторожностями приблизился к лежащему ближе всех драгуну и, убедившись, что тот действительно мертв, снял с него мушкетон, саблю и ядунку.

Однако же, вооружаясь, Питу прислушивался, что происходит на Вандомской площади.

—Эге,—пробормотал он,—кажется, Королевский немецкий полк возвращается.

* Комендант Дома Инвалидов.

** В дореволюционной Франции городская голова Парижа.

*** Безанваль, Пьер Виктор, барон де (1722—1791)—швейцарский офицер на французской службе, в 1789 г. был военным комендантом Парижа.

Действительно, стал слышен топот копыт едущего шагом отряда кавалерии. Питу выглянул из-за угла кафе "Регентство" и увидел неподалеку от рынка Сент-Оноре патруль драгунов, которые держали мушкетоны наизготове, оперев их прикладами на бедро.

—Быстрее! Быстрее!—крикнул Питу.—Они едут сюда.

Бийо огляделся, прикидывая, нельзя ли организовать сопротивление. Но на площади почти не осталось людей.

—Ладно, пошли в коллеж Людовика Великого,—распорядился он, и вместе с Питу, который, не зная назначения крючка на ножнах, каким они крепятся к поясу, волочил за собой длинную саблю, они зашагали по Шартрской улице.

—Тысяча чертей!—рявкнул Бийо.—У тебя вид торговца железным ломом. Прицепи ты этот палаш.

—Куда?—спросил Питу.

—Да сюда вот, черт бы тебя подрал!—отвечал Бийо.

Он подвесил саблю к поясу Питу, так что она больше уже не составляла помехи, и они могли прибавить скорости.

Без всякой помехи они добрались до площади Людовика XV и там встретили колонну, направлявшуюся к Дому Инвалидов, но вскоре остановленную.

—Что там такое?—осведомился Бийо.

—Через мост Людовика Пятнадцатого не пропускают

—А по набережным?

—Тоже.

—А через Елисейские поля?

—Тоже.

—Тогда развернемся и перейдем через мост Тюильри.

Толпа, демонстрируя готовность принять это незамысловатое предложение, последовала за Бийо, однако на полпути, недалеко от сада Тюильри, сверкнули сабли. Набережную перегораживал эскадрон драгунов.

—Неужто эти проклятые драгуны всюду?—пробормотал фермер.

—А знаете, господин Бийо,—обратился к нему Питу,—мне кажется, что нас взяли в плен.

—Чушь!—ответил Бийо.—Невозможно взять в плен пять тысяч человек, а нас тут, самое малое, тысяч пять-шесть

Драгуны ехали навстречу им по набережной, правда, медленно, шагом, но тем не менее явственно приближались.

—Нам остается Королевская улица,—сказал Бийо —Пошли сюда, Питу.

Питу, как тень, следовал за фермером.

Однако на уровне заставы Сент-Оноре улицу перегораживала цепь солдат.

—А знаешь, Питу,—заметил Бийо,—ты, кажется, дружок, прав.

—М-да,—только и ответил Питу.

Это одно-единственное слово было произнесено с таким выражением, что сразу становилось ясно, насколько Питу огорчен тем, что он не ошибся.

Судя по возбуждению толпы и крикам, она оказалась не менее чувствительна, чем Питу, к положению, в которое попала.

А дело в том, что принц де Ламбеск ловким маневром окружил зевак и мятежников в количестве пяти-шести тысяч и, перекрыв мост Людовика XV, набережные, Елисейские поля, Королевскую улицу и улицу Фельянов, замкнул их внутри огромной стальной дуги—некоего подобия лука, тетивой которому служила труднопреодолимая ограда сада Тюильри и решетка разводного моста—взломать ее практически не было никакой возможности.

Бийо обдумал ситуацию—она была довольно скверной. Но поскольку человек он был спокойный, хладнокровный и не теряющийся при опасности, то огляделся кругом и увидел на берегу реки кучу бревен и досок.

—Есть одна мысль!—сказал он Питу.—Пошли!

Питу пошел за папашей Бийо, даже не поинтересовавшись, что за мысль ему пришла.

Бийо подошел к куче, взялся за один брус и велел Питу:

—Помоги.

Питу тут же стал ему помогать, опять-таки не подумав даже осведомиться, а для чего; у него и мысли такой не возникло: он до такой степени доверял фермеру, что спустился бы с ним в преисподнюю, и папаша Бийо не услышал бы от него ворчания, что, мол, лестница слишком длинна, а преисподняя слишком глубока.

Папаша Бийо взял брус за один конец, Питу—за другой.

Они дошли до набережной, неся груз, который пятеро обычных мужчин с трудом подняли бы.

Сила всегда вызывает восхищение толпы, и хотя стояла она плотно, но расступалась, давая проход Бийо и Питу.

Затем, очевидно, сообразив, что действия этих двоих направлены, несомненно, к общему благу, несколько человек пошли вперед Бийо, крича:

—Дорогу! Дорогу!

—Папаша Бийо, скажите,—поинтересовался Питу, пройдя шагов тридцать,—а далеко ли нам еще идти?

—До ворот Тюильри,—ответил Бийо.

—Ура!—все поняв, закричала толпа.

Теперь она расступалась куда охотней и проворней.

Питу глянул и определил, что до решетки осталось не больше трех десятков шагов.

—Дойду!—объявил он с краткостью пифагорейца.

Впрочем, груз теперь казался Питу куда легче: несколько мужчин, самых сильных, ухватились за его конец бревна.

Вследствие этого скорости передвижения значительно увеличилась.

Вскоре они были у ворот.

—Ну, а теперь разом!—скомандовал Бийо.

—Понял!—крикнул Питу.—Сейчас у нас будет военная машина таран. Римляне называли ее бараном.

Бревно раскатали и нанесли им сильный удар по запору ворот.

Солдаты, несшие охрану внутри Тюильри, прибежали, чтобы воспрепятствовать вторжению. Но после третьего удара замок подался, ворота распахнулись, и в этот разверзшийся темный зал хлынула толпа.

По ее движению принц де Ламбеск сообразил, что те, кого он уже считал своими пленниками, нашли лазейку. Он тронул коня, намереваясь проехать вперед, чтобы точнее оценить ситуацию. Драгуны, стоявшие сзади него, решили, что это приказ атаковать, и поскакали следом. Уже разгорячившиеся лошади сразу взяли в галоп, а люди, жаждавшие отомстить за поражение, которое они потерпели на площади Пале-Рояля, очевидно, не пытались их сдерживать.

Принц, видя, что атаку уже не остановить, не стал даже пробовать сделать это, и вскоре душераздирающие вопли женщин и детей вознеслись к небу, взывая к Божьему отмщению.

Во мраке происходили чудовищные вещи. Те, на кого напали, обезумели от горя, те же, кто напал, обезумели от ярости.

Тут же организовалось нечто вроде сопротивления: с террас полетели на драгун стулья. Принц де Ламбеск, получив стулом по голове, ответил ударом сабли, не подумав, что вместо того, чтобы наказать виновного, бьет по невинному, и семидесятилетний старик повалился на землю.

Бийо, увидев, как он упал, вскрикнул.

Он тут же вскинул карабин, вспышка выстрела осветила темноту, и принц был бы мертв, если бы, по случайности, в этот миг не поднял коня на дыбы.

Конь получил пулю в шею и рухнул.

Все решили, что принц убит. Драгуны устремились в Тюильри, стреляя по бегущим из пистолетов.

Но людям теперь было куда бежать, и они рассыпались среди деревьев.

Бийо спокойно палил из карабина.

—Ей-богу, ты прав, Питу,—бросил он.—Похоже, мы оказались здесь в самое время.

—Коль уж мне суждено стать храбрецом,—заметил Питу, разряжая мушкетон в самого толстого драгуна,—то кажется, это не так трудно, как мне казалось.

—Да,—согласился Бийо,—но бессмысленная храбрость—это не храбрость. Пошли отсюда, Питу, только смотри, чтобы сабля не путалась у тебя в ногах.

—Погодите, господин Бийо. Ежели я вас потеряю, то заблужусь. Я же не знаю Парижа, как знаете его вы: я здесь никогда не бывал.

—Пошли, пошли,—поторопил его Бийо и направился вдоль террасы, пока не оказался в тылу у войск, которые весьма поспешно выдвинулись по набережной вперед, чтобы оказать, если будет необходимость, помощь драгунам принца де Ламбеска.

Дойдя до края террасы, Бийо сел на парапет и прыгнул на набережную.

Питу сделал то же самое.

ХII. Что происходило в ночь с 12 на 13 июля 1789 г.

Оказавшись на набережной, оба провинциала взглянули на мост Тюильри, заметили там блеск оружия нового воинского отряда, по всей очевидности, отнюдь не дружественного, прокрались до края набережной и спустились на берег Сены.

На часах Тюильри пробило одиннадцать.

Добравшись до красилиц осин и высокоствольных тополей, растущих вдоль Сены, и укрывшись в их темной сени, фермер и Питу легли на траву и открыли совет.

Следовало решить, и вопрос этот был поставлен фермером, оставаться ли здесь, куда они пришли, то есть в безопасном или хотя бы относительно безопасном месте, либо ринуться в центр возмущения и принять участие в сражении, которое, похоже, будет продолжаться и ночью.

Задав этот вопрос, Бийо ждал ответа от Питу.

Питу весьма вырос во мнении и в глазах фермера. Тому способствовала и ученость, которую он продемонстрировал накануне, и, конечно, проявленная им этим вечером храбрость. Питу инстинктивно чувствовал это, однако вместо того, чтобы возгордиться, лишь испытывал еще большую признательность к доброму фермеру; по природе Питу был склонен к послушанию.

—Господин Бийо,—начал он,—сейчас совершенно очевидно, что вы гораздо храбрее меня, а я не такой уж трус, как мне думалось. Гораций, который все-таки не сравним с нами, хотя бы в части поэзии, при первой опасности бросил оружие и бежал. Я же не бросил свой мушкетон, патронную сумку и саблю, и это доказывает, что я куда отважнее Горация

—Ну хорошо, а к чему это ты ведешь?

—А веду я, господин Бийо, к тому, что пуля может убить даже самого отважного человека.

—Ну и что?—не понимал фермер.

—А то, сударь, что как вы мне объяснили, покидая ферму, направились вы сюда ради некоторой весьма важной вещи.

—Проклятие! Ведь правда... Шкатулка!

—Вот, вот. Итак, вы сюда приехали ради шкатулки?

—Тысяча чертей! Ну, конечно, из-за шкатулки, а не по какой другой причине.

—Ну а если вас застрелят, дело, ради которого вы сюда приехали, не будет сделано.

—Ты сто раз прав, Питу.

—Слышите, как там что-то рушится? Слышите крики?—продолжал уже смелее Питу.—Дерево раздирается, как бумага, железо рвется, как пенка.

—Это потому, Питу, что народ разгневался.

—Но мне кажется,—рискнул заметить Питу,—что король тоже изрядно разгневался.

—Почему ты так решил?

—А как же иначе? Австрияки, немцы, короче, цесарцы, как вы их назвали,—солдаты короля. И ежели они нападают на народ, значит, так им приказал король. А чтобы король от-

дал подобный приказ, он должен очень сильно разгневаться. Правильно?

—Питу, ты сейчас прав и не прав.

—Дорогой господин Бийо, мне кажется, такое просто невозможно, и я просто не решаюсь вам заметить, что если бы изучали логику, то никогда не осмелились бы высказать подобный парадокс.

—Нет, Питу, ты все-таки и прав и не прав, и сейчас поймешь почему.

—Я очень бы этого хотел, хотя и сомневаюсь, что пойму.

—Видишь ли, Питу, при дворе имеются две партии: партия короля, которая любит народ, и партия королевы, которая любит австрийцев.

—Это потому что король—француз, а королева—австриячка, — философски заметил Питу.

—Погоди. С королем господин Тюрго* и господин Неккер, с королевой господин де Бретейль** и Полиньяки. Но король не хозяин, и поэтому он вынужден был уволить в отставку господина Тюрго и господина Неккера. Хозяйка—королева, а это значит, всем распоряжаются Бретейли и Полиньяки. Вот почему все идет так худо. Понимаешь, Питу, во всем виновата госпожа Дефицит. Госпожа Дефицит разгневана, и от ее имени войска нападают на народ. Все очень просто: австрияки защищают австриячку.

—Простите, господин Бийо, но дефицит—латинское слово и означает "нехватка". Чего же у нас не хватает?—спросил Питу.

—Господи, да денег же! Потому что не хватает денег, потому что любимчики королевы пожирают все деньги, которых не хватает, ее и прозвали госпожой Дефицит. Нет, это не король разгневался, а королева. Король просто недоволен, что все так плохо идет.

—Понятно,—сказал Питу.—А что же со шкатулкой?

—Да, да, верно. Это чертова политика завела меня Бог знает куда. Главное, это шкатулка. Ты прав, Питу. Когда я повидуюсь с доктором Жильбером, мы вернемся в политику. Это наш святой долг.

—Нет ничего более святого, чем святой долг,—заметил Питу.

—Так что пошли в коллеж Людовика Великого к Себастьяну Жильберу,—сказал Бийо.

—Пошли,—ответил Питу со вздохом, потому что надо было вставать с мягкой травки, а он уже так удобно устроился. Кроме того, несмотря на то, что вечер прошел чрезвычайно бурно, сон, этот верный спутник чистой совести и усталого те-

* Тюрго, Анн Робер Жан (1727—1781)—французский политический деятель и экономист, в 1774—1776 гг. был генеральным контролером финансов, провел ряд реформ, ущемлявших привилегированные сословия, под давлением которых Людовик XVI вынужден был дать ему отставку, а реформы отменить.

** Бретейль, Луи Огюст, барон де (1730—1807)—французский дипломат, после отставки Неккера был членом кабинета, павшего после взятия Бастилии, советовал королю прибегнуть к иностранной помощи для подавления революции.

ла, слетел, держ в руках охалку маков, на добродетельного и усталого Питу.

Бийо уже встал, Питу тоже поднимался, но тут часы пробили получас.

—Слушай, мне думается, в половине двенадцатого коллеж Людовика Великого будет закрыт,—заметил Бийо.

—Разумеется,—подтвердил Питу.

—К тому же ночью можно попасть в засаду. Мне кажется, я вижу бивачные огни возле Дворца правосудия. Меня могут арестовать или убить, а ты, Питу, прав: нельзя допустить, чтобы меня арестовали или убили.

За сегодняшний день вот уже в третий раз Бийо, обращаясь к Питу, произнес слова, столь приятные для слуха и лестные для гордости человека: "Ты прав".

Питу счел, что повторить слова Бийо—самое лучшее, что он может.

—Вы правы,—пробормотал он, укладываясь на травке,—нельзя, чтобы вас убили.

Однако конец этой фразы застрял в гортани Питу. *Vox faucibus haesit**, можно было бы сказать, если бы Питу бодрствовал, но он уже засыпал.

Бийо этого не заметил.

—Мысль!—воскликнул он.

—М-гм,—промычал Питу.

—Слушай, у меня мысль. Какие бы предосторожности я ни принимал, меня могут убить—застрелить в упор или издали, смертельно ранить или прикончить сразу. Если такое случится, надо чтобы ты знал, что передать от меня доктору Жильберу. Но, только, Питу, держи язык за зубами.

Питу не слышал и, естественно, держал язык за зубами.

—Ежели меня смертельно ранят, и я не сумею довести дело до конца, ты вместо меня найдешь доктора Жильбера и скажешь ему... Питу, ты слышишь?—Бийо наклонился к Анжу.—Значит, ты скажешь ему... Э, да он, бедняга, всюю храпит!

Вид спящего Питу пригасил возбуждение фермера.

—Ладно, будем спать,—пробормотал он.

И Бийо, даже не очень ворча, лег рядом с сотоварищем. Ведь как бы ни был фермер привычен к труду и усталости, дневная поездка и вечерние события тем не менее оказали на него снотворное действие.

Они проспали, верней, провели в забытьи часа три, и тут взошло солнце.

Когда Бийо и Питу открыли глаза, ожесточенный облик Парижа, каким они его увидели вчера, не изменился, разве что всюду стало больше солдат, больше народа.

Народ вооружился наскоро изготовленными пиками, ружьями, с которыми большинство не умело обращаться, старинным оружием, вызывавшим восторг его обладателей инкрустациями из золота, слоновой кости и перламутра, хотя ни назначения его, ни устройства они не понимали.

* Голос застрял в гортани (лат) Вергилий, "Энеида", III, 48.

Сразу же после отвода солдат было разграблено Хранилище мебели.

И народ выкатил к Ратуше две пушечки.

В Соборе Парижской Богоматери, в Ратуше, во всех церквях били в набат. Появились (откуда?—никто этого не знал—может быть, из под земли?) легионы бледных, изможденных, одетых в отрепья мужчин и женщин, которые еще вчера кричали: "Хлеба!", а сегодня: "К оружию!"

Эти зловещие толпы призраков уже месяца два стягивались из провинции, в молчании проходили через заставы и заселяли голодный Париж, как заселяют кладбище арабские гулы*.

В тот день вся Франция, представленная в Париже голодающими из каждой провинции, вопияла к своему королю: "Дай нам свободу!"—и к Богу: "Насыть нас!"

Бийо, проснувшийся первым, разбудил Питу, и они отправились в коллеж Людовика Великого, с содраганием осматриваясь и ужасаясь своему участию в кровопролитных бедствиях.

Они шли через район, который нынче называют Латинским кварталом, по улице Арфы, по улице Сен-Жак, которая и была их целью, и видели, что всюду, как во времена Фронды**, возводятся баррикады. Женщины и дети таскали на верхние этажи книги ин-фолио, тяжелую мебель и бесценные мраморные скульптуры, чтобы сбрасывать их на головы чужеземных солдат, ежели те осмелятся сунуться в извилистые и узкие улочки старого Парижа.

Время от времени Бийо замечал одного или двух французских гвардейцев, стоящих в центре собравшейся вокруг них толпы, которой они показывали, как обращаться с ружьем; женщины и дети с интересом и, можно даже сказать, с желанием научиться повторяли все эти упражнения.

А в коллеже Людовика Великого был мятеж: ученики взбунтовались и изгнали учителей. Когда Бийо и Питу подошли к коллежу, школяры, выкрикивая угрозы, осаждали решетчатые ворота, а позади них с жалобными воплями бегал перепуганный принципал коллежа.

Фермер несколько секунд наблюдал за этой междоусобицей, а потом зычным голосом крикнул:

—Кто из вас Себастьян Жильбер?

—Я,—ответил мальчик, красивый почти женской красотой, который в компании еще нескольких товарищей тащил лестницу, чтобы с ее помощью преодолеть стену, раз уж ворота оказались для них непреодолимыми.

—Подойди ко мне, дружок.

—Что вам угодно, сударь?—осведомился Себастьян.

—Куда вы собираетесь увести его?—закричал принципал, напуганный появлением двух вооруженных людей, одежда од-

* Гулы—в мусульманской мифологии джинны, имеющие облик женщин, которые заманивают путников, убивают их и пожирают.

** Фронда—движение во Франции в 1648—1653 гг., направленное против усиления абсолютизма и кардинала Мазарини.

ного из которых—как раз того, кто обратился к юному Жильберу,—была вся перепачкана засохшей кровью.

Мальчик тоже с удивлением смотрел на обоих пришельцев, не узнавая своего молочного брата Питу, который мало того что изрядно вымахал с тех пор, как они расстались, но еще и совершенно переменял внешний вид, явившись в облике этакого воителя.

—Увести!—воскликнул Бийо.—Увести сына господина Жильбера, свергнуть его в эту сумятицу, рискуя, что с ним что-то случится? Нет, черт побери, ни за что!

—Вот видите, Себастьян,— обратился к мальчику принципал,—видите, безумец, даже ваши друзья не хотят вас брать с собой. Я предполагаю, что эти господа—ваши друзья... Господа, воспитанники, дети мои,—вопил несчастный,—перестаньте! Послушайте меня... Приказываю, умоляю вас!

—Ogo obtestorque*,—бросил Питу.

—Сударь,—промолвил Жильбер с твердостью, необычной для мальчика такого возраста,—удерживайте, если вам угодно, моих товарищей, но я—вы слышите?—я желаю выйти.

И он направился к воротам. Наставник поймал его за руку.

Но мальчик, откидывая с бледного лба прекрасные темнорусые волосы, объявил:

—Сударь, не смейте меня задерживать. Я в ином положении, чем другие: мой отец арестован и брошен в тюрьму. Мой отец во власти тиранов!

—Во власти тиранов!—воскликнул Бийо.—Ну-ка, мой мальчик, что ты хочешь этим сказать?

—Да! Да!—закричали ученики.—Себастьян говорит правду, его отца арестовали. Народ открыл тюрьмы, и он хочет, чтобы открыли тюрьму, в которой сидит его отец.

—Ах, вот как!—произнес фермер, с геркулесовой силой дергая ворота.—Значит, доктор Жильбер арестован. Черт побери, малышка Катрин была права.

—Да, сударь, моего отца арестовали,—продолжал юный Жильбер,—и поэтому я хочу уйти отсюда, получить оружие и сражаться до тех пор, пока не освобожу отца!

Его слова были поддержаны сотней голосов, неистово кричавших во всех регистрах:

—К оружию! К оружию! Дайте нам оружия!

Собравшаяся на улице толпа, возбужденная этими пылкими героическими криками, ринулась к воротам, намереваясь выпустить школяров на свободу.

Принципал бросился на колени между учениками и толпой и, умоляюще протягивая руки сквозь прутья ворот, закричал:

—Друзья мои! Друзья мои! Пожалейте этих детей!

—Уж будто мы их не пожалеем!—бросил какой-то французский гвардеец.—Они прекрасные ребята и будут делать ружейные артикулы, как ангелочки.

—Друзья мои! Друзья мои! Эти дети доверены мне их родителями, я отвечаю за них своей жизнью. Их родители рас-

* Призываю, умоляю (лат.).

считывают на меня. Во имя всего святого, не уведите детей отсюда!

Ответом на эту отчаянную мольбу было гиканье, раздавшееся из глубины улицы, то есть из задних рядов толпы.

И тут выступил Бийо, не побоявшийся вступить в спор с французскими гвардейцами, с толпой и даже с самими школьниками:

—Он прав, и его святой долг сохранить их. Пусть сражаются мужчины, пусть они, черт побери, идут на гибель, но дети должны жить. Мы должны сберечь семя будущего.

Его слова были встречены недовольным ропотом.

—Кто тут против?—крикнул Бийо.—Сразу видно, у него нет детей. А я вчера держал на этих вот руках двух убитых, их кровь у меня на рубахе. Смотрите!

И он величественным жестом, приведшим всю толпу в возбуждение, указал на свою блузу и рубашку.

—Вчера,—продолжал Бийо,—я дрался у Пале-Рояля и в Тюильри, и этот парнишка тоже. Но у него нет ни отца, ни матери, и к тому же он уже почти мужчина.

Бийо указал на выпятившего грудь Питу.

—Сегодня я тоже пойду драться,—кричал Бийо,—но нельзя допустить, чтобы кто-то мог сказать: "Парижане бессильны против чужеземных солдат и призвали на помощь детей".

—Правильно! Правильно!—зазвучали со всех сторон голоса женщин и солдат.—Он верно говорит! Дети, останьтесь!

—О, благодарю вас, сударь, благодарю!—бормотал принципал, пытаясь сквозь прутья решетки пожать Бийо руку.

—А самое главное, берегите Себастьяна,—отвечал фермер.

—Бережь меня! Я не желаю, чтобы меня берегли!—закричал побледневший от ярости мальчик, вырываясь от удерживающих его служителей.

—Позвольте-ка мне войти, и я берусь его успокоить,—сказал Бийо.

Толпа подалась, и Бийо, увлекая за собой Анжа Питу, вошел во двор коллежа.

Четыре французских гвардейца и впридачу к ним с десяток парижан встали на страже у ворот, не выпуская юных инсургентов.

Бийо подошел к Себастьяну и, взяв в свои мозолистые ладони его белые, тонкие, такие еще детские руки, спросил:

—Себастьян, вы узнаете меня?

—Нет.

—Я папаша Бийо, арендатор вашего отца.

—Да, сударь, теперь узнаю.

—А этого парня узнаешь?—и Бийо показал на Питу.

—Это Анж Питу,—ответил мальчик.

—Да, Себастьян, это я.

Питу, прослезившись от радости, бросился на шею своему молочному брату и товарищу по ученью.

—И что же?—ничуть не обрадовавшись, спросил мальчик.

—А то, что если у тебя отняли отца, я тебе верну его. Ясно?

—Вы?

—Да, я и все, кто здесь со мной. Кой черт! Мы вчера пере-
ведались с австрияками и видели, какие у них лядунки.

—А вот и доказательство: одна из них у меня,—сообщил
Питу.

—Ну как, освободим его отца?—крикнул народу Бийо.

—Да! Да! Освободим!—взревела толпа.

Себастьян покачал головой.

—Мой отец в Бастилии,—печально промолвил он.

—И что из того?—спросил Бийо.

—Бастилию не взять,—ответил мальчик.

—А если ты так думаешь, что же ты собирався делать?

—Я хотел пойти на площадь. Там начнется сражение, и,
быть может, отец увидит меня сквозь решетку.

—Это невозможно.

—Невозможно? Но почему? Однажды мы всем коллежем
были там на прогулке, и я видел в окне голову узника. Если бы
я увидел отца, как того узника, я узнал бы его и крикнул:
"Будь спокоен отец, я люблю тебя!"

—А если гарнизон Бастилии застрелит тебя?

—Что ж, я буду убит на глазах отца.

—Тысяча чертей! Ты недобрый мальчик, Себастьян, раз
хочешь, чтобы тебя убили на глазах отца! Да он же умрет
от горя в тюрьме. Он так любит тебя, и, кроме тебя, у не-
го нет никого. Нет, Жильбер, у тебя определенно злое
сердце.

И фермер оттолкнул мальчика.

—Да, да, злое сердце,—взревел Питу, заливаясь слезами.

Себастьян не ответил ни слова.

И пока он в угрюмом молчании размышлял, Бийо с восхи-
щением смотрел на его перламутрово-белое лицо, горящие
глаза и, изысканный, иронический рот, орлиный нос, волевой
подбородок, свидетельствующие и о благородстве души, и о
благородстве крови.

—Так ты говоришь, твой отец в Бастилии?—прервал молча-
ние Бийо.

—Да.

—За что?

—За то, что отец—друг Лафайета и Вашингтона, за то, что
он шпагой сражался за свободу Америки, а пером за свободу
Франции, за то, что в обеих частях света известна его нена-
висть к тирании, за то, что он проклинал Бастилию, где стра-
дают другие... За это его схватили.

—Когда?

—Шесть дней назад.

—И где его арестовали?

—В Гавре, куда он приплыл.

—А как ты об этом узнал?

—Я получил от него письмо.

—Из Гавра?

—Да.

—Значит, оно отправлено из Гавра, где его арестовали?

—Нет, из Лильбонна.

—Слушай, мальчик, не надо на меня дуться, лучше подробно расскажи все, что тебе известно. Клянусь тебе, либо я буду убит на площади Бастилии, либо ты снова увидишь отца.

Себастьян взглянул на фермера и, видя, что тот говорит от всего сердца, смягчился.

—В Лильбонне,—сообщил он,—отцу удалось написать карандашом на книге несколько строчек:

“Себастьян, меня арестовали и препровождают в Бастилию. Терпение. Надейся и трудись.

Лильбонн, 7 июля 1789.

Р. С. Меня арестовали за любовь к свободе.

В Париже в коллеже Людовика Великого у меня сын. Во имя человеколюбия прошу того, кто найдет эту книгу, доставить ее моему сыну. Его зовут Себастьян Жильбер”.

—И что было дальше?—спросил взволнованный Бийо.

—В книгу он вложил золотой, обвязал ее шпагатом и выбросил в окно.

—И дальше?

—Ее нашел лильбоннский священник. Среди прихожан он выбрал храброго молодого человека и сказал ему: “Оставь двенадцать ливров своей семье, у которой нет хлеба, а двенадцать возьми на дорогу и отвези эту книгу в Париж несчастному ребенку, у которого отняли отца за то, что тот чрезмерно сильно любит народ”.

Вчера в полдень этот молодой человек пришел ко мне и передал отцовскую книгу. Так я узнал, что отец арестован.

—Ну что ж, это немножко примиряет меня с попами,—бросил Бийо.—Жаль, они не все такие. А где этот отважный молодой человек?

—Вчера вечером от отправился обратно. Он надеется привезти семье еще пять ливров из тех двенадцати, что он получил на дорогу.

—Прекрасно! Прекрасно!—бормотал Бийо, прослезившись от радости.—О народ, сколько в нем доброты! Помни об этом, Жильбер.

—Теперь вы все знаете.

—Да.

—Вы пообещали мне, что если я вам все расскажу, вы вернете мне отца. Я рассказал, теперь вспомните про свое обещание.

—Я сказал, что либо освобожу его, либо погибну. Покажи-ка мне эту книгу,—попросил Бийо.

—Вот она,—сказал мальчик и достал из кармана томик “Общественного договора” Руссо.

—А где тут написал твой отец?

—Вот,—показал Себастьян надпись, сделанную отцом.

Фермер приложился губами к строчкам, написанным рукой доктора Жильбера.

—Можешь быть спокоен,—обратился он к мальчику,—я пойду к твоему отцу в Бастилию.

—Несчастный!—воскликнул принципал, хватая Бийо за руки.—Да как же вы пройдете к государственному преступнику?

—Тысяча чертей! Да взяв Бастилию!

Французские гвардейцы расхохотались. Через несколько секунд смеялась уже вся толпа.

—Ну-ка, ответьте,—крикнул Бийо, обводя хохочущих гневным взглядом,—что такое Бастилия?

—Камни,—ответил один солдат.

—Железо,—сказал второй.

—И огонь,—добавил третий.—Прошу заметить, драгоценный мой, на нем можно обжечься.

—Еще как можно,—прошел ропот по толпе.

—Эх вы, парижане!—вскричал Бийо.—У вас есть кирки, а вы боитесь камней. У вас есть свинец, а вы боитесь железа. У вас есть порох, а вы боитесь огня. Выходит, парижане малодушны, трусливы, парижане—рабы! Найдется ли тут хоть один мужественный человек, который пойдет со мной и Питу отнимать у короля Бастилию? Меня зовут Бийо, я—фермер из Ильде-Франса. Вперед!

Речь Бийо была возвышенна и отважна.

Воспламененная ею толпа закружилась вокруг фермера, крича:

—На Бастилию! На Бастилию!

Себастьян попытался схватить Бийо за руку, но тот легонько оттолкнул мальчика.

—Себастьян,—спросил он,—какое последнее слово в письме твоего отца?

—Трудись!—ответил Себастьян.

—То есть *трудись* здесь, а мы *потрудимся* там. Только наш труд—разрушать и убивать.

Мальчик не промолвил ни слова; даже не пожав руку Анжу Питу, который поцеловал его, он спрятал лицо в ладони, и вдруг у него начались такие страшные конвульсии, что его пришлось унести в лазарет коллежа.

—На Бастилию!—кричал Бийо.

—На Бастилию!—кричал Питу.

—На Бастилию!—вторила им толпа.

И они пошли к Бастилии.

ХIII. Король так добр, королева так добра

А теперь да позволят нам наши читатели ввести их в курс главных политических событий, которые произошли после того, как в последней книге мы покинули французский королевский двор.

Те, кто знает историю того времени, и те, кого пугает подлинная и неприукрашенная история, могут эту главу опустить; следующая за этой глава продолжает предыдущую, и то, что мы отваживаемся здесь рассказать, предназначено лишь для взыскательных умов, желающих иметь обо всем представление.

Уже год или два в воздухе, громыхая, собиралось нечто небывалое, неведомое, нечто, вышедшее из прошлого и устремленное в будущее.

Это нечто была Революция.

Умирающий Вольтер на миг приподнялся на смертном ложе и, опершись на локоть, увидел сквозь ночь, которая объала его, проблеск ее пламеносной зари.

Революции было предназначено, как Христу, кем она и была замислена, судить живых из мертвых.

Кардинал де Рец* рассказывает, что когда Анна Австрийская стала регентшей, все в один голос повторяли: "Королева так добра!"

Однажды Кенуа, врач г-жи де Помпадур**, живший при ней, увидел вошедшего Людовика XV; чувство, которое он испытал при этом, явно выходило за рамки обычного почтения, поскольку он покрылся бледностью и задрожал.

—Что с вами?—осведомилась г-жа дю Осе.

—Всякий раз, когда, я вижу короля,—отвечал Кенуа,—я говорю себе: этот человек может приказать отрубить мне голову.

—О, не бойтесь,—улыбнулась г-жа дю Осе.—*Король так добр.*

Две эти фразы "*Король так добр! Королева так добра!*" и совершили Французскую революцию.

Когда умер Людовик XV, Франция вздохнула с облегчением. Вместе с королем она избавилась от всевозможных Помпадур, Дюбарри*** и Оленьего парка****.

Удовольствия Людовика XV дорого стоили нации: только одни они обходились в три миллиона в год.

К счастью, теперь Франция получила короля молодого, нравственного, филантропа, почти философа.

Короля, который подобно Эмилю***** Жан Жака Руссо, научился ремеслу, верней, знал целых три ремесла.

Он был слесарь, часовщик, механик.

Король, ужаснувшись бедне, в которую он заглянул, начал с того, что стал отказывать всем, кто просил у него милостей. Придворные перепугались. По счастью, их успокоило одно обстоятельство: отказывает не король, а Тюрго; королева не стала еще вполне королевой, а посему нынче вечером не имеет еще того влияния, какое будет иметь завтра утром.

* Рец, Поль де Гонди кардинал де (1613—1679)—противник Мазарини, один из руководителей Фронды.

** Помпадур, Антуанета Пуасон маркиза де (1721—1764)—фаворитка Людовика XV, имевшая на него неограниченное влияние.

*** Дюбарри, Мари Жанна графиня (1741—1793)—последняя фаворитка Людовика XV.

**** В Оленьем парке в Версале находился дом, где Людовик XV развлекался со случайными любовницами, которых подыскивал ему королевский камердинер Лебель.

***** Имеется в виду герой педагогического трактата Ж. Ж. Руссо "Эмиль, или О воспитании" (1762).

Наконец к 1777 г. королева обрела столь долгожданное влияние: она стала матерью, а король, уже бывший столь добрым королем и столь добрым супругом, получил возможность стать добрым отцом.

Как же он сможет теперь отказать той, которая подарила ему наследника престола?

Однако это не все, король притом был еще добрым братом; известен анекдот Бомарше о графе Прованском*, но ведь граф Прованский был педант, и король его недолюбливал.

Зато он любил графа д'Артуа, воплощение ума и изящества, образец французского дворянина.

Любил до такой степени, что если вдруг отказывал в чем-нибудь королеве, стоило графу д'Артуа присоединиться к ее просьбе, как король тут же сдавался.

То было время правления любезных людей. Г-н де Калонн**, один из самых любезных людей на свете, был генеральным контролером финансов; это он отвечал королеве: "Ваше величество, ежели это возможно, считайте, что это уже сделано; ежели невозможно, это будет сделано".

И в тот же самый день, когда этот очаровательный ответ обошел все салоны Парижа и Версаля, "красная книга"***, которую считали закрытой, вновь была открыта.

Королева купила Сен-Клу.

Король купил Рамбуйе.

Да, у короля нет фаворитов, они есть у королевы: г-жа Диана и Жюли де Полиньяк обходятся Франции ничуть не дешевле, чем Помпадур и Дюбарри.

Королева так добра!

Предлагается сэкономить на больших жалованиях. Некоторые примиряются с этим. Но один человек, так сказать, "свой при дворе", наотрез отказывается смириться с сокращением содержания; то был г-н де Куаньи****; он встретил в коридоре короля и устроил ему в дверях скандал. Король сбежал и вечером со смехом рассказывал:

—Право, я уверен, Куаньи прибил бы меня, если бы я не уступил.

Король так добр!

И потом, судьба королевства зачастую зависит от совершенного пустяка, например: от шпоры конюшего.

* *Граф Прованский* (1755—1824)—брат Людовика XVI, будущий (с 1814 г.) король Людовик XVIII.

** *Калонн*, Шарль Александр де (1734—1802)—французский государственный деятель, в 1783—1787 гг. был генеральным контролером, при нем дефицит достигнул 112 миллионов.

*** Так называлась книга, в которую записывали секретные расходы королевского двора.

**** *Герцог де Куаньи*, близкий друг Марии Антуанетты, был назначен на придворную должность старшего шталмейстера с жалованием 40000 ливров.

Людовик XV умер. Кто заменит г-на д'Эгийона*?

Король Людовик XVI за Машо**. Машо—из тех министров, кто способен поддержать пошатнувшийся трон. Но королевские тетки за г-на де Морепа***: он такой веселый и сочиняет такие прелестные песенки. В Поншартрене у него их готово уже целых три тома. Он их называет своими мемуарами.

Теперь это уже вопрос стипендии****. Кто придет первым: гонец от короля и королевы в Арнувиль или гонец от королевских теток в Поншартрен.

Власть в руках короля, так что все шансы у него. Он то-ропливо пишет:

"Немедля приезжайте в Париж. Я вас жду."

Король кладет депешу в конверт и надписывает его:

"Графу де Машо. В Арнувиль".

Вызван конюший из королевской конюшни, ему вручается королевское послание и велено скакать во весь опор.

Конюший ушел, и теперь король может принять своих теток.

Королевские тетки, которых их отец Людовик XV звал, как читатель мог узнать из "Бальзамо", не слишком аристократическими именами Плакса, Тряпка и Ворона, ждали, когда уйдет конюший, за дверью, противоположной той, через которую он вышел.

И чуть только он вышел, они смогли войти.

Войдя, они сразу же принялись умолять короля быть благосклонным к г-ну де Морепа, и это продолжается некоторое время. Король не желает отказывать своим теткам. *Король так добр!*

Он противится им, а сам не сводит глаз с циферблата; ему нужно всего полчаса, а этим часам можно верить: он сам их выверял.

Через двадцать минут король сдается.

—Хорошо,—говорит он,—велите догнать конюшего.

Тетки спешат отдать приказание: послать вдогонку верхового; пусть он загонит коня, пусть загонит двух, да хоть десяток, но только пусть догонит конюшего.

Но, оказывается, загонять лошадей вовсе нет нужды.

* Эгийон, Арман Виньеро-Дюплесси-Ришелье, герцог д' (1720—1782)—французский государственный деятель, пользовался покровительством г-жи Дюбарри, с 1771 г. до смерти Людовика XV министр иностранных дел.

** Машо г'Арнувиль, Жан Батист де (1701—1794)—генеральный контролер финансов в 1745—1754 гг., ввел налог "двадцатину", которым облагались все сословия без исключения.

*** Морепа, Жан Фредерик, граф де (1701—1781)—французский государственный деятель, при Людовике XV попал в опалу за эпиграмму на маркизу де Помпадур, Людовик XVI назначил его первым министром. По настоянию Морепа в правительство были приглашены Тюрго, а затем Неккер.

**** В конном спорте скачки на дистанции до 7 км со множеством препятствий.

Спускаясь по лестнице, конюший зацепился за ступеньку и сломал шпору. Скакать во весь опор вполне можно и с одной шпорой.

Однако шевалье д'Абзак, начальник королевской конюшни, проверяет гонцов перед выездом и не позволит никому сесть в седло, пока не уверится, что гонец своим видом не нанесет урона чести королевских конюшен.

Поэтому конюший выедет только с обеими шпорами.

В результате скакать сломя голову, чтобы нагнать конюшего на дороге в Арнувиль, не пришлось: его нагнали во дворе.

Он уже сидел в седле, вполне готов был выехать, и к его виду невозможно было придрататься.

У него взяли конверт; самое записку короля оставили: она могла быть направлена кому угодно, а вот вместо адреса "Г-ну де Машо, в Арнувиль" королевские тетки написали: "Графу де Морепа, в Поншартрен".

Честь королевской конюшни была спасена, но монархия—погублена.

С Морепа и Калонном все шло как нельзя лучше, один пел, а второй платил; ну, а кроме придворных, существуют еще и генеральные откупщики*, которые тоже прекрасно исполняют свои обязанности.

Людовик XIV начал свое правление с того, что по совету Кольбера** приказал повесить двух генеральных откупщиков; после этого он взял в любовницы Лавальер*** и велел построить Версаль. Лавальер ему не стоила ничего.

Но вот Версаль, где он решил обосноваться, стоил ему очень дорого.

Затем в 1685 г. он изгнал из Франции миллион предприимчивых людей под предлогом, что они протестанты****.

Вот что сказал в 1707 г., еще при жизни великого короля, Буагильбер*****, говоря про 1698 г.:

"В то время дела еще кое-как шли: в лампаде пока что осталось масло. Нынче же оно выгорело, и лампада потухла".

Господи, а что же станут говорить через восемьдесят лет, когда Дюбарри и Полиньяки перейдут все меры? "Выжав из народа пот, теперь из него собираются выжать кровь". Только и всего.

И все это в таких очаровательных формах!

* Лица, приобретшие за плату права на сбор налогов с населения.

** Кольбер, Жан Батист (1619—1683)—генеральный контролер финансов Людовика XIV (с 1665 г.), добивался увеличения государственных доходов поощрением французской промышленности и торговли.

*** Лавальер, Луиза де (1644—1710)—первая фаворитка Людовика XIV.

**** В 1685 г. Людовик XIV отменил Нантский эдикт, которым в 1598 г. Генрих IV гарантировал кальвинистам свободу вероисповедания и некоторые политические права.

***** Буагильбер, Пьер де (1646—1714)—французский экономист.

Когда-то откупщики были жестоки, бесчеловечны и бесчувственны, как двери темниц, в которые они бросали свои жертвы.

Теперь они стали филантропами: одной рукой обирали народ, зато другой строили ему больницы.

Один из моих друзей, крупный финансист, уверял меня, что из ста двадцати миллионов, которые приносил налог на соль, семьдесят оставались в карманах откупщиков.

И вот на некоем собрании, где требовали реформы штата дворцового персонала, какой-то советник скаламбурил:

"Речь вести надо не о штатах прислуги его величества, а о Генеральных Штатах".

Искра упала на порох, порох воспламенился и произвел пожар.

Все наперебой повторяли остроту советника, а затем громко было потребовано создать Генеральные Штаты.

Двор назначил открытие Генеральных Штатов на 1 мая 1789 г.

24 августа 1788 г. ушел в отставку г-н де Бриенн*. С финансами он тоже обращался достаточно легко.

Но, уходя, он хотя бы дал хороший совет—пригласить Неккера.

Неккер вступил в должность министра, и все с облегчением вздохнули.

Тем временем продолжался спор по главному вопросу—о представительстве трех сословий.

Сьейес** опубликовал свою знаменитую брошюру о третьем сословии.

Провинция Дофине, Штаты которой собрались наперекор двору, постановила, что представительство третьего сословия будет равным представительству дворянства и духовенства.

Созвали собрание нотаблей***.

Это собрание заседало тридцать два дня, с 6 ноября по 8 декабря 1788 г.

Но на сей раз вмешался Бог. Когда бич королей оказывается недостаточно, в воздухе свистит Божий бич и приводит в движение народы.

Вместе с зимой пришел голод.

Голод и холод открыли двери 1789 г.

Париж был полон трупов, улицы—патрулей.

Раза два-три оружие заряжали на виду у толпы умирающих с голоду.

* Бриенн, Этьен Шарль, Ломени де (1727—1794)—кардинал, в 1787 г. был назначен генеральным контролером финансов, выказал на этом посту полнейшую несостоятельность.

** Сьейес, Эмманюэль Жозеф (1748—1836)—аббат, деятель Великой Французской революции, в 1789 г. опубликовал брошюру "Что такое Третье Сословие?", в которой обосновывал право третьего сословия представлять всю нацию.

*** Нотабли—члены собраний, созывавшихся королем для решения некоторых вопросов. Король выбирал их из представителей всех трех сословий.

Ну а потом, когда заряженное оружие надо было применить, его не применяли.

Утром 26 апреля, то есть за пять дней до открытия Генеральных Штатов, толпа повторяла одну фамилию.

Она сопровождалась проклятиями, исполненными тем большей ненависти, что фамилия эта принадлежала разбогатевшему рабочему.

Эта фамилия—Ревельон. Как стало известно, Ревельон, директор знаменитой обойной фабрики в Сент-Антуанском предместье, заявил, что дневная плата рабочих должна быть понижена до 15 су.

Это была правда.

К этому добавляли, что двор собрался наградить его черной лентой, то есть орденом Св. Михаила*.

А вот это была чушь.

Но среди мятежников всегда возникают какие-нибудь нелепые слухи. И самое примечательное, что именно такие слухи и вовлекают людей в мятеж, способствуют росту рядов мятежников и становятся причиной революций.

Толпа сделала чучело, написала на нем *Ревельон*, украсила черной лентой, подожгла у дверей дома Ревельона и понесла дожигать на площадь к Ратуше, где муниципальные власти наблюдали, как оно горит.

Безнаказанность придала толпе смелости, и она объявила, что сегодня совершила казнь изображения Ревельона, а завтра покарает его самого.

То был вызов, по всем правилам брошенный властям.

Власти послали тридцать французских гвардейцев; верней, это еще не власти послали, а их полковник г-н де Бирон.

Эти тридцать французских гвардейцев стали свидетелями грандиозной дуэли, которой не могли воспрепятствовать. Они наблюдали, как грабят фабрику, выбрасывают в окна мебель, крушат и жгут все подряд. В суматохе пропали пятьсот луидоров.

Грабители пили в погребах вино, а когда вино кончилось, стали пить краски, которые приняли за вино.

Безобразие это продолжалось весь день 27 апреля.

В помощь тридцати гвардейцам послали несколько рот французской гвардии, которые сперва стреляли холостыми, а потом пулями. Под вечер к французской гвардии присоединились швейцарцы г-на де Безанваля.

Когда речь заходит о революции, швейцарцы не шутят.

Швейцарцы оставили в патронах пули, ну а поскольку они от природы охотники, причем превосходные охотники, десятка два грабителей остались лежать на земле.

У некоторых из оставшихся лежать была обнаружена их доля тех пятисот луидоров, о коих мы уже упоминали; эти деньги перекечевали от секретаря Ревельона в карманы грабителей, а из их карманов в карманы швейцарцев.

* Орден Св. Михаила был учрежден в 1469 г. Людовиком XI, им награждались за военные заслуги.

Безанваль сделал свое дело, взял, как говорится, все на себя.

Король не поблагодарил его, но и не высказал порицания. Но ежели король не благодарит, это значит—он порицает. Парламент начал следствие.

Король закрыл его.

Король был так добр!

Кто бросил искру в народ? Никто не мог этого сказать.

Но разве иногда летом во время сильной жары пожары не загораются сами собой, без видимой причины?

Обвинили герцога Орлеанского.

Но обвинение было слишком нелепо и провалилось.

Двадцать девятого Париж был совершенно спокоен, во всяком случае выглядел таковым.

Настало 4 мая, король и королева в сопровождении двора отправились в Нотр-Дам послушать *Veni creator**.

Было много криков "Да здравствует король!", а особенно "Да здравствует королева!".

Королева была так добра.

То был последний мирный день.

Назавтра криков "Да здравствует королева!" было гораздо меньше, зато куда больше—"Да здравствует герцог Орлеанский!"

Эти здравицы весьма уязвили королеву; бедняжка, она до такой степени ненавидела герцога, что даже обозвала его трусом.

Как будто среди Орлеанских герцогов, начиная с Месье, победителя при Каселе**, и кончая герцогом Шартрским, который способствовал победам в сражениях при Жемапе и Вальми***, когда-либо были трусы!

Короче, бедняжка-королева едва не лишилась чувств; она так поникала головой, что ей потребовалась поддержка. Г-жа Кампан**** рассказывает об этом в своих "Мемуарах".

Однако эта поникающая голова скоро поднялась с надменностью и высокомерием. Те, кто видел выражение лица королевы, отныне были просто обречены вовеки повторять: "Королева так добра!"

* Начало старинного католического гимна "Veni creator spiritus!"—"Гряди, дух творящий!" (лат.)

** В 1677 г. близ городка Касель французская армия под командованием Филиппа Орлеанского, брата Людовика XIV, одержала победу над войсками штатгальтера Голландии принца Вильгельма Оранского.

*** В 1792 г. французская революционная армия одержала победы над интервентами—близ бельгийского городка Жемап над австрийцами и при Вальми над прусской армией. В обоих сражениях участвовал сын Филиппа—Эгалите, носивший в ту пору титул герцога Шартрского, будущий король Франции Луи Филипп.

**** Кампан, Анриетта (1752—1822)—тщица теток Людовика XVI, приближенная Марии Антуанетты, оставила о ней воспоминания.

Существуют три портрета королевы: один, написанный в 1776 г., второй—в 1784, и еще один—1788.

Я видел все три. Полюбопытствуйте, посмотрите их тоже. Если когда-либо эти три портрета будут соединены в одной галерее, по ним можно будет прочесть историю Марии Антуанетты*.

Собрание трех сословий, на котором они должны были бы заключить друг друга в объятия, стало объявлением войны.

“Три сословия!—сказал Сьейес.—Нет, три нации!”

Третьего мая, накануне Духова дня и праздничной мессы, король принимал депутатов в Версале.

Некоторые советовали ему пожертвовать этикетом ради сердечности. Король не желал ничего слышать.

Первыми он принял духовенство.

Затем дворянство.

Наконец третье сословие.

Третьему сословию пришлось долго ждать.

Третье сословие роптало.

В прежних собраниях третье сословие обращалось к королю с приветственной речью, стоя на коленях.

Но теперь не было способа заставить председателя депутации третьего сословия преклонить колени.

Поэтому решили, что приветственная речь от третьего сословия не будет произнесена.

На заседании 5 мая король надел шляпу.

Депутаты от дворянства тоже надели шляпы.

Третье сословие собралось последовать их примеру, но король тут же обнажил голову: он предпочел держать шляпу в руке, нежели видеть представителей третьего сословия в шляпах.

В среду 10 июня Сьейес пришел в Собрание. Он увидел одних только депутатов от третьего сословия.

Духовенство и дворянство собрались в других местах.

—Разрубим узел,—сказал Сьейес.—Пора.

И он предложил потребовать от духовенства и дворянства ровно через час явиться на заседание.

—Все неявившиеся будут сочтены отсутствующими.

Версаль окружали немецкие и швейцарские полки. Батарея пушек была наведена на Собрание.

Но Сьейес ничего этого не видел. Он видел только голодающий народ.

—Но ведь одно третье сословие,—возражали ему,—не может составить Генеральные Штаты.

—Тем лучше,—ответил Сьейес,—мы сформируем Национальное Собрание.

Отсутствующие не явились, предложение Сьейеса было принято: большинством в четыреста голосов третье сословие объявило себя *Национальным Собранием*.

19 июня король отдал приказание закрыть зал, где заседает Национальное Собрание.

* Эти три портрета находятся в Версале (примеч. автора).

Но чтобы осуществить подобный государственный переворот, королю требовался предлог.

Зал был закрыт якобы затем, чтобы приготовить его к заседанию в присутствии короля, которое было назначено на следующий понедельник.

20 июня в семь утра председатель Национального Собрания узнал, что в этот день заседания не будет.

В восемь утра он появился у дверей зала в сопровождении многочисленных депутатов.

Двери были заперты, их караулили часовые.

Шел дождь.

Депутаты хотели взломать двери.

Но у часовых был приказ, и они скрестили штыки.

Кто-то предложил устроить заседание на плацу.

Кто-то—в Марли.

Гильотен* предложил Зал для игры в мяч.

Гильотен!

Странно, что это был именно Гильотен, чья фамилия, немножко переименованная, стала так знаменита четыре года спустя.

Нет, право, странно, что как раз Гильотен предложил Зал для игры в мяч!

Зал для игры в мяч—пустой, заброшенный, открытый всем ветрам...

Он стал яслями сестры Иисуса Христа! Стал колыбелью Революции!

Только Христос был сыном непорочной девы.

Революция была дочь изнасилованной нации.

На эту величественную демонстрацию король ответил монаршим "вето".

К бунтовщикам был послан г-н де Дрё-Брезе** с повелением разойтись.

—Мы здесь по воле народа,—ответил Мирабо***,—и уйдем отсюда, только если нам в животы упрутся штыками.

Именно так, а вовсе не как принято цитировать: "... только уступая силе штыков". Почему-то всегда за великим человеком стоит ничтожный учитель риторики, который под предлогом исправления ошибок и улучшения портит чужие слова.

Зачем такой учительшка риторики стояла за Мирабо в Зале для игры в мяч?

* Гильотен, Жозеф Иньяс (1738—1814)—французский врач, предложил орудие для обезглавливания осужденных на казнь, названное по его имени гильотиной.

** Дрё-Брезе, Анри Эввар, маркиз де (1762—1829)—ober-церемониймейстер при дворе Людовика XVI.

*** Мирабо, Оноре Габриель Рикети, граф де (1749—1791)—один из ведущих деятелей начального периода Французской революции, депутат от третьего сословия, был сторонником конституционной монархии.

За Камброном* в битве при Ватерлоо?

Ответ был передан королю.

Людовик XVI некотороe время прохаживался со скучающим видом и наконец спросил:

—Значит, они не желают расходиться?

—Нет, государь.

—Ладно, пусть остаются.

Как видно, монархия уже склонялась под рукой народа и склонялась низко.

С 23 июня по 12 июля все выглядело достаточно спокойно, но это было тяжелое, удушливое спокойствие перед грозой.

То было словно тягостное сновидение в тягостном сне.

Одинадцатого король принял решение: подталкиваемый королевой, графом д'Артуа, Полиньяками, всей версальской камарильей, он наконец дал отставку Неккеру. Двенадцатого эта новость дошла до Парижа.

Читатель уже видел, какое она произвела действие. Бийо приехал вечером тринадцатого, как раз когда жгли заставы.

Вечером тринадцатого Париж защищался, утром четырнадцатого он был готов перейти в наступление.

Утром четырнадцатого Бийо кричал: "К Бастилии!"—и три тысячи человек вторили его крику, который вскоре станет кличем всего населения Парижа.

А причина этого в том, что уже пять столетий на груди Франции тяжким бременем лежал монумент—словно адский камень на плечах Сизифа**.

Только Франция, не столь уверенная в своих силах, как титан, никогда не пыталась поднять его.

Этот монумент, клеймо феодализма, запечатленное на челе Парижа, назывался Бастилия.

Король, как говорила г-жа дю Осе, был слишком добр, чтобы велеть отрубить голову.

Но король бросал в Бастилию.

О человеке, которого по приказу короля заключили в Бастилию, забывали; он был вычеркнут из жизни, замурован, исчезал.

И так длилось до тех пор, пока король не вспоминал о нем, но королям приходится думать о стольких проблемах, что о прошлых они порой просто забывают.

А кроме того, во Франции существовала не одна Бастилия, что означает "крепость"; таких крепостей было не менее двух десятков, и назывались они Фор л'Эвек, Сен-Лазар, Шатле,

* Камброн, Пьер Жак Этьен (1770—1842)—французский генерал, участник наполеоновских войн. В сражении при Ватерлоо командовал последним каре Старой гвардии и на предложение сдать ответил: "Гвардия умирает, но не сдается". По мнению многих историков, ответ был куда более кратким и выразительным.

** Ошибка Дюма: Сизиф (греч. миф.) за свои преступления был обречен вечно вкатывать (а не тащить на плечах!) на гору огромный камень, который тут же скатывался с вершины вниз. Кроме того, Сизиф был смертным человеком, а не титаном.

Консьержери, Венсен, замок де ла Рош, замок Иф, острова Сент-МARGERIT, Пиньероль и т. д.

Но только одна крепость у Сент-Антуанской заставы называлась *Бастилия*, как Рим назывался *Городом*.

То была поистине и по преимуществу "крепость". Она одна стояла всех остальных.

Почти целое столетие комендантами Бастилии оставались члены одной семьи.

Предком сих избранных был г-н де Шатонёф. Наследовал ему его сын Лаврийер, ну, а Лаврийеру его внук Сен-Флорантен. Династия эта угасла в 1777-м.

Никто не мог сказать, сколько именных указов о заточении было подписано за время правления этой троицы, большая часть которого приходилась на царствование Людовика XV. Сен-Флорантен один расписался на пятидесяти тысячах таких указов.

Эти указы о заточении приносили огромный доход.

Их продавали отцам, желающим избавиться от сыновей.

Их продавали женам, желающим избавиться от мужей.

Чем красивей была женщина, тем дешевле стоил такой указ.

Она и министр просто оказывали друг другу небольшую услугу.

Под конец царствования Людовика XIV все государственные тюрьмы, а главное, Бастилия, оказались в руках иезуитов.

Вот наиболее знаменитые из узников:

Железная Маска, Лозен, Латюд.

Иезуиты были исповедниками: исповедовали узников ради вящей безопасности.

Ради той же вящей безопасности умерших узников хоронили под ложными фамилиями.

Вспомним, что Железная Маска был похоронен под фамилией Маркиали.

Он пробыл в заточении сорок пять лет.

Лозен—четырнадцать лет.

Латюд—тридцать лет.

Но Железная Маска и Лозен хотя бы совершили серьезные преступления.

Железная Маска, который то ли был братом Людовика XIV, то ли нет, во всяком случае так походил на короля, что их можно было спутать.

Дерзнуть быть так похожим на монарха—большая неосторожность.

Лозен чуть было не женился, а может, даже и женился на Великой Мадемуазель*.

Посметь жениться на племяннице короля Людовика XIII, внучке короля Генриха IV тоже крайне неосторожно.

Но в чем провинился бедняга Латюд?

Он осмелился влюбиться в м-ль Пуассон, приближенную королевской любовницы маркизы де Помпадур.

* Титул Луизы Орлеанской герцогини де Монпансье (1627—1693), двоюродной сестры Людовика XIV. В 1669 г. она якобы тайно обвенчалась с герцогом де Лозеном.

Он написал ей записку.

Эту записку, которую порядочная женщина вернула бы тому, кто ее написал, г-жа де Помпадур переслала г-ну де Сартину*.

Латюд был арестован, бежал, снова был пойман и тридцать лет провел в заключении в Бастилии, Венсене и Бисетре.

Народу было за что ненавидеть Бастилию.

И народ ненавидел ее как некое живое существо, как нечто вроде гигантской Тараски** или жеводанского чудовища***, безжалостно пожирающих людей.

Поэтому вполне понятно горе несчастного Себастьяна Жильбера, когда он узнал, что его отца заключили в Бастилию.

И понятно несокрушимое убеждение Бийо, что если доктор не вырвать из тюрьмы силой, он из нее никогда не выйдет.

И понятно неистовое воодушевление народа, когда Бийо призвал: "К Бастилии!"

Тем не менее мысль взять Бастилию была, как и говорили солдаты, безумием.

В Бастилии имелось в достатке припасов, был гарнизон, была артиллерия.

У Бастилии были стены толщиной пятнадцать футов поверху и сорок в основании.

В Бастилии был комендант г-н Делоне, у которого в подвалах лежало тридцать фунтов пороха и который поклялся в случае неожиданного нападения взорвать крепость, а вместе с ней и половину Сент-Антуанского предместья.

XIV. Три власти во Франции

Бийо шагал впереди, но теперь он уже не выкрикивал призывы идти на Бастилию. Толпа, плененная его воинственным видом, признала Бийо своим, обсуждала его слова и действия и послушно шла следом, постепенно разрастаясь, словно вал морского прилива.

Когда Бийо вступил на набережную Сен-Мишель, с ним уже шли тысячи три человек, вооруженных тесаками, топорами, пиками и ружьями.

И все они кричали:

—На Бастилию! На Бастилию!

Бийо был погружен в свои мысли. Все те соображения, что мы изложили в конце предыдущей главы, он теперь уже сам

* Сартин, Габриель де (1729—1801)—начальник полиции в 1759—1774 гг.

** Тараска—фантастическое животное, изображения которого носят в праздничных процессиях в г. Тарасконе и других городах в Провансе.

*** В 1765 г. в старинной области Жеводан (ныне деп. Лозер) появился какой-то огромный зверь (вероятно, крупный волк), нападавший на людей и прозванный жеводанским чудовищем.

перебирал в уме, и понемногу его подъем, его лихорадочное возбуждение угасало.

Теперь мысленно ему все виделось гораздо ясней.

Он затеял благородное, но безумное дело. И это легко было прочесть по испуганному или насмешливому выражению лиц тех, кто слышал крики "На Бастилию!"

И тем не менее Бийо лишь еще больше укреплялся в своем решении.

Но он осознал, что отвечает за жизнь людей, которые последовали за ним, перед их матерями, женами и детьми, и решил принять все возможные меры предосторожности.

Бийо привел эту толпу на площадь к Ратуше.

Там он назначил своего заместителя и офицеров—овчарок, чтобы стадо не разбеглось.

"Поди ж ты,—подумал Бийо,—во Франции есть власть, и даже две, да что там, даже три".

Он вступил в Ратушу и осведомился, кто будет главой муниципалитета.

Ему ответили: купеческий старшина г-н де Флессель.

—Вот как,—протянул он с не слишком довольным видом.—Господин де Флессель—из благородных, значит, противник народа.

—Да, нет,—сказали ему,—он умный человек.

Бийо поднялся по лестнице Ратуши.

В приемной он встретил пристава.

—Я хочу поговорить с де Флесселем,—объявил Бийо, увидев, что пристав устремился навстречу, очевидно, желая спросить, что ему угодно.

—Это невозможно,—сообщил пристав.—Сейчас в Ратуше создается гражданская милиция, и господин де Флессель занят комплектованием ее состава.

—Очень удачно получается,—заметил Бийо.—Я тоже создаю милицию, и у меня уже записались три тысячи человек, так что я буду весьма кстати господину де Флесселю, у которого пока нет ни одного солдата. Поэтому устройте мне разговор с господином де Флесселем и притом немедленно. Да, кстати, взгляните, если угодно, в окно.

Пристав выглянул в окно и обнаружил на набережной три тысячи людей Бийо. Он мгновенно направился к купеческому старшине, предъявив ему вместо рекомендации Бийо эти три тысячи человек.

Подобная рекомендация возбудила у купеческого старшины уважение к тому, кто пожелал с ним говорить; он покинул совещание и вышел в переднюю.

Увидев Бийо, он догадался, что это и есть посетитель, и, улыбаясь, осведомился

—Это вы спрашивали меня?

—Вы—господин де Флессель, купеческий старшина?—вопросом на вопрос ответил Бийо.

—Да, сударь. Чем могу служить? Только поторопитесь, у меня множество дел.

—Господин старшина,—задал вопрос Бийо,—сколько властей во Франции?

—Бог мой, сударь, это уж как вы сами считаете,—ответил Флессель.

—Ответьте, как считаете вы.

—Если вы спросите у господина Байи*, он вам скажет, что только одна: Национальное Собрание. Если спросите у господина де Дрё-Брезе, он тоже скажет: только одна—король.

—А вы, господин старшина, какое из этих двух мнений разделяете?

—Мое мнение таково: в настоящий момент существует только одна власть.

—Национальное Собрание или король?—поинтересовался Бийо.

—Ни то и ни другой, а нация,—ответал Флессель, нервно комкая жабо.

—Ах, нация,—протянул фермер.

—Да, иначе говоря, те господа с ножами и вертелами, что ждут внизу на площади. Нация, то есть, я считаю, все.

—Вы, должно быть, правы, господин де Флессель,—промолвил фермер,—и мне верно сказали, что вы умный человек.

Г-н де Флессель поклонился.

—К какой же из трех властей, сударь, вы намерены обратиться?—осведомился Флессель.

—Полагаю, что ежели хочешь попросить о чем-то важном, проще всего обратиться к самому Господу Богу, а не к его святым,—ответил Бийо.

—Иными словами, вы намерены обратиться к королю?

—Именно это я и хочу.

—А не будет ли нескромностью поинтересоваться, что вы собираетесь попросить у короля?

—Освободить доктора Жильбера, заключенного в Бастилию.

—Доктора Жильбера?—с пренебрежением переспросил Флессель.—Это что, сочинителя брошюрок?

—Верней будет сказать, сударь, философа.

—Это одно и то же, дорогой господин Бийо. Мне кажется, у вас мало шансов добиться этого у короля.

—Почему?

—Во-первых, потому что раз уж король повелел бросить доктора Жильбера в Бастилию, значит, у него были на то основания.

—Ну, хорошо,—заметил Бийо,—он мне выскажет свои основания, а я ему свои.

—Дорогой господин Бийо, король крайне занят и не примет вас.

—Ну, если он меня не примет, я найду способ пройти к нему без позволения.

* Байи, Жан Сильвен (1736—1793)—французский литератор и астроном. Был председателем Национального Собрания, после взятия Бастилии стал мэром Парижа. Казнен в период террора.

—В этом случае, войдя, вы встретитесь с господином де Дрё-Брезе, и он прикажет выгнать вас взащей.

—Меня—взащей?

—Да. Он хотел проделать это же со всем Национальным Собранием, что ему, по правде сказать, не удалось, и оттого он в ярости. Вот у него и будет повод отыграться хотя бы на вас.

—Ладно, тогда я обращусь к Национальному Собранию.

—Дорога в Версаль перерезана.

—Я пойду вместе с тремя тысячами моих людей.

—Имейте, сударь, в виду: на дороге вы столкнетесь почти с пятью тысячами швейцарцев и с двумя, а то и с тремя тысячами австрийцев, которые и вам, и вашим трем тысячам людей зададут по первое число. В один миг они оставят от вас мокрое место.

—Дьявол! Так что же мне делать?

—Делайте, что вам угодно, только окажите мне услугу: уведите отсюда ваших людей, а то они стучат алебардами по мостовой и курят. У нас тут в подвалах почти восемь тысяч фунтов пороха, и достаточно будет одной искры, чтобы мы взлетели в воздух.

—Ладно, я подумал,—сообщил Бийо,—и решил не обращаться ни к королю, ни к Национальному Собранию. Я обращусь прямо к нации, и мы возьмем Бастилию.

—С чем же вы ее будете брать?

—Да с теми восьмью тысячами фунтов пороха, что вы мне дадите, господин старшина.

—Да неужели?—насмешливо бросил де Флессель.

—Да уж точно. Благоволите, сударь, выдать ключи от погребов.

—Вы никак шутите?—изумился старшина.

—Нет, сударь, вовсе не шучу,—отвечал Бийо.

Он схватил обеими руками де Флесселя за воротник кафтана и произнес:

—Ключи, или я позову своих людей.

Флессель побледнел, как смерть. Он судорожно стиснул губы, но голос у него ничуть не переменялся, остался таким же насмешливым, как и прежде.

—Сударь,—сказал он,—вы окажете мне огромную услугу, избавив меня от этого пороха. Я велю передать вам ключи, когда вы пожелаете. Не забывайте только, что я ваш первый магистрат, и если вы, к несчастью, позволите себе проделать со мной прилюдно то же самое, что проделали с глазу на глаз, не пройдет и часу, как вы будете вздернуты городской стражей. Итак, вы продолжаете требовать порох.

—Продолжаю,—подтвердил Бийо.

—И сами раздадите его?

—Сам.

—Когда же?

—Немедленно.

—В таком случае давайте договоримся: у меня здесь дел еще на четверть часа, и я предпочел бы, если вам, конечно, безразлично, чтобы раздавать порох вы стали, когда я отсюда уйду. Мне предсказали, что я умру насильственной смертью,

но признаюсь вам, сама мысль, что я взлечу на воздух, вызывает у меня крайнее отвращение.

—Хорошо, значит, через четверть часа. А теперь позвольте мне обратиться к вам с просьбой.

—С какой?

—Давайте подойдем к этому окну.

—Зачем?

—Я хочу сделать вас популярным.

—Большое спасибо, но каким образом?

—Сейчас увидите.

Бийо подвел старшину к окошку.

—Друзья,—крикнул он,—вы все так же желаете взять Бастилию?

—Да! Да! Да!—прозвучали в ответ почти четыре тысячи голосов.

—И у вас нет пороха?

—Пороха! Пороха!

—Вот перед вами господин купеческий старшина. Он хочет отдать вам порох, который хранится в подвалах Ратуши Друзья, поблагодарите его.

—Да здравствует господин купеческий старшина! Да здравствует господин де Флессель!—заревела толпа.

—Спасибо! Благодарю вас от себя и от него!—крикнул Бийо и тут же обратился к Флесселю.—А теперь сударь, у меня больше нет нужды брать вас за воротник ни наедине, ни прилюдно, потому что, если вы не дадите мне пороха, нация, как вы называли этих людей, разорвет вас на куски.

—Вот ключи, сударь,—сказал Флессель.—У вас такая манера просить, что отказать вам просто невозможно.

—В таком случае, вы придали мне смелости,—начал Бийо, у которого, похоже, созрел новый план.

—Черт возьми! Уж не намерены ли вы еще что-то попросить у меня?

—Намерен. Вы знакомы с комендантом Бастилии?

—С господином Делоне?

—Я не знаю, как его зовут.

—Его зовут господин Делоне.

—Пусть будет так. Так вы знакомы с господином Делоне?

—Он принадлежит к числу моих друзей.

—В таком случае вы, наверное, не хотите, чтобы с ним случилась беда?

—Разумеется, не хочу.

—Так вот, единственный способ для него избежать беды—сдать мне Бастилию или хотя бы выдать доктора.

—Полагаю, вы не думаете, что мое влияние столь велико, чтобы принудить его сдать вам узника или крепость?

—Это как раз я сделаю сам. От вас я прошу только помочь мне проникнуть туда.

—Дорогой господин Бийо, предупреждаю, что если вы и пройдете в Бастилию, то только один.

—Очень хорошо.

—И еще предупреждаю: войдя туда, возможно, вы оттуда уже не выйдете.

—Превосходно.

—Я дам вам пропуск в Бастилию.

—Я жду.

—Но при одном условии.

—Да?

—Что завтра вы не придете ко мне требовать пропуск на луну. Предупреждаю, в том мире я не знаю никого.

—Флессель! Флессель!—раздался за спиной купеческого старшины глухой недовольный голос.—Если ты и дальше будешь таким двуличным, одним лицом улыбаясь аристократам, а другим народу, то не сегодня-завтра сам подпишешь себе пропуск в мир, откуда еще никто не возвращался.

Вздвогнув, старшина обернулся.

—Кто это?—спросил он.

—Марат.

—Философ Марат! Врач Марат!—воскликнул Бийо.

—Я самый,—ответил тот же голос.

—Вот именно, философ и врач Марат,—пробормотал Флессель,—И в этом последнем качестве ему следовало бы заняться излечением безумцев. Сейчас у него было бы очень много пациентов.

—Господин де Флессель,—ответал ему мрачный собеседник,—этот отважный гражданин просит у вас пропуск к господину Делоне. Хочу вам заметить, что этого пропуска ждет не только он, но еще три тысячи человек.

—Хорошо, сударь, он его получит.

Флессель подошел к столу, подпер голову рукой и, взяв перо, быстро написал несколько строк.

—Вот вам пропуск,—протянул он листок Бийо.

—Прочтите его,—сказал Марат.

—Я не умею читать,—ответил Бийо.

—Тогда дайте мне, я прочту.

Бийо подал лист Марату.

Пропуск звучал следующим образом:

"Господин комендант!

Мы, купеческий старшина города Парижа, посылаем к Вам господину Бийо для переговоров с Вами в интересах вышеупомянутого города.

14 июля года 1789.

Де Флессель."

—Отлично,—сказал Бийо.—Давайте.

—Вы находите, что этот пропуск так уж хорош?—поинтересовался Марат.

—Разумеется.

—Погодите, господин старшина сейчас припишет к нему постскриптум, который сделает его еще лучше.

Марат подошел к де Флесселю, который продолжал стоять, опершись кулаком о стол и высокомерно глядя на обоих своих собеседников, и на третьего, полугололого, который вошел и встал с мушкетонам в дверях.

Этим третьим был Питу; всем своим видом он демонстрировал, что готов исполнить любой приказ фермера, каков бы тот ни был.

—Сударь,—сказал Марат де Флесселю,—сейчас я продиктую вам постскриптум, который вы подпишите, тем самым изрядно улучшив пропуск.

—Диктуйте, господин Марат.

Марат положил пропуск на стол и показал, куда купеческий старшина должен вписать требуемый постскриптум.

—Гражданин Бийо,—медленно произносил он,—направляется в качестве парламентаря, и я поручаю его жизнь вашей чести.

Флессель так глянул на Марата, что стало ясно: ему смертельно не хочется делать то, что от него требуют; с куда большим удовольствием он съездил бы кулаком по этой плоской физиономии.

—У вас какие-то сомнения, сударь?—поинтересовался Марат.

—Нет, нет,—ответил Флессель.—В конце концов, то, что вы просите, весьма разумно.

И он приписал требуемый постскриптум.

—Но все-таки, господа,—добавил он,—прошу заметить: за безопасность господина Бийо я не отвечаю.

—За нее отвечаю я,—сказал Марат, вырывая у него из рук бумагу.—Ваша свобода—порука его свободы, ваша голова—порука его головы. Вот вам ваш пропуск, храбрец Бийо.

—Лабри!—крикнул г-н де Флессель.—Лабри!

Явился ливрейный лакей.

—Мою карету!—приказал Флессель.

—Карета ждет господина старшину во дворе.

—Идем,—сказал Флессель.—Вам, господа, больше ничего не угодно от меня?

—Нет,—ответили одновременно Бийо и Марат.

—Выпустить его?—осведомился Питу.

—Друг мой,—бросил ему Флессель,—хочу заметить вам, что ваш наряд слишком непристойен, чтобы стоять на карауле в дверях моего кабинета. Если вы намерены здесь оставаться, передвиньте хотя бы вашу лядунку на живот и прислонитесь задом к стенке.

—Так выпустить его?—повторил Питу, глянув на г-на де Флесселя с видом, ясно выражающим, что ему не слишком понравилась шутка, объектом которой он стал.

—Выпусти,—ответил Бийо.

Питу посторонился.

—Наверно, вы зря отпустили этого человека,—сказал Марат.—Стоило бы его задержать, он был бы прекрасным заложником. Но можете быть спокойны, где бы он ни был, я его отыщу.

—Лабри,—обратился к лакею Флессель, усаживаясь в карету,—сейчас тут будут раздавать порох. Если Ратуша вдруг взорвется, я не хочу, чтобы на меня посыпались обломки. Так что подальше отсюда, Лабри, подальше отсюда.

Карета через арку выкатилась на площадь, где стоял гул уже почти пятитысячной толпы.

Флессель опасался, что его отъезд истолкуют как бегство, каковым он в действительности и был.

Он высунулся из кареты и крикнул кучеру:

— В Национальное Собрание!

Этим он снискал шквал рукоплесканий значительной части толпы.

Марат и Бийо стояли на балконе и слышали приказ Флесселя.

— Ставлю свою голову против его головы, — бросил Марат, — что он едет не в Национальное Собрание, а к королю.

— Может, задержать его? — спросил Бийо.

— Не надо, — со злобной улыбкой ответил Марат. — Будьте уверены, как бы быстро он ни ехал, мы опережим его. А теперь займемся порохом.

— Да, займемся порохом! — подхватил Бийо.

И они вместе с Питу спустились в подвалы.

ХV. Г-н Делоне, комендант Бастилии

В подвалах Ратуши, как сообщил г-н де Флессель, хранилось восемь тысяч фунтов пороха.

Марат и Бийо вошли в первый подвал и подвесили к потолку фонарь.

Питу встал на часах у дверей.

Порох был в бочонках, примерно по двадцать фунтов в каждом. На лестнице поставили мужчин. Они образовали цепочку и стали передавать друг другу бочонки.

Началось все, конечно, с неразберихи. Никто не знал, хватит ли пороха на всех, и каждый старался ухватить свою долю. Но назначенные Бийо командиры сумели навести кое-какой порядок, и дальше распределение шло более или менее спокойно.

Каждый гражданин получил по полфунта пороха, то есть примерно на тридцать-сорок зарядов.

Но после того как все были наделены порохом, встал вопрос о ружьях: ими вооружены были, дай Бог, человек пятьсот.

Покуда шла раздача пороха, часть разъяренной, требующей оружия толпы ворвалась в помещение, где заседали выборщики. Они как раз готовили создание национальной гвардии, о чем и сообщил Бийо пристав. Уже было декретировано, что эта гражданская милиция организуется в числе сорока восьми тысяч человек. И хотя она существовала пока только на бумаге, уже пошли споры, кого назначить генералом.

И вот в разгар этой дискуссии народ ворвался в Ратушу. Он организовался сам собой. Он готов был действовать. Ему не хватало только оружия.

В это время послышался стук колес подъехавшей кареты. В ней сидел купеческий старшина, которого все-таки не пропустили, хотя он всячески ссылался на приказ короля, требующего его к себе, и силой возвратили в Ратушу.

—Оружия! Оружия!—закричали со всех сторон, когда увидели его.

—У меня нет оружия,—сказал он,—но оно должно быть в Арсенале.

—В Арсенал!—раздались крики в толпе.

И уже почти шесть тысяч человек устремились на Гревскую набережную.

Но в Арсенале было пусто.

Воя и бранясь, они вернулись к Ратуше.

У де Флесселя не было оружия, верней, он не хотел его давать. Но народ давил на него, и Флесселю пришлось в голову отослать его в картезианский монастырь.

Картезианцы открыли ворота. Монастырь обыскали, но не нашли даже карманного пистолета.

А в это время Флессель, узнав, что Марат и Бийо все еще заняты в подвалах Ратуши раздачей пороха, предложил послать депутацию к Делоне и попросить его убрать пушки.

Дело в том, что вчера более всего толпу раздражали пушки, длинные шеи которых высунулись между зубцами крепостной стены. Флессель надеялся, что ежели они спрячутся, народ удовлетворится этой уступкой и спокойно разойдется.

Едва депутация отправилась, как возвратилась разъяренная толпа.

Услыхав ее рев, Бийо и Марат поднялись во двор.

Флессель с внутреннего балкона пытался успокоить народ. Он предложил декрет, который обяжет округа отковать пятьдесят тысяч пик.

Народ был готов согласиться на это.

—Нет, решительно этот человек—предатель,—пробормотал Марат и повернулся к Бийо.—Отправляйтесь в Бастилию. Через час вы увидите, что я приведу к вам двадцать тысяч человек, и у каждого будет ружье.

Бийо сразу проникся доверием к этому человеку, чье имя было настолько широко известно, что даже он слышал его. Фермер не стал интересоваться, как и какими средствами Марат собирается достичь этого. В толпе находился какой-то аббат, который, разделяя общий энтузиазм, кричал вместе со всеми: "На Бастилию!" Бийо недолюбливал священников, но этот ему понравился. Он предложил ему продолжить раздачу пороха, и храбрый аббат согласился.

Марат вскочил на каменную тумбу. Вокруг стоял невообразимый шум.

—Тихо!—крикнул он.—Меня зовут Марат! Я хочу говорить!

Тут же, как по мановению волшебного жезла, шум умолк, и все взоры обратились к оратору.

—Вы хотите оружия?—спросил Марат.

—Да!—заревели тысячи глоток.

—Чтобы взять Бастилию?

—Да!

—Идемте со мной, и у вас будет оружие.

—Куда?

—В Дом Инвалидов! Там двадцать пять тысяч ружей. В Дом Инвалидов!

—В Дом Инвалидов!—взревела толпа.

—Ну что, вы, значит, в Бастилию?—обратился Марат к Бийо, который вызвал к себе Питу.

—Да.

—Погодите. Может статься, что вам понадобится помощь до прихода моих людей.

—Очень даже возможно,—согласился Бийо.

Марат вырвал листок из маленькой записной книжки и написал карандашом два слова: "От Марата".

Потом нарисовал какой-то значок.

—Хорошо,—сказал Бийо,—но что прикажете мне делать с этой запиской, ведь на ней нет ни адреса, ни имени того, кому я должен ее передать.

—Что касается адреса, то у того, кому я вас рекомендую, его нет, а имя его прекрасно известно. Спросите у первого встречного рабочего, знает ли он Гоншона, Мирабо простого народа.

—Гоншон*. Запомни эту фамилию, Питу.

—Гоншон, или Гоншонуус. Запомню,—отвечал Питу.

—В Дом Инвалидов! В Дом Инвалидов!—со все возрастающей свирепостью раздавались крики из толпы.

—Ну, иди, и да предшествует тебе гений свободы!—напутствовал Бийо Марат и тоже крикнул:—В Дом Инвалидов!

И он направился по Жеврской набережной, а за ним потекли уже более двадцати тысяч человек.

Бийо же оставил себе примерно шестьсот человек—тех, у кого были ружья.

И вот, когда они повернули вниз по течению реки, а другие—к бульварам, в окне появился купеческий старшина.

—Друзья,—спросил он,—а почему у вас на шляпах зеленые кокарды?

То были листья липы, предложенные Камилем Демуленом; многие их нацепили, увидев у других и даже не зная, что это значит.

—Надежда! Надежда!—закричали несколько человек.

—Да, но цвет надежды в то же время является цветом графа д'Артуа. Иль вы хотите выглядеть так, будто носите ливрею принца?

—Нет! Нет!—завопил согласный хор голосов, причем Бийо кричал громче всех.

—Тогда смените кокарду. И уж коль вы желаете носить чей-то цвет, то пусть это будет цвет нашего родного города Парижа—синий и красный. Да, да, друзья мои, синий и красный**.

—Да! Да!—заорали все.—Синий и красный!

* Гоншон—в прошлом судейский, "оратор" Сент-Антуанского предместья.

** Позже г-н де Лафайет обратит внимание на то, что синий и красный—это цвета Орлеанского дома, и прибавит к ним белый, сказав тем, кому он предложил это добавление: "Я даю вам кокарду, которая обойдет весь мир" (прим. автора).

С этими словами люди стали срывать зеленые кокарды, требовать ленты, и в тот же миг, словно по волшебству, распахнулись окна—из них посыпались красные и синие ленты.

Но хватило их едва ли на тысячу человек.

Тогда были розданы, разрезаны, порваны передники, шелковые платья, шарфы, занавески; из лоскутьев сделаны банты, розетки, перевязи—их уже достало на всех.

После этого маленькая армия Бийо тронулась в путь.

По дороге она пополнилась: на всех улицах Сент-Антуанского предместья к ней присоединялись самые отчаянные, самые отважные люди из народа.

В относительном порядке все дошли до конца улицы Ледигьер, где уже было множество любопытных, которые—кто робко, кто спокойно, а кто и с негодованием—глазели на залитые ярким солнцем башни Бастилии.

Проход барабанщиков по Сент-Антуанскому предместью, затем сотни французских гвардейцев по бульвару и, наконец, прибытие отряда Бийо, выросшего до тысячи-тысячи двухсот человек в один миг изменили облик и настроение толпы: робкие осмелели, спокойные возбудились, негодующие стали выкрикивать угрозы.

—Долой пушки! Долой пушки!—вопили двадцать тысяч человек, грозя кулаками орудиям, бронзовые стволы которых выглядывали из амбразур.

И как раз в это время, словно комендант крепости исполнял приказ народа, на орудийные платформы вышли артиллеристы и откатали пушки, так что их не стало видно.

В толпе раздались рукоплескания: значит, она—сила, если перед ее угрозами отступили.

Тем не менее на верху башен продолжали расхаживать часовые: солдаты инвалидной команды и швейцарцы.

Теперь уже вместо "Долой пушки!" орали "Долой швейцарцев!" Это было продолжение вчерашних призывов "Долой австрияков!"

Но швейцарцы продолжали ходить туда-сюда по башням, равно как и солдаты инвалидной команды.

Один из кричавших "Долой швейцарцев!" не выдержал; он вскинул ружье, прицелился в часового и выстрелил.

Пуля ударилась о серую стену Бастилии футом ниже вершины башни как раз под тем местом, где проходил часовой. Она оставила щербину, похожую на белую точку, но часовой не остановился, даже не повернул головы.

Вокруг этого человека, давшего сигнал к бессмысленной, безумной атаке, поднялся ропот. Но в ропоте было куда больше испуга, чем ярости.

Большинство даже не понимало, что выстрелить из ружья по Бастилии—преступление, карающееся смертной казнью.

Бийо рассматривал эту серо-зеленую глыбу, подобную тем сказочным покрытым чешуей чудовищам, о которых повествуют древние предания. Он считал амбразуры, из которых в любой момент могли вновь показаться пушки, прикидывал, сколько крепостных ружей могут угрожающе выглянуть из бойниц.

И, вспомнив слова де Флесселя, он покачал головой.

—Нет,—пробормотал он,—нам туда никогда не ворваться.

—А почему это нам туда никогда не ворваться?—раздался голос у него за спиной.

Бийо обернулся и увидел человека в отрепьях, с ожесточенным выражением лица и глазами, горящими, словно две звезды.

—Потому что мне кажется невозможным взять эту громадину силой,—объяснил он.

—Взятие Бастилии—не военный подвиг, а акт веры. Верь, и ты совершишь его,—сказал его собеседник.

—Терпение,—проговорил Бийо, роясь в карманах в поисках пропуска,—терпение.

Человек неверно понял его.

—Терпение!—вскричал он.—О, я понимаю, ты жирный, ты похож на фермера.

—А я и есть фермер,—подтвердил Бийо.

—Тогда я понимаю, почему ты говоришь о терпении: ты всегда ел досыта. Но посмотри на этих призраков, что стоят вокруг нас, взгляни на их пересохшие вены, пересчитай у них кости сквозь дыры в лохмотьях и спроси у них, понятно ли им слово "терпение".

—Этот человек красиво говорит, но он пугает меня,—заметил Питу.

—А меня нет,—бросил в ответ Бийо.

И он снова обратился к этому человеку:

—Да, терпение, но всего на четверть часа.

—Вот как?—улыбнулся тот.—Четверть часа? Ну, это не так уж и много. А что ты намерен сделать в эти четверть часа?

—За эти четверть часа я схожу в Бастилию, узнаю, сколько там гарнизона, каковы намерения коменданта, да, наконец, узнаю, как туда входят.

—Ну, это если ты узнаешь, как оттуда выходят.

—А если я не выйду, один человек вытащит меня оттуда.

—И кто же этот человек?

—Гоншон, Мирабо народа.

Собеседник Бийо вздрогнул, глаза его сверкнули.

—Ты его знаешь?—спросил он.

—Нет.

—А как же ты его найдешь?

—Очень просто. Мне сказали, что стоит мне обратиться к первому встречному на площади Бастилии, и он проведет меня к Гоншону. Я встретил тебя на площади Бастилии, проводи меня к нему.

—Зачем он тебе?

—Я передам ему этот листок.

—От кого?

—От врача Марата.

—От Марата? Ты знаешь Марата?—воскликнул человек в лохмотьях.

—Я только что расстался с ним.

—Где?

—В Ратуше.

—И что он делает?

—Повел двадцать тысяч человек в Дом Инвалидов, вооружаться.

—Давай мне записку. Я—Гоншон.

Бийо отступил на шаг.

—Ты—Гоншон?—спросил он.

—Друзья!—крикнул человек в лохмотьях.—Вот он не знает меня и спрашивает, правда ли, что я Гоншон.

Стоящие поблизости расхохотались; этим людям казалось немислимым, что кто-то может не знать их излюбленного оратора.

—Да здравствует Гоншон!—закричали тысячи три голосов.

—Держи,—сказал Бийо, протягивая Гоншону листок.

—Друзья,—объявил Гоншон, прочтя записку,—этот человек—брат, Марат рекомендует его. На него можно рассчитывать. Как тебя зовут?

—Бийо.

—А меня,—усмехнулся Гоншон,—прозвали Топор, и надеюсь, мы на что-нибудь сгодимся.

Услыхав эту кровожадную игру слов*, окружающие заулыбались.

—Сгодимся! Сгодимся!—загудели они.

—Так что будем делать?—спросил кто-то.

—Как, что? Брать Бастилию, черт побери!—отвечал Гоншон.

—В добрый час!—воскликнул Бийо.—Вот это называется говорить дело. Скажи, Гоншон, сколько у тебя людей?

—Примерно три тысячи.

—Три тысячи твоих, двадцать тысяч, которые скоро придут из Дома Инвалидов, и десять тысяч, что уже здесь,—этого более чем достаточно, чтобы добиться успеха, или же мы никогда его не добьемся.

—Добьемся,—уверенно сказал Гоншон.

—Я тоже в этом уверен. Ладно, веди сюда свои три тысячи, а я пойду к коменданту, потребую, чтобы он сдался. Если он сдастся—прекрасно, обойдется без кровопролития, а если не сдастся—что ж, пролитая кровь падет на него. Нынче кровь, пролитая за неправоное дело, приносит несчастье. Можете спросить у немцев.

—Сколько ты пробудешь у коменданта?

—Сколько смогу, пока Бастилия не будет обложена со всех сторон, чтобы, когда я выйду, можно было начать штурм.

—Договорились.

—Ты не сомневаешься во мне?—спросил Бийо, протягивая руку Гоншону.

—Сомневаюсь в тебе?—пренебрежительно улыбнулся Гоншон, пожимая руку здоровяка-фермера с силой, которую трудно было заподозрить в этом изможденном, почти бесплотном теле.—А с чего мне сомневаться в тебе? Да стоит мне за-

* По-французски billot означает "плаха".

хотеть, и по одному моему слову, по одному знаку от тебя останется мокрое место, даже если ты укроешься в этих башнях, которые завтра перестанут существовать, под охраной солдат, которые завтра присоединятся к нам или будут убиты. Ступай и рассчитывай на Гоншона, как я рассчитываю на тебя.

—Не знаю, как выглядит Мирабо дворянства, но наш мне показался отвратительным,—сообщил Питу папаше Бийо.

XVI. Бастилия и ее комендант

Мы не описываем Бастилию, в этом нет нужды.

Она навеки запечатлена в памяти и стариков, и детей.

Ограничимся тем, что напомним: ежели смотреть с бульвара, она была обращена к площади Бастилии двумя спаренными башнями, а боковые стены шли параллельно берегам нынешнего канала.

Вход в Бастилию преграждали, во-первых, кордегардия, потом две линии караулов, а кроме того, два подъемных моста.

Преодолев многочисленные преграды, вы попадали на Комендантский плац, где стоял дом коменданта.

Оттуда галерея вела ко рвам Бастилии.

Здесь был второй вход: кордегардия, подъемный мост через ров, опускаемая железная решетка.

У первого входа Бийо хотели задержать, но он предъявил пропуск от де Флесселя, и его пропустили.

И тут Бийо обнаружил, что Питу идет за ним. Сам по себе Питу был безынициативен, но, следуя за фермером, он спустился бы в ад или забрался на луну.

—Останься,—велел ему Бийо.—Если я не выйду, надо, чтобы кто-то напомнил народу, что я туда вошел.

—Правильно,—согласился Питу.—А через сколько времени надо напомнить об этом?

—Через час.

—А шкатулка?

—Верно! Ну, так вот, если я не выйду, если Гоншон не возьмет Бастилию или если ее возьмут, но меня там не обнаружат, надо сказать доктору Жильберу—его-то, может, найдут,—что из Парижа были присланы люди и они отняли у меня шкатулку, которую он мне доверил пять лет назад, что я тотчас же отправился в Париж, чтоб сообщить ему об этом. Тут я узнал, что его заключили в Бастилию, и решил взять ее, но при взятии лишился жизни, которая всецело принадлежала ему.

—Все это прекрасно, папаша Бийо,—ответил Питу,—только страшно длинно, я боюсь что-нибудь забыть.

—Из того, что я сказал?

—Ну да.

—Сейчас повторю.

—Лучше написать,—произнес кто-то рядом с Бийо.

—Я не умею писать,—ответил он.

—Я умею. Я—письмоводитель суда.

—Вы—письмоводитель суда?—переспросил Бийо.

—Станислас Майар*, письмоводитель в Шатле**.

И он извлек из кармана роговую чернильницу, в которой были бумага, перо и чернила, то есть все, что нужно для письма.

Это был человек лет сорока пяти, длинный, тощий, хмурый, одетый во все черное, как и положено при его профессии.

Он чертовски смахивает на факельщика на похоронах,—пробормотал Питу.

—Так вы говорите,—бесстрастно осведомился письмоводитель,—что люди, прибывшие из Парижа, похитили у вас шкапулку, доверенную вам доктором Жильбером?

—Да.

—Но ведь это преступление.

—Эти люди были из парижской полиции.

—Ах, эта гнусная грабительница!—пробормотал Майар, после чего передал бумагу Питу.—Возьмите, молодой человек. Если его убьют,—он показал на Бийо,—и если тебя убьют, будем надеяться, что я останусь жив.

—И что же вы сделаете, если останетесь в живых?—поинтересовался Питу.

—То, что должен сделать ты.

—Спасибо,—сказал Бийо и протянул судебному приставу руку.

Тот с неожиданной силой сжал ее.

—Значит, я могу рассчитывать на вас?—спросил Бийо.

—Как на Марата и Гоншона.

—Вот уж уверен, эту троицу не пустят в рай,—пробурчал Питу и обратился к фермеру:—Папаша Бийо, обещайте, что будете благоразумны.

—Питу,—отвечал фермер с красноречием, поразительным в устах невежественного крестьянина,—запомни одну истину: во Франции самое большое благоразумие—это смелость.

Он прошел через первую линию караулов, а Питу вернулся на площадь.

Перед подъемным мостом Бийо снова пришлось вести переговоры.

Он предъявил пропуск, мост опустился, решетка поднялась.

За решеткой находился комендант.

Внутренний двор, в котором комендант ожидал Бийо, служил для прогулок узников. Его стерегли восемь башен, восемь великанов. В этот двор не выходило ни одно окно. Никогда луч солнца не падал на камни этого двора, влажные и чуть ли не покрытые тиной, подобно дну глубокого колодца.

Две статуи скованных пленников держали часы, которые отсчитывали время, медлительно и размеренно роняя в глубину двора минуты, точно так же, как сквозь своды каземата, просачиваясь, падают на каменный пол, долбя его, капли воды.

* Майар, Станислас по прозвищу "Крепкий кулак" отличился при взятии Бастилии, принял капитуляцию крепости.

** Имеется в виду замок Большой Шатле, где находился суд. Существовала еще тюрьма, именовавшаяся Малый Шатле.

Оказавшись на дне этого колодца, в этой каменной бездне, узник некоторое время созерцал неумолимую наготу стен и очень скоро просил отвести его обратно в камеру.

За решеткой во дворе, как мы уже сказали, стоял г-н Делоне.

Г-н Делоне был в возрасте между сорока пятью и пятьюдесятью; он был в сером кафтане из льняного полотна с красной лентой ордена Св. Людовика, в руке держал трость со шпагой внутри.

Г-н Делоне был дурной человек, и воспоминания Ленге* показывают его в самом непривлекательном виде; ненавидели его почти так же, как самое тюрьму.

Подобно Шатонефам, Лаврильерам и Сен-Флорантенам, несколько поколений которых держали в заточении тех, кто был им прислан по именному королевскому указу, в Бастилии служили и несколько поколений Делоне.

Как известно, офицерский чин дает тюремщику не военный министр. В Бастилии все должности, начиная с коменданта и кончая поваренком, покупались. Комендант Бастилии был просто-напросто очень высокопоставленным тюремным смотрителем, носящим эполеты, содержателем дрянного трактира, который к шестидесяти тысячам ливров причитающегося ему содержания присовокуплял еще шестьдесят тысяч, добытых вымогательством и хищениями.

В этой должности надо было вернуть выложенные деньги и получить на них еще проценты.

Г-н Делоне отличался исключительной алчностью, превзойдя в этом всех своих предшественников. Возможно, он заплатил за должность дороже, чем они, и предвидел, что недолго будет сохранять ее.

И он сам, и слуги его кормились за счет узников. Он уменьшил узникам выдачу дров, удвоил цену за любой предмет мебелировки.

Он имел право ввозить в Париж сто бочек вина, свободных от обложения городскими пошлинами. Свое право он продал какому-то кабатчику, который ввозил благодаря этому великолепные вина. А г-н Делоне за десятую часть полученных денег покупал чудовищную кислятину, каковой и поил своих подопечных.

У несчастных узников оставалось одно-единственное утешение—маленький садик на бастионе. Там они прогуливались, там могли насладиться свежим воздухом, цветами, солнечным светом, самой природой.

Г-н Делоне сдал этот садик некоему садовнику и ради пятидесяти ливров в год лишил заключенных последней радости.

Правда, к богатым узникам он обнаруживал исключительное попустительство; одного из них он отвозил к любов-

* Ленге, Симон Никола́ Анри (1736—1794)—французский юрист и публицист, в 1780 г. на недолгое время был заключен в Бастилию. В 1783 г. опубликовал в Лондоне "Бастильские воспоминания". Казнен во время террора.

нице; этот же узник обставил камеру собственной мебелью и сам платил за свое содержание, так что не стоил Делоне ни гроша.

Посмотрите "Разоблаченную Бастилию", и вы найдете там и этот факт, и множество других в том же роде.

Вместе с тем он был отважный человек.

Уже со вчерашнего дня над ним гроыхала гроза. Со вчерашнего дня он почувствовал, как все растущий вал мятежа бьется о подножие его твердыни.

Он был бледен, но спокоен.

Надо, правда, сказать, что за спиной у него находились четыре орудия, которые готовы были открыть огонь, его окружал гарнизон, состоящий из швейцарцев и солдат инвалидной команды, а перед ним стоял безоружный человек.

Перед тем как войти в Бастилию, Бийо отдал свой карабин Питу.

Он сообразил, что по ту сторону решетки, которую он за-видел уже издали, любое оружие окажется не столько полезным, сколько опасным.

Бийо с одного взгляда заметил все—спокойную и чуть ли не угрожающую позу коменданта, швейцарцев, находящихся в казармах, солдат инвалидной команды на орудийных настилах, артиллеристов, которые молча укладывали в зарядные ящики пороховые картузы.

Часовые держали ружья наизготовку, офицеры обнажили шпаги.

Комендант не стронулся с места, Бийо пришлось подойти к нему; решетка за спиной парламентаря с мрачным скрежетом опустилась, и Бийо при всей своей храбрости почувствовал, как по спине у него пробежали мурашки.

—Так чего еще вы хотите от меня?—осведомился Делоне.

—Еще?—повторил Бийо.—Мне кажется, что я впервые вижу вас, и, следовательно, мой вид не успел вам надоесть.

—Мне доложили, что вы пришли из Ратуши.

—Все верно, я как раз оттуда.

—Но только что я уже принимал депутацию муниципалитета.

—Зачем она приходила?

—Она пришла попросить, чтобы я дал обещание не открывать огонь.

—И вы обещали?

—Да. И еще она попросила меня убрать пушки.

—И вы приказали убрать их. Я знаю. Я был на площади Бастилии, когда это было сделано.

—И вы, разумеется, подумали, что я уступил перед угрозами престолярдья?

—Еще бы! Так все оно и выглядело,—подтвердил Бийо.

—Я же говорил вам, господа,—вскричал Делоне, поворачиваясь к офицерам,—говорил, что они сочтут, будто мы струсили!

Затем он снова повернулся к Бийо.

—А вы от кого пришли ко мне?

—От народа!—гордо ответил Бийо.

—Это просто великолепно,—улыбнулся Делоне,—но полагаю, у вас есть и какая-нибудь другая рекомендация, потому что с только что названной вами вы не прошли бы и через первую линию караулов.

—Да, у меня есть охранная грамота от вашего друга де Флесселя.

—Де Флесселя! Вы назвали его моим другом?—мгновенно отозвался Делоне, сверля Бийо взглядом и словно желая проникнуть в самые глубины его сердца.—Откуда вам известно, что он мой друг?

—Я так предполагаю.

—Ага, значит, предполагаете. Великолепно. Ну что ж, давайте посмотрим охранную грамоту.

Бийо подал ему пропуск.

Делоне прочел его раз, второй, проверил нет ли еще какого-нибудь постскриптума, скрытого между страницами, посмотрел на свет, не написано ли что-нибудь между строчками

—И это все, что он мне сообщает?—осведомился комендант.

—Все.

—Вы уверены?

—Совершенно.

—А на словах ничего?

—Ничего.

—Странно,—пробормотал Делоне и задумчиво посмотрел через бойницу на площадь.

—А что еще, по-вашему, он должен был передать?—поинтересовался Бийо.

Делоне отвел взгляд от бойницы.

—Да нет, в сущности, ничего. Ладно, говорите, что вам желательно, только покороче—мне некогда.

—Я хочу, чтобы вы сдали нам Бастилию.

—Что? Что?—круто обернулся Делоне с таким видом, словно он ослышался.—Простите, что вы сказали?

—Я сказал, что пришел от имени народа потребовать у вас сдать Бастилию.

Делоне пожал плечами.

—Нет, право же, народ—странная скотина,—бросил он.

—Что такое?—возмутился Бийо.

—И что же народ намерен сделать с Бастилией?

—Разрушить ее.

—А что этому вашему народу до Бастилии? Разве когда-нибудь кто-то из простонародья был брошен в Бастилию? Да народ, напротив, должен благословлять каждый ее камень. Кого заключают в Бастилию? Философов, ученых, аристократов, министров, принцев, то есть врагов народа.

—Что ж, это доказывает, что народ думает не только о себе.

—Друг мой,—с некоторым сочувствием произнес Делоне,—легко догадаться, что вы—не солдат.

—Вы правы, я—фермер.

—И вы не из Парижа.

—Да, я из провинции.

—Вы совершенно не представляете, что такое Бастилия.

—Вы правы. Я знаю только, как она выглядит, то есть ее стены.

—Ну что ж, ступайте со мной, я вам покажу, что такое Бастилия.

"Все,—подумал Бийо,—подведет он меня к какому-нибудь каменному мешку, раскроется под ногами у меня люк, и прощай, папаша Бийо".

Однако неустрашимый фермер и бровью не повел, выказывая всем видом, что готов следовать за комендантом.

—Во-первых, знайте,—сообщил Делоне,—в погребах у меня пороха столько, что я могу взорвать Бастилию вместе с половиной Сент-Антуанского предместья.

—Знаю,—спокойно ответил Бийо.

—Прекрасно. Теперь взгляните на эти четыре пушки.

—Вижу.

—Как видите, вся эта галерея простреливается ими, а кроме того, ее обороняют кордегардия, два рва, которые можно преодолеть только по подъемным мостам, и, наконец, железная решетка.

—Я вовсе не утверждаю, что Бастилия плохо защищена,—безмятежно заметил Бийо,—а только хочу сказать, что она будет хорошо атакована.

—Продолжим,—сказал Делоне.

Бийо кивнул в знак согласия.

—Вот потерна, которая выходит в ров,—показал комендант.—Видите толщину стен?

—Футов сорок, не меньше.

—Да, сорок понизу и пятнадцать поверху. Так что как бы ни крепки были ногти у народа, он обломает их об эти стены.

—А я и не говорил,—возразил Бийо,—что народ разрушит Бастилию перед тем как взять, он разрушит ее, после того как возьмет.

—Идемте наверх,—сказал Делоне.

—Идемте.

Они поднялись на тридцать ступеней.

Комендант остановился и сказал:

—Вот еще бойница, выходящая в проход, по которому вы намерены ворваться сюда. В бойнице всего одно крепостное ружье*, но это ружье весьма знаменито. Знаете песенку:

*Ах, нежная моя свирель,
Свирель моей любви?*

—Разумеется, знаю,—ответил Бийо,—только думаю, сейчас не время петь.

—Погодите. Маршал Мориц Саксонский** называл эту пушечку своей свирелью, так как она точнее всего воспроизводи-

* Имеется в виду батарея из ружейных стволов, предшественница будущей митральезы и пулемета.

** Мориц Саксонский (1696—1750)—незаконный сын саксонского курфюрста Августа II Сильного, с 1720 г. на французской службе.

ла мотив его любимой песенки. Это такая историческая подробность.

—Ах, вот оно что,—бросил Бийо.

—Продолжим подъем.

—Продолжим.

Они поднялись на вершину башни Франш-Конте.

—Ага,—протянул Бийо.

—Что такое?—поинтересовался Делоне.

—Вы, оказывается, не спустили пушки вниз?

—Я велел только откатить их.

—Знайте же, я передам народу, что пушки еще здесь.

—Передайте!

—Итак, спустить их вы не намерены?

—Нет.

—Решительно не намерены?

—Сударь, королевские пушки находятся здесь по приказу короля и будут спущены только по его же приказу.

—Господин Делоне,—ответил ему Бийо, чувствуя, как в нем рождаются высокие, торжественные слова, соответствующие ситуации,—вот подлинный король, которому я и рекомендую вам повиноваться.

И он показал коменданту на серую толпу, волнующуюся около рвов; у многих после вчерашних стычек одежда была в пятнах засохшей крови, на солнце в руках у большинства сверкало оружие.

—Сударь,—надменно вскинув голову, сказал ему Делоне,—быть может, вы знаете двух королей, но я, комендант Бастилии, знаю лишь одного, и зовут его Людовик Шестнадцатый. Это он поставил свою подпись под указом, в силу которого я командую и самой крепостью, и всеми, кто находится в ней.

—Значит, вы—не гражданин?—вскричал в бешенстве Бийо.

—Я—французский дворянин,—ответил Делоне.

—Да, действительно, вы—солдат, и говорите как солдат.

—Вы нашли верное слово, сударь,—подхватил комендант и отвесил легкий поклон.—Я солдат и исполняю приказ.

—А я, сударь,—промолвил Бийо,—я—гражданин, и поскольку мой долг гражданина вступает в противоречие с приказом, который вы исполняете как солдат, один из нас—либо тот, кто подчиняется приказу, либо тот, кто следует долгу,—умрет.

—Вполне возможно, сударь.

—Итак, вы решили стрелять в народ?

—Вовсе нет, если только не будут стрелять в меня. Я дал слово посланцам господина де Флесселя. Как видите, я велел откатить пушки, но как только с площади раздастся первый выстрел по крепости...

—И что же вы сделаете, когда раздастся первый выстрел?

—Я подбегу к одной из этих пушек, к примеру, вот к этой. Сам подкачу ее к амбразуре, сам наведу и сам выстрелю, поднеся вот этот фитиль.

—Сами?

—Да.

—О, если бы я верил в такое,—промолвил Бийо,—то прежде чем вы совершили бы столь чудовищное преступление...

—Я вам уже сказал, сударь: я солдат, и приказ для меня—закон.

—В таком случае, взгляните,—сказал Бийо, подведя Делоне к амбразуре и показав ему сперва на Сент-Антуанское предместье, а потом в противоположную сторону, на бульвар.—Вот кто отныне будет отдавать вам приказы.

Делоне увидел две черные плотные ревушие массы людей, которые, вынужденно вытянувшись вдоль бульваров, струились подобно гигантской змее, чья голова и половина туловища видны, а другая половина и хвост теряются в складках местности, по которой она ползет.

Все тело этой гигантской рептилии отражало солнечные зайчики, словно было одето сверкающей чешуей.

То были два отряда, которым Бийо назначил встречу на площади Бастилии—один под предводительством Марата, второй под предводительством Гоншона.

Они двигались с двух сторон, потрясая оружием и издавая грозные вопли.

Увидев это, Делоне поднял трость и скомандовал:

—К орудиям!

Затем он рванулся с угрожающим видом к Бийо, крича:

—Негодяй! Вы проникли сюда под видом парламентаря, меж тем как ваши сообщники готовятся к нападению! А известно ли вам, что вы заслуживаете смерти?

Видя его движение, Бийо молниеносно схватил Делоне за ворот и за пояс.

—А вы,—промолвил он, отрывая коменданта от земли,—заслуживаете, чтобы я перекинул вас через парапет и вы разбились на дне рва. Но, слава Богу, я одолею вас иным способом.

В этот момент снизу взметнулся тысячеголосый оглушительный вопль и пронесся в воздухе, подобно урагану, и тут же на башне появился помощник коменданта г-н де Лом.

—Сударь!—крикнул он Бийо.—Ради Бога, сударь, покажитесь им! Народ решил, что с вами случилась беда, и требует вас.

И правда, среди воплей отчетливо различалось имя Бийо, которое Питу сообщил толпе.

Бийо отпустил г-на Делоне, выронившего трость.

С секунду все трое стояли в нерешительности, а снизу к ним летели угрожающие призывы к отмщению.

—Да покажитесь вы им, сударь,—обратился к Бийо Делоне.—Меня не пугают их крики, но пусть они знают: я—человек, верный слову.

Бийо высунул голову между зубцами и помахал рукой.

Увидев его, толпа разразилась рукоплесканиями. В каком-то смысле в облике этого человека из народа, первым властно ступившего на самую верхнюю точку Бастилии, с нее явила свое лицо сама Революция.

—Ну, ладно, сударь,—сказал Делоне,—говорить нам больше не о чем, и делать вам тут нечего. Спускайтесь: вас требуют внизу.

Бийо оценил сдержанность человека, в чьей власти он находился; он стал спускаться по лестнице, комендант следовал за ним.

Помощник же коменданта остался; Делоне что-то сказал ему на ухо—видимо, дал какой-то приказ.

Было очевидно, что у г-на Делоне сейчас только одно желание—чтобы парламентар превратился в неприятеля.

Не проронив ни слова, Бийо пересек двор. Канониры стояли у орудий. Дымилась фитиля.

Бийо остановился около них.

—Друзья,—обратился он к артиллеристам,—запомните, я пришел к вашему командиру упротить его избежать пролития крови, но он мне отказал.

—Сударь, именем короля, убирайтесь отсюда!—топнув ногой, крикнул Делоне.

—Остерегитесь,—пригрозил ему Бийо.—Ежели вы именем короля прогоните меня отсюда, я вернусь именем народа.

После этого он повернулся к кордегардии, где находились швейцарцы, и задал вопрос:

—Ну, а вы с кем?

Швейцарцы молчали.

Делоне указал ему на решетку.

Но Бийо все-таки предпринял последнюю попытку:

—Господин комендант, во имя нации! Во имя ваших братьев!

—Моих братьев? Вы называете моими братьями людей, которые орут: "Долой Бастилию! Смерть ее коменданту!" Возможно, сударь, вам они братья, но у меня, уверяю вас, таких братьев нет.

—Во имя человечности, наконец!

—Так значит, это во имя человечности вы нагнали сотысячную толпу, чтобы перерезать сотню несчастных солдат, сидящих за этими стенами?

—Но, сдав Бастилию народу, вы спасете им жизнь!

—И утрачу честь.

Железная логика солдата заставила Бийо умолкнуть, но все-таки он снова крикнул инвалидам и швейцарцам:

—Друзья мои, сдайтесь! Еще есть время. Через десять минут будет уже поздно.

—Сударь, если вы сей же миг не выйдете,—крикнул ему Делоне,—слово дворянина, я прикажу вас расстрелять!

Бийо на миг остановился, скрестил, как бы бросая вызов, руки на груди, в последний раз встретился взглядом с Делоне и вышел.

XVII. Бастилия

Под жарким июльским солнцем бурлила хмельная от возбуждения толпа. Она ждала. Отряд Гоншона только что соединился с отрядом Марата. Сент-Антуанское предместье знакомилось и браталось с предместьем Сен-Марсо.

Гоншон пришел во главе отряда. А вот Марат куда-то исчез.

Вид площади наводил ужас.

Когда показался Бийо, толпа завопила еще громче.

—Ну, что?—подойдя к нему, спросил Гоншон.

—Он—мужественный человек,—ответил Бийо.

—Что ты имел в виду, сказав: "Он—мужественный человек"?—задал вопрос Гоншон.

—Что он уперся.

—Не намерен сдавать Бастилию?

—Нет.

—Намерен сесть в осаду?

—Да.

—И как думаешь, долго он может сидеть в осаде?

—Пока его не убьют.

—Хорошо, его убьют.

—Но сколько народу мы погубим!—вскричал Бийо, явно не уверенный, что Господь Бог дает ему то право, которое присвоили себе полководцы, короли, императоры, то есть люди, имеющие патент на пролитие крови.

—Экая беда!—бросил Гоншон.—Народу и без того слишком много, хлеба хватает лишь половине населения. Не правда ли, друзья?—обратился он к толпе.

—Да! Да!—заорала она в порыве высочайшего самоотречения.

—Ну, а ров?—сказал Бийо.

—Достаточно заполнить его только в одном месте,—ответил Гоншон,—а я тут прикинул, что телами половины стоящего здесь народа можно заполнить весь ров. Не так ли, друзья?

—Да!—закричала толпа с тем же воодушевлением, что и в первый раз.

—Что ж, ладно,—согласился потрясенный Бийо.

В это время на валу показался Делоне в сопровождении г-на де Лома и трех офицеров.

—Начинай!—крикнул Гоншон коменданту.

Но тот, не отвечая, повернулся к нему спиной.

Гоншон, возможно, снес бы угрозу, но пренебрежения вынести не мог; он мгновенно вскинул карабин, и один из сопровождающих коменданта упал.

И тут загревели сотни, тысячи выстрелов, как будто все только и ждали сигнала; серые башни Бастилии разукрасились белыми шербинами.

После этого залпа на несколько секунд воцарилась тишина, словно толпа вдруг ужаснулась тому, что сделала.

Затем вершина одной из башен увенчалась вспышкой, тут же сокрытой облаком дыма; раздался грохот, и в плотно спрессованной толпе ему ответили крики боли; с Бастилии выстрелила первая пушка, пролилась первая кровь. Сражение началось.

Еще за миг до этого, а это был грозный миг, толпа испытывала нечто наподобие ужаса. Бастилия, изготовившаяся к обороне, явилась ей в своей чудовищной неприступности. Надо думать, народ надеялся, что после стольких уступок, сделанных ему, будет сделана еще одна, и все кончится без кровопролития.

Народ ошибался. После сделанного по нему пушечного выстрела он понял, за какое титаническое дело взялся.

Почти немедленно с Бастилии раздался прицельный выстрел картечью.

И вновь настала тишина, нарушаемая лишь в разных местах криками, стонами, жалобными воплями.

В толпе произошло движение: здоровые поднимали убитых и раненых.

Но народ не думал о бегстве, а даже если бы и подумал, то считал бы это бесчестным.

Дело в том, что бульвары, Сент-Антуанская улица, все Сент-Антуанское предместье явили собой сплошное людское море, где волнами были головы, чьи глаза пылали ненавистью, а рты изрыгали угрозы.

В один миг во всех окнах квартала, даже в тех, что находились вне дальности ружейного выстрела, появилось по нескольку стрелков.

Стоило на площадке или в амбразуре показаться инвалиду либо швейцарцу, как тут же на него нацеливалась сотня ружей и град пуль отбивал осколки от камней, за которыми укрывался солдат.

Но вскоре стрелять по нечувствительным стенам перестали. Пули предназначались живой плоти. И стрелки хотели видеть, как после попадания свинца проливается кровь, а не поднимается облачко пыли.

Повсюду в толпе стали выкрикивать советы, что надо делать.

Вокруг каждого оратора образовывался кружок, но, убедившись в бессмысленности предложения, люди тут же расходились.

Какой-то каретник предложил построить катапульту по образцу древнеримских военных машин и пробить брешь в стенах.

Пожарные предлагали залить водой из своих насосов запальные пушки и фитили артиллеристов, не сообразив, что даже самые мощные их насосы не добросят струю и на две трети высоты стен Бастилии.

Пивовар, который правил Сент-Антуанским предместьем и имя которого приобрело впоследствии мрачную известность, предлагал поджечь крепость, бросая в нее лавандовое и маковое масло, которое захватили накануне, а поджигать его посредством фосфора.

Бийо выслушал одно за другим все предложения. На последнем он вырвал у плотника из рук топор, бросился вперед под градом свинца, который косил вокруг него людей, стоящих так же тесно, как хлеба на поле, достиг малой кордегардии возле первого подъемного моста и, хотя пули свистели и вшивались в крышу, перерубил цепи, держащие мост. Мост опустился.

Это было почти безумием, и все пятнадцать минут, что Бийо рубил цепи, толпа стояла, затаив дыхание. При каждом выстреле все со страхом ждали, что смельчак будет сражен. Люди забыли об опасности, нависшей над каждым из них, и думали только об опасности, грозящей Бийо. Стоило мосту упасть, толпа взревела и ринулась в первый двор.

Этот прорыв был так стремителен, так неудержим, что ему не успели воспрепятствовать.

Неистовый вопль радости возвестил Делоне о первом успехе народа.

Никто даже не обратил внимания, что какой-то человек был раздавлен упавшим мостом.

Вдруг, словно из глубины пещеры, разом оглушительно рывкнули четыре пушки, которые Делоне показал Бийо, и ядра, подобно железной метле, прошли по первому двору.

Этот железный ураган оставил в толпе длинную кровавую борозду: с десятков убитых и десятка два раненых рухнули наземь.

Бийо соскользнул с крыши и на земле обнаружил Питу, который даже сам не мог понять, как оказался именно здесь. Питу по привычке браконьера держался настороже. Увидев, что артиллеристы подносят к пушкам горящие фитили, он схватил Бийо за полу куртки и отдернул его назад. За углом они укрылись от первого орудийного залпа.

Теперь все выглядело куда серьезней; грохот стоял чудовищный, схватка стала смертельной; вокруг Бастилии затрещали тысячи выстрелов, куда более опасных для осаждающих, чем для осажденных. Наконец к ружейной пальбе присоединила свой голос пушка с расчетом, состоящим из французских гвардейцев.

Этот чудовищный грохот опьянял толпу, но в то же время начал пугать осаждающих, к которым приходило инстинктивное понимание, что ружейным огнем они никогда не перекроют оглушившего их пушечного грома.

Но и офицеры гарнизона почувствовали, что их солдаты сдают; они схватились за ружья и дали залп.

Пушки грохотали, трещали ружья, толпа ревела, словно народ собирался вновь поднимать убитых и превратить в новое оружие их тела, чьи раны взывали к отмщению; и в этот миг в воротах первого двора появилась группа мирных, безоружных граждан; они пробрались сквозь толпу, готовые пожертвовать своими жизнями, ибо единственной их защитой был белый флаг, который они несли впереди и который свидетельствовал, что они являются парламентарями.

То была депутация из Ратуши; узнав, что враждебные действия открылись, выборщики решили остановить кровопролитие и принудили де Флесселя сделать новые предложения коменданту.

Депутаты пришли, чтобы от имени города потребовать от г-на Делоне прекратить огонь и для гарантирования как жизни граждан, так и его собственной, а также жизни гарнизона впустить в крепость отряд гражданской гвардии в количестве ста человек.

Об этом и сообщали депутаты, прокладывая себе дорогу в толпе. Народ, сам ужаснувшийся предприятию, которое он затеял, видевший, как на носилках уносят убитых и раненых, готов был поддержать это предложение; если Делоне смирится с полупоражением, он согласен на полупобеду.

При появлении депутации огонь из второго двора прекратился; посланцам муниципалитета дали знак, что они могут подойти, и они подошли, скользя на пролитой крови, перешагивая через трупы, протягивая руки раненым.

Под их прикрытием народ перегруппировался. Убитых и раненых унесли, на каменных плитах двора осталась только кровь—красные лужи крови.

Итак, огонь из крепости прекратился. Бийо вышел, чтобы попытаться заставить осаждающих тоже прекратить стрельбу. У ворот он столкнулся с Гоншоном. Тот стоял без оружия на самом виду, словно на него снизошло вдохновение, и с таким спокойствием, как будто был уверен в своей неуязвимости.

—Ну, что там с депутацией?—спросил он у Бийо.

—Вошла в Бастилию,—сообщил Бийо.—Прикажи прекратить огонь.

—Нет смысла, он все равно не согласится,—ответил Гоншон с такой уверенностью, как будто Господь Бог одарил его способностью читать в людских сердцах.

—Неважно. Будем уважать законы войны, ведь теперь мы стали солдатами.

—Ладно,—бросил Гоншон.

Он обратился к двум людям из народа, которые, по всей видимости, передавали его приказания всей этой массе:

—Эли, Юлен, проследите, чтобы не было ни одного выстрела по крепости.

Оба адъютанта устремились в толпу, сообщая приказ командира; выстрелы из ружей становились все реже и наконец совсем прекратились.

Наступила передышка. Ее использовали, чтобы позаботиться о раненых, количество которых подходило уже к четырем десяткам.

И тут часы пробили два. Приступ начался в полдень. Итак, сражение длилось уже два часа.

Бийо вернулся на прежнее место, за ним пошел Гоншон.

При этом он все время поглядывал на решетку; чувствовалось, что он явно обеспокоен.

—Что с тобой?—поинтересовался Бийо.

—Если через два часа мы не возьмем Бастилию, все пропало,—ответил Гоншон.

—Почему?

—Потому что двору станет известно, что мы затеяли, он пошлет швейцарцев Безанваля и драгунов Ламбеска, и мы окажемся между двумя огнями.

Бийо вынужден был признать, что в словах Гонсона есть немалая доля истины.

Наконец появились депутаты. По их мрачному виду было ясно: миссия их не удалась.

—Ну, что я говорил?—радостно воскликнул Гоншон.—Все будет, как я предсказывал. Проклятая крепость обречена.

И тут же, даже не переговорив с депутатами, он ринулся в первый двор, крича:

—К оружию, дети мои! К оружию! Комендант отказал!

А было так. Едва комендант прочел послание де Флесселя, лицо его озарилось радостью, и вместо того чтобы принять сделанное ему предложение, он объявил:

—Господа парижане, вы сами хотели драки. Теперь отступать поздно.

Парламентеры настаивали, указывали ему, к каким бедам может привести продолжение обороны Бастилии. Однако Делоне не хотел ничего слушать и под конец объявил парламентарам, как и два часа назад Бийо:

—Уходите, не то я прикажу вас расстрелять.

Парламентарам пришлось уйти.

На этот раз военные действия открыл Делоне. Казалось, ему не терпится. Не успели депутаты вступить в первый двор, а свирель Морица Саксонского пропела свою песенку, три человека упали: один был убит, двое ранены.

Один раненый был французский гвардеец, второй—парламентер.

Увидев, как этого человека, чья неприкосновенность священна, уносят, залитого кровью, толпа вновь разъярилась.

Оба адъютанта Гоншона опять заняли свои места рядом с ним, однако они успели сбегать к себе домой и переодеться.

Правда, жили они поблизости: один на Арсенальной площади, второй на Каретной улице.

Юлен, который сперва был часовщиком в Женеве, а потом егерем у маркиза де Конфлана, облачился в ливрейный кафтан, весьма смахивающий на форму венгерского офицера.

Эли*, бывший офицер пехотного полка королевы, надел мундир, и это придавало уверенности народу, поверившему, что армия за него и с ним.

Перестрелка велась с еще большим ожесточением, чем прежде.

В это время г-н де Лом подошел к коменданту Бастилии.

Он был храбрый и честный солдат, но в душе оставался гражданином, со скорбью смотрел на происходящее, а главное, предвидел, чем все кончится.

—Господин комендант,—обратился он к Делоне,—вам известно, что у нас нет провианта?

—Известно,—ответил Делоне.

—А то, что у нас нет приказа, известно?

—Прошу прощения, господин де Лом, у меня есть приказ держать Бастилию закрытой, потому-то мне и вручены ключи.

—Господин комендант, но ключами можно и закрыть, и открыть ворота. Смотрите, крепости вы не спасете, но доведете дело до того, что весь гарнизон перережут. Вместо одной беды будут две. Взгляните на людей, которых мы убиваем: они растут, как из-под земли. Утром их было сотен пять, через три часа стало десять тысяч, сейчас их тысяч шестьдесят, а завтра

* Юлен и Эли—действительные исторические личности, отличившиеся при взятии Бастилии. Юлен, Пьер (1758—1841)—сделал военную карьеру, дослужился до генерала, стал графом Империи. Эли (1746—1825)—в 1793 г. получил чин бригадного генерала.

станет сто. Когда наши пушки замолчат, а это вскоре произойдет, у этих людей будет достаточно сил, чтобы голыми руками разрушить Бастилию.

—Господин де Лом, это речь не солдата.

—Это речь француза, господин комендант. Я говорю, что его величество не давал вам никакого приказа. Говорю, что господин купеческий старшина сделал нам вполне приемлемое предложение—впустить в крепость сто человек гражданской гвардии. Приняв предложение господина де Флесселя, вы сможете избежать всех несчастий, которые я предвижу.

—Так, по-вашему, господин де Лом, власти города Парижа—это именно та власть, которой мы должны подчиниться?

—Да, господин комендант, я считаю, что ежели нет непосредственного приказа его величества, мы должны подчиняться им.

—Ну, что ж,—произнес г-н Делоне, отводя собеседника в угол.—А теперь, господин де Лом, прочтите это.

И он протянул ему лоскуток бумаги.

Де Лом прочел:

“Держитесь. Я заморочил голову парижанам кокаргами и обещаниями. Еще до вечера г-н де Безанваль пришлет вам подкрепление.

Де Флессель”.

—Господин комендант, как попала к вам эта записка?—изумился де Лом.

—Я обнаружил ее в письме, которое принесли господа парламентареры. Они думали, что несут мне предложение сдать Бастилию, а принесли приказ оборонять ее.

Де Лом опустил голову.

—Отправляйтесь на свой пост, сударь, и не покидайте его, пока я вас не позову,—приказал Делоне.

Г-н де Лом исполнил приказ.

А г-н Делоне спокойно сложил письмо, сунул его в карман, вернулся к канонирам и приказал целить ниже и точнее.

Канониры подчинились точно так же, как и г-н де Лом.

Но судьба крепости уже была решена. Изменить ее было не в человеческих силах.

На каждый пушечный выстрел народ отвечал криками: “Бастилию! Даешь Бастилию!”

А известно, что когда уста требуют, руки действуют.

Среди тех, кто кричал громче и действовал успешнее всех, были Бийо и Питу.

Но каждый действовал, как ему подсказывала его натура.

Бийо, отважный и самозабвенный, как бульдог, при первых же выстрелах бросился вперед, не обращая внимания на пули и картечь.

Питу, осторожный и осмотрительный, как лиса, одаренный обостренным инстинктом самосохранения, пустил в ход все свои способности, чтобы уберечься и избежать опасности.

Глаза его следили за самыми смертоносными бойницами, замечали малейшее, неуловимое движение бронзового ствола

пушки перед выстрелом. Он даже научился точно угадывать тот миг, когда крепостные ружья начнут плеваться через подъемный мост свинцом.

И тогда кончалась служба глаз, наступал черед послужить телу.

Плечи подбирались, грудь втягивалась, и тело Питу становилось подобным доске, увиденной сбоку.

В этот момент корпулентный Питу, потому что тощими у него были только ноги, превращался в некое подобие геометрической линии, не имеющей, как известно, ни ширины, ни объема.

Он нашел укрытие на переходе от первого подъемного моста ко второму, нечто вроде вертикального парапета, образованного каменными выступами; один камень прикрывал голову, второй—живот, третий—колени, и Питу только тихо радовался столь удачному соединению природы и фортификационного искусства, благодаря которому камни служат защитой самых уязвимых частей его тела, ибо ранение любой из них могло стать смертельным.

Из своего укрытия, обстреливаемый настильным огнем, словно заяц на лежке, он палил куда попало, палил, скорей, для очистки совести, потому что видел только стены да бревна, но это явно было по праву папаше Бийо, который покрикивал:

—Стреляй, лежебока, стреляй!

А Питу в свой черед тоже взывал к папаше Бийо, но не затем, чтобы подзадорить, а чтобы уменьшить его пыл:

—Да не высовывайтесь вы так, папаша Бийо, не высовывайтесь!

Или же:

—Осторожней, господин Бийо! Назад! Сейчас пушка стрельнет! Сейчас твякнет эта чертова свирель!

И только Питу произносил эти пророческие слова, как тут же раздавался пушечный выстрел или взлаивала свирель и в проходе все сметала картечь.

Однако несмотря на эти подсазки, Бийо все время что-то делал, куда-то рвался, но без всякого видимого результата. Лишенный возможности пролить кровь, что отнюдь не было его виной, он весьма обильно проливал пот.

Раз с десять Питу хватал его за полу и валил на землю, как раз в тот миг, когда фермера мог поразить очередной залп.

Однако Бийо тут же поднимался, обретя, подобно Антею, не только новые силы, но и какую-нибудь новую мысль.

Одна из таких мыслей заключалась в том, чтобы забраться на полотнище моста и перерубить, как это он сделал в первый раз, брусья, что удерживают цепи.

При всякой такой попытке Питу кричал, пытаясь удержать фермера, но, увидев, что вопли его тщетны, выскочил из укрытия и принялся уговаривать:

—Господин Бийо, дорогой господин Бийо, ведь если вас убьют, госпожа Бийо останется вдовой!

К тому же было видно, как швейцарцы высовывают наискось из бойницы, где стояла свирель, стволы ружей, чтобы подстрелить смельчака, который попыбует рубить мост.

Тогда Бийо потребовал пушку—пробить брешь в полотнище моста, но тотчас заиграла свирель, артиллеристы попрятались, фермер остался один вместо орудийного расчета, и Питу опять пришлось вылезать из своего укрытия.

—Господин Бийо,—кричал он.—Господин Бийо! Во имя мадемуазель Катрин! Подумайте, ведь если вас убьют, мадемуазель Катрин останется сиротой.

Этот довод оказался сильнее предыдущего и подействовал на фермера.

И тут плодотворное воображение фермера родило новую идею.

Он бросился на площадь, крича:

—Тележку! Тележку!

Питу подумал, что будет очень неплохо последовать примеру Бийо. Он побежал за ним с криком:

—Две тележки! Две!

Тотчас же прикатили десяток.

—Соломы и сена!—крикнул Бийо.

—Соломы и сена!—повторил Питу.

Немедленно человек двести приволокли кто охапку сена, кто охапку соломы.

А другие стали таскать на носилках сухой навоз.

Пришлось крикнуть, что всего принесено раз в десять больше, чем требуется. При таком усердии за час натаскали бы столько фуража, что куча оказалась бы выше Бастилии.

Бийо схватился за оглобли нагруженной соломой тележки, но не впрягся в нее, а стал толкать перед собой.

Питу сделал то же самое, не понимая еще, зачем, но он подумал, что самое лучшее—последовать примеру фермера.

Эли и Юлен догадались, что задумал Бийо; каждый из них схватил по тележке и покатил во двор.

Едва они въехали туда, как их встретила картечь; пули с пронзительным свистом впились в деревянные борта и колеса тележек, попадали в солому, но из осаждающих никто не пострадал.

Сразу же после залпа во двор ворвались сотни три стрелков и, укрываясь за тележками, расположились под полотнищем моста.

Бийо же достал из кармана кремень, трут, насыпал щепотку пороха на листок бумаги и высек искру.

Порох поджег бумагу, бумага зажгла солому.

Каждый схватил по соломенному жгуту, и все четыре повозки разом вспыхнули.

Чтобы погасить огонь, осажденным надо было выйти, а, выйдя, они обрекали себя на верную смерть.

Пламя достигло полотнища моста, впилося в него жгучими зубами, смеясь, побежало по дереву.

Крик радости раздался во дворе, ему ответила вся Сент-Антуанская площадь. Там увидели, как над башнями поднялся дым, и догадались: произошло нечто гибельное для осажденных.

И действительно, раскалившиеся цепи сорвались с балок. Дымься и разбрасывая искры, полусгоревший, простреленный мост упал.

Подбежали пожарные с насосами. Комендант приказал открыть огонь, но инвалиды отказались наотрез.

Приказу подчинились только швейцарцы. Но швейцарцы не были артиллеристами, так что пушки пустить в ход не удалось.

Зато французские гвардейцы, видя, что артиллерийский огонь из крепости прекратился, выкатили свою пушку на боевую позицию, и уже третье ядро разбило решетку.

Комендант как раз поднялся на верх башни взглянуть, не идет ли обещанная подмога, и вдруг все заволокло дымом. Он немедленно сбежал вниз и приказал артиллеристам открыть огонь.

Отказ инвалидов привел его в ярость. Когда же была разбита решетка, он понял: все кончено.

Г-н Делоне чувствовал, что его ненавидят. Он догадывался: спасения для него нет. И все время, пока шло сражение, он таил мысль, что в крайнем случае погребет себя под развалинами Бастилии.

И вот, осознав, что всякое сопротивление бессмысленно, Делоне вырвал из рук артиллериста фитиль и бросился к пороховому погребу.

—Порох! Порох!—с ужасом закричали человек двадцать.

Все видели у коменданта горящий фитиль. Намерения его были очевидны. Двое солдат рванулись наперерез ему и уперлись штыками в грудь в тот самый миг, когда он открыл дверь погреба.

—Вы можете меня убить,—сказал им Делоне,—но не настолько быстро, чтобы я не успел бросить фитиль на бочки с порохом, а тогда все—и осажденные, и осаждающие—взлетят в небо.

Оба солдата замерли. Штыки все так же упирались в грудь Делоне, но он все равно оставался хозяином положения: солдаты понимали, что жизнь всех находится в его руках. И в первом дворе тоже замерли. Осаждающие почувствовали, что в крепости происходит что-то непонятное, стали приглядываться и увидели, чем угрожает комендант.

—Слушайте!—крикнул Делоне.—В моих руках ваша смерть, и если хоть один из вас попробует вступить в этот двор, я брошу фитиль в пороховой погреб.

Тем, кто услышал его слова, почудилось, будто земля задрожала у них под ногами.

—Чего вы хотите? Чего требуете?—раздалось несколько голосов, в которых чувствовался страх.

—Капитуляции и капитуляции почетной.

Осаждающие не приняли всерьез слов Делоне, они сочли их актом отчаяния и хотели войти. Бийо был во главе их. Но вдруг он вздрогнул и побледнел, вспомнив про доктора Жильбера.

О себе Бийо не думал, ему было безразлично, что Бастилия взорвется и вместе с нею погибнет он, но доктор Жильбер во что бы то ни стало должен остаться жить.

—Остановитесь!—закричал Бийо, становясь на пути Юлену и Эли.—Остановитесь во имя узников!

И эти люди, не боявшиеся погибнуть, побледнели, замерли и отступили.

—Чего вы хотите?—задали они коменданту вопрос, который уже задавал ему гарнизон.

—Чтобы все ушли,—ответил Делоне.—Я не соглашусь ни на какое предложение, пока во дворах Бастилии будет находиться хотя бы один посторонний.

—А вы не воспользуетесь нашим уходом, чтобы исправить все повреждения?—спросил Бийо.

—Если капитуляция будет отвергнута, вы найдете все, как было: я у этих ворот, вы у тех ворот.

—И даете слово?

—Слово дворянина.

Кое-кто недоверчиво покачал головой.

—Слово дворянина!—повторил Делоне.—Кто-нибудь из вас сомневается в слове дворянина?

—Нет! Нет! Никто!—закричали полтысячи голосов.

—Принесите мне бумагу, перо и чернила.

В мгновение ока приказ коменданта был выполнен.

—Отлично!—бросил Делоне и повернулся к осаждающим:—А теперь убирайтесь отсюда.

Бийо, Юлен и Эли подали пример, уйдя первыми.

За ними последовали остальные.

Делоне отложил фитиль и стал писать на колене условия капитуляции.

Солдаты инвалидной команды и швейцарцы, понимая, что дело идет об их спасении, в молчании, с почтительным страхом, наблюдали за комендантом.

Прежде чем поднести перо к бумаге, Делоне оглянулся. Оба двора были пусты.

Через секунду на площади стало известно, что произошло в крепости.

Толпа, по выражению г-на де Лома, росла словно из-под земли. Сейчас Бастилию окружало не менее ста тысяч человек.

Причем это уже были не только рабочие, но граждане всех сословий. И не только мужчины, но и дети, и старики.

По площади, переходя от группы к группе, бродили заплаканные женщины с растрепанными волосами; ломая руки, они посылали каменному исполину безнадежные проклятия.

То были матери и жены, чьих сыновей и мужей убила Бастилия.

Но уже несколько минут Бастилия безмолвствовала, из нее не вырывались ни пламя, ни дым. Бастилия словно угасла. Она была нема, как могила.

Бессмысленно было бы попытаться сосчитать все отметины от пуль на ее стенах. Каждому хотелось послать выстрел в это гранитное чудище, зримый символ тирании.

И все же, когда стало известно, что страшная Бастилия вот-вот капитулирует, что комендант готов сдать ее, никто не хотел этому верить.

Люди молча недоверчиво ждали, не решаясь еще поздравлять друг друга, и вдруг увидели: из одной бойницы протягивают на острие шпаги какое-то послание.

Однако между этим посланием и осаждающими был широкий и глубокий ров, полный воды.

Бийо потребовал доску; три из принесенных оказались коротки и не доставали до противоположного края. И только четвертую удалось перекинуть через ров.

Бийо подправил ее и без колебаний, смело ступил на этот качающийся мосток.

Толпа затаила дыхание; все, не отрываясь, следили за человеком, как бы повисшим надо рвом, над стоячей водой, подобной воде Коцита*. Питу, внезапно почувствовав слабость, опустился на землю и спрятал лицо в колени.

Он плакал, мужество оставило его.

Бийо уже прошел две трети пути, но вдруг доска качнулась под ним, он раскинул руки, упал и исчез во рву.

Питу хрипло вскрикнул и, подобно тому как ньюфаундленд следом за хозяином бросается в воду, прыгнул в ров.

Тут же на доску, с которой сорвался Бийо, вступил человек.

Без малейших колебаний он пошел по ней. Это был Станислас Майар, письмоводитель из Шатле.

Дойдя до того места, где барахтались в грязной воде Бийо и Питу, он глянул вниз, но, увидев, что они целы и невредимы добрался до берега, продолжил путь.

Через полминуты он был уже на другой стороне рва и снял со шпаги протянутую бумагу.

Так же спокойно, той же твердой поступью он возвратился по доске обратно.

Но когда народ сгрудился вокруг него, чтобы прочесть текст капитуляции, раздался грохот выстрела, и из бойниц обрушился град пуль.

Из каждой груди исторгся вопль, но этот вопль был из тех, что призывает народ к отмщению.

—Вот что значит доверять тиранам!—вскричал Гоншон.

Забыв про капитуляцию, забыв про порох, не думая ни о себе, ни об узниках, не помня ни о чем, кроме мести, уже не сотни, а тысячи бросились в крепость.

Однако возникло неожиданное препятствие, помешавшее им сразу войти туда, но то был не залп картечи, а устье ворот.

Как только раздался выстрел, два солдата, не спускавшие глаз с г-на Делоне, бросились на него, а третий, схватив фитиль, придавил его каблуком.

Делоне вырвал шпагу, спрятанную в трости, и хотел заколоться, но шпагу сломали у него в руках.

И тогда, поняв, что ему остается только ждать, он смирился.

Народ ворвался в крепость, гарнизон поднял руки, так что Бастилия была взята штурмом, без капитуляции.

* Коцит (миф. греч.)—одна из пяти рек, текущих в царстве мертвых.

В течение целого века в эту королевскую тюрьму заключали не просто бездеятельную материю, но мысль. Мысль взорвала Бастилию, и в образовавшийся пролом хлынул народ.

А что до того зала, прозвучавшего среди тишины перемирия, до того неожиданного, бессмысленного, смертоносного нападения, то так и не удалось узнать, кто отдал приказ, кто подстрекнул отдать его, кто его исполнил.

Бывают моменты, когда судьба целой нации лежит на весах судьбы. Одна из чаш поднимается. Каждый уже верит, что желанная цель достигнута. И вдруг незримая рука бросает на другую чашу либо кинжал, либо пистолетную пулю. Тотчас все меняется, и уже звучит один-единственный клич: "Горе побежденным!"

XVIII. Доктор Жильбер

Народ, ревя от радости и ярости, вливался во дворы Бастилии, а в это время два человека барахтались в мутной воде во рву.

Это были Питу и Бийо.

Питу поддерживал Бийо; нет, фермер не был поражен ни пулей, ни предательским ударом, просто он был несколько оглушен падением.

Им бросали веревки, протягивали шесты.

Питу ухватился за шест, Бийо—за веревку.

Через пять минут их, мокрых и грязных, уже с восторгом душили в объятиях.

Кто-то дал Бийо хлебнуть водки, кто-то угощал Питу колбасой и вином.

А кто-то обтер их соломой и отвел на солнце.

Вдруг в мозгу Бийо мелькнула мысль, а верней сказать, воспоминание; он вырвался из заботливых рук и устремился к Бастилии.

—Узники!—кричал он на бегу.—Узники!

—Узники!—закричал Питу, бросаясь следом за ним.

Толпа, до сих пор думавшая только о палачах, спохватилась, вспомнила о жертвах и ответила согласным криком:

—Узники!

И вот уже новый поток участников осады прорвал плотину и ринулся в крепость, чтобы принести туда свободу.

Ужасающее зрелище явилось глазам Бийо и Питу. Хмельная, неистовая, разъяренная толпа ворвалась во двор. Первый же попавшийся солдат был разорван ею в клочья.

Гоншон молча смотрел на ее действия. Вероятней всего, он думал, что ярость народа подобна течению великих рек: куда опаснее пытаться сдержать их, нежели позволить спокойно разлиться.

Юлен и Эли, напротив, бросились навстречу убийцам; они просили, умоляли, говорили, что пообещали—благородная ложь!—сохранить жизнь гарнизону.

Появление Бийо и Питу было им очень кстати.

Бийо, за которого мстил народ, оказался жив и даже не был ранен; просто-напросто под ногой у него перевернулась доска. Он всего-навсего искупался в грязной воде, а это не так уж страшно.

Особенно народ был зол на швейцарцев, но ни одного швейцарца найти не удалось. Они успели переодеться в халаты из серой холстины, и их принимали за служителей либо за узников. Толпа разбила камнями статуи пленников, держащих часы. Множество народа залезло на башни и оплевывало пушки, изрыгавшие смерть. Некоторые вцеплялись в камни и, кровавая руки, пытались вырвать их из стен.

Когда первые победители показались на вершине башен, все, кто стоял вокруг Бастилии, то есть сто тысяч человек, издали оглушительный ликующий клич.

Этот клич взмыл над Парижем и, словно быстрокрылый орел, промчался надо всей Францией.

Бастилия взята!

От этого клича смягчились сердца, увлажнились глаза, раскрылись объятия; не было больше соперничающих партий, враждующих каст, все парижане почувствовали себя братьями, все люди осознали, что они свободны.

Миллионы людей обнялись.

Бийо и Питу вошли в крепость вместе со множеством народа, но не для того, чтобы радоваться свободе, а для того, чтобы освободить узников.

Проходя по Комендантскому плацу, они увидели человека в сером кафтане, который неподвижно стоял, сжимая в руке трость с золотым набалдашником.

То был комендант. Он спокойно ждал, когда его спасут друзья или когда враги нанесут ему смертельный удар.

Бийо узнал его, ахнул и направился к нему.

Делоне тоже узнал фермера. Скрестив руки, он ждал, когда Бийо подойдет к нему, и взгляд его как бы говорил:

“Значит, это вы нанесете мне первый удар?”

Бийо понял его и остановился.

“Если я с ним заговорю,—подумал он,—его опознают, и тогда он погиб”.

Но как отыскать в этом хаосе доктора Жильбера? Как вырвать у Бастилии тайну, которую она скрывает в своем чреве?

Делоне видел нерешительность, мучительные сомнения Бийо и понял их.

—Что вы хотите?—вполголоса спросил он.

—Ничего,—ответил Бийо, указывая пальцем на ворота и давая понять Делоне, что он еще может бежать,—ничего. Доктора Жильбера я сам сумею найти.

—Третья Бертодьера,—негромко и чуть ли не растроганно бросил Делоне.

Но с места он не стронулся.

И вдруг за спиной Бийо прозвучал голос:

—Э, да это же комендант!

Голос человека, произнесшего это, был безмятежен, словно бы не от мира сего, но чувствовалось: каждое сказанное им

слово подобно острому кинжалу, приставленному к груди Делоне.

Произнес же это Гоншон.

Эти слова прозвучали, как набат, и вся жаждущая отмщения толпа устремилась к Делоне.

—Спасите его,—бросил Бийо, проходя мимо Юлена и Эли.

—Помогите нам,—сказали они.

—Но тогда я должен буду остаться здесь, а мне нужно еще кое-кого спасти.

Во мгновение ока в Делоне вцепились десятки рук, его схватили, поволокли.

Эли и Юлен устремились следом, крича:

—Стойте! Мы обещали сохранить ему жизнь!

Это была неправда, но благородство сердец подвигнуло их на великодушную ложь.

Через секунду Делоне, следом за которым бежали Юлен и Эли, исчез в воротах, ведущих из Бастилии, под крики толпы:

—К Ратуше! К Ратуше!

Кое для кого из победителей живая добыча—Делоне—казалась значительней и ценней, чем неживая—покоренная Бастилия.

Впрочем, этот мрачный, безмолвный монумент, который в течение четырех столетий могли посещать лишь стража, тюремщики да угрюмый комендант, являл собою, став добычей народа, странное зрелище; люди носились по внутренним дворам, бегали вверх-вниз по лестницам, кишели, словно пчелиный рой, и наполняли каменный улей гулом и движением.

С секунду Бийо следил взглядом за Делоне, которого не уводили, а скорей, утаскивали, так что он, казалось, парит над толпой.

Когда же он исчез, Бийо вздохнул, огляделся, увидел Питу и крикнул ему:

—К третьей Бертодьере!

На пути им встретился перепуганный тюремщик.

—Где третья Бертодьера?—спросил Бийо.

—Это здесь, сударь,—отвечал тюремщик,—но у меня нет ключей.

—Где же они?

—У меня их отняли.

—Гражданин, одолжи мне свой топор,—обратился Бийо к жителю предместья.

—Дарю его тебе,—отвечал тот.—Бастилия взята, и он мне больше ни к чему.

Бийо взял топор и вслед за тюремщиком пошел вверх по лестнице.

Тюремщик остановился у двери.

—Здесь?—спросил Бийо.

—Да.

—Человека, который заключен в этой камере, зовут доктор Жильбер?

—Я не знаю.

—Его привезли дней пять-шесть назад?

—Не знаю.

—Ладно, узнаю сам,—пробурчал Бийо.

И он принялся рубить дверь.

Дверь была дубовая, но под ударами силача-фермера от нее только щепки летели.

Через некоторое время уже можно было заглянуть в камеру.

Бийо прищелкнул глазом к прорубленному отверстию, и ему открылась внутренность каземата.

В луче света, падающего из зарешеченного оконца башни, стоял в оборонительной позе, чуть откинувшись назад, человек; в руке он сжимал перекладину, выломанную из спинки кровати.

Было видно, он готов убить первого, кто ворвется к нему.

Бийо мгновенно узнал его, несмотря на длинную щетину, бледность и коротко остриженные волосы. Это был доктор Жильбер.

—Доктор, это вы?—крикнул он.

—Кто меня зовет?—отозвался узник.

—Это я, Бийо, ваш друг!

—Бийо?

—Да, да, это он! Это мы!—закричали десятка два людей, которые прибежали на площадку, услышав, как Бийо рубит дверь.

—Вы кто?

—Мы—победители Бастилии! Бастилия взята, и вы свободны!

—Бастилия взята? Я свободен!—вскричал доктор.

Он ухватился за край пробитого отверстия и так рванул дверь, что, казалось, сорвет ее с петель, выломает замок; одна из досок, уже надрубленная Бийо, треснула, обломилась и осталась в руках узника.

—Погодите! Погодите!—крикнул Бийо, понявший, что еще одно такое же усилие надорвет силы узника, на миг удесятельно удивившись от неожиданной вести.

И он снова принялся рубить дверь.

Сквозь увеличившуюся дыру было видно, что узник, бледный, как привидение, не способный даже поднять валявшуюся рядом с ним деревянную перекладину, которой он, подобно Самсону*, едва не поколебал Бастилию, бессильно опустился на табурет.

—Бийо! Бийо!—повторял он.

—Да, господин доктор, он здесь, а с ним и я, Питту. Вы помните Питту, которого вы поселили у его тетюшки Анжелики? Я пришел освободить вас.

—Я уже могу пролезть в эту дыру!—крикнул доктор.

—Нет, нет, подождите еще!—закричали все присутствующие.

Они объединили усилия: кто-то совал лом между стеной и дверью, кто-то пытался отжать замок, а остальные упирались

* Самсон—библейский богатырь, обладавший сверхъестественной силой. Плененный филистимлянами, он сдвигает с места колонны храма, обрушив его на себя и врагов.

плечами и руками; послышался треск дубовых досок, посыпалась штукатурка, дверь вырвалась, рухнула, и все, подобно неудержимому потоку, влетели в камеру.

Доктор оказался в объятиях Бийо и Питу.

Жильбер, тот самый юный поселанин, живший в замке Таверне, с которым мы расстались, когда он лежал в луже собственной крови в пещере на Азорских островах, стал теперь зрелым мужчиной лет тридцати пяти с бледным, но отнюдь не болезненно-бледным лицом, черными волосами и пристальным, испытующим взглядом; взор его никогда не был беспредметным и не блуждал в пространстве: ежели доктор не останавливал его на каком-нибудь внешнем объекте, достойном внимания, то погружался в собственные мысли, и тогда глаза его становились еще печальней и бездонней; у него был прямой без переносицы нос, а надменно вздернутая верхняя губа, казавшаяся несколько чуждой на его лице, приоткрывала блистающую белизной эмаль зубов. Обычно манеры его были просты и строги, как у квакера, но строгость эта благодаря исключительной внутренней чистоте воспринималась, как изящество. При росте чуть выше среднего он был прекрасно сложен, ну а что до силы, происходящей, главным образом, из нервического темперамента, то мы только что были свидетелями, до какой степени она могла доходить при душевном возбуждении, если причиной возбуждения были гнев или восторг.

И хотя Жильбер уже почти неделю находился в тюрьме, он продолжал следить за собой; щетина только оттеняла матовую бледность его лица и свидетельствовала отнюдь не о неряшливости узника, а только о том, что ему или не давали бритву, или отказывались побрить.

Пока Бийо и Питу сжимали его в объятиях, он оглядел людей, заполнивших камеру. Несколько секунд хватило ему, чтобы вновь овладеть собой.

—День, который я предвидел, наступил!—промолвил он.—Спасибо вам, друзья мои, спасибо вечному гению, который бдит над свободой народов!

Он протянул обе руки к находящимся в камере, и люди, признав в нем—по возвышенному взгляду, по значительности голоса—человека незаурядного, с робостью пожимали их.

Опираясь на плечо Бийо, он вышел из камеры, а за ними последовали Питу и остальные освободители.

После первых изъявлений дружбы и признательности, выказанных Жильбером, между ученым доктором и неграмотным фермером, добряком Питу, а также теми людьми, что только что освободили его, вновь установилась всегда существовавшая между ними дистанция.

Свет дня ослепил Жильбера, когда он вышел из дверей тюрьмы. Он скрестил руки на груди, поднял глаза к небу и воскликнул:

—Привет, о прекрасная свобода! Я видел твоё рождение на другом континенте, так что мы старые друзья. Привет, о прекрасная свобода!

Улыбка доктора свидетельствовала, что для него и вправду не в новинку крики, которые издает народ, охмелевший от чувства свободы.

Несколько секунд он собирался с мыслями.

— Бийо, значит, народ одолел деспотизм? — спросил он.

— Да, сударь.

— И вы пришли сюда сражаться?

— Я пришел освободить вас.

— Выходит, вы знали о моем аресте?

— Сегодня утром мне об этом сказал ваш сын.

— Бедный Себастьян! Вы видели его?

— Да, видел.

— Он спокойно остался в пансионе?

— Когда я уходил, он вырывался из рук четырех лазаретных служителей.

— Он болен? У него горячка?

— Он хотел идти вместе с нами сражаться.

— А, — протянул доктор.

И его губы тронула торжествующая улыбка. Сын не обманул его ожиданий.

— Так вы говорили... — продолжал он расспрашивать Бийо.

— Я решил: раз доктор Жильбер в Бастилии, возьмем Бастилию. И вот она взята. Но это не все.

— Что же еще? — спросил доктор.

— Украли шкатулку.

— Шкатулку, которую я вам доверил?

— Да.

— Кто украл?

— Люди в черном, вошедшие в дом под предлогом, что они должны изъять вашу брошюру. Они арестовали меня, заперли в погребе, обыскали весь дом, нашли шкатулку и унесли ее.

— Когда это произошло?

— Вчера.

— Так, так... Есть явная связь между моим арестом и этой кражей. Одно и то же лицо приказало меня арестовать и украсть шкатулку. Узнав, кому потребовалось меня арестовать, я узнаю, кто велел похитить шкатулку. Где тут архив? — обратился доктор к тюремщику.

— На Комендантском плацу, сударь, — ответил тот.

— Друзья, в архив! — воскликнул доктор.

— Сударь, — остановил его тюремщик, — позвольте мне сопровождать вас или поручиться за меня перед этими храбрецами, чтобы они не причинили мне зла.

— Хорошо, — сказал Жильбер.

И он обратился к толпе, которая взирала на него с любопытством, смешанным с почтением:

— Друзья мои, я ручаюсь вам за этого славного человека. Он исполнял свою должность, отпирал и запирал двери, но был мягок к узникам и никому из них не сделал зла.

— Ладно! — закричали со всех сторон. — Он может не бояться. Пусть спокойно себе идет.

—Спасибо, сударь,—поклонился тюремщик,—но если вы хотите в архив, то поторопитесь. Мне кажется, там уже жгут бумаги.

—Тогда нельзя терять ни минуты!—воскликнул Жильбер — В архив!

И он устремился на Комендантский плац, увлекая за собой толпу, во главе которой, как всегда, были Бийо и Питу.

ХІХ. Треугольник

У дверей зала архива действительно пылал большой костер из бумаг.

К сожалению, первейшая потребность народа после победы—громить все, что попадет под руку.

Архив Бастилии был полон людьми.

Это был обширный зал, заставленный реестрами и планами; здесь в полном беспорядке хранились дела узников, всех тех, кто в течение почти целого столетия содержался в Бастилии.

Народ с яростью рвал эти бумаги, чистосердечно, надо полагать, веря, что, уничтожив тюремные книги, он сделает законным освобождение узников.

Жильбер вошел в сопровождении Питу и стал просматривать реестры, еще стоящие на полках; реестра за текущий год там не оказалось.

Доктор, вообще-то человек спокойный и сдержанный, раздраженно топнул ногой.

И тут Питу заметил одного из бесшабашных мальчишек, которые всегда участвуют в победах народа; он бежал к костру, таща на голове том, формой и переплетом напоминающий те, что перед этим перелистывал доктор Жильбер.

Питу погнался за ним и благодаря длинным ногам быстро догнал.

У мальчишки оказался реестр за 1789 г.

Переговоры были недолгими. Питу представился как участник штурма, сказал, что одному из узников нужен этот реестр, и мальчишка тут же отдал его, заметив:

—Ничего, сожгу другой.

Питу открыл реестр, перелистал и на последней странице обнаружил вот такую запись:

“Сего дня, 9 июля 1789 г., доставлен сьер Ж., крайне опасный философ и публицист Содержать в строжайшей тайне”

Он отнес реестр доктору.

—Господин Жильбер, не это ли вы ищете?

—Да, да, именно это—ответил доктор, схватил реестр и прочел только что процитированную нами запись.—Ну, а теперь посмотрим, кто отдал приказ.

Он поискал на полях и вдруг воскликнул:

—Неккер! Приказ об аресте подписан моим другом Неккером! Поистине, это что-то странное!

—Неккер ваш друг?—раздались голоса из толпы.

В тоне спрашивающих чувствовалось почтение. Достаточно вспомнить, какое действие оказывала эта фамилия на народ.

—Да, он мой друг, я поддерживаю его,—отвечал доктор.—Нет, я убежден, он не знает, что я в тюрьме. Но я поеду к нему и...

—А куда вы к нему поедете?—поинтересовался Бийо.

—В Версаль, куда же еще.

—Господина Неккера больше нет в Версале, он отправлен в изгнание.

—И где он теперь?

—В Брюсселе.

—А его дочь?

—Чего не знаю, того не знаю—ответил Бийо.

—Его дочь живет в деревне Сент-Уэн,—крикнул кто-то.

—Спасибо,—сказал Жильбер, даже не зная, кого благодарит.

После этого он обратился к поджигателям:

—Друзья, умоляю вас, во имя истории, которая воспользуется этим архивом для вынесения приговора тиранам, прекратите разгром. Камень по камню разрушите Бастилию, чтобы от нее не осталось ни следа, ни напоминания, но сохраните бумаги, сохраните реестры: из них потомки будут узнавать правду.

Выслушав это обращение, толпа восприняла его весьма разумно.

—Доктор прав!—зазвучало множество голосов.—Хватит громить! В Ратушу бумаги!

Пятерка пожарников подтащила помпу, и один из них, направив трубу на костер, залил огонь, который, подобно Александрийскому пожару*, готов был поглотить архивы; пламя погасло.

—А по чьей просьбе вы были арестованы?—спросил Бийо.

—Вот это-то я пытаюсь и не могу узнать: фамилия отсутствует,—ответил Жильбер, задумался и добавил:—Ну, ничего, знаю.

Он вырвал из реестра лист, касавшийся его, сложил вчетверо и спрятал в карман, после чего сказал Бийо и Питу:

—Идемте, друзья, нам тут больше нечего делать.

—Идемте,—согласился Бийо.—Только это легче сказать, чем исполнить.

Действительно, любопытствующая толпа, втекая во внутренние дворы Бастилии, совершенно забила ворота. У ворот и стояли бывшие узники.

Всего освобождено было, включая Жильбера, восемь человек.

Вот их имена: Жан Бешад, Бернар Ларош, Жан Лакореж, Антуан Пюжад, граф де Солаж и Тавернье.

* Имеется в виду пожар крупнейшей в античном мире Александрийской библиотеки, сожженной в 391 г. во время столкновения христиан с язычниками. Правда, сожжение библиотеки приписывается и Амру, полководцу халифа Омара, взявшему в 641 г. Александрию.

Первые четыре практически не представляют интереса. Они были обвинены в подделке векселя, хотя никаких доказательств их вины представлено не было, и это дает основание полагать, что обвинение было ложным. В Бастилии они просидели всего два года.

Остаются граф де Солаж, Уайт и Тавернье.

Графу де Солажу было не больше тридцати; он ликовал, говорил, не умолкая, обнимал освободителей, восторгался их победой, рассказывал о годах, проведенных в тюрьмах. Арестованный в 1782 г. на основании именного указа, испрошенного его отцом, он был заключен в Венсен, затем перевезен в Бастилию, где пробыл пять лет, и за все это время ни разу не встречался ни с одним судьей, ни разу не был допрошен; два года назад его отец умер, и о нем никто уже не помнил. Если бы Бастилию не взяли, вполне возможно, о нем просто-напросто забыли бы.

Уайт был шестидесятилетний старик; говорил он с иностранным акцентом, и речь его была невнятна. На непрекращающиеся вопросы он отвечал, что не знает, сколько времени просидел в тюрьме и что послужило причиной его ареста. Вспомнил только, что он в близком родстве с г-ном де Сартином*. И действительно, тюремщик по фамилии Ги видел, как однажды г-н де Сартин вошел в камеру Уайта и дал ему на подпись какую-то доверенность. Но сам узник начисто позабыл это событие.

Тавернье был старше всех; десять лет он провел в заключении на островах Сент-Маргерит, тридцать—в Бастилии. Это был девяностолетний старец с совершенно белыми бородой и волосами; в темноте зрение у него ослабло: он видел как бы сквозь пелену. Когда к нему в камеру вошли, он даже не понял, кто это и зачем; услышав, что он свободен, Тавернье отрицательно затряс головой, а когда ему объяснили, что Бастилия взята, пробормотал:

—Ну, ну, поглядим, что на это скажут король Людовик Пятнадцатый, госпожа де Помпадур и герцог де Лаврийер**.

Тавернье не был даже сумасшедшим, как Уайт, он впал в детство.

Жутко было смотреть на радость этих людей: она была настолько ужасна, что вызвала к отмищению. Трое из освобожденных, казалось, вот-вот испустят дух среди стотысячной орущей толпы: ведь после помещения в Бастилию им никогда не доводилось слышать даже голоса двух человек разом, и они куда больше были привычны к таинственным звукам, что издают медленно набухающее сыростью дерево, паук, незаметно ткущий паутину и качающийся, словно незримый маятник, или вспугнутая крыса, которая прогрызает под полом ход.

* Сартин, Габриель де (1729—1801)—в 1759—1774 гг. начальник французской полиции.

** Лаврийер Луи, герцог де (1705—1777)—министр двора, а затем внутренних дел Людовика XV.

Когда появился Жильбер, некоторые энтузиасты предложили торжественно пронести узников по городу; предложение было единодушно принято.

Жильберу очень хотелось избежать этой чести, но ускользнуть не было возможности: его, равно как Бийо и Питу, многие уже знали в лицо.

Раздались крики: “К Ратуше! К Ратуше!”—и тут же десятка два человек подхватили Жильбера и подняли его к себе на плечи.

Тщетно доктор сопротивлялся, тщетно Бийо и Питу одаряли ударами кулаков своих братьев по оружию; радость и энтузиазм сделали кожу представителей народа нечувствительной. Удары кулаком, древком пика или прикладом ружья воспринимались победителями, как ласка, и лишь усиливали их ликование.

Словом Жильберу пришлось сдаться и позволить поднять себя на щит.

Этим щитом оказался стол, в который была воткнута пика, чтобы триумфатор мог держаться за нее.

Доктор был вознесен над волнующимся океаном голов, что простирался от Бастилии до аркады Сен-Жан, над громящим океаном, волны которого несли узников-триумфаторов среди бесчисленного множества пик, штыков и прочего оружия самого разного вида, формы и эпох.

Одновременно этот неукротимый грозный океан влек еще одну группу, настолько тесную, что она казалась островком.

Эта группа конвоировала плененного Делоне.

Вокруг нее звучали крики не менее громкие, не менее ликующие, чем вокруг освобожденных узников, но то были не крики торжества, а угрозы, призывы к убийству.

Вознесенный над толпою Жильбер видел эту чудовищную картину во всех подробностях.

Он один из всех освобожденных узников сохранил силы во всей полноте. Пять дней заключения были для Жильбера всего лишь черным, но недолгим периодом в его жизни. Мрак, царящий в казематах Бастилии, не успел ни лишить, ни ослабить его зрения.

Обычно сражающиеся бывают более беспощадны, только пока длится битва. И, как правило, люди, вышедшие из-под огня, где они рисковали жизнью, милосердны к неприятелям.

Но в великих народных мятежах, которых столько было во Франции начиная с Жакерии* и вплоть до наших дней, толпа, что из страха держится вдали от боя, хотя его шум ярит ее, толпа, одновременно жестокая и трусливая, жаждет после победы хоть как-то приобщиться к сражению, в котором она не осмелилась принять участия.

Толпа участвует в мщении.

Как только комендант был выведен из Бастилии, начался его крестный путь.

* Жакерия—антифеодалное восстание французских крестьян в 1358 г. Название происходит от презрительной клички, данной крестьянам,—Жак-простак.

Эли, взявший на себя ответственность за жизнь г-на Делоне, возглавлял процессию; защитой ему служил мундир, а также восхищение народа, видевшего, как он первым бросился в огонь. Он нес на конце шпаги капитуляцию, которую г-н Делоне передал народу из бойницы и которую принял Майар.

За ним шел казначей крепости и нес в руках ключи от нее, потом Майар со знаменем, потом какой-то молодой человек, демонстрировавший всем наколотый на штык тюремный устав Бастилии, гнусный документ, из-за которого пролито столько слез.

Затем шел комендант, которого сзади прикрывали Юлен и еще три человека, но они совершенно терялись среди людей, грозящих кулаками, машущих саблями, потрясающих пиками.

Неподалеку от этой группы и почти параллельно ей по широкой артерии Сент-Антуанской улицы, соединяющей бульвары с рекой, двигалась вторая, сопровождаемая такими же громкими и такими же ужасными угрозами; в ней вели г-на де Лома, которого мы уже однажды видели, когда он попытался воспротивиться воле коменданта, но в конце концов подчинился решению Делоне продолжать оборону крепости.

Г-н де Лом был добрый, храбрый и во всех отношениях превосходный человек. Придя в Бастилию, он добился некоторого смягчения ее режима. Но народ этого не знал. Видя блистательный мундир, народ принимал его за коменданта. Между тем сам комендант благодаря серому кафтану без всяких украшений, с которого он сорвал ленту ордена Св. Людовика, укрывался под его сомнительной защитой, и просветить толпу могли только те, кто знал Делоне в лицо.

Перед выходом из Бастилии Юлен призвал к себе самых надежных и верных друзей, самых отважных солдат народа, отличившихся в сражении, и несколько человек откликнулись на его призыв и попытались исполнить его благородное решение—защитить коменданта. Беспристрастная история сохранила память о троих; их звали Арне, Шола и де Лепин.

Четыре человека, предводительствуемые, как мы уже упоминали, Юленом и Майаром, старались уберечь жизнь того, чьей смерти требовали сто тысяч глоток.

Их окружали также несколько гренадеров французской гвардии, чьи мундиры, обретшие за последние три дня огромную популярность, народ просто боготворил.

На г-на Делоне не сыпались удары, так как его великодушные защитники парировали их, но он не был защищен от проклятий и угроз.

На углу улицы Жуи из пяти гренадеров, присоединившихся к процессии при выходе из Бастилии, не осталось ни одного. То ли их отвлекло по пути восхищение толпы, то ли таков был расчет убийц, но Жильбер видел, как они исчезли один за другим, как исчезают зерна четок в руке того, кто их перебирает.

С этого момента Жильбер уже предвидел, что победа будет омрачена кровью; он хотел спрыгнуть со стола, служившего ему триумфальным щитом, но железные руки не отпускали его. Понимая свое бессилие, он послал на помощь коменданту Бийо и Питу, и они, послушные его приказу, приложили все

силы, чтобы преодолеть людские волны и добраться до Делоне.

Группа его защитников и впрямь нуждалась в подкреплении. Шолла, не евший со вчерашнего дня, чувствовал, что силы его на исходе; от слабости он упал и едва успел встать, пока толпа не затоптала его.

С его падением появилась брешь в стене, промоина в плетине.

Какой-то мужчина ринулся в эту брешь; схватив ружье за ствол, он обрушил чудовищный удар на непокрытую голову коменданта.

Однако де Лепин заметил, как взметнулся приклад; он, вытянув руки, бросился между Делоне и нападающим, и удар, предназначенный пленному, попал ему в лоб.

Он был оглушен, кровь из раны заливала ему глаза; пошатываясь, он стирал ее, а когда вновь обрел способность видеть, между ним и комендантом было уже расстояние шагов в двадцать.

И в этот момент к Делоне пробился Бийо, таща за собой Анжа Питгу.

Бийо сообразил, что Делоне опознают, главным образом, по тому, что он единственный идет с непокрытой головой.

Бийо снял шляпу и нахлобучил ее на голову коменданту.

Делоне обернулся и узнал Бийо.

—Благодарю,—сказал он,—но что бы вы ни делали, вам все равно не спасти меня.

—Дайте только добраться до Ратуши,—отвечал Юлен,—и я ручаюсь за вашу жизнь.

—Да,—согласился Делоне.—Но вот только доберемся ли мы до нее?

—С Божьей помощью, попытаемся по крайней мере,—бросил Юлен.

Действительно, надежда появилась, они подошли уже к Ратушной площади, однако она оказалась заполнена людьми, у которых были засучены рукава и которые потрясали саблями и пиками. По улицам на площадь уже долетела весть, что ведут коменданта Бастилии с его помощником, и толпа ждала их, подобная своре псов, что принохивается к ветру и щерит клыки.

Как только процессия вступила на площадь, толпа бросилась на нее.

Юлен видел, что здесь их подстерегает самая главная опасность, здесь произойдет последний и решительный этап борьбы; если бы он мог приблизить каменные ступени лестницы к Делоне, если бы мог перебросить Делоне на лестницу, комендант был бы спасен.

—Ко мне, Эли! Ко мне, Майар!—вскричал он.—Ко мне, люди с благородным сердцем! Под угрозой наша честь!

Эли и Майар услышали зов; они вклинились в толпу, и народ сделал вид, будто уступает им: он расступился перед ними и тут же сомкнулся.

Эли и Майар оказались отрезаны от основной группы и уже не смогли соединиться с ней.

Толпа увидела, что она вот-вот добьется своего и предприняла еще одно яростное усилие. Словно гигантский удав, она обвила своими кольцами группу. Бийо подняло, закружило, погнало куда-то; Питу, державшийся за фермера, тоже был увлечен этим водоворотом. Юлен споткнулся на первых ступеньках ратушной лестницы и упал. Он было поднялся, но тут же снова упал, следом за ним рухнул и Делоне.

Упав, комендант остался тем, кем был; до последнего мгновения он не умолял, не просил пощады, а только прохрипел:

— Уж коль вы свирепей тигров, не дайте мои муки, убейте сразу.

Ни один приказ не исполнялся с такой же точностью, как эта его просьба; в один миг над упавшим Делоне склонились лица, на которых была написана угроза, взметнулись руки, сжимающие оружие. Несколько секунд было видно, как эти руки тычут вниз оружием; затем на пике взметнулась отрубленная голова, истекающая кровью; на мертвом лице Делоне сохранилась бледная презрительная улыбка.

Это была первая голова.

Жильбер видел все, что происходит, и опять хотел кинуться на помощь, но опять две сотни рук удержали его.

Он отвернулся и вздохнул.

Эта отрубленная голова с открытыми глазами была поднята, словно для того, чтобы послать взглядом последний привет де Флесселю, который стоял, окруженный выборщиками, как раз в окне напротив.

Трудно сказать, кто был бледней—живой или мертвый.

Вдруг у того места, где валялось тело Делоне, послышался ропот, крики. Одежду Делоне обыскали и в кармане камзола обнаружили записку, присланную купеческим старшиной, ту самую, которую комендант показал де Лому.

В ней, как помнит читатель, было написано:

"Держитесь. Я заморочил голову парижанам кокардами и обещаниями. Еще до вечера г-н де Безанваль пришлет вам покрепление.

Де Флессель".

Громовые проклятия взметнулись с мостовой к окну, где стоял де Флессель.

Не догадываясь о причине, он почувствовал угрозу и отпрянул от стекла.

Но его уже видели, уже знали, где он, и толпа устремилась вверх по лестнице; на сей раз то был всеобщий порыв, и те, кто нес доктора Жильбера, отпустили его, увлекаемые этим приливом, вздымаемым вихрем ярости.

Жильбер тоже хотел пройти в Ратушу, но не затем, чтобы мстить, а чтобы защитить де Флесселя. Он уже поднялся на первые ступеньки, как вдруг почувствовал: кто-то настойчиво тянет его назад. Он обернулся, намереваясь избавиться от этих новых знаков внимания, но увидел Бийо и Питу.

— Что там происходит?—спросил доктор, указывая в сторону улицы Тиссерандри.

—Идемте, доктор, идемте,—произнесли одновременно Бийо и Питу.

—Убийцы!—вскричал Жильбер.—Убийцы!

Дело в том, что помощник Делоне рухнул, пораженный ударом топора; разъяренный народ расправился и с жестоким, своекорыстным комендантом, притеснявшим несчастных узников, и с благородным человеком, который неустанно помогал им.

—Да, идем отсюда,—промолвил Жильбер.—Мне стыдно, что меня освободили эти люди.

—Успокойтесь, доктор,—отозвался Бийо.—Те, кто сражался там, и те, кто убивает здесь,—разные люди.

Доктор начал спускаться с лестницы, на которую он поднялся, стремясь на помощь к де Флесселю, и тут людской поток, который совсем недавно ворвался под арку, извергся из нее. Он влек с собой человека, который отбивался, пытаясь вырваться.

—В Пале-Рояль! В Пале-Рояль!—вопила толпа.

—Да, дорогие друзья, в Пале-Рояль!—вторил ей этот человек.

Толпа увлекала его к реке, словно вовсе не собиралась доставить его в Пале-Рояль, а намеревалась утопить в Сене.

—Еще один, которого собираются прикончить!—воскликнул Жильбер.—Попытаемся спасти хотя бы его.

Но только он это произнес, раздался выстрел из пистолета, и дым скрыл де Флесселя.

Жильбер, охваченный безмерным гневом, прикрыл глаза рукой; он проклинал народ, который, будучи столь велик, не нашел в себе силы сохранить чистоту и запятнал свою победу тройным убийством.

А когда он отнял руку от глаз, то увидел три головы, насаженные на пики.

То были головы де Флесселя, де Лома и Делоне.

Одна возвышалась над ступенями Ратуши, вторая посреди улицы Тиссерандри, третья на набережной Пельтье.

Они образовали собой как бы вершины некоего треугольника.

—О Бальзамо, Бальзамо!—со вздохом прошептал доктор.—Неужто этот треугольник и символизирует Свободу?

И он устремился к улице Корзинщиков, увлекая за собой Бийо и Питу.

XX. Себастьян Жильбер

На углу улицы Планш-Мибре доктор увидел фиакр, остановил и сел в него.

Бийо и Питу уселись рядом с ним.

—В коллеж Людовика Великого!—крикнул Жильбер, откинувшись на спинку сиденья и погрузился в глубокую задумчивость. Бийо и Питу не решились нарушить ее.

Переехав через мост Менял, фиакр покати по улице Сите, въехал на улицу Сен-Жак и остановился у коллежа.

Париж был в крайнем возбуждении. Новость уже разнеслась по всему городу; слухи об убийствах на Гревской площади перемешивались с горделивыми рассказами о взятии Бастилии; на лицах можно было прочесть, какое разное впечатление производят такие вести на разных людей—ведь на лице высвечивается все, что происходит в душе.

Жильбер не выглянул в окно, не промолвил ни слова. Есть нечто смехотворное в народных овациях, а именно так и воспринимал Жильбер свой сегодняшний триумф.

И потом ему казалось: хоть он и пытался предотвратить кровопролитие, несколько капель пролитой крови все-таки попало на него.

У ворот коллежа доктор вышел и знаком позвал с собою Бийо.

Питу же остался сидеть в фиакре.

Себастьян все еще был в лазарете; принципал коллежа, как только ему доложили о прибытии доктора Жильбера, сам проводил его к мальчику.

Бийо при всей своей ненаблюдательности хорошо знал характер отца и сына и внимательно следил за тем, что происходило у него на глазах.

Насколько мальчик был уязвим, раздражителен и нервичен в горе, настолько спокоен и сдержан он был в радости.

Увидев отца, Себастьян залился бледностью и словно лишился дара речи. У него только слегка задрожали губы.

Потом с криком радости, похожим на крик страдания, он бросился на шею к отцу и молча обнял его.

Доктор так же молча обнял сына. А потом, выпустив из объятий, долго всматривался с улыбкой скорее печальной, чем счастливой.

Наблюдатель более опытный, чем Бийо, мог бы подумать, что мальчика и его отца связывает горе либо преступление.

С Бийо Себастьян был не так сдержан. Когда, наконец, он оказался способен видеть не только отца, появление которого полностью захватило его внимание, то подбежал к добряку-фермеру, повис у него на шее и сказал:

—Вы храбрец, господин Бийо. Вы сдержали слово. Благодарю вас.

—Это было не так-то просто, господин Себастьян. Вашего батюшку крепко заперли, и пришлось кое-что сломать, прежде чем мы вытащили его.

—Себастьян,—с некоторой тревогой поинтересовался доктор,—вы здоровы?

—Да, отец,—ответил мальчик,—хоть вы и нашли меня в лазарете.

Жильбер улыбнулся.

—Я знаю, почему вы здесь,—сказал он.

Мальчик в ответ тоже улыбнулся.

—Вы тут ни в чем не нуждаетесь?—продолжал доктор.

—Благодарю вас, нет.

—Ну что ж, мой друг, я вам даю только один совет, все тот же: трудитесь.

— Да, отец.

— Я знаю, что это слово для вас не пустой и надоедливый звук. Если бы я думал иначе, я не стал бы вам это говорить.

— Не мне, отец, отвечать вам на это, — заметил Себастьян, — а нашему превосходному наставнику господину Берардые.

Доктор повернулся к г-ну Берардые, и тот сделал знак, что хочет сказать ему несколько слов.

— Подождите немножко, Себастьян, — сказал доктор сыну и подошел к принципалу.

— Сударь, — спросил Себастьян у фермера, — а не случилось ли какого-нибудь несчастья с Питу? Он ведь был с вами.

— Он сидит в фиакре у ворот.

— Отец, — попросил Себастьян, — позвольте господину Бийо привести сюда Питу, я был бы рад повидаться с ним.

Жильбер кивнул, и Бийо вышел.

— Что вы мне хотели сказать? — осведомился Жильбер у принципала.

— Только то, что этому мальчику надо советовать не трудиться, а побольше развлекаться.

— Простите, господин аббат, не понимаю.

— Себастьян — прекрасный молодой человек, и все любят его, как сына или как брата, но...

Аббат замолчал.

— Продолжайте, — попросил Жильбер.

— Но если не принять мер, то его убьет...

— Что? — прервал аббата Жильбер.

— Труд, который вы так настойчиво ему рекомендуете

— Труд?

— Да, сударь, труд. Если бы вы видели его за партой... Он сидит, скрестив руки, сосредоточенно уставясь в словарь.

— Трудится или мечтает?

— В том-то и дело, сударь, что трудится: ищет точное выражение, древний оборот, греческую или латинскую форму. И так он может проводить часы напролет. Да вот взгляните, даже сейчас...

И действительно, хотя не прошло и пяти минут, как отец отошел от Себастьяна, а Бийо вообще расстался с ним буквально несколько секунд назад, мальчик впал в задумчивость, напоминающую экстаз.

— И часто с ним такое? — с тревогой спросил Жильбер.

— Я мог бы сказать сударь, что это обычное его состояние. Видите, он опять трудится.

— Вы правы, господин аббат, — согласился Жильбер. — И теперь, когда увидите, что он вот так трудится, постарайтесь его отвлечь.

— Мне будет очень жаль это делать, потому что так он обдумывает сочинения, которые когда-нибудь прославят коллеж Людовика Великого. Говорю вам, через три года этот мальчик получит все премии на конкурсах.

— Будьте осторожны, — сказал Жильбер, — подобная поглощенность своими мыслями, в какой сейчас находится Себастьян

ен, свидетельствует скорее о слабости, нежели о силе, и является симптомом скорей болезни, нежели здоровья. Да, вы правы, господин аббат, этому мальчику не надо советовать трудиться, если он действительно трудится, а не мечтает.

—Уверяю вас, сударь, он трудится.

—Вы думаете?

—Да, и подтверждение этому то, что долг для него превыше всего. Поглядите, у него шевелятся губы. Это он повторяет урок.

—Ну что ж, господин Берардье, в дальнейшем, когда он будет так повторять уроки, отвлекайте его. Хуже знать их от этого он не будет, но зато чувствовать себя будет лучше.

—Вы уверены?

—Совершенно.

—Что ж, вы в этом лучше разбираетесь,—промолвил аббат.—Недаром же господа де Кондорсе и Кабанис* утверждают, что вряд ли кто в мире сравнится с вами ученостью.

—Но только,—продолжал Жильбер,—когда будете отвлекать его от задумчивости, примите некоторые предосторожности: сперва обратитесь к нему тихо, а потом чуть громче.

—Но почему?

—Чтобы постепенно возвратить его в этот мир, который он покинул.

Аббат с недоумением воззрился на Жильбера. Похоже, он готов был счесть, что тот немножко не в себе.

—Сейчас вы увидите подтверждение моих слов,—сказал Жильбер.

Вошли Бийо и Питу. Питу бросился к мальчику.

—Ты звал меня, Себастьян?—спросил Питу, заключая его в объятия.—Ты очень любезен, спасибо тебе.

И он прижался щекой ко лбу мальчика.

—Смотрите,—шепнул Жильбер, хватая аббата за руку.

Себастьян, внезапно вырванный из задумчивости ласковым прикосновением Питу, вздрогнул, лицо его залилось бледностью, голова резко упала на грудь, словно шея уже была не в силах удерживать ее. Страдальческий вздох вырвался у него из груди, но скоро щеки его порозовели от румянца.

Он кивнул и улыбнулся.

—Ах, это ты, Питу. Ну да, я же звал тебя.

После этих слов он внимательно оглядел Питу и спросил:

—Значит, ты сражался?

—Да, и показал себя храбрецом,—заметил Бийо.

—Почему вы не взяли меня с собой?—с упреком обратился к ним мальчик.—Я тоже принял бы участие в сражении и хоть что-то сделал бы для отца.

—Себастьян,—сказал доктор Жильбер, подойдя к мальчику и прижав голову его к своей груди,—ты гораздо больше сделаешь для своего отца, если будешь слушать его советы, следовать им и станешь выдающимся, известным человеком.

* Кабанис, Пьер Жан Жорж (1757—1808)—французский философ, врач-материалист. Кондорсе, Жан Антуан, маркиз де (1743—1794)—философ-просветитель, математик, экономист.

—Как вы?—с гордостью спросил Себастьян.—О, это моя мечта!

—А теперь, когда ты обнял и поблагодарил наших добрых друзей Бийо и Питу, не хотел бы ты пройти со мною в сад и поговорить.

—С удовольствием. Те два и три раза, что я провел наедине с вами, во всех подробностях запечатлелись в моей памяти.

—Господин аббат, вы позволите?—спросил Жильбер.

—Ну, разумеется.

—Бийо, Питу, друзья мои, может, у вас есть какие-то дела?

—Еще бы,—ответил Бийо.—Я с утра не ел, и, думаю, Питу не сытей меня.

—Да нет,—возразил Питу,—утром я съел почти целиком круглый хлеб, а потом, перед тем как вытащить вас из воды, пару колбасок, но, правда, после купания снова проголодался.

—Идемте в трапезную,—предложил аббат Берардые,—там вас накормят.

Питу с сомнением хмыкнул.

—Вас пугает постная монастырская еда?—осведомился аббат.—Не беспокойтесь, вас накормят тем, что мы подаем гостям. И к тому же, мне кажется, дорогой господин Питу, что вам неплохо было бы не только насытить желудок, но и прикрыть тело.

Питу смущенно оглядел себя.

—И если вам предложат не только обед, но и панталоны...

—Признаюсь, господин аббат, я приму их,—ответил Питу.

—Тогда идемте, обед и панталоны ждут вас.

Он повел Бийо и Питу, меж тем как Жильбер с сыном направились в противоположную сторону.

Они пересекли рекреационный двор и вошли в прохладный и тенистый садик, предназначенный для учителей, где достопочтенный аббат Берардые любил читать Тацита и Ювенала.

Жильбер сел на деревянную скамью в беседке, увитой лозоносом и диким виноградом, притянул к себе Себастьяна и откинул у него со лба волосы.

—Ну, вот, мой мальчик, мы снова вместе,—сказал он.

Себастьян возвел глаза к небу.

—Это Божье чудо,—промолвил он.

Жильбер усмехнулся.

—Если это чудо, то сотворил его мужественный народ Парижа.

—Нет, нет, папа,—возразил Себастьян,—не устраняйте Господа от того, что только что произошло. Ведь, увидев вас, я невольно возблагодарил Бога.

—А Бийо?

—Бийо—орудие Бога так же, как карабин—орудие Бийо.

Жильбер задумался.

—Да, мой мальчик, ты прав,—согласился он.—Бог присутствует во всем. Но вернемся к твоим делам и немножко поговорим, прежде чем снова расстаться.

—Отец, значит, мы снова расстаемся?

—Думаю, ненадолго. У Бийо похитили шкатулку, содержащую драгоценные для меня бумаги, и одновременно арестовали меня и заключили в Бастилию. Мне необходимо узнать, по чьему приказу я был заключен, и тогда я узнаю, кто похитил шкатулку.

—Хорошо, папа, я подожду, когда вы завершите поиски.

И мальчик вздохнул.

—Вам грустно, Себастьян? — спросил Жильбер.

—Да.

—Но почему?

—Не знаю. Мне кажется, в отличие от остальных детей, жизнь не создана для меня.

—Себастьян, что ты говоришь?

—Это правда.

—Объяснись же.

—У них есть какие-то развлечения, какие-то радости, а у меня нет.

—У тебя нет ни развлечений, ни радостей?

—Я просто хочу сказать, отец, что не получаю удовольствия от игр сверстников.

—Берегитесь, Себастьян. Мне было бы очень сожалеательно, если бы оказалось, что таков ваш характер. Себастьян, умы, которые обещают прославиться в будущем, подобны прекрасным плодам в период созревания: они так же горьки, кислы, зелены, и только потом обретают сладость зрелости. Поверьте мне, дитя мое, молодым быть прекрасно.

—Но в том, что я не такой, как все, не моя вина, — печально улыбнувшись, ответил мальчик.

Жильбер, сжимая руки сына и пристально глядя ему в глаза, продолжал:

—Ваш возраст, мой друг, это время сева, и ничего из того, что закладывает в вас учение, не должно пока пробиваться наружу. В четырнадцать лет, Себастьян, серьезность — это следствие либо болезни, либо гордыни. Я уже спрашивал вас, не больны ли вы, и вы ответили: нет. А сейчас я задам вам вопрос: нет ли в вас гордыни? Постарайтесь дать мне такой же ответ.

—Успокойтесь, папа. Моя печаль происходит не от болезни и не от гордыни, ее причина — тоска.

—Тоска? Бедный мальчик! Боже мой, но откуда в твоём возрасте может быть тоска? Говори же, говори.

—Нет, нет, отец, когда-нибудь потом. Вы сказали, что топнитесь и можете уделить мне лишь четверть часа. Давайте не будем говорить о моих сумасбродствах, поговорим о чем-нибудь другом.

—Нет, Себастьян, иначе я буду беспокоиться. Скажи мне, в чем причина твоей тоски?

—Право, отец, я не решаюсь.

—Чего же ты боишься?

—Боюсь, что вы сочтете меня визионером, мечтателем, а я, может быть, затрону темы, которые вас огорчат.

—Ты гораздо больше огорчишь меня, если будешь хранить свою тайну.

—Вы же знаете, у меня нет от вас тайн.

—Тогда рассказывай.

—Я, право же, не решаюсь.

—Ну, смелей!

—Хорошо, отец. Это видение.

—Видение, которое тебя страшит?

—И да, и нет, потому что когда оно мне является, я не боюсь, я чувствую, будто перенесся в иной мир.

—Объяснись.

—У меня уже были такие видения, когда я был совсем маленьким. Как вы знаете, несколько раз я заблудился в лесу, окружавшем деревню, в которой я вырос.

—Да, мне рассказывали.

—А дело было в том, что я следовал за чем-то вроде призрака.

—Вот как?—протянул Жильбер, глядя на сына с удивлением, граничащим с испугом.

—Было это так, отец: когда я играл с другими детьми на улице, когда я находился в деревне, когда около меня или неподалеку находились дети, я ничего не видел, но стоило мне отдалиться от них, стоило выйти из деревни, я чувствовал рядом шорох платья; я протягивал руки, чтобы схватить его, но ловил только воздух, однако по мере того как шорох удалялся, призрак становился зримым. Сначала это был прозрачный туман, но потом он сгущался и принимал очертания человека— очертания женщины, которая не шла, а скорей струилась, и чем дальше углублялась в лес, в самые глухие его дебри, тем становилась отчетливей.

Странная, неведомая, неодолимая сила влекла меня за этой женщиной. Вытянув руки, я следовал за ней, безмолвный, как и она. Иногда я пытался позвать ее, но не мог издать ни звука. Она не останавливалась, и я не мог догнать ее и шел за ней, пока это чудесное видение, явившееся мне, не исчезало. Эта женщина постепенно таяла, превращалась в туман, туман рассеивался, и все кончалось. А я, усталый, падал на том месте, где она исчезла. Там Питу и находил меня—иногда в тот же день, иногда на следующий.

Жильбер с растущей тревогой смотрел на сына. Он взял его за запястье и стал считать пульс. Себастьян понимал, какие чувства волнуют отца.

—О, нет, не тревожьтесь, отец,—попросил он.—Я знаю, что все это не имеет никакого отношения к реальности, что это только видение.

—А как выглядела эта женщина?—поинтересовался Жильбер.

—Она была величественна, как королева.

—А лицо ее тебе когда-нибудь виделось?

—Да.

—Когда?—испуганно спросил Жильбер.

—После того как я поселился здесь,—ответил мальчик.

—Но ведь Париж—это не лес вокруг Виллер-Котре, здесь нет высоких тенистых деревьев, нет той таинственной зеленой сени. Здесь нет одиночества и безмолвия, в которых только и появляются призраки.

—Нет, папа, я все же нашел это здесь.

—Где же?

—Вот здесь.

—Но разве этот сад не предназначен только для учителей?

—Да, отец. Но несколько раз мне почудилось, что эта женщина проскользнула через двор в сад. Я хотел последовать за ней, но всякий раз останавливался перед запертой калиткой. И вот однажды аббат Берардьё, очень довольный моими сочинениями, поинтересовался, чего бы я хотел, и я попросил позволения иногда прогуливаться вместе с ним в саду. Он разрешил. Я вошел, и вот здесь, да, здесь, мне опять явилось это видение.

Жильбер вздрогнул.

“Странная галлюцинация, но тем не менее вполне возможная у такой нервической натуры, как он,”—подумал Жильбер и спросил:

—Ты видел ее лицо?

—Да.

—И помнишь его?

Мальчик улыбнулся.

—А ты пытался приблизиться к ней?

—Да.

—Прикоснуться?

—Всякий раз она при этом исчезала.

—А кто, по-твоему, Себастьян, эта женщина?

—Мне кажется, она—моя мать.

—Твоя мать?—побледнев, воскликнул Жильбер.

Он прижал руку к сердцу, как будто пытался остановить кровь, текущую из смертельной раны.

—Но ведь это же видение,—пробормотал он,—а я едва не поддался этому безумию.

Мальчик замолчал и, сведя брови, задумчиво смотрел на отца.

—Ну так что же?—спросил Жильбер.

—Быть может, это видение, но она существует в действительности.

—Что ты говоришь?

—На Троицу нас повели на прогулку в лес Сатори около Версаля, и вот когда я стоял вдали ото всех в задумчивости...

—Тебе явилось это видение?

—Да, но на сей раз в карете, запряженной четверкой великолепных лошадей... и гораздо более реальное, живое. Я едва не лишился чувств.

—Почему?

—Не знаю.

—И какое впечатление у тебя осталось после этого?

—Что мне являлась не моя мама, потому что это была женщина из моих видений, а моя мама умерла.

Жильбер вскочил и провел ладонью по лбу. На него нашло какое-то непонятное помрачение.

От мальчика не ускользнуло смятение отца, напугала его бледность.

—Вот видите, папа, я зря рассказал вам о своих безрассудствах.

—Нет, нет, мой мальчик, напротив,—запротестовал доктор.—Чаше рассказывай мне о них, рассказывай всякий раз, когда видишь меня, и мы постараемся тебя вылечить.

Себастьян покачал головой.

—Вылечить? А зачем?—спросил он.—Я привык к этому видению, оно стало частью моей жизни, я полюбил его, хотя оно убегает от меня, а иногда мне даже кажется, что оно меня отвергает. Не надо меня лечить. Вы можете снова покинуть меня, отправиться в путешествие, опять возвратиться в Америку. А с этим видением я не так одинок.

—О Господи!—прошептал доктор и, прижав к груди голову Себастьяна, сказал:—До свидания, мой мальчик. Надеюсь, нам больше не придется разлучаться, ну, а если мне нужно будет уехать, я постараюсь взять тебя с собой..

—А моя мама была красивая?—спросил мальчик.

—Да, очень красивая,—сдавленным голосом ответил доктор.

—И вы ее любили так же, как я люблю вас?

—Себастьян, никогда не спрашивай у меня про свою мать!—воскликнул Жильбер.

В последний раз поцеловав сына в лоб, он устремился из сада.

Во дворе Жильбер обнаружил сытно пообедавших Бийо и Питу, которые со всеми подробностями рассказывали аббату Берардые, как была взята Бастилия. Жильбер дал принципалу последние советы относительно Себастьяна и вместе с обоими своими спутниками сел в фиакр.

XXI. Г-жа де Сталь*

Когда Жильбер уселся в фиакре рядом с Бийо и напротив Питу, он был бледен, и у корней его волос блестели капельки пота.

Но сгибаться под бременем какого угодно чувства было не в характере этого человека. Он откинулся в угол кареты, сжал лоб обеими руками, словно хотел подавить какую-то мысль, несколько секунд сидел неподвижно, а когда отнял руки, лицо у него было совершенно спокойное, на нем не осталось ни следа недавних огорчений.

* Сталь, Анна Луиза Жермена де (1766—1817)—дочь Неккера, французская писательница, теоретик литературы, публицист, автор романов в письмах "Дельфина", "Коринна, или Италия", книги "О Германии" и др.

—Так вы сказали, дорогой господин Бийо, что король дал отставку господину барону Неккеру?

—Да, господин доктор.

—И волнения в Париже в некоторой степени вызваны его опалой?

—В значительной.

—И еще вы добавили, что господин Неккер немедленно покинул Версаль?

—Он получил указ за обедом и спустя час уже выехал в Брюссель.

—Где он сейчас и находится?

—Во всяком случае, должен быть.

—Вы не слышали, по дороге он где-нибудь останавливался?

—Останавливался в Сент-Уэне, чтобы попрощаться с дочерью, баронессой де Сталь.

—Госпожа де Сталь уехала вместе с ним?

—Я слышал, что он уехал только с женой.

—Кучер, — велел Жильбер, — остановитесь у первой лавки, торгующей платьем.

—Вы хотите переменить кафтан? — поинтересовался Бийо.

—Да. Этот сильно пообтерся о стены Бастилии, и притом негоже в таком наряде наносить визит дочери опального министра. Поройтесь у себя в карманах, может, у вас найдется несколько луидоров.

—Похоже, вы оставили свой кошелек в Бастилии, — улыбнулся фермер.

—Так положено по уставу: все ценности сдаются на хранение в канцелярию, — тоже с улыбкой ответил Жильбер.

—И там остаются, — добавил Бийо.

Он раскрыл кулак: на его широкой ладони лежали двадцать луидоров.

—Берите, доктор, — предложил он.

Жильбер взял десять луидоров. Через несколько минут фиакр остановился у лавки, торгующей подержанным платьем.

В ту пору покупать в них одежду было самым обычным делом.

Жильбер сменил свой перепачкавшийся о стены Бастилии кафтан на черный, совершенно чистый, того фасона, какой в Национальном Собрании носили представители третьего сословия.

Цирюльник у себя в заведении и савояр, чистильщик сапог, завершили туалет доктора.

Кучер вез их в Сент-Уэн по внешним бульварам, которые выходят на зады парка Монсо.

Жильбер вышел у дома г-на де Неккера в Сент-Уэне, когда часы на соборе Дагобера* пробили семь вечера.

Вокруг этого дома, в который совсем еще недавно все так стремились и где было полно посетителей, царила глубо-

* Дагобер I (602?—638)—французский король из династии Меровингов. При нем было построено аббатство Сен-Дени, ставшее усыпальницей французских королей.

кая тишина, потревоженная лишь подъехавшим фиакром Жильбера.

И все-таки то не была грусть покинутого замка, угрюмая печаль дома, на который обрушилась опала.

Запертые ворота, безлюдные лужайки свидетельствовали об отъезде хозяев, но нигде не было ни следа беды или поспешного бегства.

Кроме того, в части замка, в его восточном крыле, жалюзи были открыты, и когда Жильбер направился в ту сторону, на встречу ему вышел лакей в ливрее г-на де Неккера.

Между ними через решетчатую калитку произошел следующий разговор:

— Друг мой, господина де Неккера в замке нет?

— Господин барон в субботу отбыл в Брюссель.

— А госпожа баронесса?

— Отбыла с господином бароном.

— Ну, а госпожа де Сталь?

— Госпожа де Сталь здесь. Но я не уверен, примет ли она вас, в это время она прогуливается.

— Прошу вас, узнайте, где она, и доложите о докторе Жильбере.

— Я пойду узнаю, не у себя ли она. В этом случае она несомненно примет вас. Но ежели она на прогулке, у меня приказ ни в коем случае не беспокоить ее.

— Прекрасно. Ступайте же.

Лакей открыл калитку, и Жильбер вошел.

Закрывая калитку, лакей бросил испытующий взгляд на экипаж, в котором приехал доктор, и на странные фигуры его попутчиков.

Затем он удалился, покачивая головой, как человек, понявший, что дал маху, но, похоже, убежденный, что уж ежели он не сообразил сразу, как следует поступить, то о других и говорить не приходится.

Жильбер остался ждать.

Минут через пять лакей возвратился.

— Госпожа баронесса гуляет, — объявил он и поклонился, давая понять Жильберу, что ему следует уйти.

Однако Жильбер не сдавался.

— Друг мой, — сказал он лакею, — будьте любезны, нарушите полученный вами приказ, доложите обо мне госпоже баронессе и добавьте, что я — друг маркиза де Лафайета.

Луидор, вложенный в руку лакея, помог тому преодолеть угрызения совести, тем паче что имя маркиза де Лафайета пробило в них изрядную брешь.

— Идемте, сударь, — сказал лакей.

Жильбер последовал за ним. Однако лакей повел его не в замок, а в парк.

— Вот излюбленное место прогулок баронессы, — показал Жильберу лакей на вход в лабиринт. — Соблаговолите подождать здесь.

Минут через десять раздался шелест листвы, и Жильбер увидел крупную женщину лет двадцати трех — двадцати четы-

рех, чьи формы скорей можно было назвать благородными, нежели изящными.

Она, похоже, была удивлена, обнаружив совсем еще молодого человека, а не мужчину зрелого возраста, как она, очевидно, ожидала.

Жильбер действительно был настолько примечательной личностью, что мог с первого же взгляда поразить человека, обладающего наблюдательностью г-жи де Сталь.

Мало у кого из людей лицо было очерчено такими четкими линиями, воздействие же могучей воли придало его чертам выражение исключительной непреклонности. От трудов и перенесенных страданий взгляд его живых черных глаз обрел замкнутость и твердость, и при этом глаза утратили ту взволнованность, что составляет одно из очарований юности.

Глубокие, но в то же время ничуть не портящие лица морщины отходили от уголков изящно очерченного рта, образуя таинственную впадину, которая, по мнению физиономистов, свидетельствует об осмотрительности. Казалось, лишь время да рано пришедшая старость наделили Жильбера этим качеством, которым его не удосужилась одарить природа.

Его красивых черных волос уже давно не касалась пудра; широкий, выпуклый, слегка покатый лоб говорил о знаниях и уме, об опыте и воображении. У Жильбера, как и у его учителя Руссо, надбровные дуги бросали глубокую тень на глаза, и в этой тени сверкали две горящих точки, свидетельство внутренней жизни.

Будущий автор "Коринны" сочла, что, несмотря на скромный наряд, Жильбер красив и изящен, и его изящество подчеркивают белые удлиненные кисти рук, узкие ступни, тонкие, сильные ноги.

Г-жа де Сталь несколько секунд рассматривала Жильбера.

Жильбер же воспользовался этим, чтобы отвесить чопорный поклон, напоминающий о сдержанной вежливости американских квакеров, которые свидетельствуют женщине братское, доверительное уважение, а не игривую почтительность.

Затем он тоже бросил быстрый, испытующий взгляд на эту уже ставшую знаменитой даму, умному и выразительному лицу которой так недоставало очарования; тело, полное сладострастной неги, сочеталось у нее с незначительным аляповатым лицом, какое подошло бы скорей молодому человеку, нежели женщине.

Она держала в руке ветку граната и рассеянно покусывала на ней цветы.

—Так это, сударь, вы и есть доктор Жильбер?—осведомилась баронесса.

—Да, сударыня.

—Вы так молоды и уже добились столь большой известности, если только известность эта не принадлежит вашему отцу или иному родственнику более почтенного возраста.

—Никакого другого Жильбера, кроме себя, я не знаю, сударыня. И если эта фамилия пользуется, как вы сказали, некоторой известностью, то я имею все права отнести ее к себе.

—Сударь, вы воспользовались фамилией маркиза де Лафайета, чтобы проникнуть ко мне. Маркиз действительно говорил о вас, о ваших безграничных знаниях.

Жильбер поклонился.

—О знаниях, настолько замечательных, а главное, настолько благодетельных,—продолжала баронесса,—что создается впечатление, что вы, сударь, отнюдь не заурядный химик, не простой практикующий врач, как прочие, и что вы проникли во все тайны науки о живом.

—Чувствую, сударыня, что господин маркиз де Лафайет станет уверять вас, что я чуть ли не волшебник,—с улыбкой произнес Жильбер,—а если он так говорил, то, насколько я его знаю, он достаточно умен, чтобы подтвердить свои слова.

—Действительно, сударь, он нам рассказывал, как вы неоднократно исцеляли совершенно безнадежных пациентов и на поле боя, и в американских больницах. Генерал говорил, что вы погружали их в мнимую смерть, до такой степени сходную с подлинной, что многие выдающие это обманывались.

—Эта мнимая смерть, сударыня,—результат почти неизвестной науки, доверенной пока что лишь нескольким адептам, но в конце концов она станет общедоступной.

—Это месмеризм*, да?—улыбнувшись, спросила г-жа де Сталь.

—Да, именно месмеризм.

—Вы обучались у самого Месмера?

—К сожалению, сударыня, Месмер был всего лишь учеником. Месмеризм или, верней сказать, магнетизм—древняя наука, которая была известна египтянам и грекам. Она была утрачена в океане средневековья. Шекспир предугадал ее в "Макбете". Юрбен Грандье** вновь открыл ее и погиб ради этого открытия. Великим же учителем ее, моим учителем, является граф Калиостро.

—Этот шарлатан!—бросила г-жа де Сталь.

—Сударыня, сударыня, бойтесь судить как современник, а не как потомок. Этому шарлатану я обязан знанием, а мир, быть может, будет обязан свободой.

—Ну, хорошо,—с улыбкой промолвила г-жа де Сталь,— пусть я говорю как невежда, а вы со знанием предмета. Вполне возможно, что вы правы, а я ошибаюсь. Однако вернемся к вам. Почему вы так долго держались вдали от Франции? Поче-

* Месмеризм—учение австрийского врача Месмера (1733—1815) о наличии в человеке особой силы "животного магнетизма", посредством которой человек, обладающий ею, может приводить другого в особое (магнетическое, гипнотическое) состояние и при этом внушать идеи, излечивать и т. п.

** Грандье, Юрбен (1590—1634)—священник из города Лудена, был обвинен в том, что навел порчу на монахинь местного монастыря, вследствие чего их обуяли бесы; по приговору суда был заживо сожжен.

му не вернулись занять достойное вас место рядом с Лавуазье*, Кабанисом, Кондорсе, Байи, Луи**?

Услышав последнюю фамилию, Жильбер невольно покраснел

—Я должен был многое изучить, сударыня, чтобы иметь возможность встать рядом со столь выдающимися людьми.

—Ну вот, наконец-то вы здесь, но в неблагоприятное для нас время. Мой отец, который был бы счастлив быть полезным вам, попал в немилость и три дня назад уехал.

Жильбер улыбнулся и с легким поклоном промолвил:

—Сударыня, шесть дней назад по приказу господина барона де Неккера я был заключен в Бастилию.

Г-жа де Сталь вспыхнула.

—Право, сударь, вы сообщили мне известие, которое меня крайне поразило. Вас—и вдруг в Бастилию!

—Да, сударыня, именно так.

—Что же вы такого совершили?

—Это могут мне сказать только те, кто меня заключил туда.

—Но вы ведь вышли оттуда?

—Только потому, сударыня, что Бастилии больше не существует.

—Как это, Бастилии больше не существует?—разыгрывая изумление, спросила г-жа де Сталь.

—Вы разве не слышали пушечной стрельбы?

—Слышала, но ведь пушки—это всего лишь пушки.

—Позвольте, сударыня, вам заметить: просто невозможно, чтобы госпожа де Сталь, дочь господина де Неккера, до сих пор не знала, что Бастилия взята народом.

—Уверю вас, сударь,—стала объясняться смущенная г-жа де Сталь,—после отъезда отца я совершенно чужда событиям внешнего мира и только оплакиваю нашу разлуку.

—Сударыня! Сударыня!—покачивая головой, произнес Жильбер.—Государственные курьеры слишком хорошо знают дорогу, ведущую в замок Сент-Уэн, чтобы можно было поверить, будто ни один из них не заехал сюда спустя четыре часа после капитуляции Бастилии.

Баронесса поняла, что далее вести разговор, не прибегая к прямой лжи, не удастся. Ложь вызвала у нее отвращение, и потому она предпочла сменить тему.

—А чему я обязана, сударь, вашим визитом?—осведомилась она.

—Я хотел бы, сударыня, иметь честь поговорить с господином де Неккером.

—Но разве вам неизвестно, что его нет во Франции?

* Лавуазье, Антуан Лоран (1743—1794)—выдающийся французский химик, один из основателей современной химии, сформулировал, между прочим, закон сохранения веса вещества. Казнен в период террора.

** Луи—персонаж предыдущих романов этого цикла "Записки врача. Жозеф Бальзамо" и "Ожерелье королевы", придворный врач.

—Сударыня, мне представлялось, что господин де Неккер, позволив себе отправиться в изгнание, совершил бы крайне странный поступок: было бы чрезвычайно недальновидно с его стороны не следить за развитием событий, и потому...

—И потому?

—И потому, признаюсь, сударыня, я рассчитываю, что вы укажете, где я мог бы найти его.

—Вы найдете его в Брюсселе, сударь.

Жильбер впился испытующим взглядом в баронессу.

—Благодарю, сударыня,—с поклоном произнес он.—Значит, мне придется ехать в Брюссель, чтобы сообщить ему крайне важные сведения.

Г-жа де Сталь на миг заколебалась, но тут же сказала:

—К счастью, я знаю вас, сударь, и знаю, что вы—человек серьезный, следовательно, эти столь важные сведения, переданные через третье лицо, могут утратить всю свою ценность. Хотя, что может быть важным для моего отца после опалы и всего, что произошло?

—Будущее, сударыня. И вполне возможно, я способен оказать некоторое воздействие на будущее. Но все это не так важно. Главное для меня и для господина де Неккера увидеться... Итак, сударыня, вы говорите, он в Брюсселе?

—Да, сударь.

—Я кладу на дорогу двадцать часов. А вы знаете, что такое двадцать часов во время революции и сколько событий может произойти за эти двадцать часов? Нет, сударыня, господин де Неккер был крайне опрометчив, позволив, чтобы его и события, руку и цель разделяли целых двадцать часов.

—Право же, сударь, вы меня пугаете,—промолвила г-жа де Сталь,—и я впрямь начинаю верить, что отец поступил неблагоразумно.

—Что поделать, сударыня, таково положение вещей. А теперь мне остается лишь принести нижайшие извинения за то бесподойство, что я вам причинил. Прощайте, сударыня.

Однако баронесса остановила его.

—Сударь, говорю вам, вы меня пугаете,—повторила она,—и вы должны объяснить мне, в чем дело, как-то успокоить.

—Увы, сударыня,—отвечал Жильбер,—сейчас мне придется заниматься таким количеством собственных дел, что мне просто не досуг думать о чужих. Речь идет о моей жизни и судьбе, равно как о жизни и судьбе господина де Неккера, если бы он мог немедленно воспользоваться тем, что я скажу ему через двадцать часов.

—Сударь, простите, но мне пришло на ум нечто, о чем я долго забывала: такие вопросы не следует обсуждать под открытым небом в парке, открытым для посторонних ушей.

—Сударыня,—парировал Жильбер,—я у вас в гостях, и позвольте вам напомнить, что, следовательно, это вы выбрали место, где мы сейчас находимся. Чего вы желаете? Я всецело в вашем распоряжении.

—Я хочу, чтобы вы оказали мне любезность и мы завершили разговор у меня в кабинете.

"Вот как!—мысленно усмехнулся Жильбер.—Если бы я не боялся смутить ее, то спросил бы, уж не в Брюсселе ли находится ее кабинет".

Тем не менее, не задавая никаких вопросов, он последовал за баронессой, которая быстрым шагом направлялась к замку.

У двери стоял тот же лакей, что встретил Жильбера. Г-жа де Сталь сделала ему знак, сама открыла дверь и провела Жильбера в свой кабинет, очаровательную уединенную комнату, более, впрочем, подходящую для мужчины, нежели для женщины; вторая дверь и два окна кабинета выходили в небольшой садик, недоступный не только чужим людям, но и любопытным взорам.

Войдя, г-жа де Сталь закрыла дверь и повернулась к Жильберу.

—Сударь,—промолвила она,—именем человечности заклинаю вас, скажите, что за тайна, могущая пойти на пользу моему отцу, привела вас в Сент-Уэн?

—Сударыня,—отвечал Жильбер,—если бы ваш батюшка мог меня сейчас слышать, если бы он узнал, что я тот самый человек, который послал королю секретный мемуар, озаглавленный "О состоянии идей и о прогрессе", я убежден, господин барон де Неккер тут же появился и сказал бы мне: "Доктор Жильбер, что вы хотите от меня? Говорите, я вас слушаю".

Не успел Жильбер произнести последние слова, как бесшумно отворилась потайная дверь, скрытая за панно кисти Ванлоо*, на площадке винтовой лестницы, на которую из дверного проема падал приглушенный свет лампы, показался улыбающийся барон Неккер.

Баронесса де Сталь кивнула Жильберу, поцеловала отца в лоб, поднялась по лестнице, по которой тот только что спустился, и затворила за собой потайную дверь.

Неккер подошел к Жильберу и протянул ему руку со словами:

—Вот и я, господин Жильбер. Что вы хотите от меня? Я вас слушаю.

Они сели.

—Господин барон,—начал Жильбер,—вы только что слышали тайну, позволяющую вам составить представление о моем образе мыслей. Это я четыре года назад направил королю мемуар об общей ситуации в Европе, а после этого посылал ему из Соединенных Штатов различные памятные записки относительно улаживания возникавших во Франции проблем и по части управления ею.

—Об этих записках его величество всегда отзывался мне с восхищением и затаенным страхом,—с поклоном сообщил г-н Неккер.

* В XVIII в. во Франции работали три крупных художника, носящие эту фамилию: Жан Батист Ванлоо (1684—1745), его брат Карл (1705—1765) и сын Жана Батиста—Луи Мишель (1707—1771).

— Потому что они говорили правду. Но вам не кажется, что тогда эту правду было страшно читать, а теперь, когда она стала реальностью, видеть ее гораздо страшней?

— Несомненно, сударь, — согласился Неккер.

— Король знакомил вас с содержанием моих мемуаров? — осведомился Жильбер.

— Не всех, только двух. Один касался финансов, и в нем вы высказывали то же мнение, что и я, если не считать небольших различий, но все равно я был этим весьма польщен.

— Это еще не все. В одном мемуаре я предсказывал ему события, которые уже совершились.

— Даже так?

— Да.

— И какие же, сударь, если это не секрет?

— Между прочим, вот эти два. Первое, что вследствие принятых на себя обязательств он будет вынужден однажды удалить вас.

— Вы предсказали ему мою опалу?

— Совершенно верно.

— Хорошо, это первое. А второе?

— Взятие Бастилии.

— Так вы и взятие Бастилии предсказали?

— Господин барон, Бастилия была не просто государственная тюрьма, она была символ тирании. Свобода начинается с уничтожения символа, революция довершает остальное.

— Сударь, вы понимаете, сколь серьезно то, что вы говорите?

— Разумеется.

— И не боитесь во всеуслышание высказывать подобную теорию?

— Господин Неккер, — улынулся Жильбер, — человек, вышедший из Бастилии, ничего уже не боится.

— Вы вышли из Бастилии?

— Как раз сегодня.

— Но почему вы там оказались?

— Я это хотел спросить у вас.

— У меня?

— Разумеется.

— Но почему у меня?

— Потому что вы приказали бросить меня туда.

— Я приказал бросить вас в Бастилию?

— Шесть дней назад. Дата, как видите, не настолько отдаленная, чтобы вы не могли вспомнить.

— Нет, этого быть не может.

— Вы узнаете свою подпись?

Жильбер предъявил опальному министру страницу из тюремной регистрационной книги и приложенный к ней приказ о взятии под стражу.

— Да, никаких сомнений, — пробормотал Неккер, — вот и указ об аресте. Вы знаете, я старался подписывать таких указов как можно меньше, но все равно их набиралось в год до четырех тысяч. Кроме того, я обратил внимание, что перед самым моим уходом мне предложили на подпись несколько чис-

тых, без фамилий. Так вот, сударь, указ о вашем аресте мог быть, к величайшему моему сожалению, одним из них.

—То есть, это значит, что я никоим образом не должен связывать свое заключение с вами?

—Совершенно справедливо.

—В таком случае, сударь,—улыбнулся Жильбер,—вы должны понять мое любопытство: мне хотелось бы знать, кому я обязан лишением свободы. Не будете ли вы добры сказать мне это?

—Нет ничего проще. Из осторожности я никогда не оставлял свои бумаги в министерстве и ежевечерне привозил их сюда. Бумаги за этот месяц лежат в ящике В этого шкафа. Поглядим связку на Ж.

Неккер вытащил ящик и стал листать огромную связку, сохранившую не менее пяти сотен документов.

—Здесь я держу,—пояснил экс-министр,—только те бумаги, которые могут обезопасить меня и снять с меня ответственность. Всякий раз, подписывая указ об аресте, я наживал себе нового врага. Так что я должен иметь возможность парировать удар. И было бы странно, если бы я этого не делал. Итак, посмотрим... Ж... Ж... А, вот оно, Жильбер. Сударь, просьба исходит из двора королевы.

—Из двора королевы?

—Да, просьба об указе о заключении некоего Жильбера. Профессии нет. Глаза черные, волосы черные. Далее идут приметы. Следует из Гавра в Париж. Выходит, этот Жильбер—вы?

—Я. Вы можете на время доверить мне это письмо?

—Нет, но я могу сказать вам, кем оно подписано.

—Кем же?

—Графиней де Шарни.

—Графиней де Шарни?—повторил Жильбер.—Не знаю такой. Я ей ничего худого не сделал.

И он поднял глаза к потолку, словно пытаясь припомнить.

—Тут есть еще небольшая приписка без подписи, но по черк мне знаком. Взгляните.

Жильбер наклонился и прочел на полях:

"Незамедлительно удовлетворить просьбу графини де Шарни".

—Странно,—сказал он.—Королева, это я еще могу понять: в мемуаре у меня упоминалась и она, и Полиньяки. Но эта графиня де Шарни..

—Вы не знаете ее?

—Вероятно, это подставное лицо. Впрочем, ничего удивительного, версальские влиятельные особы, как вы понимаете, мне совершенно неизвестны: пятнадцать лет я не был во Франции, приезжал сюда всего дважды, и в последний раз это было четыре года назад. Так кто же такая эта графиня де Шарни?

—Подруга, наперсница, поверенная тайн королевы, обожаемая жена графа де Шарни, красавица и в то же время образец добродетели, одним словом, чудо из чудес.

—Нет, с этим чудом я незнаком.

—Если это так, дорогой доктор, то остановитесь на следующей отгадке: вы стали игрушкой в какой-то политической интриге. Вы, кажется, упоминали графа Калиостро?

—Да.

—Вы знали его?

—Он был мой друг, даже более, чем друг: он был мой учитель. И даже более, чем учитель: он был моим спасителем.

—Ну, так вот, Австрия либо Святейший Престол требовали вашего ареста. Вы писали брошюры?

—Увы, да.

—Все понятно. Все эти мелкие акты мести указывают на королеву, как стрелка компаса на полюс, как железо на наличие магнита. Против вас составили заговор и стали вас преследовать. Королева велела госпоже де Шарни подписать письмо, чтобы отвести подозрение. Вот вам разгадка тайны.

Жильбер на миг задумался.

И тут ему вспомнилась шкатулка, похищенная в Пислэ у Бийо, которая не имела никакого отношения ни к королеве, ни к Австрии, ни к Святейшему Престолу. Это воспоминание навело его на верный путь.

—Нет, это совершенно исключается, этого просто не могло быть,—объявил он.—Впрочем, неважно. Перейдем к другим делам.

—К каким?

—К вашим.

—К моим? И что же вы имеете сказать о моих делах?

—То, что вы знаете лучше, чем кто-либо другой: не пройдет и трех дней, как вы будете возвращены к своим обязанностям, и тогда вы будете управлять Францией с той мерой деспотизма, какую сочтете нужной.

—Вы так полагаете?—усмехнулся Неккер.

—И вы тоже, поскольку вы не в Брюсселе.

—Ну, хорошо,—согласился Неккер.—А каковы будут последствия? Ведь главное для нас—определить последствия.

—Вот каковы. Сейчас французы вас обожают, после этого они станут вас боготворить. Обожание, которым окружают вас, уже изрядно раздражает королеву, обоготворение раздражит короля. Они добьются популярности за ваш счет, но вы этого не потерпите. И тогда непопулярным станете вы. Народ, дорогой господин Неккер, это голодный лев, который лижет руку только того, кто его кормит, и ему все равно, чья это рука.

—И что же дальше?

—А дальше вы будете отрешены от дел.

—Отрешен?

—К моему прискорбию, да.

—И что же приведет к отрешению меня от дел?

—Ход событий.

—Право же, вы вещаете, как пророк.

—Это потому, что я имею несчастье в какой-то мере быть им.

—А что произойдет дальше?

—То, что произойдет дальше, нетрудно предсказать, поскольку зародыш грядущих событий—в Национальном Собрании. Проявит себя партия, которая пока что спит,—нет, я неверно выразился—она бодрствует, но таится. Глава этой партии—принцип, а ее оружие—идея.

—Я вас понял. Вы имеете в виду орлеанскую партию.

—Нет. У этой партии, я сказал бы так, глава—человек, а оружие—популярность. Я имею в виду партию, название которой еще даже не произнесено, партию республиканцев.

—Партию республиканцев? Даже так?

—Вы не верите?

—Это химера!

—Да, химера с огнедышащей пастью, которая всех вас пожрет.

—Ну что ж, я сделаюсь республиканцем. Ба, да я уже и есть республиканец.

—Вот именно, республиканец из Женевы.

—Но мне кажется, республиканец—это всегда республиканец.

—Вот тут-то и кроется ошибка, господин барон. Наши республиканцы первым делом уничтожат привилегии, затем дворянство, а затем королевскую власть. Начинать вы будете с ними, но закончат они без вас, так как вы не захотите идти туда, куда идут они. Нет, господин де Неккер, вы заблуждаетесь, вы—никакой не республиканец.

—Что ж, если вы это понимаете именно так, да, я—не республиканец, я люблю короля.

—Я тоже,—признался Жильбер,—и сейчас все любят его ничуть не меньше нас. Если бы я выступил с тем, что я вам сейчас сказал, не перед столь высоким и просвещенным умом, меня бы ошкаркали, осмеяли. И тем не менее, господин Неккер, поверьте мне.

—Право же, я безоговорочно поверил бы, если бы это выглядело правдоподобно, но...

—Вам известно о существовании тайных обществ?

—Да, я слышал о них.

—И вы верите?

—Верю, что они существуют, но не верю, что они столь уж всеобъемлющи.

—Вы состоите членом какого-нибудь из них?

—Нет.

—И даже не состоите в масонской ложе?

—Нет.

—А вот я, господин министр, состою.

—Вы член тайного общества?

—Да, и причем всех. Господин министр, берегитесь, это гигантская сеть, наброшенная на все троны. Это незримый кинжал, угрожающий каждой монархии. Нас почти три миллиона братьев, живущих во всех странах, принадлежащих ко всем классам общества. У нас имеются друзья среди народа, среди буржуазии, среди дворянства, среди принцев и даже среди государей. Будьте осторожны, господин Неккер, быть может,

принц, вызвавший ваше недовольство, является членом тайного общества. Быть может, слуга, который кланяется вам, тоже член тайного общества. Ваша жизнь, ваша судьба, даже ваша честь не принадлежат вам. Все это в руках незримой власти, с которой вы бессильны бороться, потому что не знаете ее, но которая может вас погубить, потому что вы перед ней как на ладони. Поверьте мне, эти три миллиона человек, уже создавшие американскую республику, вскоре попытаются создать французскую, а потом и европейскую.

—Но республика Соединенных Штатов меня ничуть не пугает, я охотно приму эту программу,—заметил Неккер.

—Да, разумеется, но между Америкой и нами—бездна. Америка—новая страна, лишенная предрассудков, в ней нет привилегий, нет королевской власти, в ней изобилие плодородных земель, девственных лесов. Америка с двух сторон омывается океанами, что благоприятствует ее торговле, а отдаленность ее идет на пользу населению, меж тем как Франция. Представляете, сколько нужно будет разрушить во Франции, прежде чем она станет похожа на Америку?

—Но, в конце концов, куда вы хотите прийти?

—Я хочу прийти туда, куда мы неотвратимо движемся. Но я хочу попытаться прийти туда без потрясений, поставив во главе движения короля.

—Как знамя?

—Нет, как щит.

—Как щит?—улыбнулся Неккер.—Вы совершенно не знаете короля, раз хотите заставить его играть такую роль.

—Нет, я знаю его. Бог мне свидетель, я очень хорошо знаю его. Я видел тысячи подобных людей во главе маленьких округов в Америке. Это милый человек, лишенный величия, не способный настоять на своем, безынициативный. Тем не менее благодаря своему священному сану он может стать оплотом против людей, о которых я только что говорил, и как бы ни был зыбок этот оплот, лучше такой, чем вообще никакого.

Помню, как на севере Америки во время войны с дикими племенами я провел целую ночь, укрываясь за зарослями тростника. Враги были на другом берегу реки и стреляли по нам

Не правда ли, тростник—ничтожная защита. Но уверяю вас, господин барон, за укрытием из зеленых стеблей, которые легко срезали пули, сердце мое билось куда спокойнее, чем если бы я оказался в открытом поле. Так вот, король будет для меня таким тростником. Он позволит мне видеть врага, но не даст врагу увидеть меня. Вот почему я, будучи республиканцем в Нью-Йорке или Филадельфии, во Франции оказываюсь монархистом. Там нашего диктатора звали Вашингтоном. А тут один Бог знает, как он будет называться—Кинжал или Эшафот?

—Доктор, вы все видите в кровавом цвете.

—Барон, вы тоже увидели бы все в таком же цвете, если бы оказались сегодня со мной на Гревской площади.

—Да, верно, мне говорили, что там произошли массовые убийства.

—Знаете, народ—это прекрасно, но когда он... О, общественные ураганы, насколько же вы ужасней ураганов небесных!—воскликнул Жильбер.

У Неккера был вид, будто он о чем-то размышляет.

—Если бы вы были рядом со мной, доктор,—промолвил он,—вы могли бы при необходимости подать мне непредвзятый совет.

—Рядом с вами, барон, я не был так полезен вам, а главное, Франции, как там, где я хочу быть.

—И где же вы хотите быть?

—Выслушайте меня, сударь. Рядом с самим престолом находится величайший враг престола, рядом с королем—величайший враг короля. Это королева. Несчастливая женщина, она забыла, что является дочерью Марии Терезии, или верней, вспоминает об этом лишь тогда, когда ей нужно подкрепить свое самомнение. Она думает, что спасает короля, а на деле губит не только короля, но и королевскую власть. Поэтому всем нам, кто любит короля, кто любит Францию, необходимо договориться, чтобы нейтрализовать ее власть, уничтожить ее влияние.

—В таком случае, сударь, послушайте меня и оставайтесь рядом со мной. Помогите мне.

—Если я останусь рядом с вами, мы будем составлять одно целое и будем действовать одинаково: как вы, так и я, как я, так и вы. Нет, сударь, нам нужно разделиться, и тогда своим двойным весом мы перетянем чашу весов.

—И при всем том чего же мы добьемся?

—Попытаемся, нет, не предотвратить, но задержать катастрофу, хотя я отвечаю вам за могучего союзника, господина де Лафайета.

—Лафайет—республиканец?

—В той мере, в какой может быть республиканцем маркиз де Лафайет. Если уж нам совершенно необходимо перейти к равенству, поверьте мне, лучше выбрать равенство вельмож. Равенство, которое возвышает, я предпочитаю тому, которое принижает.

—Значит, вы отвечаете за Лафайета?

—Если требовать от него только чести, мужества и преданности, да.

—Ну, хорошо, а чего же хотите вы?

—Рекомендательного письма к его величеству королю Людовику Шестнадцатому.

—Такой человек, как вы, не нуждается в рекомендательных письмах, он представляется сам.

—Нет, мне нужно быть вашим ставленником, в мои планы входит, чтобы меня представили вы

—И на что вы метите?

—Быть одним из придворных врачей короля.

—Нет ничего проще. А королева?

—Когда я окажусь близ короля, это уже будет мое дело.

—Но если она начнет вас преследовать?

—Я противопоставляю ей волю короля.

—Волю короля? Если вы этого добьетесь, вы совершите сверхчеловеческий подвиг.

—Если человек лечит тело и однажды не добьется того, что сможет направлять дух, он—величайшее ничтожество.

—Но не кажется ли вам, что заключение в Бастилии—скверная рекомендация для того, кто желает стать королевским врачом?

—Напротив, самая лучшая. Разве я не подвергался, по вашим словам, преследованиям за философские вины?

—Так я предполагаю.

—В таком случае король реабилитирует себя, поднимет свою популярность, взяв врачом ученика Руссо, сторонника новых доктрин, наконец, бывшего узника Бастилии. При первой же встрече с ним особо подчеркните это.

—Вы, как всегда, правы. Но могу ли я рассчитывать на вас, когда вы окажетесь рядом с королем?

—Полностью и всецело, пока вы будете придерживаться политической линии, которую мы примем.

—И что же вы мне обещаете?

—Сообщить вам, что настал момент, когда вам следует подавать в отставку.

Неккер с секунду смотрел на Жильбера, потом грустно произнес:

—Поистине, это самая большая услуга, какую преданный друг может оказать министру, ибо она—последняя.

Он сел за стол и стал писать письмо королю.

Жильбер же в это время перечитывал указ об аресте, бор-моча:

—Графиня де Шарни... Кто же это может быть?

—Возьмите, сударь,—сказал Неккер, протягивая Жильберу рекомендательное письмо.

Жильбер взял его и прочел:

Государь!

Вашему величеству необходим преданный человек, с которым ваше величество могли бы обсуждать дела. Мой последний дар вашему величеству, моя последняя служба, перед тем как покинуть короля,—доктор Жильбер. Я неоднократно говорил о нем вашему величеству, и не только то, что он—один из самых выдающихся нынешних врачей, но еще что он—автор мемуара "Управление и Политика", производящего чрезвычайно сильное впечатление.

Припадаю к стопам вашего величества.

Барон де Неккер".

Дату под письмом Неккер не поставил и вручил его Жильберу запечатанным простой печатью.

—А сейчас я в Брюсселе, не так ли?—добавил он.

—Вне всяких сомнений, и даже более, чем когда-либо. Впрочем, завтра утром вы получите от меня известия.

Барон поступал условным стуком, появилась г-жа де Сталь; на сей раз, кроме ветки граната, у нее в руке была еще и брошюра доктора Жильбера.

Не без одобрительного кокетства она держала эту брошюру так, чтобы Жильбер увидел ее название.

Жильбер откланялся г-ну де Неккеру, поцеловал руку ба-ронессе, и та проводила его до дверей кабинета.

Он снова уселся в фиакр; Питу и Бийо дремали на переднем сиденье, кучер дремал, сидя на облучке, а лошади дремали стоя.

XXII. Король Людовик XVI

Встреча с г-жой де Сталь и г-ном де Неккером заняла у Жильбера около полутора часов. Вернувшись в Париж в девять с четвертью, он напрямик отправился на почтовый двор, нанял экипаж с лошадьми и галопом поскакал в Версаль, а Бийо и Питу отдыхали тем временем от трудов в маленькой гостинице на улице Тиру, где Бийо имел обыкновение останавливаться, проезжая в Париж.

Было уже поздно, но Жильбера это не остановило. Люди его закала всегда испытывают потребность в деятельности. Пусть даже его поездка окажется бесполезной, но он предпочитал лучше съездить зазря, чем оставаться в бездействии. Для людей нервических неизвестность—гораздо худшая мука, чем даже самая страшная действительность.

До Версаля Жильбер добрался к половине одиннадцатого; обычно в этот час здесь все уже спали глубоким сном. Но в тот вечер в Версале не спала ни одна живая душа. Лишь недавно сюда докатились отголоски взрыва, от которого еще дрожал Париж.

Гвардейцы, телохранители, швейцарцы, собравшись в кучки на перекрестках главных улиц, переговаривались между собой или с горожанами, чьи роялистские настроения внушали им доверие.

Дело в том, что во все времена Версаль был городом роялистским. Религиозное преклонение перед монархией, а следовательно, и монархом—неотъемлемая черта жителей этого городка. Живя подле королей и благодаря королям, в сени их великолепия, постоянно вдыхая одуряющий аромат королевских лий, наслаждаясь сиянием золотых одежд и улыбок на августейших лицах, обитатели Версаля, для которых короли выстроили этот город из мрамора и порфира, всегда чувствовали себя и сами чуть-чуть монархами, но сегодня, когда на мраморе статуй появляется мох, а между плитами дворов пробивается травка, когда с деревянных строений осыпалась почти вся позолота, а в тенистых парках сделалось одиноко, словно в могиле,—сегодня Версалью приходится либо агать относительно своего происхождения, либо рассматривать себя в качестве обломка павшей монархии и, не кичась более могуществом и богатством, по крайней мере сохранять на своем лице поэтическую грусть и невыразимо прелестную меланхолию.

Итак, в ту ночь с 14 на 15 июля Версаль глухо гудел, желая знать, каким образом король Франции воспримет это нанесенное его короне оскорбление, этот удар по его могуществу.

Своим ответом г-ну Дре-Брезе Мирабо дал монархии пощечину.

Взятием Бастилии народ поразил ее прямо в сердце.

Между тем для людей недалекovidных и ограниченных вопрос решался очень просто. По мнению, прежде всего, военных, привыкших видеть в любом исходе событий или триумф или поражение грубой силы, речь шла просто-напросто о походе на Париж. Тридцать тысяч солдат и двадцать орудий в мгновение ока сведут на нет гордость парижан и упоение их своею победой.

Никогда еще у королевской власти не было столько советчиков, и каждый высказывал свое мнение громко и открыто

Наиболее умеренные говорили:

"Все очень просто.—Нужно заметить, что мы всегда употребляем эти слова в самых трудных ситуациях.—Все очень просто,—говорили они.—Прежде всего следует получить санкцию у Национального Собрания, в которой оно не откажет. Последнее время оно ведет политику примирения и не одобряет ни вспышки насилия снизу, ни злоупотребления сверху.

Национальное Собрание решительно заявит, что вооруженное восстание противозаконно, что у граждан есть представители, чтобы доводить их жалобы до сведения короля, и король, чтобы их рассматривать, и поэтому граждане не должны прибегать к оружию и проливать кровь.

Вооруженный подобной декларацией, которую он несомненно получит, король будет вынужден наказать Париж потешески, то есть строго.

После этого буря уляжется, и к монархии возвратятся ее погранные было права. Люди вновь осознают свой долг, который есть послушание, и все пойдет, как прежде."

Примерно такого мнения придерживались и при дворе, и на городских бульварах.

Однако на плацу и подле казарм говорилось иное.

Там появились некие никому не известные личности со смышленными лицами и тусклыми глазами, которые принялись бросать по любому поводу таинственные намеки, преувеличивать и без того нешуточные вести и чуть ли не открыто распространять бунтарские идеи, вот уже два месяца волновавшие Париж и будоражившие предместья.

Вокруг этих личностей собирались люди—мрачные, недружелюбные и возбужденные; слушая ораторов, они вспоминали о своей нищете, страданиях и грубом презрении, с коим относился к ним монархия. О народных бедах им говорились:

"Народ борется уже восемь столетий, а чего добился? Ничего. Социальных и политических прав у него не больше, чем у коровы арендатора: у нее забирают теленка, чтобы продать его на мясо, ее молоком торгуют на рынке, ее самое отводят на бойню, а кожу отдают в кожевню. В конце концов монархия была вынуждена уступить и создала Генеральные Штаты, но что она делает теперь, когда они собраны? С самого первого дня оказывает на них давление. А Национальное Собрание образовано против воли монархии. Что ж, раз наши париж-

ские братья отважились на такое выступление, давайте поддерживать Национальное Собрание. Каждый его шаг вперед на поле политической борьбы—это наша победа, а значит, и рост наших рядов, увеличение нашего богатства, освящение наших прав. Вперед, граждане, вперед! Бастилия—лишь первый бастион тирании! Он пал, но сама крепость еще цела!"

В более темных уголках образовывались другие группки, где произносились другие слова. Говорили их люди, явно принадлежащие к высшим слоям общества, вырядившиеся в народную одежду. Но их выдавали изящный выговор и белизна рук.

"Люди,—говорили они,—вас сбивают с толку с двух сторон. Одни просят вас повернуть назад, другие толкают вперед. Вам все уши прожужжали о политических и социальных правах. Но разве стали вы счастливее с тех пор, как вам позволили голосовать через посредство делегатов? Разве стали вы богаче с тех пор, как у вас появились свои представители? Стали вы менее голодны с тех пор, как Национальное Собрание принялось издавать свои декреты? Нет. Поэтому оставьте политику со всеми ее теориями для людей, которые умеют читать. Не нужны вам все их книжные фразы и лозунги.

Нет, вам нужен хлеб, и прежде всего хлеб. Вам нужно, чтобы ваши дети жили в достатке, а жены—в спокойствии. Кто же вам даст все это? Король, у которого твердая рука, молодой ум и благородное сердце. Но это будет не Людовик Шестнадцатый—за него ведь правит его жена, австриячка с бронзовым сердцем. Это... Поищите-ка сами хорошенько вокруг трона, поищите человека, который может принести счастье Франции и которого королева ненавидит именно потому, что он опасен, именно потому, что он любит французов и любим ими".

Вот так выражались мнения в Версале, вот так разжигалась гражданская война.

Жильбер принял участие в разговорах нескольких таких групп, после чего, составив представление о состояниях умов, направился прямо во дворец, вокруг которого были выставлены многочисленные караулы. От кого они охраняли дворец? Этого никто не знал.

Несмотря на караулы, Жильберу с легкостью удалось проникнуть в передний двор и добраться до вестибюлей, причем его никто так и не спросил, куда он направляется.

Попав в Эй-де-Беф*, он был остановлен одним из часовых. Достав из кармана письмо г-на де Неккера, Жильбер продемонстрировал караульному офицеру подпись. Тот устремил взгляд в потолок. У него был неукоснительный приказ никого не впускать, но поскольку именно такого рода приказы чаще всего нуждаются в толковании, офицер сказал Жильберу:

—Сударь, приказ не впускать никого к королю весьма категоричен, но так как появление посланца от господина де Неккера

* Эй-де-Беф (франц. "Бычий глаз")—передняя Версальского дворца, освещаемая круглыми окнами.

явно не было предусмотрено, а вы, несомненно, привезли его величеству важное сообщение, можете войти, я беру все на себя. Жильбер вошел.

Король находился не у себя в покоях, а в зале совета, где принимал депутацию от национальной гвардии, явившуюся с просьбой отозвать из Парижа войска, позволить сформировать гражданскую гвардию и самому королю вернуться в Париж.

Людовик XVI холодно выслушал все просьбы, после чего ответил, что должен кое-что выяснить и посоветаться со своим советом.

Так он и поступил.

Просители остались дожидаться в галерее и сквозь матовые стекла дверей наблюдали за игрою гигантских теней, отбрасываемых королевскими советниками, и за их позами и движениями, полными угрозы.

Присмотревшись повнимательнее к этой фантазмагорической картине, они решили, что ответ будет неблагоприятным.

И верно: король ограничился тем, что пообещал назначить командиров городского ополчения и приказать частям на Марсовом поле отойти.

Что же до его приезда в Париж, то его величество не пожелал оказывать мятежному городу подобную милость, пока тот окончательно не покорится.

Депутация закланала, настаивала, умоляла, но король ответил в том смысле, что сердце его разрывается, но ничего более сделать он не в силах.

Удовлетворенный этим кратковременным изъявлением власти, коей он уже не обладал, король вернулся к себе в покои.

Там он увидел Жильбера. Рядом стоял офицер королевской гвардии.

—Что вам от меня нужно?—осведомился Людовик XVI.

Пока подошедший офицер извинялся перед самодержцем за то, что нарушил его приказ, Жильбер, не видевший короля уже много лет, молча рассматривал человека, которому Господь судил держать руль Франции во время шторма, в какой страна еще никогда не попадала.

Оплывшее короткое туловище, лишенное энергии и величественности, изнеженное невыразительное лицо, бесцветная молодость, уже вступившая в неравную борьбу с приближающейся старостью, борьбу могущественной материи с очень средним умом, который ценили лишь до тех пор, пока его обладатель занимал столь высокое положение,—все это для физиономиста, занимавшегося с Лаватером, для магнетизера, читавшего будущее с Бальзамо, для философа, мечтавшего с Жаном Жаком, наконец, для путешественника, видевшего все человеческие расы,—все это говорило о вырождении, упадке, бессилии и гибели.

Жильбер отвернулся от этого печального зрелища—не из уважения к королю, а от горя.

Король шагнул к нему.

—Это вы доставили мне письмо от господина де Неккера?—осведомился он.

—Да, государь.

—Правда?—воскликнул король, словно до сих пор сомневался в этом.—Идите же скорее сюда!

Слова эти были сказаны с выражением тонущего человека, который зовет на помощь.

Жильбер протянул письмо королю. Людовик схватил его, быстро пробежал глазами и не без известного благородства обратился к офицеру:

—Оставьте нас, господин де Варикур.

Жильбер остался с глазу на глаз с королем.

Комната была освещена лишь одной лампой; казалось, король велел не зажигать больше света, чтобы по его лицу, скорее раздраженному, нежели озабоченному, нельзя было прочесть теснившиеся у него в голове мысли.

—Сударь,—начал он, устремив на Жильбера такой ясный и пронизательный взгляд, какого тот от него не ожидал,—верно ли, что вы—автор "Записок", которые так меня поразили?

—Да, государь.

—Сколько вам лет?

—Тридцать два, ваше величество, однако занятия и несчастья удваивают возраст. Вы можете обращаться со мною, как со стариком.

—Почему же вы так долго мне не представлялись?

—Потому, ваше величество, что у меня не было нужды повторить вам лично, что я написал вам гораздо более открыто и свободно.

Людовик XVI задумался.

—Других причин у вас не было?—подозрительно спросил он.

—Не было, государь.

—Однако, если не ошибаюсь, у вас была возможность заключить по некоторым признакам, что я—ваш доброжелатель.

—Ваше величество, по-видимому, изволит говорить о своеобразной аудиенции, которую я имел дерзость просить у короля, когда пять лет назад, после выхода моего первого "Мемуара", попросил его поставить однажды вечером, ровно в восемь, лампу на окно и сообщить таким образом, что его величество прочел мою работу.

—Ну-ну,—с одобрением в голосе подбодрил король.

—И в назначенный день и час лампа действительно появилась там, куда я просил вас ее поставить.

—А дальше?

—А дальше я увидел, как она трижды поднялась и опустилась.

—Ну, а потом?

—А потом я прочел в "Газетт" следующие слова: "Тот, кого трижды позвал свет, может явиться к тому, кто трижды поднял этот свет, и будет вознагражден".

—Да, именно так там и было сказано,—согласился король.

—А вот и само это объявление,—продолжал Жильбер, извлекая из кармана газету, в которой пять лет назад было помещено упомянутое им объявление.

—Превосходно,—проговорил король,—я жду вас уже давно. Вы появились, когда я уже отчаялся вас дожидаться. Добро пожаловать, тем более что по примеру добрых солдат вы явились в самый разгар борьбы.

Внимательно взглядевшись в Жильбера, король добавил:

—А известно ли вам, сударь, что короли не очень-то призывали к тому, что человек, которому велено прийти за вознаграждением, не приходит?

Жильбер улыбнулся.

—Так почему же вы все-таки не пришли?—осведомился Людовик XVI.

—Потому что не заслуживал никакого вознаграждения, государь.

—Как это—не заслуживали?

—Я рожден французом, люблю свою страну, дорожу ее процветанием и не отдаю себя от тридцати миллионов моих сограждан, поэтому, работая для них, работал и для себя. А за эгоизм вознаграждать не принято, государь.

—Вы говорите парадоксами, сударь. У вас должна была быть другая причина.

Жильбер промолчал.

—Говорите, сударь, я так хочу.

—Похоже, государь, вы угадали верно.

—Не правда ли?—с беспокойством воскликнул король.—Вы нашли положение страны тяжелым и решили выждать.

—Чтобы дожидаться еще более тяжелой минуты. Да, ваше величество, вы угадали верно.

—Люблю откровенность,—заметил король, не в силах скрыть тревогу, так как был по натуре человеком робким и легко краснел.

—Выходит,—продолжал он,—вы предсказали королю гибель и побоялись оказаться слишком близко от развалин.

—Нет, государь, напротив: я поспешил навстречу опасности, когда гибель стала неминуемой.

—Ну, разумеется: вы едете от Неккера и говорите в точности, как он. Опасность! Опасность! Да, на меня надвигается опасность. А где Неккер?

—Неподалеку, полагаю, и готов выполнять приказы вашего величества.

—Тем лучше, он мне понадобится,—со вздохом промолвил король.—В политике упрямитесь не приходится. Человек считает, что делает хорошо, а получается плохо; иной раз он даже делает хорошо, а капризы случая все сводят на нет, его планы—лучше некуда, а выясняется, что он ошибался.

Король снова вздохнул, и Жильбер поспешил на помощь.

—Ваши рассуждения превосходны, государь,—проговорил он,—но сейчас нужно, прежде всего, видеть будущее яснее, чем это получалось до сих пор.

Король поднял голову: брови на его бесстрастном лице немного нахмурились.

—Простите меня, ваше величество,—сказал Жильбер,—я врач. Когда болезнь серьезна, я бываю краток.

—Стало быть, сегодняшнему бунту вы придаете большое значение?

—Это не бунт, ваше величество, это революция.

—И вы хотите, чтобы я вступил в переговоры с мятежниками, убийцами? Ведь они силой взяли Бастилию, а это—мятеж, они лишили жизни господина Делоне, господина де Лома и господина де Флесселя, а это—убийство.

—Вам следует отделять одних от других, государь. Те, кто взял Бастилию,—герои, но те, кто убил де Флесселя, де Лома и Делоне—злодеи.

Кровь прилила к лицу короля, но он тут же побледнел, губы его побелели, а на лбу выступили капельки пота.

—Вы правы, сударь. Вы и вправду врач, вернее хирург, поскольку режете по живому. Но вернемся к вам. Вас ведь зовут доктор Жильбер—так, по крайней мере, подписан ваш "Мемуар".

—Я, право, очень рад, что у вашего величества столь хорошая память, хотя, говоря по правде, гордиться мне особенно нечем.

—Что вы хотите этим сказать?

—Совсем недавно мое имя произносилось в присутствии вашего величества.

—Я вас не понимаю.

—Шесть дней назад меня арестовали и бросили в Бастилию. А я слышал, что без ведома короля не производится ни один более или менее важный арест.

—Вас? В Бастилию?—широко раскрыв глаза, воскликнул король.

—Вот лист из тюремного реестра, ваше величество. Как я уже имел честь говорить, шесть дней назад по приказу короля меня посадили в тюрьму, откуда я вышел три часа назад милостью народа.

—Сегодня?

—Да, государь. Разве ваше величество не слышали выстрел из пушки?

—Конечно, слышал.

—Так вот, та пушка открыла мне двери тюрьмы.

—Ах,—прошептал король,—признаюсь, я был бы крайне рад, если бы сегодняшний выстрел по Бастилии не оказался одновременно выстрелом по королевской власти.

—Право, государь, не стоит делать из тюрьмы символ государственного устройства. Напротив, ваше величество, скажите лучше, что вы рады взятию Бастилии, ибо отныне именем ничего не ведающего короля не будут твориться беззакония, подобные тому, жертвой которого оказался я.

—Но была же хоть какая-то причина вашего ареста, сударь?

—Насколько мне известно, никакой, государь. Не успел я вернуться во Францию, как меня арестовали и заточили в тюрьму.

—Скажите, сударь,—мягко спросил Людовик XVI,—не эгоизм ли с вашей стороны прийти сюда и рассказывать

о себе, тогда как мне необходимо, чтобы вы говорили обо мне?

—Государь, мне нужно от вас одно только слово.

—Какое же?

—Имели ли вы, ваше величество, отношение к моему аресту—да или нет?

—Я даже не знал о вашем возвращении во Францию.

—Счастлив слышать этот ответ, государь. Теперь я смогу везде во всеуслышание заявлять, что если ваше величество и причиняет вред, то делает это, находясь в неведении, а тем, кто усомнится, приведу себя в пример.

Король улыбнулся и сказал:

—Доктор, вы лете бальзам мне на рану.

—О государь, я готов проливать его сколько угодно, а если пожелаете, то и вылечу эту рану, уверяю вас.

—Еще бы не желать!

—Только вам нужно очень захотеть, государь.

—Но ведь так оно и есть.

—Прежде чем продолжать, ваше величество,—проговорил Жильбер,—благоволите прочитать эту строчку, написанную на полях тюремной книги рядом с моим именем.

—Что за строчка?—с беспокойством осведомился король.

—Взгляните.

Жильбер показал листок королю. Тот прочел:

"По ходатайству королевы..."

Король нахмурился и воскликнул:

—Королевы? Значит, вы навлекли на себя немилость королевы?

—Государь, я уверен, что ее величество знает меня еще меньше, чем ваше величество.

—Но вы, должно быть, все же совершили какой-то проступок, ведь просто так в Бастилию не попадают.

—Похоже, попадают—ведь я побывал там.

—Однако вас послал сюда господин де Неккер, а приказ подписан им.

—Это так.

—Тогда объяснитесь. Переберите в памяти свою жизнь и посмотрите, не найдется ли какого-либо обстоятельства, о котором вы сами позабыли.

—Перебрать в памяти свою жизнь? Хорошо, государь, я это сделаю, причем вслух. Не беспокойтесь, это будет недолго. С шестнадцати лет я без отдыха трудился. Начиная с того дня, как я покинул Францию, я не знаю за собой ни одного проступка, ни даже ошибки, мне не в чем себя упрекнуть—мне, ученику Жан Жака, соратнику Бальзамо, другу Лафайета и Вашингтона. Когда приобретенные знания позволили мне лечить раненых и больных, я всегда помнил, что в каждой своей мысли, в каждом движении должен рассчитывать на Господа. Раз Господь поручил мне заботу о здоровье людей, я как хирург проливал кровь, но из человеколюбия и всег-

да готов был отдать свою, чтобы облегчить страдания или спасти больного. Как врач я всегда утешал, а порой и творил добро. Так прошло пятнадцать лет. Господь наградил меня за мои труды: я видел, как к страждущим возвращается жизнь, и все они целовали мне руки. Некоторые умирали—значит, так судил им Бог. Нет, государь, повторяю: с тех пор, как пятнадцать лет назад я покинул Францию, мне не в чем себя упрекнуть.

—В Америке вы встречались с разными новаторами и в своих сочинениях распространяли их идеи.

—Да, ваше величество, я не упомянул об этом в знак признательности к королю и народу.

Король промолчал.

—Государь,—продолжал Жильбер,—теперь вам известна вся моя жизнь. Я никого не обидел, не оскорбил—ни королеву, ни даже нищего, и хочу спросить у вашего величества, за что я был наказан?

—Я поговорю с королевой, господин Жильбер, однако уверены ли вы, что приказ о вашем аресте исходил непосредственно от нее?

—Этого я не говорю, ваше величество, и даже думаю, что королева лишь поставила свою подпись на чьем-то прошении.

—А, вот видите!—радостно заметил Людовик.

—Да, но вам, государь, прекрасно известно, что, ставя свою подпись, королева отдает приказ.

—А на чьем прошении она расписалась? Ну-ка, посмотрим.

—Взгляните, ваше величество,—предложил Жильбер.

С этими словами от протянул королю письмо о заключении под стражу.

—Графиня де Шарни!—вскричал король.—Выходит, это она приказала вас арестовать? Но что же вы сделали бедняжке Шарни?

—Сегодня утром, государь, я даже не знал ее имени.

Людовик провел рукою по лбу.

—Шарни,—пробормотал он,—Шарни—сама кротость, сама доброта, сама невинность!

—Вот видите, ваше величество,—со смехом заметил Жильбер,—меня посадили в Бастилию по просьбе трех христианских добродетелей.

—Сейчас я все выясню,—отозвался король и дернул за сощелку.

Вошел придверник.

—Узнайте, не у королевы ли сейчас графиня де Шарни,—распорядился король.

—Государь,—ответил придверник,—госпожа графиня только что прошла по галерее и сейчас садится в карету.

—Бегите за ней,—приказал Людовик,—и попросите прийти ко мне в кабинет, дело чрезвычайно важное.

Затем, повернувшись к Жильберу, он добавил:

—Вас это устраивает, сударь?

—Безусловно, ваше величество, премного вам благодарен.

XXIII. Графиня де Шарни

Услышав приказ короля привести г-жу де Шарни, Жильбер отошел в нишу у окна.

Что же до короля, то он принялся расхаживать взад и вперед по зале с круглыми окнами, размышляя то об общественных делах, то об этом настойчивом Жильбере, странному влиянию которого он невольно поддавался, хотя в этот миг ничто, кроме новостей из Парижа, его не должно было бы интересовать.

Внезапно дверь отворилась, и придверник объявил о приходе графини де Шарни. В щель между занавесками Жильбер увидел женщину, задевшую своей широкой шелковой юбкой о дверной косяк.

По моде того времени она была одета в полосатое платье из серого шелка, такую же верхнюю юбку, концы накинута на плечи шали перекрещивались спереди и были стянуты узлом сзади на талии, весьма выгодно открывая пышную красивую грудь.

Маленькая шапочка, кокетливо прищипленная к самому верху высокой прически, туфельки без задника на высоком каблуке, подчеркивающие стройность лодыжек, и тросточка в длинных, аристократических пальцах изящной руки, затянутой в перчатку, довершали наряд женщины, которую с таким нетерпением ждал Жильбер и которая вошла к королю Людовику XVI.

Он шагнул навстречу вошедшей.

—Насколько я знаю, вы куда-то собирались, графиня?

—Да, государь,—отвечала женщина,—я уже садилась в карету, когда мне передали приказ вашего величества.

При звуках ее звонкого голоса в ушах у Жильбера загудело. Кровь прихлынула к его лицу, по всему телу пробежала дрожь.

Он невольно сделал шаг вперед, выходя из-за скрывавших его занавесок.

—Это она!—прошептал он.—Это она, Андреа!

—Сударыня,—продолжал король, который, как и графиня, не заметил волнения стоявшего в тени Жильбера,—я пригласил вас, чтобы кое о чем узнать.

—Я к услугам вашего величества.

Король чуть наклонился в сторону Жильбера, словно желая предупредить его о чем-то.

Тот, поняв, что показываться ему еще не пришло время, потихоньку отступил за занавеску.

—Сударыня,—заговорил король,—неделю или дней десять назад к господину де Неккеру было доставлено письмо с просьбой об аресте.

Сквозь крохотную щелку между занавесками Жильбер вперил взгляд в Андреа. Молодая женщина казалась бледной, возбужденной, беспокойной и слегка сгорбленной, словно под гнетом каких-то тайных мыслей, в которых она сама не отдавала себе отчета.

—Вы слышали, что я сказал, графиня?—осведомился Людовик XVI, видя, что г-жа де Шарни медлит с ответом.

—Да, государь.

—Вы поняли, о чем я, и можете мне ответить?

—Я пытаюсь вспомнить,—отозвалась Андреа.

—Позвольте, я чуть-чуть освежу вашу память, графиня. Отдать приказ об аресте просили вы, и на вашем прошении поставила подпись королева.

Графиня не отвечала, лихорадочное возбуждение вновь унесло ее куда-то далеко за пределы действительности.

—Но отвечайте же, сударыня,—начиная терпеть, проворчал король.

—Это верно,—задрожав, призналась графиня,—я действительно написала письмо, а ее величество поставила на нем свою подпись.

—Тогда скажите,—продолжал король,—какое преступление совершил тот, против кого вы просили принять столь строгие меры?

—Государь,—промолвила Андреа,—я не могу вам сказать, что за преступление он совершил, скажу только, что оно было велико.

—Как! Вы не можете сказать мне?

—Не могу, государь.

—Мне, королю?

—Не могу. Прошу извинить меня, ваше величество, не могу.

—Тогда вы скажете об этом ему самому, сударыня. То, что вы отказываетесь поведать королю, вам не удастся утаить от доктора Жильбера.

—Доктора Жильбера?—вскричала Андреа.—Великий Боже! Но где же он, ваше величество?

Король отступил в сторону, занавески раздвинулись и показался Жильбер, почти такой же бледный, как Андреа.

—Вот он, сударыня,—проговорил он.

При виде Жильбера графиня покачнулась, ноги под нею задрожали. Она откинулась назад, словно собираясь упасть в обморок, и осталась стоять лишь благодаря креслу, на которое оперлась, невольно приняв скорбную позу Эвридики* в тот миг, когда в ее сердце проникает яд змеи.

—Сударыня,—отвесив смиренный поклон, произнес Жильбер,—позвольте мне повторить вопрос, только что заданный вам его величеством.

Андреа зашевелила губами, но не издала при этом ни звука.

—В чем я провинился перед вами, сударыня, да так, что вы пожелали бросить меня в эту ужасную тюрьму?

Услышав эти слова, Андреа подскочила, словно кто-то вырвал клочок прямо у нее из сердца.

Затем вдруг, смерив Жильбера холодным, как у змеи, взглядом, она ответила:

—Я не знаю вас, сударь.

* Эвридика (древнегреч. мифол.)—нимфа, жена певца Орфея, погибла от укуса змеи.

Пока она произносила эти слова, Жильбер смотрел на нее так пристально, вложил в свой взгляд столько несокрушимой отваги, что графиня опустила внезапно потухший взор.

—Графиня,—с мягким упреком проговорил король,—вот видите, к чему приводит злоупотребление подписью королевы. Перед вами стоит человек, которого вы не знаете, вы сами так сказали, а он ведь знаменитый хирург, врач, ученый, и вам не в чем его упрекнуть...

Подняв голову, Андреа одарила Жильбера взглядом, полным поистине королевского презрения.

Тот выдержал взгляд спокойно, не теряя чувства собственного достоинства.

—Я говорю,—продолжал король,—что вы, оказывается, ничего не имели против господина Жильбера и хотели покарать совсем другого человека, в результате чего невинный стал жертвой ошибки. Это нехорошо, графиня.

—Государь!—воскликнула Андреа.

—Постойте!—прервал ее король, дрожа при мысли, что обидел фаворитку своей супруги.—Я знаю, что сердце у вас доброе, и раз вы кого-то возненавидели, стало быть, за дело, но на будущее постарайтесь не совершать подобных промахов.

Затем, повернувшись к Жильберу, он продолжал:

—Что поделать, доктор, в том, что случилось, виновато скорее время, чем люди. В разврате мы рождены, в разврате и умрем, но нужно попытаться хотя бы сделать будущее лучше ради наших потомков, и вы, надеюсь, поможете мне в этом, доктор Жильбер.

Людювик замолчал, решив, что сказал довольно, чтобы угодить обеим сторонам.

Бедный король! Произнеси он подобную фразу в Национальном Собрании, ему не только рукоплескали бы, но и напечатали бы на завтра это высказывание во всех придворных газетах.

Однако этой аудитории, состоявшей из двух закалятых врагов, его философия примирения пришлась не по вкусу.

—С позволения вашего величества,—не унимался Жильбер,—я хочу попросить графиню повторить то, что она только что сказала, то есть, что она меня не знает.

—Графиня,—вздыхнул король,—угодно ли вам выполнить просьбу доктора?

—Я не знаю доктора Жильбера,—отчеканила Андреа.

—Но вы знали другого Жильбера, моего тезку, чье преступление тяготеет надо мной?

—Да,—признала Андреа,—я его знаю и считаю человеком бесчестным.

—Государь, мне не пристало допрашивать графиню,—заметил Жильбер.—Не сообразовайте ли вы спросить у нее, чем этот бесчестный человек ей досадил?

—Графиня, вы не можете отказать доктору в столь справедливой просьбе.

—Чем он досадил,—ответила Андреа,—известно королеве, поскольку она своею рукой расписалась на письме, в котором я просила арестовать этого человека.

—Однако,—возразил король,—того, что королева убеждена в вашей правоте, вовсе недостаточно—я тоже хочу в ней убедиться. Королева есть королева, но король—то я.

—Знайте же, государь, что упомянутый в письме Жильбер шестнадцать лет назад совершил страшное преступление.

—Ваше величество, благоволите спросить у госпожи графини, сколько теперь лет этому человеку.

Король повторил вопрос.

—Лет тридцать, может быть, года тридцать два.

—Государь, раз преступление было совершено шестнадцать лет назад, его совершил не мужчина, а ребенок, и если этот мужчина в течение шестнадцати лет скорбит о содеянном, то не заслуживает ли он известного снисхождения?

—Выходит, вы знаете Жильбера, о котором идет речь?—спросил король.

—Знаю, государь.

—И в вину ему можно поставить лишь проступок, совершенный в юности?

—Мне известно, что с того дня, как он совершил—я не скажу "этот проступок", ваше величество, поскольку я не столь снисходителен, как вы—с того дня, как он совершил это преступление, никто на свете не может его ни в чем упрекнуть.

—Да, если не считать того, что он, обмакивая свое перо в яд, сочинял гнусные пасквили.

—Государь, благоволите спросить у графини,—отозвался Жильбер,—не является ли действительной причиной ареста этого Жильбера стремление дать возможность его врагам, точнее врагине, завладеть некоей шкатулкой, содержащей бумаги, которые могут скомпрометировать одну знатную придворную даму?

По телу Андреа с ног до головы пробежала дрожь.

—Сударь!—прошептала она.

—Что это за шкатулка, а, графиня?—заинтересовался король, от которого не укрылись ни дрожь графини, ни ее бледность.

—О, сударыня,—вскричал Жильбер, чувствуя, что одерживает верх,—только не надо всяких уловок и уверток! Довольно лжи и с вашей, и с моей стороны. Я и есть тот самый Жильбер—преступник, мятежник, владелец шкатулки. А вы—та самая знатная придворная дама, и пусть нас рассудит король: давайте расскажем нашему судье—королю, а значит, и самому Господу, о том, что между нами произошло, и пусть король вынесет решение, пока этого не сделал Бог.

—Говорите, что вам угодно, сударь,—ответила графиня,—однако мне сказать нечего, потому что я вас не знаю.

—И о шкатулке вам тоже ничего не известно?

Сжав кулаки, графиня до крови кусала свои бледные губы.

—Нет,—наконец ответила она,—о ней мне известно не больше, чем о вас.

Однако эти слова дались ей с таким трудом, что она покачнулася, словно статуя на постаменте во время землетрясения.

—Берегитесь, сударыня,—предупредил Жильбер,—как вы, должно быть, помните, я—ученик человека по имени Жозеф

Бальзамо, и он передал мне свою власть над вами. Ответите вы на мой вопрос или нет? Что с моей шкатулкой?

—Нет,—в невыразимом смятении воскликнула графиня, сделав движение в сторону двери.—Нет, нет и нет!

—Ладно же!—угрожающе воздев руку и тоже побледнев, проговорил Жильбер.—Так пусть же под гнетом моей несокрушимой воли согнется твоя железная душа, расколется твое алмазное сердце. Ты не желаешь говорить, Андреа?

—Нет! Нет!—в ужасе бросила графиня.—На помощь, государь, на помощь!

—Ты заговоришь,—откликнулся Жильбер,—и никто, будь то сам король или Бог, не вырвет тебя из моей власти. Ты заговоришь, ты откроешь свою душу перед августейшим свидетелем этой тягостной сцены; все, что скрыто в тайниках ее сознания, все, что лишь Бог может читать в самых тайных глубинах души,—все это, государь, вы узнаете от нее самой, хотя она и отказывается говорить. Спите, графиня де Шарни, спите и говорите, я так хочу!

Едва прозвучали эти слова, как раздавшийся было крик графини пресекся, она опустила руки, ноги ее подкосились и, не находя опоры, Андреа рухнула в объятия к королю, который, дрожа, усадил ее в кресло.

—О таком я лишь слышал, но никогда не видел,—проговорил Людовик XVI.—Она ведь впала в магнетический сон, не так ли, сударь?

—Да, государь. Теперь возьмите графиню за руку и спросите, почему она велела меня арестовать,—твердо отчеканил Жильбер, как будто только он имел право здесь распоряжаться.

Людовик, ошеломленный столь необычной сценой, отступил назад, чтобы убедиться, что сам он не спит и все происходящее ему не грезится, затем, словно математик, заинтересованный новым вариантом решения задачи, подошел к графине и взял ее за руку.

—Итак, графиня, выходит, это вы велели арестовать доктора Жильбера?—спросил он.

Несмотря на сон, графиня сделала последнее усилие: она вырвала у короля свою руку и громко воскликнула:

—Нет! Я не стану ничего говорить!

Король взглянул на Жильбера, словно спрашивая: чья воля восторжествовала, его или Андреа?

Жильбер улыбнулся.

—Так вы не станете говорить?—спросил он.

И, устремив взгляд на спящую женщину, он шагнул к креслу.

Андреа вздрогнула.

—Вы не станете говорить?—повторил он и сделал еще один шаг, сокращая расстояние между собой и графией.

Все тело Андреа напряглось в последнем усилии.

—Ах, так вы не станете говорить?—произнес Жильбер и, став подле Андреа, протянул руку у нее над головой.—Значит, не станете?

Андреа забилась в судорогах.

—Осторожнее!—воскликнул Людовик XVI.—Осторожнее, вы ее убьете!

—Не беспокойтесь, государь, я воздействую лишь на душу. Душа ее сопротивляется, но скоро уступит.

Жильбер опустил руку ниже и приказал:

—Говорите!

Вытянув руки, Андреа ловила ртом воздух, словно какой-то насос выкачивал его из комнаты.

—Говорите!—повторил Жильбер и опустил руку еще ниже.

Казалось, мышцы молодой женщины вот-вот разорвутся. На губах у нее выступила пена, первая судорога эпилепсии сотрясла ее тело с головы до ног.

—Осторожнее, доктор!—воскликнул король.

Однако тот, не слыша предупреждения, прикоснулся ладонью к голове графини и снова приказал:

—Говорите, я так хочу!

Почувствовав прикосновение его руки, Андреа испустила глубокий вздох, руки ее упали, откинута назад голова свесилась на грудь, и из-под плотно сжатых век заструились обильные слезы.

—Господи! Господи!—прошептала она.

—Можете призывать Господа. Тот, кто действует именем Господа, не страшится его.

—Ах, как я вас ненавижу!—пролепетала графиня.

—Пусть будет так, только говорите!

—Государь! Государь!—воскликнула Андреа.—Скажите ему, что он сжигает меня, разрывает на части, убивает!

—Говорите!—отрезал Жильбер и знаком показал королю, что тот может спрашивать.

—Итак, графиня,—заговорил тот,—человек, которого вы хотели арестовать и арестовали, и есть доктор Жильбер?

—Да.

—И тут нет никакой ошибки, никакого недоразумения?

—Нет.

—А что же шкатулка?—продолжал король.

—Ну, как же,—глухо проговорила графиня,—разве могла я оставить шкатулку у него в руках?

Жильбер и король переглянулись.

—И вы ее забрали?—спросил король.

—Велела забрать.

—Ну-ка, ну-ка, расскажите,—оживился король и, позабыв о приличиях, стал перед Андреа на колени.—Значит, вы велели ее забрать?

—Да.

—Откуда и каким образом?

—Я узнала, что Жильбер, который за последние шестнадцать лет дважды приезжал во Францию, намерен приехать в третий раз, причём навсегда.

—Но что же шкатулка?—перебил король.

—От начальника полиции господина де Крона я узнала, что в один из приездов Жильбер купил земли в окрестностях Виллер-Котре и что арендовавший эти земли крестьянин пользует

ется его полным доверием. Я догадалась, что шкатулка должна находиться у него.

—Как же вы догадались?

—Я посетила Месмера. Там я уснула и увидела ее во сне.

—И она была?..

—На первом этаже, в большом шкафу, спрятана под бельем.

—Превосходно!—воскликнул король.—Но дальше? Дальше? Говорите же!

—Я вернулась к господину де Крону, и тот по совету королевы дал мне одного из своих самых ловких людей.

—Как зовут этого человека?—спросил Жильбер.

Андреа вздрогнула, словно к ней прикоснулись раскаленным железом.

—Я спрашиваю, как его зовут,—повторил Жильбер.

Андреа отчаянно пыталась сопротивляться.

—Я желаю знать его имя!—отчеканил доктор.

—Тихая-Сапа.

—Дальше,—продолжал выпытывать король.

—Вчера утром этот человек завладел шкатулкой. Вот и все.

—Нет, не все,—возразил Жильбер—Вы должны сказать королю, где эта шкатулка сейчас.

—О, это уже слишком!—заметил король.

—Ни в коей мере, государь.

—Но ведь можно узнать у Тихой-Сапы или у господина де Крона.

—Мы узнаем верней и быстрее у госпожи графини.

Андреа конвульсивным движением изо всех сил стиснула зубы, стараясь промолчать.

Король указал на эту нервную судорогу доктору.

Жильбер улыбнулся.

Указательным и большим пальцами он дотронулся до нижней части лица Андреа, и мышцы ее мгновенно расслабились.

—Сначала, госпожа графиня, скажите королю, что эта шкатулка действительно принадлежит доктору Жильберу.

—Да, да, ему,—с яростью подтвердила спящая.

—А где она сейчас?—спросил Жильбер.—И поспешите, королю некогда ждать.

Андреа помедлила.

—Она у Тихой-Сапы,—наконец сказала она.

Однако как ни мимолетно было колебание женщины, Жильбер его заметил.

—Вы лжете!—воскликнул он.—Вернее, пытаетесь солгать. Где шкатулка? Я желаю знать!

—У меня, в Версале,—не в силах унять нервной дрожи, сотрясавшей все ее тело, и заливаясь слезами, ответила Андреа.—У меня, и там же меня ждет с одиннадцати вечера Тихая-Сапа—мы так условились.

Пробило полночь.

—Он все еще ждет?

—Да.

—В какой комнате?

—Его провели в гостиную.

—А где он в гостиной?

—Стоит, опершись о камин.

—А где шкатулка?

—Перед ним на столе. Ах!

—В чем дело?

—Нужно сделать так, чтобы он поскорее ушел. Господин де Шарни должен был вернуться лишь завтра, но из-за происшедших событий вернется сегодня ночью. Я его вижу. Он уже в Севре. Пусть этот человек уйдет, чтобы граф его не застал.

—Ваше величество, вы все слышали. Скажите, где в Версале живет госпожа де Шарни?

—Где вы живете, графиня?

—На Бульваре королевы, ваше величество.

—Прекрасно.

—Ваше величество, вы все слышали. Шкатулка принадлежит мне. Не прикажете ли вы, чтобы мне ее вернули?

—И немедленно, сударь.

Заслонив госпожу де Шарни от посторонних взоров ширмой, король вызвал дежурного офицера и шепотом отдал ему приказание.

XXIV. Королевская философия

Эти странные заботы короля, занимавшие его в то время, когда его подданные расшатывали трон, эта любознательность ученого, исследующего физическое явление, в то время как во Франции происходило доселе не виданное, серьезнейшее политическое явление—преобразование монархии в демократию,—короче говоря, вид короля, забывшегося в самый разгар бури, заставил бы улыбнуться многих умнейших людей того времени, которые вот уже три месяца ломали голову над решением вставшей перед страной задачи.

В то время как за стенами дворца бушевало народное возмущение, Людовик, забыв о страшных событиях прошедшего дня, забыв о взятии Бастилии, о гибели Флесселя, Делоне и де Лома, сосредоточился на интимном деле двух человек, и разыгравшаяся перед ним сцена окончательно затмила важнейшие государственные заботы.

Как мы уже говорили, он отдал приказ капитану гвардии и вернулся к Жильберу, который, ослабив могучий поток магнетических флюидов, вывел графиню из сомнамбулических конвульсий и погрузил в мирный сон.

Через несколько мгновений дыхание графини сделалось ровным и спокойным, как у ребенка. Тогда Жильбер одним мановением руки заставил ее открыть глаза и погрузиться в состояние экстаза.

Теперь вся красота Андреа предстала перед обоими зрителями во всем великолепии. Не волнуемая более ничем земным кровью ее, прихлынув на мгновение к лицу и окрасив щеки, вернулась к сердцу, которое снова стало биться размеренно; лицо снова засияло чудной матовой бледностью женщин Востока;

глаза, распахнувшиеся чуть шире обычного, обратились к небу, их зрачки чернели на перламутровой белизне белков; слегка раздутые ноздри вдыхали, казалось, чистейший воздух; а губы, сохранившие, в отличие от щек, всю свою яркость, полураскрылись, обнаруживая ряд жемчужин, слегка влажных и оттого казавшихся еще более ослепительными.

Голова немного откинулась назад с невыразимым, почти ангельским изяществом.

Казалось, ее неподвижный и поэтому еще более пронзительный взгляд достигал подножия Божьего престола.

Король не мог скрыть своего восхищения. Жильбер вздохнул и отвернулся: он не смог устоять против искушения придать Андреа эту нечеловеческую красоту и теперь, словно Пигмалион, только еще несчастнее, так как знал бесчувственность этой прекрасной статуи, сам страшился дела рук своих.

Не глядя на Андреа, он сделал движение рукой, и ее глаза закрылись.

Король попросил Жильбера объяснить это чудо, когда душа отделяется от тела и парит—свободная, счастливая, божественная—над всеми земными невзгодами.

Жильбер, как все истинно выдающиеся люди, умел произносить слова: "Я не знаю", которые так трудно выговорить людям посредственным. Он признался королю в неведении, он вызвал к жизни явление, которое не мог объяснить. Факт был налицо, но что он означает, Жильбер не знал.

—Доктор,—выслушав признание Жильбера, ответил король,—это еще одна тайна, которую природа хранит для ученых будущих поколений и которую в конце концов раскроют, как множество других тайн, считавшихся раньше неразрешимыми. Мы называем их тайнами, а наши отцы называли их вздором или колдовством.

—Да, ваше величество,—улыбнувшись, ответил Жильбер,—и я имел бы честь быть сожженным на Гревской площади к вящей славе религии, и сделали бы это ученые, далекие от науки, и священники, далекие от веры.

—А у кого вы учились этой науке?—продолжал король.—У Месмера?

—О, ваше величество,—снова улыбнулся Жильбер,—я видел самые удивительные примеры этого явления лет за десять до того, как имя Месмера было произнесено во Франции.

—Скажите, как, по-вашему, этот самый Месмер, приведший в волнение весь Париж, шарлатан или нет? Мне кажется, вы действуете проще, нежели он. Я слышал рассказы о его опытах, об опытах Делона и Пюисегюра*. Вам ведь известно все, что говорилось по этому поводу, будь то нелепица или правда.

—Да, я следил за этими спорами, ваше величество.

* Делон, Шарль (ум. 1768)—французский врач, ученик и ярый сторонник Месмера. Пюисегюр, Арман Марк Жак, маркиз де Шатене (1751—1825)—приверженец теории животного магнетизма, автор работ по этому вопросу.

—Ну и что же вы думаете о знаменитой ванне Месмера?

—Пусть ваше величество меня извинит, но когда меня спрашивают об искусстве магнетизма, я отвечаю сомнением. Магнетизм—пока еще не искусство

—Вот как?

—Но это сила, могущественная сила, которая уничтожает свободную волю, отделяет душу от тела и отдает тело сомнамбулы в руки магнетизера, в результате чего у человека нет ни возможности, ни даже желания защищаться. Я, государь, был свидетелем очень странных явлений. Я даже сам их вызывал, но тем не менее сомневаюсь.

—Как сомневаетесь? Вы творите чудеса и при этом сомневаетесь?

—Нет, когда творю, не сомневаюсь. В этот момент у меня есть перед глазами доказательство существования небывалой, неслыханной силы. Но когда это доказательство исчезает, когда я сижу один дома у себя в библиотеке, глядя на тома, созданные наукой за три тысячи лет, когда наука говорит мне "нет", когда разум и рассудок тоже говорят "нет",—вот тогда я сомневаюсь.

—А ваш учитель тоже сомневался, доктор?

—Возможно, но не столь открыто, как я, он не говорил об этом вслух.

—Это был Делон или Пюисегюр?

—Нет, ваше величество, ни тот, ни другой. Мой учитель заметно превосходил всех, кого вы только что назвали. То, как он на моих глазах целил раны, было поистине чудо, он знал самые разные науки. Он проник в самые глубины египетских теорий. Он до тонкостей знал тайны древней ассирийской цивилизации. Это был глубокий ученый, опасный философ, в котором жизненный опыт соединен с негибимой волей.

—Я его знаю?—поинтересовался король.

Жильбер медлил с ответом.

—Я спрашиваю, знаю я его или нет?

—Знаете, ваше величество.

—Так назовите же его!

—Ваше величество, произнести перед королем имя этого человека значило бы вызвать ваше неудовольствие. Тем более в этот момент, когда большинство французов ни в грош не ставят королевское величие. А я не хотел бы бросать тень на то уважение, с которым все мы обязаны относиться к вашему величеству.

—Смело назовите этого человека, доктор Жильбер. Будьте уверены, у меня тоже есть своя философия, которая позволяет мне улыбаться в ответ на сегодняшние оскорбления и застрашные угрозы.

Несмотря на слова ободрения, Жильбер продолжал колебаться.

Король подошел к нему.

—Сударь,—с улыбкой проговорил он,—назовите вы имя хоть Сатаны, я и против него найду броню, да такую, какой у ваших догматиков нет и никогда не будет, броню, какой в наш

век владею и какую, не стыдясь, надеваю, быть может, один я,—религию!

—Спору нет, вера вашего величества крепка, как вера Людовика Святого*,—согласился Жильбер.

—И, признаюсь, доктор, в этом—вся моя сила. Я люблю науку, мне нравится материализм, я сам—математик, как вам известно: арифметическая сумма или алгебраическое уравнение наполняют меня радостью, но против людей, доводящих алгебру до безбожия, у меня есть в запасе моя вера, которая ставит меня, к счастью, на ступеньку выше их и в то же время, увы, на ступеньку ниже. Так что, как видите, доктор, я—человек, которому можно сказать все, я король, способный понять.

—Государь,—не без восхищения отозвался Жильбер,—я благодарю ваше величество за эти слова, за эту почти дружескую откровенность, коей вы меня удостоили.

—Ах, как бы я хотел,—поспешно проговорил застенчивый Людовик,—чтобы эти мои слова слышала вся Европа. Если бы французы увидели, сколько силы и нежности в моем сердце, уверен, они не были бы так настроены против меня.

Последние слова фразы, в которых крылось августейшее раздражение, несколько понизили Людовика в глазах Жильбера.

Поэтому он уже без обиняков сообщил:

—Раз вы этого желаете, знайте, государь: моим учителем был граф Калиостро.

—А, этот эмпирик!—побагровев, воскликнул Людовик XVI.

—Да, этот эмпирик,—подтвердил Жильбер.—Вашему величеству известно ведь, что слово, которое вы употребили, одно из самых почитаемых в науке. "Эмпирик" означает "человек, который пробует". Всегда пытаться, государь, для мыслителя, врача, да и просто человека—это самое великое и прекрасное из всего, что Господь позволил делать смертным. Если человек пробует всю жизнь, то живет он не зря.

—Но, сударь,—возразил Людовик,—этот Калиостро был большим врагом королей.

Жильбер припомнил дело с ожерельем.

—Быть может, скорее королев, ваше величество?

От этого укола Людовик вздрогнул.

—Да,—согласился он,—в истории с принцем Роганом он занимал довольно двусмысленное положение.

—Ваше величество, здесь, как всегда, Калиостро занимался самым человеческим делом: он пробовал. Для него в науке, морали, политике не существует ни хорошего, ни дурного, а есть лишь установленные явления, приобретенные сведения. Впрочем, я вам уступаю, ваше величество. Я лишь повторю, государь, что порицание, которого часто заслуживает человек, в один прекрасный день может обернуться похвалой, поскольку потомки часто пересматривают мнения о людях, но я ведь учился не у человека, ваше величество, а у философа и ученого.

* Людовик Святой—Людовик IX, король Франции в 1226—1270 гг.

—Ну, полно, полно,—проговорил король, двойная рана, нанесенная гордыне и сердцу которого, еще кровоточила,—мы совсем позабыли о графине, а она, возможно, страдает.

—Если ваше величество желает, я ее разбужу, но мне хотелось бы, чтобы шкатулка прибыла сюда, пока она спит.

—Это еще почему?

—Чтобы избавить графиню от слишком уж жестокого урока.

—А вот, кстати, и шкатулка,—заметил король.—Подождите.

И действительно: приказ короля был выполнен со всею аккуратностью, и шкатулка, взятая в доме де Шарни из рук полицейского Тихая-Сапа, появилась в королевском кабинете перед самой графиней, которая, впрочем, ее не видела.

Король жестом показал, что все в порядке, и офицер, принесший шкатулку, удалился.

—Итак?—проговорил Людовик XVI.

—Итак, государь, перед вами похищенная у меня шкатулка.

—Откройте,—распорядился король.

—Государь, ваше желание для меня закон. Я только хотел бы предупредить ваше величество кое о чем.

—О чем же?

—Как я уже имел честь говорить вашему величеству, в этой шкатулке содержатся документы, которые очень легко прочесть и даже забрать и от которых зависит честь женщины.

—А эта женщина—графиня.

—Да, государь, и честь ее не подвергнется опасности, если ваше величество ознакомится с этими документами. Откройте ее, государь,—проговорил Жильбер, протягивая шкатулку с ключом королю.

—Уберите шкатулку прочь, сударь, она ваша,—холодно отозвался Людовик XVI.

—Благодарю, государь. А что нам делать с графиней?

—Главное, не нужно будить ее здесь. Я хотел бы обойтись без неожиданности и всяческих страданий.

—Государь,—отвечал Жильбер,—госпожа графиня пробудится там, куда вы прикажете ее отнести.

—Прекрасно! Тогда к королеве.

Людовик позвонил. Вошел офицер.

—Господин капитан,—сказал король,—графиня лишилась чувств, узнав новости из Парижа. Распорядитесь, чтобы ее отнесли к королеве.

—Сколько времени это может занять?—спросил Жильбер у короля.

—Минут десять,—ответил тот.

Жильбер протянул руку в сторону графини и произнес:

—Вы проснетесь через четверть часа.

По приказу офицера, вошли двое солдат и на двух креслах понесли графиню к королеве.

—Что вам еще угодно, господин Жильбер?—осведомился король.

—Государь, я прошу вас о милости, которая приблизит меня к вашему величеству и тем самым даст мне возможность быть вам полезным.

Король с недоумением посмотрел на собеседника и спросил:

—Что вы имеете в виду?

—Я хотел бы стать врачом в королевском дворце,—ответил Жильбер.—Это ни в ком не вызовет подозрений, поскольку пост этот, хоть и почетный, но без особого блеска и говорит скорее о доверии к тому, кто его занимает.

—Согласен,—ответил король.—Прощайте, господин Жильбер. Да, кстати: мои наилучшие пожелания Неккеру. Прощайте.

И, уже уходя, он воскликнул, так как никакое событие не могло заставить его позабыть о трапезе:

—Ужинать!

XXV. У королевы

Пока король упражнялся в философских битвах с революцией, делая попутно экскурсии в оккультные науки, королева, философ гораздо более серьезный и глубокий, собрала в своем просторном кабинете всех, кого она называла верными—скорее всего потому, что ни у кого из них не было еще возможности доказать или испытать свою верность.

И у королевы о событиях страшного дня рассказывалось во всех подробностях.

Она даже первой узнала обо всем, поскольку, зная ее бесстрашие, люди без колебаний предупреждали ее об опасности.

Королева сидела в окружении генералов, придворных, священников и дам своей свиты.

У дверей и за гобеленами, что завешивали дверные ниши, толпились молодые офицеры, полные задора, которые во всех этих беспорядках видели долгожданный случай блеснуть перед дамами оружием, как в былые времена на турнире.

Все эти близкие и верные трону люди внимательно слушали г-на де Ламбеса, который, будучи участником событий в Париже, прибыл теперь со своим покрытым тюильрийской пылью полком в Версаль и рассказывал о случившемся, утешая испуганных людей, тем более что некоторые из них, особы высокопоставленные, преувеличивали свалившееся на них несчастье.

Королева сидела за столом.

Это была уже не та кроткая и прекрасная невеста, ангел-хранитель Франции, которая в самом начале этой истории пересекала северную границу с оливковой ветвью в руке. Это была даже не та изящная и красивая принцесса, которую мы видели входящей однажды вечером в сопровождении принцессы де Ламбаль в таинственную обитель Месмера и со смехом и недоверием садящейся перед пресловутой ванной, чтобы узнать свое будущее.

Нет, это была надменная и решительная королева с нахмуренным лбом и презрительно искривленными губами, это была женщина, сердце которой уже лишилось частички переполнявшей его любви и вместо этого живительного и нежного чувства впитало первые капли желчи, беспрестанно вливавшейся ей в кровь.

И наконец это была женщина с третьего портрета в Версале—не Мария Антуанетта, не королева Франции, а та, которую уже не называли иначе, как "Австриячка".

Позади нее, в тени, приложив ладонь ко лбу и откинув голову назад, неподвижно полулежала на подушках дивана молодая женщина.

Это была г-жа де Полиньяк.

Завидя г-на де Ламбеска, королева сделала радостный жест, словно желая сказать: "Ну, наконец-то мы узнаем обо всем".

Г-н де Ламбеск поклонился с виноватым видом, словно прося прощения за свои грязные сапоги, запыленный кафтан и погнутую саблю, не входившую до конца в ножны.

—Значит, вы прибыли из Парижа, господин де Ламбеск?—спросила королева.

—Да, ваше величество.

—И что там делает народ?

—Жжет и убивает.

—Из-за помутнения рассудка или из ненависти?

—Нет, из ярости.

Королева задумалась, как будто разделяла его мнение относительно народа. Затем, покачав головой, проговорила:

—Нет, принц, народ не подвержен беспричинной ярости. Не надо от меня ничего скрывать. Так что же это—безумие или ненависть?

—Я полагаю, что это—ненависть, дошедшая до безумия.

—Ненависть к кому? Вот видите, принц, вы опять колеблетесь. Берегитесь: если вы будете и дальше так рассказывать, то вместо того, чтобы выпрашивать вас, я пошлю одного из своих берейторов в Париж, который час будет ехать туда, час выяснять обстановку и еще час ехать обратно, и в результате через три часа он расскажет мне обо всем точно и наивно, как какой-нибудь гомеровский вестник.

Г-н де Дре-Брезе с улыбкой на устах выступил вперед.

—Но, государыня,—проговорил он,—что вам за дело до ненависти народа. Это вас не касается. Народ может ненавидеть кого угодно, только не вас.

Но королева даже не обратила внимания на лесть.

—Ну же, принц, рассказывайте!—обратилась она к де Ламбеску.

—Что ж, я не спорю, народом движет ненависть.

—Ко мне?

—Ко всем, кто стоит над ним.

—Так-так! Дело именно в этом, я чувствую,—решительно подытожила королева.

—Я ведь солдат, ваше величество,—заметил принц.

—Прекрасно, вот и говорите как солдат. Так что же, по-вашему, следует делать?

—Ничего, государыня.

—Как это—ничего?—воскликнула королева, воспользовавшись ропотом, поднявшимся при этих словах среди расшитых камзолов и золоченых шпаг ее окружения.—Что значит ниче-

го? Вы, лотарингский принц, в то время как народ, по вашим же словам, жжет и убивает, заявляете королеве Франции, что с этим ничего не поделать?

Слова Марии Антуанетты вызвали новый, но на сей раз одобрительный шепоток.

Она повернулась и обвела глазами сидящих рядом людей, ища среди горящих взоров глаза, метавшие наиболее яркий пламень как признак самой непоколебимой верности.

—Ничего,—повторил принц,—потому что если дать парижанину успокоиться, он и успокоится. Он проявляет воинственность, только когда измучен. К чему распалать его радостью борьбы и давать случай вступить в бой? Сохраним спокойствие, и дня через три в Париже не о чем будет разговаривать.

—Но как же Бастилия, сударь?

—Бастилия! Закроем двери, и те, кто ее брал, окажутся в тюрьме, вот и все.

В кучке молчаливых слушателей раздалась смешки.

Но королева продолжала:

—Берегитесь, принц, теперь вы меня слишком уж успокоили.

С этими словами королева задумчиво оперлась подбородком о ладонь и повернулась к г-же де Полиньяк, которая печальная и бледная, казалось, была погружена в свои мысли.

Графиня прислушивалась ко всем этим разговорам с явным страхом и улыбнулась лишь тогда, когда королева остановила на ней свой взор, но и тогда улыбка ее выглядела бледной и бесцветной, словно увядший цветок.

—Ну, что вы скажете на это, графиня?—осведомилась королева.

—Увы, ничего,—ответила графиня.

—Ничего?

—Да, ничего.

И она с невыразимым унынием покачала головой.

—Ну и трусиха же вы, Диана,—шепнула ей на ухо королева.

Затем она громко поинтересовалась:

—А где же наша неустрашимая госпожа де Шарни? Было бы неплохо, если бы она немного нас успокоила.

—Графиня ушла, ее позвали к королю,—сообщила г-жа де Мизери.

—Ах, к королю,—рассеянно повторила Мария Антуанетта.

Только теперь она заметила, что в комнате воцарилось странное молчание.

Неслыханные, невероятные события, отзвуки которых докатились до Версаля, заставили сжаться даже самые стойкие сердца, причем, скорее, не от страха, а от изумления.

Королева поняла, что нужно как-то рассеять охватившее всех уныние.

—Неужели никто не может дать мне совет?—спросила она.—Ладно, я сама себе его дам.

Придворные подошли поближе.

—Народ не испытывает злобы,—проговорила она,—он просто запутался. Он нас ненавидит, поскольку не знает, следовательно нужно к нему приблизиться.

—Но лишь затем, чтобы его наказать,—раздался чей-то голос.—Он не верит своим хозяевам, а это—преступление.

Королева обернулась на голос и узнала г-на де Безанваля.

—А, это вы, господин барон,—сказала она.—Не хотите ли вы дать мне добрый совет?

—Он уже дан, государыня,—поклонившись, ответил Безанваль.

—Да будет так,—согласилась королева.—Король накажет, но как любящий отец.

—Кого люблю, того и бью,—заметил барон.

Затем, повернувшись к г-ну де Ламбеску, он спросил:

—Вы согласны со мною, принц? Народ дошел до убийств...

—Которые он, увы, называет возмездием,—тихо добавил чей-то нежный и ясный голос, услышав который, королева обернулась.

—Вы правы, и в этом-то и заключается его ошибка, моя милая Ламбаль. Так будем же снисходительны.

—Однако,—так же сдержанно продолжала принцесса,—прежде чем задаваться вопросом, нужно ли его наказывать, следует спросить себя, можно ли его победить.

Отовсюду послышались возгласы протеста против правды, высказанной благородной дамой.

—Победить? А на что же швейцарцы?—воскликнул один.

—А немцы?—вторил ему другой.

—А королевская гвардия?—не унимался третий.

—Армия и дворянство уже вызывают недоверие!—вскричал какой-то молодой человек в мундире лейтенанта гусарского полка Бершени.—Чем мы заслужили подобное бесчестие? Подумайте сами, государыня: король, если пожелает, может завтра поставить в строй сорок тысяч человек, бросить их на Париж и уничтожить его. Согласитесь: сорок тысяч верных солдат стоят полумиллиона взбунтовавшихся парижан.

Высказавшийся подобным образом молодой человек мог, безусловно, привести еще массу столь же неотразимых доводов, однако, увидев устремленный на него взгляд королевы, осекся: он говорил, стоя в группе офицеров, и рвение завело его слишком далеко, нежели позволяли приличия и его ранг.

Итак, он замолк, устыдившись произведенного его словами действия.

Однако было уже поздно: королева услышала брошенную им фразу.

—Вам известно положение, сударь?—доброжелательно спросила она.

—Да, ваше величество,—зардевшись, ответила молодой офицер,—я был на Елисейских полях.

—Тогда говорите, сударь, не стесняйтесь.

Покрасневший молодой человек вышел из группы и приблизился к королеве.

Одновременно принц де Ламбеск и г-н де Безанваль несколько попятнулись, словно считали ниже своего достоинства присутствовать при этом разговоре.

Королева не обратила или сделала вид, что не обратила внимания на их ретираду.

—Значит, сударь, вы утверждаете, что у короля есть сорок тысяч солдат?—спросила она.

—Да, ваше величество.

—Вокруг Парижа?

—В Сен-Дени, Сен-Манде, на Монмартре и в Гренеле.

—Ну-ка, расскажите подробнее, сударь,—воскликнула королева.

—Государыня, господа де Ламбеск и де Безанваль расскажут вам все куда лучше, чем я.

—Нет, сударь, продолжайте. Мне хочется услышать все подробности от вас. Под чьим командованием находятся эти сорок тысяч?

—Прежде всего, под командованием господ де Безанваля и де Ламбеска и, кроме того, принца Конде, господина де Нарбон-Фритцдара и господина де Салькенгейма.

—Это так, принц?—спросила королева, повернувшись к г-ну де Ламбеску.

—Да, ваше величество,—с поклоном ответил принц.

—На Монмартре,—продолжал молодой человек,—располагается вся артиллерия, часов за шесть все его окрестности можно обратить в пепел. Пусть Монмартр даст сигнал, открыв огонь, пусть Вансен ему ответит, пусть десять тысяч человек займут Елисейские поля, десять тысяч других—заставу Анфер, еще десять тысяч—улицу Сен-Мартен и еще десять тысяч—Бастилию, пусть Париж услышит ружейный огонь в четырех главных пунктах—и тогда ему не устоять и суток.

—Наконец-то хоть один человек говорит откровенно, наконец мы услышали четкий план. Что вы о нем скажете, господин де Ламбеск?

—Скажу,—с презрением отозвался принц,—что этот гусарский лейтенант—уже законченный генерал.

—По крайней мере,—парировала королева, увидев, что молодой офицер побледнел от гнева,—по крайней мере, это солдат, который не предается отчаянию.

—Благодарю, государыня,—с поклоном проговорил молодой человек.—Я не знаю, каково будет решение его величества, но прошу верить, что я буду в числе тех, кто готов отдать за него свою жизнь, и то же самое готовы сделать сорок тысяч солдат, не говоря уже о военачальниках.

Произнеся последние слова, молодой человек учтиво поклонился принцу, который почувствовал себя чуть ли не оскорбленным.

Подобная учтивость поразила королеву даже сильнее, чем предшествовавшее ей изъявление преданности.

—Как ваше имя?—полюбопытствовала она у молодого офицера.

—Барон де Шарни,—поклонившись, ответил тот.

—Де Шарни!—невольно покраснев, воскликнула королева.—Так вы—родственник графа де Шарни?

—Я его брат, ваше величество.

И молодой человек отвесил еще более изящный и низкий поклон.

—Мне следовало бы,—овладев собою и обеда собравшихся уверенным взглядом, сказала королева,—мне следовало бы при первых же ваших словах узнать одного из своих самых преданных слуг. Благодарю вас, барон. Но почему я сегодня вижу вас при дворе впервые?

—Государыня, мой старший барт, заменивший мне отца, велел мне отставаться в полку, и за семь лет, что я имею честь служить в королевской армии, я побывал в Версале лишь дважды.

Королева внимательно всмотрелась в лицо молодого человека.

—Вы похожи на брата,—заметила она.—Я выговорю ему за то, что он вынудил вас самого представиться ко двору.

И королева повернулась к своей подруге графине, которую даже эта сцена не заставила повернуть голову.

Но остальные собравшиеся вели себя иначе. Офицеры, возбужденные тем, как королева отнеслась к молодому человеку, принялись взапуски выражать свой восторг королевскому дому, в каждой кучке слышались героические возгласы, судя по которым любой восклицавший был в силах усмирить хоть всю Францию.

Такие настроения отвечали тайным мыслям Марии Антуанетты.

Ей всегда казалось, что лучше бороться, чем подчиниться, умереть, чем сдать. И с первыми же вестями из Парижа она решила изо всех сил сопротивляться этому мятежному духу, который угрожал поглотить все привилегии, существовавшие во французском обществе.

Если в мире и существует слепая, безудержная сила, то это—сила цифр и связанных с ними надежд.

А цифра, рядом с которой стоит множество нулей, мгновенно затмевает все богатства вселенной.

В этой силе заключено даже нечто от чайний заговорщика или тирана: на восторгах, которые и сами-то имеют под собой лишь смутные надежды, они воздвигают гигантские умозрительные построения, рассеивающиеся при малейшем дуновении, не успев даже окрепнуть и приобрести отчетливые очертания.

Несколько слов графа де Шарни да восторженные возгласы присутствующих сделали свое дело: Мария Антуанетта уже видела себя во главе могущественной армии, слышала раскаты своих безобидных орудий и наслаждалась ужасом, который те должны внушить парижанам как залог неперменной победы.

Вокруг нее мужчины и женщины, опьяненные молодостью, верой и любовью, говорили о блестящих гусарах, тяжелых драгунах, наводящих ужас швейцарцах, шумных канонирах и подсмеивались над грубо сделанными пиками, насаженными на рукоятки из неструганного дерева, всем им не могло и в голову прийти, что совсем скоро на кончики этих мерзких пик будут насажены благороднейшие головы Франции.

—Пики я боюсь даже больше, чем ружья,—прошептала принцесса де Ламбаль.

—Потому что очень уж это уродливая смерть, милая моя Тереза,—со смехом объяснила королева.—Но пусть тебя это не тревожит. Наши парижские пикинеры не идут ни в какое сравнение со знаменитыми швейцарскими копейщиками из Мора*, а нынешние швейцарцы вооружены кое-чем получше, чем пики; у них есть хорошие мушкеты, из которых они, слава Богу, умеют стрелять!

—О, за это я ручаюсь,—заметил г-н де Безанваль.

Королева повернулась к г-же де Полиньяк, желая узнать, не стала ли та спокойнее после всех этих уверений, но графиня казалась еще более бледной и дрожащей, чем обычно.

Королева, чья безмерная нежность к подруге порой наносила урон ее королевскому достоинству, тщетно делала веселое лицо.

Молодая женщина оставалась мрачной и казалась погруженной в какие-то мучительные думы.

Ее уныние лишь опечалило королеву. Молодых офицеров, однако, не оставлял энтузиазм, и, собравшись в кружок около своего товарища барона де Шарни, подальше от начальников, они составляли собственный план кампании.

И вот среди этого лихорадочного возбуждения вошел улыбающийся король—один, без придверников и объявлений.

Королева, пылая от возбуждения, вызванного ею вокруг своей особы, бросилась к нему.

При появлении короля все разговоры смолкли и воцарилось глубокое молчание: все ждали слова повелителя—слова, которое электризует и одновременно подчиняет.

Известно, что когда атмосфера в достаточной степени заряжена электричеством, достаточно малейшего сотрясения, чтобы возникла искра.

Для придворных король и королева, расхаживающие друг перед другом, и были электрическими полюсами, между которыми должна была вот-вот вспыхнуть молния.

Все с дрожью слушали, буквально впитывали первые слова, сорвавшиеся с королевских уст.

—Сударыня,—начал Людовик XVI,—за всеми этими событиями мне позабыли подать ужин. Не будете ли вы любезны накормить меня ужином здесь?

—Здесь?—в изумлении воскликнула королева.

—Стоят вам захотеть...

—Но, государь...

—Ах да, вы беседуете. Что ж, я тоже побеседую... за ужином.

Простое слово "ужин" охладило всеобщий энтузиазм. Но, услышав слова: "Я тоже побеседую за ужином", даже королева не смогла удержаться от мысли, что в подобном спокойствии есть известная доля героизма.

* Мора (Муртен)—город в Швейцарии, под которым в 1476 г. швейцарцы наголову разбили бургундские войска герцога Карла Смелого.

Своим спокойствием король явно желал подчеркнуть ужас происходящих событий.

О да! Дочь Марии Терезии не могла допустить, что в подобный момент потомок Людовика Святого может думать об удовлетворении обычных телесных нужд.

Мария Антуанетта ошибалась. Король просто хотел есть.

XXVI. Как ужинал король 14 июля 1789 года

По распоряжению Марии Антуанетты королю накрыли небольшой столик в кабинете королевы.

Однако случилось нечто прямо противоположное тому, на что она рассчитывала. Воцарилось молчание, которым Людовик XVI воспользовался исключительно для того, чтобы все внимание посвятить ужину.

Пока Мария Антуанетта пыталась подогреть остывший энтузиазм, король поглощал пищу.

Офицеры, которые не находили, что сей гастрономический сеанс достоин потомка Людовика Святого, сбились в кучки и вели себя с меньшей почтительностью, чем того требовали обстоятельства.

Королева залилась краской, в каждом ее жесте проскальзывало раздражение. Этой тонкой, аристократичной и нервной натуре было явно непонятно такое зримое преобладание материального над духовным. Она подошла к столу, чтобы заставить вновь приблизиться тех, кого появление короля заставило отойти в сторонку.

—Государь,—осведомилась королева,—нет ли у вас каких-либо приказаний?

—Каких еще приказаний, сударыня?—отвечал король с набитым ртом.—Быть может, в этот трудный момент вы будете нашей Эгерией*?

Сказав это, он отважно набросился на куропатку с трюфелями.

—Государь,—отозвалась королева,—Нума был королем мирным. А поскольку сегодня все уверены, что нам нужен воинственный король, вы, ваше величество, желая выбрать себе античный образец, должны быть Ромулом, раз уж не можете быть Тарквинием**.

Король улыбнулся спокойной, чуть ли не блаженной улыбкой.

—А эти господа тоже настроены воинственно?—спросил он, повернувшись к кучке офицеров, и его глаза, заблестевшие после плотной еды, показали им полными отваги.

* Эгерия—итальянская нимфа, супруга царя Нумы Помпилия, который по ее совету установил в Риме религиозные культы. Зд.: советчица.

** Ромул—легендарный основатель и первый правитель Рима, славившийся своею воинственностью. Тарквиний Гордый (534—510 до н. э.)—последний римский царь, свергнутый народным восстанием.

—Да, государь!—в один голос воскликнули они.—Война! Нам нужна лишь война!

—Господа,—остановил их король,—я рад, так как вижу, что, если будет надо, могу на вас рассчитывать. Но сейчас у меня есть два советчика: государственный совет и мой желудок. Первый советует мне, что я должен делать, а следую я советам второго.

Рассмеявшись, он протянул слуге полную объедков тарелку и взял чистую.

Ропот изумления и гнева пробежал по толпе дворян, из которых любой по первому знаку короля готов был пролить за него кровь.

Королева отвернулась и топнула ножкой.

К ней подошел принц де Ламбеск.

—Вот видите, государыня,—проговорил он,—его величество думает так же, как я: лучше подождать. Так велит благоразумие, и откуда бы ни проистекало это мое качество, мы живем в такие времена, что оно просто необходимо.

—Да, сударь, необходимо,—до крови кусая губы, согласилась королева.

И, смертельно опечаленная, она прислонилась к камину; взгляд ее был устремлен в ночь, а душа разрывалась от отчаяния.

Такое разногласие между королем и королевой поразило всех собравшихся. Королева едва сдерживала слезы. Король же продолжал ужинать с отменным аппетитом, присущим семейству Бурбонов и даже вошедшим в поговорку.

Зал понемногу опустел. Группки людей таяли, как под лучами солнца тает в саду снег, обнажая островки черной унылой земли.

Королева, увидев, как исчезает на глазах группа воинственных офицеров, на которых она так рассчитывала, решила, что могущество ее развеялось, словно громадные рати ассирийцев и амалекитян* развеялись когда-то от одного дуновения Господа и навсегда исчезли в пучине моря или забвения.

Очнуться королеву заставил нежный голосок графини Жюль, которая подошла к ней вместе с г-жой Дианой де Полиньяк, своей невесткой.

При звуках ее голоса в сердце гордой женщины вновь забрезжило будущее—приятное будущее с цветами и пальмами: искренний и преданный друг стоит больше десяти королевств.

—О, это ты, ты,—шептала она, обнимая графиню,—значит все же у меня есть еще друг.

И давно сдерживаемые слезы заструились из глаз, потекли по щекам, увлажнили грудь, но были они не горькими, а отрадными, они не стесняли ей дыхание, а, напротив, позволили вздохнуть полной грудью.

Последовало несколько мгновений тишины, во время которых королева продолжала обнимать графиню.

* Арабское племя, жившее на юге Иудеи и ведшее войны с евреями.

Молчание нарушила герцогиня, так и не выпустившая руки золотки.

—Государыня,—начала она робко, почти застенчиво,—я надеюсь, вы не отвергнете проект, с которым я хочу вас ознакомить.

—Проект? Какой проект?—насторожилась королева.—Выкладывайте, герцогиня, выкладывайте.

Она приготовилась выслушать герцогиню Диану и оперлась о плечо графини, своей фаворитки.

—Государыня,—продолжала герцогиня,—мнение, которое я собираюсь высказать, исходит от особы, чье влияние не вызовет сомнений у вашего величества,—оно исходит от ее королевского высочества Аделаиды, тетушки короля.

—Что за вступления, милая герцогиня,—весело проговорила королева,—к делу!

—Положение довольно печальное, государыня. Все вокруг преувеличивают благосклонность, которую пользуется наше семейство у вашего величества. Клевета чернит августейшую дружбу, которой вы нас удостоили в ответ на наше почтение и преданность.

—Полно вам, герцогиня,—перебила с удивлением королева,—разве вы не находите, что я проявила довольно смелости? Разве вопреки всеобщему мнению, невзирая на двор, народ, невзирая, наконец, на самого короля, я не осталась верна нашей дружбе?

—Напротив, государыня с таким благородством поддерживала своих друзей, подставляя грудь под удары, что теперь, когда опасность велика и даже ужасна, столь благородно отстаиваемые вами друзья были бы трусами и скверными слугами, если бы не воздали своей королеве тем же.

—Но это же прекрасно, прекрасно!—в восторге воскликнула Мария Антуанетта, целуя графиню, которую она все еще прижимала к груди, и пожимая руку г-же де Полиньяк.

Но вместо того чтобы гордо поднять голову от монаршей ласки, обе они побледили.

Г-жа Жюль де Полиньяк попыталась было высвободиться из объятий королевы, однако та ее удержала.

—Но, ваше величество,—пролепетала Диана де Полиньяк,—вы, должно быть, не совсем верно поняли то, что мы имеем честь предложить, чтобы отвести удары, грозящие вашему трону и вам самой, быть может, вследствие дружбы, коей вы нас удостоили. Средство это болезненное, горькая жертва для наших сердец, но мы обязаны ее принести, это диктуется необходимостью.

При этих словах пришел черед побледнеть королеве: она почувствовала за ними не стойкую и преданную дружбу, а страх, скрытый под всеми этими вступлениями, произносимыми неуверенно и сдержанно.

—В чем все-таки дело, герцогиня? Объясните, в чем заключается ваша жертва?

—О, вся она—с нашей стороны, государыня,—ответила та.—Нас всех—Бог весть почему—ненавидят во Франции, поэтому, удалившись от вашего трона, мы вернем ему былое ве-

ликоление, горячую любовь народа, для которой наше присутствие—преграда: оно ее остужает.

—Так вы меня покидаете?—порывисто вскричала королева.—Кто это выдумал? Кто этого хочет?

Она легонько оттолкнула графиню Жюль и ошеломленно посмотрела на нее; та понурилась голову.

—Не я,—проговорила графиня,—я, напротив, хотела бы остаться.

Слова эти, однако, были произнесены тоном, за которым ясно читалось: "Прикажите мне уехать, и я уеду".

О священная дружба, священные узы, способные превратить королеву и ее подданную в два неразлучных сердца! О священная дружба! В тебе больше героизма, нежели в любви и тщеславии—этих благородных недугов человеческого сердца! В сердце у королевы внезапно рухнул воздвигнутый ею обожаемый алтарь; теперь ей довольно было одного-единственного взгляда, чтобы увидеть то, чего она не замечала в течение десяти лет: холодность и расчет, вполне, быть может, извинительные, оправданные и законные, но разве способно что-либо извинить, оправдать и узаконить разрыв в глазах той, которая все еще любит, хотя другая уже перестала любить?

Мария Антуанетта в отместку за испытываемое ею горе послала своей подруге лишь ледяной взгляд.

—Ах, герцогиня Диана, так вот что вы предлагаете!—проговорила она, прижимая дрожащие руки к груди.

—Увы, государыня,—ответствовала та,—это не мой выбор, это не моя воля толкает меня на это, тут—рука Провидения.

—Вот именно, герцогиня,—согласилась Мария Антуанетта. И, повернувшись к графине Жюль, добавила:

—А вы, графиня, что скажете?

Графиня ответила ей горячей, как угрызения совести, слезой, на что ушли все оставшиеся у нее силы.

—Ладно,—проговорила королева,—ладно, мне приятно видеть, как меня любят. Благодарю вас, графиня. Я понимаю, здесь вы подвергаетесь опасности, а гнев народа не знает удержу, да, вы все правы, одна я сошла с ума. Вы хотели бы остаться—из преданности, но такой преданности я не приемлю.

Графиня Жюль подняла на королеву свои дивные глаза. Но королева вместо преданности друга прочла в них лишь слабость женщины.

—Итак, герцогиня,—продолжала Мария Антуанетта,—вы решили уехать?

Говоря это, она сделала нажим на слове "вы".

—Да, ваше величество.

—Наверное, куда-нибудь к себе в имение... подальше, как можно дальше.

—Государыня, когда покидаешь вас, пятьдесят лье так же мучительны, как и сто пятьдесят.

—Значит, вы собираетесь за границу?

—Увы, да, сударыня.

Стон чуть не разорвал сердце королевы, но его никто не услышал.

—И куда же вы едете?

—На берега Рейна, ваше величество.

—Понятно. Вы ведь говорите по-немецки, герцогиня,—заметила королева с улыбкой, полной невыразимой печали,—это я вас выучила. Хоть в этом дружба с королевой оказалась вам полезной, я рада.

Затем, повернувшись к графине Жюль, она продолжала:

—Мне не хочется вас разлучать, милая графиня. Вы хотите остаться, и я ценю ваше желание. Но мне страшно за вас, я хочу, чтобы вы уехали, даже приказываю вам уехать!

Тут голос Марии Антуанетты пресекся от душившего ее волнения, и, несмотря на всю свою силу воли, она не смогла бы сдержаться, не услышав она внезапно голос гороля, не принимавшего никакого участия в только что описанной нами сцене.

Его величество ел в этот миг десерт.

—Сударыня,—говорил король,—к вам кое-кто пришел, вы предупреждены о визите.

—Но государь,—воскликнула Мария Антуанетта, отрекаясь от всех чувств за исключением королевского достоинства,—прежде вам следует отдать приказы. Видите, здесь осталось только трое, и как раз к ним-то у вас и есть дела: к господину де Ламбеску, господину Безанвалю и господину де Брольи. Приказывайте, ваше величество!

Король неуверенно оторвал от тарелки осоловелый взгляд.

—Что вы обо всем этом думаете, господин де Брольи?

—Государь,—ответил престарелый маршал,—если вы удалите армию из Парижа, скажут, что парижане вас разгромили. Если оставите, армия сама должна разгромить их.

—Недурно сказано!—пожимая руку маршалу, воскликнул король.

—Весьма недурно!—подхватил г-н де Безанваль.

Один принц де Ламбеск довольствовался тем, что покивал головой.

—Ну, и что же дальше?—полюбопытствовал король.

—Скомандуйте "Марш!"—посоветовал старик-маршал.

—Вот именно—марш!—вскричала королева.

—Ну что ж, раз вы все хотите—марш!—согласился король.

В этот миг королеве передали записку следующего содержания:

"Ради всего святого, государыня, не спешите! Я ожидаю аудиенции у вас."

—Это его почерк,—прошептала королева.—И, повернувшись, громко осведомилась:—Скажите, господин де Шарни у меня?

—Он прискакал весь в пыли и, кажется, даже в крови,—отозвалась камеристка.

—Одну минутку, господа,—обратилась королева к де Безанвалю и де Брольи,—подождите меня, я скоро вернусь.

И она поспешно вышла из комнаты.

Король даже не повернул головы.

XXVII. Оливье де Шарни

Зайдя к себе в будуар, королева увидела там автора записки, принесенной ей камеристкой.

Это был человек лет тридцати пяти, высокий, с лицом, свидетельствующим о силе и решительности; его серо-голубые глаза, живые и пронизательные, как у орла, прямой нос и выступающий подбородок придавали лицу воинственное выражение, которое подчеркивалось изяществом, с каким он носил камзол королевского гвардейца.

Руки его в мятых и изодранных батистовых манжетах все еще дрожали.

Шпага была изогнута и плохо входила в ножны.

Когда королева вошла, мужчина быстро расхаживал по будуару, одолеваемый тысячью лихорадочных, беспокойных мыслей.

Мария Антуанетта подошла прямо к нему.

—Господин де Шарни!—вскричала она.—Вы здесь?

Видя, что тот, к кому она обратилась, согнулся в почти-тельном по всем правилам этикета поклоне, она отослала камеристку, и та вышла из будуара, притворив за собой дверь.

Едва дверь закрылась, как королева с силой схватила г-на де Шарни за руку и воскликнула:

—Граф, почему вы здесь?

—Потому что я счел своим долгом приехать сюда, государыня,—отвечал граф.

—Напротив: ваш долг—находиться подальше от Версаля, поступать так, как было условлено, повиноваться мне, вести себя, как это делают все мои друзья, которых беспокоит моя судьба. Ваш долг—ничего не приносить в жертву моему року, ваш долг—покинуть меня.

—Покинуть вас?—воскликнул граф.

—Да, бежать от меня без оглядки.

—Бежать? А кто же от вас убежал, ваше величество?

—Умные люди.

—Я считаю себя достаточно умным, государыня, поэтому и вернулся в Версаль.

—Откуда?

—Из Парижа.

—Из мятежного Парижа?

—Из Парижа кипящего, опьяненного, кровавого.

Королева положила ладони ему на лицо.

—О, никто, даже вы,—проговорила она,—не приезжает ко мне с добрыми вестями.

—Государыня, при теперешних обстоятельствах вам следует просить у своих посланцев одного—правды.

—Разве то, что вы только что мне сказали, правда?

—Как обычно, ваше величество.

—Вы преданный и отважный человек, сударь.

—Я лишь верный подданный, государыня, и все.

—Сделайте одолжение, сударь, не говорите пока ни слова. Вы приехали в минуту, когда сердце мое разрывается на части,

а все мои друзья впервые в жизни одолевают меня сегодня правдой, которую вы говорили мне всегда. Ох уж эта правда, граф: скрывать ее от меня долее стало невозможно, она во всем—в багровом небе, в воздухе, полном мрачных звуков, в бледных и серьезных лицах придворных. Нет, нет, граф, первый раз в своей жизни не говорите мне правду.

Граф внимательно посмотрел на королеву.

—Все верно,—подтвердила та,—вам известна моя смелость и теперь вы удивлены, не так ли? Погодите, вы еще только начали удивляться.

Г-н де Шарни вопросительно вскинул брови.

—Скоро сами увидите,—с судорожным вздохом проговорила королева.

—Вы страдаете, ваше величество?—спросил граф.

—Нет, сударь, сядьте подле меня, и ни слова более об этой ужасной политике. Постарайтесь сделать так, чтобы я обо всем позабыла.

Граф с печальной улыбкой сел рядом.

Мария Антуанетта положила ему руку на лоб.

—У вас горит лоб,—заметила она.

—Да, в голове у меня целый вулкан.

—А рука у вас ледяная.

И она прижала руку графа к груди.

—Моего сердца коснулся холод смерти,—сказал граф.

—Бедный Оливье! Говорю вам, давайте забудем. Я более не королева, мне никто не угрожает, ко мне не питают ненависти. Нет, я больше не королева. Я женщина, и все тут. Что мне вселенная? С меня довольно любящего сердца.

Преклонив перед королевой колени, граф поцеловал ей ноги с почтением, не меньшим чем то, какое египтяне испытывали к богине Исиде*.

—Ах, граф, единственный мой друг,—пытаясь высвободиться, проговорила королева,—известно ли вам, что преподнесла мне герцогиня Диана?

—Она уезжает за границу,—ни секунды не колеблясь, ответил граф.

—Он угадал!—вскричала Мария Антуанетта.—Угадал! Увы, значит, об этом можно было догадаться?

—Господи, государыня, конечно,—ответил граф.—В такое время можно вообразить что угодно.

—Но почему не уезжаете вы со своим семейством, раз это столь естественно?—воскликнула королева.

—Во-первых, я не уезжаю потому, что искренне предан вашему величеству и дал себе обещание—не вам, государыня, а себе—не оставлять вас ни на миг, пока будет бушевать грядущая буря. Мои братья не уедут потому, что мое поведение—пример для них, и наконец госпожа де Шарни никуда не уедет, поскольку сердечно, как мне кажется, любит ваше величество

* Важнейшая из богинь Древнего Египта, покровительница плодородия и материнства.

—Да, у Андреа благородное сердце,—с заметным холодком сказала королева.

—Вот потому она и не покинет Версаль,—подытожил граф де Шарни.

—Значит, вы будете подле меня,—проговорила королева тем же ледяным тоном, стараясь не дать почувствовать ревность или презрение.

—Ваше величество оказали мне честь и назначили лейтенантом королевской гвардии,—ответил граф.—Мой пост—в Версале, и я не покинул бы его, если бы ваше величество не поручили мне охранять Тюильри. Это вынужденное изгнание, сказали вы мне, и я отправился в изгнание. Графиня де Шарни порицала меня лишь за то—и это известно вашему величеству,—что я с нею не посоветовался.

—Это верно,—так же холодно согласилась королева.

—Сегодня,—упорно продолжал граф,—я счел, что мое место не в Тюильри, а в Версале. Не прогневайтесь, ваше величество, но я нарушил приказ и решил нести службу здесь. Напугана госпожа де Шарни происходящим или нет, хочет она уехать или не хочет—все равно я останусь подле королевы... разве что королева сломает мою шпагу. Что ж, в таком случае, не имея более права сражаться за нее и умереть на паркете Версаля, я всегда смогу отдать за нее жизнь у дверей, на улице.

Столько мужества и преданности было заключено в этих простых, вышедших из глубины сердца словах, что королеве пришлось спуститься с высот гордыни, за которой она пыталась скрыть чувство скорее человеческое, нежели королевское.

—Граф,—сказала она,—не произносите этих слов, не говорите, что умрете за меня, потому что я уверена—вы и впрямь на это способны.

—Напротив, я буду непрестанно их повторять!—вскричал граф де Шарни.—Я буду повторять их повсюду и сделаю, как обещаю, поскольку, боюсь, настало время, когда придется умереть всем, кто выказывал свою любовь к королям.

—Граф, граф, откуда столь роковые предчувствия?

—Увы, государыня,—покачав головой, отвечал де Шарни,—во времена роковой американской войны я тоже был охвачен лихорадкой, именуемой стремлением к независимости, которая ныне поразила все общество. Я тоже пожелал принять деятельное участие в просвещении рабов, как тогда говорилось, и вступил в масоны, меня приняли в тайное общество вместе с Лафайетом и Ламетами*. Знаете, какова была цель этого общества? Ниспровержение тронов. А его девиз? Три буквы: L. P. D.

—Что же означают эти буквы?

—*Lilia pedibus destrue*—“Попри ногами лилии”.

—И что же вы сделали?

* Ламет, Теодор де (1756—1854)—член Законодательного Собрания Франции; Шарль Мало Франсуа (1757—1832)—его брат, депутат Учредительного Собрания; Александр (1760—1829)—их брат, участник революции.

—Я поступил честно и вышел из общества, но ведь на место одного ушедшего приходили двадцать новых членов. Так вот, то, что происходит сегодня, ваше величество,—это пролог великой драмы, которая тайно, втихомолку готовится уже двадцать лет во главе с людьми, возмущающими Париж, правящими в городской ратуше, сидящими в Пале-Рояле и взявшими Бастилию. Я узнаю лица бывших своих собратьев по обществу. Не следует заблуждаться, государыня: все происходящее свершается не по воле случая, эти события готовила длинная рука.

—О, неужели, мой друг, вы так считаете?—заливаясь слезами, воскликнула королева.

—Не плачьте, государыня, лучше попытайтесь понять,—отвечил граф.

—Понять? Что?—подхватила Мария Антуанетта.—Я королева, повелительница двадцати пяти миллионов человек, которые рождены для того, чтобы мне повиноваться, а вместо этого бунтуют и убивают моих друзей? Нет, этого я никогда не смогу понять.

—И тем не менее вы должны понять, государыня. Ведь для ваших подданных, этих людей, рожденных вам повиноваться, вы сделали врагом, когда повинование стало им в тягость, и, собиравшись с силами, чтобы расправиться с вами,—для этого они и острят свои страшные зубы—они тем временем расправляются с вашими друзьями, которых ненавидят еще сильнее, чем вас.

—Быть может, вы считаете, что они правы, а, господин философ?—властно осведомилась королева; взгляд ее блуждал, ноздри раздувались.

—Увы, ваше величество, они правы,—мягко и ласково ответил граф.—Ведь когда я прогуливаюсь по бульварам на прекрасных английских лошадях, в раззолоченном камзоле и с лакеями, на ливреях у которых серебра больше, чем нужно для пропитания трех семей, ваш народ, эти самые двадцать пять миллионов голодных людей спрашивают себя: чем я все это заслужил—я, такой же человек, как они.

—Заслужили, граф, вот этим!—вскричала королева, схватившись за ручку шпаги де Шарни.—Заслужили этой шпагой, которою ваш отец геройски сражался при Фонтенуа, ваш дед—при Стенкерке, ваш прадед—при Лансе и Рокруа, ваши предки—при Мариньяно, Иври, Азенкуре*. Дворянство служит французскому народу на войне, дворянство ценою собственной крови заработало золото, украшающее их камзолы, и серебро, которым расшиты ливреи их лакеев. Так не спрашивайте же больше, Оливье, как вы служите народу,—вы ведь и сами храбро сражаетесь шпагой, завещанной вам отцами.

—Государыня, государыня,—покачав головой, отозвался граф,—не стоит говорить столько о дворянской крови, в жилах у народа тоже течет кровь—посмотрите, какие ручьи струятся по площади Бастилии, сочтите мертвых, распростертых на обгаренной мостовой, и не забудьте, что их сердца, теперь остывшие, бились столь же благородно, как и у кавалеров,

* Места крупных сражений, данных французам в XV—XVIII вв.

в тот день, когда ваши пушки палили в них, в тот день, когда, взяв в непривычные руки оружие, они пели под обстрелом, чего не делают даже отважнейшие из наших гренадеров. Ах, ваше величество, государыня, не смотрите на меня столь гневно, умоляю вас. Что такое гренадер? Расшитый галунами голубой камзол, а под ним—такое же сердце, как те, о которых я только что вам говорил. Какая разница ядру, которое все крушит на своем пути и несет смерть, чем прикрито сердце: голубым сукном или рубищем? Какая разница пробитому сердцу, что его защищает рубище или сукно? Пришло время поразмыслить над этим, государыня у вас нет более двадцати пяти миллионов рабов во Франции, у вас нет двадцати пяти миллионов подданных, у вас нет даже двадцати пяти миллионов людей—у вас есть двадцать пять миллионов солдат.

—Которые будут сражаться со мною, граф?

—Да, с вами, потому что они сражаются за свободу, а вы стоите между ними и этой самой свободой.

Граф умолк, воцарилось долгое молчание. Первой его нарушила королева.

—Как я ни умоляла вас не говорить мне правды, вы все же ее сказали,—заметила она.

—Увы, ваше величество!—ответил граф де Шарни.—Как бы моя преданность ее ни скрывала, в какие бы покровы мое уважение ее ни облекало, правда, вопреки мне, вопреки вам—взгляните, прислушайтесь, почувствуйте, прикоснитесь, задумайтесь!—правда здесь, всегда здесь, и вам, как бы вы ни старались, уйти от нее не удастся. Усните, усните, чтобы забыться, и она съедет у изголовья вашей постели, будет сновидением, пока вы спите, и действительностью, когда наступит пробуждение.

—Полно, граф, я знаю такой сон, которого она не сможет потревожить,—гордо сказала королева.

—Этого сна я боюсь не больше, чем ваше величество,—отозвался граф,—и желаю не менее вашего.

—Стало быть,—в отчаянье произнесла королева,—в нем наше единственное спасение, так, по-вашему?

—Да, государыня, но не будем ускорять события, не будем обгонять наших врагов: у нас еще будет право забыться этим сном после трудов в дни бури.

Над собеседниками вновь повисло молчание, еще более мрачное, чем прежде.

Так они сидели—друг подле друга. Плечи их соприкасались, и тем не менее их разделяла громадная пропасть: мысли их плыли в разные стороны по волнам будущего.

Королева первая вернулась к предмету разговора, однако сделала это окольным путем. Пристально глядя на графа, она проговорила:

—Послушайте, сударь, еще несколько слов. Но вы должны сказать мне все—понимаете?—все.

—Я слушаю, ваше величество.

—Можете вы поклясться, что явился сюда только ради меня?

—И вы еще сомневаетесь!

—Вы можете поклясться, что госпожа де Шарни вам не писала?

—Она? Мне?

—Дело вот в чем: я знаю, что она собиралась уехать, что у нее появилась какая-то мысль. . . Поклянитесь, граф, что вы вернулись не из-за нее.

В этот миг кто-то постучал или, вернее, поскребся в дверь

—Войдите,—сказала королева.

В дверях появилась камеристка.

—Сударыня,—доложила она,—король изволил отужинать.

Граф бросил на Марию Антуанетту изумленный взор.

—Ну и что?—пожав плечами, уронила она.—Что в этом удивительного? Разве король не должен ужинать?

Оливье нахмурился.

—Передайте королю,—не двинувшись с места, проговорила Мария Антуанетта,—что мне привезли новости из Парижа, и я поделюсь ими с его величеством, когда закончу беседу.

Затем, оборотясь к де Шарни, добавила:

—Продолжим. Теперь, когда король отужинал, он имеет право заняться пищеварением

XXVIII. Оливье де Шарни (окончание)

Эта помеха, лишь ненадолго прервавшая разговор, никак не повлияла на чувство двойной ревности, испытываемой королевой: она ревновала как любящая женщина и как могущественная королева

В результате беседа, которая, казалось, уже стала замирать, разгорелась с новой силой и стала еще более острой: так в бою, после того как немного стихнет первый шквал огня и дело кое-где дойдет до рукопашной, начинается настоящий обстрел, решающий судьбу сражения.

Впрочем, теперь уже и граф стремился поскорее объяснить, и едва затворилась дверь, как он продолжил разговор:

—Вы спрашиваете, не вернулся ли я из-за госпожи де Шарни. Но неужели вы позабыли, ваше величество, об обязательствах, которые мы приняли друг перед другом? Неужели вы не знаете, что я—человек чести?

—Все так,—кивнула королева,—обязательства существуют, вы—человек чести, вы поклялись пожертвовать собою ради моего счастья, и вот эта-то клятва меня и гложет: ведь, жертвовав собою, вы жертвуете и красивой, благородной женщиной, а это ведь тоже преступление.

—Ваше величество, не стоит преувеличивать. Довольно будет, если вы признаете, что я как честный человек сдержал слово

—Вы правы, я, верно, схожу с ума, простите меня.

—Не нужно называть преступлением то, что родилось по воле необходимости и случая. Мы оба сожалеем о моем браке, который лишь один мог спасти честь королевы. Пришлось покориться, что я и делаю вот уже четыре года.

—Да,—воскликнула королева,—но неужели вы думаете, что я не вижу вашего горя, не понимаю вашей печали, принявшей форму самого глубокого почтения? Неужели вы думаете, что не вижу всего этого?

—Умоляю, ваше величество,—поклонившись, проговорил граф,—скажите мне, что вы видите, и если я недостаточно страдаю сам и заставляю страдать других, то я удвою зло, причиняемое мне и всем окружающим, и тогда уж буду знать наверняка, что никогда в жизни мне не удастся достойно возблагодарить вас за все, что вы для меня сделали.

Королева протянула графу руки. Слова этого человека обладали необоримой силою, как все, что исходит от честного и любящего сердца.

—Приказывайте же, государыня,—продолжал он,—заклинаю вас, приказывайте без колебаний.

—Да, да, я знаю, что неправда, простите меня, все это правда. Но если у вас спрятан где-то идол, которому вы тайно курите фимиам, если где-то на свете у вас есть обожаемая женщина... Но нет, я не смею более произносить это слово, оно страшит меня, я начинаю сомневаться, как только звуки, из которых оно состоит, доносятся по воздуху до моих ушей. Так вот, если она существует, спрятанная от всего мира, не забудьте, что у вас есть долг перед всеми, долг, публично принятый вами на себя перед окружающими и перед самим собой,—молодая и красивая жена, которую вы окружаете ухаживаниями и заботами, жена, которая опирается на вашу руку, а значит, и находит поддержку в вашем сердце.

Оливье нахмурился, и чистые линии его лица на секунду исказились.

—Чего вы требуете, ваше величество?—спросил он.—Чтобы я удалил от себя графиню де Шарни? Молчите? Значит, дело именно в этом? Что ж, я готов исполнить это приказание, но вы же знаете—она одна в целом свете! Она сирота, ее отец, барон де Таверне, скончался в прошлом году, как благородный дворянин старых времен, который не захотел видеть все то, что происходит во времена нынешние. Ее брат? Вам прекрасно известно, что ее брат, шевалье де Мезон-Руж, появляется самое большее раз в год, чтобы обнять сестру, поклониться вашему величеству и снова умчаться неизвестно куда.

—Да, все это мне известно.

—Поймите, ваше величество, ведь если Господу будет угодно призвать меня к себе, графиня де Шарни сможет в тот же день вновь принять свое девичье имя, и даже чистейший ангел на небесах не найдет в ее сновидениях и помыслах ни одного слова, ни одного имени, ни одного воспоминания, связанного с теми годами, что она была замужем.

—О, да, да,—согласилась королева,—я знаю, что ваша Андреа—ангел во плоти, что она заслуживает того, чтобы ее любили. Потому-то я и думаю, что будущее принадлежит ей, а от меня ускользает. О нет, граф, нет, молчите, заклиная вас, больше ни слова. Я говорю с вами не как королева, простите меня. Я забылась, но что поделаешь? В душе у меня есть голос,

поющий о счастье, радости, любви на фоне других, мрачных голосов, которые нашептывают о беде, войне, смерти. Это голос моей юности, моей уже пережитой юности. Простите меня, Шарни, но никогда больше я не буду молодой, не смогу улыбаться, не смогу полюбить.

Несчастливая женщина устремила горящий взор на свои тонкие, исхудавшие руки, на пальцах которых бриллиантами сверкали августейшие слезинки.

Граф снова упал на колени.

—Государыня, ради Бога,—воскликнул он,—прикажите мне оставить вас, уехать, умереть, только не плачьте, я не могу этого видеть!

Произнеся эти слова, де Шарни сам чуть не разрыдался.

—Это конец,—проговорила Мария Антуанетта, выпрямившись и с печальной улыбкой тихонько покачала головой.

Прелестным жестом она отбросила назад свои густые напудренные волосы, и они рассыпались по ее лебедино-белой шее.

—Да, да, это конец,—продолжала королева.—Я не стану больше вас огорчать, оставим эти глупости. Боже, как странно: женщина так слаба, а королеве между тем так нужно быть сильной. Так, значит, вы из Парижа? Вернемся к нему. Вы мне что-то рассказывали, но я позабыла. Это ведь серьезно, не так ли, господин де Шарни?

—Будь по-вашему, государыня, вернемся к нашему разговору. Вы правы: то, что я вам сказал, весьма серьезно. Все верно, я приехал из Парижа, где на моих глазах рухнула королевская власть.

—Я была права, вызвав вас на серьезный разговор, вы готовы к нему всегда, господин де Шарни. Одно удавшееся выступление черни вы назвали крахом королевской власти. Да полно вам! Поскольку Бастилия пала, вы утверждаете, господин де Шарни, что королевской власти пришел конец. А вы задумались над тем, что Бастилия существует с четырнадцатого века, а королевская власть на земле насчитывает уже шесть тысяч лет?

—Я хотел бы обладать способностью строить иллюзии, государыня,—отвечал граф,—и вместо того, чтобы огорчать ваше величество, мог бы сообщить вам самые обнадеживающие вести. Но, к сожалению, музыкальный инструмент издает лишь те звуки, для которых он предназначен.

—Ну, ну, сейчас я вам помогу, хоть я и женщина, я выведу вас на путь истинный.

—Увы, другого я и не желал бы.

—Итак, парижане взбунтовались, не правда ли?

—Да.

—И какая же их часть приложила руку к мятежу?

—Примерно двенадцать человек из каждых пятнадцати.

—Как вам удалось сосчитать?

—О, это просто: двенадцать пятнадцатых всей нации составляет народ, две пятнадцатые приходятся на дворянство и одна пятнадцатая—на духовенство.

—Подсчет точен, граф, вы, я смотрю, считаете превосходно. Вы читали господина и госпожу де Неккер?

—Господина де Неккера читал, ваше величество.

—Так вот, у них очень хорошо сказано: "Предают только свои",—весело проговорила королева —А вот как считаю я. Хотите послушать?

—Буду польщен.

—Из двенадцати пятнадцатых шесть приходится на женщин, верно?

—Да, ваше величество, однако...

—Не перебивайте. Итак, шесть пятнадцатых—женщины, остается еще шесть. Положим, две пятнадцатые—немошные старики и безразличные, это не слишком много?

—Отнюдь.

—Остаются четыре пятнадцатые, из которых—вы не станете возражать—две—это трусы и умеренные. Я и так льщу французской нации. Пусть оставшиеся две пятнадцатые—люди разъяренные, крепкие, храбрые и воинственные. И так, у нас получилось, что две пятнадцатые населения Парижа—мятежники. Я говорю "Парижа", потому что только его следует принимать в расчет, о провинции говорить не будем, ладно?

—Да, государыня, однако...

—Опять вы со своим "однако". Погодите, я отвечу вам позже.

Г-н де Шарни поклонился.

—Две пятнадцатые населения Парижа,—продолжала королева,—это сто тысяч человек, согласны?

На сей раз граф промолчал.

Королева заговорила снова:

—Ну вот. Против этих ста тысяч—плохо вооруженных, недисциплинированных, не привыкших воевать, неуверенных, поскольку они знают, что поступают дурно, я выставяю пятьдесят тысяч солдат, известных всей Европе своей отвагой, под предводительством офицеров вроде вас, господин де Шарни. Кроме того, на моей стороне такое священное понятие, как божественное право, и, наконец, моя душа, которую легко расторгать, но очень трудно сломить.

Граф продолжал хранить молчание.

—Неужели же вы думаете,—гнула свое королева,—что при таких условиях два человека из народа стоят в бою больше, чем один мой солдат.

Шарни не проронил ни звука.

—Отвечайте же, что вы об этом думаете!—в нетерпении воскликнула королева.

—Государыня,—начал граф, оставляя наконец по приказу королевы почтительную сдержанность, с которой он ее слушал,—на поле битвы ваши пятьдесят тысяч солдат разобьют сто тысяч неорганизованных, недисциплинированных и плохо вооруженных людей за полчаса.

—Вот видите?—обрадовалась королева.—Я все-таки права.

—Погодите, все обстоит не так, как вы думаете. Начнем с того, что мятежников в Париже не сто тысяч, а пятьсот.

—Пятьсот тысяч?

—Вот именно. В своих подсчетах вы не учли женщин и детей. О, королева Франции! О, гордая и отважная женщина! Парижанок вы должны приравнять к мужчинам и, возможно, придет день, когда они заставят вас приравнять их к демонам.

—О чем вы, граф?

—Ваше величество, знаете ли вы, какую роль может сыграть женщина в гражданской войне? Не знаете. Что ж, придется вам объяснить, и вы увидите, что два солдата против одной женщины—это еще мало.

—Да вы с ума сошли, граф!

Шарни печально улыбнулся и спросил:

—А вы видели, как у Бастилии, под огнем и под свист пуль, они звали к битве, грозили кулаками вашим вооруженным до зубов швейцарцам, выкрикивали над трупами проклятия таким голосом, от которого живые подскакивали, как ошпаренные? Вы видели, как они варили смолу, подкатывали орудия, подавали отважным патроны, а более робким—патроны вместе с поцелуем? А знаете ли вы, что по подъемному мосту Бастилии прошло столько же мужчин, сколько и женщин, что если в эту минуту рушатся стены Бастилии, то с помощью кирок, зажатых в женских руках? Ах, государыня, берите в расчет парижских женщин, берите и не забывайте о детях, которые льют пули, точат сабли, бросают булыжники с седьмого этажа. Не забудьте о них, ведь отлитая ребенком пуля издали настигнет вашего любимого генерала, наточенная им сабля будет перерезать поджилки лошадям вашей кавалерии, а упавший с неба слепой камень разможжит голову вашему драгуну или гвардейцу. Примите во внимание и стариков, ваше величество: если они не в силах поднять шпагу, то вполне способны служить в качестве шитов. На площади Бастилии были и старики; знаете, как поступали эти старики, которых вы не берете в расчет? Становились перед молодыми бойцами, опиравшими свои ружья им о плечо, так что пули ваших швейцарцев убивали бессильных стариков, своею грудью прикрывавших полных сил воинов. Не забывайте о стариках, ваше величество: это они вот уже триста лет рассказывают молодым, как дичь, за которой охотятся дворяне, травит их посевы, как постыдно их сословие сгибается под гнетом феодальных привилегий, а потом молодые хватаются за топоры, дубины, ружья—все, что попадет под руку, и идут убивать, уподобляясь орудиям, заряженным проклятиями стариков, словно пушки железом и порохом.

—Три сотни спартанцев разбили армию Ксеркса, господин де Шарни.

—Да, но сегодня три сотни спартанцев—это восемьсот тысяч, а ваши пятьдесят тысяч солдат—армия Ксеркса.

Королева подняла сжатые кулаки, лицо ее искажилось от гнева и стыда.

—О, пусть я лишусь трона,—вскричала она,—пусть меня растерзают на кусочки ваши пятьсот тысяч парижан, но я не желаю слышать такие слова от Шарни, преданного мне человека.

—Если он и говорит вам такие слова, государыня, то лишь потому, что в его крови нет ни одной капли, недостойной предков, и вся она принадлежит вам.

—Тогда пусть он выступит на Париж со мною вместе, и пусть мы оба там погибнем.

—Погибнем постыдно,—подхватил граф,—и даже, быть может, без борьбы. Нам не удастся вступить в сражение, мы просто исчезнем, как когда-то филистимляне или амалекитяне. В поход на Париж! Да знаете ли вы, что как только мы войдем в Париж, его дома обрушатся нам на головы, словно волны Красного моря на фараона, и от вас во Франции останется лишь проклятое всеми имя, а дети ваши будут убиты, как волчата.

—Так как же я должна низвергнуться с престола?—заносчиво осведомилась королева.—Научите, прошу вас.

—Как жертва,—с почтением ответил г-н де Шарни,—как теряет трон королева,—улыбаясь и простив тех, кто нанес ей удар. Ах, будь у вас пятьсот тысяч человек, я сказал бы вам: "Вперед, в поход, сей же ночью, сей же миг, и завтра вы будете владычествовать в Тюильри, завтра вы вернете себе трон".

—Значит, и вы в отчаянии,—воскликнула королева,—вы, моя главная надежда!

—Да, я в отчаянии, государыня, потому что вся Франция думает так же, как Париж, и даже если ваша армия одержит там победу, она все равно будет раздавлена Лионом, Руаном, Лиллем, Страсбуром, Нантом и прочими жаждущими вашей крови городами. Полно, ваше величество, мужайтесь и вложите шпагу в ножны.

—Ну да,—заметила королева,—наверное, именно для того я и собрала вокруг себя столько смелых людей, именно для того я и вдохновляла их на подвиги.

—Вы не согласны со мною, сударыня? Так, прикажите, и мы этой же ночью двинемся на Париж. Только прикажите.

В этих словах графа было заключено столько преданности, что они напугали королеву сильнее, чем если бы он стал возражать. В полной безысходности она бросилась на диван и долго лежала, борясь с собственной гордостью.

Наконец она подняла голову и проговорила:

—Стало быть, вы желаете, граф, чтобы я оставалась в бездействии?

—Я уже имел честь дать совет вашему величеству.

—Я ему последую. Возвращайтесь.

—Увы, государыня, неужели я вас рассердил?—спросил граф, печально и с неопишуемой любовью глядя на королеву.

—Нет. Дайте вашу руку.

Граф, поклонившись, протянул королеве руку.

—Я должна вас выбрать,—пытаясь улыбнуться, сообщила Мария Антуанетта.

—За что же, ваше величество?

—Как за что? У вас, оказывается, есть брат-офицер, а я узнаю об этом случайно!

—Я вас не понимаю.

—Сегодня вечером некий молодой офицер из гусаров Бершени...

—А, брат Жорж!

—Почему вы никогда не говорили мне об этом молодом человеке? Почему он в столь малом чине?

—Потому что он еще слишком молод и неопытен, потому что еще не заслужил быть большим командиром, потому, наконец, что если ваше величество соизволили снизить до меня, Шарни, и удостоить своею дружбой, это еще не повод, чтобы моя семья жила в ущерб множеству честных дворян, гораздо более достойных, нежели мои братья.

—Так у вас есть еще один брат?

—Да, государыня, и он тоже готов умереть за ваше величество.

—Он ни в чем не нуждается?

—Ни в чем, государыня. Мы счастливы тем, что можем положить к ногам вашего величества не только свои жизни, но и состояние.

Едва он произнес эти слова, как королева, тронутая его порядочностью и деликатностью, и сам граф, все еще трепещущий от ее изящества и величия, вдруг, вздрогнули, услышав из соседней комнаты стон.

Королева вскочила, подбежала к двери, распахнула ее и громко вскрикнула.

Там, на ковре, в страшных судорогах корчилась женщина.

—Это графиня!—шепотом сказала она де Шарни.—Она нас слышала!

—Нет, ваше величество,—ответил тот,—иначе она предупредила бы ваше величество, что ей все слышно.

С этими словами он бросился к Андреа и поднял ее на руки.

Королева стояла в двух шагах—похолодевшая, бледная, дрожащая от волнения.

XXIX. Втроем

Андреа начала приходить в себя. Она уже понимала, что ей пришли на помощь, хотя не могла еще разобрать, кто именно.

Тело ее распрямилось, руками она вцепилась в неожиданную опору.

Однако ее рассудок не вернулся к жизни вместе с телом: несколько минут ошеломленная Андреа еще колебалась между сном и бодрствованием.

Приведя жену в чувство, г-н де Шарни попытался привести в порядок и ее рассудок. Однако в объятиях у него лежала молчаливая безумица.

Наконец ее блуждающий взгляд остановился на графе, но будучи еще не в себе и не узнав его, Андреа вскрикнула и принялась отталкивать мужа.

В течение всего этого времени королева стояла, отведя глаза в сторону. Она—женщина, чье предназначение заключалось

в том, чтобы утешить страждущую, придать ей силы,—она старалась не обращать на нее внимания.

Несмотря на сопротивление Андреа, граф де Шарни крепко обнял ее и, повернувшись к королеве, напряженно стоявшей с ледяным выражением лица, проговорил:

—Простите, ваше величество, но с нею явно приключилось нечто необыкновенное. Госпожа де Шарни не имеет обыкновения падать в обморок, я впервые вижу ее без сознания.

—Она, должно быть, очень страдает,—ответила королева, возвращаясь к мрачной мысли о том, что Андреа слышала весь их разговор.

—Разумеется, страдает,—согласился граф,—и поэтому я прошу у вашего величества разрешения отправить ее домой. Ей необходим женский уход.

—Будь по-вашему,—не стала возражать королева и потянулась к сонетке.

Но, услышав звяканье колокольчика, Андреа напряглась и как безумная вскричала:

—Жильбер! Это Жильбер!

Королева вздрогнула; обескураженный граф уложил жену на диван.

В этот миг в комнату вошел явившийся на вызов слуга.

—Ничего не надо,—сказала королева, отсылая его назад движением руки.

Оставшись одни, граф и королева переглянулись. Андреа вновь закрыла глаза; казалось, у нее снова начался приступ.

Г-н де Шарни, стоя на коленях, удерживал ее на диване.

—Жильбер,—повторила королева.—Что это за имя?

—Нужно выяснить.

—Кажется, я его уже слышала,—продолжала Мария Антуанетта.—По-моему, графиня уже произносила его в моем присутствии.

Словно почувствовав, несмотря на беспамятство, угрозу в этих словах королевы, Андреа вдруг открыла глаза, воздела руки к мужу и с усилием встала на ноги.

Ее первый, на сей раз осмысленный взгляд устремился на графа де Шарни: она его узнала, и в глазах у нее засветилась любовь.

Затем, как будто это невольное проявление чувств было недостойно ее спартанской души, Андреа отвела взор и увидела королеву.

Ни секунды не колеблясь, она отвесила ей поклон.

—Боже, да что с вами случилось, сударыня?—воскликнул г-н де Шарни.—Вы меня напугали. Вы, обычно такая сильная, мужественная,—и вдруг падаете в обморок.

—Сударь,—ответила Андреа,—в Париже происходят столь ужасные дела, что даже мужчины дрожат, а женщинам уж тем более позволительно лишиться чувств.

—Боже милостивый!—с ноткой сомнения в голосе заметил Шарни.—Неужели вам сделалось дурно из-за меня?

Андреа перевела взгляд с мужа на королеву и промолчала.

—Но, разумеется, дело в этом, граф. Почему вы сомневаетесь?—вмешалась в разговор Мария Антуанетта.—Графиня—не королева, она имеет право беспокоиться за своего мужа.

Шарни почувствовал скрытую за этими словами ревность.

—О, ваше величество,—отозвался он,—я уверен, графиня гораздо более беспокоится за свою государыню, нежели за меня.

—Но каким образом и почему вы лишились чувств в этой комнате, графиня?—осведомилась Мария Антуанетта.

—Я этого объяснить не могу, ваше величество, сама не знаю. Но ведь при этой жизни, полной усталости, страха и тревог, что мы ведем вот уже три дня, для женщины, как мне кажется, вполне естественно упасть в обморок.

—Это верно,—прошептала королева, видя, что Андреа не собирается ни в чем сознаться.

—Ведь и у вашего величества глаза повлажнели,—заметила Андреа со странным спокойствием, которое не покидало ее с того момента, как она пришла в себя, и в сложившихся обстоятельствах выглядело неуместным, поскольку было явно видно, что оно лишь напускное и за ним кроются вполне человеческие чувства.

И в этих словах графу почудилась насмешка, какую несколько секунд назад он заметил в словах королевы.

—Сударыня,—обратился он к Андреа несколько строго, к чему явно не привык,—ничего нет удивительного в том, что в глазах у королевы слезы,—ее величество любит свой народ, а ведь недавно проливалась народная кровь.

—Слава Богу, что не ваша, сударь,—проговорила Андреа, все такая же холодная и непроницаемая.

—Да, но ее величество ведет речь не обо мне, а о вас, сударыня. Так что давайте с позволения королевы вернемся к вам.

Мария Антуанетта в знак согласия кивнула.

—Вы испугались, не так ли?

—Я?

—Вам ведь сделалось плохо, не отрицайте. Стало быть, с вами что-то произошло, но что? Я не знаю, вы должны рассказать.

—Вы заблуждаетесь, сударь.

—Кто-то вызвал ваше недовольство, какой-нибудь мужчина?

Андреа побледнела.

—Никто не вызывал моего недовольства, сударь, я пришла от короля.

—Прямо от него?

—Прямо от него, можете справиться у его величества.

—Если так,—сказала Мария Антуанетта,—значит, графиня права. Король ее очень любит и знает, что я тоже слишком к ней привязана, чтобы хоть чем-нибудь огорчить.

—Но вы же произнесли имя,—продолжал настаивать Шарни.

—Имя?

—Ну да, когда начали приходить в себя.

Андреа взглянула на королеву, словно прося о помощи, но та то ли не поняла, то ли не пожелала понять, и подтвердила:

—Да, вы произнесли имя некоего Жильбера.

—Жильбера? Я произнесла имя Жильбера?—воскликнула Андреа со столь заметным ужасом, что граф испугался его даже сильнее, нежели ее обморока.

—Да,—подтвердил он,—вы произнесли это имя.

—В самом деле?—удивилась Андреа.—Вот странно.

Словно небо, только что разорванное вспышкой молнии, лицо молодой женщины, исказившееся было при звуке рокового имени, постепенно вновь обрело свое обычное выражение, и лишь какой-то мускул на этом прекрасном лице продолжал едва заметно подрагивать, как замирают на горизонте сполохи ушедшей грозы.

—Жильбер?—повторила она.—Не знаю.

—Да, Жильбер,—подтвердила королева.—Постарайтесь припомнить, любезная Андреа.

—Но, ваше величество,—обратился граф к Марии Антуанетте,—это, вероятно, простая случайность, графине такое имя неизвестно.

—Нет, отчего же,—возразила Андреа,—оно мне известно. Это имя одного ученого, искусного врача, прибывшего из Америки, который, кажется, был там связан с господином де Лафайетом.

—И что же?—спросил граф.

—А то,—очень естественно отозвалась Андреа,—что я лично с ним незнакома, но мне говорили, что человек он весьма достойный.

—Откуда же тогда такое волнение, милая графиня?—полюбопытствовала королева.

—Волнение? Разве я волновалась?

—Еще как! Казалось, это имя доставляет вам мучения.

—Это не исключено, и дело тут вот в чем. У короля в кабинете я увидела одетого в черное человека с суровым лицом, говорившего о мрачных и ужасных вещах: он весьма живо описывал убийство господина Делоне и господина де Флесселя. Я была напугана и лишилась чувств, как вы видели. Возможно, я что-то при этом бормотала и произнесла имя этого самого господина Жильбера.

—Возможно,—согласился г-н де Шарни, явно не желавший продолжать расспросы.—Но теперь вы успокоились, не так ли?

—Вполне.

—В таком случае я хочу попросить вас кое о чем, граф,—проговорила королева.

—К услугам вашего величества.

—Пойдите разыщите господ де Безанваля, де Броли и де Ламбеска и велите им оставить свои части там, где они сейчас и находятся, а завтра король на совете решит, что делать дальше.

Граф поклонился, но прежде чем выйти, еще раз взглянул на Андреа.

Взгляд его был полон беспокойства и нежности.

Он не укрывался от внимания королевы.

—Графиня,—спросила она,—вы не пойдете со мною к королю?

—Нет, ваше величество, не пойду,—поспешно ответила та.

—Почему?

—Я прошу ваше величество разрешить мне удалиться к себе: я ощущаю потребность в отдыхе после всех этих переживаний.

—Признайтесь откровенно, графиня: между вами и его величеством что-то произошло?—настаивала королева.

—Ничего, государыня, совершенно ничего.

—Сознайтесь, если это так. Порою король не щадит моих друзей.

—Его величество по обыкновению был очень добр ко мне, но...

—Но вы предпочитаете его не видеть, да? Нет, тут решительно что-то не так, граф,—с напускной шутливостью заключила королева.

Но в этот миг Андреа бросила на королеву такой выразительный, умоляющий и многозначительный взгляд, что та поняла: пора кончать с этой маленькой войной.

—Вот что, графиня,—предложила она,—пусть господин де Шарни выполняет данное ему поручение, а вы отправляйтесь к себе или, если хотите, оставайтесь здесь.

—Благодарю, ваше величество,—промолвила Андреа.

—Ступайте же, господин де Шарни,—продолжала королева, увидев признательность, изобразившуюся на лице Андреа.

Не заметив или не желая замечать это выражение, граф взял жену за руку и выразил радость по поводу того, что к ней вернулись силы и цвет лица.

Затем, отвесив королеве полный глубокого уважения поклон, он удалился.

Однако уже уходя, он обменялся с Марией Антуанеттой быстрым взглядом.

Взгляд королевы говорил.

“Возвращайтесь поскорее”.

Взгляд графа отвечал:

“Постараюсь”.

Андреа же с тяжелым сердцем следила за каждым движением мужа.

Казалось, она всю свою волю старалась ускорить неторопливый и полный благородства шаг, которым он шел к двери, чуть ли не подталкивая его взглядом.

И лишь только дверь за ним затворилась и он скрылся из вида, как силы, собранные Андреа, чтобы справиться с положением, покинули ее: лицо побледнело, ноги подкосились, и она рухнула в стоявшее поблизости кресло, рассыпаясь перед королевой в извинениях за подобное нарушение этикета.

Мария Антуанетта подбежала к камину, взяла флакон с нюхательной солью и поднесла его к носу Андреа. На этот раз графиня пришла в себя гораздо быстрее—не столько благодаря августейшим заботам, сколько с помощью собственной силы воли.

Между обеими женщинами происходило нечто странное. Королева, казалось, любила Андреа, та отвечала ей искренним уважением, и между тем порою они казались не любящей королевой и преданной слугою, а врагами.

Итак, благодаря своей душевной силе Андреа быстро справилась со слабостью. Она встала, с почтением отстранила руку королевы и, склонив голову, попросила:

—Ваше величество позволит мне удалиться к себе?

—Разумеется, любезная графиня, вы всегда вольны делать, что вам угодно, этикет вас не касается. Но разве вы не хотите мне что-то сказать, прежде чем уйти?

—Я, государыня?—удивилась Андреа.

—Да, вы.

—Нет. А о чем я должна вам сказать?

—Об этом самом господине Жильбере, который произвел на вас столь сильное впечатление.

Андреа вздрогнула и лишь отрицательно покачала головой.

—В таком случае я вас больше не задерживаю, милая Андреа, вы свободны.

С этими словами королева направилась к двери в будуар, который примыкал к комнате.

Андреа, сделав безупречный реверанс, двинулась к выходу.

Но в тот миг, когда она уже собралась открыть дверь, в коридоре зазвучали шаги, и кто-то взялся за ручку с той стороны.

Одновременно послышался голос Людовика XVI, отдававшего перед отходом ко сну распоряжения своему камердинеру.

—Это король, государыня,—проговорила Андреа, отступая от двери.—Это король.

—Ну да, король,—согласилась Мария Антуанетта.—Чего вы так испугались?

—Ради всего святого, государыня!—воскликнула Андреа.—Сделайте так, чтобы я не встретилась с королем, чтобы он меня не увидел, хотя бы сегодня вечером, иначе я умру от стыда!

—Но можете вы в конце концов мне сказать...

—Все, что захочет знать ваше величество. Только спрячьте меня.

—Ступайте ко мне в будуар,—решила Мария Антуанетта.—Выйдете оттуда, когда король отправится к себе. Не волнуйтесь, вы пробудете там недолго: король здесь не задерживается.

—О, благодарю, ваше величество!—воскликнула графиня.

Она бросилась в будуар и скрылась из вида в тот миг, когда Людовик XVI уже отворял дверь в комнату.

Король вошел.

XXX. Король и королева

Королева, окинув быстрым взглядом комнату, любезно ответила на приветствие короля.

Затем король протянул ей руку.

—Какому счастливому случаю,—поинтересовалась Мария Антуанетта,—я обязана вашим визитом?

—Действительно случаю, вы правильно выразились, сударыня. Я повстречал Шарни, и он доложил мне, что идет по вашей просьбе успокоить всех наших вояк. Ваше мудрое решение так меня порадовало, что я не мог пройти мимо ваших покоев и не поблагодарить вас.

—Да,—отвечала королева,—я поразмыслила и решила, что будет гораздо лучше, если мы дадим войскам отдохнуть и не станем провоцировать междоусобную войну.

—Что ж, в добрый час,—согласился король,—мне приятно, что у вас сложилось такое мнение. Впрочем, я и так надеялся, что смогу вас к нему подвести.

—Как видите, ваше величество, особенно трудиться вам не пришлось, я сама пришла к этому решению.

—Прекрасно! Вы, я вижу, рассуждаете уже почти здраво, а когда я ознакомлю вас с кое-какими своими соображениями, вы станете вполне здравомыслящей.

—Но если мы придерживаемся одного мнения, государь, то к чему мне ваши размышления?

—О, не беспокойтесь, сударыня, я не собираюсь завязывать с вами спор: вы же знаете, я люблю их не больше вашего; мы просто побеседуем. Разве вам не приятно иногда обсудить со мной дела Франции, как добрые супруги обсуждают домашние дела?

Последние слова Людовик произнес с добродушием, которое он порою себе позволял.

—О, государь, напротив, весьма приятно,—откликнулась королева,—но самый ли удачный момент вы изволили выбрать?

—Полагаю, да. Вы же сами только что сказали, что не желаете военных действий.

—Верно, сказала.

—Однако причину не объяснили.

—Но вы и не спрашивали.

—А вот теперь спрашиваю.

—Причина проста: бессилие.

—Вот видите! Будь вы сильнее, вы начали бы войну.

—Будь я сильнее, я сожгла бы Париж.

—А я-то был уверен, что вы не желаете войны по тем же причинам, что и я.

—Каковы же ваши причины?

—Мои?—повторил король.

—Да, ваши,—не уступала Мария Антуанетта.

—У меня лишь одна причина.

—Какая же?

—А вот какая. Я не хочу воевать с народом, потому что считаю, что народ прав.

Мария Антуанетта не смогла сдержать удивленный жест.

—Прав?—воскликнула она.—Народ прав, что поднял восстание?

—Ну конечно.

—Прав, что взял Бастилию, убил ее губернатора, городского прево, уничтожил столько наших солдат?

—Господи, да разумеется!

—Так вот каковы ваши размышления!—вскричала королева.—И с ними-то вы и хотели меня ознакомить?

—Они пришли мне в голову, я и сказал.

—Пришли в голову во время ужина?

—Ну вот,—огорчился король,—опять вы хотите свести все к еде. Вы никак не хотите мне простить, что я не теряю аппетита, вы желаете видеть меня поэтичным и воздушным. Но что делать—у меня в семье все привыкли есть. Генрих Четвертый не только ел, но и любил приложиться к бутылке, великий и поэтичный Людовик Четырнадцатый ел в три горла, король Людовик Пятнадцатый, желая вкусно поесть, сам готовил себе пирожки и заставлял госпожу Дюбарри варить ему кофе. Что поделать—когда я голоден, я не могу терпеть, поэтому приходится идти по стопам своих предков—Людовика Пятнадцатого, Людовика Четырнадцатого и Генриха Четвертого. Если вы согласитесь, что иначе я не могу, будьте снисходительны, если же считаете это пороком—простите.

—Но, государь, признайте...

—Что я не должен есть, когда голоден? Нет,—спокойно покачив головой, проговорил король.

—Я не об этом, я говорю о народе.

—А-а...

—Вы должны признать, что народ неправ.

—Неправ, что поднял восстание, не более того. Давайте посмотрим, что у нас за министры. Сколько из них за время нашего правления действительно заботились о народном благе? Двое: Тюрго и господин де Неккер. Вы с вашей компанией заставили их прогнать. Из-за одного разразился бунт, из-за другого, быть может, вспыхнет революция. Теперь поговорим о других. Очаровательные люди, не так ли? Господин де Морепа, креатура моих тетушек и сочинитель песенок! Но петь должны не министры, петь должен народ. Господин де Калонн? Он славится лишь своими острыми словечками. Придите к нему как-нибудь и попросите о чем угодно, и он вам ответит: "Если это возможно, считайте, что это уже сделано, если невозможно—значит, будет сделано". А такое словечко стоит народу миллионов сто. Поэтому не удивляйтесь, что он находит его не столь остроумным, как считаете вы. Поймите же, сударыня: если я держу при себе тех министров, что обирают народ, и гоню тех, кто его любит, то тем самым вовсе его не успокаиваю и не прививаю ему любовь к правительству.

—И поэту он имеет право бунтовать? Не вздумайте высказать эту мысль прилюдно! Нет, ей-Богу, я рада, что вы изволили высказаться лишь в моем присутствии. Что было бы, если бы вас услышали!

—Да, да,—отозвался король,—все это я уже выучил наизусть. Я прекрасно знаю, что, услышь меня все эти ваши Полиньяки, Дре-Брезе, Клермон-Тоннеры, Куаньи, они лишь пожалели бы плечами у меня за спиной. Но все они мне жалки, эти

Полиньяки, которые обдирают вас как липку, тем самым позорят, и которым вы в одно прекрасное утро подарили графство Фенестранж, стоившее вам миллион двести тысяч ливров; эти Сартины, которым я пожаловал пенсию в девяносто тысяч ливров и которые получили от вас двести тысяч ливров в качестве вспомоществования; этот принц Цвейбрюккенский, которому вы принудили меня дать девятьсот сорок пять тысяч ливров для уплаты долгов; эти Мари де Лаваль и госпожа де Маньенвиль, получившие по восемьдесят тысяч ливров пенсия; Куаньи, облагодетельствованный как только возможно, который однажды, когда я решил уменьшить ему жалованье, зажал меня в угол между дверьми и отдубасил бы, не сделай я так, как он хотел. Это же все ваши друзья, не так ли? Нечего сказать, вот друзья так друзья. Сейчас я вам кое-что скажу хотя вы и не поверите, что это правда: если бы все эти ваши друзья были не при дворе, а в Бастилии, народ стал бы ее укреплать, а не разрушать.

—О!—не сдержав гневного жеста, выдохнула королева.

—Говорите что угодно, но так оно и есть,—безмятежно отозвался Людовик XVI.

—Ничего, скоро у вашего любимого народа не будет повода ненавидеть моих друзей, потому что они покидают страну.

—Как, они уезжают?—вскричал король.

—Вот именно, уезжают.

—Полиньяк со своими женщинами?

—Да.

—Слава тебе Господи, тем лучше!—воскликнул король.

—Как это тем лучше? Как это слава тебе Господи? И вы нисколько не сожалеете?

—Нисколько, пусть едут. Может быть, им не хватает денег на отъезд? Я дам им денег, и они-то впустую не пропадут, уверяю вас. Скатертью дорога, господа! Скатертью дорога, сударины!—с очаровательной улыбкой заключил король.

—О да, разумеется,—проговорила королева.—Вы, я вижу, одобряете трусов.

—Ага, значит вы все-таки отдаете им должное?

—Но они же не уезжают,—вскричала королева,—они дезертируют!

—Какая разница, главное, чтоб их здесь не было.

—Какая низость, подумать только! Это ведь ваши родственники им насоветовали.

—Мои родственники посоветовали всем вашим фаворитам уехать? Никогда бы не подумал, что они настолько мудры. А кто, скажите, в моем семействе оказал мне эту услугу—я хочу его поблагодарить.

—Ваша тетушка Аделаида и братец д'Артуа.

—Мой брат д'Артуа! А не кажется ли вам, что он и сам последует собственному совету? Неужели он тоже уедет?

—А почему бы и нет?—поддела короля Мария Антуанетта.

—Да услышь вас Господь!—воскликнул Людовик XVI.—Пусть господин д'Артуа уезжает, я скажу ему то же, что и другим: скатертью дорога, братец, скатертью дорога!

—Как! Собственному брату?—изумилась Мария Антуанетта.

—Хоть он и брат, но ведет себя неподобающе. Я знаю, этому мальчику не занимать остроумия и отваги, но он безмозгл: строит из себя утонченного французского принца времен Людовика Тринадцатого, а на самом деле—сплетник и наглец, который компрометирует вас, супругу Цезаря.

—Цезаря?—с едкой иронией переспросила королева.

—Или Клавдия*, если это вам больше по вкусу,—отозвался король.—Вы же знаете, сударыня, что Клавдий, как и Нерон, тоже был цезарем.

Королева опустила голову. Такое историческое хладнокровие привело ее в замешательство.

—Клавдий,—тем временем продолжал король,—раз уж вы предпочитаете его Цезарю, однажды вечером, как вам известно, был вынужден закрыть версальские ворота, чтобы проучить вас за то, что вы вернулись во дворец слишком поздно. Этим уроком вы обязаны графу д'Артуа. Так что жалеть о нем я не стану. Что же до моей тетушки—вам самой все о ней известно. Еще одна особа, достойная быть родственницей Цезаря. Но о ней я молчу, поскольку она моя тетушка. Если она уедет, то и по ней я плакать не стану. Точно так же, как и по графу Прованскому. Неужто вы полагаете, что я буду по нему скучать? Он уезжает? Скатертью дорога.

—Нет, он не говорит, что собирается ехать.

—Очень жаль. Видите ли, дорогая моя, граф Прованский на мой вкус слишком уж хорошо знает латынь и вынуждает меня разговаривать по-английски, чтобы не ударить перед ним лицом в грязь. Это ведь он навязал нам на шею Бомарше, своею волей засадив его не то в Бисетр, не то в Фор-Левек, не знаю точно куда, за что господин де Бомарше достойно нам отплатил. Значит, граф Прованский остается? Тем хуже, тем хуже. Знаете, государыня, из вашего окружения я знаю лишь одного порядочного человека—господина де Шарни.

Королева залилась краской и отвернулась.

—Мы говорили о Бастилии,—помолчав немного, продолжал король.—Вы, кажется, сожалели, что она пала?

—Но вы хотя бы сядьте, ваше величество,—предложила королева.—По-моему, вы хотите еще многое мне сказать.

—Нет, благодарю вас, я предпочитаю беседовать на ходу. Я это делаю ради своего здоровья, до которого никому нет дела: ем-то я хорошо, а вот перевариваю плохо. Известно вам, что в эту минуту говорят обо мне? "Король поужинал и теперь спит". А вы сами видите, как я сплю. Я расхаживаю перед вами, пытаюсь переварить свой ужин и беседуя о политике с собственной женой. Ах, сударыня, это искупление!

—Что же вы искупаете, скажите на милость?

* В Древнем Риме имя Цезаря (Юлия) стало императорским титулом. Жена Клавдия Мессалина прославилась своим чудовищным распутством.

—Я искупаю грехи века, козлом отпущения которого я являюсь; искупаю госпожу де Помпадур, госпожу Дюбарри, Олений парк; искупаю беднягу Латюда*, вот уже тридцать лет гниющего в тюрьмах и в страданиях обретающего бессмертие. Вот кто должен ненавидеть Бастилию! Бедный мальчик! Ах, сударыня, сколько я наделал глупостей, глядя сквозь пальцы на глупости других! Я позволял преследовать философов, экономистов, ученых, литераторов. Господи, ведь этим людям так хотелось меня любить! Если бы они меня полюбили, то сделались бы счастьем и славой моего правления. Вот господин Руссо, к примеру, столь противный де Сартину и прочим. Я видел его однажды—знаете, в тот день, когда вы пригласили его в Трианон. Он был в плохо вычищенной одежде, это правда, с длинной бородой, это тоже правда, в остальном же—весьма достойный человек. Вот если бы я в своем просторном сером кафтане и со сползшими наполовину чулками подошел к нему и сказал: "А что, господин Руссо, не пособирать ли нам мхи в лесу Виль-д'Авре?"

—И что дальше?—с видом крайнего презрения перебила королева.

—А то, что господин Руссо не написал бы "Савойского викария" и "Общественный договор".

—Да знаю я все эти рассуждения,—сказала Мария Антуанетта.—Вы человек осторожный и боитесь народа, как пес хозяина.

—Нет, как хозяин пса. Должен же он знать, что пес его не укусит. Сударыня, когда я прогуливаюсь с Медором—пиренейским сторожевым псом, которого подарил мне испанский король, я горжусь его дружбой. Смейтесь, если угодно, но этот самый Медор, не дружи он со мною, растерзал бы меня своими громадными белыми зубищами, это точно. Ну, я и говорю ему: "Медор умница, Медор хороший"—и он принимает меня лизать. Клыкам я предпочитаю язык.

—Ладно, ладно, потакайте революционерам, ласкайте их, бросайте им куски пирога.

—Вот так я и буду делать, других намерений у меня нет, уж поверьте. Да, решено: соберу немного денег и попробую умилостивить этих господ, точно церберов. И тот же господин де Мирабо...

—Вот-вот, расскажите мне и об этом диком звере.

—Сейчас за пятьдесят тысяч ливров в месяц он превратится в Медора, но если мы будем чего-то ждать, это, возможно, уже будет стоить полмиллиона.

С жалостью в голосе королева засмеялась.

—Потакать таким людям!—воскликнула она.

—Господин Байи,—продолжал король,—сделавшись министром искусств—я для забавы собираюсь образовать и такое министерство,—господин Байи будет еще одним Медором.

* Латюг, Жан Анри (1725—1805)—авантюрист, из-за распри с маркизой де Помпадур просидевший в тюрьмах тридцать пять лет.

Простите, сударыня, что я придерживаюсь не вашего мнения, а мнения моего предка Генриха Четвертого. Политик он был каких поискать, и я хорошо помню его слова.

—И что же он говорил?

—Он говорил, что мух на укус не ловят.

—Санчо тоже говорил это или что-то похожее.

—Но Санчо сделал бы народ Баратарии счастливым, если бы Баратария существовала.

—Государь, ваш предок Генрих Четвертый ловил не только мух, но и волков, свидетельством тому—маршал де Бирон*, которому он велел отрубить голову. Поэтому он имел право говорить все, что взбретет на ум. А рассуждая, как он, и поступая при этом по-своему, вы лишаете королевскую власть престижа, которым только она и жива, вы порочите сам ее принцип. Что же станет с королевским величием? Я знаю, "величие"—всего лишь слово, но в этом слове содержатся все королевские добродетели: кто уважает, тот любит, кто любит, тот повинуется.

—Что ж, давайте говорить о величии,—с улыбкой перебил король,—давайте. Вы, например, обладаете большим величием, чем кто бы то ни был, я не знаю в Европе ни одного человека, включая вашу матушку Марию Терезию, кто довел бы науку величия до таких высот, как это сделали вы.

—Понимаю, вы хотите сказать, что мое величие не мешает французскому народу испытывать ко мне омерзение.

—Я не говорю об омерзении, милая Антуанетта,—мягко возразил король,—но вас ведь и в самом деле любят далеко не так, как вы того заслуживаете.

—Государь,—ответила глубоко оскорбленная королева,—вы, словно эхо, повторяете все, что говорится. А между тем я никому не причинила зла, напротив, делала много добра. Почему же меня так ненавидят? Почему не любят? Быть может, дело в том, что есть люди, которые целыми днями твердят: "Королеву не любят"? Вам же прекрасно известно, что достаточно одному голосу сказать так, как сотни голосов примутся повторять, а где сто, там недалеко и до десяти тысяч. Ну а за ними твердит весь свет: "Королеву не любят"! И в результате ее не любят лишь потому, что один человек сказал: "Королеву не любят".

—Боже!—пробормотал король.

—Вот вам и Боже!—подхватила королева.—Меня не очень-то волнует народная любовь, но я полагаю, что моя непопулярность преувеличена. Я не купаюсь в дифирамбах, это верно, но в свое время народ меня обожал, а поскольку он делал это слишком горячо, то теперь ненавидит.

—Постойте, сударыня,—перебил король,—вы еще не знаете всей правды и поэтому заблуждаетесь. Мы ведь говорили о Бастилии, не так ли?

—Говорили.

* Бирон, Шарль (1562—1602)—маршал Франции, составивший заговор против Генриха IV и казненный.

—Так вот, в Бастилии есть большая комната, где хранятся написанные против вас книги. Думаю, что теперь это все сгорело.

—И в чем же меня упрекают в этих сочинениях?

—Поймите, сударыня, я вам не обвинитель и не судья. Когда такой памфлет появляется, я приказываю забрать все отписки и отправить их в Бастилию. Однако некоторые из этих пасквилей попадают мне в руки. Вот, к примеру,—добавил король, похлопав себя по карману кафтана,—один из них сейчас при мне—отвратительное сочинение.

—Покажите!—вскричала королева.

—Не могу,—возразил король,—там есть гравюры.

—И вы дошли до того,—проговорила королева,—до такой степени ослепления и слабости, что даже не пытаетесь добраться до источника всей этой гнусности?

—Да я только тем и занимаюсь, что пытаюсь до них добраться, начальники моей полиции уже поседели на этом.

—Так, стало быть, вам известен автор этой мерзости?

—По крайней мере один—автор книжонки, что у меня с собой. Это господин Фурт, у меня в кармане лежит его расписка на двадцать две тысячи пятьсот ливров. Дело того стоит, вы видите, что я не скаредничаю.

—Но другие! Другие!

—Знаете, часто это просто бедняги, прозябающие в Англии или Голландии. Человека дергают, терзают, он раздражается, начинает искать, думая, что обнаружит крокодила или змею и убьет, раздавит чудовище—ничего подобного: в результате он находит лишь насекомое, такое ничтожное, мелкое и грязное, что не рискует до него дотронуться, даже чтобы наказать его.

—Великолепно! Но если вы не рискуете дотрагиваться до насекомых, обвините хотя бы в лицо того, кто их разводит. В самом деле, государь, можно подумать, что Филипп Орлеанский—солнце.

—Вот как!—вскричал король, хлопнув в ладоши.—Вот мы и добрались до Филиппа Орлеанского! Ну, что ж, ссорьте меня с ним!

—Хорошенькое дело, государь! Поссорить вас с вашим врагом!

Король пожал плечами.

—Вот видите, как вы все перетолковываете,—проворчал он.—Герцог Орлеанский! Вы на него нападаете, а он прибыл из Парижа в Версаль в мое распоряжение, чтобы сразиться с мятежниками. Филипп Орлеанский—мой враг! В самом деле, сударыня, вы испытываете к нему просто непостижимую ненависть.

—Да знаете, почему он здесь появился? Потому что боится, как бы среди всеобщего замешательства о нем не позабыли, потому что он трус.

—Опять вы за свое,—укорил король.—Он трус, который это все затеял. Вы велели написать в своих газетенках, будто

он испугался при Уэссане*, вы хотели его опозорить. Это была клевета, сударыня. Филипп не испугался. Филипп не сбежал. Если б он пустился в бегство, то не был бы Орлеаном. Они все люди отважные, это всем известно. Глава их семейства, который был, казалось, скорее потомком Генриха Третьего, чем Генриха Четвертого, был смелым человеком, несмотря на маршала д'Эффиа и шевалье де Лоррена**. Он бросил вызов смерти в битве при Касселе***. Конечно, регента**** можно упрекнуть кое в чем в рассуждении нравственности, но он дрался при Стенкерке, Нервиндене и Альмансе как простой солдат. Давайте будем лучше недооценивать его заслуги, если вам угодно, сударыня, но и напраслину возводить не станем.

—Ваше величество готовы оправдать всех революционеров. Вы еще увидите, что вам придется заплатить за это. Если я и жалею о падении Бастилии, то только из-за него: мне обидно, что в нее сажали преступников, а он там так и не побывал.

—Ну, если бы герцог Орлеанский сидел в Бастилии, хорошо бы мы сейчас выглядели,—заметил король.

—А в чем дело?

—Вы же знаете, сударыня, что народ носил по улицам его бюст и бюст Неккера, увенчанные цветами.

—Знаю.

—Это значит, что, выйдя из Бастилии, Филипп Орлеанский стал бы королем Франции, сударыня.

—Должно быть, вы и это находите справедливым,—с горькой иронией уронила Мария Антуанетта.

—Еще бы! Пожимайте плечами, сколько вам будет угодно. Чтобы правильно судить о других, я становлюсь на их точку зрения. С высоты трона народ не разглядишь, поэтому я спускаюсь до него и задаю себе вопрос: будь я горожанин или сельский житель, неужели бы я стерпел, что сеньор считает меня своим товаром наравне с коровами и курами? Будь я земледельцем, разве смог бы я снести десять тысяч голубей сеньора, каждый из которых склевывает ежедневно по десять зернышек пшеницы, овса или гречихи, то есть в общей сложности около десяти буасо***** моего кровного барыша; смог бы я снести его кроликов и зайцев, объедающих мою люцерну, его кабанов, выгаптывающих мою картошку? А его сборщики податей, отнимающие у меня десятину, а он сам, ласкающий мою

* Уэссан—место морского сражения между англичанами и французами в 1778 г.

** Имеется в виду Филипп, герцог Орлеанский (1640—1701), брат Людовика XIV. Д'Эффиа и шевалье де Лоррен—его фавориты. Как и король Генрих II, Филипп Орлеанский отличался противоположными склонностями.

*** В битве при Касселе герцог Орлеанский в 1677 г. разбил войска принца Оранского.

**** Имеется в виду Филипп, герцог Орлеанский (1674—1723), регент Франции в 1715—1723 гг., кутила и распутник.

***** Старинная французская мера сыпучих тел, равная 12,5 литра.

жену и дочерей, а король, забирающий моих сыновей на войну, а священник, в минуту гнева призывающий проклятия на мою душу?..

—Ну-ну, государь,—перебила королева, сверкая очами,—берите кирку и ступайте разрушать Бастилию!

—Вот вы смеетесь,—ответил король,—а я пошел бы, честное слово, не выгяди это нелепо: король берется за кирку, когда может сделать то же самое одним росчерком пера. Да, я взялся бы за кирку, и мне бы рукоплескали—как я рукоплещу тем, кто на это способен. Полно вам, сударыня, те, кто разрушает Бастилию, оказывают услугу мне, а вам и подавно, ведь теперь вы не сможете по прихоти своих друзей бросать честных людей в темницу.

—Честные люди в Бастилии? Я велю бросать туда честных людей? Быть может, и господин де Роган—честный человек?

—Не будем говорить о нем, я же не его имею в виду. Да нам и не удалось его туда засадить, поскольку парламент тут же велел его выпустить. К тому же, Бастилия—не место для князя церкви, сегодня туда сажают фальшивомонетчиков, а что, я вас спрашиваю, делать там фальшивомонетчикам и ворам? Разве мало в Париже тюрем, которые обходятся мне недешево, куда можно было бы отправлять этих злодеев? Ну ладно, подделыватели и воры—еще куда ни шло. Худо другое: туда бросают порядочных людей.

—Порядочных?

—Ну да, сегодня я как раз видел одного порядочного человека, который был туда посажен и вышел совсем недавно.

—Когда?

—Сегодня утром.

—Вы видели человека, который сегодня утром вышел из Бастилии?

—Я только что с ним расстался.

—Кто он?

—Некто, кого вы знаете.

—Я его знаю?

—Да.

—И как же зовут вашего "некто"?

—Доктор Жильбер.

—Жильбер?—воскликнула королева.—Тот самый, кого назвала Андреа, когда приходила в себя?

—Вот именно. Я, по крайней мере, уверен, что это он.

—И этот человек был в Бастилии?

—Можно подумать, вам ничего об этом не известно, сударыня.

—И вправду ничего.

Однако, увидев удивление на лице короля, Мария Антуанетта добавила:

—Впрочем, возможно, я что-то запомнила...

—Вот-вот!—вскричал король.—Когда творится несправедливость, всегда кто-то о чем-то забывает. Но если вы и запомнили доктора и причину его ареста, то госпожа де Шарни все прекрасно помнит, ручаюсь вам.

—Государь!—возмутилась королева.

—Между ними явно что-то произошло,—продолжал король.

—Ваше величество, помилосердствуйте!—воскликнула королева, бросив тревожный взгляд в сторону будуара, откуда Андреа могла все услышать.

—Ну да,—засмеялся король,—вы боитесь, как бы сюда не пришел Шарни и не узнал обо всем. Бедняга Шарни!

—Государь, умоляю вас! Госпожа де Шарни—воплощенная добродетель, и я, признаюсь, склонна полагать, что скорее этот самый господин Жильбер...

—Вот как?—перебил король.—Вы осуждаете этого честного человека? Я знаю то, что знаю, но плохо вот что: мне известно много, но, увы, не все.

—От вашей уверенности у меня кровь стынет в жилах,—проговорила королева, поглядывая в сторону будуара.

—Однако,—продолжал Людовик XVI,—от ожидания я ничего не потеряю. Начало сулит достойный конец, и я узнаю его от самого Жильбера, потому что теперь он—мой врач.

—Ваш врач? Этот человек—ваш врач? Вы отдаете жизнь короля в руки первому встречному?

—Я доверяю,—холодно парировал король,—своему взгляду, и, уверяю вас, мне удалось проникнуть в самую душу этого человека.

Королева не смогла сдержать гневного и презрительного жеста.

—Пожимайте плечами, сколько вам будет угодно,—сказал король,—но от этого Жильбер не станет менее ученым.

—Очередное ваше увлечение!

—Хотел бы я видеть вас на своем месте. Неужто, хотел бы я знать, господин Месмер не произвел на вас и на госпожу де Ламбаль никакого впечатления?

—Господин Месмер?—зардевшись, переспросила королева.

—Ну да, ведь четыре года назад вы, тайком, побывали на одном из его сеансов. О, моя полиция работает неплохо, я осведомлен обо всем.

С этими словами король нежно улыбнулся Марии Антуанетте.

—Вы знаете все, государь, но умело это скрываете, вы ведь ни разу не говорили со мною об этом.

—А зачем? За эту небольшую вольность в ваш адрес было высказано довольно упреков: сплетниками—устно, газетчиками—с помощью их перьев. Но вернемся к Жильберу и одновременно к Месмеру. Господин Месмер сажал вас подле ванны, прикасался к вам стальной палочкой—в общем, пускался на тысячи ухищрений, как и подобает шарлатану. Жильбер же ничего подобного не делает: он просто протягивает руку к женщине, и она в тот же миг засыпает и во сне начинает говорить.

—Говорить?—со страхом в голосе прошептала королева.

—Вот именно,—ответил король, желая несколько продлить страдания своей супруги.—Да, усыпленная Жильбером, она говорит и говорит, поверьте, вещи довольно странные.

Королева побледнела.

—Госпожа де Шарни говорила странные вещи?—пролепетала она.

—В высшей степени,—подтвердил король.—Ей еще повезло, что...

—Тс-с!—перебила Мария Антуанетта.

—А в чем дело? Я говорю, что ей повезло: ее слова слышал только я.

—Умоляю, государь, больше ни слова!

—Не возражаю, поскольку я буквально валюсь с ног от усталости. Когда я голоден, я ем, а когда меня клонит ко сну—ложусь спать. Спокойной ночи, сударыня, и пусть от нашего разговора у вас останется благоприятное впечатление.

—Какое впечатление, государь?

—Народ прав, разрушая то, что сделали мы и наши друзья, свидетелем тому—мой бедный доктор Жильбер. Прощайте, сударыня, и будьте уверены: узнав о приходе зла, я найду в себе смелость ему воспрепятствовать. Спите спокойно, Антуанетта.

И король направился к дверям.

—Да, кстати,—вернувшись назад, заметил он,—передайте госпоже де Шарни, что она должна помириться с доктором, если, конечно, еще не все потеряно. Прощайте.

С этими словами Людовик медленно вышел из комнаты и закрыл за собою дверь с удовлетворением механика, которому приятно иметь дело с хорошими замками.

Не успел король сделать и десяти шагов по коридору, как графиня выскочила из будуара, подбежала к дверям, заперла их на задвижку, после чего бросилась к окнам и задернула занавески.

Все это она проделала молниеносно, резко, с неистовой и яростной силой.

Затем, убедившись, что их никто не может услышать или увидеть, она с душераздирающими рыданиями бросилась перед королевой на колени и воскликнула:

—Спасите меня, ваше величество! Ради Бога, спасите!

Она помолчала, вздохнула и добавила:

—Я все вам расскажу.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. О чем размышляла королева в ночь с четырнадцатого на пятнадцатое июля 1789 года

Сколько времени длились эти признания, мы не сумеем сказать, но, по-видимому, довольно долго, так как лишь около одиннадцати вечера дверь из будуара королевы отворилась, и на пороге появилась Андреа; присев в глубоком реверансе, она поцеловала руку Марии Антуанетты.

Выпрямившись, молодая женщина утерла покрасневшие от слез глаза, а королева возвратилась тем временем к себе.

Быстрым шагом, словно желая убежать от себя самой, Андреа пошла прочь.

Королева осталась одна. Когда в спальню вошла фрейлина, чтобы помочь ей раздеться, Мария Антуанетта с горящими глазами ходила взад и вперед.

Она махнула рукой, что должно было означать: "Оставьте меня".

Фрейлина не стала настаивать и удалилась.

Оставшись опять в одиночестве, королева запретила себя беспокоить, исключение могло быть сделано только в случае важных вестей из Парижа.

Андреа больше не появлялась.

Что же касается короля, то, побеседовав с г-ном де Ларошфуко, который пытался объяснить ему разницу между мятежом и революцией, он объявил, что устал, лег в постель и заснул так же безмятежно, как если бы был на охоте и олень, как хорошо вымуштрованный придворный, позволил себя настичь у Швейцарских прудов.

Королева же, написав несколько писем, прошла в соседнюю комнату, где под присмотром г-жи де Турзель почивали двое ее детей, и легла, но не уснула, как король, а дала волю своим мыслям.

Однако вскоре, когда Версаль охватила тишина, когда громадный дворец погрузился во мрак, когда в садах слышался лишь скрип песка под ногами часовых, а в коридорах — лишь тихий стук прикладов о мраморный пол, Марии Антуанетте надоело лежать, и, почувствовав желание вдохнуть глоток свежего воздуха, она встала с постели, нащупала ногами бархатные комнатные туфли, закуталась в длинный белый пеньюар и

подошла к окну, чтобы насладиться свежестью, веявшей от фонтанных каскадов, и заодно послушать советы, которые ночной ветерок нашептывает тем, у кого горит лицо и тяжело на сердце.

Она стала перебирать в уме все то неожиданное, что случилось за этот необыкновенный день.

Падение Бастилии, столь осязаемого символа королевской власти, колебания Шарни, ее преданнейшего друга, пылкого пленника, столько лет находившегося у нее в повиновении, пленника, который до сих пор шептал ей лишь о любви, а теперь впервые заговорил о сожалении и угрызениях совести.

Привычка к синтезу, помогающая умному человеку как разобрататься в людях, так и проникать в суть вещей, помогла Марии Антуанетте отыскать две составляющие недавней ее тревоги—политическую драму и сердечные невзгоды.

Политической драмой явилась та потрясающая весть, которая, выйдя за пределы Парижа в три часа пополудни, начала распространяться во все концы страны, подрывая в умах людей священное благоговение, которое испытывали до сих пор к королям—наместникам Господа.

Сердечные же невзгоды заключались в глухом сопротивлении, оказываемом Шарни своей всемогущей и возлюбленной повелительнице. Это было нечто вроде предчувствия: оставаясь верным и преданным, ее возлюбленный прозрел и в любую минуту мог засомневаться в своей верности и преданности.

От этой мысли сердце женщины сжалось и наполнилось горечью, имя которой—ревность и которая словно разъедает тысячи царапинок на израненной душе.

Однако с точки зрения логики сердечные невзгоды не шли ни в какое сравнение с политической драмой.

Поэтому, повинувшись скорее рассудку, чем сердцу, скорее необходимости, чем интуиции, Мария Антуанетта временно пожертвовала душой и отдалась невеселым мыслям об опасности сложившейся политической ситуации.

К кому повернуться? Впереди—ненависть и честолюбие, по сторонам—слабость и безразличие. К врагам? Людям, которые начали с клеветы и стали бунтовщиками? К людям, которые теперь уже не остановятся ни перед чем?

К защитникам? К людям, большая часть которых постепенно привыкла все терпеть и больше не ощущает даже самых глубоких ран?

К людям, которые не хотят ответить ударом на удар из боязни надеть шуму?

Выходило, что следует сделать вид, будто все предано забвению и забыто, однако помнить, сделать вид, что простила, но не простить.

Но это недостойно королевы Франции и тем более дочери Марии Терезии, этой отважной женщины.

Бороться! Бороться!—вот что советовала непокорная королевская гордость. Но будет ли это благоразумно? Разве можно успокоить ненависть пролитой кровью? Разве не ужасно это прозвище—“Австриячка”? Быть может, следует по примеру

Изабеллы и Екатерины Медичи закрепить прозвище, устроив вселенскую резню?

Но если прав Шарни, и успех такого шага весьма сомнителен.

Сражаться и быть побежденной?

Вместе с политической драмой королеву терзали другие печали: в какие-то моменты своих размышлений она почувствовала, как из ее страданий, словно выползающая из вереска змея, которую потревожила чья-то нога, проступает отчаяние женщины, считающей, что ее любят недостаточно, хотя на самом деле ее любят даже слишком.

Шарни наговорил все слышанное нами не по убеждению, а от усталости: как и многие другие, он вместе с королевой испил до дна чашу клеветы. Шарни впервые говорил об Андреа, своей забытой супруге с такой нежностью—неужели он вдруг заметил, что его жена еще молода и хороша собой? При этой мысли, что жгла ее, словно алчный укус аспида, Мария Антуанетта с удивлением обнаружила, что политическая драма—ничто по сравнению с сердечными невзгодами.

В состоянии души этой обреченной на страдания натуры в ту ночь отразилась вся ее судьба.

Как избежать и драмы и невзгод?—спрашивала она себя с непрестанной тревогой. Оставить жизнь королевы и решиться на безмятежное существование посредственности? Вернуться к своему настоящему Трианону и домику в горах, к мирной жизни у озера и тихим радостям молочной фермы? Предоставить всем этим людям делить между собой клочки королевской власти, оставив себе лишь несколько скромных участков земли с сомнительной арендой, взимаемой с нескольких верных людей, которые пожелают остаться ее вассалами? Увы! На этом месте змея ревности укусила королеву особенно чувствительно.

Счастье! Да разве будет она счастлива, постоянно испытывая унижение от того, что ее любовью пренебрегли?

Счастье! Да разве будет она счастлива подле короля, своего вульгарного супруга, не обладавшего и тенью очарования подлинного героя?

Счастье! А найдет ли она счастье подле г-на де Шарни, который будет испытывать блаженство рядом с любимой женщиной, быть может, своею собственной женой?

При этой мысли в сердце бедной королевы зажегся пожар, подобный тому, который опалил Дидону* сильнее, чем костер, на который она взошла.

Но даже в той лихорадочной муке брезжил просвет, даже среди этой лихорадочной тревоги нет-нет да и вспыхивал лучик радости. Не для того ли Господь в своей бесконечной доброте сотворил зло, чтобы люди лучше ценили добро?

* Дидона, по преданию, сестра тирского царя Пигмалиона, бежала от него в Африку и там основала Карфаген. Берберийский царь Ярб воспылал к ней любовью и угрожал Карфагену войною. Чтобы спасти город от разорения, Дидона взошла на костер и пронзила себя кинжалом.

Андреа повинилась королеве во всем, раскрыла перед соперницей позор своей жизни; опустив dolu полные слез глаза, она признала, что недостойна более любви и уважения честного человека. А это означает, что Шарни не может теперь любить Андреа.

Но ведь Шарни не знает и никогда не узнает о происшедшей в Трианоне драме и ее последствиях, а это означает, что для него этой драмы как бы вовсе и не было.

Предаваясь этим размышлениям, королева в зеркале собственной души изучала свою увядающую красоту, утраченную веселость, ушедшую свежесть юности.

Затем мысли ее вернулись к Андреа, к странным, почти невероятным событиям, о которых та поведала.

Королеву изумляла магическая прихоть слепого рока, выхватившего с задворков Трианона, из полутемной хижинки, из грязной фермы юного садовника и связавшего его жизнь с жизнью благородной девушки, судьба которой в свою очередь была связана с судьбою королевы.

— Неужто, — прошептала она, — атом, затерявшийся где-то далеко внизу, силою притяжения высших сил должен, словно осколок бриллианта, слиться с божественным светом звезды?

Юный садовник, Жильбер — не живой ли это символ того, что происходит сейчас: человек из простонародья, из самых низов вмешивается в политику великого королевства, не в этом ли диковинном комедианте по прихоти парящего над Францией злого гения олицетворялись и оскорбление, нанесенное дворянству, и атака плебеев на королевскую власть?

Этот Жильбер, сделавшийся ученым, Жильбер, одетый в черный кафтан третьего сословия, советник г-на Неккера и доверенное лицо короля — вот кто по нелепому капризу революции оказался рядом с женщиной, у которой он однажды ночью, как вор, похитил честь.

Тут королева вновь почувствовала себя женщиной и невольно вздрогнула, вспомнив о мрачной истории, рассказанной Андреа. Королева сочла своим долгом взглянуть в лицо Жильберу и самой попытаться отыскать в его чертах вложенные в них Богом приметы необычного характера. Несмотря на испытываемое ею чувство, заставлявшее королеву радоваться унижению соперницы, ей тем не менее страстно хотелось причинить боль человеку, который заставил женщину так страдать.

Вместе с тем ей хотелось взглянуть — быть может, даже с ужасом восхищения, какое внушают чудовища — на этого необыкновенного человека, который преступным путем подмешал свою подлую кровь к крови французских аристократов, который, казалось, учинил революцию для того, чтобы ему отперли Бастилию, где в противном случае он навсегда забыл бы то, что простолюдным вспоминать не должно.

Этот ход мыслей вновь привел королеву к политическим событиям, и она поняла, что ответственность за все ее муки падает на одного и того же человека.

Конечно, Жильбер и никто иной — причина народного воз-

мущения, пошатнувшего королевскую власть и уничтожившего Бастилию, это из-за его убеждений оружие попало в руки разным там Бийо, Майарам, Эли и Юленам.

Выходит, Жильбер—существо ядовитое и ужасное: ядовитое, поскольку он погубил Андреа, став ее любовником, ужасное—поскольку он способствовал разрушению Бастилии, став ее врагом.

Значит, Жильбера следует изучить, чтобы уметь избегать или, еще лучше, чтобы воспользоваться им.

Любой ценой нужно побеседовать с этим человеком, посмотреть на него вблизи, самой оценить его.

Ночь подходила к концу. Пробило три часа, и заря уже зашевелилась в верхушках деревьев Версальского парка и на мраморе статуй.

Всю ночь королева не сомкнула глаз, взгляд ее блуждал по аллеям, тронутым светлой дымкой.

Тяжелый, беспокойный сон мало-помалу завладевал несчастной женщиной.

Она откинула голову на спинку кресла, в котором сидела у растворенного окна.

Ей снилось, что она гуляет по Трианону, что из куртины вдруг появился гном с жуткой, словно в немецких балладах, улыбкой и что это язвительное чудовище, протягивающее к ней свои скрюченные пальцы,—Жильбер.

Королева вскрикнула.

Ей в ответ прозвучал другой крик.

Он ее разбудил.

Это вскрикнула г-жа де Турзель: войдя к королеве и увидев, как та, полураздетая, стонет в кресле, она не смогла сдержать возглас боли и удивления.

—Королева больна?—вскричала она.—Ваше величество, вам дурно? Позвать врача?

Королева открыла глаза. Предложение г-жи де Турзель вполне отвечало ее любопытству.

—Да, позовите врача,—отозвалась она.—Доктора Жильбера, позовите доктора Жильбера.

—Кто такой доктор Жильбер?—удивилась г-жа де Турзель.

—Новый королевский врач, его назначили только вчера. Кажется, он приехал из Америки.

—Я знаю, о ком говорит ваше величество,—позволила себе вмешаться одна из фрейлин.

—Ну-ну?

—Доктор сейчас в королевской передней.

—Значит, вы его знаете?

—Да, ваше величество,—пролепетала фрейлина.

—Но откуда? Он всего дней восемь или десять назад вернулся из Америки и только вчера вышел из Бастилии.

—Я его увидела...

—Ну, отвечайте же! Где вы его видели?—повелительно проговорила королева.

Фрейлина опустила глаза.

—Ну, так скажете вы или нет, где его видели?

—Государыня, я читала его сочинения и заинтересовалась их автором. И сегодня утром я попросила, чтобы мне его показали.

—Вот как,—с неопишуемой смесью надменности и сдержанности заметила королева.—Тем лучше! Раз вы его знаете, передайте ему, что мне худо и что я желаю его видеть.

В ожидании врача королева велела войти остальным фрейлинам, переоделась в домашнее платье и принялась поправлять прическу.

II. Королевский врач

Через несколько минут после того как королева высказала свое желание, бывшее для ее фрейлин законом, Жильбер, удивленный, слегка встревоженный и глубоко смущенный, что, впрочем, никак по нему не было заметно, предстал перед Марией Антуанеттой,

Благородная и уверенная осанка, изысканная бледность человека ученого и к тому же не лишнего воображения, для которого научные занятия—вторая натура, бледность, подчеркнутая черной одеждой третьего сословия, бывшей в ходу не только у его депутатов, но и у людей, принявших революционные убеждения и считавших долгом ее носить, тонкие белые руки хирурга, выглядывавшие из простого плоеного муслина, стройные, изящные ноги столь совершенной формы, что никто при дворе не мог похвастаться лучшими даже перед знатоками из Эй-де-Беф, и вместе с тем сдержанное уважение к женщине, спокойная отвага по отношению к королеве—вот несколько быстрых и верных штрихов, которые Мария Антуанетта с ее аристократическим умом сумела подметить в докторе Жильбере, когда перед ним отворилась дверь в королевскую спальню.

Хотя Жильбер держал себя совершенно не вызывающе, в королеве нарастал гнев. В ее представлении это был отвратительный человек, она вполне естественно и почти невольно считала его одним из тех наглецов, каких часто видела вокруг себя. Виножник страданий Андреа, недоучившийся воспитанник Руссо, ублюдок, ставший человеком, садовник, ставший врачом, обиратель гусениц с деревьев, сделавшийся философом и ловцом душ, он невольно представлялся Марии Антуанетте человеком с чертами Мирабо—личности, которую она ненавидела сильнее всех на свете после кардинала де Рогана и Лафайета.

Пока она не увидела Жильбера, ей казалось, что такая громадная воля должна быть облечена в материальную оболочку гиганта.

Но когда перед нею предстал молодой человек, прямой, худощавый, со стройной изящной фигурой и мягким приветливым лицом, она тут же обвинила его еще и в том, что он лжет своею внешностью. Жильбер, простолудин неизвестного происхождения, Жильбер, крестьянин, презренный деревенщина, был в глазах королевы виновен в том, что присвоил себе обличье человека благородного и порядочного. Гордая австрияч-

ка, заклятый враг всяческой лжи, возмутилась и мгновенно почувствовала яростную ненависть к этому ничтожеству, которого многочисленные обиды сделали ее недругом.

Близким королеве людям, привыкшим читать у нее в глазах и в часы затишья и в минуты бури, было ясно видно, что в глубине ее души бушует гроза с громами и молниями.

Но разве способен человек, пусть даже фрейлина, в таком вихре ярости и гнева разобраться в странных и противоречивых чувствах, которые сталкивались в мозгу королевы и наполняли ей грудь всеми смертельными ядами, описанными Гомером?

Королева взглядом отпустила всех, включая г-жу де Мизери.

Дамы вышли.

Дождавшись, когда за последней из них закроется дверь, королева перевела взгляд на Жильбера и увидела, что он не отрываясь смотрит на нее.

Подобная дерзость вывела ее из себя.

Взгляд врача с виду был совершенно безобиден, но так пристален, так полон скрытого умысла, так тяжел, что Мария Антуанетта почувствовала, что ей следует дать отпор подобной назойливости.

—Ну, сударь,—заговорила она, и голос ее прозвучал резко, как пушечный выстрел,—что это вы тут стоите и смотрите на меня, вместо того чтобы сказать мне, отчего я плохо себя чувствую?

Столь резкое замечание, сопровождаемое вдобавок летящими из глаз молниями, сразило бы наповал любого придворного, заставило бы упасть к ногам Марии Антуанетты и молить ее о пощаде даже маршала Франции, даже героя и полубога.

Однако Жильбер лишь невозмутимо ответил:

—Врач, государыня, судит прежде всего по глазам. Глядя на ваше величество, изволившее меня пригласить, я не тешу пустое любопытство, а выполняю свою работу, повинуюсь вашему приказанию.

—Значит, вы меня изучали?

—Насколько это в моих силах, ваше величество.

—Ну и что, я больна?

—В точном значении этого слова нет, однако ваше величество находится в состоянии крайнего возбуждения.

—Вот оно что,—язвительно заметила Мария Антуанетта.—Что же вы просто не говорите, что я гневаюсь?

—С позволения вашего величества должен сказать, что вы изволили позвать медика, а медик изъясняется с помощью медицинских терминов.

—Пусть будет так. А откуда у меня это крайнее возбуждение?

—Ваше величество слишком умны, чтобы не знать, что врач благодаря своему опыту и знаниям угадывает лишь телесный недуг, но он не колдун, чтобы с первого взгляда проникать в глубины человеческой души.

—Вы хотите сказать, что со второго или третьего взгляда сумеете определить не только, чем я больна, но и что у меня на уме?

—Возможно, государыня,—холодно согласился Жильбер.

Королева вздрогнула и осеклась, хотя с губ ее уже готовы были сорваться резкие и едкие слова.

—Придется вам поверить,—процедила она,—вы ведь человек ученый.

Последние слова она произнесла с такою невыразимой иронией, что теперь гнев вспыхнул в глазах у Жильбера.

Но ему хватило и секунды внутренней борьбы, чтобы овладеть собой.

С безмятежным лицом Жильбер почти сразу же непринужденно ответил:

—Ваше величество весьма добры—вы присвоили мне звание ученого человека, даже не испытав меня.

Королева закусила губу.

—Как вы понимаете, мне неизвестно, учены вы или нет,—парировала она,—но так говорят, и я повторяю вслед за всеми.

—Полно, ваше величество,—почтительно сказал Жильбер, отвечивая еще более низкий, чем прежде, поклон,—стоит ли такой умной женщине, как вы, слепо повторять то, что говорят люди заурядные.

—Вы имеете в виду народ?—вызывающе осведомилась королева.

—Я имею в виду людей заурядных, государыня,—повторил Жильбер с твердостью, заставившей до глубины сердца содрогнуться женщину, которая неизвестно почему поддалась непонятному волнению.

—Ладно, оставим это,—промолвила она.—Вас считают ученым, вот что главное. И где же вы учились?

—Везде, ваше величество.

—Это не ответ.

—Тогда нигде.

—Это мне нравится уже больше. Значит, вы нигде не учились?

—Как вам будет угодно, ваше величество,—с поклоном согласился Жильбер.—Но все же точнее будет сказать, что везде.

—Ответите вы наконец или нет?—вне себя воскликнула королева.—Умоляю, господин Жильбер, избавьте меня от пустословия!—Затем, словно обращаясь к себе самой, она продолжала:—Везде! Что это такое? Так может сказать шарлатан, знахарь, который пользуется людей на площадях. Вам хочется внушить мне почтение при помощи пустых фраз?

Королева шагнула вперед; глаза ее сверкали, губы подрагивали.

—Где это—везде? Отвечайте же, господин Жильбер!

—Я сказал "везде",—холодно отозвался Жильбер,—потому что я действительно учился везде, государыня: в хижинах и дворцах, в городах и пустынях, на людях и животных, на себе и других, как и положено человеку, которому дорога наука и который находит ее повсюду, где она есть, а значит, везде.

Побежденная королева метнула на Жильбера страшный взгляд, но тот продолжал смотреть на нее с пристальностью, приводящей в отчаяние.

Она круто повернулась и опрокинула маленький столик, на котором стоял ее шоколад в чашке из северского фарфора.

Жильбер видел, как упал столик, как разбилась чашка, но не тронулся с места.

Лицо Марии Антуанетты залилось краской, она поднесла ледяную и влажную руку ко лбу, хотела поднять взгляд на Жильбера, но не осмелилась.

Сама себе она объяснила это презрением к его дерзости.

—А у кого вы учились?—продолжала королева беседу все в том же направлении.

—Я не знаю, как ответить вашему величеству, чтобы не обидеть вас еще сильнее.

Увидев, какое преимущество дал ей Жильбер своим ответом, королева набросилась на него, словно львица на жертву.

—Обидеть меня? Вам?—воскликнула она.—Да что вы такое говорите, сударь? Обидеть королеву! Вы забываетесь, ей-богу! Ах, господин Жильбер, по-видимому, вы изучали французский язык не столь прилежно, как медицину. Людей моего ранга обидеть нельзя, доктор Жильбер, их можно лишь утомить.

Жильбер поклонился и сделал шаг в сторону двери, однако королеве не удалось заметить ни тени гнева или неудовольствия на его лице.

Сама же Мария Антуанетта, трясясь от ярости, сделала резкое движение, желая остановить доктора.

Тот понял.

—Простите меня, государыня,—промолвил он.—Я совершил непростительную ошибку, забыв, что я врач, приглашенный к больной. Простите, ваше величество, это больше не повторится.

Он вернулся на прежнее место и продолжал:

—Мне кажется, что ваше величество на грани нервного припадка. Осмелюсь попросить ваше величество держать себя в руках, иначе вы скоро не сможете владеть собой. Ваш пульс замедлится, кровь прихлынет к сердцу, и ваше величество начнет задыхаться. В этом случае будет благоразумным позвать кого-нибудь из ваших дам.

Королева сделала круг по комнате, села и осведомилась:

—Ведь вас зовут Жильбер, не так ли?

Да, государыня, Жильбер.

—Странно! У меня с юности сохранилось одно воспоминание, которое безусловно глубоко вас обидит, расскажи я о нем. Но это не страшно: вы оправитесь от этой обиды, поскольку вы не только ученый врач, но и серьезный философ.

И королева иронически улыбнулась.

—Вот и славно, государыня,—проговорил Жильбер,—улыбайтесь и попробуйте веселостью обуздать свои нервы—это гораздо лучшее изъяснение разумной воли, нежели попытки приказать себе что-либо. Обуздывайте их, ваше величество, но только не через силу.

Этот медицинский совет был дан с такою учтивой благожелательностью, что королева, чувствуя скрытую в нем иронию, не сочла возможным оскорбиться словами Жильбера.

Опять взявшись за свое, она предприняла новую атаку и сказала:

— Вот о каком воспоминании идет речь ..

Жильбер поклонился, давая знать, что он— весь внимание.

Королева сделала над собою усилие и заглянула ему в глаза.

— Тогда я еще была дофиной и жила в Трианоне. У нас в саду работал мальчик— весь чумазый, в грязи, угрюмый, напоминавший маленького Жан Жака, который полел, копал, обирал своими заскорузлыми лапками гусениц. Звали его Жильбер.

— Это был я, ваше величество,— флегматично сообщил Жильбер.

— Вы?— пренебрежительно переспросила Мария Антуанетта.— Так я была права! Значит, никакой вы не ученый.

— Я полагаю, что раз у вашего величества такая превосходная память, то вы вспомните, сколько лет прошло с тех пор,— ответил Жильбер.— Если я не ошибаюсь, юный садовник, о котором изволил говорить ваше величество, рылся ради куска хлеба в клумбах Трианона в семьдесят втором году. Теперь же у нас восемьдесят девятый год. Значит то, о чем вы говорите, государыня, было семнадцать лет назад. В наше время это срок немалый. Этого более чем достаточно, чтобы превратить дикаря в ученого: при некоторых обстоятельствах душа и разум зреют быстро, словно цветы и травы в теплице, а революция, ваше величество,— это теплица для ума. Ваше величество на меня смотрит и, несмотря даже на остроту взгляда, не замечает, что шестнадцатилетний мальчик стал тридцатитрехлетним мужчиной. Поэтому вы напрасно удивляетесь тому, что невежественный, наивный Жильбер, надышавшись воздухом двух революций, сделался ученым и врачом.

— Невежественный— пускай, но наивный?— в ярости вскричала королева.— Вы, кажется, назвали юного Жильбера наивным?

— Если я ошибся, ваше величество, и наделил этого юношу качеством, каковым он не обладал, то откуда вашему величеству знать, что у него был недостаток, прямо противоположный наивности?

— О, это совершенно другое дело,— помрачнев, ответила королева,— быть может, мы поговорим о нем, но в другой раз. А сейчас давайте лучше вернемся к человеку ученому, образованному и безукоризненному, который стоит передо мною.

Слово "безукоризненный" пришлось Жильберу не по душе, он прекрасно понял, что это лишь новое оскорбление.

— Давайте вернемся,— согласился он,— и пусть ваше величество скажет, с какою целью вы позвали его к себе.

— Вы предложили свои услуги в качестве королевского врача,— ответила Мария Антуанетта.— Но вы должны понимать, сударь, что я слишком дорожу здоровьем своего супруга, чтобы вверять его человеку, которого знаю недостаточно хорошо.

— Да, я предложил свои услуги, отозвался Жильбер,— они были приняты, и у вашего величества не должно возникнуть подозрение относительно моих способностей или усердия.

Прежде всего, я—врач политический, государыня, меня рекомендовал господин де Неккер. Что же до остального, то если я не понадобится государю как политик, то буду ему хорошим врачом—разумеется, настолько, насколько наука о человеке может быть полезна творению Создателя. Но я буду государю не только советчиком и врачом—главное, ваше величество, я буду ему добрым другом.

—Добрый другом?—с новым презрением воскликнула королева.—Вы—друг короля?

—Конечно,—невозмутимо отвечал Жильбер.—А почему бы и нет, ваше величество?

—Ну да, благодаря вашим тайным силам, с помощью оккультных наук,—пробормотала Мария Антуанетта.—Как знать, быть может, нас ждет новая Жакерия или восстание майотенов*, и мы возвратимся назад, в средневековье? Вы вернетесь ко всяким приворотным зельям и колдовству. Вы будете править Францией с помощью волшебства, будете новым Фаустом или Никола́ Фламель**.

—У меня вовсе нет таких намерений, ваше величество

—Нет, как же! Сколько чудовищ, более кровожадных, чем те, что были в садах Армида, более кровожадных, чем даже Цербер, усыпите вы на пороге нашего ада

Произнося слово "усыпите", королева устремила на Жильбера испытующий взгляд.

На сей раз врач невольно покраснел.

Марию Антуанетту это обстоятельство весьма обрадовало: она поняла, что угодила в уязвимое место.

—А вы их усыпите,—продолжала она,—ведь вы учились везде и всему и не преминули, должно быть, изучить науку магнетизма у современных шарлатанов, которые делают сон предательским и выпытывают у людей их тайны, пока те спят.

—Верно, ваше величество,—я много и долго учился под руководством ученого Калиостро.

—Вот-вот, того самого, который занимался сам и учил своих приверженцев заниматься моральным воровством, о котором я только что говорила, того самого, кто—я не боюсь этого слова—самым гнусным образом посредством магнетического сна завладевал душами одних и телами других.

Жильбер понял намек и на сей раз не покраснел, а побледнел. Радость пронизала все существо королевы.

—Я тоже ранила тебя, негодай,—прошептала она,—и уже вижу кровь.

Но Жильбер уже давно научился переживать даже самые сильные чувства, не подавая вида. Он подошел к королеве, дерзко взглянул на нее и проговорил:

* *Жакерия*—крестьянское антифеодалное восстание во Франции в 1358 г. *Восстание майотенов* вспыхнуло в Париже в 1382 г. и было направлено против нового повышения налогов.

** *Фауст*—знаменитый маг и некромант, живший в XVI в. *Никола́ Фламель* (1350—1413)—писец в Парижском университете, которому приписывали занятия алхимией и магией.

—Напрасно вы, ваше величество, ставите под сомнение то, что дала наука мудрым людям, о которых вы говорили,—способность погружать *пациентов*, а не жертв, в магнетический сон; напрасно вы ставите под сомнение их право всеми доступными средствами открывать законы природы, которые, став общепризнанными и объясненными, быть может, перевернут весь мир.

И, подойдя к королеве, он устремил на нее свой властный взгляд, подчинивший совсем недавно впечатлительную Андреа.

При его приближении Мария Антуанетта почувствовала, как по ее жилам пробежала дрожь.

—Позор!—воскликнула она.—Позор тем людям, что злоупотребляют своими темными и таинственными способностями, чтобы отнимать у других души и тела! Позор Калиостро!

—Ах, ваше величество,—с убежденностью в голосе ответил Жильбер,—поостерегитесь осуждать с такою строгостью ошибки, совершаемые людьми.

—Сударь!

—Человеку свойственно ошибаться, любой человек может навредить другому, и если бы не эгоизм каждой отдельной личности, с помощью которого она защищается, мир давно бы превратился в громадное поле битвы. Те, о ком вы говорили,—лучшие люди. Вам могут сказать: они не лучшие, а просто скверные. Но снисходительность, государыня, должна быть тем больше, чем выше судья. Находясь на высоте трона, вы более, чем кто бы то ни было, должны быть снисходительны к ошибкам других. На земном престоле вы должны быть олицетворением ее точно так же, как Господь на престоле небесном—олицетворение милосердия.

—Сударь,—возразила королева,—у меня иной взгляд на свои права и, главное, на свой долг. Я нахожусь на троне для того, чтобы карать и вознаграждать.

—Не думаю, ваше величество. По-моему, вы, женщина и королева, находитесь на троне для того, чтобы утешать и прощать.

—Надеюсь, это не нравоучение, сударь?

—Нет, я лишь отвечаю вашему величеству. Возьмем, к примеру, Калиостро, которого вы только что упомянули и науку которого поставили под сомнение: насколько я помню—а воспоминание это еще более давнее, чем ваши воспоминания о Трианоне—так вот, насколько я помню, однажды в саду замка Таверне он имел случай продемонстрировать дофине Франции эту свою науку. Я не знаю, что это было, государыня, но вы не могли позабыть этот эпизод, поскольку доказательства Калиостро были настолько убедительны, что ваше величество тогда упали в обморок.

Теперь удар нанес Жильбер. Действовал он, надо признать, наугад, однако удар оказался точен: королева смертельно поbleднела.

—Да,—охрипшим голосом проговорила она,—он открыл передо мною видение какой-то отвратительной машины, но я до сих пор так и не знаю, существует ли она на самом деле.

—Я не знаю, что он показал вам, ваше величество,—сказал довольный произведенным эффектом Жильбер,—но знаю, что не следует сомневаться в учености человека, обладающего такой властью над себе подобными.

—Себе подобными?—презрительно хмыкнула королева.

—Ладно, пусть я ошибаюсь,—не стал возражать Жильбер.—Тогда его могущество еще сильнее, раз с помощью страха он заставляет земных владык и королей склонять перед ним головы.

—Позор! Позор тем, я повторяю, кто злоупотребляет человеческой слабостью и доверчивостью.

—Позор тем, кто пользуется наукой, говорите вы?

—Химеры, ложь, низость!

—Что вы хотите этим сказать?—спокойно осведомился Жильбер.

—Хочу сказать, что Калиостро—подлый шарлатан, а его так называемый магнетический сон—преступление.

—Преступление?

—Да, преступление,—продолжала королева,—потому что он вызывает воздействием какого-то зелья, отравлением, которое представляемое мною правосудие должно разоблачать, а совершивших его—карать.

—Ваше величество,—с той же терпеливостью сказал Жильбер,—умоляю вас, будьте снисходительны к заблуждающимся.

—А, так, значит, вы это признаете?

Королева ошиблась: по мягкому тону Жильбера она решила, что он просит за себя самого.

На самом деле Жильберу не хотелось утратить завоеванного преимущества.

—Да будет вам, ваше величество,—проговорил он, широко раскрыв горящие глаза, и королева была вынуждена опустить взгляд, как будто ее ослепил яркий солнечный луч.

Она была весьма озадачена, однако сделала над собою усилие и проговорила:

—Королеву не спрашивают, обижена она или нет. Вам, как новичку при дворе, необходимо это знать. Но вы, кажется, говорили о заблуждающихся и просили снисхождения к ним?

—Увы, государыня,—отвечал Жильбер.—Что такое безупречный человек? Этот тот, кто умеет заключить себя в броню собственной новости, сквозь которую не может проникнуть ничей взор. Именно это часто и называют добродетелью. Так будьте же снисходительны, ваше величество.

—Но в таком случае,—неосторожно заметила королева,—для вас в мире не существует людей добродетельных—ведь вы, сударь, ученик людей, чей взор мог отыскивать истину даже в глубинах сознания, не так ли?

—Это верно, ваше величество.

Королева рассмеялась, даже не пытаясь скрыть звучавшее в смехе презрение.

—О, ради Бога, сударь,—вскричала она,—извольте же наконец вспомнить, что вы разговариваете не на площади с какими-нибудь болванами, мужиками или ура-патриотами.

—Поверьте, государыня, я знаю, с кем говорю,—возразил Жильбер.

—Тогда вам недостает уважения или ловкости. Переберите всю свою жизнь, загляните в глубины совести, которою, несмотря на талант и опыт, работавший повсюду человек вроде вас обладает так же, как и простой смертный, припомните все, что приходило вам на ум низкого, вредоносного, преступного, все, что вы могли совершить жестокого, быть может, даже покушения на злодейство. Не перебивайте меня. И вот когда вы сложите все это вместе, господин доктор, склоните голову, ощутите в себе смирение и не приближайтесь со свойственной вам бесстыдной гордыней к жилищу королей, которые—во всяком случае, пока свыше не будет суждено иначе—назначены Господом для того, чтобы проникать в души злодеев, заглядывать в самые глубины их совести и своей волей безжалостно карать виновных. Вот как вам пристало бы вести себя, сударь. Вам будут благодарны за раскаяние. Поверьте, лучший способ излечить столь больную душу, как ваша, это жить в одиночестве, вдалеке от почестей, создающих у людей ложное представление о собственной значимости. Поэтому я советую вам не приближаться более ко двору и отказаться от обязанностей королевского лекаря. У вас есть пациент, за исцеление которого Бог будет благодарен вам более, чем за кого бы то ни было, этот пациент—вы сами. У древних была поговорка, сударь: "Ipse cura medicus"*.

Вместо того чтобы возмутиться этим предложением, которое даже королева сочла весьма неприятным, Жильбер мягко ответил:

—Ваше величество, я делал уже все то, что вы мне посоветовали.

—Что именно, сударь?

—Я размышлял.

—О себе?

—Да, государыня, о себе.

—И относительно своей совести?

—В основном относительно нее, ваше величество.

—Вы верите, что я достаточно осведомлена о том, что вы там обнаружили?

—Я не знаю, что хочет сказать ваше величество, но, кажется, понял. Скажите: сколько раз человек моего возраста мог успеть согрешить перед Богом?

—Неужто вы заговорили о Боге?

—Да.

—Это вы-то?

—А почему бы нет?

—Так вы же философ. Разве философы веруют в Бога?

—Я говорю о Боге и верую в него.

—И вы не собираетесь уходить с этого места?

—Нет, я остаюсь, ваше величество.

—Господин Жильбер, поберегитесь!

* Врач, исцелись сам (лат)

На лице королевы появилась явная угроза.

—О, ваше величество, я долго раздумывал и пришел к выводу, что я—не хуже любого другого: свои грехи есть у каждого. Эту аксиому я узнал не из книг, а изучая совесть себе подобных.

—Аксиому универсальную и непреложную?—с насмешкой поинтересовалась королева.

—Увы, государыня, если и не универсальную и непреложную, то, по крайней мере, основанную на людских несчастьях и надежно испытанную в глубоком горе. Она настолько верна, что лишь по кругам под вашими утомленными глазами, лишь по борозде, пролеглающей между вашими бровями, лишь по складкам в уголках вашего рта—сокращениям тканей, прозаически называемым морщинами—я могу сказать, ваше величество, сколько тяжелейших испытаний вы перенесли, сколько раз ваше сердце сжималось от тревоги, сколько раз оно наполнялось доверием, чтобы потом быть обманутым.

Я могу сказать вам все это, ваше величество, скажу, когда вам будет угодно, и вы не сможете меня опровергнуть, скажу, устремив на вас всего один взгляд, который все знает и все может прочесть; и когда вы ощутите тяжесть моего взгляда, который будет погружаться вам в душу, словно лот в морские глубины, тогда вы поймете, ваше величество, что я многое могу и что меня следует благодарить за эту мою способность, а не толкать на войну.

Эти слова, в которых явно проглядывала твердая воля Жильбера, бросившего вызов королеве, это полное пренебрежение этикетом в ее присутствии произвели на Марию Антуанетту неизгладимое впечатление.

Ей показалось, будто ледяный туман сковал все ее мысли, она почувствовала, как ненависть ее сменяется страхом, и, уронив вдруг отяжелевшие руки, она отступила назад перед неведомой опасностью.

—Теперь, ваше величество,—продолжал Жильбер, ясно видевший, что происходит с королевой,—вы понимаете: мне ничего не стоит узнать все, что вы скрываете от окружающих и даже от самой себя. Вы понимаете, что мне ничего не стоит усыпить вас прямо на этом стуле, за который вы машинально схватились в поисках опоры.

—Силы небесные!—воскликнула королева с испугом, ощутив непонятную дрожь, пронизавшую ее до самого сердца.

—Стоит мне произнести про себя слово, которое я не хочу произносить,—снова заговорил Жильбер,—стоит мне высказать желание, которое мне не хочется высказывать, и вы в мгновение ока окажетесь в моей власти. Вы сомневаетесь, ваше величество? Не надо, вы подвергаете меня искушению, и если я хоть раз ему поддамся... Но нет, вы уже не сомневаетесь, не так ли?

Королева, откинувшись всем телом назад, задышающаяся и ошеломленная, вцепилась в спинку кресла, отчаянно, изо всех сил пытаясь противостоять натиску Жильбера.

—Поверьте, ваше величество,—продолжал он,—не будь я

почтительнейшим и преданнейшим вашим подданным, смиренно простертым у ваших ног, я убедил бы вас, произведя над вашим величеством весьма тягостный для вас опыт. О, не бойтесь. Повторяю: я покорно склоняюсь, и не столько перед королевой, сколько перед женщиной. Я содрогаюсь при мысли, что хоть чем-то могу вас растревожить, и скорее убью себя, чем стану смущать вашу душу.

—Сударь! Сударь!—выкрикнула королева и вскинула вверх руки, словно желая оттолкнуть Жильбера, который держался шагах в трех от нее.

—А между тем,—проговорил он,—вы велели бросить меня в Бастилию. Вы сожалеете о ее падении только потому, что при этом народ выпустил меня оттуда. В ваших глазах пылает ненависть против человека, которого лично вам упрекнуть не в чем. Погодите, я чувствую, что стоит мне ослабить усилия, с помощью которых я вас сдерживаю, как вы тут же переведете дух и снова начнете сомневаться во мне.

И в самом деле: только Жильбер перестал держать королеву в подчинении взглядом и жестом, как Мария Антуанетта тут же оправилась и снова приняла грозный вид, словно птица, вынутая из-под стеклянного колпака, откуда был выкачан воздух, и пытающаяся опять взмыть в небо и запеть.

—А, вы опять сомневаетесь, издеваетесь, презираете. Хотите, ваше величество, я признаюсь, какая страшная мысль приходила мне в голову? Вот что я чуть было не сделал, ваше величество: я хотел заставить вас открыть мне самые сокровенные ваши заботы, самые жгучие тайны, я хотел заставить вас написать все это прямо тут, за этим столом, на котором сейчас лежит ваша рука, а потом разбудить вас и, когда вы придете в себя, доказать вам с помощью написанного вашей рукою признания, насколько не химерично мое могущество, с такой страстью вами оспариваемое. Я хотел доказать вам, насколько велико терпение—да, терпение и благородство человека, которого вы оскорбляете уже целый час, хотя он не давал вам ни права на это, ни предлога к этому.

—Усыпить меня? Заставить меня говорить во сне?—поблещев, вскричала королева.—И вы на это способны, сударь? Да знаете ли вы, что это такое? Сознаете ли вы, насколько серьезны ваши угрозы? Это—оскорбление августейшей особы. Поразмыслите, сударь: стоит этому преступлению выйти на свет, стоит мне лично им заняться, как я буду вынуждена приговорить преступника к смерти.

—Ваше величество,—ответил Жильбер, наблюдая за неистовым волнением королевы,—не торопитесь прибегать к обвинениям и, главное, к угрозам. Да, я мог бы усыпить ваше величество. Да, я мог бы выведать у женщины все ее секреты, но, поверьте, я мог бы это сделать при других обстоятельствах, но не во время беседы наедине между королевой и подданным, между женщиной и честным незнакомцем. Верно, я мог бы усыпить королеву—нет ничего проще,—но я не позволил бы себе этого и тем более не позволил бы себе заставлять ее говорить, не имея рядом с собою свидетеля.

—Свидетеля?

—Да, государыня, свидетеля, который старался бы как можно точнее запомнить все ваши слова, все ваши жесты, все подробности устроенного мною сеанса, чтобы потом, когда все будет позади, у вас не оставалось ни в чем ни тени сомнения.

—Свидетель!—повторила в испуге королева.—Что еще за свидетель, сударь? Ведь это двойное преступление: у вас появился бы сообщник.

—А если бы этим сообщником оказался король, государыня?—спросил Жильбер.

—Король!—воскликнула Мария Антуанетта с ужасом, который выдавал ее как супругу гораздо сильнее, чем даже признания, сделанные в сомнамбулическом состоянии.—Ах, господин Жильбер! Господин Жильбер!

—Да, король,—невозмутимо подтвердил Жильбер,—ваш супруг, ваша опора, ваш естественный защитник. Король, который по вашему пробуждении, государыня, рассказал бы вам, с каким уважением и вместе с тем гордостью я демонстрировал свою науку высококочтимой государыне.

Проговорив эти слова, Жильбер дал королеве время основательно поразмыслить над ними.

Несколько минут королева пребывала в молчании, в котором слышались лишь ее прерывистые вздохи.

—Сударь,—в конце концов заговорила она,—судя по всему вами сказанному, вы, должно быть, мой смертельный враг.

—Или верный друг, ваше величество.

—Это невозможно, сударь, дружба не может жить рука об руку со страхом или недоверием.

—Дружба, государыня,—подхватил Жильбер брошенную королевой мысль,—может основываться лишь на доверии, внушаемом ее предметом. Вероятно, вы уже сказали себе: человек, стоящий передо мною, не враг, при первой же возможности стремящийся навредить, тем более что он сам запретил себе пользоваться оружием, которым обладает.

—Но можно ли верить тому, что вы говорите, сударь?—настороженно и с тревогою спросила королева, пристально глядя на Жильбера.

—А почему бы вам не поверить мне, государыня, ведь у вас есть доказательства моей искренности?

—Люди меняются, сударь, да еще как.

—Ваше величество, я дал зарок, какой дают относительно обращения с опасным оружием некоторые прославленные люди, отправляясь в путешествие. Я дал себе слово употреблять свои способности только для того, чтобы избежать урона, который мне будет грозить. "Не наносить обиду, но защищаться от нее",—таков мой девиз.

—Увы!—вздохнула со смирением королева.

—Я понимаю вас, ваше величество. Вам тяжело видеть собственную душу в руках врача—это вам-то, у которой она порой возмущалась до такой степени, что чуть не оставляла тело.

Наберитесь смелости, наберитесь доверия. Я хочу быть вашим советчиком, государыня, и уже доказал сегодня свое долготерпение. Я хочу любить вас, ваше величество, и хочу, чтобы вас любили. Я хочу обсудить с вами кое-какие мысли, которые уже высказал королю.

—Берегитесь, доктор!—торжественно проговорила королева,—вы загнали меня в ловушку. Сначала напугали женщину, а теперь решили, что можете властвовать над королевой.

—Нет, государыня,—возразил Жильбер,—я не какой-нибудь там расчетливый пройдоха. У меня есть свои мысли, и я понимаю, что у вас есть свои. Я отвергаю ваше постоянное обвинение в том, что, дескать, я напугал вас с целью подчинить себе ваш разум. Скажу более: вы—первая женщина, в которой я нашел и свойственную женщинам страстность, и чисто мужское властолюбие. Вы способны быть одновременно и женщиной и другом. При необходимости вы можете стать воплощенным человеколюбием. Я восхищаюсь вами и буду вам служить. Я стану служить вам, не требуя за это никакой награды, только чтобы иметь возможность изучать вас, ваше величество. Я пойду даже на большее, государыня: в случае, если я покажусь вам слишком уж неудобным предметом обстановки вашего дворца, если впечатление от сегодняшней встречи не сотрется из вашей памяти—прогоните меня, прошу вас, умоляю, прогоните.

—Прогнать вас?—воскликнула королева с радостью, не ускользнувшей от внимания Жильбера.

—Итак, решено, ваше величество,—с великолепным хладнокровием заключил Жильбер.—Я даже не стану говорить королю то, что собирался сказать, и уйду. Как далеко мне следует уйти, чтобы ваше величество были спокойны?

Королева взглянула на Жильбера, удивляясь в душе подобному самоотречению.

—Я понимаю, о чем думает ваше величество,—заметил тот.—Вы гораздо более осведомлены, чем можно подумать, об испугавших вас таинственных магнетических силах и теперь размышляете, что на расстоянии я, возможно, не стану менее опасен и назойлив.

—Что вы хотите сказать?—удивилась королева.

—Ваше величество, тот, кто пожелает навредить другому с помощью средства, которым вы попрекали моих учителей и меня, может сделать это и с расстояния в сто лье, хоть с трех шагов, хоть с тысячи. Но не бойтесь, государыня, я и попытаюсь не стану.

Королева на какое-то мгновение задумалась, не зная, что ответить этому необыкновенному человеку, заставлявшему ее колебаться даже в самых твердых решениях.

Внезапно из глубины коридора послышались шаги; Мария Антуанетта подняла голову.

—Это король,—проговорила она.—Сюда идет король.

—Так ответьте же, ваше величество: уйти мне или остаться?

—Но...

—Поспешите, государыня, если вам будет угодно, я не попадусь королю на глаза. Вы только укажите мне дверь, в которую мне следует выйти.

—Останьтесь, — решила наконец королева.

Жильбер поклонился, а Мария Антуанетта тем временем смотрела на него во все глаза в надежде, что победа, быть может, отразится на его лице более явственно, чем это было с гневом и тревогой.

Однако Жильбер сохранял невозмутимость.

—Он мог бы на худой конец хоть выразить радость, — пробормотала королева.

III. Совет

По своему обыкновению король вошел быстро и неуклюже.

У него было озабоченное и вместе с тем любопытное выражение, разительно непохожее на ледяную скованность королевы.

Свежесть еще не исчезла с его лица. Рано вставший и гордый прекрасным самочувствием, которое он вдохнул с утренним воздухом, король шумно отдувался, громко топая по паркету.

—Доктор? — спросил он. — Зачем вы позвали доктора?

—Добрый день, государь. Как вы сегодня себя чувствуете? Не устали?

—Я проспал шесть часов, больше я не сплю. Чувствую себя замечательно. Мысль работает четко. А вы немного бледны, сударыня. Мне сообщили, что вы пригласили к себе доктора?

—Вот доктор Жильбер, — ответила королева, отойдя от оконной ниши, где стоял Жильбер.

Лицо короля просветлело, и он воскликнул:

—А, я совсем забыл. Но вы послали за доктором, значит, вам было плохо?

Королева зарделась.

—Вы покраснели? — заметил Людовик XVI.

Щеки королевы запылали.

—Опять какой-то секрет? — осведомился король.

—Какой еще секрет, сударь? — высокомерно ответила вполголоса королева.

—Вы меня не поняли. Я говорю, что вы, у которой есть свои любимые врачи, могли позвать доктора Жильбера с единственной известной мне целью.

—Какой же?

—Вы всегда скрываете от меня, когда вам дурно.

—Вот как? — несколько успокоившись, заметила королева.

—Да, — продолжал Людовик, — но будьте осторожны: господин Жильбер — мое доверенное лицо, и если вы ему что-то расскажете, он непременно мне передаст.

Жильбер улыбнулся и возразил:

—Увольте, государь.

—Вот так королева портит моих людей.

Мария Антуанетта издала тихий смешок, означавший, что ей хочется прервать разговор или что этот разговор ее утомляет. Жильбер все понял, король—нет.

—Послушайте, доктор,—сказал он,—расскажите мне, что вам говорила королева, это ее развлечет.

—Я спрашивала у доктора,—вмешалась Мария Антуанетта,—почему вы так рано пригласили его к себе. Присутствие его в Версале утром озадачивает меня и тревожит.

—Я подждал доктор, —помрачнел король,—чтобы побеседовать с ним о политике.

—А, прекрасно,—заметила королева.

С этими словами она уселась поудобнее и приготовилась слушать.

—Пойдемте, доктор,—сказал король, направляясь к двери.

Жильбер отвесил королеве глубокий поклон и двинулся вслед за Людовиком XVI.

—Куда же вы?—воскликнула королева.—Вы же собирались побеседовать!

—Мы будем говорить о не слишком веселых материях, сударыня, и мне хотелось бы избавить королеву от лишней заботы.

—Вы изволите называть заботами несчастья?—величественно воскликнула королева.

—Тем более, моя дорогая.

—Оставайтесь, я так хочу!—повелела королева.—Господин Жильбер, я надеюсь, вы не ослушаетесь?

—Господин Жильбер! Господин Жильбер!—воскликнул раздосадованный король.

—В чем дело?—осведомилась королева.

—Как в чем? Я собирался спросить у господина Жильбера его мнение относительно кое-чего, со мной он говорил бы свободно, по совести, а теперь господин Жильбер этого не сделает.

—Почему же?—удивилась королева.

—Потому что при разговоре будете присутствовать вы, государыня.

Жильбер сделал движение, которому королева тут же придала слишком серьезное значение.

—Почему же,—проговорила она, ища в нем поддержки,—господин Жильбер будет рисковать навлечь на себя мое неудовольствие, если станет говорить по совести?

—Это нетрудно понять, государыня,—отозвался король.

—У вас своя политика, и она не всегда совпадает с нашей, а ведь...

—А ведь господин Жильбер—вы это ясно дали мне понять—с моею политикой не согласен.

—Это вытекает, государыня,—промолвил Жильбер,—из моих мыслей, о которых известно вашему величеству. Однако можете быть уверены: я скажу правду в присутствии вашего величества так же легко, как и в присутствии одного короля.

—А, это уже неплохо,—заметила Мария Антуанетта.

—Говорить правду следует отнюдь не всегда,—торопливо пробормотал король.

—А если она полезна?—спросил Жильбер.

—Или просто благонамеренна?—добавила королева.

—В этом мы и не сомневаемся,—прервал Людовик XVI.— Однако будь вы мудры, сударыня, вы предоставили бы доктору полную свободу выражений... которая требуется мне.

—Государь,—сказал Жильбер,—поскольку королева сама требует правды, а мне известно, что ум ее величества достаточно благороден и могуч, чтобы можно было ее не опасаться, я предпочитаю говорить в присутствии обоих августейших супругов.

—Государь,—поддержала королева,—я этого прошу.

—Я верю в мудрость вашего величества,—проговорил Жильбер, склоняясь перед королевой.—Ведь речь идет о счастье и славе его величества короля.

—Вы правы, что мне доверяете,—отозвалась королева.— Начинаяте же, сударь.

—Все это прекрасно,—по привычке заупрямился король,— но вопрос весьма деликатный, и я уверен, что вы будете меня крайне смущать.

Королева не смогла сдержать раздраженного жеста. Она встала, затем снова уселась и бросила быстрый холодный взгляд в сторону задумавшегося доктора.

Поняв, что ему не совладать с королевой ни так ни этак, Людовик с тяжким вздохом уселся в кресло напротив Жильбера.

—Так о чем же идет речь?—спросила королева, когда военный совет таким образом определился по своему составу.

Жильбер еще раз взглянул на короля, словно прося у него соизволения говорить свободно.

—Да начинайте же, сударь, ради Бога,—ответил король,— раз королеве так этого хочется.

—Так вот, государыня,—проговорил доктор,—я в нескольких словах ознакомлю ваше величество с целью моего утреннего визита в Версаль. Я пришел посоветовать его величеству отправиться в Париж.

Искра, зароненная в сорок тысяч фунтов пороха, хранившихся в городской ратуше, не произвела бы такого взрыва, какой прогремел в сердце у королевы.

—Король? В Париж?

От ужаса она вскрикнула так, что Людовик XVI подскочил.

—Ну вот,—заметил он, обратив взгляд на Жильбера,—что я вам говорил, доктор?

—Король,—продолжала Мария Антуанетта,—король в городе, охваченном мятежом, король среди кос и серпов, король, окруженный людьми, которые убили господина Делоне и господина де Флесселя, король, идущий по ратушной площади по колено в крови своих защитников? Да вы с ума сошли, сударь, предлагая такое! Говорю вам, вы с ума сошли!

Жильбер опустил глаза, словно человек, сдерживающийся из уважения к собеседнику, и ничего не ответил.

Тронутый до глубины души король заерзал на кресле, как будто его поджаривала на углях инквизиция.

—Возможно ли,—не унималась королева,—чтобы подобная мысль пришла в голову человеку умному, до мозга костей

французу? Разве вам не известно, сударь, что вы говорите о потомке Людовика Святого, праправнучке Людовика Четырнадцатого?

Король топнул ногой по ковру.

—Впрочем, я не думаю,—заговорила дальше королева,— что вы хотите оставить короля без защиты гвардейцев и армии, вытащить его из дворца, который неприступен, как крепость, и оставить его, беззащитного, один на один с заклятыми врагами, я не думаю, что вы испытываете желание видеть короля убитым, не так ли, господин Жильбер?

—Полагай я, что у вашего величества хоть на секунду мелькнула мысль о том, будто я способен на подобное предательство, я был бы не сумасшедшим, а негодяем в своих глазах. Но, слава Богу, государыня, вы верите в это не больше моего. Нет, я пришел к королю с этим советом, потому что считаю совет хорошим и даже лучше любых других.

Королева так вцепилась пальцами в платье на груди, что послышался треск разрываемого батиста.

Король слегка раздраженно пожал плечами.

—Послушайте, сударыня,—сказал он,—вы еще успеете выразить свое несогласие, когда выслушаете все.

—Король прав, ваше величество,—согласился Жильбер.— Вы же не знаете того, что я собираюсь сказать вашим величествам. Вы полагаете, государыня, что за вами стоит верная, преданная армия, готовая умереть за вас. Заблуждение! Половина французских полков—заговорщики, охваченные революционными идеями.

—Осторожнее, сударь,—воскликнула королева,—вы оскорбляете армию!

—Напротив, ваше величество, я ее расхваливаю,—ответил Жильбер.—Можно уважать свою королеву, быть преданным своему королю и вместе с тем любить родину и посвятить жизнь свободе.

Королева метнула на Жильбера горящий взгляд.

—Сударь,—сказала она,—подобные речи...

—Да, подобные речи оскорбляют вас, государыня, я понимаю, поскольку вы слышите их, скорее всего, впервые.

—Верно, к такому следует привыкнуть,—пробормотал Людовик XVI со своим неистребимым здравым смыслом, составившим его главную силу.

—Никогда!—вскричала Мария Антуанетта.—Никогда!

—Да послушайте же!—повысил голос и король.—То, что говорит доктор, я нахожу вполне разумным.

Вся дрожа, королева уселась на место.

Жильбер продолжал.

—Я говорю, государыня, что видел Париж, а вы не видели даже Версаля. А вы знаете, что сейчас затевают парижане?

—Нет,—с беспокойством отозвался король.

—Надеюсь, они не собираются второй раз брать Бастилию,—презрительно проговорила королева.

—Разумеется, нет, ваше величество,—ответил Жильбер.— Но парижане знают, что между ними и королем есть еще одна

крепость. Они собираются выбрать делегатов от каждого из сорока восьми округов, составляющих город, и направить их в Версаль.

—Пусть только попробуют, пусть только явятся!—со свирепой радостью воскликнула королева.—О, им окажут должный прием!

—Погодите, ваше величество,—предостерег Жильбер.—Вам следует иметь в виду, что депутаты явятся сюда не одни.

—А с кем же?

—В сопровождении двадцати тысяч бойцов национальной гвардии.

—Национальной гвардии?—удивилась королева.—Это еще что такое?

—Напрасно, государыня, вы говорите о ней с таким пренебрежением. Скоро она станет серьезной силой, будет решать и вязать.

—Двадцать тысяч человек!—воскликнул король.

—Полно вам, государь,—отозвалась королева.—У вас здесь десять тысяч солдат, которые стоят ста тысяч мятежников. Позовите их, говорю я вам, и двадцать тысяч негодяев будут наказаны, а это послужит уроком всей революционной мерзости, которую я вымела бы отсюда за неделю, послушай вы меня хоть час.

—О, ваше величество, как вы заблуждаетесь, вернее, введены в заблуждение. Только подумайте: гражданская война, развязанная королевой! Стоит такому случиться, и королева унесет собою в могилу ужасное прозвище "иностранка".

—Развязанная мною война? Что вы имеете в виду, сударь? Разве я стреляла по Бастилии безо всякой причины?

—Эх, сударыня,—вмешался король,—чем советовать прибегать к насилию, прислушайтесь сперва к голосу разума.

—К голосу слабости!

—Послушайте, Антуанетта,—сурово сказал король,—это не пустяк—появление двадцати тысяч человек, по которым придется открыть огонь.

Затем, повернувшись к Жильберу, он проговорил:

—Продолжайте же, сударь, продолжайте.

—Ненависть, подогреваемая отдаленностью короля от столицы, бахвальство, проистекающее от минутной смелости, неразбериха сражения, исход которого неясен,—избавьте, государыня, от всего этого короля и себя самое,—вновь начал доктор.—С помощью мягкости вам удастся избежать этого наступления, а насилие может его лишь ускорить. Толпа желает прийти к королю, так давайте же предвосхитим события, пусть король отправится к толпе. Позвольте его величеству, сегодня окруженному армией, завтра доказать свою отвагу и политическую дальновидность. Двадцать тысяч солдат, о которых мы говорим, способны одолеть короля. Дайте же возможность королю, государыня, победить их, поскольку эти двадцать тысяч человек—народ.

Король не удержался и одобрительно кивнул, что не ускользнуло от внимания Марии Антуанетты.

—Несчастный!—воскликнула она, обращаясь к Жильберу.— Вы, стало быть, не понимаете, что будет означать в этой ситуации присутствие короля в Париже?

—Я слушаю вас, ваше величество.

—Это будет означать: "Я согласен... Вы правильно сделали, что убили моих швейцарцев... Вы правильно сделали, что расправились с моими офицерами, предали огню и мечу мою прекрасную столицу, вы правильно сделали, что лишили меня трона. Благодарю вас, господа, благодарю!"

И на губах Марии Антуанетты заиграла презрительная улыбка.

—Нет,—возразил Жильбер,—вы ошибаетесь, ваше величество.

—Сударь!

—Это будет означать вот что: "Народ мой и в самом деле страдает. Я буду снисходителен, я—ваш владыка и король, я встану во главе французской революции, как в свое время Генрих Третий возглавил Лигу*. Ваши генералы—это мои офицеры, ваша национальная гвардия—мои солдаты, ваш магистрат—мои служащие. Вместо того чтобы меня отталкивать, следуйте за мною, если можете. Благородство этого моего шага еще раз доказывает, что я—король Франции, наследник Карла Великого".

—Он прав,—печально признал король.

—Умоляю вас, государь,—вскричала королева,—не слушайте этого человека, он—наш враг!

—Государыня,—парировал Жильбер,—его величество сам скажет, что он думает о моих словах.

—Я полагаю, сударь,—ответил король,—что сейчас вы единственный, кто осмелился сказать мне правду.

—Правду?—воскликнула королева.—Господи, да что вы такое говорите?

—Да, государыня,—подхватил Жильбер,—и поверьте, сегодня правда—это единственный светоч, который способен помочь престолу и королевской власти не скатиться в пропасть.

С этими словами Жильбер отвесил Марии Антуанетте низкий и смиренный поклон.

IV. Решение

Впервые королева почувствовала, что она тронута. Что было причиною—смелые рассуждения доктора или его смирение?

Король с решительным видом встал. Он уже думал о том, как выполнить намеченное.

Однако, повинувшись привычке не делать ничего, не спросив у королевы совета, он осведомился:

* Лига, или "Священный союз", была образована в 1576 г. герцогом де Гизом якобы как средство защиты католицизма от еретиков, однако подлинной ее целью было свержение Генриха III и передача престола де Гизам. Генрих III был вынужден присоединиться к Лиге и даже объявить себя ее руководителем, однако успеха этот ход ему не принес.

—Сударыня, вы согласны?

—Поневоле, государь,—ответила Мария Антуанетта.

—Мне не нужно вашего самоотречения,—раздраженно заметил король.

—А что же вам нужно?

—Мне нужна ваша убежденность, которая усилила бы мою.

—Вы требуете от меня убежденности?

—Да.

—Ну, если дело только за этим, то я убеждена, государь.

—В чем же?

—В том, что наступил тот час, когда наша монархия превратится в достойное лишь жалости и презрения государство.

—О, не надо преувеличивать,—отозвался король.—Достойное жалости—согласен, но никак уж не презрения.

—Государь, от ваших предков-королей вам досталось довольно мрачное наследство,—печально проговорила Мария Антуанетта.

—Да,—признал Людовик XVI,—наследство, которое я, увы, разделяю с вами, сударыня.

—Если ваше величество позволит,—вмешался Жильбер, которому в глубине души было жаль этих несчастных павших монархов,—я скажу вот что: мне не кажется, что вы должны видеть будущее в столь мрачном свете. Деспотической монархии пришел конец, начинается монархия конституционная.

—Ах, сударь,—возразил король,—разве я гожусь для устройства такой монархии во Франции?

—Но почему же нет, государь?—удивилась королева, немало ободренная словами Жильбера.

—Сударыня,—ответил король,—я человек здравый и к тому же ученый. Я вижу вполне ясно, в глазах у меня не мутится, и я знаю все то, чего мне знать не нужно, чтобы управлять страной. В день, когда меня столкнут с высот неприкосновенности абсолютного монарха, когда я стану обычным человеком, я потеряю всю свою искусственную силу, которая только и нужна для управления Францией; ведь если признаться, то Людовики Тринадцатый, Четырнадцатый и Пятнадцатый только благодаря ей и держались. Кто нужен сегодня французам? Хозяин. А я чувствую в себе способности быть лишь отцом. Что нужно революционерам? Меч. Но я не чувствую в себе силы нанести удар.

—У вас нет силы нанести удар?—воскликнула королева.—Удар по людям, отнимающим имущество у ваших детей и намеревающимся обломать у вас на челе все зубцы французской короны, один за другим?

—Что тут ответить?—спокойно проговорил Людовик.—Ответить "нет"? Я вызову у вас тем самым очередную бурю возмущения, которое и так мешает мне жить. Что-что, а уж ненавидеть вы умеете. Тем лучше для вас. Вы умеете даже быть несправедливой, но я вас не упрекаю: это качество необходимо властелину.

—Уж не считаете ли вы, что я несправедлива к революции?

—Ну, разумеется.

—И вы говорите "разумеется", государь?
—Будь вы простой горожанкой, моя милая Антуанетта, вы так не говорили бы.

—Но я ведь не горожанка.

—Поэтому я вас извиняю, но это отнюдь не значит, что я вас одобряю. Нет, сударыня, нет, примиритесь: мы вступили на французский трон в час бури, нам нужны силы, чтобы толкать вперед эту колесницу, вооруженную серпами*, что зовется революцией, но вот сил-то у нас и нет.

—Тем хуже!—вскричала Мария Антуанетта.—Значит, та колесница проедет по нашим детям.

—Увы, я это знаю. Но, по крайней мере, не мы ее толкаем.

—Но и не движем вспять, государь.

—Берегитесь, государыня,—с нажимом произнес Жильбер.—Двинувшись вспять, она вас раздавит.

—Сударь,—в раздражении ответила королева,—я нахожу, что откровенность ваших советов зашла слишком далеко.

—Я буду молчать, ваше величество.

—Господи, да пусть говорит,—возразил король.—Газеты твердят об этом уже целую неделю, но доктор не вычитал все сказанное им из них просто потому, что не желал их читать. Будьте ему благодарны хотя бы за то, что он не скрывает горечь своих слов.

Королева промолчала, затем с тяжким вздохом проговорила:

—Я уступаю, но хочу повторить: отправиться в Париж, означает одобрить все, что произошло.

—Я это понимаю,—согласился король.

—Но это же унизительно, это значит, что вы отрекаетесь от армии, которая готова вас защищать.

—Это значит избежать пролития французской крови,—возразил доктор.

—Это равносильно признанию, что мятеж и насилие могут придавать действиям короля такое направление, которое будет устраивать бунтовщиков и предателей.

—Государыня, мне показалось, вы только что изволили согласиться, что я имел счастье убедить вас.

—Да, признаю: только что передо мною приоткрылся уголок завесы. Но теперь, сударь, теперь я снова ослепла, как сказали бы вы, и предпочитаю видеть вокруг себя роскошь, к которой приучили меня образование, традиции, история, предпочитаю видеть себя королевой, чем скверной матерью оскорбляющего и ненавидящего меня народа.

—Антуанетта! Антуанетта!—воскликнул король, озабоченный внезапной бледностью, залившей лицо королевы и являвшейся не чем иным, как предвестником вспышки неистового гнева.

—Нет, нет, государь, я уж скажу,—ответила королева.

—Будьте внимательны, сударыня.

* В древности оси боевых колесниц снабжались острыми серпами.

И король глазами указал Марии Антуанетте на доктора.

—Ах, сударь,—воскликнула королева,—доктор знает все, что я хочу сказать. Он знает даже все, что я думаю,—добавила она, с горечью вспомнив о сцене, разыгравшейся между нею и Жильбером,—так зачем же я стану сдерживать себя? Кроме того, мы взяли его как доверенного человека—чего же, спрашивается, мне бояться? Я знаю, что вы увлечены, государь, что вас несет по течению, словно несчастного принца из моих любимых немецких баллад. Куда вы движетесь? Не знаю. Но от туда, куда вы движетесь, возврата нет.

—Да что вы, сударыня? Я попросту еду в Париж,—отозвался король.

Мария Антуанетта пожала плечами.

—Можете считать меня сумасшедшей,—несколько раздраженно проговорила она.—Вы отправляетесь в Париж? Прекрасно. Но кто вам сказал, что Париж—не та самая бездна, которую я хоть и не вижу, но предчувствую? Почему в суматохе, которая непременно возникнет вокруг вашего величества, вас не могут убить? Кто знает, откуда прилетит шальная пуля? Кто знает, в котором из тысячи угрожающе поднятых кулаков, будет зажат кинжал?

—О, что до этого, вам нечего опасаться, сударыня, они меня любят,—заявил король.

—Не говорите так, мне жаль вас, государь. Они вас любят и при этом убивают, губят, уничтожают тех, кто представляет вас—вас, короля, наместника Божия! Губернатор Бастилии представлял вас, был королевским наместником. Поверьте, я не преувеличиваю: раз они убили Делоне, этого отважного и верного слугу, значит убили бы и вас, государь, будь вы на его месте, и даже с большей легкостью, так как они вас знают и прекрасно понимают, что вместо того чтобы защищаться, вы безропотно отдадите себя в их руки.

—И каков же вывод?—осведомился король.

—Мне кажется, я его уже сделала, государь.

—Они меня убьют?

—Несомненно, государь.

—Вот как!

—И моих детей тоже!—вскричала королева.

Жильбер решил, что пришла пора вмешаться.

—Государыня,—сказал он,—короля так почитают в Париже, его появление вызовет столько восторгов, что у меня лишь одно опасение—но не за короля, а за фанатиков, которые могут быть раздавлены копытами его лошадей, подобно индийским факирам, бросающимся под колесницу с их божеством.

—Ах, сударь, сударь!—воскликнула Мария Антуанетта.

—Въезд в Париж будет триумфальным, государыня.

—Почему вы молчите, ваше величество?

—Потому что скорее придерживаюсь мнения доктора, сударыня.

—И вам не терпится отпраздновать этот триумф?—воскликнула королева.

—В этом король прав, это нетерпение лишь доказывает, насколько верно его величество судит о людях и вещах. Чем скорее его величество соберется, тем грандиознее будет триумф.

—Вы так полагаете, сударь?

—Я в этом уверен: если король станет медлить, то потеряет все преимущества внезапности. К тому же, государыня, он сможет первым уступить требованиям народа, что в глазах парижан изменит его позицию и заставит как бы подчиниться их приказам.

—Вот видите!—вскричала королева —Доктор сам признал: вам уже приказывают! Что же это такое, сударь?

—Доктор не говорил, что мне кто-то приказывает, сударыня.

—Вот-вот, медлите и дальше, сударь, и требования или, вернее, приказы не заставят себя ждать.

Жильбер слегка прикусил губу от мимолетной досады; как ни быстро промелькнула она у него на лице, королева ее заметила

—Что же я сказала, вот глупая,—пробормотала она,—ведь я перечу сама себе.

—В чем это, сударыня?—поинтересовался король.

—Ведь в случае промедления вы потеряете преимущество в инициативе, а я между тем прошу об отсрочке

—Ах, государыня, простите, требуйте чего угодно, но только не этого.

—Антуанетта,—покачав головой, заметил король,—вы, я вижу, поклялись меня погубить.

—О, сударь,—проговорила королева с упреком, обнаружившим всю тревогу ее сердца,—как вы можете так говорить?

—Зачем же вы пытаетесь тогда оттянуть мой отъезд?—спросил король.

—Только подумайте, государыня: при сложившихся обстоятельствах главное—это воспользоваться удобным случаем. Подумайте, насколько тяжелы часы, которые отсчитывает один за другим разъяренный народ.

—Но только не сегодня, господин Жильбер Завтра, сударь, завтра! Подарите мне только один день, и, клянусь вам, я не буду более возражать против этой поездки.

—Двадцать четыре часа,—поддержал его Жильбер,—подумайте об этом, государыня.

—Ваше величество, ну прошу вас,—продолжала умолять королева.

—Но объясните хотя бы—почему?—спросил король.

—Причина—только мое отчаяние, сударь, только мои слезы и мольбы.

—Но кто знает, что может произойти до завтрашнего дня?—заметил король, встревоженный отчаянием своей супруги.

—А что, по-вашему, должно произойти?—с мольбой глядя на Жильбера, спросила королева.

—О, там—ничего,—ответил Жильбер —Надежды—пусть даже она легка, как облако, хватит, чтобы они подождали до завтра, однако...

—Однако дело в другом, не так ли?—спросил король

—Да, государь, в другом.

—Вас тревожит Собрание?

Жильбер утвердительно кивнул.

—Собрание,—продолжал король,—которое, имея в своем составе таких людей, как господа Монье, Мирабо, Сьейес, способно направить мне какое-нибудь послание, которое лишит меня преимущества действовать добровольно.

—Ну что ж, тем лучше!—с мрачной яростью вскричала королева.—Вы им откажете и сохраните королевское достоинство, не поедете в Париж, и если, находясь здесь, нам придется выдержать войну—что же, мы ее выдержим, если нам придется здесь умереть—что ж, мы умрем, но умрем как люди прославленные и безупречные, какими были до сих пор, как короли, владыки и христиане, которые полагаются на Господа, нося на голове его корону.

Видя лихорадочное возбуждение королевы, Людовик XVI понял, что теперь ему остается лишь уступить

Он сделал знак Жильберу, подошел к Марии Антуанетте и, взяв ее за руку, проговорил:

—Успокойтесь, сударыня, будет так, как вы желаете. Вы же знаете, дражайшая супруга, что за всю свою жизнь я не сделал ничего, что было бы вам неприятно, поскольку испытываю вполне законную привязанность к жене, обладающей такими достоинствами и в первую очередь столь добродетельной.

Последние слова Людовик произнес с невыразимым благородством, пытаясь таким образом хоть как-то подбодрить столько раз оклеветанную королеву, причем делая это при свидетеле, в случае нужды способном повторить все, что он видел и слышал.

Такая деликатность глубоко тронула Марию Антуанетту, и, сжав в ладонях протянутую королем руку, она воскликнула:

—Только до завтра, государь, не позже, это последняя отсрочка, и я прошу о ней как о милости, на коленях. А завтра, в какой вам будет угодно час, клянусь вам, вы отправитесь в Париж.

—Берегитесь, сударыня, доктор—свидетель,—улыбнувшись, заметил король

—Государь, я, кажется, всегда держу слово,—ответила королева.

—Это так, но я кое-что хотел бы вам сказать.

—Что же?

—Мне не терпится узнать, раз уж вы так покорны, почему вы все же попросили у меня двадцать четыре часа отсрочки. Вы что, ждете какого-то сообщения из Парижа или Германии? Не идет ли речь?..

—Не спрашивайте меня об этом, государь.

Король предавался пороку любопытства так же, как Фигаро безделью—с наслаждением.

—Не идет ли речь о прибытии каких-нибудь войск, о подкреплении, о политической комбинации, наконец?

—Государь, государь—с упреком в голосе пролепетала королева.

—А может, речь идет о...

—Да нет же, ни о чем таком.

—Значит, секрет?

—Пожалуй: секрет встревоженной женщины, вот и все.

—Стало быть, каприз?

—Каприз, если вам угодно.

—Это для вас высший закон.

—Верно, но разве в политике и философии дело обстоит не так же? Разве королям не позволено возводить собственные политические капризы в высший закон?

—Это еще впереди, не беспокойтесь. А что касается меня, то так оно и есть,—пошутил король.—Итак, до завтра.

—До завтра,—печально повторила королева.

—Вам нужен еще доктор, государыня?—осведомился король.

—О, нет, не нужен,—ответила королева с поспешностью, заставившей Жильбера улыбнуться.

—Тогда я забираю его с собой.

Жильбер в третий раз поклонился Марии Антуанетте, которая на этот раз ответила ему не столько как королева, сколько как женщина.

Король тем временем направился к двери, и Жильбер двинулся следом за ним.

—Мне кажется,—сказал король, идя по коридору,—что у вас с королевой добрые отношения, господин Жильбер?

—Государь,—отвечал доктор,—этой милостью я обязан вашему величеству.

—Да здравствует король!—послышались крики придворных, уже собравшихся в прихожих.

—Да здравствует король!—вторила им толпа офицеров и иностранных солдат, собравшихся у дверей дворца.

Эти крики, которые все усиливались и не прекращались, переполняли сердце Людовика XVI радостью, какой он, быть может, не испытывал еще ни разу в жизни.

Что же касается королевы, то Мария Антуанетта продолжала сидеть у окна, где недавно пережила несколько страшных мгновений, и внимала крикам восторга и любви к королю, замиравшим где-то вдали, под портиками и в тени боскетов.

—Да здравствует король!—повторила она.—О да, он будет здравствовать, наш король, несмотря ни на что,—так и знай, негодный Париж! Страшная бездна, кровавая пучина, этой жертвы тебе не поглотить. Я вырву ее у тебя вот этой слабой и худой рукою, которая грозит тебе сейчас и сулит все проклятья мира и мечь Господню!

Произнеся эти слова с поистине неистовой ненавистью, которая привела бы в ужас самых ярых друзей революции, присутствуй они при этом, королева протянула в сторону Парижа руку—слабую, но сверкающую среди кружев, словно выхваченная из ножен шпага.

Затем она позвала г-жу Кампан, фрейлину, которой доверяла более всего, и удалилась в кабинет, запретив пускать к себе кого бы то ни было.

V. Нагрудник

Следующее утро, как и накануне, выдалось ясным и прозрачным, лучи солнца позолотили мрамор и песок Версаля.

Птицы, в великом множестве рассеявшиеся на деревьях парка, оглушительным чириканьем приветствовали новый день, суливший им тепло, веселье и любовь.

Королева встала в пять утра. Она тут же велела передать королю, чтобы он сразу же после пробуждения зашел к ней.

Людовик XVI, немного утомленный накануне приемом депутации от Национального собрания, которой он вынужден был ответить, после чего имели место долгие словопрения, проспал дольше обычного, чтобы восстановить силы и чтобы никто не мог сказать, что его здоровью нанесен ущерб.

Он совершил туалет и уже надевал шпагу, когда ему передали просьбу королевы. Людовик слегка нахмурился.

—Как! Королева уже встала?—осведомился он.

—Уже давно, ваше величество.

—Она еще нездорова?

—Здорова, ваше величество.

—Зачем же я понадобился королеве так рано?

—Этого ее величество не сказала.

Король проглотил первый завтрак, состоявший из бульона и капельки вина, и отправился к Марии Антуанетте.

Королева была полностью одета, словно для какой-то церемонии, и выглядела красивой, бледной и величественной. Она встретила супруга тою ледяной улыбкой, что блистала, словно зимнее солнце, в тех случаях, когда на больших приемах при дворе в толпу требовалось бросить луч света.

Король не понял, почему ее взгляд и улыбка столь печальны. Его заботило одно: он хотел знать, станет ли королева противиться выполнению плана, принятого накануне.

"Новый каприз",—подумал Людовик.

Эта мысль заставила его нахмуриться.

Первые же сказанные королевой слова лишь укрепили его в этом мнении.

—Государь, я много размышляла со вчерашнего дня,—заявила Мария Антуанетта.

—Так я и знал!—воскликнул король.

—Прошу вас, отошлите отсюда всех, кто не принадлежит к нашему узкому кругу.

Ворчливым тоном король велел своим офицерам удалиться.

Подле королевы осталась лишь одна фрейлина—г-жа Кампан.

Взяв своими хорошенькими ручками короля за рукав, Мария Антуанетта осведомилась:

—Почему вы уже полностью одеты? Это плохо.

— Плохо? Но почему же?

— Разве я не просила вас прийти сюда без парадной одежды? А вы — в камзоле и при шпаге. Я надеялась, что вы будете в домашнем платье.

Король не мог скрыть изумления.

Причуда королевы взметнула у него в голове целый вихрь странных мыслей, мыслей новых, а потому еще более невероятных.

Он сделал жест, в котором сквозили недоверчивость и тревога.

— В чем дело? — полюбопытствовал король. — Вы что, желаете оттянуть или ускорить то, о чем мы договорились вчера?

— Во все нет, государь.

— Послушайте, довольно насмешек над вопросом столь первостепенной важности. Я должен и хочу ехать в Париж, назад уже хода нет. Я сделал распоряжения, чтобы мне приготовили дворец, люди, которые поедут со мною, назначены еще вчера.

— Государь, я ничего не имею против, но...

— Подумайте только, — заговорил король, мало-помалу воодушевляясь, чтобы придать себе смелости, — весть о моей поездке в Париж могла уже дойти до парижан, и они готовятся, они меня ждут, и благожелательные умонастроения, вызванные этой вестью, могут превратиться в губительную враждебность. К тому же...

— Но, ваше величество, я вовсе не спорю с тем, что вы изволите говорить. Вчера я смирилась, в смирении пребываю и сегодня.

— Тогда к чему все эти вступления, сударыня?

— Никаких вступлений я не делала.

— Прошу прощения, а к чему же вопросы о моей одежде, о моих планах?

— В одежде-то вся суть, — сказала королева, изо всех сил пытаясь улыбнуться, но тщетно: улыбка получилась крайне мрачная.

— Чем вам не нравится моя одежда?

— Мне бы хотелось, ваше величество, чтобы вы сняли этот камзол.

— Вы полагаете, что он не подходит для такого случая? Это ведь камзол из лилового шелка. Парижане привыкли видеть меня в нем, они любят, когда я ношу этот цвет; к тому же и голубая лента выглядит на нем недурно. Да вы сами не раз говорили мне об этом.

— Я не возражаю против цвета вашего камзола, государь.

— В чем же тогда дело?

— Я возражаю против его подкладки.

— Ей-богу, эта ваша улыбка приводит меня в недоумение... Подкладка? Что за шутки?

— Увы, я не шучу.

— А теперь вы ощупываете мой кафтан... Он что, тоже вам не нравится? Белая с серебром тафта, вы сами его вышивали, это один из моих любимейших кафтанов.

—И против кафтана я ничего не имею.

—Вот странная женщина! Может, вас смущает мое жабо или эта вышитая батистовая сорочка? Но разве не должен я был принарядиться перед поездкой в свой славный Париж?

Губы королевы сложились в горькую улыбку; нижняя—та самая, за которую так не любили австриячку,—надулась и выпятилась, словно налитая ядом ненависти и гнева.

—Нет,—ответила она,—никаких претензий к вашему прекрасному платью у меня нет. Я имею в виду лишь подкладку, только ее.

—Подкладку моей вышитой сорочки? Да объяснитесь же наконец.

—Будь по-вашему, объяснюсь. Король, который вызывает ненависть и смущение и собирается броситься в толгу из семисот тысяч парижан, опьяненных триумфом и революционными идеями,—такой король, разумеется, не средневековый рыцарь, однако должен, тем не менее, въехать сегодня в Париж одетым в добрую броню и шлем из миланской стали, и сделать это он обязан для того, дабы ни стрела, ни камень, ни кинжал не нашли дороги к его телу.

—В сущности это верно, друг мой,—задумчиво проговорил Людовик,—но поскольку я не Карл Восьмой, не Франциск Первый и даже не Генрих Четвертый и поскольку у нынешней монархии под шелками и бархатом ничего нет, у меня тоже под шитым шелком камзолом ничего не будет. Более того: я поеду, если можно так выразиться, с мишенью на груди, в которую будет удобно целиться. На сердце у меня орденская звезда.

Из груди у королевы вырвался сдавленный стон.

—Государь,—сказала она,—мы начинаем понимать друг друга. Сейчас вы увидите, что ваша жена отнюдь не шутит.

Она кивнула г-же Кампан, стоявшей в глубине комнаты, и та вытащила из шкафа королевы какой-то широкий, плоский, продолговатый предмет, завернутый в шелк.

—Государь,—заявила королева,—сердце короля принадлежит в первую очередь Франции, это так, но я полагаю, что оно принадлежит и его жене и детям. Лично я не хочу, чтобы это сердце было выставлено под вражеские пули. Поэтому я приняла свои меры для защиты от опасности моего супруга, короля и отца моих детей.

С этими словами она развернула кусок шелка, в котором оказалась кольчуга из тонких стальных колец, переплетенных с таким искусством, словно была сделана из арабской ткани—настолько переплетение нитей напоминало муар, мягкий и переливчатый.

—Что это?—осведомился король.

—Взгляните сами, ваше величество.

—По-моему, кольчуга.

—Вот именно, ваше величество.

—Кольчуга до самой шеи.

—Притом с маленьким воротником, как изволите видеть, который поддевается под ворот камзола или под галстук.

Король взял кольчугу и принялся с любопытством ее рассматривать.

Видя его благосклонное внимание, королева засияла от радости.

Ей показалось, что король с удовольствием перебирает колечки этой замечательной металлической сетки, струившейся у него в пальцах, словно шерстяное трико.

—Но это же превосходная сталь,—заметил он.

—Не правда ли, ваше величество?

—И чудесная работа.

—В самом деле?

—Интересно, где вам удалось ее добыть?

—Купила вчера вечером у одного человека, он уже давно мне ее предлагал на случай, если вам придется участвовать в кампании.

—Восхитительно! Восхитительно!—повторял король, с видом знатока рассматривая доспех.

—Она будет сидеть на вас, словно сшитая вашим портным, государь.

—Вы полагаете?

—Примерьте.

Не говоря ни слова, король принялся стаскивать фиолетовой камзол.

Дрожая от радости, королева помогла ему снять орден, а г-жа Кампан довершила остальное.

Король тем временем снял шпагу. Если бы в этот миг кто-нибудь всмотрелся в лицо королевы, то увидел бы, что оно озарено победным светом высшего блаженства.

Король развязал галстук, и нежные ручки королевы подсунули под него стальной воротник.

Затем Мария Антуанетта сама застегнула крючки кольчуги: та сидела как влитая, под мышками не жала, а изнутри была выложена тонкими кожаными подушечками, чтобы сталь не царапала кожу.

Кольчуга была длиннее обычной и защищала все тело.

Сорочка и камзол, надетые поверх кольчуги, скрыли ее полностью. Тело короля не стало толще и на пол-линии*. Движений кольчуга совершенно не стесняла.

—Тяжелая?—спросила королева.

—Вовсе нет.

—Просто чудо, не правда ли, мой король?—захлопала королева в ладоши и бросила взгляд на г-жу Кампан, которая застегивала последнюю пуговицу на королевской манжете.

Г-жа Кампан выражала свою радость столь же простосердечно, как и королева.

—Я спасла своего короля!—вскричала Мария Антуанетта.—Эта кольчуга—непробиваема. Попробуйте, положите ее на стол и попытайтесь проткнуть ее ножом, попытайтесь пробить пулей, попытайтесь.

* Линия—старинная мера длины, равная $\frac{1}{12}$ дюйма или примерно 2,5 мм.

—Ну что вы,—с сомнением произнес король.

—А вы попробуйте, попробуйте,—не унималась охваченная энтузиазмом королева.

—Попробую, хотя бы из любопытства,—согласился король.

—Можете и не пытаться, это бесполезно, ваше величество.

—Как бесполезно? Я же хочу доказать, насколько безусловно это ваше чудо.

—Вот они, мужчины! Неужели вы думаете, что я поверю какому-то человеку со стороны, когда речь идет о жизни моего супруга, о спасении Франции?

—И все же мне кажется, что тут-то вам пришлось поверить ему на слово, Антуанетта.

Королева с восхитительным упрямством покачала головой.

—А вы спросите,—проговорила она, указывая на камеристку,—спросите у моей любезной Кампан, чем мы занимались сегодня утром.

—О Господи, чем же?—спросил заинтригованный король.

—Сегодня утром, вернее, ночью, мы, словно две сумасбродки, удалили прислугу и заперлись у нее в спальне, которая помещается в самом конце здания, где живут пажы, а те, кстати, переехали вчера вечером в Рамбуйе. Мы хотели иметь уверенность, что нам никто не помешает осуществить задуманное.

—Боже, вы меня пугаете. И что же затеяли эти две Юдифи*?

—Юдифь во всяком случае наделала шуму меньше, чем мы,—ответила королева.—А так—сравнение лучше не надо. Кампан держала мешок с кольчугой, а я взяла длинный немецкий охотничий кинжал моего отца, которым он зарезал столько кабанов.

—Вот уж Юдифь так Юдифь!—со смехом воскликнул король.

—О, у Юдифи не было тяжелого пистолета, который я взяла у вас в оружейной и велела Веберу зарядить.

—Пистолета?

—Ну да. Видели бы вы, как ночью, отчаянно труся, вздрагивая от малейшего шума и скрываясь от любопытных взоров, мы крались по пустынному коридору, словно мыши-лакомки. Кампан затворила три двери и последнюю еще завесила периной; мы надели кольчугу на стоявший у стены манекен, на котором обычно висят мои платья, и я недогнувшей—клянусь вам!—рукою ударила кинжалом по кольчуге. Лезвие спружинило, кинжал вылетел у меня из руки и к нашему великому испугу воткнулся в паркет.

—Вот дьявол!—не удержался король.

—Погодите, еще не все.

—И никакой дыры?—полюбопытствовал Людовик.

* Согласно библейской легенде вдова богатого иудея Юдифь, когда ее родной город осадил ассирийский военачальник Олоферн, пленила его своей красотой, напоила за ужином и после того, как он уснул, отрубила ему голову.

—Да погодите же вы! Кампан подняла кинжал и говорит: "Вы недостаточно сильны, государыня, да и рука у вас, должно быть, дрогнула, Дайте-ка я, у меня силы побольше, вот увидите". И вот она берет кинжал и наносит манекену такой удар, что мой бедный немецкий клинок сломался. Взгляните, государь, вот два куска; из остатков я закажу вам небольшой нож.

—Но это невероятно!—воскликнул король.—И кольчуга осталась цела?

—На одном из звеньев царапина, да три на другом, вот и все.

—Я хотел бы взглянуть.

—Сейчас увидите.

И королева с большой поспешностью принялась раздевать короля, чтобы поскорее продемонстрировать ему результаты ее подвигов.

—Вот тут как будто немного повреждено, как мне кажется,—сказал король, указывая на небольшую вмятину примерно с дюйм в поперечнике.

—Это от пистолетной пули, ваше величество.

—Как! Вы еще стреляли из пистолета?

—Я могу показать вам сплюсненную пулю, еще черную. Ну, теперь вы верите, что вашей жизни не угрожает опасность?

—Вы—мой ангел-хранитель,—ответил король и принялся расстегивать кольчугу, чтобы получше рассмотреть следы от кинжала и пули.

—Сами посудите, мой милый король,—продолжала Мария Антуанетта,—как мне было страшно, когда пришлось выстрелить в кольчугу. И дело даже не в ужасном грохоте, которого я так боялась. Когда я целилась в кольчугу, призванную вас защитить, мне казалось, что я стреляю в вас—настолько я страшилась увидеть отверстие от пули, ведь тогда все мои труды, все мои хлопоты и надежды пропали бы впустую.

—Дражайшая супруга,—сняв кольчугу, проговорил король,—как я вам признателен!

И он положил кольчугу на стол.

—Что вы такое делаете?—удивилась королева.

С этими словами она взяла доспех и протянула его королю. Но тот с улыбкой, полной изящества и благородства, ответил:

—Нет, благодарю вас.

—Вы отказываетесь?—вскричала королева.

—Да, отказываюсь.

—Подумайте хорошенько, ваше величество.

—Государь!—взмолилась г-жа Кампан.

—Это же ваше спасение, ваша жизнь!

—Возможно,—согласился король.

—Вы отказываетесь от помощи, ниспосланной вам самим Господом.

—Будет! Довольно!—воскликнул король.

—О, неужто вы все-таки отказываетесь?

—Отказываюсь.

—Но они же вас убьют!

—Дорогая моя, когда в восемнадцатом веке дворяне идут в сражение, они одеты в суконный кафтан, камзол и сорочку—

это их защита от пуль. Когда они идут защищать свою честь на дуэли, на них надета лишь сорочка—так они защищаются от шпаги. Я, первый дворянин королевства, поступаю точно так же, как мои друзья. Более того: там, где у них сукно, я один имею право носить шелк. Благодарю вас, моя дорогая супруга, благодарю, моя добрая королева, благодарю.

—Ах,—в отчаянии и восторге вскричала королева,—ну почему армия сейчас его не слышит?

Что же до короля, он спокойно оделся, даже, казалось, не сознавая всего героизма своего поступка.

—Неужели монархия погибла,—прошептала королева,—когда в подобный момент монарх выказывает такую гордость?

VI. Отъезд

Выйдя от королевы, Людовик XVI тут же очутился в окружении офицеров и прочих лиц, назначенных им сопровождать его в Париж.

Это были гг. де Бово, де Вильруа, де Нель и д'Эстен.

Смешавшись с толпою, Жильбер ждал, когда Людовик XVI его заметит, но тот бросил на него лишь беглый взгляд.

Было заметно, что все вокруг пребывают в сомнении и не верят в незыблемость принятого решения.

—После завтрака выезжаем, господа,—сообщил король.

Потом, заметив Жильбера, сказал:

—А, вы здесь, доктор, очень хорошо. Как вам известно, я беру вас с собой.

—К вашим услугам, государь.

Король прошел к себе в кабинет и работал там в течение двух часов.

Затем вместе с семейством прослушал мессу и около девяти сел за стол.

Завтрак прошел согласно заведенной церемонии, и только королева, бывшая у мессы с припухшими и покрасневшими глазами, ничего не ела и лишь присутствовала, чтобы подольше побыть вместе с королем.

Мария Антуанетта привела с собою обоих детей, и те, смущенные материнскими советами, переводили беспокойный взгляд с отца на толпу офицеров и гвардейцев.

Время от времени дети по приказу матери утирали слезы, набегавшие им на глаза, и это зрелище вызвало у одних жалость, у других—гнев, но огорчало всех присутствующих.

Король стойчески ел. Несколько раз он заговаривал с Жильбером, не глядя на него, и почти непрерывно, с глубокой нежностью беседовал с королевой.

Кроме того, он успевал отдавать распоряжения своим военачальникам.

Людовик XVI уже кончал завтракать, когда ему доложили, что на широкой аллее, ведущей к плацу, появилась многочисленная колонна людей, пришедших из Парижа.

В ту же секунду офицеры и гвардейцы бросились вон из

залы; король поднял голову и взглянул на Жильбера, но, увидев, что тот улыбается, принялся спокойно доедать завтрак.

Королева, побледнев, наклонилась к г-ну де Бово и попросила его поподробнее выяснить, в чем дело.

Г-н де Бово поспешно вышел.

Королева приблизилась к окну.

Минут через пять г-н де Бово вернулся.

—Государь,—сообщил он,—это национальная гвардия Парижа. Узнав вчера из слухов, что вы собираетесь посетить столицу, они собрались в количестве десяти тысяч человек и двинулись к вам навстречу, но поскольку вы задержались, они дошли до Версаля.

—Как вы думаете, каковы их намерения?—осведомился король.

—Самые добрые,—ответил г-н де Бово.

—Все равно, затворите ворота,—посоветовала королева.

—Не надо,—возразил король,—достаточно того, что заперты двери дворца.

Королева нахмурилась и бросила взгляд на Жильбера.

Тот ждал этого взгляда, потому что его предсказания уже наполовину сбылись. Он обещал появление двадцати тысяч человек, и десять из них прибыли.

Король повернулся к г-ну де Бово:

—Проследите, чтобы эти славные люди были накормлены,—велел он.

Г-н де Бово снова покинул залу и передал экономам распоряжение короля.

Сделав это, он вернулся.

—Ну, что там?—спросил король.

—Парижане вступили в спор с господами королевскими гвардейцами, ваше величество.

—И о чем же у них спор?—полюбопытствовал король.

—Просто вопрос учтивости. Узнав, что ваше величество через два часа трогается в путь, они решили подождать и следовать за вашей каретой.

—Но ведь они пойдут пешком?—вступила в разговор королева.

—Разумеется, ваше величество.

—А в королевскую карету запряжены лошади, король поедет быстро и притом весьма. Вам ведь известно, господин де Бово, что король имеет обычай ездить быстро.

Эти произнесенные с нажимом слова означали:

"Вы должны сделать так, чтобы карета его величества летела как на крыльях".

Движением руки король прервал их разговор и объявил:

—Я поеду шагом.

Королева издала вздох, более напоминавший гневный возглас.

—Будет несправедливо,—хладнокровно добавил Людовик,—если я заставлю этих славных людей бежать, тогда как они озаботились тем, чтобы оказать мне честь. Я поеду шагом, притом не быстро, чтобы все они могли следовать за мною.

Собравшиеся одобрительным шепотом выразили свое восхищение, однако на иных лицах отразилось недовольство и в первую очередь, на лице королевы, которая считала подобное благородство слабостью.

Послышался звук растворяемого окна.

Удивленная королева обернулась: оказалось, что Жильбер, пользуясь своим правом врача, решил проветрить столовую, в которой было уже не продохнуть от запаха кушаний и дыхания более чем ста человек.

Доктор зашел за занавеску раскрытого окна, и снизу до него донесся гул собравшейся во дворе толпы.

—Что там такое?—осведомился король.

—Национальные гвардейцы, ваше величество,—ответил Жильбер,—столпились на самом солнцепеке, им, должно быть, очень жарко.

—А почему бы не пригласить их позавтракать с королем?—тихонько шепнул королеве один из ее приближенных офицеров.

—Нужно отвести их в тень—на мраморный двор, в прихожие, куда угодно, где хоть немного прохладнее,—сказал король.

—Десять тысяч человек в прихожие!—воскликнула королева.

—Если распределить их по всему дворцу, места хватит,—настаивал король.

—Распределить по дворцу!—ужаснулась Мария Антуанета.—Так, ваше величество, они и до вашей спальни доберутся.

Это страшное пророчество сбылось в Версале менее чем через три месяца.

—Среди них много детей, государыня,—мягко сказал Жильбер.

—Детей?—удивилась королева.

—Ну да, ваше величество, многие взяли детей прогуляться. Дети тоже одеты в мундирчики национальных гвардейцев, настолько людям нравится этот новый институт.

Королева собралась было что-то возразить, но тут же опустила голову.

Ей хотелось сказать в ответ какую-нибудь колкость, но мешали гордыня и ненависть.

Жильбер бросил на нее внимательный взгляд.

—Бедные детки!—воскликнул король.—Их взяли с собой для того, чтобы их отцам не сделали ничего дурного. Тем более следует отвести в тень этих несчастных малюток. Впустите, впустите же их.

Жильбер тихонько покачал головой: казалось, он хотел сказать королеве, которая продолжала хранить молчание:

“Эти слова должны были сказать вы, ваше величество, я предоставил вам такую возможность. Их бы стали повторять направо и налево, и народная любовь года на два была бы вам обеспечена”.

Королева поняла немой упрек Жильбера и залилась краской.

Она почувствовала свою оплошность и мгновенно попыталась оправдаться своею гордостью и упрямством, о чем послала Жильберу мысленный знак. Г-н де Бово тем временем отправился к национальным гвардейцам выполнять поручение короля.

Послышались крики благодарности и, согласно повелению Людовика, вооруженную толпу впустили во дворец.

Мощный вихрь восклицаний, добрых пожеланий и приветствий долетел до августейших супругов и успокоил их относительно намерений этого опасного Парижа.

—Государь,—нарушил молчание г-н де Бово,—каковы будут распоряжения относительно кортежа?

—А что там со спором между национальными гвардейцами и моими офицерами?

—О, ваше величество, он затих, прекратился, эти славные люди столь счастливы, что говорят теперь лишь одно: "Мы пойдем куда угодно. Король к нам добр так же, как и к другим, и куда бы он ни отправился, мы будем вместе с его величеством".

Король взглянул на Марию Антуанетту. Та иронически улыбалась, презрительно выпятив губу.

—Передайте национальным гвардейцам, пусть располагаются где хотят,—проговорил Людовик XVI.

—Ваше величество,—заметила королева,—не забывайте: находиться подле кареты—неотъемлемое право королевской гвардии.

Видя, что король колеблется, офицеры приблизились, имея намерение поддержать королеву.

—В сущности, это верно,—согласился король.—Ладно, посмотрим.

Г. де Бово и де Вильруа отправились отдавать подчиненным необходимые распоряжения.

В Версале пробило десять.

—Пора,—проговорил король,—поработаю я завтра. Нельзя заставлять ждать этих людей.

С этими словами он встал.

Мария Антуанетта заключила короля в объятия и поцеловала. Дети с плачем повисли на шее у родителя; умиленный Людовик пытался ласково освободиться от их объятий, чтобы его волнение не выплеснулось через край.

Королева подходила к офицерам, брала одного за локоть, клала ладонь на шпагу другого, беспрестанно повторяя:

—Господа! Господа!

Этим красноречивым восклицанием она поручала их заботам короля, который уже спускался вниз.

Офицеры прикладывали руку к сердцу и шпаге.

Королева благодарно улыбалась.

Жильбер выходил одним из последних.

—Сударь,—обратилась к нему Мария Антуанетта,—это вы посоветовали королю ехать и, несмотря на мои мольбы, склонили его к этому решению. Подумайте, какую огромную ответственность перед супругой и матерью вы взвалили на себя.

—Я это знаю, ваше величество,— холодно отозвался Жильбер

—Вы обязаны вернуть мне короля живым и невредимым сударь! —торжественно вскинув голову, заявила королева.

—Слушаюсь, государыня.

—Не забудьте, вы отвечаете за него головой.

Жильбер поклонился.

—Не забудьте, собственной головой!—повторила Мария Антуанетта с угрозой и безжалостной властью абсолютной монархини.

—Да, ваше величество,—с поклоном подтвердил Жильбер,—собственной головой. Если бы я опасался, что королю что-либо угрожает, этот залог стоил бы немного, но, повторяю, ваше величество: сегодня я веду государя к славе.

—Я хочу, чтобы вы все время держали меня в курсе дела,—добавила королева.

—Обещаю, ваше величество.

—Теперь ступайте, сударь, я слышу барабаны: король отправляется в путь.

Жильбер поклонился и, спустившись по главной лестнице, столкнулся с адъютантом короля, который искал его по просьбе его величества.

Его посадили в карету обер-церемониймейстера г-на де Бово, поскольку тот не хотел, пока Жильбер себя не зарекомендовал, помещать его в королевскую карету.

Жильбер улыбнулся, увидев, что в этой карете с гербом находится он один, так как г-н де Бово гарцевал на коне у дверцы королевской кареты.

Затем Жильберу пришло на ум, что ехать в карете с короной и гербом для него просто нелепо.

Он все еще терзался сомнениями, когда из толпы национальных гвардейцев, обступивших карету, послышался шепот двух мужчин, наклонившихся к окошку и с любопытством его разглядывавших.

—Гляди, принц де Бово!

—Вот и нет,—отвечал товарищ,—ты ошибаешься.

—Нет, не ошибаюсь, на карете герб принца.

—Герб... герб... Ну и что?

—Да, черт возьми, герб еще ничего не значит.

—Нет, значит! Раз на карете герб господина де Бово, стало быть, господин де Бово должен быть внутри.

—А господин де Бово—патриот?—спросила какая-то женщина.

—Гм,—ответил один из спорщиков.

Жильбер улыбнулся.

—Да говорю тебе,—возразил первый,—никакой это не принц. Тот толстый, а этот тощий, тот носит мундир офицера гвардии, а этот—в черном кафтане, интендант, должно быть.

В ответ на этот не особенно лестный эпитет, которым был награжден Жильбер, раздался неприязненный ропот.

—Вот уж нет, тысяча чертей!—прогремел грубый голос, при звуке которого Жильбер вздрогнул. Голос принадлежал

мужчине, пробивавшемуся с помощью локтей и кулаков к карете.—Никакой это не господин де Бово, никакой не интендант, а смелый и прославленный патриот, самый прославленный из патриотов! Господин Жильбер, какого дьявола вы делаете в карете принца?

—Да никак это папаша Бийо!—воскликнул Жильбер.

—Проклятье! А я так боялся, что вас не встречу,—отвечал фермер.

—А где Питу?—спросил Жильбер.

—Где-то здесь, неподалеку. Эй, Питу, иди сюда. Вон он идет, видите?

Услышав зов, Питу, энергично работая плечами, протиснулся поближе, стал рядом с Бийо и с восхищением поклонился Жильберу.

—Добрый день, господин Жильбер,—промолвил он.

—Здравствуй, Питу, здравствуй, друг мой.

—Жильбер? Жильбер? Кто это?—слышалось в толпе.

“Вот это слава,—подумал доктор.—В Виллер-Котре меня знают, это верно, зато в Париже—я популярен!”

Он вылез из кареты, которую кучер пустил шагом, и, опираясь на руку Бийо, пошел в самой гуще толпы.

В нескольких словах Жильбер рассказал фермеру о своем визите в Версаль и о добрых намерениях короля и королевского семейства. В течение нескольких минут он столь успешно занимался пропагандой роялизма, что эти славные люди, наивные и впечатлительные, были очарованы и громко возопили: “Да здравствует король!” Крик этот, все усиливаясь, пробежал по рядам и докатился до кареты Людовика XVI.

—Я хочу взглянуть на короля,—говорил взволнованный Бийо,—хочу увидеть его вблизи. Для того я и пришел сюда. Я желаю увидеть его лицо. От взгляда честного человека ничего не скроешь. Давайте подойдем поближе, господин Жильбер, ладно?

—Погодите-ка, мне кажется, нам сейчас в этом помогут,—заметил Жильбер.—Вон адъютант господина де Бово, он кого-то здесь высматривает.

И верно: какой-то всадник осторожно пробирался между кучками усталых, но радостных людей, стремясь добраться до кареты, в которой совсем недавно ехал Жильбер.

Доктор окликнул его:

—Сударь, не доктора ли Жильбера вы ищете?

—Его самого,—ответил адъютант.

—Он перед вами.

—Прекрасно. Король поручил господину де Бово разыскать вас.

При этих словах Бийо вытаращил глаза, а толпа расступилась. Жильбер двинулся к королевской карете, за ним последовали Бийо и Питу, а ехавший впереди всадник все повторял:

—Расступитесь, господа, расступитесь! Позвольте пройти, именем короля!

Вскоре Жильбер поравнялся с королевской каретой, которая ползла с быстротою волов эпохи Меровингов.

VII. В дороге

Работая локтями и сами то и дело получая толчки, Жильбер, Бийо и Питу, не теряя из виду адъютанта г-на де Бово, добрались наконец до кареты, в которой король вместе с гг. д'Эстеном и Вилькье* медленно ехал в густой толпе.

Это была любопытная, неслыханная, небывалая картина—такого раньше еще не случалось. Деревенские национальные гвардейцы, эти импровизированные солдаты с радостными криками подбегали к королевской карете, осыпали короля благословениями, стараясь попасться ему на глаза, и вместо того чтобы возвращаться по домам, занимали место в кортеже и следовали за королем.

Почему? Кто знает, быть может, они повиновались инстинкту? Они видели своего возлюбленного короля и хотели взглянуть на него еще хоть разок.

Нужно сказать, что в те времена Людовик XVI был обожаемым королем, в честь которого французы готовы были воздвигать алтари, несмотря даже на глубочайшее презрение, внушенное им г-ном де Вольтером к такого рода знакам внимания.

Впрочем, Людовику XVI алтарей не воздвигали, но лишь потому, что умные люди того времени слишком уважали своего короля, чтобы подвергнуть его подобному унижению.

Людовик XVI заметил Жильбера, шедшего рука об руку с Бийо. Позади них шествовал Питу, все еще волоча за собой свою громадную саблю.

—А, доктор! Какая чудная погода, какой чудный народ!

—Вот видите, государь,—отозвался Жильбер.

И, наклонившись к окошку кареты, добавил:

—А что я обещал вашему величеству?

—Да, сударь, да, вы сдержали слово.

Король вскинул голову и громко произнес, явно желая быть услышанным:

—Мы движемся медленно, но, по-моему, все же слишком быстро для того, чтобы разглядеть как следует все, что творится вокруг.

—Ваше величество,—ответил г-н де Бово,—сейчас мы делаем лье за три часа. Двигаться еще медленнее было бы затруднительно.

Лошади и впрямь то и дело останавливались, повсюду слышались возбужденные разговоры, национальные гвардейцы братались—это словечко только что было придумано—с гвардейцами его величества.

“Интересно,—размышляя Жильбер, философски созерцая забавный спектакль,—они братаются с гвардией; выходит, раньше они были врагами?”

—Послушайте-ка, господин Жильбер,—вполголоса проговорил Бийо,—я хорошенько разглядел и послушал короля. Что же, сдается мне, что король—человек достойный.

* Эстен, граф Анри д' (1729—1794)—французский адмирал, воевавший на стороне Америки против англичан.

Последние слова фермер произнес с таким восторгом, что их услышали и сам король, и весь его штаб.

Штаб расхохотался.

Король улыбнулся и, покачав головой, проговорил:

— Вот такая похвала мне по душе.

Это замечание было сделано достаточно громко, и Бийо его услышал.

— Вы правы, государь, я не привык хвалить кого попало, — отозвался он, без тени смущения вступая в разговор с королем, как в свое время Мишо с Генрихом IV.

— Это тем более лестно, — проговорил в замешательстве король, не зная, каким образом сохранить достоинство и вместе с тем ответить, как подобает подлинному патриоту.

Увы! Несчастный монарх еще не привык называться королем французов.

Он до сих пор считал, что называется королем Франции.

Вне себя от восторга, Бийо не дал себе труда задуматься над тем обстоятельством, что с философской точки зрения Людовик, быть может, отрекся от титула короля и присвоил себе титул человека. Фермер почувствовал безыскусность этих слов и поразился, что понят королем и сам понимает его.

С этого момента Бийо начал приходить во все больший и больший восторг. Он смотрел на короля и, по выражению Виргилия, упивался любовью к конституционной монархии, сообщая ее Питу, который, преисполненный собственной любовью и переполняемый любовью папаша Бийо, выплескивал обуревавшие его чувства в криках — сперва просто громогласных, потом пронзительных, затем захлебывающихся:

— Да здравствует король! Да здравствует отец народа!

Эти возгласы Питу мало-помалу становились все более хриплыми.

Питу охрип окончательно, когда кортеж прибыл в Пуэн-дю-Жур, где г-н Лафайет, сидя на своем знаменитом белом скакуне, сдерживал беспорядочные и трепещущие когорты национальных гвардейцев, собравшихся для встречи короля часов в пять утра.

А теперь было уже почти два пополудни.

Встреча короля с новоявленным предводителем вооруженной Франции прошла вполне удовлетворительно.

Почувствовавший усталость король ничего не говорил и лишь улыбался.

Командующий парижским ополчением не отдавал приказы, а лишь жестикулировал.

Король с удовольствием отметил, что народ кричит: "Да здравствует король!" столь же часто, сколь и: "Да здравствует Лафайет!" К несчастью, это был последний раз, когда королю удалось потешить свое самолюбие.

Жильбер не отходил от дверцы королевской кареты, Бийо — от Жильбера, а Питу — от Бийо.

Верный данному королеве обещанию, Жильбер уже отправил к ней четверых гонцов.

Каждый из них нес королеве добрые вести, поскольку на

протяжении всего пути король видел взлетавшие в воздух в его честь колапки, вот только кокарды на них были национальных цветов, что являло собою известный упрек в сторону белых кокард на шляпах королевских гвардейцев и самого короля.

Именно это различие в кокардах и омрачало радость и восторг папаша Бийо.

На его треуголке красовалась громадная трехцветная кокарда.

На шляпе короля кокарда была белой; выходило, что тут вкусы короля и его подданных расходятся.

Эта мысль не давала Бийо покоя, и в конце концов он высказал ее Жильберу, выбрав момент, когда тот не разговаривал с королем.

—Господин Жильбер,—осведомился фермер,—почему король не надел кокарду национальных цветов?

—А потому, мой славный Бийо, что король или не знает, что существует новая кокарда, или полагает, что его кокарда и есть национальная.

—А вот и нет, ведь его кокарда белая, а наша—трехцветная.

—Погодите-ка,—остановил Жильбер фермера, когда тот уже был готов очертя голову пуститься повторять газетные фразы.—Королевская кокарда белая—так же как французские флаги. Винны короля в этом нет. Кокарда и знамя были белыми задолго до того, как он появился на свет, и к тому же, мой дорогой Бийо, белая кокарда и белые флаги уже давно проявили себя. Белая кокарда украшала шляпу командора Сюффрена, когда он водружал наше знамя в Индии. Белая кокарда была на шляпе у Ассаса*, по ней его узнали немцы в ту ночь, когда он пожертвовал своей жизнью, чтобы не позволить захватить своих солдат врасплох. Белая кокарда была на шляпе и у маршала Саксонского**, когда он разбил англичан при Фонтенуа. Была она и на шляпе господина де Конде***, когда он громил имперцев при Рокруа, Фрейбурге и Лансе. Вот что такое белая кокарда, и это далеко не все, мой славный Бийо, тогда как национальная кокарда, которая, возможно, и обойдет весь мир, как предсказывает Лафайет, еще ничего не успела совершить, потому что ей всего три дня от роду. Я не говорю, что она будет пребывать в праздности, но поймите: поскольку пока она никак себя не зарекомендовала, король вправе подождать, пока она что-либо сделает.

* Накануне битвы при Клостеркампе (1760) капитан овернского полка Луи д'Ассас ночью оказался окружен немцами, но криком предупредил своих солдат об опасности.

** *Маршал Саксонский*—Мориц, граф Саксонский (1696—1750), незаконный сын курфюрста Саксонского Августа II, маршал Франции, крупный полководец и военный писатель. *Фонтенуа*—победа французов над англичанами в Бельгии 11 мая 1745.

*** *Конде*—зд. Людовик II, принц Конде (1621—1688), по прозвищу Великий Конде, французский полководец. *Рокруа*—победа французов над испанцами в 1645 г., *Фрейбург*—победа над имперцами в 1644 г., *Ланс*—победа над ними же в 1648 г.

—Как это национальная кокарда ничего не сделала?—возмутился Бийо.—А кто же тогда взял Бастилию?

—Да, тут вы правы,—печально признал Жильбер.

—Вот потому,—с триумфом заключил фермер,—король и должен ее носить.

Заметив, что король прислушивается к их разговору, Жильбер толкнул Бийо локтем, после чего тихо проговорил:

—Вы с ума сошли! Против чего, по-вашему, было направлено взятие Бастилии? Против королевской власти, я полагаю. А вы хотите, чтобы король носил символ вашей победы и собственного поражения. Вы только подумайте, безумец: король так милостив, добр, чистосердечен, а вы хотите, чтобы он кривил душой!

—Но ведь взятие Бастилии было направлено не против короля,—несколько более робко, но все еще не сдаваясь, возразил Бийо,—а против деспотизма.

Жильбер пожал плечами, однако сделал это с чуткостью сильного человека, который не желает попирать ногами более слабого из боязни его раздавить.

—Нет,—воодушевляясь, продолжал Бийо,—мы сражались не против нашего доброго короля, а против его приспешников.

В те времена еще говорили не "солдаты", а "приспешники"—точно так же, как в театре лошадь обязательно называли скакуном.

—К тому же,—с умным видом продолжал Бийо,—он их не одобряет, потому что идет вместе с нами. А раз он не одобряет их, стало быть, одобряет нас. Мы, покорители Бастилии, потрудились ради собственного счастья и его чести.

—Увы! Увы!—пробормотал Жильбер, который и сам толком не знал, как совместить то, что было отпечатано на лице у короля, с тем, что происходило у него на сердце.

Что же касается Людовика XVI, то он начал в говоре идущей толпы различать обрывки спора, происходившего неподалеку от его кареты.

Жильбер, заметивший внимание, с которым король прислушивался к их разговору, изо всех сил пытался свернуть его на менее скользкую тему.

Внезапно кортеж остановился: процессия прибыла на Двор Королевы—старинное место проведения всяческих собраний на Елисейских полях.

Там уже выстроилась рядами депутация из выборщиков и старшин под предводительством нового мэра—г-на Байи*, окруженная тремя сотнями вооруженных людей с полковником во главе и тремя сотнями членов Национального собрания, выбранными, само собой разумеется, из депутатов третьего сословия.

Двое выборщиков, употребляя все свое умение и ловкость, старались удержать в равновесии огромный поднос из позоло-

* Байи, Жан Сильвен (1736—1793)—выдающийся французский литератор и астроном, избранный после взятия Бастилии мэром Парижа.

ченного серебра, на котором помещались два гигантских ключа от города Парижа времен Генриха IV.

Под влиянием столь внушительного зрелища разговоры смолкли, и все, стоявшие как отдельными группами, так и стройными шеренгами, приготовились слушать речи, которыми стороны собирались обменяться по сему случаю.

Байи, почтенный ученый-астроном, сделавшийся против воли сначала депутатом, затем мэром, а теперь и оратором, приготовил длинную торжественную речь. По всем правилам риторики в первой части своей речи он хотел воспеть деятельность короля, начиная с прихода к власти г-на Тюрго и кончая взятием Бастилии. Еще немного—такое уж свойство красноречия,—и он сделал бы короля главным вдохновителем всех событий, которым народ всего-навсего подчинился, притом неохотно.

Байи был весьма доволен написанной речью, когда случай—о нем он рассказал в своих мемуарах—предоставил ему новое вступление, гораздо более яркое, чем то, что он сочинил. Оно, кстати, только и осталось в памяти народа, всегда готового подхватить удачную, а главное, меткую фразу, основанную к тому же на реальных фактах.

Идя вместе с выборщиками и старшинами к месту встречи короля, Байи встревожился из-за того, что ключи, которые они собирались вручить Людовику, очень уж тяжелы.

—Неужто вы думаете,—со смехом спросил он,—что, продемонстрировав эти громадины королю, я еще возьму на себя труд тащить их обратно в Париж?

—А что же вы сделаете?—поинтересовался один из выборщиков.

—Да просто отдам вам,—ответил Байи,—или же выброшу в первую попавшуюся канаву.

—Да что вы такое говорите!—вскричал возмущенный выборщик.—Разве вы не знаете, что эти ключи город Париж преподнес Генриху Четвертому после осады? Да это же бесценная реликвия!

—Вы правы,—согласился Байи.—Ключи, преподнесенные Генриху Четвертому, покорителю Парижа, теперь переходят к Людовику Шестнадцатому, который... Да,—заключил достойный мэром,—антитеза получается превосходная.

И тут же взяв карандаш, он приписал к своей речи следующее вступление:

"Государь, перед вами—ключи от славного города Парижа. Это те самые ключи, что были вручены Генриху IV. Он отвоёвывал себе народ, сегодня же народ отвоёвывает себе короля".

Фраза вышла удачной и точной, она врезалась в память парижанам и надолго пережила все речи и даже труды Байи.

Что же до Людовика XVI, то он благодарно кивнул, однако покраснел, так как за почтительностью и цветами красноречия уловил едкую иронию эпиграммы.

Затем он еле слышно пробормотал:

—Мария Антуанетта не дала бы сбить себя с толку этой ложной уважительностью и ответила бы злосчастному астронному вовсе не так, как это собираюсь сделать я.

Слишком внимательно выслушав начало речи г-на Байи, Людовик XVI дальше уже не слушал и целиком пропустил речь г-на Делавиня, председателя выборщиков.

Наконец речи подошли к концу, и король, опасаясь, что покажется недостаточно довольным любезностями, сказанными в его адрес, весьма достойно и без намеков на прозвучавшие слова ответил, что знаки уважения, оказанные ему городом Парижем и выборщиками, доставили ему бесконечное счастье.

Затем он отдал приказ двигаться дальше.

Но гребде чем пуститься в путь, король удалил свою охрану, ответив сим жестом благородного доверия на полукомплименты, сделанные ему муниципалитетом посредством председателя выборщиков и г-на Байи.

Оставшаяся без конвоя и окруженная огромной толпой национальных гвардейцев и зевак, карета покатила быстрее.

Жильбер со своим спутником Бийо продолжали идти подле правой дверцы.

В тот миг, когда карета ехала через площадь Людовика XV, на другом берегу Сены послышался выстрел, и в голубое небо взвился легкий белый дымок, похожий на облачко ладана.

Жильбер ощутил мощный удар, словно эхо выстрела потрясло все его тело. На секунду у него перехватило дыхание, он поднес руку к груди, которую пронзила резкая боль.

Одновременно вокруг королевской кареты послышались испуганные возгласы: какой-то женщине пуля угодила под правую лопатку, и бедняжка рухнула как подкошенная.

Но та же самая пуля мигом раньше попала в одну из пуговиц Жильберова кафтана—массивную, сделанную по моде того времени из вороненого железа и граненую.

Пуля отскочила от защитившей Жильбера пуговицы, потому-то он и ощутил удар и боль в груди.

Кроме того, она вырвала клочок из его жабо и черного жилета.

Отскочив от пуговицы Жильбера, пуля наповал сразила несчастную женщину; умирающую, истекавшую кровью, поспешно отнесли в сторону.

Король слышал выстрел, но ничего не заметил.

Улыбнувшись, он наклонился к Жильберу и сказал:

—Там в мою честь жгут порох.

—Да, ваше величество,—отозвался Жильбер.

Он не стал говорить королю, что думает относительно такого приветствия.

Но про себя он признал, что причины для опасений у королевы были: не заслони он собою всю дверцу кареты, отскокившая от его пуговицы пуля угодила бы прямоком в короля.

Но чья же рука столь умело направила этот выстрел?

Тогда этого никто не пожелал выяснять, а теперь этого и подавно никто не узнает...

Побледневший Бийо не отрываясь смотрел на разорванные

жабо и жилет Жильбера, заставляя Питу с удвоенной силой кричать:

“Да здравствует отец французов!”

Впрочем, происходившее вокруг было столь грандиозно, что вскоре все позабыли об этом эпизоде.

В конце концов Людовик XVI подъехал к ратуше—после того как на Новом мосту прогремел в его честь салют из пушек, по счастью, не заряженных ядрами.

На фасаде ратуши виднелась надпись, составленная из толстых черных букв, которые должны были быть зажжены с приближением ночи. Надпись эта являлась плодом выдумки муниципалитета.

Она гласила:

“Людовику XVI, отцу французов и королю свободного народа”.

Эта антитеза, не менее многозначительная, чем та, что была в речи г-на Байи, вызвала восхищенные крики парижан, собравшихся на площади.

Надпись привлекла внимание Бийо.

Однако поскольку фермер грамоты не знал, он заставил Питу прочитать ему надпись.

Затем попросил повторить еще раз, словно не расслышал с первого раза.

Когда же Питу слово в слово повторил Фразу, Бийо вскричал:

—Там так и сказано? Так и сказано?

—Ну да,—отвечал Питу.

—Муниципалитет написал, что король—король свободного народа?

—Да, папаша Бийо.

—Но раз народ свободен, он имеет право подарить королю свою кокарду!—воскликнул фермер.

С этими словами он одним прыжком оказался перед королем, который как раз вышел из кареты и стоял перед ведущей к ратуше лестницей.

—Государь,—начал он,—вы заметили, что у бронзового Генриха Четвертого на Новом мосту национальная кокарда?

—И что же?—осведомился король.

—Государь, раз Генрих Четвертый носит трехцветную кокарду, стало быть, ее можете надеть и вы.

—Разумеется,—замаялся Людовик XVI,—если бы у меня была...

—Ну что ж,—подняв руку, громко продолжал Бийо,—от имени народа я вручаю вам эту кокарду вместо вашей, примите ее.

Байи подошел поближе.

Король был бледен. Он начинал чувствовать, что дело заходит слишком далеко, и вопросительно взглянул на Байи.

—Государь,—проговорил тот,—это отличительный знак всех французов.

—Раз так, я ее принимаю,—согласился король, беря кокарду у Бийо.

И, сняв белую кокарду, он прицепил себе на шляпу трехцветную.

По площади прокатилось оглушительное победное “Ура!”

Раздосадованный донельзя Жильбер отвернулся.

Он считал, что народ слишком уж быстро берет верх, а король слишком слабо сопротивляется.

—Да здравствует король!—выкрикнул Бийо, дав тем самым сигнал еще к одному взрыву приветственных возгласов.

—Король мертв,—прошептал Жильбер.—Во Франции нет больше короля.

От места, где стоял король, до залы, где его поджидали, в мгновение ока образовался стальной свод из тысячи поднятых и скрещенных шпал.

Король прошел под этим сводом и скрылся в здании ратуши.

—Это не триумфальная арка,—заметил Жильбер,—это Кавдинское ярмо*.

И со вздохом добавил:

—Боже, что скажет королева!

VIII. Что происходило в Версале, пока король слушал речи в муниципалитете

В ратуше короля ждал весьма лестный прием: его назвали там “восстановителем свободы”.

Когда его попросили сказать что-нибудь,—а жажда словопрений становилась день ото дня все сильнее, и Людовику захотелось в конце концов выяснить, о чем думает каждый,—король приложил руку к сердцу и проговорил:

—Господа, вы можете всегда рассчитывать на мою любовь.

Пока он слушал в ратуше сообщения правительства—ведь с этого дня во Франции рядом с престолом и Национальным собранием существовало и подлинное правительство,—народ на площади знакомился с прекрасными королевскими лошадьми, раззолоченной каретой, а также лакеями и кучером его величества.

С той минуты, как король вошел в ратушу, Питу, благодаря полученному от папаши Бийо лудору, развлекался тем, что из голубых, белых и красных лент изготавливал одну за другой кокарды национальных цветов самой разной величины и украшал ими уши лошадей, упряжь и вообще весь экипаж.

Глядя на него, многочисленные последователи превратили карету его величества в настоящую лавочку кокард.

Кучера и выездных лакеев стало буквально не видно под кокардами.

* Ущелье близ г. Кавдия, где в 321 г. до н. э. самниты нанесли сокрушительное поражение римлянам и вынудили их пройти под ярмом в знак полной капитуляции.

Несколько дюжин запасных кокард были засунуты внутрь кареты.

Следует признать, что г-н де Лафайет, не слезавший с лошади, пытался разогнать этих ярых приверженцев национальных цветов, правда, безуспешно.

Поэтому когда король вышел и узрел все это великолепие, он лишь пробормотал:

—Ну и ну!

Затем движением руки он подозвал к себе г-на де Лафайета.

Опустив шпагу, г-н де Лафайет почтительно приблизился.

—Господин де Лафайет,—заявил король,—вы мне были нужны, чтобы сказать вам следующее я утверждаю вас в должности командующего национальной гвардией.

И под восторженные крики король забрался в карету.

Что же касается Жильбера, то он, не беспокоясь более за короля, остался в зале заседаний вместе с выборщиками и г-ном Байи.

Его наблюдения еще не завершились.

Услышав громкие крики, сопровождавшие отъезд короля, он подошел к окну и бросил последний взгляд на площадь, желая посмотреть, что будут делать его деревенские знакомцы.

Судя по всему, они все еще были лучшими друзьями короля или, по крайней мере, казались таковыми.

Внезапно Жильбер увидел, что по набережной Пельтье быстро приближается покрытый пылью всадник; толпа покорно и с почтением расступалась перед ним.

Добрые и услужливые люди с улыбкою повторяли:

—Королевский офицер! Королевский офицер!

Навстречу офицеру неслись выкрики: "Да здравствует король!", женщины похлопывали белого от пены коня.

Офицер добрался до кареты в тот миг, когда лакей затворил за королем дверцу.

—А, это вы, Шарни!—воскликнул Людовик XVI.

Потом вполголоса добавил:

—Ну, как там дела?

И—совсем тихо:

—Как королева?

—Очень обеспокоена, ваше величество,—ответил офицер, чуть ли не просовывая голову в карету.

—Вы возвращаетесь в Версаль?

—Да.

—Ну, так успокойте наших друзей, все прошло как нельзя лучше.

Шарни поклонился и, подняв голову, увидел г-на де Лафайета, делавшего ему дружеские знаки.

Шарни подъехал, и Лафайет протянул ему руку, но толпа оттеснила королевского офицера вместе с лошастью на набережную, где благодаря неусыпным заботам национальных гвардейцев люди были выстроены шпалерами для проезда короля.

Король велел ехать шагом вплоть до площади Людовика XV, где к нему присоединилась нетерпеливо поджидавшая его

охрана. Нетерпение овладело всеми до такой степени, что с этого момента лошади побежали—и чем дальше, тем резвей.

Жильбер, стоя на балконе, понял причину появления этого всадника, хотя и не знал, кто это. Он догадался, какую тревогу должна была испытывать королева, тем более что уже часа три в Версаль невозможно было послать гонца без того, чтобы он, пробираясь через толпу, не вызвал подозрений или не вызвал неуверенность двора.

Но он догадался лишь о малой части того, что произошло в Версале.

Мы сейчас вернемся туда вместе с читателем, не заставляя его при этом делать слишком глубокий исторический экскурс

Последний гонец от короля прибыл в Версаль в три часа.

Жильбер нашел возможность отправить его в тот миг, когда король, пройдя под шпагами, скрылся, живой и невредимый, в ратуше.

Рядом с королевой находилась графиня де Шарни, только что вставшая с постели, где из-за серьезного недомогания пролежала со вчерашнего дня.

Она была еще очень бледна и с трудом поднимала глаза, тяжелый взгляд которых, казалось, сам опускался вниз под гнетом не то печали, не то стыда.

Завидя ее, королева улыбнулась тою привычной улыбкой, которая, по мнению приближенных, навсегда отпечатана на губах у принцев и королей.

Затем, все еще охваченная радостью при мысли о том, что Людовик XVI находится в безопасности, она сообщила всем, кто был поблизости:

—Еще одна приятная новость. Вот бы так прошел весь день!

—О, государыня,—ответил один из придворных,—вы напрасно волнуетесь: парижане прекрасно понимают, какая на них лежит ответственность.

—А вы, ваше величество,—вмешался другой, не столь безмятежно настроенный придворный,—уверены в достоверности этих сведений?

—О да,—ответила королева,—пославший их отвечает за короля головой, к тому же я считаю его другом.

—Ну, если он друг,—поклонившись, отозвался придворный,—тогда другое дело.

Стоявшая несколько в отдалении г-жа де Ламбаль приблизилась и осведомилась у Марии Антуанетты:

—Речь идет о новом королевском враче, не так ли?

—Да, о Жильбере,—беззаботно ответила королева, не подумав о том, что наносит тем самым находящейся рядом женщине сокрушительный удар.

—Жильбер?—вскричала Андреа так, словно в сердце ее укусила гадюка.—Жильбер—друг вашего величества?

Андреа повернулась, глаза ее пылали, кулаки сжимались от стыда и гнева, взглядом, да и всем своим видом она сурово обвиняла королеву.

—Но ведь... —смущенно начала Мария Антуанетта.

—Ах, государыня, государыня!—с горьким упреком прошептала Андреа.

Этот непонятный для остальных обмен фразами проходил при всеобщем гробовом молчании.

Внезапно среди тишины в соседней комнате послышались чьи-то легкие шаги.

—Господин де Шарни,—вполголоса проговорила королева, как бы советуя Андреа взять себя в руки.

Шарни все видел и слышал, но вот только ничего не понял.

Он заметил бледность Андреа и смущение Марии Антуанетты.

Расспрашивать королеву ему не пристало, но у него было полное право задать вопрос собственной жене.

Он подошел к ней и тоном дружеского любопытства осведомился:

—Что с вами, сударыня?

Андреа сделала над собою усилие и ответила:

—Ничего, граф.

Шарни повернулся к королеве, которая, несмотря на всю свою привычку к двусмысленным положениям, в десятый раз безуспешно пыталась изобразить на лице подобие улыбки.

—Вы, кажется, сомневаетесь в преданности господина Жильбера?—осведомился он у Андреа.—У вас есть причины подозревать его в вероломстве?

Андреа промолчала.

—Ну, отвечайте же, сударыня, отвечайте,—настаивал Шарни.

Поскольку Андреа продолжала молчать, он сказал:

—Да отвечайте же, сударыня! Ваша деликатность просто преступна, ведь речь, быть может, идет о спасении наших государей.

—Не понимаю, сударь, зачем вы это все говорите,—выдавила наконец Андреа.

—Но вы же сами сказали, сударыня, я слышал... Да вот принцесса подтвердит,—и Шарни поклонился г-же де Ламбаль.—Вы сказали, даже выкрикнули: "Этот человек? Этот человек—ваш друг?"

—Верно, вы так и сказали, милочка,—со свойственным ей простодушием подтвердила принцесса де Ламбаль.

И, подойдя к Андреа, проговорила:

—Если вам что-то известно, скажите; господин де Шарни прав.

—Умоляю, ваша светлость, оставьте меня,—сказала Андреа так тихо, что ее расслышала только принцесса.

Та отошла.

—Господи, ничего особенного не произошло,—вмешалась королева, поняв, что не вмешаться и теперь значило поступиться дружбой с Андреа.—Графиня просто выразила свое опасение, к тому же смутное, она сомневалась, чтобы революционер из Америки, друг господина де Лафайета может быть и нашим другом.

—Да, смутное,—машинально повторила Андреа,—очень смутное.

—Опасение, подобное тем, что высказывали до нее и эти господа,—продолжала Мария Антуанетта.

И она указала взглядом на придворных, из-за чьих сомнений и завязался весь этот разговор.

Но все это не убедило Шарни. Возникшее при его появлении замешательство указывало на то, что тут кроется какая-то тайна.

Он продолжал настаивать:

—И все равно, сударыня, мне кажется, что ваш долг—не просто высказывать смутные опасения, но и как-то их обосновывать.

—Что такое?—с металлом в голосе удивилась королева.—Вы опять за свое, сударь?

—Ваше величество!

—Простите, но я же вижу, что вы продолжаете расспрашивать графиню.

—Простите, государыня,—смешался Шарни,—это только из...

—Самолюбия, не так ли? Ах, господин де Шарни,—добавила королева с сарказмом, источник которого был графу предельно ясен,—признайтесь откровенно: вы ревнуете.

—Ревную?—залившись краской, вскричал граф.—Но кого? Я спрашиваю ваше величество—кого?

—Собственную жену, очевидно,—едко ответила королева.

—Ваше величество!..—пролепетал Шарни, окончательно сбитый с толку таким вызовом.

—Это вполне естественно,—сухо добавила Мария Антуанетта,—графиня вне всякого сомнения того стоит.

Шарни бросил на королеву взгляд, предупреждая, что это уже слишком.

Однако с его стороны это был напрасный труд, ненужная предосторожность. Когда эта раненая львица чувствовала укус жгучей боли, ее уже ничто не могло остановить.

—Да, я понимаю, что вы ревнуете, господин де Шарни, ревнуете и тревожитесь—это обычное состояние человека, который любит, а значит, бдит.

—Ваше величество!—повторил Шарни.

—Я тоже—продолжала королева,—испытываю те же чувства, что и вы: ревную и тревожусь.—Слово "ревную" королева произнесла с нажимом.—Король в Париже, и жизнь моя кончилась.

—Но, ваше величество,—возразил Шарни, который никак не мог взять в толк, отчего разразилась вся эта буря и почему на его голову сыплетсЯ все больше громов и молний,—вы же получили известия о короле, они добрые и должны поэтому вас успокоить.

—А сами-то вы успокоились, услышав наши с графиней объяснения?

Шарни прикусил губу.

От удивления и испуга Андреа подняла голову: она удиви-

лась тому, что услышала, и испугалась того, что, кажется, поняла.

Несколько секунд назад, после первого вопроса Шарни причиною всеобщего молчания была она; теперь такое же молчание последовало за словами королевы.

—Нет, в самом деле, — с какою-то яростью продолжала Мария Антуанетта, — думать о предмете своей страсти — удел любящих. Какое счастье для этих бедных сердец безжалостно приносить в жертву любое свое чувство. О Боже, как я беспокоюсь за короля!

—Ваше величество, — отважился вмешаться один из присутствующих, — скоро придут и другие гонцы.

—Ах, почему я здесь, а не в Париже, почему я не рядом с королем! — воскликнула Мария Антуанетта, увидев, что Шарни явно помрачнел после того, как она внушила ему чувство ревности, от которого сама так жестоко страдала.

Шарни поклонился.

—Если дело только в этом, ваше величество, — сказал он, — я поеду туда, и если вы правы и король действительно подвергается опасности, если его драгоценная жизнь под угрозой, — поверьте, государыня, я не премину взять эту угрозу на себя. Я еду.

Он еще раз поклонился и направился к выходу.

—Сударь! Сударь! — вскричала Андреа, бросаясь к Шарни. — Берегите себя, умоляю!

Разыгравшейся сцене не хватало лишь взрыва чувств Андреа.

Едва Андреа, невольно выведенная из свойственного ей равнодушия, произнесла эти неосторожные слова и выказала столь необычную заботливость, как королева страшно побледнела.

—Как это получилось, сударыня, — осведомилась она, — что вы присвоили себе роль королевы?

—Но... я.. — залепетала Андреа, поняв, что впервые в жизни выпустила из недр своего существа пламя, которое так давно сжигало ей душу.

—Что—вы? — продолжала Мария Антуанетта. — Ваш муж находится на службе у короля и едет к королю. Если он подвергнется опасности, то ради короля. Речь идет о служении королю, а вы советуете вашему мужу побережь себя!

При этих уничтожающих словах Андреа на секунду потеряла сознание, покачнулась и упала бы на пол, не подхвати ее на руки подоспевший Шарни.

Жест негодования, который Шарни не сумел сдержать, довершил отчаяние Марии Антуанетты, которая сочла себя оскорбленной соперницей, будучи на самом деле несправедливой повелительницей.

—Королева права, — вымолвил наконец с усилием Шарни, — а ваш порыв необдуман, графиня. Когда речь идет о короле, мужа у вас нет, сударыня. Это я должен приказать вам пощадить свои чувства, когда вижу, что вы осмеливаетесь испытывать опасения за меня.

Затем, повернувшись к Марии Антуанетте, он холодно добавил:

—К вашим услугам, государыня. Я еду. Я или привезу вам хорошие вести о короле, или вообще ничего не привезу.

С этими словами он отвесил глубокий поклон и вышел; охваченная ужасом и гневом королева не посмела удержать его.

Через несколько мгновений со двора донесся стук копыт лошади, пущенной в галоп.

Королева оставалась неподвижна, однако внутри у нее бушевал огонь, который разгорался тем жарче, чем сильнее она старалась его скрыть.

Кое-кто из присутствующих понимал причины сжигавшего ее волнения, кое-кто—нет, но все отнеслись с почтением к желанию королевы отдохнуть и удалились.

Королева осталась одна.

Андреа вышла из ее покоев вместе с другими, а к Марии Антуанетте привели двоих ее детей, которых она позвала к себе.

IX. Возвращение

Уже наступила ночь с ее страхами и мрачными видениями, когда в дальнем конце дворца раздались крики.

Королева вздрогнула и встала. Рядом было окно, она его отворила.

В тот же миг в спальню королевы влетели радостные служанки с возгласами:

—Гонец, ваше величество! Гонец!

Минуты через три через прихожие быстро прошел мужчина в гусарской форме.

Это был лейтенант, посланный графом де Шарни. Он скакал во весь опор из Севра.

—Что король?—спросила королева.

—Его величество будет здесь через четверть часа,—задыхаясь, ответил офицер.

—Живой и невредимый?

—Живой, невредимый и улыбающийся, государыня.

—Вы его видели, да?

—Нет, ваше величество, меня просил передать вам эти слова господин де Шарни. По его поручению я и прискакал.

Королева снова вздрогнула, услышав это имя, которое служай опять связал с именем короля.

—Благодарю вас, сударь, идите отдыхайте,—сказала она молодому дворянину.

Тот поклонился и вышел.

Взяв детей за руки, королева направилась на широкое крыльцо, где уже толпились слуги и придворные.

Острый взгляд королевы в первую очередь остановился на молодой женщине в белом, которая, облокотившись о каменную балюстраду, вперила жадный взор в ночную тьму.

Это была Андреа; даже приход королевы не смог отвлечь ее от тревожных мыслей.

Очевидно она, обычно всегда готовая присоединиться к об-

ществу королевы, на этот раз или не заметила свою повелительницу, или не желала ее замечать.

Она явно досадовала на вспыльчивость Марии Антуанетты, заставившую ее днем жестоко страдать.

А может быть, охваченная необоримым чувством, она просто ждала возвращения Шарни, за жизнь которого так искренне беспокоилась.

Две раны, нанесенные королеве, еще кровоточили.

Она рассеянно прислушивалась к комплиментам и радостным восклицаниям друзей и придворных.

На какую-то секунду она даже отвлеклась от той жестокой боли, что мучила ее весь вечер. Сердечное беспокойство относительно поездки короля в стан врагов ненадолго утихло.

Однако сильная духом королева вскоре прогнала из своего сердца все недозволенные чувства. Она положила к ногам Господа свою ревность и принесла в жертву супружеской клятве весь свой гнев и тайные радости.

Ведь именно Господь даровал ей отдохновение и опору—счастливую способность ставить любовь к царственному супругу превыше всего.

По крайней мере, в этот миг королева испытывала—а может быть, ей только казалось, что испытывает—гордость за свою принадлежность к августейшей фамилии, возвышавшую ее над всеми земными страстями: любовь к королю была для нее своего рода проявлением эгоизма.

Когда вдалеке замаячили факелы эскорта, она, казалось, уже отбросила все мысли о своей маленькой женской мести и необдуманном любовном кокетстве. По мере приближения кортежа огни факелов становились все ярче и ярче.

Уже слышался храп и ржание лошадей. Земля дрожала в ночной тишине от тяжелой, размеренной поступи гвардейского эскадрона.

Ворота распахнулись, и часовые с радостными криками устремились навстречу королю. Колеса кареты загрохотали по плитам парадного двора.

Восхищенная, очарованная, опьяненная вновь вспыхнувшими в ней чувствами, королева бросилась вниз по ступеням к своему королю.

Людовик XVI вылез из кареты и стал поспешно—насколько это позволяли ему возбужденные и радостные офицеры—подниматься по лестнице, тогда как внизу гвардейцы, без долгих церемоний смешавшись с конюхами и слугами, принялись срывать с кареты и упряжи кокарды, которыми изукрасили их восторженные парижане.

Король и королева встретились на мраморной лестничной площадке. С возгласами любви и радости Мария Антуанетта заключила супруга в объятия.

Из груди у нее вырывались рыдания, словно она не чаяла больше его увидеть.

Охваченная переполнившими ее чувствами, королева не заметила молчаливого рукопожатия, которым обменялись в темноте Шарни и Андреа.

Это было всего лишь рукопожатие, однако на нижних ступенях лестницы Андреа оказалась первой, и Шарни увидел ее первую и прикоснулся к ней первой.

Королева, подведя детей к королю, велела им поцеловать его; дофин, заметив на отцовской шляпе новую кокарду, которая в свете факелов казалась обогрелой кровью, с детской непосредственностью воскликнул:

—Отец, что это у вас на кокарде? Кровь?

А это был красный цвет нации.

Королева вскрикнула и тоже посмотрела на кокарду.

Король наклонился, чтобы поцеловать дочь, однако на самом деле он хотел скрыть свой стыд.

С глубоким отвращением Мария Антуанетта сорвала злощастную кокарду, не понимая, что этим порывом благородного негодования она до глубины души оскорбила всю нацию. Придет день, и нация отомстит ей за это.

—Выбросьте ее, сударь,—проговорила она,—выбросьте поскорее.

Она швырнула кокарду на ступени, прямо под ноги эскорта, провожавшего короля в его покои.

Такое резкое изменение в направлении мыслей охладило весь супружеский восторг королевы. Она стала незаметно искать глазами Шарни, который скромно стоял в стороне, как подобает солдату.

—Благодарю вас, сударь,—обратилась она к нему, когда их взгляды встретились, хотя Шарни явно этого не хотелось,—благодарю вас, вы достойно сдержали свое слово.

—С кем это вы говорите?—осведомился король.

—С господином де Шарни,—храбро отвечала она.

—Ах, да, бедный Шарни, нелегко ему было ко мне пробиться. А где Жильбер? Что-то я его не вижу,—добавил он.

После полученного накануне урока королева была настроже.

—Идемте ужинать, государь,—сказала она, меняя тему разговора.—Господин де Шарни,—продолжала она,—разыщите графиню де Шарни, и пускай она идет с вами. Мы будем ужинать в семейном кругу.

Она вновь чувствовала себя королевой. Но она вздохнула при мысли, что печальный Шарни повеселел.

Х. Фулон

Бийо купался в блаженстве.

Он взял Бастилию; освободил Жильбера; от отличен Лафайетом, который назвал его по имени.

Наконец, он видел похороны Фулона.

Немногие люди в ту эпоху были столь ненавидимы, как Фулон; соперничать с ним в этом отношении мог, пожалуй, один-единственный человек, его зять Бертье де Савиньи.

Обоим повезло на другой день после падения Бастилии.

Фулон умер, а Бертье бежал.

Всеобщая ненависть к Фулону достигла своего пика, когда после отставки господина Неккера он согласился принять пост добродетельного женева, как называли в те времена г-на Неккера, и три дня пробыл генеральным контролером.

Поэтому на его похоронах изрядно попели и поплясали.

Кому-то пришлось в голову вытащить тело из гроба и повесить его, но Бийо влез на тумбу и произнес речь о том, что мертвых следует уважать, так что катафалк беспрепятственно продолжал путь.

Что до Питу, он был причислен к героям.

Питу был другом гг. Эли и Юлена, которые оказывали ему честь своими поручениями.

Кроме того, он был доверенным лицом Бийо, того самого Бийо, который был отмечен, как мы уже сказали, самим Лафайетом, причем Лафайет время от времени поручал фермеру охранять его, ценя широкие плечи и достойные Геракла кулаки Бийо.

С тех пор как король прибыл в Париж, Жильбер, которого г-н де Неккер свел с лицами, возглавлявшими Национальное собрание и муниципалитет, без устали трудился над воспитанием новорожденной революции.

Поэтому ему было не до Бийо и не до Питу, и те со всем пылом ринулись в собрания третьего сословия, на которых всю спорили о высокой политике.

Наконец, однажды, когда Бийо, который перед тем три часа кряду излагал перед выборщиками свои воззрения на снабжение Парижа и теперь, утомясь от собственной болтовни, но в глубине души гордясь своим красноречием, предавался блаженному отдохновению под монотонный ропот речей других ораторов, которых он и не думал слушать, примчался смущенный Питу, утрем проскользнул в залу собраний в ратуше и взволнованным голосом, разительно отличавшимся от обычно его рассудительного тона, воскликнул:

—Господин Бийо! Дорогой господин Бийо!

—Ну? Что такое?

—Большая новость!

—Добрая?

—Блистательная!

—Что случилось?

—Вы знаете, я ходил в клуб Добродетелей, что у заставы Фонтенбло.

—Да, знаю. И что же?

—Что же? Там сказали неслыханную вещь.

—Какую?

—Вы знаете, что этот негодяй Фулон притворился мертвым и даже разыграл собственные похороны?

—Как! Неужели он притворился мертвым? Как! Неужели он разыграл свои похороны? Черт побери, он в самом деле умер, я же сам видел, как его хоронили.

—Так вот, господин Бийо, он жив.

—Жив?

—Жив, как мы с вами.

—Ты не в своем уме!

—Дорогой господин Бийо, я в своем уме. Предатель Фулон, враг народа, кровопийца и спекулянт, вовсе не умер.

—Говорю тебе: его похоронили, у него был апоплексический удар, и повторяю, я видел, как его хоронили, и сам остановил людей, которые хотели вытащить его из гроба и повесить.

—А я только что видел его живым, вот!

—Ты видел?

—Как вас сейчас, господин Бийо. Говорят, умер не он, а один из его слуг, и этот негодяй велел похоронить его как аристократа. А теперь все раскрылось: он пошел на это, опасаясь народной мести.

—Расскажи-ка мне все, Питу.

—Давайте выйдем в переднюю, господин Бийо, там нам будет удобнее.

Они перешли из залы в переднюю.

—Прежде всего,—начал Питу,—надо **выяснить**, здесь ли господин Байи.

—Рассказывай, он здесь.

—Ладно. Я, значит, был в клубе Добродетелей и слушал там речь одного патриота. Того самого, который делал ошибки во французском языке! Сразу видно, что он не воспитывался в пансионе аббата Фортье.

—Продолжай,—отозвался Бийо.—Ты же прекрасно знаешь, что можно быть добрым патриотом и при том не уметь ни читать, ни писать.

—Это верно,—согласился Питу.—Он все говорит, как вдруг в зал вбегают запыхавшийся человек с криком: "Победа! Победа! Фулон не умер, он жив! Я его разоблачил, я его нашел!"

Там все оказались вроде вас, папаша Бийо, никто не хотел ему поверить. Одни восклицали: "Как! Фулон?"—"Ну да". Другие говорили: "Полноте!"—"Ничего не полноте". Третьи заявляли: "Раз ты нашел Фулона, то должен был вместе с ним найти и зятя его Бертье".

—Бертье?—вскричал Бийо.

—Да, Бертье де Савиньи. Да вы его знаете—он интендант в Компьене, друг господина Изидора де Шарни.

—Еще бы не знать! Он так резок со всеми на свете и так любезен с Катрин.

—Вот именно,—подтвердил Питу.—Мерзкий откупщик, еще один кровопийца на теле французского народа, ничтожество, позор всего цивилизованного мира, как говорит добродетельный Лустало*.

—Ну, дальше, дальше!

—Вы правы,—согласился Питу,—*ad eventum festina*, дорогой господин Бийо, что означает: "Не медли с развязкой". Итак, я продолжаю. Стало быть, этот запыхавшийся человек вбежал в клуб Добродетелей с криком: "Я нашел Фулона! Я его нашел!" Поднялся невообразимый шум.

* Лустало, Элисе (1762—1790)—журналист, сторонник революции.

—Он ошибся,—упрямо повторил Бийо.
—Нет, не ошибся, я сам видел Фулона.
—Ты видел Фулона, Питу?
—Собственными глазами. Но подождите же.
—Я жду, однако весь горю от нетерпения.
—Да вы слушайте, мне самому невтерпех рассказать... Ну вот, он, значит, сделал так, чтобы все думали, что он умер, и похоронил вместо себя слугу. Но Провидение не дремало!
—Провидение? Да будет тебе,—презрительно ответил вольтерьянец Бийо.
—Я хотел сказать "нация",—смущенно поправился Питу.—Этот добрый гражданин, этот запыхавшийся патриот, сообщивший нам новость, узнал Фулона в Вири, где тот скрывался.
—Вот как!
—Узнав его, он донес об этом, и один из членов муниципалитета по имени господин Рапп велел его тут же арестовать.
—А как зовут патриота, которому достало смелости на такой отважный поступок?
—Который донес на Фулона?
—Да.
—Его зовут господин Сен-Жан.
—Сен-Жан? Но так ведь зовут лакеев!
—А он и есть лакей негодая Фулона. Аристократ проклятый! Смотри у меня! Зачем тебе лакеи?
—Занятный ты человек, Питу,—проговорил Бийо, подходя поближе к рассказчику.
—Вы очень добры ко мне, господин Бийо. Итак, Фулон разоблачен и арестован, его отправили в Париж, а доносчик побежал вперед, чтобы сообщить всем новость и получить награду за донос. Вскоре к заставе прибыл и Фулон.
—Там ты его и видел?
—Да, выглядел он презабавно: вместо галстука ему на шею надели воротник из крапивы.
—Из крапивы? Почему из крапивы?
—Потому что этот мерзавец вроде бы говорил, что хлеб—для людей, сено—для лошадей, а народу довольно и крапивы.
—Этот негодяй так говорил?
—Говорил, господин Бийо, черт бы его взял!
—Никак, ты начинаешь браниться?
—Ну и что?—непринужденно ответил Питу.—Военным людям можно. Фулон шел пешком, и всю дорогу его награждали колотушками по спине и голове.
—В самом деле?—без особой радости заметил Бийо.
—Это было очень забавно, вот только наподдать ему удалось далеко не всем—ведь за ним шло тысяч десять человек.
—А дальше?—задумчиво спросил Бийо.
—А дальше его отвели к президенту округа Сен-Марсель, к этому добряку, вы его знаете.
—Да, его зовут господин Аклок.
—Вот-вот, какой-то Клок. Он велел доставить его в ратушу, потому что не знал, что с ним делать, так что Фулона вы скоро увидите.

—Но почему сообщаем об этом ты, а не знаменитый Сен-Жан?

—Да потому что ноги у меня на шесть дюймов длиннее, чем у него. Он вышел раньше меня, но я его догнал и перегнал. Я хотел сообщить вам, чтобы вы предупредили господина Байи.

—Ну и повезло же тебе, Питу.

—А завтра повезет еще больше.

—Откуда ты знаешь?

—Этот самый Сен-Жан, что донес на господина де Фулона, предложил поймать и господина Бертье, который сейчас в бегах.

—Так Сен-Жан знает, где он скрывается?

—Да, похоже что наш благородный Сен-Жан был их доверенным человеком и получил от тестя и зятя много денег—они хотели его подкупить.

—И он взял у них деньги?

—Еще бы! Деньги у аристократов нужно брать всегда. Но только он сказал: "Добрый патриот не предает нацию ради денег".

—Да,—прошептал Бийо,—он предает своих хозяев, и только. Знаешь, Питу, этот твой господин Сен-Жан, по-моему, большой проходимец.

—Возможно, но это не важно: господина Бертье поймают точно так же, как поймали мэтра Фулона, и их обоих рядышком повесят. Хорошенькие рожи они скорчат, когда будут глядеть друг на друга, а?

—А почему их должны повесить?—осведомился Бийо.

—Да потому что они негодяи, я их терпеть не могу.

—Но ведь господин Бертье бывал у нас на ферме, пил у нас молоко, когда объезжал Иль-де-Франс, прислал Катрин из Парижа золотые сережки. О нет, нет, его не повесят.

—Вот еще!—злобно воскликнул Питу.—Да это ж аристократ, соблазнитель!

Бийо с удивлением уставился на Питу. Под его взглядом тот невольно покраснел до корней волос.

Внезапно почтенный арендатор увидел г-на Байи, возвращавшегося после совещания к себе в кабинет, и, бросившись к нему, сообщил свежие новости.

Теперь уже недоверие выразил г-н Байи.

—Фулон?—воскликнул он.—Глупости!

—Да вот же Питу, господин мэр, он сам его видел,—принялся убеждать арендатор.

—Видел, господин мэр,—подтвердил Питу, прижав руку к груди и отвешивая поклон.

И он рассказал Байи все, что перед этим поведал фермеру. Бедняга Байи побледнел: он понял весь размер катастрофы.

—И господин Аклок послал его сюда?—пролепетал он.

—Да, господин мэр.

—Но каким образом?

—О, не беспокойтесь,—сказал Питу, неверно истолковав тревогу Байи,—у пленника надежная охрана, по дороге его не похитят.

—Дай Бог, чтобы похитили,—прошептал Байи.

Затем, повернувшись к Питу, он добавил:

—Вы сказали: "надежная охрана". Что вы имеете в виду?

—Я имею в виду народ.

—Народ?

—Там более двадцати тысяч человек, не считая женщин,— торжествующе объявил Питу.

—Несчастный!—вскричал Байи.—Господа! Господа выборщики!

С помощью пронзительных, отчаянных криков он собрал вокруг себя всех участников заседания.

Пока звучал его рассказ, вокруг слышались лишь испуганные возгласы.

Он кончил, и в наступившей страшной тишине внезапно послышался неясный отдаленный шум, который, проникая сквозь стены ратуши, напоминал гул крови в ушах, какой бывает при сильной головной боли.

—Что это?—спросил кто-то из выборщиков.

—Шум толпы, черт возьми,—отозвался другой.

Вдруг на площадь вылетела карета и остановилась перед ратушей; двое вооруженных людей вывели из нее третьего—бледного и дрожащего.

За каретой под предводительством страшно запыхавшегося Сен-Жана бежала сотня молодых людей в возрасте от двенадцати до восемнадцати лет, отличавшихся нездоровым цветом лица и горящими глазами.

Передвигаясь почти с тою же быстротой, что и карета, они выкрикивали:

—Фулон! Фулон!

Однако двое вооруженных людей успели все же втолкнуть Фулона в ратушу и запереть двери, оставив за ними охрипших крикунов.

—Все-таки добрались,—обратился один из сопровождавших к выборщикам, столпившимся на верхних ступенях лестницы.—Проклятье! Это было нелегко!

—Господа, господа!—воскликнул трепещущий Фулон.—Спасите меня.

—Ах, сударь,—со вздохом отвечал Байи,—вы очень провинились.

—Но, сударь,—еще более встревоженно продолжал Фулон,—я надеюсь, правосудие встанет на мою защиту?

Шум за дверьми усилился.

—Спрячьте его поскорее,—крикнул Байи людям, стоявшим вокруг Фулона,—или...

Он повернулся к Фулону.

—Послушайте,—проговорил он,—положение слишком серьезное, нам некогда заниматься разговорами. Если еще не поздно, быть может, вы рискнете убежать через задние двери ратуши?

—О нет!—вскричал Фулон.—Меня узнают и растерзают!

—Значит, вы предпочитаете остаться с нами? Я и эти люди сделаем все, что в человеческих силах, чтобы вас защитить. Не так ли, господа?

—Обещаем!—в один голос подтвердили выборщики.

—Лучше я останусь с вами. Не покидайте меня, господа.

—Я же говорю, сударь,—с достоинством повторил Байи,—мы сделаем все, что в человеческих силах, чтобы вас спасти.

В этот миг на площади послышался могучий ропот, разнесшийся во все стороны и проникший через открытые окна в ратушу.

—Слышите? Слышите?—пробормотал побелевший Фулон.

Грозно ревушая толпа хлынула к ратуше изо всех примыкающих к ней улочек и в первую очередь с набережной Пельтье и улицы Ваннери.

Байи подошел к окну.

Тысячи глаз, равно как ножи, пики, косы и мушкеты, сверкали на солнце. Не прошло и десяти минут, как широкая площадь оказалась забитой людьми. Это был кортеж Фулона, о котором говорил Питу и который разросся за счет зевак, что, заслышав шум, отовсюду сбегались на Гревскую площадь.

И все эти люди, а было их там свыше двадцати тысяч, кричали:

—Фулон! Фулон!

Сотня юнцов, бежавших за каретой, указывала ревущей толпе на дверь, за которою скрылся Фулон. Дверь тут же подверглась штурму: на нее посыпались удары ног, прикладов и просто палок.

Внезапно дверь распахнулась.

В ней показались охранявшие ратушу солдаты: они стали наступать на осаждавших, и те, пятясь перед штыками, не успев опраться от первого испуга, очистили перед зданием обширное пространство.

Не теряя самообладания, солдаты заняли позицию на ступенях ратуши.

Офицеры не стали угрожать толпе, а принялись ее уговаривать и урезонивать всяческими обещаниями.

Байи потерял голову. Несчастный астроном впервые столкнулся лицом к лицу с народным возмущением.

—Что делать?—спрашивал он у выборщиков.—Что же делать?

—Судить Фулона,—послышались голоса.

—Когда вам грозит толпа, это не суд,—ответил Байи.

—Вот черт!—воскликнул Бийо.—Сколько у вас солдат охраны?

—И двух сотен не наберется.

—Значит, требуется подкрепление.

—Ах, если бы дать знать господину де Лафайету!—воскликнул Байи.

—Так дайте ему знать.

—Но кто это сделает? Кто сможет пробраться через такое море людей?

—Я,—проговорил Бийо.

И тут же двинулся к выходу.

Байи остановил его.

—Безумец,—сказал он,—взгляните на этот океан. Вас за-

хлестнет первая же волна. Если вы хотите добраться до господина де Лафайета, обходите толпу сзади, но я за вас не отвечаю. Ступайте.

—Ладно,—просто ответил Бийо и стрелой бросился прочь от ратуши.

XI. Тесть

Тем временем, как обычно бывает в таких случаях, по толпе поползли слухи, и она стала распалаться все сильнее и сильнее. Ею двигала уже не ненависть, а отвращение, люди уже не угрожали, а просто бесились от ярости.

Крики "Долой Фулона!" и "Смерть Фулону" летели, словно смертоносные ядра; все увеличивающаяся толпа уже начала теснить солдат охраны.

Повсюду стали слышны призывы к насилию.

Угрозы раздавались уже в адрес не только Фулона, но и выборщиков, которые его защищали.

—Они позволили пленнику сбежать,—говорили одни.

—Войдем в ратушу,—предлагали другие.

—Подождем ратушу!

—Вперед! Вперед!

Байи понял, что у него остался лишь один выход, так как подмога от Лафайета все не шла.

Выборщики спустились в толпу и принялись уговаривать наиболее горячих ее представителей.

—Фулон! Фулон!

Этот крик, этот вой разъяренной людской стихии не смолкал.

Люди начали готовиться к штурму, которого стены ратуши не выдержали бы.

—Сударь,—обратился Байи к Фулону,—если вы не покажетесь толпе, эти люди решат, что мы позволили вам бежать. Они взломают дверь, ворвутся сюда, увидят вас, и тогда я уже ни за что не отвечаю.

—Никогда не думал, что меня ненавидят до такой степени,—бессильно свесив руки, проговорил Фулон.

Опираясь на плечо Байи, он допелся до окна.

При виде его раздался ужасающий крик. В одно мгновение солдаты были смяты, двери сорваны, людской поток разлился по лестницам, коридорам и залам.

Байи выставил вокруг пленника оставшихся в его распоряжении солдат и принялся уговаривать толпу.

Ему хотелось внушить этим людям, что убийство может порой быть объяснимым, но оправданным—никогда.

Рискуя собственной жизнью, прикладывая невероятные усилия, он, наконец, вроде бы добился своего.

—Ладно,—согласились нападавшие,—пусть его судят, но потом пусть повесят.

Дебаты дошли как раз до этой точки, когда в ратушу прибыл г-н де Лафайет, приведенный Бийо

Его трехцветный султан, один из первых, появившихся в Париже, заставил шум смолкнуть, а гнев—утихнуть.

Проходя через толпу, командующий национальной гвардией повторял все сказанное Байи, только с еще большей энергией.

Его речь убедила всех, кто его слышал, и в зале ратуши дело Фулона было выиграно.

Однако находившиеся на площади двадцать тысяч взбешенных людей не слышали г-на де Лафайета и продолжали упорствовать в своем неистовстве.

—Пойдемте!—заклучил Лафайет, который, естественно, полагал, что убежденность тех, кто его слышал, передалась их товарищам на площади.—Пойдемте, этого человека следует судить.

—Верно!—послышалось в толпе.

—Поэтому я приказываю доставить его в тюрьму,—продолжал Лафайет.

—В тюрьму! В тюрьму!—завопила толпа.

Генерал дал знак солдатам, находившимся в ратуше, и те повели пленника на улицу.

Толпа на площади поняла лишь одно: добыча идет к ней в руки. Этим людям даже в голову не пришло, что кто-то надеется отнять ее у них.

Толпа, если можно так выразиться, почувствовала приближающийся к ней запах свежего мяса.

Вместе с Байи и несколькими выборщиками Бийо встал у окна, чтобы посмотреть, как пленник в сопровождении охраны станет пересекать площадь.

Еще находясь внутри здания ратуши, Фулон то и дело что-то растерянно бормотал, тщетно пытаясь скрыть свой ужас за уверениями в том, что бояться ему нечего.

—Люди добрые,—говорил он, спускаясь с лестницы,—мне опасаться нечего, я—среди своих сограждан.

Вокруг него уже стали слышаться насмешки и оскорбительные словечки, когда вдруг он вышел из-под темных сводов и оказался на лестнице, спускавшейся к площади. В лицо ему ударили ветер и солнце.

И тут же из двадцати тысяч грудей вырвался крик—крик гнева, грозный рык, вопль ненависти. Солдат охраны тотчас же сбили с ног и разбросали в разные стороны, сотни рук подхватили Фулона и потащили в угол площади, где высился роковой фонарь, это омерзительное и жестокое орудие народного гнева, который толпа называла правосудием.

При виде этого зрелища стоявший у окна Бийо закричал, выборщики пытались подбодрить солдат, но те уже были бесцельны что-либо сделать.

Лафайет в ужасе выскочил из ратуши, но не смог пробиться даже сквозь первые ряды толпы, громадным озером заполнявшей пространство между ним и фонарем.

Забравшиеся, чтобы лучше видеть, на каменные тумбы, окна, выступы зданий, на любые, бывшие в их досягаемости возвышения, зрители пронзительными криками поддерживали возбуждение в актерах этого жуткого спектакля.

А те играли своею жертвой, как стая тигров играла бы беззащитной добычей.

Палачи уже начали ссориться из-за Фулона, но в конце концов поняли, что если они желают насладиться его агонией, им следует распределить между собой роли.

В противном случае он просто будет растерзан на куски.

И вот одни подняли Фулона с земли; несчастный был уже не в силах даже кричать.

Другие, сорвав с него галстук и изодрав одежду, накинули ему на шею веревку.

Третий, взобравшись на фонарь, перебросил через него эту веревку, уже впивавшуюся в шею бывшего министра.

На какой-то миг Фулона подняли высоко вверх и с веревкой на шее и связанными за спиной руками продемонстрировали толпе.

Затем, когда толпа вдоволь натешилась зрелищем жертвы и нарукоплексалась, прозвучал сигнал, и бледный, истекающий кровью Фулон взвился под железную поперечину фонаря под свист и гиканье, которые были еще страшнее смерти.

Все, кому до сих пор ничего не было видно, могли теперь созерцать раскачивающегося над толпою врага народа.

Но тут раздались новые крики: теперь уже нападали на палачей. Почему это Фулон умер так быстро?

Палачи пожимали плечами и лишь указывали на веревку.

Веревка была старой, ее волокна лопались у всех на глазах одно за другим. Отчаянные судороги бившегося в агонии Фулона довершили дело, веревка в конце концов порвалась, и полужадушенный Фулон рухнул на землю.

Оказалось, это был лишь пролог к казни, бедняга побывал лишь в преддверии смерти.

Несколько человек бросились к приговоренному, но он лежал тихо и убежать не мог: падая, Фулон сломал себе ногу ниже колена.

И тем не менее вокруг послышалась ругань—ругань глупая и необоснованная: палачей обвиняли в неумелых действиях. И это их-то, людей изобретательных, выбравших старую веревку в надежде, что она не выдержит!

И надежда эта полностью оправдалась.

Но вот на веревке завязали новый узел и снова надели петлю на шею несчастному, который, уже полумертвый, хрипящий, блуждающим взглядом искал, не найдется ли в этом городе, служащем центром цивилизованного мира, хоть одного штыка из ста тысяч, принадлежащих королю, министром которого он был,—хоть одного штыка, способного проделать проход в этой орде каннибалов.

Но вокруг ничего—только ненависть, оскорбления и смерть.

—Добейте меня, за что же такие страдания!—в отчаянье воскликнул Фулон.

—Погоди,—ответил ему чей-то голос.—Ты нас долго заставлял мучиться, теперь помучайся сам.

—Да и крапиву свою ты еще не успел переварить,—добавил другой.

—Постойте!—вскричал третий.—Неплохо было бы привести сюда его зятя Бертье, на фонаре еще есть местечко.

—Поглядим, какие рожи скроют друг другу тестюшка и зятек,—добавил кто-то.

—Добейте меня! Добейте!—продолжал умолять Фулон.

Тем временем Байи и Лафайет просили, требовали, кричали, пытаясь пробраться сквозь толпу, но Фулона вновь вздернули на фонарь, и веревка снова лопнула, и все их просьбы, мольбы, весь их смертельный ужас, ничуть не меньший, чем ужас осужденного,—все потерялось, растворилось, заглохло среди всеобщего хохота, которым была встречена вторая неудачная попытка.

Байи и Лафайета, этих еще три дня назад безусловных выразителей воли шестисот тысяч парижан, теперь уже никто не слушал, даже дети. На них лишь шикали: они мешали смотреть спектакль.

Напрасно Бийо пытался помочь им силою своих кулаков. Этот геркулес свалил наземь человек двадцать, но чтобы добраться до Фулона, ему следовало повергнуть пятьдесят, сто, двести человек, а он уже выбился из сил. Только он остановился и принялся утирать со лба пот и кровь, как Фулон в третий раз закачался на верхушке фонаря.

На сей раз палачи сжалились над ним и добыли новую веревку.

Приговоренный умер. Мучения жертвы прекратились.

Толпе хватило полминуты, чтобы убедиться, что в нем угасла последняя искорка жизни. Тигр убит, теперь его можно растерзать.

Спущенный с фонаря труп даже не коснулся земли—его мгновенно разорвали на части.

За одну секунду голова была отделена от туловища и в следующую секунду уже болталась на острие пики. В те времена было модно носить головы врагов на пиках.

При виде этого зрелища Байи ужаснулся. Голова Фулона была для него страшнее головы античной Медузы.

Лафайет, бледный, со шпагой в руке, принялся с отвращением расталкивать гвардейцев, которые пытались извиниться за свое бессилие.

Бийо, дрожа от негодования и лягаясь направо и налево, словно горячий першерон, вернулся в ратушу, чтобы не видеть того, что происходило на залитой кровью площади.

Что же до Питу, то захлестнувшая его на миг волна народной ненависти завершилась чем-то вроде припадка, и молодой человек, дойдя до берега реки, сел, закрыл глаза и заткнул уши, не в силах ничего больше видеть и слышать.

В ратуше царила растерянность: выборщики начали понимать, что они управляют движениями народа лишь до тех пор, пока это устраивает народ.

Самые яростные его представители еще развлекались тем, что таскали обезглавленный труп Фулона по сточной канаве,

как вдруг из-за моста донесся новый крик, прокатился новый раскат грома.

На площади появился гонец. Но толпа уже знала, какую новость он несет. Она догадалась о ней по подсказке самых ловких своих жокаков, как свора собак берет след, благодаря хорошему чутью наиболее опытной ищейки.

Толпа устремила к гонцу и окружила его, она уже почувяла новую дичь, она разнюхала, что гонец будет говорить о г-не Бертье.

Так оно и оказалось.

Отвечая на вопросы нескольких тысяч человек одновременно, гонец вынужден был признать:

—Господин Бертье де Савиньи арестован в Компене.

Затем, пробравшись в ратушу, он сообщил то же самое Лафайету и Байи.

—Да, я так и предполагал,—заметил Лафайет.

—Мы знали об этом,—подтвердил Байи,—и распорядились держать его под стражей там.

—Там?—удивился гонец.

—Ну да, я отправил туда двоих комиссаров с сопровождением.

—Отряд в двести пятьдесят человек, не так ли?—вмешался один из выборщиков.—Этого более чем достаточно.

—Так знайте же, господа,—ответил гонец,—что толпа разогнала сопровождающих и похитила арестованного.

—Похитила?—вскричал Лафайет.—Эскорт позволил похитить арестованного?

—Не стоит винить их, генерал, они сделали что могли.

—Но что же с господином Бертье?—спросил обеспокоенный Байи.

—Его везут в Париж,—ответил гонец,—сейчас он в Бурже.

—Но если они доберутся сюда, он пропал!—воскликнул Бийо.

—Скорее! Скорее!—вскричал Лафайет.—Пятьсот человек в Бурже! Пусть комиссары и господин Бертье остановятся там на ночь, а за ночь мы решим, что делать.

—Но кто осмелится взять на себя подобное поручение?—спросил гонец, с ужасом глядя через окно на бушующее море, каждая волна которого алкала смерти.

—Я!—воскликнул Бийо.—Уж его-то я спасу.

—Но это же верная гибель,—запротестовал курьер.—Вам предстоит путь, страшнее которого и не придумать.

—Я пошел,—отрезал фермер.

—Бесполезно,—прошептал Байи, напрягая слух.—Послушайте!

И верно: со стороны заставы Сен-Мартен донесся рокот, напоминавший отдаленный прибой.

Этот яростный шум вздымался над домами, как пар вздымается над сосудом с кипящей жидкостью.

—Поздно,—вымолвил Лафайет.

—Они идут! Идут!—прошептал гонец.—Слышите?

—Полк сюда! Полк!—воскликнул Лафайет с благородным

безумием человеколюбия, составлявшим одну из светлых сторон его натуры.

—Ах, черт побери!—кажется, в первый раз выбранился Байи.—Разве вы не понимаете, что наша армия—это та же толпа, с которой вы собираетесь сражаться?

И он спрятал лицо в ладони.

Слышные вдалеке крики с быстротою молнии передались толпе, запрудившей улицы, а от нее—людскому морю на площади.

ХII. Зять

В тот же миг люди, измывавшиеся над останками Фулона, оставили свою кровавую игру и бросились навстречу новой жертве мести.

Примыкающие к площади улицы мгновенно заполнились рычащими горожанами, которые, размахивая ножами и кулаками, ринулись к улице Сен-Мартен, навстречу еще одной погребальной процессии.

Спешившие навстречу друг другу толпы вскоре соединились.

И вот что произошло дальше.

Несколько изобретательных палачей, которых мы уже видели на Гревской площади, несли на пике голову тестя, чтобы показать ее зятю.

Господин Бертье ехал в это время вместе с комиссаром по улице Сен-Мартен и как раз пересекал улицу Сен-Мери.

Он ехал в одноколке, экипаже по тем временам в высшей степени аристократическом и вызывавшем яростную ненависть народа: сколько раз люди жаловались на то, что франты или танцовщицы, сами правившие одноколкой, едут слишком быстро и не могут справиться с горячей лошадью, так что прохожий всегда бывает забрызган грязью, а порой и сбит с ног.

Медленно двигаясь среди воплей, свиста и угроз, Бертье невозмутимо беседовал с выборщиком Ривьером, тем самым комиссаром, который был послан в Компьень, чтобы его спасти, и которому теперь было впору спастись самому, тем более что напарник его покинул.

Толпа начала с одноколки: она в щепы разнесла кузов, так что Бертье и его спутник оказались ничем не защищены от взглядов и ударов.

По пути Бертье постоянно напоминали о его преступлениях, которые люди обсуждали и, распаялая, все больше преувеличивали.

—Он хотел заморить Париж голодом.

—Он приказал жать рожь и пшеницу, когда они еще не созрели, зерно вздоржало, и он заработал громадные деньги.

—Он виноват не только в этом, что само по себе немало, он, кроме того, участвовал в заговоре. У него нашли портфель, а в нем—всякие возмутительные бумаги: приказы о

массовых убийствах, распоряжение выдать его людям десять тысяч патронов.

Все это было чудовищной нелепостью, но известно, что толпа, доведенная до крайнего раздражения, распространяет самые безумные сплетни как нечто вполне достоверное.

Тот, кого обвиняли в этом, был еще молодой, изящно одетый человек лет тридцати-тридцати двух; слегка улыбаясь под градом ругательства и оскорблений, он невозмутимо смотрел на листы бумаги с гнусными надписями, что ему совали под нос, и безо всякой рисовки беседовал с Ривьером.

Какие-то два человека, раздраженные его беспечностью, решили напугать Бертье и сбить с него спесь. Вскочив на подножки одноколки, они приставили ему к груди штыки своих ружей.

Но такая малость не могла смутить Бертье, который был отважен до безрассудства: он как ни в чем не бывало продолжал беседовать с выборщиком, словно ружья эти были безобидными деталями экипажа.

Толпа, крайняя недовольная подобным пренебрежением, которое так разительно отличалось от ужаса Фулона, ревела вокруг одноколки, дожидаясь того момента, когда от пустых угроз она сможет перейти к делу.

Внезапно взгляд Бертье остановился на каком-то бесформенном окровавленном предмете, появившемся у него перед лицом, и он узнал в нем голову собственного тестя, которую ему поднесли прямо к губам.

Забавники хотели, чтобы он ее поцеловал.

Г-н Ривьер с негодованием оттолкнул пику.

Бертье жестом поблагодарил его и даже не соизволил оглянуться на этот омерзительный трофей, который палачи несли за экипажем прямо у него над головой.

Так они добрались до Гревской площади, где, благодаря усилиям поспешно окруживших их солдат, пленник был переведен в ратушу и отдан в руки выборщиков.

Новая опаснейшая задача и связанная с нею ответственность заставила Лафайета побледнеть, а сердце парижского мэра—затрепетать.

Парижане, быстренько разбив на кусочки оставленную подле ратушной лестницы одноколку, принялись занимать удобные места, поставили у всех выходов охрану и начали приготовления, перекидывая через кронштейны фонарей новые веревки.

Завидя Бертье, который спокойно поднимался по широкой лестнице ратуши, Бийо горько разрыдался и вцепился себе в волосы.

Когда, по его мнению, с Фулоном было покончено, Питу покинул берег реки, вновь поднялся на набережную и теперь, несмотря на свою ненависть к г-ну Бертье, который в его глазах был виновен не только в том, в чем обвиняла его толпа, но и в том, что подарил Катрин золотые сережки,—испуганный Питу со слезами на глазах присел на корточки за какую-то скамью.

Тем временем Бертье, словно речь шла вовсе не о нем, вошел в зал заседаний и принялся беседовать с выборщиками.

С большинством из них он был знаком, а некоторых знал даже близко.

Однако выборщики сторонились Бертье, испытывая страх, какой всегда испытывают люди робкие при встрече с человеком, утратившим популярность.

Вскоре рядом с Бертье остались лишь Байи и Лафайет.

Когда ему рассказали подробности гибели Фулона, он пожал плечами и заметил:

—Что ж, все понятно. Нас ненавидят, потому что мы—орудия, с помощью которых монархия терзает народ.

—Вам вменяют в вину серьезные преступления,—сурово отозвался Байи.

—Сударь,—ответил Бертье,—если я совершил все преступления, в которых меня обвиняют, то, значит, я не человек, а дикий зверь или демон, но ведь, насколько я понимаю, меня будут судить, и вот тогда-то все и выяснится.

—Разумеется,—подтвердил Байи.

—Прекрасно,—проговорил Бертье,—это все, что мне нужно. У вас есть моя переписка, вы увидите, чьим приказам я подчинялся, и ответственность будет возложена на тех, на кого ее следует возложить.

Выборщики покосились в сторону площади, откуда доносился невообразимый шум.

Бертье понял смысл их молчаливого ответа.

В этот миг Бийо, пробравшись сквозь окружавших Байи людей, подошел к интенданту и, протянув ему свою громадную лапшу, поздоровался:

—Добрый день, господин де Савиньи.

—Да это никак Бийо?—со смехом воскликнул Бертье, отвечая фермеру твердым рукопожатием.—Стало быть, ты теперь бунтуешь в Париже, мой славный фермер? А ведь ты так выгодно продавал зерно на рынках в Виллер-Котре, Крепи и Суассоне.

Несмотря на всю свою склонность к демократии, Бийо не смог скрыть восхищения перед этим человеком, который был так спокоен, когда жизнь его висела на волоске.

—Рассаживайтесь, господа,—предложил выборщикам Байи,—начинаем расследование выдвинутых против господина Бертье обвинений.

—Согласен,—отозвался Бертье,—но я должен, господа, предупредить вас вот о чем: я очень устал, не спал двое суток; сегодня, по пути из Компьяна в Париж, меня непрерывно дергали, толкали, пинали, когда я попросил чего-нибудь поесть, мне предложили сена, а им не очень-то наешься. Прошу вас, позвольте мне поспать где-нибудь хоть часок.

В этот миг Лафайет, выходявший из ратуши разведать обстановку, вернулся назад еще более подавленный.

—Дорогой Байи,—обратился он к мэру,—народ ожесточен до предела. Оставить господина Бертье здесь значит оказаться в осаде, а если мы станем защищать ратушу, то дадим раз-

ярненной толпе повод, которого она только и ищет. Если же мы откажемся от обороны ратуши, это будет означать, что мы опять сдаемся без боя.

Тем временем Бертье сел на скамью, а потом и растянулся на ней во весь рост.

Он все же решил соснуть.

Через открытое окно до него доносился неистовый рев толпы, но он сохранял полное спокойствие; лицо его дышало безмятежностью человека, который забыл обо всем и ждет, когда его одолеет сон.

Байи продолжал совещаться с выборщиками и Лафайетом.

Бийо неотрывно смотрел на Бертье.

Лафайет быстро подсчитал голоса и обратился к арестованному, который уже начал задремывать:

—Сударь, благоволите приготовиться.

Бертье вздохнул и, приподнявшись на локте, осведомился:

—К чему?

—Эти господа решили, что вас следует перевести в Аббатство*.

—В Аббатство так в Аббатство,—согласился интендант.— Впрочем, добавил он, глядя на смущенных выборщиков и понимая причину их смущения,—*так или иначе*, с этим надо кончать.

Как раз в этот миг Гревская площадь взорвалась давно сдерживавшимися злобой и раздражением.

—Нет, нет, господа,—воскликнул Лафайет,—сейчас мы не можем позволить ему выйти отсюда.

Собрав все свое мужество, Байи в сопровождении двух выборщиков спустился на площадь и призвал народ к молчанию.

Но люди не хуже него знали, о чем он собирается говорить, их вновь обуяла жажда крови, они ничего не желали слышать, и стоило Байи открыть рот, как толпа завопила, мгновенно заглушив его слова.

Байи, видя, что ему не удастся вымолвить ни звука, вернулся в ратушу, а вдогонку ему неслись крики:

—Бертье! Бертье!

Через секунду к ним присоединились новые возгласы, словно пронзительные ноты, внезапно влетающие в хор демонов в опере Мейербера или Вебера:

—На фонарь! На фонарь!

После Байи утихомирить толпу решил попробовать Лафайет. Он молод, горяч, всеми любим. То, что не удалось старику, популярность которого уже в прошлом, ему, другу Вашингтона и Неккера, удастся с первого же слова.

Но напрасно генерал от народа обращался к самым разъяренным, напрасно взывал он к справедливости и человечности, напрасно, распознав или сделав вид, что распознал, вожаков, он умолял их, пожимал им руки, пытаясь их удержать.

Ни одно из его слов не было услышано, ни один из жестов не понят, ни одна слеза не увидена.

* Тюрьма в Париже, построенная в 1631—1635 гг. В 1854 г. разрушена.

Постепенно отступая назад, он в конце концов встал на колени на крыльце ратуши, заклиная этих диких зверей, которых он называл согражданами, не позорить нацию и самих себя, не делать из преступников мучеников—ведь покарать и предать их бесчестью волен лишь закон.

По мере того как он говорил, угрозы стали сыпаться и в его адрес, но он не обращал на них внимания. Тогда несколько одержимых стали размахивать у него перед лицом кулаками, а кое-кто—и оружием.

Лафайет не склонился перед угрозами, и оружие опустилось.

Но раз люди угрожали Лафайету, значит, они угрожали и Бертье.

По примеру Байи побежденный Лафайет вернулся в ратушу. Выборщики видели, что Лафайет оказался бессилен перед бурей: последний их оплот пал.

Поэтому они решили, что солдаты охраны, находившиеся в ратуше, доставят Бертье в Аббатство.

Бертье посылали на верную гибель.

—Наконец-то,—заметил он, когда решение было принято.

Бросив на них взгляд глубочайшего презрения, он встал посреди солдат, кивком поблагодарив Байи и Лафайета и протянув руку Бийо.

Байи отвел в сторону полные слез глаза, взор Лафайета горел возмущением.

Тем же ровным шагом, каким он поднимался по лестнице ратуши, Бертье стал спускаться вниз.

Едва он ступил на крыльцо, как на площади раздался жуткий вопль, от которого задрожали каменные ступени.

Однако, сохраняя невозмутимость, он спокойным, презрительным взором взглянул в тысячи пылающих глаз и, пожав плечами, произнес:

—Странные люди! Чего они так орут?

Не успел Бертье договорить, как уже стал добычей этих странных людей. Он еще стоял на крыльце, среди солдат, когда к нему потянулось множество рук. В тело его впились железные крючья, он поскользнулся и угодил прямо в лапы к своим врагам, которые буквально в секунды смяли стражу.

Мощная волна повлекла арестованного по залитому кровью пути, который Фулон проделал двумя часами раньше.

На роковом фонаре уже сидел человек с веревкой в руке.

Однако в Бертье вцепился другой человек, яростно, безумно раздававший удары направо и налево и во всю глотку проклинавший палачей.

—Я вам его не отдам!—кричал он.—Вы его не убьете!

Это был обезумевший Бийо; отчаяние удесятило его силы. Одним он орал:

—Я один из тех, кто брал Бастилию!

И верно: некоторые узнавали его и умеряли свой пыл.

Других он просил:

—Позвольте его судить, я ручаюсь за него головой, если он сбежит, возьмете меня вместо него.

Честный Бийо! Бедняга! Вихрь закрутил его вместе с Бертье—так смерч крутит в своих громадных спиралях и перышко, и клоч соломы вместе с ним.

Он двигался, не чуя под собою ног, не замечая ничего вокруг. И наконец дошел до места.

Дальше все произошло с молниеносной быстротой.

Бертье, которого, подняв над землей, тащили спиной вперед, почувствовал, что движение прекратилось, обернулся, поднял глаза и увидел мерзкую петлю, болтавшуюся прямо у него над головой.

Неожиданным резким движением он вырвался из вцепившихся в него рук, выхватил у национального гвардейца ружье и несколько раз ударил штыком своих палачей.

Но в ту же секунду на него сзади посыпался град ударов, и он упал; толпа окружила его и принялась добивать.

Бийо исчез под ногами убийц.

Бертье не мучился. Его кровь и душа одновременно покинули тело через сотни ран.

И тут Бийо стал свидетелем зрелища, отвратительнее которого ему еще видеть не доводилось. Какой-то человек сунул руку в отверстие раны на груди у трупа и вырвал оттуда дымящееся сердце.

Затем, наколотив сердце на острие своей сабли, он, идя через расступающуюся перед ним толпу, двинулся к ратуше, чтобы положить сердце на стол, стоявший в зале, где заседали выборщики.

Бийо, этот железный человек, не выдержал и рухнул на каменную тумбу шагах в десяти от рокового фонаря.

Увидев, какое оскорбление нанесено его авторитету и даже революции, которой он командовал или, вернее, полагал, что командует, Лафайет сломал свою шпагу и швырнул обломки в лица убийц.

Питу поднял фермера и повел в сторонку, шепча ему на ухо:

—Бийо! Папаша Бийо! Осторожнее: если они увидят, что вам стало дурно, то чего доброго примут вас за сообщника Бертье и тоже прикончат. Это будет досадно... Такого прекрасного патриота!

Он подтащил арендатора к реке и, насколько это было возможно, укрыл его там от взглядов особо ревностных революционеров, которые уже начали было перешептываться.

XIII. Бийо начинает замечать, что путь революции устлан отнюдь не одними розами

Бийо, который вместе с Питу был до сих пор погружен в сладостное опьянение, начал замечать, что наступает похмелье.

Когда они немного отдышались на свежем речном воздухе, Питу проговорил:

—Господин Бийо, я уже скучаю по Виллер-Котре, а вы?

Эти слова, словно мягкое, целительное дыхание ветерка, заставили фермера очнуться, и он решил, что уже достаточно

передохнул, чтобы пробраться через толпу и как можно скорее покинуть место кровавой бойни.

— Ты прав, пошли, — сказал он Питу.

Он решил отыскать Жильбера, который жил в Версале и, ни разу не получив приглашения королевы после поездки Людовика XVI в Париж, стал правой рукой вернувшегося в министерство Неккера и променял роман своей жизни на историю всей Франции, пытаясь добиться процветания путем распространения нищеты.

Питу, как обычно, отправился вместе с Бийо.

Наконец их провели к кабинет, где работал доктор.

— Доктор, — заявил Бийо, — я возвращаюсь на ферму.

— Почему же? — осведомился Жильбер.

— Потому что ненавижу Париж.

— Понятно, — холодно отозвался Жильбер, — вы устали.

— Просто измучился.

— Вам не нравится революция?

— Я хотел бы, чтоб она поскорее закончилась.

Жильбер печально улыбнулся.

— Она только начинается, — сказал он.

— Да ну? — вырвалось у Бийо.

— Вас это удивляет? — спросил Жильбер.

— Меня удивляет ваше хладнокровие.

— Друг мой, — проговорил врач, — а знаете ли вы, почему я столь хладнокровен?

— Потому, наверное, что убеждены.

— Вот именно.

— И в чем же вы убеждены?

— Догадайтесь.

— В том, что все кончится хорошо?

Жильбер улыбнулся еще печальнее.

— Напротив, в том, что все кончится плохо.

Бийо издал удивленное восклицание.

Что до Питу, то он вытаращил глаза: довод показался ему неубедительным.

— Послушайте-ка, — сказал Бийо, почесывая ухо своей мочушкой лапой, — кажется, я не совсем хорошо вас понимаю.

— Берите стул, Бийо, — отозвался Жильбер, — и садитесь рядом.

Бийо последовал его приглашению.

— Ближе, ближе, чтобы слышать меня могли только вы.

— А я, господин Жильбер? — робко спросил Питу, давая понять, что готов уйти по первому требованию Жильбера.

— Нет, оставайся, — разрешил Жильбер. — Ты еще молод, тебе будет полезно послушать.

Питу навострил уши с тем же усердием, с каким до этого тарашил глаза, и сел на пол рядом со стулом папаши Бийо.

Довольно странно выглядело это тайное собрание трех человек, сидящих в кабинете Жильбера подле стола, заваленного письмами, бумагами, свежими оттисками газет, в нескольких шагах от двери, безуспешно осаждаемой просителями и жа-

лобщиками, которых сдерживал старый придверник, полуслепой и однорукий.

—Я слушаю,—проговорил Бийо.—Объясните, мэтр: почему все кончится плохо?

—Так вот, Бийо. Знаете ли вы, чем я сейчас занят, друг мой?

—Пишете на бумаге какие-то строчки.

—Но что они значат, эти строчки?

—Как же вы хотите, чтобы я догадался, когда я даже не умею читать?

Питу робко поднял голову и бросил взгляд на лежавший перед доктором лист бумаги.

—Там какие-то цифры,—сообщил он.

—Вот-вот, цифры. А в этих цифрах—крах Франции и в то же время ее спасение.

—Вот оно как,—протянул Бийо.

—Вот оно как,—эхом повторил Питу.

—Напечатанные завтра,—продолжал доктор,—эти цифры войдут во дворец короля, в замки знати, в хижины бедняков и потребуют отдать четверть их дохода.

—Что-что?—произнес Бийо.

—О, бедная моя тетушка Анжелика,—вздыхнул Питу,—ну и скривится же она!

—Что попишешь, любезный?—отозвался Жильбер.—Революция сделана, не так ли? А ведь за нее надо платить.

—Это правильно,—мужественно согласился Бийо.—Раз надо, будем платить.

—Черт возьми!—воскликнул Жильбер.—Вы—человек убежденный, и ваш ответ меня не удивил. Но вот те, кто не убеждены...

—А что с ними?

—Да, что они сделают?

—Они будут сопротивляться,—ответил Бийо тоном, из которого можно было заключить, что он и сам ни за что в жизни не отдал бы четверть своего дохода на дело, противное его убеждениям.

—Выходит, борьба,—подытожил Жильбер.

—Но ведь большинство...—начал Бийо.

—Договаривайте, друг мой.

—Но ведь на то и большинство, чтобы навязать свою волю.

—Тогда получится притеснение.

Бийо с сомнением взглянул на Жильбера, и вдруг в его глазах зажегся хитрый огонек.

—Погодите, Бийо,—остановил его доктор,—я знаю, что вы хотите мне сказать. Знать и церковь владеют всем, не так ли?

—Конечно,—согласился Бийо,—И монастыри...

—Монастыри?

—Они ломятся от богатств.

—*Notun certumque**—пробормотал Питу.

—Знать платит налоги, которые не идут ни в какое сравнение с ее доходами. И я, фермер, плачу в два раза больше, чем

* Это общеизвестно (лат.).

трое братьев де Шарни, мои соседи, имеющие более двухсот тысяч ливров ренты.

—Но неужели вы полагаете,—продолжал Жильбер,—что дворяне и священники—французы худшего сорта, чем вы?

Питу насторожил: в те времена, когда патриотизм измерялся на Гревской площади крепостью локтей, подобное предположение казалось ересью.

—Именно так вы и считаете, мой друг, верно? Вы не можете согласиться с тем, что дворяне и священники, которые забирают все и не отдают ничего,—такие же патриоты, как вы?

—Конечно, не могу.

—Ошибаетесь, любезный, ошибаетесь. Они патриоты даже в большей степени, и я вам это докажу.

—Ну уж извините, не получится,—возразил Бийо.

—Вы имеете в виду привилегии, ведь верно?

—Вот именно, черт возьми!

—Подождите минутку.

—Да, жаду, жаду.

—Так вот, Бийо: я ручаюсь, что через три дня самыми большими привилегиями во Франции будет пользоваться тот, у кого ничего нет.

—В таком случае это буду я,—важно проговорил Питу.

—Пожалуй, что и так.

—Почему это?—удивился фермер.

—Послушайте, Бийо, все эти дворяне и духовенство, которых вы обвиняете в эгоизме, охвачены теперь приступом патриотизма, пронесшимся по всей Франции. Сейчас они собрались в кучу, словно бараны на краю рва, они колеблются, и самый решительный прыгнет послезавтра или завтра, а быть может, и сегодня вечером. А за ним—и все остальные.

—Что вы хотите этим сказать, господин Жильбер?

—Я хочу сказать, что феодальные сеньоры, отказавшись от привилегий, освободят крестьян; землевладельцы перестанут взимать аренду, дворяне—владельцы голубятен отпустят на свободу всех голубей.

—Неужели вы думаете, что они это сделают?—вскричал изумленный Питу.

—Но это же будет настоящая свобода!—просияв, воскликнул Бийо.

—А что мы станем делать, когда окажемся на свободе?

—Как это?—несколько смутившись, проговорил Бийо.—Что мы станем делать? Там будет видно.

—Вот то-то оно и есть!—вскричал Жильбер.—Там будет видно!

Он помрачнел, встал, молча походил по кабинету, затем подошел к арендатору, сжал его мозолистую руку и чуть ли не с угрозой проговорил:

—Да, там будет видно. Увидим—и ты, и я, и он. Именно об этом я и размышляя, когда ты удивился моему хладнокровию.

—Вы меня пугаете. Неужто народ, который ради общего блага объединился, сплотился, наводит вас на мрачные мысли, господин Жильбер?

Тот пожал плечами.

—Тогда что же скажете вы сами,—продолжал настаивать Бийо,—если сомневаетесь даже после того, как все приготовили в Старом Свете и дали свободу Новому?

—Бийо,—ответил Жильбер,—ты, сам того не подозревая, произнес слова, в которых таится загадка. Впервые их произнес Лафайет, и с тех пор никто, включая и его самого, так и не понял их смысла. Да, мы действительно дали свободу Новому Свету.

—Мы, французы. Это здорово.

—Здорово, но стоить это будет недешево,—печально возразил Жильбер.

—Вот еще! Деньги израсходованы, по счету уплачено,—всело проговорил Бийо.—Чуть-чуть золота, много крови, и долг погашен.

—Слепец!—воскликнул Жильбер.—Слепец, который в этой заре на Западе не видит, увы, зародыш нашей полной гибели. Как я могу кого-то обвинять, когда сам видел свободу не больше, чем кто-либо другой? Свобода Нового Света—вот чего я боюсь, Бийо,—это крах Старого Света.

—*Regum novus nascitur ordo**,—с горячим революционным апломбом ввернул Питю.

—Молчи, дитя,—цыкнул на него Жильбер.

—Разве победить англичан труднее, чем успокоить французов?—спросил Бийо.

—Новый Свет,—начал Жильбер,—это, если можно так выразиться, чистый лист бумаги, совершенно нетронутая страна. Законов там нет, но нет и злоупотреблений, идей нет, но нет и предрассудков. Во Франции на тридцати тысячах квадратных лье живут тридцать миллионов человек, и если землю разделить между всеми поровну, то каждому достанется кусочек, на котором он с трудом сможет поставить колыбель и вырыть могилу. Там, в Америке, на двухстах тысячах квадратных лье живут три миллиона человек, границы там—идеальные: не с другими странами, а с морем, то есть, с бесконечностью. На этих двухстах тысячах квадратных лье—тысяча лье судорожных рек, девственные леса, бог знает насколько простирающиеся вглубь,—короче, все, что нужно для жизни, цивилизации и будущего. Ах, Бийо, как это просто, когда тебя зовут Лафайет и ты привык орудовать шпагой, когда тебя зовут Вашингтон и ты привык мыслить; как это просто—сражаться с лесом, землей, скалами или человеческой плотью! Но когда вместо того, чтобы создавать на обломках новое, видишь, как при давно установленном порядке вещей происходит наступление на твердыни обветшалых идей, а за обломками этих твердынь скрывается столько людей и интересов, когда, найдя нужную идею, видишь, что для того чтобы заставить народ принять ее, нужно истребить чуть ли не каждого десятого, начиная от старика, который все помнит, и кончая ребенком, который только еще учится, начиная от монумента, который есть память этого на-

* Рождается новый порядок вещей (лат.).

рода, и кончая зародышем, который есть его инстинкт,—о, Бийо, эта задача заставляет содрогнуться людей, видящих, что находится за горизонтом. Я вижу далеко, Бийо, и я содрогаюсь.

—Простите, сударь,—с присущим ему здравым смыслом возразил Бийо,—вы только что упрекали меня за то, что мне не нравятся революция: теперь же она мне просто омерзительна.

—Но разве я сказал тебе, что отступаюсь от нее?

—*Ergare humanum est sed perseverare diabolicum**,—пробормотал Питу и подтянул колени к подбородку.

—И все же я буду упорствовать,—отозвался Жильбер,—потому что, видя препятствия, вижу и цель, а она прекрасна, Бийо. Я мечтаю о свободе не только для Франции, но и для всего мира, не о материальном равенстве, а равенстве перед законом, не о братстве между согражданами, но о братстве между народами. Быть может, я расстанусь с душой и телом,—меланхолически продолжал Жильбер,—но это не важно: солдат, которого посылают на штурм крепости, видит и пушки, и ядра, которыми их заряжают, и горящий фитиль, он видит даже, куда эти пушки направлены, он чувствует, что кусок железа скоро пробьет ему грудь, но все равно он идет, потому что крепость должна быть взята. Что же, все мы солдаты, папаша Бийо. Вперед! И пусть по нашим сваленным в кучу телам пройдет когда-нибудь поколение, одним из первых представителей которого является вот этот юнец.

—Никак не возьму в толк, почему вы так расстраиваетесь, господин Жильбер. Неужели из-за того, что какому-то бедолаге перерезали глотку на Гревской площади?

—А почему ты вернулся оттуда в ужасе? Иди, Бийо, и тоже перережь кому-нибудь глотку!

—Да что вы такое говорите, господин Жильбер!

—Как что? Нужно быть последовательным. Ты, такой отважный и сильный, явился сюда весь белый и трясущийся и сказал: "Я измучился". Я посмеялся над тобой, Бийо, а теперь, когда я объясняю тебе, почему ты побледнел, почему ты измучился,—теперь ты смеешься надо мной.

—Продолжайте, господин Жильбер, но оставьте мне надежду, что я вернусь к себе в деревню с миром в душе.

—Послушай, Бийо, как раз на деревни вся наша надежда. Деревня—это спящая революция, которая раз в тысячу лет поднимает голову и при этом всякий раз сотрясает монархию. Деревня сдвинется с места, когда настанет пора покупать или завоевывать те нажитые нечестным путем блага, о которых ты только что говорил и которыми владеет знать и церковь. Но чтобы подтолкнуть деревню к новым идеям, нужно подтолкнуть крестьянина к завладению землей. Став собственником, человек обретает свободу, а став свободным, он делается лучше. Нам, избранным труженикам, которым Господь приоткрывает завесу над будущим, нам предстоит тяжелейшая работа, в результате которой народ получит свободу, а за нею—и собст-

* Человеку свойственно ошибаться, а дьяволу—упорствовать (лат.).

венность. Это, Бийо, благородный труд, он вознаграждается плохо, но зато он живой, могучий, полный радости и горя, славы и клеветы, тогда как там—холодный, недвижный сон в ожидании пробуждения, когда раздастся наш голос, в ожидании зари, идущей вслед за нами. Как только деревня пробудится, наш кровавый труд будет закончен, и начнется мирный труд на благо этой самой деревни.

—Так что же вы мне посоветуете, господин Жильбер?

—Если хочешь принести пользу своей стране, нации, своим братьям, всему миру, оставайся здесь, Бийо, бери в руки молот и работай в этой кузнице Вулкана, кующей молнии для всего мира.

—Остаться и смотреть, как перерезывают горло, а может, даже самому дойти до этого?

—Да что ты,—со слабой улыбкой возразил Жильбер.—Разве ты способен перерезать горло?

—Я хочу сказать, что если останусь здесь, как вы предлагаете,—весь задрожав, воскликнул Бийо,—то первого же негодяя, который на моих глазах станет перебрасывать через фонарь веревку, повешу на этой же веревке собственными руками. Жильбер улыбнулся немного шире.

—Выходит, ты меня понял,—проговорил он,—и сам уже готов отправлять людей на тот свет.

—Негодяев—да.

—Скажи, Бийо, ты видел, как убивали Делома, Делоне, Флесселя, Фулона и Бертье?

—Видел.

—А как их называли те, кто убивал?

—Негодьями.

—Верно,—подтвердил Питу,—они их называли негодьями.

—Да, но все равно я прав,—настаивал Бийо.

—Ты будешь прав, когда станешь вешать, а если повесят тебя, будешь не прав.

Столь мощный удар заставил Бийо повесить голову, но через несколько секунд он снова с достоинством ее поднял.

—Значит, вы уверяете,—сказал он,—что тот, кто убивает беззащитных людей и всеми за это уважаем, такой же француз, как я?

—А, это другое дело,—ответил Жильбер.—Да, во Франции есть самые разные французы. Во-первых, французский народ, это—Питу, ты, я. Затем, есть французское духовенство и французское дворянство. То есть, во Франции существуют три вида французов, и каждый со своей точки зрения, вернее, с точки зрения своих интересов—француз, и это не считая короля Франции, который по-своему тоже француз. Понимаешь, Бийо, в различии всех этих французов между собой и заключается подлинная причина революции. Ты француз на свой манер, аббат Мори*—на свой, отличный от твоего; Мирабо—не такой француз, как ты, а король—не такой, как Мирабо. Ми-

* Мори Жан Сифрен (1746—1817)—французский священник и оратор, депутат Национального собрания.

лый мой друг Бийо, человек с чистым сердцем и здравым рассудком, ты войдешь во вторую часть сочинения, которое я теперь пишу. Доставь мне удовольствие, взгляни-ка вот на это.

С этими словами Жильбер показал Бийо лист бумаги с напечатанным на нем текстом.

—Что это?—спросил тот, беря лист в руки.

—Прочти.

—Да вы же знаете, что я не умею читать.

—Пусть тогда прочтет Питу.

Питу поднялся с пола, встал на цыпочки и заглянул фермеру через плечо.

—Это не по-французски,—сказал он,—не по-латыни и не по-гречески.

—Это по-английски,—ответил Жильбер.

—По-английски я не умею,—гордо отозвался Питу.

—А я умею и переведу вам эту бумагу,—сказал Жильбер.—Только сначала прочтите подпись.

—Питт,—прочитал Питу.—Кто таков этот Питт?

—Сейчас объясню,—успокоил его Жильбер.

XIV. Питты

—Питт,—начал Жильбер,—это сын Питта*.

—Погодите-ка,—прервал его Питу.—Это похоже на Священное писание. Стало быть, существует Питт Первый и Питт Второй?

—Да, и Питт Первый, друзья мои... Вот послушайте, я вам сейчас расскажу.

—Слушаем,—в один голос ответили Бийо и Питу.

—Питт Первый был в течение тридцати лет заклятым врагом Франции. Прикованный подагрой к своему кабинету, он сражался оттуда с Монкальмом и Водрейлем в Америке, Сюффреном и д'Эстеном на море, Ноайлем и Брольи на суше**. Главной мыслью его политики было лишить Францию господства в Европе. За тридцать лет он отобрал у нас одну за другой все колонии, фактории и прибрежные владения в Индии, полторы тысячи квадратных лье в Канаде, а когда увидел, что Франция на три четверти разрушена, завещал своему сыну довершить ее гибель.

* *Питт*, Уильям Старший, граф Чатам (1708—1778)—министр иностранных дел и премьер-министр Великобритании. *Питт*, Уильям Младший (1759—1806)—сын предыдущего премьер-министра Великобритании, организатор антифранцузских коалиций.

** *Монкальм*, Луи маркиз де (1712—1759)—генерал, успешно сражавшийся против англичан в Канаде. *Водрейль*, Луи Филипп Риго, маркиз де (1723—1802)—моряк, командир корабля. *Сюффрен*, Пьер Андре (1726—1788)—моряк, успешно сражавшийся с англичанами в Индийском океане и в Индии. *Ноайль* Луи де (1713—1793)—маршал Франции. *Брольи* Виктор Франсуа де (1718—1804)—маршал Франции, отличившийся в Семилетней войне.

—Вот оно что,—явно заинтересовавшись, заметил Бийо.— Значит, этот теперешний Питт...

—Да,—подхватил Жильбер,—это сын Питта, которого вы уже знаете, папаша Бийо, о котором был наслышан Питту, равно как и весь мир, и которому в мае стукнуло тридцать лет.

—Тридцать?

—Сейчас увидите, друзья мои, что он не теряет времени зря. Вот уже семь лет он правит Англией, семь лет осуществляет на практике теории своего папеньки.

—Похоже, мы избавимся от него еще не скоро,—заметил Бийо.

—Верно, тем более что Питты невероятно живучи. Позвольте, я приведу вам пример.

Легонько кивнув, Питту и Бийо дали понять, что они внимательно слушают.

Жильбер продолжал:

—В тысяча семьсот семьдесят восьмом году отец нашего врага был при смерти. Врачи поставили его в известность, что жизнь его висит на волоске, который может порваться из-за малейшего усилия. В то время в парламенте обсуждался вопрос об уходе из американских колоний и предоставлении им независимости, чтобы избежать разжигаемой Францией войны, которая грозила поглотить большую часть богатств и войск Великобритании.

Как раз в этот момент Людовик Шестнадцатый, награжденный сейчас французской нацией титулом отца французской свободы, торжественно признал независимость Америки, где на полях битв и в дипломатических переговорах главную роль играли французская шпага и французская мысль. Англия, со своей стороны, предложила Вашингтону, предводителю повстанцев, признать американскую нацию, если она войдет в союз с Англией против Франции.

—Мне кажется,—заметил Бийо,—что порядочные люди не делают и не принимают подобных предложений.

—Милый мой Бийо, это называется дипломатией, и в мире политики такие идеи в большом ходу. Так вот, хоть это предложение вам и показалось недостойным, американцы, за исключением разве что Вашингтона, человека в высшей степени прямодушного, готовы были уже купить себе мир ценою бесцестного соглашения с Англией.

Однако лорд Чатам, отец Питта, этот безнадежный больной, этот умиравший, этот призрак, одною ногой стоявший в могиле, Чатам, которому, казалось, предстояло лишь немного отдохнуть на этой земле, прежде чем уснуть вечным сном под своим надгробием, этот старец заставил привезти себя в парламент, где обсуждался вопрос договора с Америкой.

Он держал под руку своего сына Уильяма Питта, в то время девятнадцатилетнего молодого человека, а также зятя, и был одет в роскошный кафтан, в котором со своею смертельной худобой выглядел довольно нелепо. Бледный, словно привидение, с безжизненными глазами под набрякшими веками, он велел провести себя к своему месту—правительственной

скамье; изумленные столь неожиданным появлением лорды восхищенно кланялись, как, вероятно, приветствовал бы римский сенат вернувшегося Тиберия, давно умершего и забытого*.

Низко нагнув голову, он молча слушал речь лорда Ричмонда, автора этого предложения, и когда тот закончил, Чатам встал и начал ему отвечать.

Этот полумертвый человек нашел в себе силы говорить три часа, нашел в сердце огонь, который зажег его взгляд, нашел в душе слова, тронувшие всех присутствующих.

Да, речь его была направлена против Франции, он внушал соотечественникам ненависть к этой стране, он призывал их объединиться и покончить с постылым соперником. Он запрещал признавать независимость Америки, запрещал вступать в какие бы то ни было соглашения, восклицая: "Война! Война!" Он говорил так, как когда-то Ганнибал держал речь против Рима, а Катон—против Карфагена. Он заявил, что долг каждого преданного Британии англичанина погибнуть, но не позволить, чтобы хоть одна колония отделилась от любимой отчизны.

Он закончил речь, выкрикнул последнюю угрозу и упал как подкошенный.

В этом мире делать ему было больше нечего, из парламента его вынесли бездыханного.

—Вот это да!—одновременно воскликнули Бийо и Питу.— Вот так лорд Чатам!

—Это и был отец тридцатилетнего человека, который нас в данную минуту интересует,—продолжал Жильбер.—Чатам умер в возрасте семидесяти лет. Если сын проживет столько же, нам придется иметь дело с Уильямом Питтом еще сорок лет. Вот кто стоит против нас, папаша Бийо, вот кто правит Великобританией, вот кто не забывает имен Ламетов, Рошамбо и Лафайета и—как знать—может быть, всего Национального собрания, вот кто смертельно ненавидит Людовика Шестнадцатого, автора договора тысяча семьсот семьдесят восьмого года, вот кто не может дышать спокойно, пока во Франции есть хоть одно заряженное ружье, хоть один полный карман. Ну что, начинаете понимать?

—Я понимаю, что он очень не любит Францию. Но что дальше, мне не ясно.

—Мне тоже,—подтвердил Питу.

—Прочтите эти четыре слова.

И он протянул Питу лист бумаги,

—Это по-английски?—спросил тот.

—Don't mind the money,—прочел Жильбер.

—Я слышу хорошо, но не понимаю,—проговорил Питу.

—Это значит: "Не заботьтесь о деньгах",—пояснил доктор.—И дальше он возвращается к этому совету: "Велите не жалеть денег и не отчитываться в них передо мной".

—Выходит, они вооружаются,—объявил Бийо.

—Нет, подкупают.

* Тиберий (4 г. до н. э.—37 г. н. э.)—римский император.

—Но кому адресовано это письмо?

—Всем на свете и никому. Эти деньги, которые англичане раздают направо и налево, буквально расточают, предназначены для крестьян, работников, бедняков—короче, тех из нас, кто согласится чернить нашу революцию.

Папаша Бийо опустил голову. Эти слова объясняли многое.

—Скажите, вы смогли бы оглушить Делоне ударом приклада, а, Бийо?

—Нет.

—Смогли бы застрелить Флесселя?

—Нет.

—А повесить Фулона?

—Нет,

—А смогли бы вы принести окровавленное сердце Бертье в ратушу и положить его на стол?

—Да это же гнусность!—вскричал Бийо.—Как бы ни был виновен этот человек, я дал бы разрезать себя на куски, только бы спасти его. Это правда: меня ведь ранили, когда я бросился его защищать, и если бы не Питу, который оттащил меня к реке...

—Точно,—подтвердил Питу,—без меня папаша Бийо провел трудные четверть часа.

—Вот видите, Бийо, есть множество людей, которые действовали бы точно так же, как вы, чувствуя они рядом поддержку; однако когда у них перед глазами дурной пример, они становятся злыми, свирепыми, просто бешеными, а когда зло совершено, сделанного не воротить.

—Хорошо,—не сдавался Бийо,—пускай господин Питт, или, вернее, его деньги, имеют какое-то отношение к смерти Флесселя, Фулона и Бертье, но ему-то какой от этого прок?

Жильбер засмеялся тем беззвучным смехом, который заставляет удивляться людей простодушных и задуматься людей думающих.

—Какой прок, говорите?—переспросил он.

—Да, какой?

—А вот какой. Вы ведь сторонник революции, верно? Вы же не побоялись даже крови, когда штурмовали Бастилию.

—Да, революция мне понравилась.

—А вот теперь она нравится вам уже меньше. Теперь вам уже жаль Виллер-Котре, Писле, жаль ваших мирных равнин, ваших тенистых лесов.

—Frigida tempe*,—ввернул Питу.

—Да, вы правы,—согласился Бийо.

—Так вот: вы, папаша Бийо, фермер, собственник, уроженец Иль-де-Франса, а следовательно, исконный француз, вы представитель третьего сословия, тех, кого называют большинством. И вы уже потеряли вкус к революции.

—Согласен.

—Стало быть, и большинство тоже потеряет к ней вкус.

—И что дальше?

* Прохладные долины (лат.).

—В один прекрасный день вы протянете руку солдатам господина Брауншвейга* или господина Питта, которые именем этих освободителей Франции придут, чтобы вернуть вам ваши священные устои.

—Никогда!

—Да ну? Подождите.

—Но ведь Флессель, Бертье и Фулон были в сущности негодяями,—осмелился возразить Питу.

—Проклятье! Точно такими же, как господин де Сартин** и господин де Морепа, как господин д'Аржансон и господин Филиппо были до них, как господин Лоу, как господин Дюверне, как всякие там Лебланы и Парисы, как Фуке и Мазарини, как Самблансе, как Ангеррам де Мариньи, как господин де Бриен для господина де Калонна, как господин де Калонн для господина Неккера, и как господин Неккер станет негодяем для нашего правительства годика через два.

—Что вы, доктор!—возмутился Бийо.—Господин Неккер—негодяй? Никогда в жизни!

—И вы, мой любезный Бийо, станете негодяем для нашего юного Питу в случае, если агент господина Питта научит его известным теориям с помощью стаканчика водки и десяти франков за каждый день бунта. Понимаете, дорогой Бийо, словечком "негодяй" во время революции называют всех, кто думает иначе, чем ты, и в той или иной степени ругать им будут всех нас. Кое-кого будут называть этим словом так долго, что соотечественники выбьют его на могильной плите, других еще дольше, и они будут известны потомству именно как негодяи. Вот, милый Бийо, что я вижу, а вы не видите. Бийо, Бийо, честные люди не должны уходить в кусты.

—Почему это?—возразил Бийо.—Если честные люди уйдут в кусты, революция все равно пойдет своим путем, потому что ее уже выпустили на свободу.

На губах Жильбера вновь заиграла улыбка.

—Взрослое дитя!—воскликнул он.—Это все равно что выпустить из рук плуг, распрячь лошадь и сказать: "Ладно, я плугу не нужен, он сам сделает борозду". Друг мой, кто сделал нашу революцию? Честные люди, не так ли?

—Франция может ими гордиться; мне кажется, что Лафайет—честный человек, Байи—честный человек, Неккер—честный человек, мне кажется, что господа Эли, Юлен и Майар, сражавшиеся вместе со мною,—тоже честные люди. Мне кажется, что и вы...

—Послушайте, Бийо! Если все честные люди—вы, я, Майар, Юлен, Эли, Неккер, Лафайет уйдут в сторону, то кто же будет дело делать? Мерзавцы, убийцы и негодяи, которых я вам указал, агенты господина Питта?

* Брауншвейг—герцог Карл Вильгельм Фердинанд Брауншвейгский (1735—1806)—прусский генерал, командующий союзной австро-прусской армией в войне 1792—94 гг.

** Далее следует перечень французских политических деятелей и финансистов разных эпох.

—Ну-ка, что вы на это скажете, папаша Бийо?—осведомился убежденный Питу.

—Ну что ж,—отозвался Бийо,—тогда придется вооружиться и перестрелять их всех как собак.

—Погодите-ка. Кто будет вооружаться?

—Да все.

—Бийо, Бийо, не забывайте об одном, друг мой: то, чем мы сейчас занимаемся, называется... Как называется то, чем мы в эту минуту занимаемся, а, Бийо?

—Это называется политикой, господин Жильбер.

—Так вот, в политике не существует абсолютных преступлений. Можно быть негодяем или честным человеком в зависимости от того, борешься ты с интересами человека, который тебя судит, или служишь им. Те, кого вы называете негодяями, объяснят свои преступления вполне благовидными предложениями и в глазах многих честных людей, которые так или иначе заинтересованы в совершении этих преступлений, сами будут честными. Нужно быть очень осторожными, Бийо, когда мы до этого дойдем. Мир держит в руках плуг, лошади запрежены. Он уже движется, Бийо, движется, но без нас.

—Это страшно,—признал фермер.—Но если он движется без нас, то куда он придет?

—А Бог его знает,—отозвался Жильбер.—Понятия не имею.

—Ну, раз вы, господин Жильбер, такой ученый и умный человек по сравнению со мною, невеждой, не знаете, тогда скажу я.

—Ну-ка, и что же ты скажешь, Бийо?

—Скажу, что нужно делать нам с Питу—возвращаться в Писле. Мы снова возьмем в руки плуг, настоящий, из железа и дерева, которым пахут землю, а не тот из плоти и крови, что зовется французским народом и упирается, словно строптивая лошадь. Мы станем растить зерно, вместо того чтобы проливать кровь, и заживем радостно и свободно, сами себе хозяева. Вы идите себе, господин Жильбер, а я, черт возьми, люблю знать, куда иду.

—Минутку, мой славный друг,—прервал Жильбер,—пусть я не знаю, куда иду, это так, согласен, но я иду и хочу идти всегда. Мои обязанности ясны, жизнь моя принадлежит Господу, но мой труд—это долг, который я должен заплатить родине. Достаточно того, что совесть говорит мне: "Иди, Жильбер, ты на верном пути". Это все что мне нужно. Если я ошибаюсь, люди меня накажут, но Господь отпустит мне грехи.

—Однако люди ведь наказывают порой и тех, кто не ошибается. Вы сами только что говорили об этом.

—И готов повторить еще раз. Но это не важно, Бийо, я буду стоять на своем. Ошибаюсь я или нет, все равно буду продолжать. Быть может, события покажут, что я был не прав, Боже меня сохрани настаивать на противном, но главное, Бийо, вот в чем. Господь сказал: "Мир всем людям доброй воли". Так давайте будем именно теми людьми, кому обещан мир. Посмотрите на господина Лафайета: будучи в Америке, а потом во Франции, он загнал уже трех белых лошадей, а

сколько загонит еще! Посмотрите на господина Байи: он не щадит своих легких, посмотрите на короля: он не щадит своей популярности. Полно, Бийо, не нужно быть эгоистом, давайте и мы не будем щадить себя. Оставайтесь, друг мой.

—Но зачем—раз мы не можем остановить зло?

—Запомните, Бийо никогда больше так не говорите, иначе вы упадете в моих глазах. Ведь вас били ногами, кулаками, прикладами и даже штыками, когда вы решили спасти Фулона и Бертю.

—Били и крепко,—согласился фермер, поглаживая еще ноющее тело.

—А мне чуть не вышибли глаз,—вставил Питу.

—И все напрасно,—заключил Бийо.

—Дети мои, если бы таких смелых людей, как вы, было не десять или двадцать, а сто, двести или триста, вы бы спасли несчастных от страшной гибели, а нацию избавили от позора. Вот почему, Бийо, я требую—насколько я вообще могу что-либо от вас требовать, друг мой,—я требую, чтобы вы не уезжали в деревню, где сейчас сравнительно тихо, но оставались в Париже, чтобы у меня всегда были рядом твердая рука и благородное сердце, чтобы я мог оттачивать свой разум и мысли на оселке вашего здравого смысла и подлинного патриотизма, чтобы, наконец, расточая—не деньги, у нас их нет,—а любовь к родине и общественному благу, вы были моим агентом среди несчастной заблудшей толпы, чтобы вы были для меня палкой—и когда я поскользнусь, и когда почувствую нужду ударить.

—Псом-поводырем у слепца,—с возвышенной простотой добавил Бийо.

—Вот именно,—тем же тоном подтвердил Жильбер.

—Ладно, я согласен,—сказал Бийо.—Буду таким, как вы просите.

—Я знаю, Бийо, что вы бросаете все—достаток, жену, детей, счастье, но не волнуйтесь, это ненадолго.

—А я?—подал голос Питу.—Что делать мне?

—А ты,—ответил Жильбер, глядя на могучего и наивного юнца, немного кичащегося своей образованностью,—ты вернешься в Писле и утетишишь семейство Бийо, объяснив, какая благородная цель стоит перед ним.

—Я готов,—проговорил Питу, задрожав от радости при мысли, что он вернется к Катрин.

—Бийо, передайте через него свои распоряжения.

—Сейчас.

—Я слушаю.

—Я назначаю Катрин хозяйкой в доме. Ты понял?

—А как же госпожа Бийо?—удивился Питу такой несправедливости по отношению к матери.

—Питу,—проговорил Жильбер, который уловил мысль Бийо, когда увидел, что тот слегка покраснел,—запомни арабскую поговорку: "Слышать—значит повиноваться".

Питу тоже покраснел: он все понял и почувствовал, что проявил нескромность.

—Катрин—душа нашей семьи,—просто сказал Бийо, желая прояснить свою мысль.

В знак согласия Жильбер поклонился.

—Это все?—поинтересовался Питу.

—С моей стороны—да,—сказал Бийо.

—А с моей—нет,—вмешался Жильбер.

—Слушаю,—проговорил Питу, готовый претворить в жизнь только что услышанную пословицу.

—Я дам тебе письмо, и ты пойдешь с ним в коллеж Людовика Великого,—начал Жильбер,—отдашь письмо аббату Берардье, и он приведет к тебе Себастьяна. Ты привезешь его ко мне, я его обниму, после чего ты доставишь его в Виллер-Котре, где передашь заботам аббата Фортье, чтобы мальчик не терял понапрасну время. По четвергам и воскресеньям его будут отпускать с тобой, смело заставляй его бродить по полям и лесам. Будет лучше,—и для моего спокойствия и для его здоровья,—чтобы он был там, а не здесь.

—Я все понял!—вскричал Питу, радуясь возобновлению дружбы детства и одновременно испытывая более сложное чувство, вспыхнувшее в нем при звуке волшебного имени Катрин.

Он встал и распрощался с Жильбером, который улыбался, и с папашей Бийо, который был задумчив.

Затем Питу выбежал из кабинета, направляясь к аббату Берардье за своим молочным братом Себастьяном.

—А мы—за работу!—сказал Жильбер папаше Бийо.

XV. Медя

После душевных и политических волнений, о которых мы уже рассказали читателю, Версаль немного успокоился.

Король вздохнул свободнее; вспоминная порою о том, каким испытаниям подверглась его гордость Бурбона во время поездки в Париж, он утешал себя мыслью о вновь вспыхнувшей народной любви к нему.

Тем временем г-н де Неккер трудился и мало-помалу терял популярность.

Что же касается знати, она начала готовиться—то ли к предательству, то ли к сопротивлению.

Народ был начеку и ждал.

Королева, замкнувшись в себе, уверенная, что всеобщая ненависть направлена именно на нее, ступала; она старалась не появляться на людях, так как знала: несмотря на то что ее ненавидят, многие возлагают на нее свои упования.

После поездки короля в Париж она видела Жильбера лишь мельком.

Впрочем, один раз она встретила его в передней королевских покоев.

Он низко ей поклонился, и она начала разговор первой.

—Добрый день, сударь. Идете к королю?

И добавила с несколько насмешливой улыбкой:

—Как советник или как врач?

—Как врач, государыня,—ответил Жильбер.—Мне сегодня велено явиться.

Королева знаком приказала Жильберу следовать за ней. Он не стал спорить.

Они вошли в небольшую гостиную, соседствующую со спальней короля.

—Вот видите, сударь,—начала королева,—вы меня обманули: когда мы обсуждали поездку короля в Париж, вы уверяли, что его величеству не грозит никакая опасность.

—Обманул?—с удивлением спросил Жильбер.

—Ну, конечно. Разве в его величество не стреляли?

—Да кто вам сказал, государыня?

—Об этом, сударь, говорят все, и в первую очередь те, кто видел, как бедная женщина упала чуть ли не под колеса королевской кареты. Кто говорит? Господин де Бово, господин д'Эстен, которые видели ваш изодранный кафтан и продырявленное жабо.

—Государыня!

—Пуля, которая вас, сударь, лишь задела, могла убить короля, как сразила эту несчастную женщину: в конце концов убийцы хотели прикончить не вас и не ее.

—Я не думаю, что это было предумышленное преступление, государыня,—неуверенно возразил Жильбер.

—Вы не думаете, а вот я думаю,—отрезала королева, пристально глядя на Жильбера.

—Даже если это и преступление, обвинять в нем народ нельзя.

Взгляд королевы стал еще пристальнее.

—А кого же в нем обвинять?—осведомилась она.

—Государыня,—покачав головой, отвечал Жильбер,—я уже некоторое время наблюдаю за народом и изучаю его. Так вот, если в революционном порыве народ прибегает к убийству, он делает это голыми руками, он похож тогда на разъяренного тигра или льва. Ведь тигр или лев ничем не пользуются, не прибегают к какому-либо оружию, посредством которого сражают жертву; они проливают кровь ради самого кровопролития, им нравится вонзать в жертву зубы и когти.

—Свидетельством этому—Фулон и Бертье, не так ли? Но разве Флесселя не застрелили из пистолета? Во всяком случае мне так говорили, однако, быть может,—с иронией продолжала королева,—это не так, ведь вокруг нас, августейших особ, вьется столько льстецов.

—Что касается Флесселя,—ответил Жильбер,—вы не больше чем я верите, что его убил народ. Кое-кто был заинтересован в его гибели.

Королева подумала и проговорила:

—Да, это не исключено.

—В таком случае...—произнес Жильбер с поклоном, словно спрашивая, не хочет ли королева сказать ему еще что-нибудь.

—Я все поняла, сударь,—ответила та, удерживая Жильбера мягким, почти дружеским жестом.—Как бы то ни было, позвольте сказать вам, что вы никогда не сможете с помощью

своей науки спасти короля столь успешно, как вам удалось это сделать три дня назад с помощью собственного тела.

Жильбер поклонился еще раз.

Однако поскольку королева не двинулась с места, он не ушел.

—Мне следовало повидаться с вами раньше,—помедлив, проговорила она.

—Я просто был не нужен вашему величеству,—отозвался Жильбер.

—А вы скромны.

—Хотелось бы, чтобы это было не так, государыня.

—Почему?

—Будучи менее скромн, я был бы менее робок и, следовательно, мог бы лучше служить своим друзьям и вредить врагам.

—Почему вы говорите "своим друзьям" и не говорите "своим врагам"?

—Потому что у меня нет врагов. Вернее, потому что я не признаю, что они у меня есть.

Королева с удивлением взглянула на Жильбера.

—Я хочу сказать,—продолжал он,—что мои враги—это лишь те, кто меня ненавидит; сам же я ни к кому не испытываю ненависти.

—Отчего же?

—Оттого, государыня, что никого больше не люблю.

—Вы честолюбец, господин Жильбер?

—Когда-то хотел стать им, ваше величество.

—И?..

—И эта страсть ушла из моего сердца так же, как другие.

—И все же одна страсть у вас осталась,—с тонкой насмешкой заметила королева.

—Осталась, ваше величество? Какая же, Господи?

—Это... патриотизм.

Жильбер с поклоном ответил:

—Вот тут вы правы. Я люблю родину и готов ради нее на любые жертвы.

—Увы!—очаровательно вздохнула королева с какой-то смутной грустью.—Ведь были же времена, когда истый француз ни за что не выразил бы эту мысль в тех словах, которые употребили вы.

—Что ваше величество хочет этим сказать?—с почтением осведомился Жильбер.

—Хочу сказать, сударь, что во времена, о которых я говорю, невозможно было любить родину, не испытывая в то же время любви к королю и королеве.

Жильбер зарделся и отвесил поклон, почувствовав в сердце нечто вроде удара электрического тока, который всегда исходил от королевы в минуты доверительных бесед.

—Вы не ответили, сударь,—сказала она.

—Государыня,—ответил Жильбер,—я беру на себя смелость считать, что люблю монархию более, чем кто бы то ни было.

—Разве в наше время, сударь, достаточно сказать что-нибудь, не подкрепляя свои слова действием?

—Государыня,—удивился Жильбер,—поверьте: все, что прикажут ваши величества, я...

—Сделаете, не так ли?

—Безусловно, ваше величество.

—И таким образом,—продолжала королева, невольно приняв свой обычный высокомерный тон,—лишь выполните свой долг.

—Ваше величество...

—Господь, сделавший королей всемогущими,—гнула свое Мария Антуанетта,—освободил их от обязанности испытывать признательность по отношению к тем, кто просто выполняет свой долг.

—Увы, ваше величество, увы,—отозвался Жильбер.—Близится время, когда ваши слуги будут заслуживать больше, нежели просто признательность, если захотят выполнить свой долг.

—Что вы имеете в виду, сударь?

—Ваше величество, в наше время, время беспорядка и разрушений, вы будете напрасно искать друзей там, где привыкли обычно находить слуг. Молитесь, государыня, молитесь Богу, чтобы он ниспослал вам других слуг, других помощников и друзей, чем те, что у вас были.

—Вы знаете таких?

—Знаю, ваше величество.

—Так укажите же их.

—Обратите внимание, ваше величество: еще вчера я ведь был вашим врагом.

—Врагом? Почему же?

—Потому что вы велели посадить меня в тюрьму.

—А сегодня?

—А сегодня, ваше величество,—с поклоном ответила Жильбер,—я ваш слуга.

—И с какой целью?

—Ваше величество!..

—Да, с какой целью вы стали моим слугой? Ведь вам, сударь, не свойственно так поспешно менять мнения, убеждения и привязанности. Вы ревниво храните свои воспоминания, господин Жильбер, вы знаете, как не дать погаснуть жажде мщения. Так скажите же, почему вы так быстро изменились?

—Ваше величество, вы только что упрекали меня, что я слишком сильно люблю родину.

—Любовь не бывает слишком сильной, сударь, весь вопрос лишь в том, какой любовью ты любишь. Я люблю свою родину. (Жильбер улыбнулся.) Нет, сударь, поймите меня правильно: моя родина—Франция, таков мой выбор. Я по крови—немка, но сердцем французенка. Я люблю Францию, но люблю ее, любя короля и благоговей перед Господом, вручившим нам корону. А вы, сударь?

—Я, ваше величество?

—Да, вы. Я ведь все правильно понимаю, не так ли? Вы—другое дело, вы любите Францию исключительно ради нее самой.

—Ваше величество,—поклонившись, отвечал Жильбер,—я проявил бы неуважение к вам, если бы не был откровенен.

—Какое ужасное время!—вскричала королева.—Люди, считающие себя порядочными, разделяют два понятия, которые всегда должны идти вместе—Францию и короля. Разве один из ваших поэтов не написал трагедию, где у королевы, которая лишилась всего, спрашивают: "Что же у вас осталось?" И она отвечает: "У меня, как у Медеи, осталась сама я*, и мы еще посмотрим".

И королева в гневе вышла из гостиной, оставив Жильбера в крайнем изумлении.

Эта вспышка приоткрыла перед ним уголок завесы, за которой зрела контрреволюция.

"Понятно,—входя к королю, подумал Жильбер,—королева что-то замышляет".

"Что ж,—подумала королева, возвращаясь к себе,—с этим человеком решительно ничего нельзя поделать. У него есть сила, но нет преданности".

Бедные монархи, для которых слово "преданность"—синоним слова "раболепство"!

XVI. Что замышляла королева

Повидавшись с королем, который был настолько же спокоен, насколько взволнована королева, Жильбер вернулся к г-ну Неккеру.

Король рассуждал, строил планы, размышлял о законодательной реформе.

Этот добрый человек с мягким взглядом и прямой душой, сердце у которого было изъедено предрассудками, проистекавшими из его королевского положения, упорно боролся с пустяками вместо того, чтобы заниматься серьезными делами, возникавшими перед ним. Он упорно пытался заглянуть своими близорукими глазами за горизонт и не замечал, что у ног его зияет пучина. Этот человек внушал Жильберу глубокую жалость.

Королева же была иной, и при всей своей невозмутимости Жильбер чувствовал, что она относится к тем женщинам, которых надо страстно любить или смертельно ненавидеть.

Вернувшись к себе, Мария Антуанетта почувствовала, что на сердце ей навалилась огромная тяжесть.

И действительно, ни как у королевы, ни как у женщины у нее не было рядом какой-нибудь опоры, на которую она могла бы переложить хоть часть гнетущей ее ноши.

К кому бы она ни обращала взор, везде ей чудились неуверенность и колебания.

Придворные беспокоились за свои состояния и обращали их в деньги.

* Имеется в виду реплика Медеи (1,5) из одноименной трагедии (1635) Пьера Корнея.

Родственники и друзья думали о том, чтобы покинуть страну. Преданнейшая из фрейлин Андреа постепенно отдалялась от нее душой и телом.

Самый благородный и любимый из мужчин—Шарни—был оскорблен ее капризом и пребывал в сомнениях.

Такое положение беспокоило эту тонко чувствующую и прозорливую женщину.

Почему этот безукоризненный человек с чистейшим сердцем вдруг так резко изменился?

“Нет, он не изменился,—вздыхнув, подумала королева,—но скоро изменится”.

Изменится! Мысль страшная для женщины, которая любит со страстью, и невыносимая для женщины, которая любит, не забывая о своей гордыне.

А королева любила Шарни и страстно и гордо.

Оттого она и страдала вдвое сильнее.

А между тем сейчас, когда она поняла, какое зло совершила и в чем была не права, было еще не поздно все исправить.

Но у этой коронованной женщины ум был, увы, не гибок. Она не могла найти в себе силы признать собственную неправоту. Быть может, будь то человек, который ей безразличен, она выказала бы, вернее, соизволила бы выказать величие души и попросила бы прощения.

Но тому, кого она почтила столь живой и чистой страстью, кому благоволила поверять свои самые тайные мысли, она не могла уступить даже в малости.

Несчастье королей, снисходящих до любви к подданному, состоит в том, что они любят всегда, как королевы, и никогда, как женщины.

Эта королева ставила себя настолько высоко, что полагала: за ее любовь нельзя отплатить ничем человеческим, ни кровью, ни слезами.

Едва почувствовав ревность к Андреа, она начала терять душевную твердость.

Отсюда—чувство неудовлетворенности собою, капризы.

Из-за капризов—гнев.

А из-за гнева—дурные мысли, повлекшие за собою и дурные поступки.

Шарни не отдавал себе отчета во всем этом, но будучи мужчиной, понял, что Мария Антуанетта ревнует его к жене, притом несправедливо.

К жене, которая ни разу не взглянула на него.

Ничто так не возмущает человека прямого и неспособного на предательство, как мысль о том, что его считают на это способным.

Ничто так не привлекает внимания человека, как ревность, которой его удостоили.

Особенно, если эта ревность не имеет под собой никаких оснований.

И тогда тот, кого подозревают, начинает размышлять.

Он начинает вглядываться то в сердце ревнивицы, то в нее самое.

И чем величественнее душа человека, который ревнует, тем большей опасности он себя подвергает.

В самом деле, разве можно предположить, что человек большого сердца, возвышенного ума, который по праву гордится собою, может беспокоиться без причин или из-за пустяков?

Из-за чего ревновать красивой женщине? Из-за чего ревновать могущественной женщине? Из-за чего ревновать умной женщине? Разве можно предположить, что она беспокоится без причин или из-за пустяков?

Человек, обуянный ревностью,—все равно что охотник: он выискивает в сопернике достоинства, мимо которых обычный человек равнодушно прошел бы мимо.

Шарни знал, что Андреа де Таверне—старинная подруга королевы, к которой та всегда хорошо относилась и предпочитала другим. Почему же Мария Антуанетта ее разлюбила? Почему Мария Антуанетта ревнует к ней?

Значит, она нашла в ней какую-то таинственную красоту, которой Шарни не замечал—должно быть, потому, что не искал?

Значит, она почувствовала, что Шарни, глядя на эту женщину, видит в ней что-то такое, чего та сама не замечает?

Или же королеве показалось, что Шарни безо всякой на то видимой причины стал меньше ее любить?

Нет ничего хуже, когда ревнивец дает понять предмету своей ревности, что тот охладил к нему, в то время как он сам пылает все тем же огнем.

Сколько раз случалось, что любящего человека упрекали в холодности и он невольно становился в самом деле холоднее.

И когда он это замечал, когда чувствовал справедливость упреков, сколько раз ему удавалось взять себя в руки и вновь раздуть угасающее пламя?

О неловкость влюбленных! Впрочем, там, где много ловкости, обычно недостает любви.

Итак, вспышками гнева и несправедливыми попреками Мария Антуанетта дала Шарни понять, что в глубине сердца он любит ее немножко меньше.

Услышав об этом, он оглянулся вокруг и, естественно, сразу нашел причину ревности королевы.

Это была Андреа, бедная брошенная Андреа, которая, выйдя замуж, так и не стала женой.

Ему стало жаль Андреа.

Сцена, разыгравшаяся при возвращении короля из Парижа, открыла ему глаза на тайную, скрытую от посторонних глаз ревность.

Увидев, что Шарни все понял, и не желая ему ни в чем уступить, королева решила прибегнуть к другому средству, которое, по ее мнению, должно было привести к той же цели.

Она снова стала хорошо относиться к Андреа.

Она стала брать ее с собою на все прогулки, они вместе сумерничали; королева осыпала Андреа ласками до такой степени, что все фрейлины стали ей завидовать.

Андреа с удивлением подчинялась, но свою признательность никак не выказывала. Она давным-давно усвоила, что она принадлежит королеве, что та может делать с нею все, что ей заблагорассудится, и Андреа не возражала.

Но поскольку женщине нужно вымещать свое раздражение, королева стала изводить Шарни. Она больше с ним не разговаривала, всячески третировала и подчеркнуто не замечала его целыми вечерами, сутками, неделями.

Однако когда его не было, сердце несчастной женщины сжималось, и она тревожным взглядом искала того, от кого, увидев, тут же отворачивалась.

Хотела ли она опереться на чью-нибудь руку, отдать распоряжение или просто уронить улыбку—все эти милости доставались первому встречному.

Впрочем, первый встречный всегда оказывался мужчиной красивым и знатным.

Королева считала, что залечивает свою рану, ранив Шарни.

Тот мучился и молчал. Этот человек умел держать себя в руках. Во время столь ужасных пыток у него не вырвалось ни одного гневного или раздраженного жеста.

Окружающие наблюдали за любопытным спектаклем—из тех, что дают и понимают только женщины.

Андреа чувствовала, как страдает муж, и, любя его ангельской любовью, не заключавшей в себе ни тени надежды, жалея его и не стеснялась открыто выражать свою жалость.

Она была так участлива, что супруги сблизились, ими двигали нежность и сострадание. Андреа пыталась утешить Шарни, не подавая виду, что она видит его потребность в утешении.

Делала она это с поистине женской деликатностью, если, конечно, считать, что на нее способны лишь женщины.

Мария Антуанетта, стремившаяся разделить и властвовать, поняла, что идет неверным путем и невольно сближает супругов, которых она стремилась разделить во что бы то ни стало.

И вот по ночам, когда она оставалась одна, на нее находили приступы неимоверного отчаяния; узнай о них Господь, он мог бы собою гордиться, так как создал существо, способное переносить подобные муки.

Поскольку королеву одолело столько горестей, политика отошла у нее на второй план. Тот, у кого тело ломит от усталости, не жалуется на жесткую постель.

Так вот и жила Мария Антуанетта после возвращения короля в Версаль вплоть до дня, когда она решила вновь всерьез воспользоваться своим могуществом.

Известную потерю своего веса в политической жизни, которую она ощущала в последнее время, королева в гордыне своей приписала начавшемуся увяданию.

Для этой неумейной натуры думать означало действовать.

Не теряя ни минуты, она принялась за дело.

Мария Антуанетта, увы, не догадывалась, что дело это ведет ее к гибели.

XVII. Фландрский полк

К несчастью для королевы, все события, свидетелями которых мы оказались, были лишь отдельными происшествиями, и при помощи твердых, умелых действий справиться с их последствиями не представляло особого труда. Для этого нужно было лишь собрать силы в кулак.

Видя, что парижане превратились в солдат и, как ей казалось, собирались затеять войну, королева решила продемонстрировать им, что такое настоящая война.

“До сих пор они имели дело лишь с инвалидами Бастилии да разболтанными колеблющимися швейцарцами. Я покажу им, что такое один-два преданных королю, хорошо обученных полка.

Вероятно, где-нибудь есть полк, которому уже приходилось обращаться в бегство мятежников и проливать кровь в сутолоке гражданской войны. Надо будет вызвать самый известный из таких полков. Тогда парижане поймут, что единственное для них средство остаться в живых—это сложить оружие”.

Такие мысли пришли королеве в голову после всех распри между королем и Национальным собранием относительно права вето. В течение двух месяцев король боролся, пытаясь вернуть себе хоть кусочек власти: совместно с министерством и Мирабо он пытался свести на нет взрыв республиканских настроений, грозивший уничтожить королевскую власть во Франции.

Королева утомилась от этой борьбы и главным образом оттого, что видела, как король сдает позиции.

В этой битве король потерял всю свою власть и остатки популярности. Королева же получила еще одно имя, вернее прозвище.

Это было слово, непривычное для людского слуха, и поэтому, быть может, отчасти даже приятное; пока еще не оскорбление, но впоследствии ставшее самым оскорбительным из прозвищ. Остроумное слово, превратившееся потом в кровавое. Теперь королеву называли “госпожой Вето”.

Это прозвище, разнесшееся на крыльях революционных песенок, пугало в Германии подданных и друзей той, кто, послав во Францию немецкую королеву, по праву удивлялся тому, что ее дразнили кличкой “Австриячка”.

В Париже этому слову суждено было в дни массовых убийств срываться с уст обезумевших людей в ответ на последние крики и хрип агонизирующих жертв.

Теперь же Мария Антуанетта называлась “госпожой Вето”; это прозвище не отставало от нее до того дня, когда она назвала себя “вдовой Капет”.

Это было ее третьим прозвищем. После “Австриячки” ее некоторое время называли также “госпожой Дефицит”.

После борьбы, во время которой королева пыталась доказать своим друзьям, что им грозит неминуемая опасность, она узнала только, что в ратушу обратилось шестьдесят тысяч человек с просьбой выдать им паспорт.

Шестьдесят тысяч именитых жителей Парижа и всей Франции уехали за границу, чтобы встретиться там с друзьями и родственниками королевы. Поразительный пример! И королева была поражена.

Поэтому она думала лишь об одном—о ловко подготовленном бегстве, о бегстве вынужденном, о бегстве, в результате которого она будет спасена, а верные ей люди, оставшиеся во Франции, смогут развязать гражданскую войну, то есть покачать революционеров.

План был неплох. И он безусловно удался бы, если бы не злой гений королевы, не желавший выпускать ее из рук.

Странная участь! Эта женщина, которой многие были так преданы, ничего не умела делать тайне.

Весь Париж уже знал, что Мария Антуанетта собирается бежать, хотя сама она не приняла еще окончательного решения.

Все знали обо всем, а Мария Антуанетта не догадывалась, что план ее стал невыполним.

Тем временем фландрский полк, известный своими роялистскими симпатиями, форсированным маршем прибыл в Париж.

Полк этот был вызван городскими властями Версаля, которые, устав от дополнительных караулов, от присмотра за все время находившимся под угрозой дворцом, от распределения провизии и вспышек недовольства, решили, что им нужны не национальная гвардия и ополченцы, а другие силы.

Дворцу же было трудно обороняться собственными силами.

Итак, фландрский полк прибыл, и для того чтобы он снискал себе необходимое уважение, ему следовало устроить пышный прием, который привлек бы внимание людей.

Адмирал д'Эстен собрал всех находившихся в Версале офицеров национальной гвардии, а также других частей, и стал во главе их.

Они торжественно вступили в Версаль с собственной артиллерией и обозом.

Вокруг них стала собираться толпа молодых дворян, не служивших ни в каких родах войск.

Они сами придумали себе мундиры, чтобы распознавать друг друга, призвали на помощь вышедших в отставку офицеров и кавалеров ордена Людовика Святого, которых опасность или предусмотрительность привели в Версаль. Из Версаля они отправились в Париж, и столичные жители с огромным изумлением увидели новых врагов, свеженьких, заносчивых и готовых при случае выболтать распивавшую их тайну.

Теперь король мог уехать. Его поддерживали и охраняли бы во время поездки, и, возможно, пока еще мало что понимавший Париж отпустил бы его.

Но злой гений Австриячки был начеку.

В Льеже вспыхнуло восстание против императора, и Австрия оказалась так им занята, что совсем позабыла о королеве Франции.

Та же из деликатности не сочла возможным напоминать о себе в такой момент.

Толчок был дан, и события стали развиваться с молниеносной быстротой.

После овадии, устроенной фландрскому полку, королевская гвардия решила дать обед в честь офицеров этого полка.

Праздничный прием был назначен на 1 октября. На него были приглашены все сколько-нибудь важные особы, находившиеся в городе.

О чем, собственно, шла речь? О братании с солдатами фландрского полка? А почему бы солдатам и не побрататься, раз братаются округа и провинции?

Разве конституция запрещает братание между дворянами?

Король все еще оставался хозяином собственных полков, их единственным командиром. К тому же он был единственным владельцем версальского дворца и имел право принимать там кого угодно.

Почему бы ему не принять смелых солдат и почтенных дворян, прибывших из Луэ, где они так хорошо себя вели?

Вполне естественное решение. Никому и в голову не пришло удивиться, а тем более встревожиться.

Этот совместный обед имел своей целью укрепить любовь, которая должна царить между всеми частями французской армии, призванной защищать одновременно и свободу и королевскую власть.

К тому же, король знал лишь то, о чем было условлено.

После парижских событий король, свободный, благодаря сделанным им уступкам, ни о чем более не заботился: бремя дел с него сняли. Он не желал больше править, так как это делали за него, но и не считал своим долгом целыми днями скучать.

Пока господа в Национальном собрании потихоньку урезали и сокращали, король охотился.

Пока после 4 августа господа дворяне и епископы расставались со своими голубятнями и феодальными привилегиями, своими голубями и дворянскими грамотами, король, желавший, как и все вокруг, тоже чем-нибудь пожертвовать, отменил егермейстерские звания, но охотиться из-за этого отнюдь не прекратил.

Итак, получалось следующее: господа офицеры фландрского полка устраивают обед с офицерами королевской гвардии, король, как обычно, будет на охоте, а к его возвращению стол уже уберут.

Это его никоим образом не стесняло, да и сам он так мало стеснял кого-либо, что в Версале было решено попросить у королевы позволения устроить праздник во дворце.

Королева не видела причин, которые могли бы ей помешать оказать гостеприимство фландрским солдатам.

Она предоставила для этих целей театральный зал, где на этот день позволила настелить дощатый пол, на уровне сцены, чтобы хозяевам и гостям было достаточно просторно.

Когда королева предоставляет свой кров французским дворянам, она делает это от всей души. Столовая есть, но нет гостиной, и королева предложила военным занять гостиную Геркулеса.

И вот, как мы уже говорили, в четверг, 1 октября состоялось это пиршество, навсегда вписавшее в анналы истории жестокую главу о недалёковидности или даже слепоте королевской власти.

Король был на охоте.

Королева заперлась у себя, печальная, задумчивая и настроившаяся не слышать ни звона бокалов, ни шума голосов.

Мария Антуанетта обнимала сына, Андреа сидела подле. В углу спальни что-то вышивали две камеристки. Таково было его окружение в тот день.

Понемногу во дворец стекались блестящие офицеры, все с яркими плюмажами и сверкающим оружием. У конюшен ржали лошади, гремели фанфары, оркестры фландрцев и королевских гвардейцев наполняли воздух гармоническими звуками.

У дворцовой решетки толпа людей с бледными лицами, любопытная, внутренне напряженная, поджидала, разбираала, комментировала и веселье, и музыку.

Время от времени, словно шквалы далекой грозы, из открытых дверей вместе с радостными возгласами вырывались клубы теплого воздуха, пахшего вкусной едой.

Это было довольно неосторожно: изголодавшиеся люди дышали запахами вина и мяса, эти мрачные, унылые люди были свидетелями чужой радости и надежд.

Пиршество проходило спокойно и без помех; офицеры, поначалу скромные и полные почтения к своим мундирам, беседовали тихо и сдержанно. Первые четверть часа все шло по установленной программе.

Подали вторую перемену блюд.

Г-н де Люзиньян, командир фландрского полка, встал и предложил выпить за здоровье короля, королевы, дофина и всего королевского семейства.

Четыре этих восклицания, отразившись от сводов, донеслись до слуха стоявших снаружи печальных зрителей.

Затем встал какой-то офицер. Вероятно, это был умный и смелый человек, человек здравомыслящий, предвидевший, чем это все может кончиться, человек, искренне преданный королевской фамилии, в честь которой только что были произнесены столь громогласные тосты.

Он понял, что при этом забыт еще один, явно напрашивающийся тост.

И предложил выпить за здоровье нации.

Раздался шепот, перешедший в громкие крики.

—Нет! Нет!—принялись хором восклицать присутствующие.

И тост за здоровье нации был отклонен.

Теперь пиршество приняло свой истинный смысл, поток попал наконец в нужное русло.

Говорят, что предложивший этот тост человек был провокатором, желавшим устроить манифестацию протеста.

Как бы там ни было, но его слова возымели крайне неприятные последствия. Забыть о нации—еще куда ни шло, но оскорблять ее—это уже слишком: она станет мстить.

С этой минуты лед был сломан: за сдержанным молчанием загудели пылкие разговоры, послышались возгласы, дисциплина отошла в область преданий, и в зале появились драгуны, гренадеры, швейцарские гвардейцы, короче, все простые солдаты, находившиеся во дворце.

Стаканы наполнялись вином раз десять, появившийся десерт был буквально сметен со стола. Опыянение стало всеобщим, солдаты напрочь позабыли, что пьянствуют вместе со своими офицерами. Братание получилось самым настоящим.

Повсюду слышались крики: "Да здравствует король! Да здравствует королева!" А сколько цветов, сколько огней отблесками играло на золоченых сводах, каким многообразием счастливых мыслей зажигались лица, какою преданностью дышали все эти молодцы! Подобное зрелище для королевы было бы приятным, для короля—утешительным.

До чего ж не повезло королю и до чего ж печальна участь королевы: они не присутствуют на таком празднестве!

Тут же нашлось несколько угодников из числа слуг, которые бросились к Марии Антуанетте и не без преувеличений рассказали ей все, что видели.

Потухший взор Марии Антуанетты сразу же оживился, она вскочила. Значит, все-таки есть в сердцах у французов преданность и любовь к королю!

А, следовательно, есть и надежда.

Королева огляделась сумрачным, огорченным взором.

В дверях один за другим стали появляться слуги. Они просили, они умоляли королеву прийти на пиршество, хотя бы только показаться там, где две тысячи восторженных людей криками "ура" поддерживают культ монархии.

—Король отсутствует,—печально отвечала она,—я не могу идти одна.

—Идите вместе с его высочеством дофином,—настаивали самые неосмотрительные.

—Государыня,—услышала она вдруг голос у самого уха,—оставайтесь здесь, заклинаю вас, оставайтесь.

Королева обернулась и узрела г-на де Шарни.

—Как! Разве вы не внизу, не вместе с этими господами?—удивилась она.

—Я ушел оттуда, ваше величество. Там царит возбуждение, последствия которого способны навредить вам так, что вы и представить не можете.

В этот день Мария Антуанетта была в дурном расположении, много капризничала и старалась все делать назло Шарни.

Она презрительно взглянула на графа и уже собралась было ответить ему какими-нибудь ничего не значащими словами, когда он почтительным жестом остановил ее и проговорил:

—Умоляю вас, государыня, дождитесь хотя бы короля, чтобы посоветоваться с ним.

Шарни хотел выиграть время.

—Король! Король!—вдруг послышались голоса.—Его величество вернулся с охоты!

Так оно и было.

Мария Антуанетта вскочила и бросилась навстречу королю, который был весь в пыли и даже не успел снять охотничьи сапоги.

—Государь!—воскликнула она.—Там, внизу, разыгрывается спектакль, достойный короля Франции. Пойдемте! Пойдемте скорее!

Взяв короля под руку, Мария Антуанетта потащила его за собой, не обращая внимания на Шарни, который в ярости впился ногтями себе в грудь.

Держа сына другою рукой, она стала спускаться по лестнице в окружении толпы придворных; к дверям в театральный зал они подошли в тот миг, когда под крики: "Да здравствует король! Да здравствует королева!" боксы осушались уже в двадцатый раз.

XVIII. Пир королевских гвардейцев

Когда королева вместе с королем и дофином появилась в театральном зале, раздался оглушительный приветственный вопль, похожий на взрыв.

Пьяные солдаты и обезумевшие офицеры подняли в воздух шляпы и шпаги, выкрикивая: "Да здравствует король! Да здравствует королева! Да здравствует дофин!"

Оркестр заиграл "О Ричарда, мой король!"

Намек, заключающийся в этой мелодии, был столь прозрачен, она так соответствовала всеобщему настроению, так верно передавала дух пиршества, что, как только зазвучала музыка, все в один голос запело.

Придя в восторг, королева напрочь забыла, что находится среди пьяных. Удивленный король с присущим ему здравым смыслом понимал, что здесь ему не место, что, находясь здесь, он кривит душой, однако этому слабому человеку польстило, что он нашел такую популярность и рвение, каких уже давно не встречал у своего народа, и он мало-помалу поддался всеобщему восторгу.

Шарни, на протяжении всего обеда пивший только воду, увидев короля с королевой, побледнел и встал; он надеялся, что обед пройдет в их отсутствие и поэтому мало что будет значить—потом можно будет от всего отказаться, все опровергнуть, однако они явились, и это уже была история.

Ужас его усилился, когда он увидел, что брат его Жорж подошел к королеве и, встретив одобрительную улыбку, стал что-то ей говорить.

Шарни находился слишком далеко и слов не слышал, однако, судя по жесту кулачки брата, тот обращался к королеве с какой-то просьбой.

Выслушав молодого человека, королева в знак согласия кивнула, после чего отцепила от своего чепца кокарду и протянула ее Жоржу.

Шарни вздрогнул, вытянул вперед руки и чуть было не закричал.

Кокарда, которую королева отдала своему опрометчивому кавалеру, была даже не белой, не французской. Это была черная австрийская кокарда—символ вражеской державы.

На этот раз королева поступила не просто неосмотрительно—она совершила предательство.

Но эти несчастные фанатики, которых Господь решил погубить, оказались до такой степени безумны, что когда Жорж показал им черную кокарду, те из них, кто имел белую кокарду, отбросили ее, а имевшие трехцветную—растоптали ногами.

Всеобщий восторг достиг таких размеров, что августейшие гости фландрского полка возвращались в свои покои, подвергаясь опасности быть задушенными в объятиях и чуть ли не наступая на тех, кто становился перед ними на колени.

Все это было ни чем иным, как обычным французским сумасбродством, которое французы всегда готовы простить, если оно не выходит за пределы обычной восторженности, но на сей раз собравшиеся очень скоро вышли за эти пределы.

Разве истые роялисты, обласкивая таким манером своего короля, не задевали тем самым нацию?

Ту самую нацию, именем которой королю доставлялось столько неприятностей, что оркестр имел полное право играть:

“Ну кто не огорчал своих любимых?”

Под эту мелодию король, королева и дофин и покинули зал.

Едва они вышли, как сотрапезники, воодушевляя друг друга, стали превращать пиршественный зал в город, взятый штурмом.

По знаку г-на Персеваля, адъютанта г-на д'Эстена, рожок затрубил сигнал атаки.

Атаки на кого? На отсутствующего врага.

На народ.

Этот сигнал столь сладок для французского уха, что собравшиеся тут же приняли версальский театральный зал за поле битвы, а прекрасных дам, наблюдавших из лож милый их сердцам спектакль,—за врага.

Из сотни глоток вырвался крик: “На приступ!”, и штурм лож начался. Правда, атакующие выглядели при этом до такой степени не грозно, что атакуемые протягивали им руку помощи.

Первым взобрался на балкон гренадер фландрского полка. Г-н де Персеваль, вырвав у себя из петлицы крест, наградил им героя.

Правда, крест был Лимбургским—из тех, что и за награду почти не считаются.

Все это происходило под австрийскими цветами и сопровождалось бранными выкриками в адрес национальной кокарды.

Кое-где уже слышались глухие, зловещие возгласы.

И, несмотря на то что их заглушали вопли поющих и атакующих, рев горнов, эти угрожающие возгласы были услышаны стоявшими у ворот людьми, которые сперва удивлялись, потом стали негодовать.

И за пределами дворца—на площади, а затем на улицах—стало известно, что белую кокарду заменила черная, а трехцветная попирается ногами.

Стало известно, что некий отважный офицер национальной гвардии, несмотря на угрозы не снявший трехцветную кокарду, был тяжело искалечен прямо в королевских покоях.

Впоследствии ходили неясные слухи о другом офицере: печально и недвижно стоял этот верный и бесстрашный солдат у входа в громадный зал, превращенный в цирк, где неистовствовали безумцы, смотрел и слушал, не прячась от посторонних взглядов, покоряясь воле большинства, принимая на себя вину за чужие ошибки, за все бесчинства армии, представленной в этот роковой день офицерами фландрского полка. Имя этого единственного разумного человека среди толпы умалишенных так и не было произнесено, но даже если б его и назвали, никто бы не поверил, что граф де Шарни, фаворит королевы, готовый отдать за нее жизнь, и был тем, кто болезненнее всех переживал то, что она натворила.

Что же до королевы, то она вернулась к себе буквально ошеломленная волшебством разыгравшейся сцены.

Вскоре ее окружила толпа придворных льстецов.

—Вот видите,—говорили ей,—каковы подлинные настроения в ваших войсках. Теперь вы понимаете: вам говорят о приверженности народа идеям анархии, но разве могут выстоять эти идеи против того яростного пыла, с каким французские солдаты защищают монархию?

А так как эти слова отвечали тайным желаниям королевы, она позволяла химерам баюкать себя, не замечая даже, что рядом с нею нет Шарни.

Между тем шум понемногу стал утихать: сон разума потушил все пламя безумия, все пьяные фантазмагории. Король, зайдя к королеве перед тем, как улечься спать, бросил весьма мудрое замечание:

—Завтра увидим.

Какая неосторожность! Для всех эти слова представляли собою мудрый совет, но в той, кому они были адресованы, пробудили заглохший было источник сопротивления и подстрекательства.

—В самом деле,—прошептала королева, когда супруг удалился,—пламя, вспыхнувшее сегодня вечером во дворце, за ночь охватит Версаль, а завтра разгорится пожаром по всей Франции. Всех этих солдат и офицеров, которые так горячо выражали сегодня свою верность, назовут бунтовщиками, предателями нации. Губители родины станут величать знатнейших из этих аристократов мелкими прислужниками Питта и Кобурга*, приспешниками властей, дикарями, северными варварами.

Для каждого, чья шляпа украшена черной кокардой, будет выбран фонарь на Гревской площади.

* Кобург—князь Фридрих Кобург—Заальфегд (1737—1815), главнокомандующий австрийскими войсками против французов в 1793—94 гг.

Грудь каждого из тех, кто так преданно кричал: "Да здравствует королева!", будет пробита при первых же беспорядках каким-нибудь мерзким ножом или пикой.

А причиной всему этому буду я, опять я. Именно мною будут осуждены на смерть столько отважных подданных, вокруг меня, неприкосновенной монархии, будет царить утешительное притворство, а вдалеке от меня—оскорбительная ненависть.

О, нет, я не буду настолько неблагодарной по отношению к своим единственным, своим последним друзьям, я не буду малодушной и бессердечной, я возьму всю вину на себя. Все было сделано ради меня, значит, и бремя гнева нести мне. Посмотрим, до какой степени дойдет ненависть ко мне, как высоко к подножию моего трона осмелится подняться нечистая волна.

И, страдая от бессонницы, омраченной вдобавок подобными невеселыми мыслями, королева уже не сомневалась в исходе завтрашнего дня.

Наконец настал завтрашний день, полный слухов и раскаяния.

Национальные гвардейцы, которым королева недавно вручила знамя, явились выразить ее величеству свою благодарность, однако головы их были опущены, а глаза тусклы.

По поведению этих людей было нетрудно догадаться: они не одобряют происшедшего и если бы осмелились, то высказали бы свое недовольство.

Ведь они были в составе кортежа, встречавшего фландрский полк, они получили приглашение на обед и приняли его. Однако, будучи скорее гражданами, нежели солдатами, именно они во время оргии отважились на глухие замечания, которые, увы, не были услышаны.

А на следующий день замечания эти превратились в упреки и порицания.

Когда они шли во дворец благодарить королеву, по дороге вокруг них собралась большая толпа.

При столь серьезной обстановке церемония обещала стать внушительной.

Обе стороны желали посмотреть, с кем они имеют дело.

Все эти солдаты и офицеры, скомпрометировавшие себя накануне, хотели знать, до какой степени поддержит королева их неосмотрительную демонстрацию, и расположились перед возмущенной и оскорбленной вчера толпой, чтобы услышать первые официальные слова, сказанные обитателями дворца.

С этого момента тяжелое бремя контрреволюции легло целиком на плечи королевы.

Она могла еще отказаться от этой ответственности, отвести от себя беду.

Но Мария Антуанетта, одна из самых гордых представительниц своей нации, ясным и уверенным взором оглядела окружавших ее друзей и врагов и громко обратилась к офицерам национальной гвардии:

—Господа, я была рада вручить вам знамя. Народ и армия должны любить короля точно так же, как мы любим народ и армию.

Меня весьма порадовал вчерашний день.

При этих словах, произнесенных крайне твердо, по толпе пробежал шумок, а в рядах военных послышались горячие рукоплескания.

—Нас поддержали,—говорили солдаты.

—Нас предали,—говорила толпа.

Значит, бедная королева, в роковом вечере 1 октября для вас не было ничего удивительного! Значит, несчастная, вы не сожалеете о случившемся вчера, значит, вы не раскаиваетесь!

Какое там раскаиваетесь—вы даже рады!

Стоя среди кучки офицеров, Шарни с горестным вздохом выслушал оправдание, вернее, даже восхваление оргии, устроенной королевской гвардией.

Королева, отведя взор от толпы, встретила с ним глазами, пытаясь по лицу своего возлюбленного понять, какое впечатление она произвела на него.

"Я смела, не правда ли?"—казалось, спрашивала она.

"Увы, ваше величество, скорее безрассудны",—читалось на мрачно искажившемся лице графа.

ХІХ. В дело вмешиваются женщины

В Версале двор проявлял чудеса героизма по отношению к народу.

В Париже народ проявлял чудеса рыцарства по отношению ко двору, вот только рыцарство это бродило по улицам.

Рыцари из народа, одетые в лохмотья, блуждали, сжимая в ладони рукоятку сабли или пистолета, не в силах забыть о своих пустых карманах и желудках.

В Версале слишком много пили, в то время как в Париже недоедали.

Слишком много вина на версальских скатертях.

Слишком мало муки в парижских булочных.

Странное дело! Сегодня, когда уже пало столько тронов, это мрачное ослепление вызывает улыбку жалости у людей, связанных с политикой.

Разжигать контрреволюцию и провоцировать на борьбу голодных людей!

Увы, скажут историки, вынужденные исповедовать материалистическую философию, никогда народ не сражается так яростно, как в тех случаях, когда он остался без обеда.

Ведь дать народу хлеба было так несложно, и тогда хлеб, съедаемый в Версале, не показался бы ему столь горьким.

Однако мука из Корбейля больше не поступала. Он ведь так далеко от Версаля, этот Корбейль. Но кто из окружения короля или королевы станет думать о каком-то Корбейле?

К несчастью для забывчивого двора, голод, этот призрак, который так трудно усыпить и который так легко пробуждается,—голод с бледным и тревожным лицом уже вступал на парижские улицы. Чутко прислушиваясь на всех углах, он собирал в свой кортеж бродяг и злодеев и готов был вот-вот при-

жаться своим угрюмым лицом к окнам богачей и должностных лиц.

Мужчины еще не забыли мятеж, стоивший столько крови, они вспоминали Бастилию, вспоминали Фулона, Бертье, Флессея, они боялись, что их снова назовут убийцами, и потому выжидали.

Но женщины, которые до сих пор лишь страдали, да и теперь продолжали страдать, причем втройне—за ребенка, который плачет, который, не понимая, что творится, считает себя обиженным и спрашивает у матери: "Почему ты не даешь мне хлеба?", за мужа, который, хмур и молчалив, уходит утром из дому, чтобы вернуться вечером еще более хмурым и молчаливым, и за себя самое, с болью переживающую страдания ребенка и мужа,—женщины горели желанием отплатить за все, они хотели послужить отечеству по-своему.

И потом, разве не женщины устроили в Версале 1 октября? Теперь пришло время устроить 5 октября в Париже.

Жильбер и Бийо были в Пале-Рояле, в кафе де Фуа. Там происходило собрание. Внезапно дверь кафе распахнулась, и вошла какая-то женщина, совершенно сбитая с толку. Она сообщила, что черные и белые кокарды перекочевали из Версаля в Париж, и заявила, что это представляет общественную опасность.

Жильберу сразу припомнились слова, сказанные Шарни королеве: "Государыня, бояться по-настоящему нужно будет тогда, когда в дело вмешаются женщины".

Жильбер придерживался того же мнения.

Увидев, что женщины и в самом деле начинают вмешиваться, он повернулся к Бийо и бросил всего два слова:

—В ратушу!

После разговора между Бийо, Жильбером и Питу последний вместе с юном Себастьяном Жильбером вернулся в Виллер-Котре, а Бийо стал повиноваться любому слову, жесту или знаку Жильбера, так как понял: если он, Бийо, олицетворяет собою силу, то Жильбер—ум.

Они вышли из кафе, пересекли наискосок сад Пале-Рояля и Фонтанный двор и очутились на улице Сент-Оноре.

У рынка они наткнулись на молоденькую девушку, которая, выходя с улицы Бурдонне, била в барабан.

Удивленный Жильбер остановился.

—Это еще что за новости?—

—Разве вы не видите, доктор?—ответил Бийо,—Хорошенькая девушка, которая бьет в барабан и, клянусь, недурно!

—Должно быть, что-то потеряла,—бросил какой-то прохожий.

—Она бледна,—заметила Бийо.

—Спросите, что ей нужно,—велел Жильбер.

—Эй, красотка!—кликнул девушку Бийо.—Чего ты коло-тишь в свой барабан?

—Я хочу есть,—тонким пронзительным голосом отвечала та.

И пошла дальше, продолжая выбивать дробь.

Жильбер понял.

—Вот это уже страшно,—проговорил он.

С этими словами он внимательно посмотрел на женщин, шедших следом за девушкой с барабаном.

Все они были истощены, едва держались на ногах, в глазах застыла безнадежность.

Среди них были и такие, которые не ели уже часов тридцать.

Время от времени в толпе женщин раздавался крик—слабый и тем самым страшный, потому что было понятно: он вырывается из голодных ртов.

—На Версаль!—кричали женщины.—На Версаль!

По пути они махали руками женщинам, стоявшим на порогах домов, окликали тех, что подходили к окнам.

Мимо проехала карета с двумя *дамми*, которые, выглянув в окошко, рассмеялись.

Процессия, ведомая барабанщицей, остановилась. Десятка два женщины подбежали к карете и, заставив дам выйти, потащили с собой, несмотря на их недовольство и сопротивление, которые были быстро погашены в зародыше посредством двух-трех увесистых затрецин.

Позади процессии, двигавшейся довольно медленно—ее то и дело задерживали остановки, производившиеся с целью сбора пополнения,—шел мужчина; руки его были засунуты в карманы.

Этот мужчина с костистым бледным лицом, высокий и тощий, был одет в стального цвета кафтан, черные камзол и штаны, на голове его красовалась заломленная набок потертая треуголка.

Длинная шпага колотилась по его худым, жилистым ногам.

Он смотрел по сторонам и слушал, его пронзительные глаза внимательно смотрели из-под черных бровей.

—Э, да я его знаю,—проговорил Бийо.—Я видел его физиономию во всех потасовках, в которых участвовал.

—Это привратник Майар*,—сообщил Жильбер.

—Он самый. Когда брали Бастилию, он перебежал ров по доске вслед за мною, но оказался ловчее и не свалился вниз.

Процессия и шедший позади Майар скрылись за углом.

Бийо очень хотелось поступить по примеру Майара, но Жильбер потащил его с собою в ратушу.

Было совершенно ясно, что там и возникнет следующее возмущение, зачинщиками которого будут то ли мужчины, то ли женщины. Вместо того чтобы следовать за потоком, Жильбер направился к самому его устью.

В ратуше было известно, что происходит в Париже. Однако это никого особенно не заботило. Да и какое было дело флегматику Байи и аристократу Лафайету до того, что какой-то девице взбрело в голову бить в барабан? Подготовка к карнавалу, и ничего более.

Но когда они увидели, что за девушкой с барабаном шествуют несколько тысяч женщин, а на флангах этой все расту-

* *Майар*, Станислас Мари (?—1794)—участник революции, с его именем связаны многие ее кровавые события.

щей армии движется не менее внушительное войско, состоящее из мрачно улыбающихся мужчин с оружием в опущенных руках, когда они поняли, что мужчины эти улыбаются, уже смакуя зло, которое собираются сотворить женщины, зло непоправимое, поскольку им было ясно, что общественные силы не станут вмешиваться заранее, а закон никого не покарает потом,—вот тогда они стали понимать всю серьезность сложившейся ситуации.

Мужчины улыбались потому, что, не решаясь сами сотворить зло, с радостью готовы были посмотреть, как станет его творить самая безобидная половина рода человеческого.

Через полчаса на Гревской площади собралось около десяти тысяч женщин.

Увидев, что их набралось достаточное количество, эти дамы подбодрились и начали совещаться.

Совещание проходило отнюдь не спокойно; участвовали в нем до преимуществу привратницы, рыночные торговки да публичные женщины. Многие из них были роялистками, им и в голову не пришло бы причинить вред королю или королеве, за которые они готовы были отдать жизнь. Отголоски этого странного спора были слышны даже за рекой, возле молчаливых башен собора Парижской Богородицы, которые повидали на своем веку многое и теперь готовились стать свидетелями еще одного любопытного зрелища.

В конце концов совещание решило:

“Пойдем в ратушу и пустим туда красного петуха, потому что там делают лишь кучу всяких бумажек, из-за которых мы голодаем”.

В ратуше тем временем как раз судили булочника, продававшего хлеб с недовесом.

Любому понятно: чем дороже хлеб, тем выгоднее операции подобного рода, однако дело в том, что чем они прибыльнее, тем опаснее.

Поэтому специалисты по фонарям уже поджидали булочника с новой веревкой наготове.

Охрана ратуши изо всех сил пыталась спасти несчастного. Однако, как нам уже известно, их филантропические наклонности в последнее время мало кому помогали.

Женщины бросились на стражников, смяли их, ворвались в ратушу и начался грабег.

Они хотели выбросить в Сену все, что там найдут, а то, чего не сумеют унести, сжечь.

Итак, людей в воду, стены предать огню.

Задача предстояла грандиозная.

В ратуше было всех понемногу.

Во-первых, 300 выборщиков.

Кроме того, там были их помощники.

Кроме того, там были мэры.

—Долгонько же нам придется кидать их всех в воду,—сказала некая торопливая, но здравомыслящая женщина.

—Только этого они и заслуживают,—отозвалась другая.

—Верно, но вот времени у нас нет.

—Ладно, тогда придется все сжечь,—подал совет чей-то голос.—Так будет проще.

Женщины стали искать факелы, потребовали огня. Чтобы не терять драгоценного времени, повесили для смеха аббата Лефевра д'Ормессона.

По счастью, в ратуше оказался и мужчина в серо-стальном кафтане. Он перерезал веревку, аббат упал с семнадцатифутовой высоты, подвернул ногу и поковылял прочь под злобный хохот мегер.

Аббату удалось уйти без помех лишь потому, что факелы уже были зажжены, поджигательницы взяли их в руки и двинулись в сторону архивов. Минут через десять все вокруг запылало.

Внезапно человек в сером бросился вперед и стал вырывать у женщин факелы и головни; те стали сопротивляться, но он принялся охаживать их одним из факелов и, когда огонь подобрался к юбкам, потушил пламя, которое уже начало лизать бумаги.

Кто же этот человек, не побоявшийся противостоять могучей воле десяти тысяч взбешенных фурий?

Почему они подчинились этому человеку? Ведь они чуть было не повесили аббата Лефевра и сделали бы это, не помешай им мужчина в серо-стальном кафтане.

Рассудив таким образом, женщины иступленно завопили, угрожая человеку смертью; за угрозами последовали и действия.

Окружив человека в сером, женщины набросили ему на шею веревку.

Но тут в дело вмешался Бийо и оказал Майару такую же услугу, какую тот чуть раньше оказал аббату.

Схватившись за веревку, фермер разрезал ее на несколько частей с помощью хорошо наточенного острого ножа, который сейчас послужил владельцу для разрезания веревки, но при необходимости, управляемый сильной рукой, мог бы послужить и для других целей.

Кромсая веревку на кусочки, Бийо воскликнул:

—Несчастные! Разве вы не узнаете одного из покорителей Бастилии? Это ведь он прошел по доске, чтобы потребовать капитуляции, пока я барахтался во рву. Как же вы не узнали господина Майара?

Услышав это известное и грозное имя, женщины остановились. Переглянувшись, они принялись утирать лбы.

Работа у них была тяжелая, и поэтому, хотя на дворе стоял октябрь, женщины взмокли.

—Покоритель Бастилии! Да к тому же славный господин Майар! Господин Майар, привратник в Шатле! Да здравствует господин Майар!

Угрозы тут же сменились ласками: женщины принялись целовать Майара, то и дело восклицая:

—Да здравствует Майар!

Майар переглянулся с Бийо и пожал ему руку.

Рукопожатие означало: "Мы друзья".

Взгляд означал: "Если вам понадобится моя помощь, можете на меня рассчитывать".

Женщины подпали под влияние Майара еще и потому, что понимали: он был не совсем прав, простив их.

Но Майар, опытный матрос в людском море, понимал, что это море предместий начинает волноваться от одного порыва ветерка и успокаивается от одного слова.

Он знал, как следует говорить перед людским морем—если, конечно, тебе дадут такую возможность.

К тому же момент для обращения к женщинам был удобный: они затихли.

И Майар сказал: он не желает, чтобы парижанки разрушили Коммуну, то есть единственную силу, способную их защитить, он не желает, чтобы они уничтожили свое новое гражданское состояние, благодаря которому все их дети стали законными.

Необычные слова Майара, произнесенные резким, хриплым голосом, дали желаемый результат.

Никто не будет убит, ничто не будет предано огню.

Но женщины хотят идти на Версаль.

Там кроется зло, обитатели Версаля устраивают ночами оргии, а Париж тем временем голодает. Версаль съедает все. Парижу не хватает зерна и муки, потому что они идут прямоком из Корбейля в Версаль и в Париже не задерживаются.

А дело обстояло бы иначе, если бы Булочник, Булочница и Маленький Подмастерье находились бы в Париже.

Под этими прозвищами женщины имели в виду короля, королеву и дофина—тех, кто, по их мнению, обязан был снабжать народ хлебом

Итак, они идут на Версаль.

А поскольку женщины организованы в войско, поскольку у них есть ружья, пушки, порох, а у тех, кто не имеет ружей и пороха, есть пики и вилы, им необходим генерал.

А почему бы и нет? Ведь есть же генерал у национальной гвардии.

Лафайет—генерал над мужчинами.

Майар будет генералом над женщинами.

Господин де Лафайет командует своими лодырями-гренадерами, которых, похоже, держит в резерве,—ведь работы для них так много, а они почти ничего не делают. Майар станет командующим действующей армией.

И не подумав улыбнуться или нахмуриться, Майар согласился.

Кампания будет недолгой, но решающей.

XX. Генерал Майар

Майар принял командование над самой настоящей армией.

У нее были пушки—без лафетов и колес, это верно, но их положили на тележки.

У нее были ружья—многие без собачек или бойков, это верно, но зато все со штыками.

У нее была масса другого оружия—не очень-то удобного, это верно, но тем не менее оружия.

У нее был порох, который лежал в их узелках, чепцах или карманах, а среди этих живых лядунок расказывали канониры с зажженными фитилями.

Если вся армия во время этого странного похода не взлетела на воздух, то это можно приписать лишь чуду.

Майар с одного взгляда уловил настроения своей армии. Он понял, что не должен удерживать ее на одном месте, в Париже, ему следует вести ее в Версаль, а уж там пытаться предотвратить зло, которое она способна сотворить.

Задача трудная, героическая, но Майер должен ее выполнить.

Решив так, Майар подошел к молоденькой девушке и снял у нее с шеи барабан.

Умирающая с голоду девушка больше не могла его нести. Она отдала барабан и, соскользнув вниз по стене, уронила голову на каменную тумбу.

Жесткая подушка, подушка для голодных...

Майар спросил у девушки, как ее зовут. Ее звали Мадленой Шамбри. Она была резчицей по дереву, работала для церквей. Но кому сейчас придет в голову заказывать для церкви красивую деревянную мебель, статуи, барельефы вроде тех, что так превосходно делались в XV веке?

Полумертвая от голода, она стала цветочницей в Пале-Рояле.

Но кто сейчас покупает цветы, когда не хватает денег на хлеб? Цветы, эти звезды в дни мира и изобилия, увядают, когда начинают дуть ветры революции.

Не имея больше возможности вырезать из дуба фрукты и продавать розы, жасмин и лилии, Мадлена Шамбри взяла барабан и стала бить голодную тревогу.

Она, собравшая эту печальную депутацию, отправится в Версаль, но поскольку девушка слишком слаба, чтобы идти пешком, ее повезут на тележке.

В Версале она попросит, чтобы ее с дюжиной других женщин пропустили во дворец, и там станет держать речь; голодная, она от имени всех голодных обратится к королю с жалобой.

Эта мысль Майара была встречена рукоплесканиями.

Вот так Майар одним словом рассеял враждебность толпы.

До этого ни одна живая душа не знала, зачем они идут в Версаль и что собираются там делать.

Теперь стало ясно: они идут в Версаль, чтобы депутация из двенадцати женщин с Мадленой Шамбри во главе упростила короля именем голода пожалеть свой народ.

Почти семь тысяч женщин собрались в путь.

И вот они двинулись по набережной.

Однако когда процессия дошла до Тюильри, послышался громкий крик.

Чтобы лучше видеть всю свою армию, Майар забрался на тумбу и осведомился:

—В чем дело?

—Мы желаем идти через Тюильри.

—Это невозможно,—отрезал Майар.

—Почему?—в один голос воскликнули женщины;

—Потому что Тюильри—это королевский дом с садом и идти через него без разрешения значит нанести королю оскорбление, даже более того: это значит покуситься в лице короля на всеобщую свободу.

—Раз так,—отвечали женщины,—попросите у часового разрешение.

Держа треуголку в руке, Майар подошел к часовому:

—Друг мой,—начал он,—не позволите ли вы этим дамам проследовать через Тюильри? Мы пройдем только под аркой и никакого вреда деревьям и растениям в саду не причиним.

Вместо ответа часовой выхватил шпагу и кинулся на Майара.

Майар вытащил свою, которая была на целый фут короче, и стал защищаться. Тем временем одна из женщин, подобравшись к часовому сзади и хватив его палкой от метлы по голове, повергла несчастного к ногам Майара.

Майар вложил шпагу в ножны, шпагу часового сунул под мышку, забрал у женщины ружье и сунул его под другую, после чего поднял упавшую в ходе сражения треуголку и, нахлобучив ее на голову, пошел по Тюильри, где, как он и обещал, женщины ничего не тронули.

Пусть они, перейдя через Королевскую аллею, шествуют в сторону Севра, где им предстоит разделиться на две группы, а мы бросим взгляд на то, что делается в Париже.

Итак, семь тысяч женщин едва не утопили выборщиков, не повесили аббата Лефевра и Майара и не сожгли ратушу, причем не наделать при этом известного переполоха им не удалось.

На отголоски этого переполоха, дошедшие даже по окраин столицы, явился Лафайет.

Он проводил на Марсовом поле нечто вроде смотра. С восьми утра он был уже в седле и, когда пробило полдень, появился на площади перед ратушей.

На карикатурах тех времен Лафайет изображается в виде кентавра с телом знаменитой белой лошади, которая вошла в поговорку.

На шее лошади была пририсована голова командующего национальной гвардией.

С самого начала революции Лафайет, сидя верхом, произносил речи, верхом ел, верхом командовал.

Ему доводилось даже спать сидя верхом.

Позтому когда Лафайет случайно ложился в постель, спал он крепко.

Едва Лафайет доехал до набережной Пельтье, его остановил мужчина, галопом подлетевший к нему на великолепном скакуне.

Это был Жильбер. Он направлялся в Версаль, желая предупредить короля об угрозе и остаться в его распоряжении.

В двух словах он поведал Лафайету о случившемся.

Затем оба продолжали путь: Лафайет—к ратуше, Жильбер—в Версаль.

Однако поскольку женщины двигались по правому берегу Сены, он поехал по левому.

На площади перед ратушей не было ни одной женщины, зато были мужчины.

Это были национальные гвардейцы, получающие жалованье и не получающие такового, преимущественно солдаты бывшей французской гвардии, которые, перейдя в ряды народа, утратили свои привилегии, переданные ими по наследству королевскому конвою и швейцарцам.

За переполохом, который наделали женщины, последовали удары в набат и теперь уже общий переполох.

Проехав через толпу, Лафайет спешился на нижней ступеньке и, не обращая внимания на вызванные его появлением рукоплескания вперемешку с угрозами, прошел в ратушу и стал диктовать письмо королю относительно утреннего восстания.

Когда он дошел до шестой строки, дверь канцелярии резко распахнулась.

Лафайет поднял взгляд. Депутация гренадеров пришла с просьбой, чтобы он их принял.

Лафайет сделал им знак войти.

Они вошли.

Гренадер, которому было поручено держать речь, подошел к столу.

—Генерал,—твердо начал он,—нас послали к вам десять гренадерских рот. Вас мы не считаем предателем, но уверены, что правительство нас предало. Пора со всем этим кончать, мы не можем обращать наши штыки против женщин, требующих от нас хлеба. Продовольственный комитет или ворует, или бездарен, в том и другом случае его необходимо сменить. Народ страдает, и корень зла находится в Версале. Нужно привезти короля в Париж; нужно прогнать фландрский полк и королевских гвардейцев, позволивших себе попирать ногами национальную кокарду. Если король не в силах нести на своей голове корону, пусть отречется, мы коронуем его сына. Назначим регентский совет, и все пойдет к лучшему.

Изумленный Лафайет уставился на оратора. Ему доводилось видеть бунты, доводилось оплакивать убитых, но на этот раз ветер революции впервые в жизни ударил ему в лицо.

Возможность свержения короля, о которой говорил народ, его удивила, вернее, даже озадачила.

—Вот как!—вскричал он.—Значит, вы собираетесь объявить королю войну и заставить его отречься от нас?

—Генерал,—отозвался оратор,—мы любим и чтим своего короля и будем очень огорчены, если он нас покинет, потому что мы и в самом деле его очень любим. Но на худой конец у нас остается дофин.

—Господа, господа,—проговорил Лафайет,—берегитесь, что вы делаете? Вы же посягаете на корону, а мой долг—ее охранять.

—Генерал,—с поклоном отвечал национальный гвардеец,—мы готовы отдать за вас кровь до последней капли. Однако на-

род страдает, источник зла находится в Версале, поэтому нужно привезти короля в Париж—так хочет народ.

Лафайет понял, что расхлебывать кашу придется ему самому. В таких случаях он никогда не шел на попятный.

Он вышел на середину площади и собрался было обратиться к народу, но крики: "На Версаль! На Версаль!" заглушили его слова.

Внезапно со стороны улицы Ваннери послышался мощный гул. Это приехал в ратушу Байи.

Завидя Байи, вся площадь закричала:

—Хлеба! Хлеба! На Версаль! На Версаль!

Лафайет совсем затерялся в толпе, он чувствовал, что людское море волнуется все яростнее и вот-вот поглотит его.

Он принялась рассекать толпу, пытаясь добраться до лошади, словно потерпевший кораблекрушение, который рассекает волны в попытке доплыть до скал.

Это ему удалось. Он вскочил в седло и направил лошадь к крыльцу, но путь к ратуше был закрыт: перед ним стояла стена людей.

—Черт побери, генерал!—раздавались крики.—Вы останетесь с нами!

В то же время вопли: "На Версаль!" не стихали.

Лафайет колебался. Конечно, отправившись в Версаль, он может оказаться весьма полезен королю, но сумеет ли он овладеть этой толпой, которая желает, чтобы он ехал вместе с нею? Усмирит ли он эти волны, заставившие его потерять почву под ногами, волны, с которыми он борется, чтобы спастись самому?

Внезапно с крыльца сбежал какой-то человек с письмом и принялся так ловко орудовать в толпе руками, ногами и в особенности локтями, что вскоре уже стоял рядом с Лафайетом.

Это был неутомимый Бийо.

—Держите, генерал,—сказал он.—Это вам от Трехсот. Так прозвали в Париже выборщиков.

Лафайет сломал печать и начал читать про себя, но двадцать тысяч глоток взревели:

—Письмо! Письмо!

Лафайет был вынужден читать вслух. Он поднял руку, призывая толпу замолчать. В тот же миг, словно по мановению волшебной палочки, страшный шум сменился полной тишиной; Лафайет отчетливо стал читать нижеследующее письмо:

"Учитывая обстоятельства и волю народа, а также убедительные доводы господина генерала, поручаем и даже приказываем господину генералу отправляться в Версаль.

Его будут сопровождать четыре комиссара Коммуны".

Бедняга Лафайет не выдвигал перед выборщиками никаких доводов, они просто воспользовались случаем и решили переложить часть ответственности за происходящее на его плечи. Но люди и в самом деле поверили, что доводы имели место, и, поскольку это совпадало с их желаниями, раздались крики:

—Да здравствует Лафайет!
И Лафайет, побледнев, крикнул:

—На Версаль!

Пятнадцать тысяч мужчин последовали за ним, горя энтузиазмом более молчаливым, но и более угрожающим, чем тот, каким были охвачены ушедшие перед ними женщины.

Все они должны были встретиться в Версале и просить у короля те крохи хлеба, что упали со стола королевских гвардейцев во время пиршества в ночь с 1 на 2 октября.

XXI. Версаль

В Версале, по обыкновению, понятия не имели о том, что происходит в Париже.

После описанных нами сцен, которым королева на следующий день во всеуслышание порадовалась, ее величество изволили отдохнуть.

У нее была своя армия, свои сенды, она сочла врагов и теперь хотела вступить в бой.

Разве не должна была она отомстить за поражение 14 июля? Разве не должна была заставить двор и себя самое забыть о поездке короля в Париж, из которой он вернулся с трехцветной кокардой на шляпе?

Несчастливая женщина! Она и не подозревала, какое путешествие предстоит совершить ей самой.

После размовки с Шарни королева с ним больше не разговаривала. Она подчеркнуто обращалась с Андреа с былым дружелюбием, которое ненадолго померкло было в ее сердце и погасло навсегда в сердце ее соперницы.

Что же касается Шарни, то она не оборачивалась и не смотрела в его сторону, за исключением тех случаев, когда ей требовалось сказать ему что-либо относительно его службы или отдать какое-то распоряжение.

Однако в немилость к королеве не впало все его семейство: утром того дня, когда парижане направились в Версаль, она вела весьма нежную беседу с юным Жоржем де Шарни, вторым из троих братьев, тем самым, который, в отличие от Оливье, давал ей воинственные советы, когда пришла весть о взятии Бастилии.

Дело было так. Около девяти утра этот молодой офицер шел по галерее, чтобы сообщить егермейстеру, что король собирается поохотиться, когда Мария Антуанетта, только что прослушавшая мессу в дворцовой церкви, заметила его и подождала к себе.

—Куда это вы так спешите, сударь?—полюбопытствовала она.

—Я увидел ваше величество и уже не спешу,—ответствовал Жорж.—Напротив, я остановился и покорно ожидаю, что ваше величество окажет мне честь и заговорит со мной.

—Но это, надеюсь, не помешает вам, сударь, ответить мне и сказать, куда вы идете?

—Государыня,—ответил Жорж—я состою в эскорте; его величество собирается на охоту, и я собираюсь договориться с егермейстером о месте встречи.

—Вот как! Король и сегодня охотится,—проговорила королева, глядя на большие черные тучи, шедшие со стороны Парижа.—Напрасно. Погода, похоже, не из лучших, не правда ли, Андреа?

—Да, ваше величество,—рассеянно ответила молодая женщина.

—А вы другого мнения, сударь?

—Нет, государыня, но король так пожелал.

—Да сбудется воля короля в лесах и на дорогах,—заклучила королева со свойственной ей веселостью, которую не могли заставить ее утратить все сердечные печали и политические события вместе взятые.

Затем, повернувшись к Андреа, она вполголоса добавила:

—По крайней мере, хорошо, что он занят хотя бы этим.

После чего громко осведомилась у Жоржа:

—Не скажете ли, сударь, где собирается охотиться король?

—В Медонском лесу, ваше величество.

—Ну, идите и не спускайте с него глаз.

В этот миг появился граф де Шарни. Нежно улыбувшись Андреа, он осмелился обратиться к королеве:

—Мой брат запомнит этот совет, государыня, разделяя с королем не только веселье, но и опасности.

Королева не заметила появления Шарни и, услышав голос его, вздрогнула.

—Я была бы очень удивлена,—с нескрываемым презрением заметила она,—если бы это сказал кто-нибудь другой, а не вы.

—Почему, ваше величество?—почтительно спросил граф.

—Потому что за этими словами чудится несчастье, сударь.

Андреа увидела, как побледнел граф, и сама тоже побледнела.

Шарни молча поклонился.

Затем, поймав взгляд жены, удивленной его терпением, он добавил:

—Что за несчастье: я больше не знаю, как разговаривать с королевой, чтобы ее не обидеть.

Слово "больше" было произнесено с нажимом: так в театре умелый актер подчеркивает важные слова.

Королева обладала слишком изощренным слухом, чтобы не догадаться, какое значение вложил Шарни в это слово.

—Больше?—подхватила она.—Что значит "больше"?

—Кажется, я опять сказал что-то не так,—просто ответил г-н де Шарни.

Он снова переглянулся с Андреа, но на сей раз это не ускользнуло от внимания королевы.

Она в свою очередь побледнела и, скрипнув зубами от гнева, воскликнула:

—Дурные слова рождаются от дурных намерений.

—А недоброжелательное отношение к словам от недоброжелательных мыслей,—парировал Шарни.

После этого ответа, скорее справедливого, чем почтительного, он умолк.

—Вместо того чтобы огрызаться,—заметила королева,—лучше бы господин де Шарни был более удачлив в своих нападках.

—А я считаю,—не унимался Шарни,—что вместо того чтобы нападать, лучше бы королева попросила у Бога большей удачи со слугами, чем в последнее время.

Андреа поспешно схватила мужа за руку и потянула к выходу.

Королева взглядом остановила ее. Она заметила движение Андреа.

—Что же все-таки имел в виду ваш муж?—осведомилась она.

—Он хотел сказать вашему величеству, что, побывав вчера по приказу короля в Париже, нашел, что там происходит странное брожение.

—Опять!—воскликнула королева.—И по какому же поводу? Ведь парижане взяли Бастилию и теперь принялись ее разрушать. Что же им еще нужно? А, господин де Шарни?

—Все правильно, ваше величество,—отозвался граф,—но поскольку камней они не едят, то заявляют, что голодны.

—Голодны! Вот еще!—вскричала королева.—Что же, по их мнению, мы можем поделать?

—Были времена, ваше величество,—ответил Шарни,—когда королева первая сочувствовала горестям народа и утешала его. Она поднималась в мансарды бедняков, а их молитвы возносились из мансард к Господу.

—Да,—с горечью согласилась королева,—и я была достойно вознаграждена за сострадание к людскому горю, не так ли? Одно из самых моих главных несчастий как раз в том, что я поднималась в эти мансарды.

—Но если ваше величество однажды ошиблись,—проговорил граф,—если вы подарили своими милостями и благодеяниями ничтожное создание, то стоит ли сводить все человечество к уровню одной презренной женщины? Ах, ваше величество, как вас в то время любили!

Мария Ангуанетта сверкнула взором в сторону Шарни.

—Но все же что произошло вчера в Париже?—спросила она.—Но рассказывайте лишь о том, что видели сами, сударь, я хочу быть уверена в истинности ваших слов.

—Что я видел, государыня? Я видел, как одна часть жителей столпилась на набережных, тщетно ожидая подвоза муки. Видел, как другая часть выстроилась в очереди у булочных, тщетно ожидая хлеба. Я видел голодающих людей, мужей, печально глядящих на своих жен, матерей, печально глядящих на своих детей. Видел, как люди грозят Версалю кулаками. Ах, ваше величество, опасности, о которых я вам говорил, и возможность умереть за вас—а мы с братом почтем за счастье сделать это в первых рядах—все это, боюсь, не заставит себя долго ждать.

Не в силах скрыть раздражения, королева повернулась к

Шарни спиной и прижалась горящим, хотя и бледным лбом к окну, выходящему на Мраморный двор.

Не успела она простоять так и секунды, как неожиданно вздрогнула.

—Андреа,—попросила она,—подойдите сюда: что это за всадник только что прискакал? Похоже, он привез важные новости.

Андреа подошла к окну, но в тот же миг побледнела и отступила назад.

—Ах, ваше величество!—укоризненно проговорила она.

Эта сцена не ускользнула от внимания Шарни, и он быстро приблизился к окну.

—Этот всадник,—проговорил он, поочередно глядя то на королеву, то на Андреа,—доктор Жильбер.

—И верно,—согласилась королева таким тоном, что Андреа так и не поняла—то ли Мария Антуанетта подозвала ее к окну из женской мстительности, которая порой на нее накатывала, то ли ослабевшее из-за бессонных ночей и частых слез зрение и в самом деле не позволило ей разглядеть издали даже человека, узнать которого было в ее интересах.

Ледяное молчание нависло над тремя актерами этой сцены, и лишь их глаза продолжали спрашивать и отвечать.

Всадник и в самом деле был Жильбер, привезший мрачные новости, которые предвидел Шарни.

Он соскочил с лошади, взбежал по лестнице; королева, Андреа и Шарни с тревогой повернули головы к двери, которая вела на эту лестницу и в которую должен был войти доктор, но она все не отворилась.

Трое участников сцены замерли в напряженном ожидании.

Внезапно дверь отворилась напротив и вошел офицер.

—Ваше величество,—доложил он,—доктор Жильбер, приехавший, чтобы сообщить королю спешные и важные новости, просит ваше величество оказать ему честь и принять его, так как король час назад отправился в Медон.

—Пусть войдет,—приказала королева, твердо, почти сурово глядя на дверь, в то время как Андреа, инстинктивно ища в муже поддержки, попятилась и оперлась на руку графа.

На пороге появился Жильбер.

XXII. День пятого октября

Жильбер обвел взглядом всех действующих лиц, которых мы только что вывели на сцену, и, почтительно приблизившись к Марии Антуанетте, произнес:

—Дозволит ли мне ваше величество в отсутствие вашего августейшего супруга сообщить о новостях, которые я принес?

—Говорите, сударь,—отвечала Мария Антуанетта.—Видя, с какой поспешностью вы вошли, я призвала на помощь все силы, поскольку сразу заподозрила, что вы принесли недобрые вести.

—Разве ваше величество предпочитает, чтобы вас застигли врасплох? Коль скоро королева с ее ясным умом, с ее неиз-

менной рассудительностью будет предупреждена об опасности, она пойдет ей навстречу, и, быть может, опасность отступит перед ней.

—И в чем же состоит опасность, сударь?

—Ваше величество, из Парижа вышли семь-восемь тысяч вооруженных женщин; они идут в Версаль.

—Семь-восемь тысяч женщин!—с презрением в голосе повторила королева.

—Да, по дороге они делают остановки и теперь, по-видимому, находятся в пятнадцати-двадцати милях отсюда.

—И зачем они сюда идут?

—Они голодны, ваше величество, они идут просить у короля хлеба.

Королева оглянулась на Шарни.

—Увы, государыня,—произнес граф,—случилось то, что я предвидел.

—Что делать?—спросила Мария Антуанетта.

—Прежде сего, предупредить короля,—сказал Жильбер.

—Короля? Нет, нет!—воскликнула она.—С какой стати подставлять себя под удар?

Этот крик вырвался у Марии Антуанетты из самого сердца. В нем сказалось все мужество королевы, вся ее уверенность в собственных силах и в то же время сознание слабости, которую ни сама перед собой, ни перед посторонними она не вправе была признавать в своем супруге.

Но разве Шарни был посторонний? Разве Жильбер был посторонний?

Нет, напротив: казалось, эти двое избраны Провидением—один, чтобы беречь королеву, другой, чтобы беречь короля.

Шарни ответил сразу и королеве, и Жильберу; он поступил своей гордостью; самообладание его было безупречно.

—Ваше величество,—сказал он,—господин Жильбер прав, нужно предупредить короля. Король еще пользуется любовью, он выйдет к женщинам, обратится к ним с речью, разоружит их.

—Но кто возьмется предупредить короля?—спросила королева.—Эта затея весьма опасна, потому что дорога наверняка уже отрезана.

—Король в Медонском лесу?

—Да, и вполне возможно, что дороги уже...

—Пускай ваше величество видит во мне простого солдата,—бесхитростно перебил Шарни.—Дело солдата—умереть.

С этими словами он, не дожидаясь ответа и не слыша вздоха королевы, проворно вышел, вскочил на коня и в сопровождении двух других всадников поскакал к Медонскому лесу.

Едва он скрылся, послав последнее "прости" Андреа, махавшей ему из окна, как слуха королевы достиг далекий гул, напоминавший рев морских волн в бурю. Этот гул доносился, казалось, от дальних деревьев, которыми была окаймлена ведущая в Париж дорога, что видна была из покоев королевы вплоть до последних домов Версаля.

Вскоре гроза, внятная слуху, стала различима и для глаз;

серую пелену тумана прорезали яркие, хлесткие струи дождя.

Но несмотря на угрозу, исходившую от небес, Версаль был полон народа.

Во дворце один гонец сменял другого. Каждый докладывал о многолюдной колонне, прибывающей из Парижа, и, памятуя о радостях и легких победах вчерашнего дня, одни из гонцов испытывали раскаяние, другие—ужас.

Солдаты беспокойно переглядывались и не спешили разбирать оружие. Офицеры, похожие на пьяных, пытающихся страхнуть с себя винные пары, были уstraшены явным смущением солдат и ропотом толпы; они с трудом дышали в этом воздухе, напитанном бедой, ответственность за которую должна была пасть на их головы.

А три сотни гвардейцев, составлявших конвой ее величества, хладнокровно вскопили на коней, но чувствовалось, что и они охвачены сомнением, как все военные, которым предстоит схватиться с неведомым противником.

Как прикажете поступать с женщинами, которые пустились в путь с угрозами, с оружием, а пришли безоружные, не в силах шевельнуться от усталости и голода?

Но на всякий случай гвардейцы построились, извлекли сабли из ножен и застыли в ожидании.

Наконец показались женщины: они явились сразу по двум дорогам. Колонна разделилась на полпути от Версаля: одни шли через Сен-Клу, другие через Севр.

Перед тем как разойтись, они поделили восемь караваев хлеба—все, что нашлось в Севре.

Тридцать два фунта хлеба на семь тысяч ртов!

Когда женщины добрались до Версаля, они с трудом волокли ноги; три четверти растеряли по пути оружие. А тех немногих, что сберегли его, Майар, как мы уже сказали, уговорил оставить оружие в домах, с которых начинался Версаль.

Когда парижанки вошли в город, он сказал:

—Чтобы никто не усомнился в том, что мы друзья монархии, давайте запоем: "Да здравствует Генрих Четвертый!"

И замирающими голосами, которым едва достало бы сил просить хлеба, они затянули гимн во славу короля.

Каково же было изумление во дворце, когда вместо воплей и угроз послышалось пение, а главное, когда показались женщины, которые брели и пели, шатаясь от голода, как пьяные, и когда их испитые, бледные, прозрачные, перепачканные лица, по которым струились капли дождя и пота, тысячи наползающих одно на другое страшных лиц, тысячи вздетых скрюченных рук прижались к золоченым прутьям ограды и предстали изумленным взглядам тех, кто смотрел на них изнутри.

Время от времени из недр этой невообразимой толпы вырывались зловещие стоны; эти мертвенные лица словно излучали грозные разряды.

И все эти руки то и дело отрывались от прутьев, служивших им опорой, и тянулись в сторону замка.

Одни, с дрожащими пальцами, были простерты в мольбе.

Другие, сжатые в кулаки, угрожали.

Да, то было грозное зрелище.

Дождь и грязь заполонили небо и землю.

Голодом и угрозой веяло от осаждающих.

Жалость и страх владели сердцами защитников.

В ожидании Людовика XVI королева, исполненная лихорадочной решимости, приказала защищать дворец; вокруг нее постепенно стеснились придворные, офицеры, высшие должностные лица.

Среди них она заметила г-на де Сен-При*, министра по делам Парижа.

—Идите, сударь, узнайте, в конце концов, чего хотят эти люди.

Г-н де Сен-При вышел, пересек двор и приблизился к решетке.

—Чего вы хотите?—спросил он у женщин.

—Хлеба! Хлеба! Хлеба!—ответил тысячеголосый хор.

—Хлеба?—нетерпеливо возразил г-н де Сен-При.—Когда у вас будет один-единственный хозяин, вы не будете испытывать нужду в хлебе. Теперь, когда над вами тысяча двести хозяев, сами видите, до чего вы дошли.

И г-н де Сен-При удалился под вопли голодных женщин, приказав держать ограду на запоре.

Но тут приблизилась такая депутация, перед которой должны были отвориться ворота ограды.

От имени женщин в Национальное собрание явился Майяр; он настоял на том, чтобы президент представил его королю во главе депутации из двенадцати женщин.

В тот самый миг, когда депутация, возглавляемая Мунье**, выходила из собрания, король галопом въезжал в замок со стороны служебного флигеля.

Шарни разыскал его в Медонском лесу.

—Ах, это вы, сударь!—обратился к нему король.—Вам что-нибудь от меня нужно?

—Да, государь.

—Что случилось? Вы неслись во весь опор.

—Государь, в Версаль из Парижа только что явились шесть тысяч женщин, они просят хлеба.

Король пожал плечами скорее с жалостью, чем с презрением.

—Увы,—сказал он,—если бы у меня был хлеб, я не стал бы дожидаться, пока они придут в Версаль и начнут его у меня просить.

Однако, воздержавшись от дальнейших замечаний, он проводил горестным взглядом удаляющуюся охоту, от которой ему пришлось отстать, и заключил:

—Что ж, вернемся в Версаль, сударь.

* Сен-При, Франсуа Эмманюэль Гиньер граф де (1735—1821)—французский государственный деятель, в 1789 г. министр внутренних дел.

** Мунье, Жан Жозеф (1758—1806)—председатель Национального собрания в дни события 5-6 октября 1789 г.

И направил коня в Версаль.

Как мы уже сказали, он прибыл в тот самый миг, когда на плацу раздались громкие крики.

—Что это?—спросил Людовик.

—Государь!—воскликнул, входя, бледный как смерть, Жильбер,—это ваши гвардейцы, возглавляемые господином Жоржем де Шарни, атакуют председателя Национального собрания и депутацию, которую он к вам ведет.

—Не может быть!—воскликнул король.

—Прислушайтесь к голосам людей, которых убивают. Смотрите, смотрите, все бегут.

—Отворите двери!—вскричал король.—Я приму депутацию.

—Одумайтесь, государь!—воскликнула королева.

—Велите отворить,—распорядился Людовик XVI.—Королевский дворец—убежище для всех.

—Увы!—подхватила королева.—Для всех,—быть может, кроме самих королей.

XXIII. Вечер пятого октября

Шарни и Жильбер бросились вниз по лестнице.

—Именем короля!—кричал один.

—Именем королевы!—кричал другой.

И в один голос они закончили:

—Откройте двери!

Но приказ был выполнен не сразу, а между тем во дворе повалили наземь председателя Национального собрания и стали топтать его ногами.

Рядом ранили двух женщин из депутации.

Жильбер и Шарни бросились вперед; эти двое, из которых один вышел из самых верхов общества, а другой из самых его низов, встретились теперь в одной и той же среде.

Один хотел спасти королеву из любви к королеве; другой хотел спасти короля из любви к монархии.

Едва отперли решетку, женщины хлынули во двор; они бросились на ряды гвардейцев, на строй солдат фландрского полка; они угрожали, молили, льстили. Попробуйте устоять перед женщинами, которые закликают мужчин именем их матерей и сестер!

—Дорогу, господа, дорогу депутатам!—крикнул Жильбер.

И строй охраны расступился, пропуская Мунье и несчастных женщин, которых он вел к королю.

Людовик, предупрежденный графом де Шарни, который прошел вперед, ждал депутацию в покое, соседствующем с капеллой.

От имени Собрания должен был говорить Мунье.

От имени женщин—Мадлена Шамбри, та самая цветочница, которая пробила сбор.

Мунье сказал королю несколько слов и представил юную цветочницу.

Та шагнула вперед, хотела заговорить, но произнесла только:

—Ваше величество, хлеба!

И упала без чувств.

—На помощь!—вскричал король.—На помощь!

Андреа устремилась вперед и протянула королю свой флакон.

—Ах, государыня!—с упреком бросил королеве Шарни.

Королева побледнела и удалилась в свои покои.

—Приготовьте экипажи,—сказала она.—Мы с его величеством отбывает в Рамбуе.

Тем временем бедняжка очнулась; видя, что король поддерживает ее и подносит ей нюхательную соль, она застонала от стыда и хотела поцеловать Людовика руку.

Но он остановил ее.

—Дорогое дитя,—сказал он,—позвольте мне поцеловать вас, вы, право же, этого заслуживаете.

—Ох, государь, государь, если вы так добры,—отвечала девушка,—отдайте приказ!

—Какой приказ?—осведомился король.

—Приказ привезти зерно, чтобы прекратился голод.

—Дитя мое,—отвечал король,—я с удовольствием подпишу приказ, о котором вы просите, да только боюсь, что он, поверьте, не слишком-то вам поможет.

Король сел за стол и принялся писать, как вдруг прогремел одиночный выстрел, а за ним загрохотало множество выстрелов.

—О Боже, Боже мой!—воскликнул Людовик.—Что там еще стряслось? Посмотрите, господин Жильбер.

Атаке подверглась вторая группа женщин: тогда и раздался первый выстрел, после которого послышалась беспорядочная пальба.

Этот первый выстрел произвел какой-то простолудин: он прострелил руку г-ну Савоньеру, лейтенанту гвардии, в тот миг, когда рука эта поднялась ударить молодого солдата, который спрятался позади строя и двумя вытянутыми руками прикрывал коленопреклоненную женщину.

В ответ на этот выстрел грянуло пять или шесть залпов из карабинов гвардейцев.

Две пули попали в цель, одна женщина была убита.

Еще одну унесли: она была тяжело ранена.

Народ дал отпор, и вот уже два гвардейца упали с лошадей. Тут послышались крики: "Дорогу! Дорогу!" Это пришли люди из предместья Сент-Оноре, везя за собой три пушки, которые и выстроили в батарее перед оградой.

Дождь, к счастью, лил потоками; напрасно к фитилю подносили огонь: подмокший порох не вспыхивал.

В этот миг кто-то тихо произнес на ухо Жильберу:

—Сюда едет господин Лафайет, он уже в половине лье от дворца.

Жильберу не удалось заметить, кто сообщил ему эту весть, но, откуда бы она ни исходила, весть была добрая.

Он огляделся и заметил лошадь без всадника: она принадлежала одному из двух убитых гвардейцев.

Он вскочил в седло и галопом устремился по направлению к Парижу.

Вторая лошадь, лишившаяся хозяина, хотела поскакать следом, но не успела пробежать два десятка шагов по плацу, как ее схватили за уздечку. Жильбер решил, что кто-то разгадал его намерение и хочет его догнать. На скаку он обернулся.

Никто и не думал за ним гнаться: людей обуревал голод. Они думали о пропитании; кто-то уже заколол лошадь ножом.

Едва она упала, ее тут же раскромсали на десятки кусков.

Тем временем королю, как до того Жильберу, сообщили: приближается господин де Лафайет.

Король только что подписал для Мунье признание Прав человека.

Он только что подписал для Мадлены Шамбри приказ о доставке зерна.

С этим декретом и приказом, которые, как казалось, должны были успокоить все умы, Майар, Мадлена Шамбри и множество женщин пустились в обратный путь в Париж.

На окраине Версаля они повстречала Лафайета, который рядом с Жильбером, заклинавшим его поторопиться, скакал рысью во главе национальной гвардии.

—Да здравствует король!—закричали Майар и женщины, вздымая над головой полученные указы.

—Почему же вы говорили, что жизнь его величества в опасности?—удивился Лафайет.

—Вперед, вперед, генерал,—воскликнул Жильбер,—продолжая его торопить.—Вы сами все поймете.

И Лафайет поспешил вперед.

Национальная гвардия под барабанную дробь вступила в Версаль.

При первых ударах барабана, прокатившихся по Версалю, король почувствовал, как кто-то почтительно тронул его за руку.

Он обернулся: то была Андреа.

—А, это вы, госпожа де Шарни,—сказал он.—Что делает королева?

—Государь, королева умоляет вас уехать, не дожидаясь парижан. Во главе ваших гвардейцев и солдат фландрского полка вы пробьетесь повсюду.

—Вы того же мнения, господин де Шарни?—спросил король.

—Да, государь, если вы одним броском пересечете границу, а иначе...

—Иначе?..

—Иначе лучше остаться.

Король покачал головой.

Он останется—но не из храбрости, а потому что у него нет сил уехать.

Еле слышно он прошептал:

—Беглый король! Беглый король!

Потом, обратившись к Андреа, сказал:

—Ступайте к королеве и скажите ей, чтобы ехала одна.

Андреа пошла исполнять поручение.

Пять минут спустя вошла королева и стала рядом с Людовиком.

—Зачем вы сюда пришли, ваше величество?—спросил король.

—Умереть с вами, государь,—ответила Мария Антуанетта.

—Вот теперь она воистину прекрасна,—прошептал Шарни.

Королева вздрогнула: она услышала эти слова.

—Я в самом деле думаю, что мне лучше было бы умереть, чем остаться в живых,—сказала она, взглянув на Шарни.

В этот миг национальная гвардия маршировала уже под самыми окнами дворца.

Стремительно вошел Жильбер.

—Государь,—сказал он королю,—вашему величеству нечего больше опасаться: господин де Лафайет внизу.

Король не любил господина де Лафайета, но не более того. Что до королевы, то она откровенно ненавидела генерала и не скрывала своей ненависти.

Вот потому-то Жильбер и не услышал никакого отклика на свое сообщение, которое, по его мнению, должно было обрадовать их величества более, чем любое другое.

Но Жильбер был не из тех, кого может смутить королевское молчание.

—Вы слышали, ваше величество?—твердо сказал он.—Господин де Лафайет находится внизу и ждет приказаний вашего величества.

Королева по-прежнему молчала.

Король сделал над собой усилие.

—Пускай ему скажут, что я благодарю его, и пригласят подняться.

Одни из офицеров поклонился и вышел.

Королева отступила на три шага.

Но король почти повелительным жестом остановил ее.

Придворные стеснились в две группы.

Шарни и Жильбер остались рядом с королем.

Все остальные ринулись к королеве и выстроились позади нее.

Раздался звук шагов, и в дверях показался г-н де Лафайет.

При его появлении все смолкли, и в наступившей тишине чей-то голос рядом с королевой произнес:

—Вот Кромвель.

Лафайет улыбнулся.

—Кромвель не пришел бы к Карлу Первому один,—сказал он.

Людовик XVI обернулся к этим безжалостным друзьям, которые хотели обратить во врага человека, пришедшего ему на подмогу.

Потом он сказал графу де Шарни:

—Граф, я остаюсь, когда здесь господин де Лафайет, мне нечего бояться. Велите войскам отступить к Рамбуе. Наружные посты займет национальная гвардия, а посты во дворце—мой гвардейцы.

Потом он обратился к г-ну де Лафайету:

—Пойдемте, генерал, мне нужно с вами побеседовать.

Видя, что Жильбер отступил, собираясь удалиться, он добавил:

—Вы тоже не помешаете, доктор, идите с нами.

И король направился в один из кабинетов, указывая дорогу Лафайету и Жильберу, которые последовали за ним.

Королева проводила их глазами и, когда дверь за ними заворилась, сказала:

—Ах, бежать нужно было бы сегодня же! Мы бы еще успели. Завтра, может быть, будет уже поздно.

Затем она тоже вышла и удалилась в свои покои.

Тем временем в окна дворца полыхнуло огромное пламя, напоминавшее о пожаре.

То был огромный костер, на котором жарились части лошадиной туши.

XXIV. Ночь с пятого на шестое октября

Ночь прошла довольно спокойно, Собрание заседало до трех часов утра.

В три часа, прежде чем разойтись, члены Национального собрания отрядили двух приставов, которые проскакали по всему Версалу, сперва посетили дворец, потом осмотрели парк.

Везде царило спокойствие или видимость спокойствия.

Незадолго до полуночи королева пожелала выйти из-за решетки, окружавшей Трианон, но национальная гвардия отказалась ее пропустить.

Она ссыалась на то, что ей страшно, однако стражи возразили, что в Версале она в большей безопасности, чем где бы то ни было.

Ей пришлось удалиться в свои не слишком просторные покои; видя, что их охраняют самые преданные ее гвардейцы, она и впрямь успокоилась.

У дверей она повстречала Жоржа де Шарни. Он был вооружен и опирался на короткое ружье, состоявшее на вооружении драгунов, а также гвардейцев. Это было новшество: обычно гвардейцы, которые несли охрану вне дворца, были вооружены только саблями.

Королева приблизилась к нему.

—А, это вы, барон,—сказала она.

—Да, государыня.

—Верны, как всегда!

—Здесь мой пост.

—Кто вас сюда поставил?

—Мой брат, ваше величество.

—А где ваш брат?

—При короле.

—Почему он при короле?

—Потому что он глава семьи, так он сказал, и это дает ему право умереть за короля, главу государства.

—Да,—с ноткой горечи отозвалась Мария Антуанетта,—а вы имеете право умереть только за королеву.

—Если когда-нибудь Бог даст мне исполнить долг и отдать за вас жизнь, государыня,—с поклоном отвечал молодой человек,—это будет для меня великая честь.

Королева повернулась, чтобы уйти, но в сердце ей закралось подозрение.

—А графиня?—спросила она.—Что с графиней?

—Государыня, графиня вернулась десять минут назад и велела устроить себе постель в передней вашего величества.

Королева закусила губу.

Стоило одиножды сблизиться с этим семейством—и от его преданности уже невозможно отделаться!

—Благодарю вас, сударь,—сказала Мария Антуанетта, сопроводив свои слова грациозным кивком головы и изящным движением руки,—благодарю за усердие, с каким вы охраняете свою королеву. Передайте брату мою признательность за то, что он так усердно охраняет короля.

И она удалилась к себе в покои. В передней она застала Андреа: та не ложилась спать и, стоя почтительно, ожидала королеву.

Мария Антуанетта не удержалась и протянула Андреа руку.

—Только что я поблагодарила вашего деверя Жоржа, графиня,—сказала она,—Я велела ему передать мою признательность вашему мужу, и вас я также благодарю.

Андреа присела в реверансе и посторонилась, чтобы пропустить королеву, которая проследовала к себе в спальню.

Королева не пригласила ее с собой: Марию Антуанетту угнетала эта преданность, которая уже не была согрета любовью, но, несмотря ни на что, готова была сопровождать ее до гроба.

Итак, в три часа ночи, как мы уже сказали, все стихло.

Жильбер вышел из замка с г-ном де Лафайетом, который провел в седле двенадцать часов и умирал от усталости; у дверей они столкнулись с Бийо, пришедшим с национальной гвардией; Бийо видел, как ускакал Жильбер, и, подумав, что он может пригодиться доктору в Версале, поспешил за ним, как пес за хозяином.

Как мы уже сказали, в три часа все кругом стихло. Даже Национальное Собрание разошлось, успокоенное рапортами приставов. Можно было надеяться, что до утра все будет спокойно.

Но не тут-то было.

Во время всех народных движений, ведущих к революциям, наступают такие передышки, когда кажется, что все уже позади и отныне можно спать спокойно.

Но это заблуждение.

За спинами тех, кто производит первые движения, прячутся те, кто ждет этих первых движений, ждет, когда передовой отряд удалится на покой, не желая идти дальше—быть может, от усталости, а то и удовлетворяясь достигнутым.

И тогда эти невидимки, таинственные носители пагубных страстей, крадутся в потемках, возобновляют движение с того

самого места, на котором оно застыло, и, толкая колесницу все дальше и дальше, к самому краю, готовят пробуждение тем, которые проторили им дорогу и улеглись спать на полпути, полагая, что главное уже сделано и цель достигнута.

На эту ночь пало два совершенно различных потрясения, произведенных двумя войсками: одно из них прибыло в Версаль вечером, другое—ночью.

Первое привел голод—оно просило хлеба.

Второе привела ненависть—оно требовало мщения.

Мы знаем, кто привел первое войско—то были Майяр и Лафайет.

Но кто же возглавил второе? История об этом умалчивает. Однако предание вопреки истории называет нам имена.

Марат!

Мы знаем его, мы видели, как он пытался удержать народ на площади Людовика XV во время празднеств по случаю бракосочетания Марии Антуанетты. Мы видели его на Ратушной площади, где он увлекал сограждан к Бастилии.

И, наконец, мы видим, как он крадется во тьме, подобно волку, рыщущему вокруг стада овец в ожидании, когда уснут пастухи и можно будет рискнуть на кровавое дело.

Верьер!

Этого мы называем впервые. Безобразный карлик, омерзительный горбун на чрезмерно длинных ногах, при каждой буре, до самого дна сотрясавшей общество, этот кровавый гном выплывал наверх вместе с пеной и баламутил поверхность; дважды или трижды в самые ужасные времена он проследовал по Парижу верхом на черном коне, подобно апокалиптическому всаднику или одному из тех невообразимых дьяволов, что рождались под карандашом Калло*, чтобы искушать св. Антония.

Однажды в политическом клубе он вскочил на стол и принялся изрыгать на Дантона угрозы и обвинения. Популярность героя второго сентября к тому времени уже пошатнулась. Слыша ядовитые нападки, Дантон почувствовал, что погиб—погиб, как лев, заметивший у самых своих губ омерзительную голову змеи. Он огляделся, ища не то оружия, не то поддержки. К счастью, он заметил другого горбуна. Тут же он подхватил его под мышки, поднял и поставил на стол лицом к лицу со своим обвинителем.

—Друг мой,—произнес он,—ответьте этому господину, передаю вам слово.

Все расхохотались, и Дантон был спасен.

По крайней мере, в тот раз гроза миновала.

Итак, предание уверяет, что это были Марат, Верьер—и с ними некто третий.

Герцог д'Эгийон**.

Герцог д'Эгийон, заклятый враг королевы.

* Калло Жак (1592—1635)—французский гравер и рисовальщик.

** Эгийон, Арман Виньеро-Доллеси-Ришелье, герцог д' (ум. 1800)—депутат генеральных штатов, примкнувший к третьему сословию.

Герцог д'Эгийон в женском платье.

Кто это говорит? Да все на свете.

Аббат Деляль и аббат Мори, два аббата, столь мало схожие между собой*.

Первому из них приписывают знаменитое двустишие:

*В обличье мужа—негодяй,
В обличье женщины—убийца.*

Что до аббата Мори, тут дело другое.

Спустя две недели после описываемых событий герцог д'Эгийон повстречался с ним на террасе клуба фельянов** и пожелал втянуть его в разговор.

—Иди своей дорогой, шляха,—отрезал аббат Мори.

И величественно удалился.

Итак, если верить молве, эти трое прибыли в Версаль в четвертом часу утра.

Они вели за собой второе войско, о котором мы упоминали.

Состояло оно из людей, которые приходят следом за теми, кто сражается за победу.

Эти же приходят, чтобы грабить и убивать.

В Бастилии им удалось кое-кого убить, но грабить там было некого.

Зато в Версале можно было наверстать упущенное.

В половине шестого утра спящий дворец содрогнулся.

На Мраморном дворе прогрехотал выстрел.

У ограды внезапно возникло человек пятьсот-шестьсот; подстрекая, воодушевляя, подталкивая друг друга, они штурмом взяли решетку—кто перемахнул через нее, а кто и проломил.

Тогда-то часовой и выстрелил: то был сигнал тревоги.

Один из нападавших упал замертво, и тело его простерлось на мостовой.

Выстрел рассек толпу грабителей, которые соблазнились дворцовой утварью, а может быть—кто знает?—и королевской короной.

Толпа раскололась надвое, словно разрубленная огромным топором.

Одна половина ринулась громить покои королевы, другая—наверх, к капелле, туда, где были покои короля.

Последуем вначале за теми, что идут к королю.

Видели ли вы, как поднимается вода во время прилива? Вот так поднимается и людская волна с тою только разницей, что она все время катится вперед и никогда не отступает.

Вся охрана короля состояла в тот миг из часового у дверей и офицера, который поспешно выбежал из передней, воору-

* Деляль, Жак, аббат (1738—1813)—французский поэт и переводчик. Мори, Жан Сифрен, аббат (1746—1817)—депутат Учредительного собрания.

** Фельяны (названы так по монастырю фельянов, где находился их клуб)—партия сторонников конституционной монархии в 1790—1792 гг.

жасть алебардой, которую он только что вырвал из рук у перепуганного швейцарца.

—Кто идет?—окликнул часовой,—кто идет?

Но ответа не последовало, а людская волна все прибывала; тогда он в третий раз крикнул:—Кто идет?—и прицелился.

Офицер понял, что последует за выстрелом, прозвучавшим в дворцовых покоех; он отвел ружье, бросился навстречу нападающим и алебардой преградил им дорогу, повернув ее поперек лестницы.

—Господа! Господа!—вскричал он.—О чем вы просите? Что вам угодно?

—Ничего, ничего,—отвечало несколько глумливых головок,—пропустите-ка нас поскорей, мы добрые друзья его величества.

—Вы добрые друзья его величества, но вы несете ему войну.

На эти слова ответа не последовало. Послышался зловеющий смехок, и ничего более.

Один из нападавших вцепился в рукоять алебарды, но офицер не отпускал ее. Негодяй укусил его за руку, чтобы разжать ему пальцы.

Офицер вырвал алебарду из рук противника, ухватил дубовую рукоять обеими руками, расставив их на ширине двух футов, и изо всех сил обрушил алебарду на голову врага, проломив ему череп.

Удар был настолько силен, что рукоять алебарды раскололась надвое.

У офицера оказалось два оружия вместо одного: дубинка и кинжал. С силой вращая дубинкой, он в то же время делал выпады кинжалом. Тем временем часовой отворил дверь в переднюю и позвал на помощь.

Выбежало с полдюжины гвардейцев.

—Господа, господа,—воззвал часовой,—на помощь господину де Шарни, на помощь!

Сабли вылетели из ножен, на миг блеснули в свете люстры, горевшей над лестницей, и врезались в ряды нападавших слева и справа от Шарни.

Раздались крики боли, брызнула кровь, людской поток, взвизгнувшись, отхлынул вниз, оставляя на милость противника красные, скользкие ступени.

Дверь передней в третий раз захлопнулась, и часовой крикнул:

—Господа, войдите, это приказ короля.

Гвардейцы воспользовались смятением в рядах осаждавших. Они бросились к двери. Шарни вошел последний. Дверь за ним захлопнулась, и два массивных засова скользнули в предназначенные для них скобы.

На дверь разом обрушилась тысяча ударов, но защитники забаррикадировали ее банкетками, столами, табуретами. Дверь могла выдержать минут десять.

Десять минут! За это время подоспеет подкрепление.

Но что же происходило тем временем у королевы?

Вторая толпа устремила к малым покоям, но к ним вели

узкая лестница и коридор, по которому с трудом могли протиснуться два человека.

В коридоре нес караул Жорж де Шарни.

Трижды окликнув: "Кто идет?" и не получив ответа, он выстрелил.

На шум отворилась дверь, которая вела в покои.

Выглянула бледная, но спокойная Андреа.

—Что происходит?—спросила она.

—Сударыня,—вскричал Жорж,—спасайте ее величество, на ее жизнь готовится покушение. Я один против тысячи врагов. Не беда, я задержу их как можно дольше, но поспешите, поспешите!

Затем, когда нападавшие уже бросились на него, он хлопнул дверь и крикнул:

—На засов, закройте дверь на засов! Я продержусь столько, сколько надо, чтобы королева успела спастись бегством.

И, повернувшись, проткнул штыком первых двоих, подбежавших к нему по коридору.

Королева все слышала; войдя в опочивальню, Андреа застала ее на ногах.

Две дамы ее величества, г-жа Оге и г-жа Тибо, торопливо ее одели.

Потом обе женщины увлекли ее, наспех одетую, в покои короля через потайной коридор; Андреа, по-прежнему спокойная и словно равнодушная к опасности, нависшей над нею самой, шла следом за Марией Антуанеттой, запирая на засов каждую дверь, которую они миновали.

XXV. Утро

На границе малых и больших покоев королеву ждал человек. То был покрытый кровью Шарни.

—Король!—вскричала Мария Антуанетта, видя окровавленную одежду молодого человека.—Король! Сударь, вы обещали мне спасти короля!

—Король спасен, ваше величество,—отвечал Шарни.

И, бросив взгляд в распахнутые двери, через которые вошла королева, следуя из своих покоев в Эй-де-Беф, где сейчас кроме нее собрались принцесса Аделаида, дофин и несколько телохранителей, он уже был готов спросить про Андреа, но тут встретился глазами с Марией Антуанеттой.

Слова замерли у него на губах.

Но взгляд королевы уже проник в сердце Шарни.

Ему не было надобности спрашивать: королева угадала его мысль.

—Не беспокойтесь, она идет,—сказала она.

И подбежав к дофину, взяла его на руки.

Андреа в самом деле затворила тем временем последнюю дверь и тоже вошла в залу Эй-де-Беф.

Андреа и Шарни не обменялись ни единым словом.

Они только улыбнулись друг другу—и все.

Как странно! Эти два сердца, так долго разлученные, теперь словно бились в едином ритме.

Королева между тем озиралась по сторонам; потом она обратилась к Шарни, словно спеша уличить его в промахе.

—Где король?—спросила она.—Где же король?

—Король ищет вас, ваше величество,—спокойно отвечал Шарни.—Он пошел к вам в покои по одному коридору, а вы проследовали другим.

В этот миг в соседней зале раздались оглушительные крики.

То были убийцы, вопившие: "Долой австриячку! Долой Мессалину! Долой Вето! Удавить ее, повесить!"

Тут же грянули два пистолетных выстрела, и две пули пробили дверь на разной высоте. Одна из пуль прошла в нескольких линиях от головы дофина и вонзилась в обшивку стены.

—О Боже! Боже!—воскликнула королева, падая на колени.—Мы все погибнем!

По знаку Шарни пять-шесть гвардейцев сплотились вокруг королевы и обоих королевских детей.

Тут появился король; лицо его было бледно, глаза полны слез. Он звал королеву, как перед тем она звала короля.

Заметив ее, он бросился ей в объятия.

—Спасен! Спасен!—воскликнула королева.

—Он спас меня,—отвечал король, указывая на Шарни,—и вы тоже спасены!

—Меня спас его брат,—отозвалась королева.

—Сударь,—обратился к графу Людовик XVI,—мы многим обязаны вашей семье, мы навсегда в долгу перед вами.

Королева встретила глазами с Андреа и, краснея, отвернулась.

По дверям забарабанили удары убийц.

—Что ж, господа,—произнес Шарни,—нам надо продержаться здесь час. Нас семеро, и если мы будем защищаться как следует, им не сладить с нами быстрее, чем за час. А тем временем к их величествам наверняка подоспеет помощь.

С этими словами Шарни ухватил массивный шкаф, стоявший в углу королевской опочивальни.

Остальные последовали его примеру, и вскоре перед дверьми выросла целая гора мебели, в которой гвардейцы оставили просветы наподобие бойниц, чтобы стрелять.

Королева привлекла к себе обоих детей и, простирая руки над их головами, стала молиться.

Дети старались удержаться от жалоб и слез.

Король удалился в кабинет, примыкавший к Эй-де-Беф; ему нужно было сжечь несколько важнейших документов, чтобы они не попали в руки врагов.

Убийцы яростно штурмовали дверь. От нее так и летели щепки под ударами топоров и нажимом клещей.

В проломы устремлялись пики с обгаренными наконечниками и штыки, омытые кровью.

В это время пули решетили застекленный верх двери над баррикадой и оставляли отметины на штукатурке золоченого потолка.

Наконец обрушилась банкетка, взгроможденная на шкаф. Шкаф начал поддаваться; от двери откололась филенка, которую он подпирает, и в открывшейся брешу, как в бездне, показались уже не штыки и пики, а окровавленные руки, ломавшие дверь и с каждым мигом увеличивавшие проломы.

Гвардейцы расстреляли последние патроны, и не впустую: сквозь брешь в двери видно было, что пол галереи усеян мертвыми и ранеными.

На крики женщин, которым казалось, что через эту брешь на них надвигается смерть, в залу вернулся король.

—Государь,—сказал Шарни,—затворитесь вместе с королевой в самом дальнем кабинете, запираете за собою все двери, и у каждой двери будет нести охрану один из нас. Прошу вашего позволения остаться последним защитником последней двери. На эту у них ушло больше сорока минут; ручаюсь, что мы продержимся еще два часа.

Король колебался: ему представлялось унижением отступить из комнаты в комнату, окапываясь то за одной стеной, то за другой.

Если бы не королева, он не сделал бы ни шагу.

Если бы не дети, королева держалась бы так же стойко, как король.

Но увы, люди есть люди! И у королей, и у подданных в сердце всегда найдется тайная брешь, сквозь которую убегают отвага и проникает ужас.

Итак, король уже собирался распорядиться об отступлении в самый дальний кабинет, как вдруг руки осаждавших исчезли, пики и штыки убрались, крики и угрозы замерли.

На мгновение воцарилась тишина; все затаили дыхание, напрыгли слух, разинули рты.

Затем послышался размеренный шаг марширующих солдат.

—Национальная гвардия!—вскричал Шарни.

—Господин де Шарни! Господин де Шарни!—послышалось из-за двери.

И в проломе показалась хорошо знакомая графу физиономия Бийо.

—Бийо!—воскликнул Шарни.—Это вы, друг мой?

—Да, я. Где король и королева?

—Здесь.

—Целые и невредимые?

—Целые и невредимые.

—Слава Богу! Господин Жильбер! Господин Жильбер! Сюда!

При звуке этого имени дрогнули, но по разным причинам, два женских сердца.

То были сердца Андреа и королевы.

Шарни инстинктивно оглянулся; от него не укрылось, что Андреа и королева побледнели, услышав это имя.

Он со вздохом покачал головой.

—Отворите двери, господа,—сказал король.

Гвардейцы бросились разбирать остатки баррикады.

Тем временем послышался крик Лафайета:

—Солдаты парижской национальной гвардии! Вчера вечером я дал королю слово, что никто из близких его величества не понесет никакого урона. Если вы позволите уничтожить гвардейцев, окажется, что я не сдержал слова чести и не достоин быть вашим начальником.

Дверь отворилась, и осажденным предстали генерал Лафайет и Жильбер; чуть в стороне, слева, держался Бийо, безмерно довольный, что участвовал в спасении короля.

Именно Бийо поднял Лафайета с постели.

Позади Лафайета, Жильбера и Бийо стоял капитан Гондран, командовавший кварталом Сен-Филипп-дю-Руль.

Принцесса Аделаида первая ринулась навстречу Лафайету, обняла его и голосом, в котором еще слышался перенесенный ею испуг, благодарно воскликнула:

—Ах, сударь, вы спасли нас!

Лафайет почтительно приблизился, но не успел он переступить порог Эй-де-Беф, как был остановлен одним из офицеров.

—Простите, сударь,—спросил тот,—обладаете ли вы привилегией свободного входа к королю?

—Если у него нет такой привилегии,—изрек король, протягивая Лафайету руку,—я ему дарую ее.

—Да здравствует король! Да здравствует королева!—воскликнул Бийо.

Король обернулся.

—Знакомый голос!—с улыбкой заметил он.

—Вы очень добры, ваше величество,—отвечал храбрый фермер.—Да, голос тот же, что и во время поездки в Париж. Эх, кабы вы остались в Париже и не возвращались сюда!

Королева нахмурила брови.

—Да,—процедила она,—тем более что парижане так дружелюбны!

—Итак, сударь!—обратился к Лафайету король, точно спрашивая: "Что по вашему мнению следует предпринять?"

—Государь,—почтительно отозвался г-н де Лафайет,—мне кажется, было бы кстати, если бы вы, ваше величество, появились на балконе.

Король молча бросил вопросительный взгляд на Жильбера. Затем он направился прямо к балконной двери, без колебаний отворил ее и вышел на балкон.

Послышался громкий и дружный клич:

—Да здравствует король!

За этим кличем грянул другой:

—Короля в Париж!

И тут же несколько громоподобных голосов вскричали:

—Королеву! Королеву!

Все содрогнулись, слыша этот зов; король, Шарни и даже Жильбер побледнели.

Королева подняла голову.

Она стояла у окна, лицо ее тоже было бледно, губы сжаты, брови нахмурены. Она поддерживала принцессу. Рядом с ней

стоял дофин, и ее белая, как мрамор, рука, покоилась на белокурой головке ребенка.

—Королеву! Королеву!—все требовательнее кричали голоса снизу.

—Народ желает вас видеть, государыня,—произнес Лафайет.

—О, не ходите, матушка!—жалобно попросила принцесса, обвив шею королевы руками.

Королева взглянула на Лафайета.

—Ничего не бойтесь, ваше величество,—сказал он.

—Как! Я одна?—прошептала королева.

Лафайет улыбнулся и почтительно, с тем чарующим изяществом, которое не покинуло его и в старости, отстранил детей от матери, а затем вытолкнул их на балкон первыми.

Потом он предложил Марии Антуанетте руку и сказал:

—Ваше величество, сообразовайте довериться мне, я отвечаю за все.

И вывел королеву на балкон.

Мраморный двор являл собой устрашающую картину, от которой у многих бы закружилась голова: весь он был затоплен морем людей, и по этому морю так и ходили ревущие волны.

При виде королевы вся толпа взорвалась криком, и не ясно было, что означает этот крик—радость или угрозу.

Лафайет поцеловал королеву руку; в толпе слышались рукоплескания.

В самом деле, в жилах последнего французского простолыдина течет благородная рыцарская кровь.

Королева перевела дух.

—Непостижимый народ!—прошептала она.

И вдруг она содрогнулась.

—Сударь, а что же станется с моими гвардейцами, с теми, которые спасли мне жизнь? Вы ничем не можете им помочь?

—Позовите сюда одного из них,—попросил Лафайет.

—Господин де Шарни! Господин де Шарни!—вскричала королева.

Но Шарни сделал шаг назад: он понял, о чем идет речь.

Он не желал приносить повинную за вечер первого октября.

Не чувствуя за собой вины, он не нуждался в прощении.

Андреа испытывала те же чувства: она протянула руку к Шарни, желая его удержать.

Ее рука встретилась с рукой графа, и они сомкнулись в пожатии.

Королева заметила это, несмотря на то что в этот миг столько лиц и событий требовали ее внимания.

Взгляд ее вспыхнул, грудь задрожала, и она отрывисто произнесла, обращаясь к другому гвардейцу:

—Сударь, идите сюда, я вам приказываю.

Гвардеец повиновался.

Впрочем, у него, в отличие от Шарни, не было причин для колебаний.

Г-н де Лафайет увлек его на балкон, нацепил ему на шляпу свою собственную трехцветную кокарду и обнял его.

—Да здравствует Лафайет! Да здравствуют королевские гвардейцы!—взревело пятьдесят тысяч глоток.

В некоторых голосах еще слышалась глухая ярость, последние угрозы рассеявшейся бури.

Но эти угрозы были перекрыты дружными приветственными кликами.

—Пойдемте,—промолвил Лафайет,—гроза миновала.

Вернувшись в залу, он добавил:

—Но во избежание новой смуты, государь, следует принести последнюю жертву.

—Да,—задумчиво отозвался король,—нужно покинуть Версаль, не так ли?

—Да, государь, необходимо вернуться в Париж.

—Сударь,—сказал король,—вы можете объявить народу, что через час мы—королева, я и дети,—отбудем в Париж.

Затем он обратился к королеве:

—Ваше величество, ступайте к себе в покои и собирайтесь в дорогу.

Этот приказ короля вызвал у Шарни какое-то смутное воспоминание о некоем событии, которое он успел забыть.

Он устремился в покои королевы, опередив ее.

—Куда вы, сударь?—резко сказала королева.—Вам нечего делать у меня в покоях.

—Мне настоятельно нужно туда пройти, ваше величество,—возразил Шарни,—но не беспокойтесь: без крайней нужды я у вас не задержусь и не стану докучать вашему величеству.

Королева последовала за ним; паркет был покрыт пятнами крови, и Мария Антуанетта заметила эти пятна. Она зажмурилась и протянула руку в поисках поддержки; встретив руку Шарни, она, опираясь на него, вслепую прошла несколько шагов.

Вдруг она почувствовала, что граф дрожит всем телом.

—Что такое, сударь?—спросила она, раскрыв глаза.

Внезапно она вскричала:

—Мертвое тело! Мертвое тело!

—Простите меня, ваше величество, но мне придется выпустить вашу руку,—сказал он.—Я нашел то, что искал в ваших покоях—тело моего брата Жоржа.

В самом деле, то было тело несчастного молодого человека, которому брат приказал погибнуть за королеву.

И он до конца выполнил приказ брата.

XXVI. Жорж де Шарни

События, которые мы здесь излагаем, описывались уже на сотни ладов, потому что эти события представляют собой один из интереснейших эпизодов того славного периода с 1789 по 1795 год, что зовется Французской революцией.

Об этих событиях еще будет рассказано на сотни ладов, но мы заранее утверждаем, что ничье повествование не превзойдет наше в беспристрастности.

Однако и после всех этих повествований, включая наше, историкам останется немало работы, ибо история никогда не бывает полна. У каждого из сотни тысяч свидетелей своя версия, каждой из сотни тысячи разных подробностей присущи свой интерес и поэтичность как раз потому, что они разнятся между собой.

Но что толку нам от всех этих повествований при всей их правдивости? Разве хоть один политик извлек когда-нибудь урок из истории?

Разве все эти повествования, и слезы, и кровь королей с равными по силе с простой каплей воды, которая точит камень?

Нет, королевы проливали слезы, короли встречали смерть, но их преемникам никогда не шли на пользу жестокие уроки, преподанные судьбой.

Преданные им люди совершали чудеса храбрости, но никогда жертвы не могли облегчить участь тех, кто был обречен по велению судьбы.

Увы! Мы видели, как королева едва не споткнулась о труп одного из тех людей, которых короли оставляют истекать кровью на пути, ведущем к их падению.

Через несколько часов после того, как у Марии Антуанетты вырвался испуганный крик, и в тот самый миг, когда она вместе королем и детьми покидала Версаль, куда ей не суждено было вернуться, на внутреннем двореке, мокрым от дождя и уже высыхавшем под резким осенним ветром, можно было наблюдать следующую сцену.

Один человек, одетый в черное, склонился над трупом.

Второй, в мундире гвардейца, опустился на колени с другой стороны от покойного.

В нескольких шагах от них, стиснув кулаки и глядя в пустоту, стоял третий.

Покойный был молодой человек, лет двадцати двух или двадцати трех; в голове и груди зияли огромные раны, сквозь которые, казалось, вытекла до капли вся кровь.

Его мертвенно-белая грудь, вся покрытая следами ударов, словно еще продолжала вздыматься, дыша надменной и безнадежной решимостью.

Рот покойного был полуоткрыт, голова откинулась назад, на лице застыло выражение боли и гнева, вызывавшее в памяти прекрасный образ из римской поэзии:

"И с протяжным стоном душа улетает к обители теней".

Человек в черном был Жильбер.

Коленопреклоненный офицер был граф.

Поодаль стоял Бийо.

Покойный был барон Жорж де Шарни.

Склонившись над трупом, Жильбер вглядывался в него с той нечеловеческой сосредоточенностью, которая словно способна удержат самое жизнь, когда она отлетает от умирающего и окликает душу, только что покинувшую мертвое тело.

—Холоден, неподвижен: умер, в самом деле умер,—наконец произнес Жильбер.

Граф де Шарни испустил глухой стон и, сжав бесчувственное тело в объятиях, разразился такими душераздирающими рыданиями, что врач содрогнулся, а Бийо уткнулся лицом в угол стены.

Внезапно граф приподнял мертвеца, усадил его, прислонив спиной к стене, и тихонько отошел, поглядывая, не оживет ли брат и не последует ли за ним.

Задумчивый, потрясенный, неподвижный Жильбер застыл, опустившись на одно колено и уронив голову на руки.

Тогда Бийо выскользнул из своего угла и подошел к Жильберу. Он более уже не слышал криков графа, надрывавших ему сердце.

—Увы, увы, господин Жильбер,—сказал он,—вот она, гражданская война в истинном своем виде: все идет так, как вы мне предсказывали, но дела пошли быстрее, чем я думал, и быстрее, чем вы сами предполагали. Я видел, как злодеи резали плутов. Теперь вижу, как злодеи режут честных людей. Я видел, как умертвили Флесселя, видел, как умертвили господина Делоне, видел, как умертвили Фулона, видел, как умертвили Бертье. Я дрожал всем телом, и убийцы были мне отвратительны. А ведь люди, над которыми чинили расправу, были презренные негодяи. Тогда-то, господин Жильбер, вы и предсказали мне, что придет день, когда станут убивать честных людей. И вот убили господина де Шарни. Я уже не трепещу, я рыдаю; мне уже не убийцы отвратительны, я сам себе гадок.

—Бийо!—начал Жильбер.

Но Бийо, не слушая, перебил:

—Вот бедный юноша, его убили, господин Жильбер; он был солдатом, он сражался, он не убивал, а его убили.

И Бийо испустил вздох, исходивший словно из самой глубины его существа.

—Эх,—продолжал он,—я знал этого беднягу ребенком, я видел, как он скакал на своей серой лошадке из Бурсона в Виллер-Котре, возил хлеб, который посылала беднякам его матушка. Красивый был мальчик, белолицый, румяный, а глаза большие, синие, и все-то он смеялся. И вот ведь чудная история: чуть я увидал, как он лежит здесь, истекающий кровью, изуродованный, и сразу вижу не покойника, а веселого мальчугана с корзинкой в левой руке и с кошельком в правой. Эх, господин Жильбер, право слово, хватит с меня, не хочу я больше на все это глядеть, вы мне уж наперед рассказали: еще дойдет и до того, что вы сами будете помирать у меня на глазах, и тогда...

Жильбер тихонько покачал головой.

—Не беспокойся, Бийо,—сказал он,—мой час еще не пришел.

—Тем лучше, доктор, а вот мой час уже пришел. У меня дома жатва, зерно вот-вот осыплется, у меня земля стоит под паром; у меня любимая семья, и когда я увидел этого покойника, над которым плачет его родня, я понял, что люблю своих в десять раз больше, чем раньше.

—К чему вы клоните, любезный Бийо? Вы, что ж, надеетесь, что я вас пожалею?

—Да нет, что вы,—простодушно отвечал Бийо,—просто, когда мне тяжело, я жалуюсь, но жалобами делу не поможешь, вот я и рассчитываю, что сам себе помогу, как сумею.

—Значит, вы..

—Значит, я хочу вернуться к себе на ферму, господин Жильбер.

—А что потом, Бийо?

—Эх, господин Жильбер, я слышу голос, который зовет меня домой.

—Берегитесь, Бийо, этот голос советует вам стать дезертиром.

—Я не солдат, господин Жильбер, какой из меня дезертир?

—То, что вы задумали, Бийо, есть самое настоящее дезертирство, и вам это еще непростительнее, чем солдату.

—Объясните, доктор, почему.

—Как! Вы явились в Париж во имя разрушения, а когда здание уже готово рухнуть, вы надумали дать тягу?

—Да, чтобы под его обломками не задавило моих друзей.

—Вернее, чтобы вас самого не задавило.

—Ну,—возразил Бийо,—подумать немножко о себе самом тоже не грех.

—Хорошо же вы все рассчитали! Как будто камни не летят во все стороны! Как будто они не могут даже на расстоянии уложить на месте трусов, которые спасаются бегством!

—Ах, господин Жильбер, вы же знаете, что никакой я не трус.

—Тогда вы останетесь, Бийо, потому что вы еще нужны мне здесь.

—Но там я тоже нужен семье.

—Бийо, Бийо, я думал, вы согласны со мной в том, что у того, кто любит родину, нет семьи.

—Хотел бы я знать, повторили бы вы эти слова, если бы на месте этого юноши оказался ваш сын Себастьян?

И он указал на мертвеца.

—Бийо,—отвечал Жильбер, как истый стоик,—придет день, когда я буду простерт перед моим сыном Себастьяном, как простерт теперь перед нами этот несчастный.

—Тем хуже для него, доктор, если в тот день он останется так же невозмутим, как вы теперь.

—Надеюсь, он превзойдет меня, Бийо, и духом будет тверже, чем я, именно потому, что я буду служить ему примером твердости.

—Так вы хотите, чтобы мальчик привык к виду крови, чтобы в самые нежные годы он освоился с пожарами, виселицами, мятежами, ночными нападениями, чтобы при нем оскорбляли королей, угрожали королям, и когда он станет тверд и холоден, как клинок, вы полагаете, он будет любить вас и почитать?

—Нет, я не хочу, чтобы он все это видел, Бийо, потому-то я и отослал его в Виллер-Котре, но сегодня я почти жалею об этом.

—Как! Жалеете?

—Да.

—А почему сегодня?

—Потому что сегодня он мог бы увидеть, как применяется на практике аксиома о Льве и Крысе, которая для него не более чем басня*.

—Что вы имеете в виду, господин Жильбер?

—Я имею в виду, что он увидел бы бедняка-фермера, которого случай привел в Париж, человека честного и храброго, не умеющего ни читать, ни писать; человека, который никогда бы не поверил, что его жизнь может пагубным или благотворным образом отразиться на судьбах высокопоставленных особ, на которых он едва осмеливался поднять взгляд; я имею в виду, что он увидел бы этого человека, который однажды уже хотел сбежать из Парижа и теперь хочет этого снова; он увидел бы, как этот самый человек сегодня принял деятельное участие в спасении короля, королевы и обоих королевских детей.

Бийо изумленно уставился на Жильбера.

—Как так, господин Жильбер?—спросил он.

—Как так, мой героический невежда? Я скажу тебе: ты проснулся по первому шуму, ты угадал в этом шуме бурю, готовую обрушиться на Версаль, ты побежал и поднял с постели господина де Лафайета, потому что господин де Лафайет спокойно спал.

—Черт поberi, но это же в порядке вещей: он двенадцать часов провел в седле и целые сутки не смыкал глаз.

—Ты привел его в замок,—продолжал Жильбер,—ты увлек его в гущу убийц с криком: "Назад, сволочь! Мститель идет!"

—А и впрямь,—вырвалось у Бийо,—так все и было!

—Ну вот, Бийо, сам видишь: это немалое утешение, друг мой. Пускай ты не спас от гибели этого юношу, зато, быть может, ты предотвратил убийство короля, королевы и двух детей. Неблагодарный! Ты затеял бросить служение родине в тот самый миг, когда родина награждает тебя.

—Но кто узнает о моем поступке, если я сам о нем не подозревал?

—О нем будем знать мы с тобой, разве этого мало?

Бийо на мгновение задумался, потом протянул свою грубую ручищу доктору и сказал:

—Пожалуй, вы правы, господин Жильбер, но, знаете, человек—создание слабое, эгоистичное; вы один, господин Жильбер, и сильны, и великодушны, и неизменны. И кто вас только этому научил?

—Горе,—отозвался Жильбер с улыбкой, в которой было больше печали, чем в рыданиях.

—Чудеса,—заметил Бийо,—а я-то думал, что горе озлобляет.

—Оно озлобляет слабых.

—А если под действием горя я тоже озлоблюсь?

* Имеется в виду одноименная басня Лафонтена (II, 11).

—Может быть, тебя ждет горе, но ты никогда не озлобишься, Бийо.

—Вы уверены?

—Я за тебя ручаюсь.

—Ну, в таком случае...—со вздохом начал Бийо.—В таком случае, я остаюсь, но я знаю, что еще не раз поддамся слабости.

—И всякий раз, Бийо, я буду рядом и поддержу тебя.

—Договорились,—вздыхнул фермер.

Потом он в последний раз взглянул на тело барона де Шарни, которое слуги укладывали на носилки, чтобы унести со двора, и вздохнул снова.

—А все-таки какой был красивый мальчик Жорж де Шарни—на серой лошадке, в левой руке корзинка, в правой—кошелек!

XXVII. Отъезд, путешествие и прибытие Питу и Себастьяна Жильбера

Мы видели, при каких обстоятельствах задолго до описываемых событий было принято решение об отъезде Питу и Жильбера.

Ныне мы намерены ненадолго расстаться с главными действующими лицами нашего повествования и устремиться вслед двум юным путешественникам, а потому надеемся, что читатели позволят нам изложить некоторые подробности отъезда молодых людей, их странствий и прибытия в Виллер-Котре, в которой, по твердому убеждению Питу, изрядно недоставало их обоих.

Питу получил от Жильбера поручение разыскать Себастьяна и доставить к отцу. С этой целью Питу усадили в фиакр и доверили его кучеру, подобно тому, как самому Питу доверили Себастьяна.

Не прошло и часу, как фиакр привез Питу, а Питу—Себастьяна.

Жильбер и Бийо поджидали в квартирке, снятой ими на улице Сент-Оноре, немного не доходя до церкви Успения.

Жильбер сразу же объявил сыну, что нынче вечером уезжает вместе с Питу, и спросил, доволен ли Себастьян, что вновь увидит густые леса, которые так любил прежде.

—Да, отец,—отвечал мальчик,—если вы будете навещать меня в Виллер-Котре, а я буду приезжать к вам в Париж.

—Не беспокойся, дитя мое,—сказал Жильбер, целуя сына в лоб.—Ты же знаешь: теперь я уже не могу жить, не видя тебя.

Питу вспыхнул от радости, когда узнал, что нынче же вечером они уедут.

Он побледнел от счастья, когда Жильбер вложил ему в руку обе руки Себастьяна, а в другую—десяток луидоров в сорок восемь ливров каждый.

Со священным трепетом он выслушал множество настав-

лений, преимущественно гигиенического характера, которые прочел ему доктор.

Себастьян потушил печальные глаза, полные слез.

Питу играл и позвякивал луидорами в своем глубоком кармане.

Жильбер вручил Питу, облеченному обязанностями гувернера, письмо.

Это письмо предназначалось аббату Фортье.

Когда доктор завершил свою речь, пришел черед Бийо.

—Господин Жильбер,—сказал он Питу,—доверил тебе дух Себастьяна, а я вверяю тебе его тело. Кулаки у тебя имеются, так что, если придется, пусти их в ход.

—Да,—ответил Питу,—а кроме того, у меня есть сабля.

—Не злоупотребляй ею,—продолжал Бийо.

—Я буду милосерден,—сказал Питу.

—Ну, сера тут ни при чем,—возразил Бийо, обманутый созвучием слов.

—Теперь,—сказал Жильбер,—мне осталось лишь рассказать вам, каким образом вы с Себастьяном проделаете весь путь.

—Ну,—воскликнул Питу,—от Парижа до Виллер-Котре всего восемнадцать лье, мы с Себастьяном скоротаем их в беседе.

Себастьян глянул на отца, словно спрашивая, так ли уж весело ему будет все восемнадцать лье проболтать с Питу.

От Питу укрылся этот взгляд.

—Мы будем говорить по-латыни,—сказал он,—и все примут нас за ученых.

Вот о чем мечтало это невинное создание!

А ведь многие на его месте, будь у них в руках десять двойных луидоров, сказали бы:

—Мы купим пряников.

Жильбер на мгновение засомневался.

Он посмотрел на Питу, потом на Бийо.

—Понимаю,—сказал последний.—Вы не уверены, справится ли Питу с ролью вожатого, и опасаетесь доверить ему свое дитя.

—О нет, я доверяю сына не ему,—возразил Жильбер.

—Кому же?

Жильбер возвел глаза к небу; слишком проникнутый вольерянством, он не смел ответить:

—Богу.

Но все и так было ясно. Порешили, что план Питу останется без изменений, ибо подразумевает приятное для Жильбера младшего и не слишком утомительное путешествие, и что на другой день оба они пустятся в дорогу.

Жильбер мог бы отправить сына в Виллер-Котре в одном из тех дилижансов, что в те времена уже курсировали между Парижем и границей, или даже в собственном экипаже; но мы знаем, как он старался уберечь Себастьяна от одиночества и задумчивости, а ничто не потворствует одинокому мечтателю с такой силой, как стук колес и покачивание кареты.

Итак, он удовольствовался тем, что довез обоих мальчиков до Бурже, а там, указав им на дорогу, простиравшуюся под лучами солнца и окаймленную двумя рядами деревьев, раскинул руки и произнес:

—Ступайте!

Питу зашагал вперед, ведя с собой Себастьяна, который то и дело оглядывался и посылал воздушные поцелуи Жильберу, а врач, скрестив руки, стоял на том самом месте, где расстался с сыном, и провожал его глазами, как провожал бы создание своей мечты.

Питу выпрямился во весь свой высокий рост. Он был весьма горд доверием, каковое оказало ему столь важное лицо, как г-н Жильбер, королевский медик.

Питу собирался добросовестнейшим образом исполнить возложенные на него обязанности гувернера и гувернантки в одном лице.

К тому же, увозя маленького Себастьяна, он был полон веры в себя; он спокойно шел вперед, минуя деревни, кипевшие и растревоженные парижскими событиями, которые, как мы помним, разыгрались совсем незадолго до того; хоть мы успели уже довести наше повествование до пятого или шестого октября, вспомним, что Питу с Себастьяном покинули Париж в конце июля или начале августа.

К тому же Питу в качестве головного убора сохранил свою каску, а в качестве оружия—большую саблю. В этих приобретениях заключалось все, чем обогатили его события 13 и 14 июля, но его самолюбию достаточно было этих двух трофеев: они придавали облику великолепие, а заодно и обеспечивали безопасность владельца.

Впрочем, бравый вид, коему, несомненно, способствовали каска и драгунская сабля, появился у Питу независимо от этих украшений. В человеке, участвовавшем во взятии Бастилии или хотя бы присутствовавшем при нем, не могло не появиться нечто героическое.

Кроме того, Питу отчасти стал адвокатом.

Невозможно было слышать резолюции в Ратуше, речи г-на Байи, обращения г-на де Лафайета и не стать хоть немного оратором, тем более тому, кто уже изучал латинские *Conciones**, служившие образцом для бедной, но довольно верной копии, которую представляло собой французское красноречие конца восемнадцатого столетия.

Итак, чувствуя в себе эти две великие силы, а также помня о двух своих могучих кулаках, вооруженный, кроме того, приветливой улыбкой и несравненным аппетитом, Питу весело шагал по дороге в Виллер-Котре.

Для тех, кого интересовала политика, у него были наготове новости, а при необходимости он присочинял их и сам, благо шел из Парижа, где слухи так и плодились.

Он рассказывал, как г-н Бертье зарыл несметные сокрови-

* Имеются в виду *Conciones latinae* ("Латинские речи"—учебник во французских лицеях XVII—XVIII вв.).

ща, а Коммуна несколько дней их выкапывала. Рассказывал, что г-н де Лафайет, сын славы, гордость провинциальной Франции, слывет отныне в Париже обветшалым чучелом, а его белый конь дает пищу сочинителям каламбуров. Рассказывал, что г-н Байи, которого Лафайет, равно как и прочие члены его семейства, удостаивали тесной дружбой, на самом деле аристократ, а злые языки говорят про него и кое-что похуже.

Такими рассказами Питу возбуждал бурную ярость, но он владел магическим *quos ego** всех этих бурь: рассказывал новые анекдоты про австриячку.

Такое неиссякаемое усердие обеспечило ему непрерывную череду превосходных трапез до самой деревушки Восьен, последней, которую им предстояло миновать на пути к Виллер-Котре.

Поскольку Себастьян, напротив, ел мало или вообще не ел и все время молчал, а на вид был бледным, болезненным мальчиком, каждый проникался к нему участием, восхищался бдительной опекой Питу, который нежил, холил и лелеял ребенка, да к тому же еще и съедал его порцию, заботясь, судя по всему, только о том, как бы ему получше угодить.

Когда пришли в Восьен, Питу, казалось, заколебался: он посмотрел на Себастьяна, Себастьян—на Питу.

Затем Питу почесал в затылке. К этому способу он всегда прибегал в затруднительных случаях.

Себастьян достаточно знал Питу, чтобы понять значение этого жеста.

—Ну, в чем дело, Питу?—спросил он.

—Дело в том,—отозвался Питу,—что если тебе все равно и ты не слишком устал, давай свернем и доберемся до Виллер-Котре через Арамон.

И честный Питу, выговорив это предложение, покраснел, как покраснела бы Катрин, признавшись в менее невинном желании.

Жильбер понял.

—Ах да,—сказал он,—ведь там же умерла наша бедная ма-тушка Питу.

—Пойдем, братец, пойдем.

Питу обнял Себастьяна, чуть было не задушив его, взял мальчика за руку и так поспешно ринулся с ним по проселку, тянувшемуся вдоль долины Вюала, что через сотню шагов Себастьян не выдержал и попросил:

—Не так быстро, Питу, не так быстро.

Питу остановился; он ничего не замечал, идя своим обычным шагом.

И тут он увидел, что Себастьян побледнел и запыхался.

Он взял его на руки, как святой Христофор Иисуса, и по-нес.

Теперь Питу мог идти так быстро, как ему было угодно.

Себастьян подчинился: Питу не впервой было носить его на руках.

* Я вас! (*лат.*); в переносном смысле: средство усмирения.

Так добрались до Ларньи. В Ларньи Себастьян, чувствуя, что Питу начинает задыхаться, объявил, что он уже отдохнул и готов шагать так быстро, как хочет Питу.

Питу, преисполненный великодушия, умерил шаг.

Через полчаса Питу входил в деревню Арамон, "прелестный уголок, где он увидел свет", как сказано в песне, сочиненной великим поэтом, песне, мелодия которой еще лучше, чем стихи.

Войдя в деревню, мальчики оглянулись по сторонам, чтобы освоиться.

Первым делом им бросилось в глаза распятие, которое, согласно с народным благочестием, стояло на краю деревни.

Увы! И до Арамона докатилась та странная волна атеизма, которая захлестнула Париж. Гвозди, удерживавшие на кресте правую руку и ноги Христа, заржавели и сломались. Христос свисал, подвешенный за одну левую руку, и никому не пришла в голову благочестивая мысль вернуть этот символ свободы, равенства и братства, которым все так усердно поклонялись, туда, где его поместили иудеи.

Питу не был святошей, но с детства у него сохранились правила. При виде забытого Христа ему стало тяжело на сердце. Он поискал у изгороди прут, гибкий и крепкий, как проволока, сложил на траву каску и саблю, взобрался на крест, привязал правую руку божественного страдальца к перекладине, поцеловал его ступни и спустился наземь.

Себастьян тем временем молился, преклонив колена у подножия креста. За кого он молился? Кто знает!

Может быть, за то видение детства, которое он вновь надеялся обрести под сенью высоких деревьев, за мать, которой он не знал и которую все же знал. Пускай не всякая мать вскармливает дитя девять месяцев своим молоком, зато всякая мать питает дитя девять месяцев своей кровью.

Совершив богоугодное дело, Питу снова водрузил на голову каску и прицепил к поясу саблю.

Помолившись, Себастьян перекрестился и снова взял Питу за руку.

Затем оба вошли в деревню и направились к хижине, где Питу родился, а Себастьян был вскормлен.

Питу, слова Богу, знал Арамон, как свои пять пальцев, но теперь он что-то не мог найти свою хижину. Пришлось спросить, и ему указали каменный домик под шиферной крышей.

Сад возле домика был огорожен стеной.

Тетя Анжелика продала сестрин дом, и новый владелец с полным правом разрушил все—ветхие стены, вросшие в землю, старую дверь с дыркой внизу для кошки, тусклые окна, в переплетах которых стекла чередовались с бумагой, испещренной неумелыми каракулями, которые выводил Питу, соломенную крышу с зеленым мхом и сочной травой, которая росла на самом верху.

Да, все разрушил новый владелец!

Дверь была затворена, и на крыльце восседал большой черный пес, при виде Питу оскаливший зубы.

—Пойдем,—со слезами на глазах сказал Питу,—пойдем, Себастьян; я знаю, по крайней мере, одно место, где ничего не переменялось.

И Питу увлек Себастьяна на кладбище, где была похоронена его мать.

Бедняга был прав: здесь ничего не переменялось, только разрослась трава, а на кладбищах трава растет так густо, что Питу запросто мог не отыскать материнской могилы.

К счастью, над ней выросла не только трава, но и веточка плакучей ивы: за три или четыре года она превратилась во взрослое дерево. Он прошел прямо к дереву и поцеловал землю под ним с той же инстинктивной набожностью, с какой целовал стопы Христа.

Поднимаясь, он почувствовал, как вокруг него затрепетали под ветром ветви ивы.

Тогда он простер руки, притянул к себе ветви и прижал их к груди.

Он словно целовал в последний раз материнские волосы.

Мальчики долго не двигались с места; день между тем начал клониться к вечеру.

Пора было расставаться с могилой, единственным местом, которое, казалось, помнило беднягу Питу.

Уходя, Питу хотел было обломить веточку ивы и нацепить ее на свою каску, но что-то его удержало.

Ему почудилось, что он причинит боль своей несчастной матери, если обломит веточку с дерева, корни которого, быть может, обвили разошедшийся сосновый гроб, где покоились ее останки.

Он еще раз поцеловал землю, снова взял Себастьяна за руку и удалился.

Все селяне были в поле или в лесу, поэтому почти никто не видел Питу, а из тех, кто видел, никто не узнал его в каске и с большой саблей.

Итак, он пошел по дороге на Виллер-Котре; эта живописная дорога длиной в три четверти лье тянулась через лес, и ни одна душа, ни одно живое существо не встретились ему и не отвлекли его от горя.

Себастьян так же, как он, молча и задумчиво шел следом.

Часам к пяти вечера они добрались до Виллер-Котре.

XXVIII. Как Питу, проклятый и изгнанный теткой за один варваризм и три солецизма, был снова проклят и изгнан ею же за домашнюю птицу с рисом

Дорога Питу в Виллер-Котре пролегла по парку через ту его часть, которая звалась Фазаний двор; Питу миновал танцевальную залу, пустовавшую в будни; сюда три недели назад он сопровождал Катрин.

Сколько всего произошло с Питу и со всей Францией за эти три недели!

Потом по каштановой аллее он вышел на площадь перед замком и постучался у черного входа в коллеж аббата Фортье.

С тех пор, как Питу покинул Арамон, минуло три года, между тем Виллер-Котре он оставил три недели назад; посему было вполне естественно, что в Арамоне его не узнали, зато узнали в Виллер-Котре.

По городку мгновенно распространилась молва о том, что Питу вернулся вместе с Себастьяном Жильбером, что оба с черного входа явились к аббату Фортье, что Себастьян такой же, как раньше, а Питу в каске и с большой саблей.

У главного входа собралась толпа, рассудившая, что Питу, войдя в замок с черного входа, выйдет от аббата Фортье с парадного крыльца на Суассонскую улицу.

Так ему ближе было идти в Плё.

В самом деле, Питу задержался у аббата Фортье ровно столько, сколько понадобилось, чтобы сдать на руки его сестре письмо от доктора, самого Себастьяна Жильбера и пять двойных луидоров, предназначавшихся в уплату за пансион.

Сестра аббата Фортье, видя, как в садовую калитку входит бравый вояка, сперва изрядно перепугалась; но вскоре под драгунской каской она рассмотрела миролюбивую, честную физиономию и немного успокоилась.

А вид пяти двойных луидоров окончательно развеял ее сомнения.

Страх бедной старой девы объяснялся еще и тем, что аббат Фортье вместе со своими учениками ушел на прогулку и дома она была совершенно одна.

Питу, отдав письмо и пять двойных луидоров, поцеловал Себастьяна и вышел, с бравым видом нахлобучив каску на голову.

Себастьян, расставаясь с Питу, пролил несколько слезинок, хотя расставались они ненадолго, а общество Питу не сулило ему никаких забав; но жизнерадостность, добродушие и неизменная заботливость Питу тронули сердце юного Жильбера. По природе своей Питу был сродни тем огромным ньюфаундлендам, которые бывают надоедливы, но так ластятся, что на них невозможно долго сердиться.

Печаль Себастьяна смягчало только то, что Питу обещал часто его проводить. Печаль Питу смягчало только то, что Себастьян его за это поблагодарил.

Теперь последуем за нашим героем дальше, из дома аббата Фортье в дом тетки Анжелики, поселившейся, как мы знаем, на окраине Плё.

Когда Питу вышел от аббата Фортье, он обнаружил, что его поджидает десятка два человек. Его причудливая амуниция, весть о которой облетела уже весь городок, была немного знакома собравшимся. Видя, что он в таком обличье вернулся из Парижа, где идет схватка, все пришли к выводу, что Питу тоже сражался, и жаждали новостей.

Питу с присущим ему великодушием поделился новостями: поведал о взятии Бастилии, о подвигах Бийо и г-на Майара, г-на Эли, г-на Юлена; рассказал, как Бийо упал в крепостной

ров, и как он, Питу, его оттуда вытащил; как был спасен г-н Жильбер, который уже восемь или десять дней находился в числе узников.

Слушателям уже было отчасти известно то, о чем рассказывал Питу, они вычитывали кое-какие подробности из газет того времени, но при всем интересе, который возбуждает газетчик и то, что он пишет, все-таки любопытнее послушать рассказ очевидца, которого можно спросить и получить ответ.

А посему Питу рассказывал, отвечал, входил во все подробности, благожелательно вступая в беседу с теми, кто его перебивал, любезно откликался на все вопросы.

Кончилось тем, что чуть не через час, пролетевший в разговорах у дверей аббата Фортье на Суассонской улице, заполненной слушателями, один из присутствующих заметил, что лицо Питу омрачилось, и догадался:

—Бедняга Питу совсем устал, а мы заставляем его стоять тут с нами, вместо того, чтобы отпустить его к тетке Анжелике. Бедная, славная старая дева! Какое для нее будет счастье вновь его увидеть!

—Да я не устал,—возразил Питу,—я голоден. Я никогда не устаю, а голоден я всегда.

Услышав это простодушное объяснение, толпа уважила потребности желудка Питу и почтительно расступилась; Питу, сопровождаемый самыми упорными и любопытными слушателями, выбрался на дорогу, которая сама вела в Плё, к дому тетки Анжелики.

Тетки Анжелики не было дома; наверняка она заглянула к кому-нибудь из соседей, и дверь была на запоре.

Тут же несколько людей пригласили Питу к себе подкрепиться, что явно было бы ему кстати, но Питу гордо отказался.

—Ты же сам видишь, дружище Питу,—сказали ему,—что у твоей тетки заперта дверь.

—Никакая дверь никакой тетки не откажется впустить послушного и голодного племянника,—нравоучительным тоном возразил Питу.

И, обнажив свою большую саблю, при виде которой женщины и дети понялись, он вставил ее конец в щель между язычком и защелкой замка, с силой налег, и дверь отворилась к огромному удовольствию зрителей, которые более не подвергали сомнению подвиги Питу, видя, как отважно он навлек на себя гнев старой девы.

В доме со времен Питу ничто не изменилось: знаменитое кожаное кресло все так же величественно красовалось посреди комнат; два-три увечных стула да табуретка подобострастно выстроились вокруг на своих хромых ногах; в глубине стоял ларь, справа буфет, слева очаг.

Питу вошел в дом с ласковой улыбкой: убогость предметов обстановки его не раздражала; напротив, все это были друзья его детства. Правда, были они почти такие же жестокие, как тетя Анжелика, но можно было предположить, что если заглянуть в ларь или буфет, внутри найдется какое-нибудь лакомство, а тетя Анжелика изнутри была такая же сухая и твердая, как снаружи.

Питу немедленно подтвердил такое предположение на виду у всех, кто пришел вместе с ним и теперь, видя, что происходит, заглядывал в окна, любопытствуя, что будет, когда вернется тетка Анжелика.

Впрочем, нетрудно было заметить, что эти несколько человек испытывали к Питу симпатию.

Мы уже сказали, что Питу был голоден, так голоден, что это было написано у него на лице.

Поэтому он, не теряя времени, направился напрямиком к ларю и буфету.

В прежнее время—мы не боимся этого слова, хотя с тех пор как Питу уехал, едва прошло три недели, но ведь время измеряется не днями, а событиями,—в прежнее время, не окажись Питу во власти дурного умысла или жестокого голода, двух могучих дьявольских сил, весьма схожих между собою,—в прежнее время Питу присел бы на пороге под закрытой дверью и смиренно дожидаясь бы возвращения тетки; завидя ее, он приветствовал бы ее нежной улыбкой, а потом посторонился бы, чтобы ее пропустить; вошел бы следом за ней, отыскал бы хлеб и нож, чтобы отрезать себе свою порцию; а уж когда отрежет, тут он бросил бы вождедеющий взгляд, всего-навсего один смиренный и магнетический взгляд (по крайней мере, так считал он сам), силой заключенного в нем магнетизма призывая сыр и сладости, лежащие на полке буфета.

Эти заклинания редко приводили к успеху, и все же такое бывало.

Но нынче Питу чувствовал себя мужчиной и поступил иначе: он как ни в чем не бывало открыл ларь, извлек из кармана широкий нож с деревянной ручкой, взял хлеб и криво отрезал ломоть весом не меньше килограмма, если прибегнуть к изящной терминологии новой системы мер и весов.

Потом он сунул хлеб назад в ларь и закрыл крышку.

Затем все так же невозмутимо он пошел и открыл буфет.

На мгновение Питу показалось, будто он слышит ругань тетки Анжелики; но дверца буфета скрипнула, и этот вполне реальный скрип заглушил звуки, порожденные воображением.

В те времена, когда Питу жил здесь, скупая тетка отделилась простой и сытной снедью: то был марольский сыр или тонкий ломоть сала, завернутый в огромные зеленые капустные листья; но с тех пор как легендарный обжора-племянник уехал из родных мест, тетка, невзирая на скупость, стряпала себе на неделю вперед всякие угощения подчас не без изысканности.

Иногда это была разварная говядина с морковью и луком, тушенная на вчерашнем жире; иногда баранье рагу с аппетитной картошкой, причем каждая картофелина была величиной с детскую голову или продолговатая, как тыква; иногда телячья нога, приправленная луком-эшалотом в уксусе; иногда—исполинская яичница, зажаренная на большой сковороде и разукрашенная зеленым луком и петрушкой или выложенная ломтями сала, каждого из которых хватало бы на трапезу старухе даже в те дни, когда у нее разыгрался аппетит.

Всю неделю тетя Анжелика понемножку прикладывалась к кушанью и позволяла себе проглотить лакомый кусочек ровно в той мере, в какой ей это требовалось, но не больше.

Каждый день она наслаждалась тем, что ни с кем не обязана делить такие вкусные угощения, и всю блаженную неделю, всякий раз, когда тянула руку к тарелке и подносила ко рту кусок, ей вспоминался племянник, Анж Питу.

Анжу Питу повезло.

Он явился в тот самый день, в понедельник, когда тетка Анжелика сварила вместе с рисом старого петуха, который так долго кипел, окруженный со всех сторон мягкой белой массой, что мясо отстало от костей и сделалось почти нежным.

Кушанье удалось на славу; оно красовалось в глубокой миске, почерневшей, но манящей и приятной для взора.

Курятина выступала из-под риса подобно островкам в обширном озере, а петушиный гребень высылся между утесов, как гребень Сеута над Гибралтарским проливом.

При виде этого чуда Питу даже не соизволил восхищенно ахнуть.

Неблагодарный! Избаловавшись на разносолах, он забыл, что никогда прежде в буфете тетки Анжелики не видано было такое великолепие.

В правой руке у него был зажат ломоть хлеба.

Левой рукой он схватил вместительную миску и удержал ее в равновесии с помощью своего толстого большого пальца, который до первой фаланги погрузился при этом в густой и благоуханный жир.

В этот миг Питу показалось, что свет ему загородила какая-то фигура.

Он обернулся, улыбаясь, потому что был из тех простодушных натур, у которых радость сердца всегда отражается на физиономии.

Фигура, загородившая свет, оказалась теткой Анжеликой.

И скупости, вздорности, угловатости в ней нисколько не убавилось.

В былые времена—но тут мы вновь вынуждены прибегнуть к сравнению, поскольку именно сравнение в силах выразить нашу мысль,—так вот, в былые времена при виде тетки Анжелики Питу выронил бы блюдо, и покуда тетка Анжелика, согнувшись, собирала бы в отчаянии ошметки петуха и комочки риса, он перескочил бы через нее и удрал, прихватив с собой хлеб.

Но Питу был уже не тот, и каска с саблей меньше изменили его облик, чем встречи с великими философами эпохи переменили его образ мыслей.

Вместо того, чтобы в ужасе убежать от тетки, он приблизился к ней с приветливой улыбкой, простер руки и, как ни пыталась она ускользнуть от объятий, сгреб ее двумя граблями, которые назывались у него руками, и прижал старую деву к груди; тем временем кисти его рук с зажатыми в них хлебом, ножом и миской скрестились у нее за спиной.

Затем, свершив сей акт родственной любви, который он

вменил себе в обязанность и от которого не смел уклониться, он вздохнул в полную мощь своих легких и сказал:

— Да, тетя Анжелика, перед вами бедняга Питу.

Старая дева, непривычная к таким проявлениям нежности, вообразила, что застигнутый на месте преступления Питу решил ее задушить, как некогда Геракл задушил Антея.

Поэтому, когда он разомкнул свои столь опасные объятия, она вздохнула с облегчением.

Но от нее не укрылось, что Питу даже не выразил своего восхищения при виде петуха.

Питу оказался не только неблагодарным, но еще и невежей.

Тетка Анжелика задохнулась от негодования: Питу, который прежде, когда она восседала в своем кожаном кресле, не смел даже притулиться на одном из ломаных стульев или хромых табуретов, — теперь этот самый Питу, выпустив ее из объятий, вольготно плюхнулся в кресло, поставил миску между колен и набросился на еду.

В своей мощной деснице, выражаясь языком Писания, он сжимал вышеупомянутый нож с широким лезвием и деревянной рукоятью, сущее весло, которое сгодилось бы Полифему* для его похлебки.

В другой руке он сжимал ломоть хлеба в три пальца толщиной, в десять дюймов длиной — сушую метлу, которою он выметал рис из миски, покуда нож нащупывал мясо и накладывал его на хлеб.

В результате этого умелого и безжалостного маневра через несколько минут обнажился белый с голубым фаянс на дне блюда, как обнажаются во время отлива причальные кольца и камни мола, от которого отхлынула вода.

Нет, мы не в силах описать всю степень замешательства и отчаяния тетки Анжелики.

На миг ей показалось, что ей удастся закричать.

Однако крик не получился.

Питу улыбался такой чарующей улыбкой, что крик замер у тетки Анжелики на губах.

Тогда она тоже попыталась улыбнуться, надеясь укротить свирепого зверя по имени голод, поселившегося в брюхе ее племянника.

Но изголодавшееся брюхо Питу было, точь-в-точь половице, к ученью глухо.

Улыбка старой девы разрешилась слезами.

Это немного смутило Питу, но нисколько не помешало его трапезе.

— Ох, тетушка, какая же вы добрая: плачете от радости, видя, что я вернулся! Спасибо, милая тетя, спасибо!

И он продолжал уплетать.

Решительно, Французская революция изменила его до неузнаваемости.

* Полифем — в греч. мифологии одноглазый великан (циклоп) — людоед.

Он проглотил три четверти петуха, оставил на доньшке горстку риса и сказал:

—Милая тетя, вы ведь больше любите рис, правда? Вам его легче разжевать; рис я оставляю вам.

Тетя Анжелика чуть не задохнулась в ответ на эту заботу, которую она несомненно приняла за издевательство. Она решительно приблизилась к юному Питу и вырвала у него из рук тарелку, изрыгая проклятия, которые двадцатью годами позже с удовольствием подхватила бы гренадер старой гвардии.

Питу испустил вздох.

—Ох, тетушка,—заметил он,—сдается, вы пожалели мне петуха.

—Негодяй!—вымолвила тетка Анжелика.—Он еще зубоскалит.

"Зубоскалить"—воистину французское словечко, а в Илль-де-Франсе отменно говорят по-французски.

Питу встал.

—Тетушка,—величественно произнес он,—у меня и в мыслях не было уклониться от уплаты, я при деньгах. Если пожелаете, я проживу у вас на довольствии, но оставляю за собой право составлять меню.

—Прохвост!—вскричала тетка Анжелика.

—Что ж, положим четыре су за рис—я разумею ту порцию, которую сейчас съел,—четыре су за рис и два су за хлеб. Итого шесть су.

—Шесть су!—возопила тетка.—Шесть су! Да там одного рису на восемь су и хлеба не меньше чем на шесть су.

—Коме того,—продолжал Питу,—я не считал петуха, милая тетушка, поскольку он с вашего птичьего двора. Мы с ним старые знакомые, я сразу его признал по гребешку.

—Однако он тоже денег стоит.

—Ему девять лет. Я сам его для вас стянул из-под крылышка его мамы. Он был тогда с кулачок ростом; вы еще вздули меня за то, что я не принес заодно зерна, чтобы его кормить. Мадемуазель Катрин дала мне зерна. Петух был мой, я съел свое добро, у меня было на то полное право.

Тетка, обезумев от ярости, испепеляла взглядом дерзкого революционера.

Голос ей не повиновался.

—Выйди отсюда!—просипела она.

—Прямо так и выйти, сразу после обеда, не переварив пищи? Не очень-то вы со мной вежливы, тетушка.

—Выйди!

Питу, успевший снова сесть, встал; он не без удовольствия ощутил, что желудок его наполнился до отказа и больше не вместит ни рисинки.

—Тетушка,—с достоинством объявил он,—вы бессердечная родственница. Я докажу вам, что вы относитесь ко мне так же дурно, как в былое время, с той же скупостью, с той же черствостью. Но я не желаю, чтобы вы потом повсюду рассказывали, будто я вас объедаю.

Он вышел на порог и зычным, как у Стентора*, голосом, который был слышен не только зевакам, явившимся вместе с Питу и присутствовавшим при этой сцене, но и всем прохожим на расстоянии пятисот шагов вокруг, воскликнул:

—Беру этих добрых людей в свидетели, что я прибыл из Парижа пешком, после того, как брал Бастилию, что я выбился из сил, изголодался,—вот я и присел, и подкрепился у моей родной тетки, а она так жестоко попрекала меня едой, так безжалостно прогнала, что мне пришлось убраться восвояси.

И Питу вложил в этот зачин столько патетики, что среди соседей поднялся ропот.

—Я бедный странник,—продолжал Питу,—я шел пешком двенадцать лье; я честный парень, меня почтили доверием господин Бийо и господин Жильбер; я доставил Себастьяна к аббату Фортье; я покоритель Бастилии, друг господина Байи и генерала Лафайета. Призываю вас в свидетели, что она меня прогнала!

Ропот усилился.

—Но я не попрошайка,—подхватил Питу,—и когда меня попрекают хлебом, я за него плачу, а потому вот монетка достоинством в экю: это плата за то, что я съел у тетки.

С этими словами Питу небрежно извлек из кармана экю и швырнул на стол, откуда монета, на глазах у всех, подпрыгнув, шлепнулась в блюдо и наполовину зарылась в рис.

Эта подробность добила старуху; она понурила голову под бременем всеобщего неодобрения, которое выразилось в долгом ропоте; двадцать рук протянулись к Питу, который вышел из хижины, отряхав ее прах со своих ног, и исчез в сопровождении толпы людей, предлагавших ему стол и кров и радовавшихся случаю бесплатно приютить покорителя Бастилии, друга г-на Байи и генерала Лафайета.

Тетка подобрала экю, обтерла его и сунула в деревянную плоску, где ему, среди пригоршни подобных монет, надлежало дать, когда его обменяют на стертый луидор.

Но, убирая монетку, доставшуюся ей столь необычным образом, она вздохнула и подумала, что Питу, быть может, имел право доесть до конца, раз уж он столь щедро заплатил.

XXIX. Питу-революционер

Уплатив первый долг послушанию, Питу возжелал насытить первые стремления сердца.

Приятное это дело—послушание, когда приказ хозяина помогает осуществить тайные влечения послушного слуги.

Итак, он взял ноги в руки и по узкой улочке, выйдя из Плё на улицу Делоне, по обеим сторонам окаймленную изгородями и обвивающую зеленым поясом эту часть городка, пустился

* Стентор—в "Иллиаде" герой, сражавшийся под Троей; глашатай, мощный голос которого не могли перекричать пятьдесят человек.

пряником через поле, чтобы поскорей добраться до фермы в Писле.

Но вскоре поступь его замедлилась, каждый шаг навевал ему воспоминания.

Когда мы возвращаемся в город или деревню, где родились, мы ступаем по нашей юности, ступаем по нашим минувшим дням, которые, как сказал английский поэт, расстилаются у нас под ногами, подобно ковру, чтобы почтить память вернувшегося путника.

На каждом шагу, с каждым биением сердца рождаются воспоминания.

Здесь мы страдали, там блаженствовали, здесь рыдали от горя, там прослезились от радости.

Питу не привык анализировать, но ему пришлось стать мужчиной: всю дорогу он копил в душе воспоминания и явился на ферму мамаша Бийо исполненный впечатлений.

Когда в сотне шагов от него показалась длинная гряда крыш, когда он измерил взглядом столетние вязы, которые пригибаются, взирая с высоты на то, как дымятся замшелые печные трубы, когда он услышал издали шум стада, их топот и мычание, собачий лай, стук повозок,—он сдвинул каску на самую макушку, поправил на боку драгунскую саблю и постарался напустить на себя бравый вид, как подобает влюбленному вояке.

Это ему удалось, судя по тому, что сперва его никто не узнал.

Какой-то работник поил лошадей у пруда; он услышал шум, обернулся и сквозь растрепанную крону ивы заметил Питу, вернее его каску и саблю.

От изумления работник застыл на месте.

Проходя мимо, Питу его окликнул:

—Эй, Барно! Здорово, Барно!

Потрясенный тем, что каске и сабле известно его имя, работник стянул с головы шапку и выпустил поводья.

Питу, ухмыляясь, пошел дальше.

Но работник не успокоился: добродушная улыбка Питу пряталась под каской.

Тем временем мамаша Бийо из окна столовой заметила солдата.

Она встала.

В деревнях тогда было тревожно. Ходили страшные слухи; поговаривали о разбойниках, которые рубили леса и уничтожали еще неспелые хлеба в полях.

Что сулило появление этого солдата? Нападение? Защиту?

Мамаша Бийо с головы до ног скинула Питу цепким взглядом; ее удивило сочетание деревенских штанов со сверкающей каской, и, следует признать, что предположения ее клонились скорее в сторону опасения, чем в пользу надежды.

А солдат, кем бы он ни был, уже вошел в кухню.

Мамаша Бийо сделала два шага навстречу гостю. Питу, не желая уподобляться невеждам, снял с головы каску.

—Анж Питу!—ахнула она.—Это Анж!

—Добрый день, госпожа Бийо!—ответствовал Питу.
—Анж! Ах ты, Боже мой! Ну кто бы подумал! Ты, значит, записался в солдаты?

—Да уж, занеялся!—фыркнул Питу.

И снисходительно усмехнулся.

Потом он оглянулся вокруг, не видя того, что искал.

Мамаша Бийо улыбнулась: она поняла, почему озирается Питу.

—Ты ищешь Катрин?—бесхитростно спросила она.

—Да, госпожа Бийо,—отозвался Питу.—Я хочу засвидетельствовать ей свое почтение.

—Она вешает белье. Да присядь же ты, погляди на меня, скажи что-нибудь.

—С удовольствием,—сказал Питу.—Ну, здравствуйте, госпожа Бийо, здравствуйте, здравствуйте.

И Питу взял стул.

В дверях и на ступеньках лестницы столпились все служанки и работники, привлеченные рассказом конюха.

С появлением каждого нового слушателя возобновлялся шепот:

—Это Питу?

—Он самый.

—Ну и ну!

Питу дружелюбно озирает прежних товарищей. Чуть не для каждого у него нашлась улыбка.

—Так ты прямо из Парижа, Анж?—допытывалась хозяйка дома.

—Прямым ходом, госпожа Бийо.

—Каково поживает ваш хозяин?

—Превосходно, госпожа Бийо.

—Каково поживает Париж?

—Ужасно, госпожа Бийо.

—Вот оно как!

И круг слушателей сплотился.

—Что король?—спросила фермерша.

Питу покачал головой и пощелкал языком самым унизительным для монархии образом.

—Что королева?

На сей раз Питу вообще уклонился от ответа.

—Ох!—вырвалось у госпожи Бийо.

—Ох!—отозвалось все собрание.

—Ну же, Питу, продолжай,—сказала фермерша.

—Спрашивайте, черт побери,—возразил Питу, которому не хотелось выкладывать все самое интересное в отсутствие Катрин.

—Откуда у тебя каска?—полюбопытствовала г-жа Бийо.

—Это трофей,—разъяснил Питу.

—Что такое трофей, дружок?—спросила славная женщина.

—Ах, и впрямь, госпожа Бийо,—с покровительственной улыбкой отвечал Питу,—откуда же вам знать, что такое трофей? Трофеи бывают, когда победишь неприятеля, вот оно как, госпожа Бийо.

—Выходит, ты, Питу, победил неприятеля?

—Неприятеля!—презрительно хмыкнул Питу.—Эх, милая моя госпожа Бийо, вы даже и не слыхивали, что мы с господином Бийо вдвоем взяли Бастилию.

Эти магические слова воспламенили аудиторию. Питу почувствовал, что слушатели дышат ему в затылок, а руки их цепляются за спинку его стула.

—Рассказывай, ну-ка, рассказывай, что там наделал наш хозяин,—гордясь и трепеща, промолвила г-жа Бийо.

Питу снова глянул, не идет ли Катрин, но ее было не видеть.

Ему стало обидно, что м-ль Бийо не желает расстаться с бельем ради свежих новостей, доставленных таким гонцом.

Он покачал головой, в нем просыпалось недовольство.

—Это долгая история,—проговорил он.

—А ты голоден?—спросила г-жа Бийо.

—Пожалуй, что и так.

—И пить хочешь?

—Почему бы и нет.

Работники и служанки тут же забегали, и не успел Питу оценить всю важность своей просьбы, как перед ним очутились кубок, и хлеб, и мясо, и всевозможные фрукты.

У Питу была, как говорят в деревне, бездонная утроба: он быстро переваривал пищу; но все-таки его организм еще не успел до конца усвоить теткиного петуха, которого он прикончил всего каких-нибудь полчаса назад.

Между тем ему так быстро подали угощение, что это несколько не помогло ему протянуть время, на что он было надеялся.

Он понял, что нужно сделать над собой значительное усилие, и принялся за еду.

Но вопреки своим самым добрым намерениям, он тут же был вынужден прервать трапезу.

—Что с тобой?—спросила г-жа Бийо.

—Черт побери! Я...

—Принесите Питу попить!

—У меня уже есть сидр, госпожа Бийо.

—Может быть, тебе больше хочется водки?

—Водки?

—Да, ты, небось, приохотился к ней в Париже?

Добрая женщина предполагала, что за две недели отсутствия Питу мог приобрести дурные привычки.

Питу гордо отверг это предположение.

—Водки я в рот не беру,—сказал он.

—Тогда рассказывай.

—Если я начну рассказывать, то мне придется все повторять, когда придет мадемуазель Катрин, а рассказ у меня долгий.

Два-три человека ринулись в прачечную за Катрин.

Следом за ними устремились все остальные, но в это время Питу машинально оглянулся на лестницу, которая вела на второй этаж, и в проеме двери, распахнувшейся от сквозняка, заметил Катрин, глядевшую из окна.

Катрин смотрела в сторону леса, то есть в сторону Бурсона. Она была так погружена в созерцание, что не обратила ни малейшего внимания на суматоху и на все, что происходило в доме: ее занимало лишь то, что делалось снаружи.

—Э! Эх!—со вздохом сказал Питу.—Да, так она и глядит в сторону леса, в сторону Бурсона, туда, где жил господин Изидор де Шарни!

И он испустил новый вздох, еще жалобнее первого.

Тут вернулись гонцы, обыскавшие не только прачечную, но каждый уголок в доме, где могла быть Катрин.

—Ну?—спросила г-жа Бийо.

—Барышни нигде нет.

—Катрин! Катрин!—позвала г-жа Бийо

Девушка не слышала.

Тогда Питу решил вмешаться.

—Госпожа Бийо,—сказал он,—а ведь я знаю, почему мадемуазель Катрин не нашли в прачечной.

—Почему же?

—Черт побери, потому что она в другом месте.

—И ты, что ли, знаешь, где она?

—Знаю.

—Где же?

—Наверху.

Взяв фермершу за руку, он помог ей подняться на несколько ступенек вверх по лестнице и указал ей на Катрин, сидевшую на подоконнике, в обрамлении из вьюнка и плюща

—Она причесывается,—сказала добрая женщина.

—Увы, нет, она уже причесана,—уныло отозвался Питу.

Фермерша не обратила внимания на то, как уныло прозвучал его ответ, и во весь голос позвала:

—Катрин! Катрин!

Девушка вздрогнула, застигнутая врасплох, и, проворно затворив окно, спросила:

—Что такое?

—Иди-ка сюда, Катрин,—воскликнула мамаша Бийо, не подозревая о впечатлении, которое могут произвести ее слова.—Здесь Анж, он вернулся из Парижа.

Питу с тревогой ждал ответа Катрин.

—А-а,—равнодушно протянула Катрин.

От такого равнодушия у бедняги Питу упало сердце.

Тем временем она сошла по лестнице с таким флегматичным видом, словно какая-нибудь фламандка с полотна ван Остаде или Браувера*.

—Надо же!—произнесла она, спустившись.—И впрямь, он самый.

Питу задрожал, залился румянцем и отвесил поклон.

—У него есть каска,—шепнула одна из служанок на ухо молодой хозяйке.

* *Ostade*, Адриан ван (1610—1685); *Brauwer*, Адриан (1605—1638)—голландские художники.

Питу услышал и взгляделся в лицо Катрин, пытаясь угадать впечатление, произведенное этой новостью.

Лицо ее было прелестно: быть может, слегка побледнело, но не утратило ни нежности, ни округлости черт.

Однако Катрин несколько не восхитилась шлемом Питу.

—Ах вот как, каска?—переспросила она.—А для чего?

Тут в сердце у честного малого вспыхнуло негодование.

—У меня есть каска и сабля,—гордо произнес он,—потому что я сражался, убивал драгун и швейцарцев, а если не верите, мадемуазель Катрин, спросите у вашего батюшки, и все тут.

Катрин, казалось, была так поглощена своими мыслями, что из ответа Питу услышала только самый конец.

—А как поживает батюшка?—спросила она.—И почему он не вернулся вместе с вами? Что, в Париже дело неладно?

—Совсем неладно,—отвечал Питу.

—А я-то думала, что все уже в порядке,—заметила Катрин.

—Ваша правда, да только потом опять пошли беспорядки,—возразил Питу.

—Разве народ не помирился с королем, разве господина Неккера не призвали обратно?

—В господине Неккере все и дело,—самонадеянно пояснил Питу.

—Да ведь народ был доволен, что он вернулся?

—До того доволен, что пошел вершить суд и расправу над всеми своими врагами.

—Над всеми врагами!—удивленно воскликнула Катрин.—А какие же у народа враги?

—Известное дело, аристократы,—изрек Питу.

Катрин побледнела.

—А кого называют аристократами?—спросила она.

—Черт побери, кого же еще, как не тех, кто владеет обширными землями и прекрасными замками, тех, по чьей вине голодает нация, тех, у кого есть все, а у нас ничего.

—Дальше,—нетерпеливо потребовала Катрин.

—Людей, у которых есть прекрасные кони и красивые кареты, когда мы ходим пешком.

—Боже мой!—воскликнула девушка, побледнев, как полотно.

Питу заметил, что она переменялась в лице.

—Среди ваших знакомых тоже есть аристократы.

—Среди моих знакомых?

—Среди наших знакомых?—вымолвила мамаша Бийо.

—Да кто же это?—настаивала Катрин.

—К примеру, господин Бертье де Совиньи.

—Господин Бертье де Совиньи?

—Тот, что подарил вам золотые серьги, которые вы надевали в тот день, когда плясали с господином Изидором.

—Ну и что?

—Что? Да то, что я сам видел, как его разорвали на части.

Ответом на это был всеобщий вопль ужаса. Катрин упала на стул, который себе придвинула.

—Ты сам видел?—спросила мамаша Бийо, содрогаясь от страха.

—И господин Бийо тоже видел.

—О Господи!

—Да, и теперь в Париже и в Версале, наверное, уже поубивали и посажали в тюрьму всех аристократов.

—Чудовищно!—прошептала Катрин.

—Чудовищно? Да почему? Вы-то с госпожой Бийо не аристократки.

—Господин Питу,—с угрюмой страстью в голосе произнесла Катрин,—сдается мне, вы не были столь кровожадны, куда не побывали в Париже.

—Да я и сейчас не кровожаден,—смутился Питу,—но только...

—Но только не похваляйтесь убийствами, которые чинят парижане: вы-то не парижанин и ни в каких убийствах не замешаны.

—Мало того, что не замешан: нас с господином Бийо самих чуть не убили, когда мы защищали господина Бертье.

—Ах, добрый мой батюшка! Славный батюшка! Узнаю его!—в восторге воскликнула Катрин.

—Достойный человек мой хозяин!—прослезившись, молвила мамаша Бийо.—А как было дело?

Питу описал им ужасную сцену на Гревской площади, отчаяние Бийо и его желание вернуться в Виллер-Котре.

—Так чего ж он не вернулся?—спросила Катрин с чувством, глубоко взволновавшим сердце Питу, которому почудилось в ее восклицании сходство со зловещими предсказаниями колдунов, умевших проникать людские сердца.

Мамаша Бийо молитвенно сложила руки.

—Господин Жильбер не захотел,—сказал Питу.

—Неужели господин Жильбер хочет, чтобы моего муженька убили?—рыдая, вымолвила г-жа Бийо.

—Да нет, что вы!—вступился Питу.—Господин Бийо и господин Жильбер обо всем договорились. Господин Бийо побудет в Париже еще немножко, ведь надо же довершить революцию.

—Вдвоем, что ли?—спросила мамаша Бийо.

—Нет, с ними еще господин де Лафайет и господин Байи.

—Вот оно что!—восхитилась фермерша.—Ну, если он там с господином де Лафайетом и с господином Байи...

—Когда он думает вернуться?—спросила Катрин.

—Вот уж об этом, барышня, я понятия не имею.

—А как же ты сам вернулся, Питу?

—Я доставил к аббату Фортье Себастьяна Жильбера и пришел к вам передать поручение господина Бийо.

Выговорив эти слова, Питу с подчеркнутым достоинством встал, и его дипломатический ход был верно понят, если не слугами, то хозяевами.

Мамаша Бийо тоже встала и отослала всех домочадцев.

Катрин, по-прежнему сидя, ломала себе голову над невысказанной мыслью Питу.

"Что он мне передаст?"—думала она.

XXX. Отречение г-жи Бийо

Обе женщины призвали на помощь все свое внимание, чтобы выслушать волю почтенного отца семейства. Для Питу не было секретом, что ему выпала нелегкая задача: он видел в деле мамашу Бийо и Катрин, знал властность первой и строптивый, необузданный нрав второй.

Катрин, такая ласковая, трудолюбивая, добрая дочь, благодаря всем этим достоинствам приобрела огромное влияние на всех обитателей фермы.

Приступая к исполнению своей миссии, Питу заранее знал, как обрадует одну из хозяек и как огорчит другую.

Ему казалось немыслимым, невозможным, чтобы мамаша Бийо отошла на задний план. Это возвышало Катрин, поднимая ее до Питу, что в нынешних обстоятельствах было, по его мнению, излишне.

Но он прибыл на ферму как гомеровский вестник, наделенный устами, памятью, но не разумом. Итак, он начал в следующих выражениях:

—Госпожа Бийо, желание господина Бийо заключается в том, чтобы вы испытывали как можно менее мучений.

—Как так?—удивилась славная женщина.

—Каких таких мучений?—осведомилась юная Катрин.

—Управление такой фермой, как ваша,—отвечал Питу,—требуется множества хлопот и трудов: надо и торговать...

—Ну и что?—воскликнула хозяйка.

—И платить работникам...

—Ну и что?

—И пахать...

—И что с того?

—И убирать урожай...

—Кто же спорит?

—Само собой, никто не спорит, госпожа Бийо, да только, чтобы торговать, надо ездить на ярмарку.

—На то у меня лошадь есть.

—Чтобы расплачиваться, надо рядиться.

—Ну, глотка у меня здоровая.

—Чтобы пахать...

—Разве я не привыкла присматривать за работниками?

—А жатва? Тут уж управиться потрудней: надо и еду батракам готовить, и возчикам помочь...

—Ради моего муженька я ничего этого не побоюсь,—воскликнула достойная женщина.

—И все-таки, госпожа Бийо...

—Что "все-таки"?

—Столько работы в ваши годы...

—Подумаешь!—отозвалась мамаша Бийо, окинув Питу враждебным взглядом.

—Помогите же мне, мадемуазель Катрин,—взмолился бедняга, видя, что дело все больше запутывается, а силы у него иссякают.

—Не знаю, чем вам помочь,—возразила Катрин.

—Ну ладно! Речь вот о чем,—продолжал Питу.—Господин Бийо не хочет, чтобы все это бремя легло на госпожу Бийо.

—А на кого же?—перебила она, трепеща от почтительного изумления.

—Он указал на особу покрепче, плоть от плоти вашей и его. Он указал на мадемуазель Катрин.

—Чтобы моя дочка Катрин управляла домом?—недоверчиво и с невыразимой завистью в голосе вскричала почтенная мать.

—Я во всем буду слушаться вас, матушка,—краснея, поспешно сказала Катрин.

—Нет уж, нет уж,—настойчиво возразил Питу, который, сделав первый шаг, далее шел напролом.—Нет уж! Я передаю все, что мне было велено. Господин Бийо поручает и наказывает мадемуазель Катрин заменить его во всем: и в работе, и в управлении домом.

Каждое его слово, проникнутое правдой, вонзалось хозяйке прямо в сердце, но в сердце этом было слишком много доброты: вместо того, чтобы поддаться еще более жестокой зависти, еще более жгучему гневу, славная женщина, уверившись в том, что верховодить ей больше не придется, стала еще смиреннее и еще тверже уверовала в непогрешимость мужа.

Разве Бийо мог ошибиться? Разве можно было его слушаться?

Эти два довода добрая женщина обратила против себя самой.

И все ее сопротивление рухнуло.

Она посмотрела на дочь и в глазах ее прочла лишь скромность, доверие, добрую волю, нежность и неизменное почтение. И она окончательно уступила.

—Господин Бийо прав,—сказала она.—Катрин молода, умом ее Бог не обидел, хоть она и себе на уме.

—Что есть, то есть,—подхватил Питу, уверенный, что отпускает девушке комплимент, хотя на самом деле это была скорее колкость.

—Катрин легче будет, чем мне, разъезжать,—продолжала мамаша Бийо.—Она лучше меня сумеет день-деньской присматривать за работниками. Она дороже продаст, удачней купит. Уж моя-то дочка сумеет себя поставить, чтоб ее слушались!

Катрин улыбнулась.

—Что ж,—продолжала добрая женщина, даже не испытывая потребности вздохнуть,—теперь Катрин побегает по полям! Теперь она сама будет распоряжаться деньгами! Теперь все время будет в разъездах! Теперь она, моя девочка, превратится в парня!

Питу хвастливо объявил:

—Не беспокойтесь за мадемуазель Катрин! Я здесь, рядом, и буду везде с ней ездить.

В ответ на это великодушное предложение, которым Анж надеялся поразить женщин, Катрин бросила на него столь странный взгляд, что он совсем смешался.

Девушка покраснела, но не от удовольствия; она пошла пятнами, что свидетельствовало разом о двух движениях души, то есть изобличало сразу гнев и нетерпение, желание высказаться и необходимость молчать.

Питу был не светский человек, он не чувствовал оттенков. Но понимая, что румянец Катрин не свидетельствует о полном ее согласии, он сказал, раздвинув пухлые губы в лучезарной улыбке, отчего обнажились его огромные зубы:

—Что же вы молчите, мадемуазель Катрин?

—А вы, господин Питу, сами не понимаете, что сморозили глупость?

—Глупость?—изумился влюбленный.

—Разрази меня гром!—воскликнула мамаша Бийо.—Еще не хватало моей дочке Катрин разъезжать с телохранителем!

—А как же она будет в лесу?—возразил Питу с таким простодушно озабоченным видом, что грешно было бы над ним смеяться.

—А это тоже мой муженек наказал?—продолжала мамаша Бийо, также умевшая отпустить колкость.

—Ну, нет!—подхватила Катрин.—Это занятие для лентяя, мой отец никогда бы не дал такого совета господину Питу, а господин Питу ничем бы на это не согласился.

Питу в ослобнении тарачила глаза то на Катрин, то на мамашу Бийо; все возведенное им здание рушилось.

Катрин, женщина до мозга костей, разгадала горестное разочарование Питу.

—Господин Питу,—сказала она,—это вы в Париже видели, чтобы девушки, всему свету на потеху, повсюду таскали за собой молодых людей?

—Но вы же не девушка,—еле ворочая языком, прошептал Питу,—вы же хозяйка дома.

—Ну, ладно! Поболтали и хватит!—отрезала мамаша Бийо.—У хозяйки дома и без того дел по горло. Пошли, Катрин, я передам тебе все хозяйство, как велел отец.

И на глазах у застывшего столбом Питу началась церемония, не лишенная величия и даже поэзии, хоть и по-деревенски простая.

Мамаша Бийо отделила от связки один за другим все ключи, по очереди передала их Катрин и отчиталась перед ней в белье, бутылках, мебели и съестных припасах. Она подвела дочку к старому комоду с инкрустацией, сделанному году в 1738 или 1740, в тайном отделении которого папаша Бийо хранил документы, луидоры и все семейные ценности и архивы.

Катрин с важностью перенесла процедуру передачи всей власти и всех тайн; она дотошно расспрашивала мать, размышляла над каждым ее ответом и, получив какое-либо сведение, казалось, навсегда заключала его в глубины памяти и сознания, словно оружие, припасенное на случай войны.

После осмотра вещей мамаша Бийо перешла к живности, которую подробно перечислила.

Овцы, здоровые и больные, ягнята, козы, куры, голуби, лошади, быки и коровы.

Но это была простая формальность.

В этой отрасли хозяйства девушка уже давно была главным начальством.

Никто лучше Катрин не знал домашней птицы с ее оглушительным кудахтаньем, ягнят, привыкавших к ней в первый же месяц, голубей, которые настолько ей доверяли, что часто принимались кружиться вокруг нее прямо посреди двора, и садились ей на плечо, и слетались к ее ногам, расхаживая перед ней вразвалку взад и вперед.

Лошади, когда появлялась Катрин, приветствовали ее ржанием. Она умела усмирить самых норовистых. Один из выращенных на ферме жеребят, а теперь жеребец, к которому никто не смел подступиться, крушил все в конюшне, чтобы подбежать к Катрин и взять у нее из ладоней или кармана черствую корку, которая всегда для него была наготове.

Невозможно было удержаться от восхищения и улыбки, глядя на эту белокурую красотку с большими синими глазами, с белой шейкой, округлыми руками и пухлыми пальчиками, когда она, неся полный передник зерна, шла к утоптанной площадке вокруг поилки, и зерно, которое она разбрасывала пригоршнями, звонко сыпалось на влажную, плотную землю.

И тут все цыплята, все голуби, все непривязанные ягнята бросались к корыту; удары клювов испещряли землю; розовые языки козочек лизали овес или хрусткую гречиху. Площадка, все черная от толстого слоя зерна, в две минуты становилась белой и чистой, как фаянсовая тарелка жнеца, встающего от трапезы.

Глаза некоторых людей излучают такое мощное влекущее или пугающее очарование, перед которым не в силах устоять животное.

Кто из вас не видел свирепого быка, который в течение нескольких минут печально смотрит на ребенка, улыбающегося ему и не осознающего опасности? Быку жаль дитя.

Кто не видел, как тот же самый бык угрюмо и растерянно глядит на дюжего фермера, который меряет его взглядом и пригвождает к месту безмолвной угрозой? Животное опускает голову, оно словно готовится к драке, но ноги его прирастают к земле: бык дрожит, слабеет, он охвачен страхом.

Катрин оказывала на все живое влияние первого рода: она держалась так спокойно и вместе с тем твердо, в ней было столько добродушия и вместе с тем воли, она была так свободна от опасений и страха, что животным при ней не приходило в голову ничего дурного.

Еще сильнее подавались этому странному влиянию существа, наделенные разумом. Обаяние этой невинной девушки было непобедимо; ни один мужчина во всей округе не позволял себе улыбнуться, говоря о Катрин; ни один парень не таил задних мыслей, думая о ней: кто любил ее—хотел взять ее в жены, кто не любил—желал бы иметь такую сестру, как она.

Понурился, уронив руки, ни о чем не думая, Питу машинально плелся вслед за дочкой и матерью, пока они обходили и осматривали хозяйство.

С ним не говорили. Он был словно стражник в трагедии, и сам себе казался нелепым в этой каске.

Затем Бийо учинен смотр работникам и служанкам.

Мамаша Бийо собрала всех в полукруг, а сама стала посредине.

— Дети мои, — сказала она, — хозяин задерживается в Париже, но он выбрал человека, который будет его замещать.

Это моя дочь Катрин, молодая, крепкая — вот она. Я постарела, и голова у меня уже не та. Хозяин решил верно. Теперь всем будет заправлять Катрин. Она будет и принимать, и выплачивать деньги. Я первая буду исполнять все ее приказы, а тем из вас, кто ее ослушается, придется иметь дело именно с нею.

Катрин не прибавила ни слова. Она ласково поцеловала мать.

Этот поцелуй убедил всех лучше, чем любые слова. Мамаша Бийо прослезилась. Питу расчувствовался.

Все слуги радостными криками приветствовали новую госпожу.

Катрин сразу же вступила в должность и раздала поручения. Каждый получил приказ и отправился его исполнять с большой охотой, как это всегда бывает в начале царствования.

В конце концов остался один Питу; он подошел к Катрин и спросил:

— А я?

— И впрямь, — отвечала она, — для вас у меня нет поручений.

— Выходит, я останусь без дела?

— А что бы вы хотели делать?

— Да то же самое, что до отъезда.

— До отъезда вас приняла в дом маменька.

— Но теперь вы хозяйка, вот и дайте мне работу.

— У меня нет для вас работы, господин Анж.

— Почему?

— Потому что вы у нас — ученый, важная птица, из Парижа вернулись, и сельские работы вам теперь не подходят.

— Неужели? — ахнул Питу.

Катрин развела руками, как бы говоря: "Что поделаешь!"

— Разве я ученый? — переспросил Питу.

— Еще бы!

— Да поглядите на мои ладони, мадемуазель Катрин!

— Это ничего не значит.

— Послушайте, мадемуазель Катрин, — в отчаянии возразил бедняга, — с какой стати под предлогом моей учености вы обрекаете меня голодной смерти? Значит, вам неизвестно, что философ Эпиктет служил, чтобы добыть себе пропитание? Что баснописец Эзоп зарабатывал в поте лица свой хлеб? А эти два господина были поученее меня.

— Что поделаешь, так уж оно выходит.

— Но господин Бийо принял меня в число домочадцев и, отсылая меня из Парижа, он хотел, чтобы я вернулся на то же место.

— Так-то оно так, да только отец мог заставить вас исполнять такие работы, какие я не осмелюсь вам предложить.

—Ну и не надо, мадемуазель Катрин.

—Да, но тогда вы останетесь без дела, а безделья я не потерплю. Отец мой, будучи хозяином, имел право поступать так, как хотел, а мне, его заместительнице, это негоже. Я управляю его добром и обязана его приумножать.

—Но я буду работать и приумножать его добро: сами видите, мадемуазель Катрин, вы попали в порочный круг.

—Как вы сказали?—переспросила Катрин, не понимавшая высокопарных фраз Питу.—Что такое порочный круг?

—Порочным кругом, барышня, называют ошибочные рассуждения. Нет, оставьте уж меня на ферме и давайте мне, если захотите, самые тяжелые работы. Увидите сами, какой я ученый и какой бездельник. К тому же вам придется вести книги, приводить в порядок счета. Вся эта арифметика—именно то, чему я обучен.

—А по-моему, это занятие никак не подойдет для мужчины.

—Так я, по-вашему, ни на что не гожусь?

—Ладно, поживите здесь,—смягчившись, сказала Катрин.—Я подумаю, а там видно будет.

—Вы собираетесь раздумывать над тем, стоит ли меня оставить? Да что я вам сделал дурного, мадемуазель Катрин? Эх, раньше вы были не такая!

Катрин чуть заметно пожала плечами. Ей нечего было возразить, но настойчивость Питу явно ей докучала.

—Ну хватит разговоров,—сказала она, резко обрывая спор.—Я еду в Ла Ферте-Милон.

—Так я побегу седлать вам лошадь, мадемуазель Катрин.

—И не думайте. Оставайтесь здесь.

—Вы запрещаете мне проводить вас?

—Оставайтесь,—повелительно произнесла Катрин.

Питу застыл, словно пригвожденный к месту, понурился головой и сморгнув слезу, которая жгла ему веко, словно кипящее масло.

Катрин повернулась к Питу спиной, вышла и приказала работнику седлать лошадь.

—Ах, мадемуазель Катрин,—прошептал Питу,—вы находите, что я изменился? Сами вы изменились и совсем по-другому, чем я!

XXXI. Почему Питу решил покинуть ферму и вернуться в Арамон, на свою единственную и настоящую родину

Тем временем мамаша Бийо, смирившись с ролью старшей служанки, с усердием, охотой и без досады приступила к исполнению своих обязанностей. Опять закипели сельские труды, на мгновение замершие на ферме, и ферма снова стала похожа на прилежный гудящий улей.

Покуда седлали лошадь для Катрин, девушка вернулась в дом, искоса глянула на Питу, который застыл в неподвижно-

сти и только головой крутил вслед Катрин, пока она не скрылась у себя в спальне.

—Зачем Катрин ушла в спальню?—гадал Питу.

Бедный Питу! Зачем она ушла? Причесаться, надеть белый чепец, натянуть тонкие чулки.

Потом принарядившись таким образом и слыша, что лошадь уже приплясывает под навесом, она вышла из спальни, расцеловала мать и уехала.

Оставшись без дела, Питу, которого не слишком-то успокоил наполовину безразличный, наполовину сострадательный взгляд, которым окинула его Катрин перед уходом, почувствовал, что не может долее оставаться здесь в неопределенном положении.

С тех пор, как Питу вновь увидел Катрин, ему казалось, что он без нее жить не может.

Но, кроме этого, в глубине его неповоротливого и сонного ума с однообразием маятника, беспрестанно снующего туда-сюда, шевелилось нечто, похожее на подозрение.

Наивным умам свойственно в равной степени воспринимать все подряд. Такие ленивые натуры наделены ничуть не меньшей чувствительностью, чем все остальные: просто, умея испытывать чувства, они не умеют их анализировать.

Анализ дается привычкой к наслаждению и страданию. Нужно в определенной мере привыкнуть к переживаниям, чтобы разглядеть, как они кипят в глубине той бездны, что зовется человеческим сердцем.

Старики наивными не бывают.

Слыша топот удалявшейся лошади, Питу подбежал к дверям. Он увидел, что Катрин скачет по узкому проселку, который тянется от фермы до большой дороги, ведущей в Ла Ферте-Милон и упиравшейся в подножие невысокой горы с поросшей лесом вершиной.

С порога он послал девушке прощальный привет, полный сожалений и смирения.

Но едва он всем сердцем и взмахом руки попрощался с Катрин, как на ум ему пришла одна мысль.

Катрин вольна запрещать ему ехать с нею вместе, но она не может помешать ему идти следом за ней.

Катрин вольна сказать Питу: "Я не желаю вас видеть", но она не может ему сказать: "Запрещаю вам смотреть на меня".

Итак, Питу подумал, что все равно делать ему нечего и ничто на свете не воспрепятствует ему пройти вдоль леса по той же дороге, по которой скачет Катрин. Таким образом, он останется незамеченным, а сам издали будет видеть ее сквозь деревья.

От фермы до Ла Ферте-Милон было не более полутора лье. Полтора лье туда да полтора обратно—разве для Питу это расстояние?

К тому же Катрин выедет на дорогу по проселку, идущему углом к лесу. Срезав угол, Питу сэкономит четверть лье. И весь путь до Ла Ферте-Милон и обратно составит не более двух с половиной лье.

А два с половиной лье не напугают человека, который словно ограбил Мальчика-с-Пальчика и отобрал у него сапоги-скороходы, которые тот стащил у Людоода.

Едва план созрел в голове у Питу, он ринулся его исполнять.

Когда Катрин выезжала на большую дорогу, Питу, прячась в высокой ржи, добрался до лесу.

Еще миг, и он очутился на опушке, а там перескочил через ров и устремился в лес с проворством вспугнутой дикой козы, хотя и без ее грации.

Так он бежал около четверти часа и наконец заметил просвет в том месте, где была дорога.

Там он остановился и прислонился к шероховатому стволу огромного дуба, за которым его невозможно было увидеть. Он был уверен, что обогнал Катрин.

Но он прождал десять минут, даже четверть часа, и никого не увидел.

Может быть, она что-нибудь позабыла на ферме и вернулась? Вероятно, так оно и было.

Питу с величайшими предосторожностями приблизился к дороге, высунул голову из-за толстого бука, который рос прямо в придорожной канаве и осмотрел всю дорогу до самого поля, благо она была прямая, как стрела, и хорошо просматривалась, но не увидел ни души.

Катрин что-нибудь забыла и вернулась на ферму.

Питу вновь зашагал. Если Катрин еще не доехала до фермы, он увидит, как она возвращается, если доехала—увидит, как она покидает ферму.

Питу семимильными шагами понесся к полю.

Он шел по песочной обочине дороги, там ему было мягче идти, и вдруг застыл на месте.

Катрин ехала на иноходце.

Иноходец свернул с большой дороги, свернул с обочины на узкую тропку; у поворота на столбе было написано:

“Тропа от дороги в Ла Ферте-Милон до Бурсона.”

Питу поднял глаза и увидел вдали, на другом конце тропы, на фоне голубоватого леса белую лошадь и красный казакин м-ль Бийо.

Она была далеко, но для Питу, как мы знаем, не существовало больших расстояний.

—Эге!—вскричал Питу, снова устремляясь в лес.—Значит, она поехала не в Ла Ферте-Милон, а в Бурсон! Но я не ошибся. Она несколько раз повторяла, что едет в Ла Ферте-Милон, ей дали поручение в Ла Ферте-Милон. Да и мамаша Бийо говорила про Ла Ферте-Милон.

Так рассуждал Питу, а сам бежал и бежал, торопясь все пуще и пуще; он несся как угорелый.

Его влекло вперед подозрение—чувство, с которого начинается ревность, и Питу был не просто двуногое: он казался одной из тех летательных машин, которые так замечательно

придумывали Дедал и прочие механики древности и, к сожалению, так дурно осуществляли.

Он был точь-в-точь похож на тех соломенных человечков, которые вращаются под дуновением ветра на лотках у торговцев игрушками.

Руки, ноги, голова—все крутится, вертится, разлетается.

Огромные ноги Питу промахивали по пять футов с каждым шагом; руки, похожие на два валька, насаженные на палку, загребали воздух подобно веслам. Всем лицом—ртом, ноздрями, глазами—он вбирал в себя воздух и шумно выдыхал его.

Ни один конь на свете не отдавался бегу с такой страстью.

Когда Питу заметил Катрин, их разделяло более полулье, за то время, пока он преодолел это расстояние, девушка едва успела отъехать вперед на четверть лье.

Он бежал вдвое быстрее лошади, трусивший рысцой.

И наконец он поравнялся с девушкой, следуя параллельно ее тропе.

Теперь он гнался за ней не только для того, чтобы ее видеть: он хотел ее выследить.

Она солгала. Зачем?

Как бы то ни было, следовало вывести ее на чистую воду, чтобы получить перед ней преимущество.

Питу нырнул головой в папоротник и терновник, сокрушая преграды каской и при случае пуская в ход саблю.

Между тем Катрин ехала теперь шагом, и треск ломающихся ветвей то и дело долетал до нее, заставляя прислушиваться и лошадь, и всадницу.

Тогда Питу, не сводивший глаз с девушки, останавливался и переводил дыхание; он давал ей время успокоиться.

Но это не могло продолжаться долго, и в самом деле, вскоре кое-что случилось.

Внезапно Питу услышал, как лошадь под Катрин заржала, и в ответ раздалось другое ржание.

Второй лошади, той, что откликнулась, было еще не видеть.

Но Катрин огрела Каде хлыстиком из падуба, и Каде, передохла одно мгновение, вновь перешел на крупную рысь.

Спустя пять минут быстрой скачки Катрин повстречалась со всадником, который скакал ей навстречу так же поспешно, как она.

Катрин осадила лошадь столь быстро и неожиданно, что бедный Питу замер на месте и лишь приподнялся на цыпочки, чтобы лучше видеть.

Видеть он мог только издали.

Он не столько увидел, сколько почувствовал, и это подействовало на него подобно электрическому разряду—как девушка вспыхнула от радости, как задрожала всем телом, как заблестели ее глаза, обычно такие нежные и спокойные, и какие искры в них сверкнули.

Питу не узнавал всадника и не мог разглядеть его лица, но по его наряду, по охотничьему рединготу зеленого бархата, по шляпе с широкой лентой, по уверенной и изящной посадке го-

ловы он понял, что тот принадлежит к самому высокому общественному классу, и тут же ему припомнился красивый юноша, так мило отплясывающий в Виллер-Котре. У него разом дрогнуло сердце, губы и все нутро: он прошептал имя Изидора де Шарни.

И в самом деле это был Изидор.

Питу испустил вздох, похожий на рычание, и снова нырнул в чащу, подобрался на расстояние в двадцать шагов к влюбленным, которые, казалось, были слишком поглощены друг другом, чтобы беспокоиться, кто там хрустит ветками поблизости от них—четвероногое или двуногое.

Молодой человек все же обернулся в сторону Питу, встал в стреленых и бросил вокруг рассеянный взгляд.

Но Питу, чтобы не быть обнаруженным, тут же распластался на земле, вжавшись в нее животом и лицом.

Потом он ужом подполз еще на десять шагов поближе, туда, где можно было различить голоса, и стал слушать.

—Добрый день, господин Изидор!—сказала Катрин.

—Господин Изидор!—прошептал Питу.—Так я и знал.

И на него обрушилась непреодолимая усталость после всех трудов последнего часа, на которые подвинули его сомнение, недоверие и ревность.

Двое влюбленных, остановившись друг напротив друга, выпустили поводья и взялись за руки; оба молча замерли, дрожа и улыбаясь, а обе лошади, которые явно привыкли друг к другу, ласкались мордами и приплясывали на мшистой дороге.

—Вы *нынче* припозднились, господин Изидор,—вздохнула Катрин, нарушая молчание.

—Нынче!—заметил себе Питу.—В другие дни он, похоже, не запаздывает.

—Я не виноват, милая Катрин,—отозвался молодой человек.—Меня задержало письмо от брата, которое пришло сегодня утром: я должен был отослать ответ с тем же нарочным. Но не беспокойтесь, завтра я приеду вовремя.

Катрин улыбнулась, и Изидор еще нежнее пожал руку, которую она оставила в его руке.

Увы! Все это были шипы, язвившие сердце бедняги Питу.

—Значит, вы получили свежие новости из Парижа?—спросила она.

—Да.

—И я тоже!—с улыбкой сказала она.—Разве вы не говорили мне на днях, что если с двумя влюбленными приключается одно и то же, значит, между ними существует сродство душ?

—Так и есть! А каким образом вы получили вести, моя красавица?

—Их принес Питу.

—Что за Питу?—беспечно и насмешливо осведомился молодой дворянин, и щеки Питу, без того красные, стали пунцовыми.

—Да вы его знаете,—сказала девушка.—Питу, это парень-бедняк, которого взял на ферму мой батюшка; однажды в воскресенье я приходила с ним под руку.

—Ах да!—подхватил виконт.—У него еще такие узловатые коленки?

Катрин разразилась смехом. Питу погрузился в унижение и отчаяние. Он поглядел на свои коленки, и впрямь узловатые, приподнялся было, опираясь на руки, а потом со вздохом снова шлепнулся на землю.

—Будет вам,—сказала Катрин,—не издевайтесь над бедняжкой Питу. Знаете, что он мне недавно предложил?

—Нет, расскажите, моя красавица.

—Вообразите, он вызвался проводить меня до Ла Ферте-Милон.

—А вы туда и не поехали?

—Конечно. Я же знала, что вы ждете меня здесь; правда, мне самой чуть не пришлось вас дожидаться.

—Ах, Катрин, знаете ли, что вы сейчас сказали мне поразительную вещь?

—В самом деле? Я и не заметила.

—Почему вы не согласились на предложение этого прекрасного рыцаря? Он бы вас развлекал.

—Ну, развлечения хватило бы ненадолго,—со смехом возразила Катрин.

—Вы правы, Катрин,—произнес Изидор, впиваясь в милостивую хозяйку фермы взглядом, полным обожания.

И спрятал зардевшееся личико девушки у себя на груди, заключив ее в объятия.

Питу зажмурился, чтобы не смотреть, но забыл заткнуть уши, чтобы не слушать, и до него донесся звук поцелуя.

В отчаянии Питу вцепился себе в волосы, как зачумленный на переднем плане картины Гро, изображающей Бонапарта во время посещения чумного госпиталя в Яффе*.

Когда Питу очнулся, влюбленные уже пустили лошадей шагом и медленно удалялись.

До Питу еще долетали слова:

—Да, вы правы, господин Изидор, покатаемся часок; потом я пущу лошадь галопом и наверстаю этот час. А лошадка у меня добрая,—со смехом добавила она,—никому ничего не расскажет.

И все. Видение исчезло, и в душе у Питу воцарилась тьма; в лесу тоже темнело, и бедный парень, катаясь по вереску, предался самому отчаянному и простодушному горю.

Ночная прохлада привела его в чувство.

—Я не вернусь на ферму,—сказал он.—Там меня ждут насмешки, издевательства; там я буду есть хлеб женщины, которая любит другого, и этот другой, если признаться честно, красивей, богаче и изящней меня. Нет, теперь мое место не в Писле, а в Арамоне, в родных краях: там я, может быть, найду людей, которые не заметят, что у меня узловатые коленки.

С этими словами Питу потер свои длинные крепкие ноги и зашагал в сторону Арамона, куда, хоть он и не знал об этом,

* Имеется в виду картина Антуана Жака Гро (1771—1835)—
"Наполеон в госпитале чумных в Яффе" (1803—1804).

уже долетела молва о нем, а также о его каске и сабле; пусть не счастье ждало его в Арамоне, зато ему была там уготована славная судьба.

Впрочем, как мы знаем, представителям рода человеческого не часто выпадает на долю неомраченное счастье.

XXXII. Питу-оратор

Между тем, добравшись к десяти вечера до Виллер-Котре, откуда он ушел шесть часов назад и совершил с тех пор изрядное путешествие, которое мы попытались здесь описать, Питу понял, что в его унылом состоянии духа ему лучше остановиться в гостинице "Дофин" и переночевать в кровати, чем под открытым небом в лесу, под каким-нибудь грабом или буком.

Ведь тому, кто явится в Арамон в половине одиннадцатого вечера, нечего и мечтать о ночлеге: там уже с девяти все огни потушены и двери на запоре.

Итак, Питу остановился в гостинице "Дофин", где за монету в тридцать су получил превосходную постель, четырехфунтовую краюху хлеба, ломоть сыра и кувшин сидра.

Питу был одновременно устал и влюблен, изнеможение боролось в нем с отчаянием; в этой борьбе тела и духа сперва побеждал дух, но в конце концов тело все же одержало верх.

Это означает, что с одиннадцати до двух ночи Питу стонал, вздыхал, ворочался в постели, не в силах заснуть, но в два часа, побежденный усталостью, смежил веки и разомкнул их только в семь утра.

И если в Арамоне все уснуло в половине одиннадцатого, то в семь утра весь Виллер-Котре был уже на ногах.

Выйдя из гостиницы "Дофин", Питу обнаружил, что его каска и сабля по-прежнему привлекают всеобщее внимание.

Не успел он сделать и ста шагов, как его обступили со всех сторон.

Решительно, Питу завоевал в здешних местах неслыханную популярность.

Немногим странникам выпадает такая удача. Говорят, что солнце, мол, светит для всех, но не всегда его сияние благо-склонно для людей, которые возвращаются домой с намерением стать пророками в своем отечестве.

Правда, не каждому выпадает на долю быть племянником сварливой и даже жестокой скупердяйки, вроде тетки Анжелики; и не каждому Гаргантюа, способному проглотить петуха с рисом, удается заплатить монетку достоинством в экю правопоследнице жертвы.

Но еще реже этим странникам, чья история и традиции восходят к Одиссею, удастся вернуться с каской на голове и саблей на боку, тем более если в остальном их одеяние несколько не напоминает военный мундир.

А вот именно каска и сабля привлекали к Питу внимание его земляков.

Не считая любовных горестей, постигших Питу по возвра-

щении, в остальном, как мы видим, ему достались в утешение сплошные радости.

И теперь горстка жителей Виллер-Котре, которые накануне проводили Питу от дверей аббата Фортье на Суассонской улице до дверей тетки Анжелики в Плё, решили продолжить чествование и проводить Питу из Виллер-Котре в Арамон.

Сказано—сделано, а когда это увидели жители Арамона, они в свою очередь сполна оценили своего земляка.

Почва, так сказать, была уже подготовлена. Как ни мимо-летно было первое появление Питу, оно оставило след в умах: его каска и сабля запомнились тем, кто присутствовал при его блистательном появлении.

И вот жители Арамона, польщенные его вторичным посещением, на которое они уже не надеялись, окружили его глубочайшей почтительностью и стали его уговаривать сложить с себя доспехи и раскинуть свой шатер под четырьмя липами, бросавшими тень на деревенскую площадь, точь-в-точь как молили о том Марса в Фессалии в годовщины его великих триумфов.

Питу снизошел к мольбам, тем более что и сам намеревался обосноваться в Арамоне. Он изъявил согласие вселиться в комнату, которую один воинственный местный житель сдал ему прямо с обстановкой.

Из обстановки имелась дощатая кровать с подстилкой и тюфяком, а кроме того, два стула, стол и кувшин для воды.

Все это, вместе взятое, было оценено владельцем в шесть ливров в год—столько же стоили два петуха с рисом.

Договорившись о плате, Питу вступил во владение жильем и поставил выпивку своим спутникам, а поскольку все события и сидр ударили ему в голову, он, стоя на пороге, обратился к присутствующим с торжественной речью.

Речь Питу была великим событием; поэтому вокруг его дома столпился весь Арамон.

Питу как-никак был грамотей, и красноречие было ему знакомо; он знал десяток слов, с помощью которых вершители судеб народных—так величал их Гомер—приводили в движение людские толпы.

Конечно, Питу было далеко до генерала де Лафайета, да ведь и от Арамона до Парижа путь неблизкий.

Само собой разумеется, в переносном смысле.

Сперва Питу приступил к зачину, который одобрил бы даже придирчивый аббат Фортье.

—Граждане,—сказал он,—сограждане, мне сладостно произносить это слово: я обращал уже его к другим французам, потому что все французы—братья; но сейчас я словно обращаю его к братьям по крови и считаю жителей Арамона своей семьей.

Среди слушателей было несколько женщин, и они были не слишком-то расположены к оратору: все же у Питу были чересчур толстые колени и чересчур тощие икры, чтобы с первого взгляда завоевать симпатии женской аудитории,—но при слове "семья" женщины подумали о том, что бедняга Пи-

сирота, брошенное дитя, которое с тех пор, как умерла его мать, никогда не ело досыта. И слово "семья" в устах парня, лишенного семьи, задевало в сердцах у слушателей тот чувствительный клапан, что отворяет сосуд, полный слез.

Покончив с зачином, Питу приступил ко второй части речи—к изложению.

Он описал свое путешествие в Париж, бунты, взятие Бастилии и народную месть; он слегка коснулся собственного участия в сражении на площади перед Пале-Роялем и в Сент-Антуанском предместье; но чем меньше он хвастался, тем больше вырастал в глазах земляков, и к концу повествования его каска показалась слушателям величиной с Дом Инвалидов, а сабля—высотой с арамонскую колокольню.

После изложения Питу перешел к выводам, что было весьма тонкой задачей, по решению которой Цицерон узнавал истинных ораторов.

Питу доказывал, что народные страсти вспыхнули по вине угнетателей. Два слова он уделил гг. Питтам, отцу и сыну; объяснил, что революция была вызвана привилегиями, которыми пользовались дворянство и высшее духовенство; и, наконец, призвал население Арамона последовать примеру всего французского народа, то есть объединиться против общего врага.

И наконец, от выводов он перешел к заключению, прибегнув к одному из тех возвышенных приемов, которые свойственны всем великим ораторам.

Он уронил свою саблю и, подбирая ее, словно ненароком извлек ее до половины из ножен.

Это движение подсказало ему зажигательные слова, в которых он призвал жителей коммуны последовать примеру восставших парижан и взяться за оружие.

Арамонцы с восторгом откликнулись на этот призыв.

Население деревни провозгласило и радостно приветствовало революцию.

Жители Виллер-Котре, присутствовавшие на собрании, удалились, опьяненные патриотическим рвением, распевая на страх аристократам с необузданной яростью:

Да здравствует Генрих Четвертый!

Да здравствует храбрый король!

Руже де Лиль еще не успел сочинить "Марсельезу", а федераты девяностого года* еще не возродили старинную народную песню "Дело пойдет", поскольку события происходили в божьей милостью году тысяча семьсот восемьдесят девятом.

Питу собирался только произнести речь, а между тем произвел революцию.

Он вернулся к себе домой, угостился ломтем ситного хлеба и остатками сыра из гостиницы "Дофин", которые бережно унес, положив в каску, потом он сходил купить проволоки, смастерил силки и с наступлением ночи расставил их в лесу.

* Делегаты провинций на празднестве Федерации в Париже 14 июля 1790 г., в годовщину взятия Бастилии

В ту же ночь Питу добыл кролика и крольчонка.

Питу надеялся изловить зайца, но не нашел ни одного заячьего следа, что подтверждало старое охотничье правило: кошка с собакой и кролик с зайцем вместе не живут.

До кантона, где водились зайцы, нужно было идти три-четыре лье, а Питу был несколько утомлен—как-никак накануне он провел весь день на ногах. Вдобавок к тому, что он отмахал не меньше пятнадцати лье, последнюю часть пути он плелся под бременем отчаяния, а это время тяжело даже для отменных ходоков.

К часу ночи он вернулся домой с первым урожаем: второй он рассчитывал снять до рассвета.

Затем он уснул, по-прежнему ощущая такой горький привкус отчаяния, которое довело его до изнеможения накануне, что ему удалось проспать всего шесть часов кряду на тюфяке, столь жестком, что хозяин и тот называл его сухарем.

Питу проспал с часу ночи до семи утра. Ставни были открыты, и луч солнца упал на спящего.

В открытое окно на Питу глазели тридцать-сорок жителей Арамона.

Он проснулся, как Тюренн на лафете*, улыбнулся соотечественникам и приветливо осведомился у них, зачем они явились к нему такой толпой и в такую рань.

Один из пришедших взялся отвечать. Перескажем вам слово в слово разговор, который у них состоялся. Человека этого звали Клод Телье, он был дровосек.

—Анж Питу,—сказал он,—мы раздумывали всю ночь; ты вчера правду сказал: граждане должны постоять за свободу с оружием в руках.

—Так я и сказал,—твердо повторил Питу, давая понять, что отвечает за свои слова.

—Да только у нас нет главного, без чего мы не можем постоять за свободу.

—Это чего же?

—Оружия.

—Ага, ты дело говоришь,—изрек Питу.

—Да только мы так долго судили и рядили, что не пропадать же нашим стараниям зря! Уж мы вооружимся, чего бы это ни стоило.

—Когда я покидал Арамон,—заметил Питу,—здесь было пять ружей: три пехотных, одно охотничье, одноствольное и еще одна охотничья двустволка.

* *Тюренн*, Анри де Ла Тур д'Овернь виконт де (1611—1675), маршал Франции (1643), крупнейший французский полководец XVII в. В детстве отличался слабым здоровьем, и его отец герцог Бульонский говорил, что сын никогда не станет хорошим военным. Десятилетний мальчик решил доказать отцу противное. Когда тот предложил сыну простоять зимой в карауле всю ночь на валу крепости, Тюренн согласился, но, сморенный сном, заснул под (а не на, как у Дюма) лафетом пушки и проснулся лишь утром, когда отец с караулом пришел сменить его с поста.

—Осталось только четыре,—возразил представитель народа.—Охотничье ружье месяц назад разорвалось от старости.

—Это ружье принадлежало Дезире Манике,—вставил Питу.

—Да, и при взрыве я лишился двух пальцев,—добавил Дезире Манике, поднимая над головой изуродованную руку,—а поскольку несчастье приключилось со мной в заповеднике этого аристократа, господина де Лонгпре, аристократы дорого мне заплатят!

Питу кивнул головой, подтверждая его право на возмездие.

—Выходит, у нас только четыре ружья,—продолжал Клод Телье.

—Что ж! Четырьмя ружьями вы можете вооружить пять человек,—подытожил Питу.

—Как так?

—Пятый понесет пику. В Париже так и делают: на четырех с ружьями всегда приходится один с пикой. Пики бывают очень кстати: на них надевают головы, которые сносят с плеч.

—Вот это да!—весело ахнул чей-то густой бас.—Ну, нам-то не придется никому носить голову, а?

—Не придется,—сурово ответил Питу, коль скоро мы отвергнем золото господина Питта и его сына. Но мы вели речь о ружьях; не будем же отвлекаться от этого вопроса, как говорит господин Байи. Сколько в Арамоне людей, способных носить оружие? Считали?

—Считали.

—Сколько?

—Нас тридцать два человека.

—Значит, недостает двадцати восьми ружей.

—Нипочем нам их не раздобыть,—изрек толстяк с жизне-радостной физиономией.

—Эх, Бонифас,—возразил Питу,—не говори, чего не знаешь.

—А чего я не знаю?

—Того, что знаю я.

—А что ты знаешь?

—Знаю, где достать оружие.

—Достать?

—Да, у парижан тоже не было оружия. И что же? Господин Марат, ученейший доктор, правда, очень уж безобразный, сказал парижанам, где лежит оружие; парижане пошли и обнаружили его.

—А куда их послал господин Марат?—спросил Дезире Манике.

—В Дом Инвалидов.

—Да, но у нас в Арамоне нет Дома Инвалидов.

—А я знаю место, где хранится больше сотни ружей,—возразил Питу.

—Это где же?

—В одном из помещений коллежа аббата Фортье.

—У аббата Фортье есть оружие? Неужто этот чертов поп собирает оружие мальчишек из церковного хора?—вскричал Клод Телье.

Питу не слишком жаловал аббата Фортье, но этот злобный выпад против его бывшего учителя пришелся ему не по нутру

—Клод,—произнес он,—Клод!

—Ну и что дальше?

—Я же не сказал, что ружья принадлежат аббату Фортье.

—Раз ружья у него, значит, они ему принадлежат.

—Твое умозаключение ошибочно, Клод. Я живу в доме Бастьена Године, однако дом Бастьена Године мне не принадлежит

—Верно,—вступил в разговор Бастьен, хотя Питу и не думал обращаться к нему за подтверждением.

—Вот и ружья тоже не принадлежат аббату Фортье.

—Тогда чьи они?

—Они принадлежат коммуне.

—А если они принадлежат коммуне, как они попали к аббату Фортье?

—Они хранятся у аббата Фортье, потому что дом аббата Фортье принадлежит коммуне, которая предоставила его аббату за то, что он бесплатно обучает детей неимущих граждан. А поскольку дом аббата Фортье принадлежит коммуне, то коммуна, понятное дело, вправе оставить за собой в принадлежащем ей доме помещение для хранения ружей—так?

—Чистая правда!—откликнулись слушатели.—Коммуна имеет на это право. Но тогда пошли дальше. Как нам добыть эти ружья, ну-ка?

Этот вопрос озадачил Питу, он почесал за ухом.

—Да, скажи нам скорей, а то работать пора.

Питу вздохнул с облегчением, обнаружив для себя лазейку в последних словах собеседника.

—Работать!—вскричал Питу.—Вы же собирались с оружием в руках встать на защиту отчизны, а сами думаете о работе!

И Питу заключил свою речь таким ироничным и презрительным смешком, что арамонцы униженно переглянулись.

—Ну, если иначе нельзя, мы, конечно, жертвуем днем-другим ради своей свободы,—сказал кто-то.

—Ради свободы,—возразил Питу,—надо пожертвовать не днем, а целой жизнью.

—Выходит,—заметил Бонифас,—что труд во имя свободы—это отдых.

—Бонифас,—возразил Питу голосом разгневанного Лафайета,—те, кто не умеет отринуть предрассудки, никогда не обретут свободы.

—Да мне бы,—сказал Бонифас,—хоть весь век не работать. Но что же тогда я буду есть?

—Да кто теперь думает о еде?—возмутился Питу.

—У нас тут, в Арамоне, все покуда едят. А что, в Париже уже перестали?

—О еде будем думать, когда победим тиранов,—изрек Питу.—Разве четырнадцатого июля кто-нибудь ел? Нет, на это у людей не было времени.

—Эх! Эх!—вздохнули самые ревностные патриоты.—Как это, наверное, было прекрасно—брать Бастилию!

—Подумаешь, еда!—презрительно продолжал Питу.—Вот питье—совсем дело другое. Там было так жарко, а пушечный порох такой жгучий!

—Но что же вы пили?

—Что пили? Воду, вино, водку. Об этом уж позаботились женщины.

—Женщины?

—Да, героические женщины, те самые, что сшили знамена из своих исподних юбок.

—Да неужто?—ахнули восхищенные слушатели.

—Но на другой-то день,—настаивал какой-то скептик,—вам захотелось поесть?

—Почему же нет,—признал Питу.

—Но если люди поели,—с торжеством в голосе подхватил Бонифас,—значит, им пришлось поработать?

—Господин Бонифас,—осадил его Питу,—вы рассуждаете о вещах, в которых ничего не смыслите. Париж—это вам не деревушка. И парижане—не деревенщины, живущие по старинке, с помыслами о том, чтобы вовремя набить брюхо; *obedientia ventri**,—вот как мы, ученые люди, называем это по-латыни. Нет, Париж, как говорит господин де Мирабо,—это голова нации; это мозг, который думает за весь мир. А мозг никогда не ест, сударь.

“Это верно!”—подумали слушатели.

—Однако,—продолжал Питу,—хоть мозг сам по себе и не ест, ему все же потребно питание.

—А как же он питается?—спросил Бонифас.

—Незаметно—он получает питание от тела.

Это арамонцы уже не понимали.

—Объясни нам свою мысль, Питу,—попросил Бонифас.

—Все очень просто,—отвечал Питу.—Париж, как я уже сказал, это мозг; провинции—части тела; провинции работают, пьют, едят, а Париж думает.

—В таком случае, переберусь-ка я из провинции в Париж,—заметил скептик Бонифас.—Эй, вы, пойдете со мной в Париж?

Часть слушателей покатила со смеху: Бонифас явно их потешал.

Питу спохватился, что этот насмешник уронит его в глазах публики.

—Да, отправляйтесь-ка в Париж!—в свою очередь воскликнул он.—И если найдете там хоть одну такую дурацкую рожу, как ваши собственные, я накоплю вам кроликов, таких, как этот, по луидору за штуку.

И Питу поднял одной рукой напоказ кролика, а другой тем временем подкинул на ладони несколько луидоров, оставшихся у него от щедрот Жильбера.

Наградой Питу также был смех слушателей.

Тут Бонифас рассердился и весь вспыхнул.

—Ну, любезный Питу, пусть мы, по-твоему, дурацкие рожи, но сам ты прощелыга!

* Покорство желудку, чревоугодие (лат.).

—Ridicule tu es*,—величественно изрек Питу.

—Да посмотри на себя!—возразил Бонифас.

—Сколько бы я на себя ни смотрел,—парировал Питу,—все равно: я увижу, быть может, такого же урода, как ты, но не такого дурака.

Не успел Питу договорить, как Бонифас (ведь арамонцы—те же пикардийцы) влепил ему затрепину, которую Питу мужественно встретил лицом к лицу, вернее лицом к кулаку, но тут же вполне по-парижски ответил на нее пинком.

За одним пинком последовал другой, повергший скептика наземь.

Питу наклонился над повергнутым, словно собираясь довершить свою победу роковым ударом, и все уже готовы были ринуться на выручку Бонифасу, но тут Питу выпрямился и промолвил:

—Знай, что покорители Бастилии не дерутся на кулачках. Я при сабле, бери и ты саблю, и довершим спор.

С этими словами Питу выхватил из ножен свое оружие, забыв, как видно, а может быть, и не забыв, что в Арамоне имеются только две сабли: одна его, а другая—полевого сторожа, на локоть короче, чем его собственная.

Правда, чтобы восстановить равновесие сил, он нахлобучил на голову каску.

Его великодушие привело публику в трепет. Все решили, что Бонифас—плут, пройдоха и негодяй, недостойный участия в решении общественных дел.

Поэтому он с позором был изгнан.

—Вот вам,—заклучил Питу,—образ парижской революции. Как выразился господин Прюдом**, или нет, Лустало***; сдается, эти слова принадлежат добродетельному Лустало... Так вот, он сказал: "Великие только потому представляются нам великими, что сами мы стоим на коленях. Так встанем же!"

Это изречение не имело ни малейшей связи с происходящим. Но, быть может, именно потому оно произвело на собравшихся магическое действие.

Скептик Бонифас успел было отойти шагов на двадцать, но тут он изумился и, вернувшись назад, смиренно сказал Питу:

—Не сердись на нас, Питу; конечно, мы хуже, чем ты, знаем, что такое свобода.

—Тут дело не в свободе,—отвечал Питу,—а в правах человека.

Этим могучим ударом он вторично потряс все собрание.

—Ну, Питу,—заметил Бонифас,—ты у нас и впрямь ученый, и мы все перед тобой снимаем шляпы.

Питу поклонился.

—Да,—сказал он,—образование и опыт вознесли меня над

* Ты смешон (лат.).

** Прюдом, Луи Мари (1752—1830)—французский журналист, с 12 июля 1789 г. выпускавший газету "Парижские революции".

*** Лустало, Элизе (1761—1790)—французский публицист, сотрудник вышеупомянутой газеты.

вами, и если сейчас я был с вами малость резковат, то исключительно из дружбы к вам.

Тут раздалась рукоплескания. Питу понял, что пора идти напролом.

—Вы тут сейчас толковали о труде,—сказал он,—только знаете ли вы, что такое труд? Для вас трудиться—значит рубить лес, жать хлеб, собирать орешки, вязать снопы, класть камни и скреплять их раствором. Вот что значит для вас труд. По-вашему, я трудом не занимаюсь. Так вот, вы заблуждаетесь: я один тружусь больше, чем все вы вместе взятые, потому что я думаю о вашей независимости, потому что я мечтаю о вашей свободе, о вашем равенстве. А потому один миг моей работы стоит дороже, чем месяцы вашей. Волю, на которых пашут, все заняты одним и тем же, но сила мыслящего человека превосходит их грубую животную силу. Я один стою вас всех.

Посмотрите на генерала Лафайета: стройный, белокурый, ростом не выше Клода Телье; нос у него остренький, ноги маленькие, руки не толще перекладки вот этого стула, да и что он может сделать такими-то руками? Ничего ровным счетом. И что же? Этот человек на своих плечах удержал два мира, вдвое больше, чем Атлас, и его крохотные руки разбили оковы Америки и Франции.

И если его-то руки, не толще вот этих перекладин, оказались способны на такое, судите сами, что я натворю своими ручищами.

И Питу выставил на всеобщее обозрение свои руки, узловатые, как стволы остролиста.

Этим сравнением он и завершил свою речь, воздержавшись от выводов, потому что и так не сомневался в огромном впечатлении от своих слов.

Впечатление, и в самом деле, было огромное.

XXXIII. Питу-заговорщик

Большая часть событий, происходящих в жизни человека и дарующих ему великое счастье или великую славу, происходят, как правило, либо из могучей воли, либо из могучего презрения.

Если вдуматься в то, насколько оправдывается эта максима на примере выдающихся исторических деятелей, мы обнаружим, что она не только глубокомысленна, но и верна.

Не приводя иных доказательств, удовольствуемся тем, что применим ее к нашему повествованию и его герою.

И впрямь, Питу—коль скоро нам будет дозволено вернуться чуточку назад и напомнить о его сердечной ране,—итак, Питу, после открытия, сделанного на лесной опушке, преисполнился величайшего презрения к суете мира сего.

Он так надеялся, что в душе у него будет расцвести драгоценный и редкостный цветок, который зовется любовью; он вернулся на родину в каске и с саблей, гордый тем, что прими-

рил Марса с Венерой, как выразился его знаменитый соотечественник Демустье в "Письмах к Эмилии о мифологии"; и теперь он с горем и растерянностью обнаружил, что в Виллер-Котре есть и другие влюбленные, кроме него.

Столь деятельный участник крестового похода парижан против знати, он спасовал теперь перед сельским дворянством, воплощенным в Изидоре де Шарни.

Увы! Его соперник—красавец, располагающий к себе с первого взгляда, кавалер в кожаных штанах и бархатном кафтане!

Как одолеть такого человека?

Человека, обутого в сапоги для верховой езды, сапоги со шпорами; человека, к брату которого донны многие обращаются, титулуя его "монсьером"!

Как одолеть такого соперника? Как удержаться от стыда и восхищения, двух чувств, которые причиняют двойную муку ревнивому сердцу, и мука эта тем более ужасна, что неизвестно, что сильнее ранит ревнивца—сознание превосходства соперника или сознание собственного превосходства!

Итак, Питу изведаль ревность, неизлечимую язву, щедрый источник страданий, неведомых доселе честному и простодушному сердцу нашего героя; ревность, самое ядовитое на свете растение, всходящее там, где никто его не сеял, на почве, где до сих пор не проросло ни одно недоброе чувство, даже тщеславие—сорняк, проникающий на самые ухоженные грядки.

Чтобы обрести привычный покой, такому истерзанному сердцу необходимо прибегнуть к самой что ни есть глубокой философии.

Был ли философом Питу, который на другой день после столь ужасного потрясения замыслил поход на кроликов и зайцев герцога Орлеанского, а на третий уже произносил страстные речи, которые мы здесь привели?

Обладало ли его сердце твердостью кремня, из которого любой удар высекает искру, или рыхлой упругостью губки, имеющей свойство впитывать слезы и без ущерба для себя смягчаться под ударами судьбы?

Ответ на это даст будущее. Не будем же строить догадки и вернемся к нашему повествованию.

Когда речи закончились и посетители удалились, Питу, снизойдя под влиянием голода к более низменным заботам, принялся застряпню и упледал крольчонка, сожалея, что то был не заяц.

В самом деле, будь на месте крольчонка заяц, Питу не съел бы его, а продал.

Это была бы не столь уж пустяковая сделка. Заяц стоил, смотря по размерам, от восемнадцати до двадцати четырех су, а Питу, хоть у него и оставалось еще несколько луидоров, полученных от доктора Жильбера, был не то чтобы скуп, как тетка Анжелика, но унаследовал от матери изрядную долю бережливости, а посему был бы рад присоединить эти восемнадцать су к своему богатству, тем самым округлив его вместо того, чтобы транжирить.

Питу рассуждал, что человеку вовсе не требуется тратить на свое пропитание то три ливра, то восемнадцать су. Не всем же быть Лукуллами, и Питу полагал, что на восемнадцать су, вырученных за зайца, он прокормился бы целую неделю.

А кроме того зайца, который попался бы ему в самый первый день, он сумел бы изловить еще не меньше трех за остальные семь дней, вернее ночей. Таким образом, за неделю он обеспечил бы себя пропитанием на месяц.

Исходя из этого, на год ему хватило бы сорока восьми зайцев, а остальные уже оказались бы чистым барышом.

Таким подсчетам и выкладкам предавался Питу, расправляясь с крольчонком, который вместо того, чтобы принести ему доход, вверх его в расходы, потребовал на су масла и еще на су немного сала. Лук Питу добыл бесплатно, надергав его на общинном огороде.

Попил, поел, отдохнул от дел—гласит пословица. После трапезы Питу отправился в лес на поиски укромного местечка, чтобы соснуть.

Нечего и говорить, что с тех пор, как бедняга завершил политические споры и остался наедине с самим собой, перед его мысленным взором непрестанно возникал господин Изидор, любезничающий с мадемуазель Катрин.

Дубы и грабы содрогались от его вздохов; природа, всегда любезная тем, у кого набит живот, не оказывала на Питу своего обычного воздействия и представлялась ему обширной и мрачной пустыней, где остались только зайцы, кролики и косули.

Укрывшись под сенью больших деревьев в своем родном лесу, Питу воспрянул духом под влиянием тени и прохлады и укрепился в героическом решении скрыться от глаз Катрин, предоставить ей свободу, не подвергать себя все новым унижениям, неизбежным при сравнении с соперником.

Чтобы не видеть более мадемуазель Катрин, ему требовалось совершить над собой мучительное усилие, но мужчина должен вести себя по-мужски.

Впрочем, вопрос этим не исчерпывался.

В сущности, дело было не в том, чтобы Питу не видел мадемуазель Катрин, а в том, чтобы она его не видела.

Но что помешает дерзкому влюбленному время от времени украдкой подстергать где-нибудь на дороге жестокую красавицу и смотреть на нее? Ничто не помешает.

Далеко ли от Арамона до Писле? От силы полтора лье, рукой подать.

Если домогаться внимания Катрин после всего, что он подсмотрел, было бы со стороны Питу низостью, то узнавать, что она делает и где бывает, было бы, напротив, свидетельством его ловкости, и такое упражнение пошло бы лишь на пользу его здоровью.

К тому же леса, простирившиеся от Писле до самого Бурсона, кишели зайцами.

Ночами Питу будет расставлять силки, а наутро с высоты какого-нибудь пригорка оглядит окрестность и проследит за

передвижениями мадемуазель Катрин. Это его право и даже в некотором смысле его долг в силу полномочий, которыми облек его папаша Бийо.

Одержав таким образом победу над самим собой, Питу решил, что пора покончить со вздохами. Он закусил огромной краюхой хлеба, которую захватил с собой, а когда наступил вечер, расставил дюжину силков и растянулся в вереске, еще хранившем дневное тепло.

Там он и уснул сном отчаяния, то есть мертвым сном.

Его разбудила ночная прохлада; он обошел свои силки; в них еще не угодила никакая живность, но Питу и не надеялся ни на что до наступления предрассветной поры. Голова у него между тем несколько отяжелела, и он решил, что вернется домой, а под утро наведается в лес снова.

Но если для него этот день оказался беден на интриги и события, то обитатели деревушки провели его в размышлениях и хитроумных расчетах.

В дневные часы, покуда Питу дремал в лесу, дровосеки застыли, опираясь на свои топоры, молотильщики позабыли о цепах, плотники перестали шаркать рубанками по доскам.

Причиной этих пропавших для работы минут был Питу: он подзадорил те робкие слухи, которые начинали глухо передаваться из уст в уста.

При этом сам виновник всеобщего смятения успел обо всем забыть.

Но когда он добрался до своего жилища, хоть уже пробило десять, час, когда в деревне обычно все свечи уже погашены, а глаза сомкнуты сном, он заметил вблизи от дома, в котором жил, необычное оживление. Люди сбились в кучки; те сидели, те стояли, те прохаживались.

В облике всех этих людей чувствовалась какая-то непривычная значительность.

Сам не зная почему, Питу решил, что все они говорят о нем.

А когда он проходил по улице, все встрепенулись, словно под воздействием электрического разряда, и принялись кивать на него друг другу.

—Да что это с ними?—удивился Питу.—Я ведь даже не надел каски.

И, отвесив несколько поклонов, он скромно удалился в дом.

Не успел он затворить за собой дверь, не слишком-то плотно прилежавшую к косяку, как ему послышался стук.

Питу перед сном не зажигал свечи: это было бы чрезмерной роскошью для человека, у которого имелась только одна лежанка, следовательно, ему не грозило лечь по ошибке не в ту постель; к тому же и читать он не мог за неимением книг.

Между тем в дверь явно стучали.

Он поднял щеколду.

В комнату, не чинясь, вошли двое—то были его молодые односельчане.

—Что это у тебя нет свечи, Питу?—заметил один.

—А на что мне свечка?—возразил Питу.

—Чтобы видеть.

—Я и так вижу в темноте, у меня глаза, как у кошки.—И в подтверждение своих слов он добавил:—Здравствуй, Клод! Здравствуй, Дезире!

—Ну что ж,—откликнулись посетители,—а мы к тебе, Питу.

—Рад вас видеть, друзья, чего вам угодно?

—Давай-ка выйдем на свет,—предложил Клод.

—А где мы возьмем свет? Луны-то нет.

—Все равно, под открытым небом светлее.

—Тебе надо со мной поговорить?

—Да, Анж, есть разговор.

Эти слова Клод произнес весьма многозначительным тоном.

—Пошли,—согласился Питу.

И все трое вышли.

Они прошли по лесной дороге до первого перекрестка, и там остановились; Питу все еще понятия не имел, чего от него хотят.

—Ну?—спросил он, видя, что двое спутников остановились.

—Видишь ли, Питу,—начал Клод,—мы вдвоем с Дезире Манике управляем всей округой. Хочешь быть у нас третьим?

—И что мы будем делать?

—Мы, Питу, устроим кое-что...

—Что?—приосанившись, спросил Питу.—Что устроим?

—Мы устроим заговор,—прошептал Клод на ухо Питу.

—Вот оно что,—ухмыльнулся Питу,—как в Париже, значит?

На самом деле, слово "заговор" и даже эхо от него нагнало на Питу страху даже посреди леса.

—Ладно,—наконец произнес он,—объясни толком.

—Ну-ка, Дезире, ты у нас прирожденный браконьер, распознаешь любые шорохи, дневные и ночные, в лесу и в поле: проверь, не шел ли кто за нами следом, и убедись, что никто нас не подслушивает.

Дезире кивнул, обошел вокруг Питу и Клода молча, словно волк вокруг овчарни.

Затем он вернулся и сказал:

—Мы здесь одни, говори.

—Дети мои,—приступил Клод,—все коммуны во Франции, как ты рассказал Питу, затеяли вооружиться и объединиться в национальную гвардию.

—Это верно,—согласился Питу.

—Так вот, почему бы и Арамону не взяться за оружие по примеру других коммун?

—Но вчера ты сам сказал, Клод,—возразил Питу,—когда я призывал к оружию, что Арамону не может вооружиться: здесь нет оружия.

—Ну, о ружьях нечего заботиться: ты ведь знаешь, где их взять.

—Знать-то я знаю,—отозвался Питу, который начал понимать, куда клонит Клод и чем это ему грозит.

—А мы тут сегодня посоветовались,—продолжал Клод,—со всеми молодыми патриотами в наших краях.

—Ну...

—Нас тридцать три человека.

—Треть сотни минус один,—добавил Питу.

—Ты сам-то знаешь строевую службу?—осведомился Клод.

—Еще бы, черт побери!—воскликнул Питу, не знавший даже, как держать ружье.

—А в тактике разбираешься?

—Я добрый десяток раз видел, как генерал Лафайет исполнял тактические маневры с сорока тысячами солдат,—высокомерно отрезал Питу.

—Прекрасно!—заметил Дезире, наскучив молчанием и желая, несмотря на всю свою нетребовательность, тоже вернуть в разговор словечко.

—В таком случае, хочешь быть у нас командиром?—спросил Клод.

—Я?—ахнул Питу, подскочив на месте от неожиданности.

—Ты, а то кто же!

И оба заговорщика внимательно уставились на Питу.

—А, колеблешься!—обронил Клод.

—Но...

—Разве ты не добрый патриот?—спросил Дезире.

—Ты еще спрашиваешь?

—Может, ты чего-нибудь боишься?

—Это я-то, покоритель Бастилии, награжденный медалью?

—А ты и медаль получил?

—Получу, как только их начеканят. Господин Бийо пообещал, что возьмет одну на мою долю.

—И у него будет медаль! У нас будет командир с медалью!—в восторге завопил Клод.

—Ну что, соглашаешься?—спросил Дезире.

—Согласен?—спросил Клод.

—Ну ладно уж, согласен,—ответил Питу, не устояв перед их энтузиазмом, а может быть, и перед другим зародившимся в нем чувством, которое зовется гордостью.

—Уговорились!—воскликнул Клод.—С завтрашнего дня ты наш начальник.

—И что я буду с вами делать?

—Обучать строевой службе, что же еще?

—А ружья?

—Ты же знаешь, где они.

—Ах, да, у аббата Фортье.

—Несомненно.

—Да, только аббат Фортье может нам их не отдать.

—Что ж! Ты поступишь так же, как патриоты в Доме Инвалидов: возьмешь их сам.

—Сам?

—Мы тоже подпишемся, а кроме того, если надо, мы сами тебя отведем; да мы весь Виллер-Котре поднимем, коль скоро будет такая необходимость.

Питу покачал головой.

—Аббат Фортье упрям.

—Ну, ты был у него любимым учеником, он ни в чем не сумеет тебе отказать.

—Вот и видно, что вы его совсем не знаете,—вздыхнул Питу.

—Как? Ты полагаешь, что этот старикан нам откажет?

—Он откажет даже эскадрону королевских рейтеров. Это упрямец, *injustum et tenacem**. Правда,—перебил себя Питу,—вы даже латыни не знаете.

Но оба арамонца не дали себя смутить ни цитатой, ни колким замечанием.

—Эх, чтоб мне провалиться!—сказал Дезире.—Хорошего начальничка мы выбрали, Клод: всего-то он боится.

Клод покачал головой.

Питу спохватился, что рискует своей славной репутацией. Он напомнил себе, что удача благосклонна к отважным.

—Ладно, так и быть,—сказал он,—посмотрим.

—Так ты займешься ружьями?

—Попробую.

Легкий ропот неодобрения, который уже начинал было витать над обоими патриотами, сменился одобрительным шепотом.

“Ишь ты!—подумал Питу,—я еще не стал у них начальником, а они уже пытаются мне указывать. Что же будет, когда я стану командиром?”

—Попробуешь?—подхватил Клод, качая головой.—Этого недостаточно, нет, недостаточно.

—Ах, недостаточно?—удивился Питу.—Тогда принимайся за дело сам, уступаю тебе свои полномочия: ступай сам к аббату Фортье, поспорь с ним и с его плеткой.

—Стоило возвращаться из Парижа в каске и при сабле,—презрительно возразил Манике,—чтобы бояться какой-то плетки.

—Каска и сабля—это еще не кираса, да и будь я закован в броню, аббат Фортье всегда сумеет отыскать в ней изъян и добраться до меня своей плеткой.

Казалось, Клод и Дезире поняли, что он хотел сказать.

—Ну, Питу, сынок!—сказал Клод.

(Сынок—это дружеское обращение, весьма распространенное в тех краях).

—Ладно, уговорились,—отвечал Питу,—только уж я буду требовать повиновения, черт побери!

—Вот увидишь, как мы будем повиноваться!—воскликнул Клод, перемигнувшись с Дезире.

—Только позаботься о ружьях!—добавил Дезире.

—Уговорились,—заклучил Питу, на душе у которого было весьма тревожно, хотя самолюбие уже начинало возбуждать в нем великую отвагу.

—Обещаешь?

—Клянусь.

* Несправедливый и упрямый (*лат.*).

Питу простер руки, оба товарища последовали его примеру; таким образом на лесной полянке при свете звезд трое обитателей Арамона, трое невольных подражателей Вильгельма Телля замыслили учинить революцию в департаменте Эны.

А дело было в том, что перед взором Питу, испытавшего такие страдания, забрезжила счастливая надежда стать командиром национальной гвардии, облеченным всеми знаками отличия, и ему казалось, что это гордое звание подвигнет мадемуазель Катрин если не на угрызения совести, то хотя бы на раздумья.

Итак, облеченный священной волей избирателей, Питу вернулся домой, размышляя о том, каким образом раздобыть оружие для тридцати трех солдат национальной гвардии.

XXXIV. Глава, в коей выходят на сцену монархический принцип, воплощенный в аббате Фортье, и принцип революционный, представляемый Анжем Питу

В ту ночь Питу был настолько ошеломлен выпавшей ему великой честью, что забыл проведать силки.

На другой день он нахлобучил каску, нацепил саблю и отправился в Виллер-Котре.

На городских часах пробило шесть утра, когда Питу вступил на площадь перед замком и скромно постучался в дверцу, которая вела в сад аббата Фортье.

Питу постучался достаточно громко, чтобы успокоить свою совесть, и достаточно тихо, чтобы в доме его не услышали.

Он надеялся дать себе таким образом четверть часа отсрочки, чтобы уснастить цветами ораторского искусства ту речь, которую он загодя приготовил, чтобы обратиться к аббату Фортье.

К его величайшему удивлению, дверь, в которую он так тихо постучался, тут же отворилась; но удивление развеялось, когда в человеке, отворившем ему, он узнал Себастьяна Жильбера.

Мальчик гулял по саду, с самого утра твердя урок, или, вернее, делая вид, будто твердит урок, поскольку рука, в которой он держал открытую книгу, была опущена, а мысли мальчика, повинаясь его прихоти, летели вслед за тем, что было ему дорого в мире.

При виде Питу Себастьян радостно вскрикнул.

Они обнялись, и мальчик сразу же спросил:

— У тебя есть вести из Парижа?

— Нет, а у тебя?

— А у меня есть: отец прислал мне прекрасное письмо.

— Вот оно как! — отвечивал Питу.

— Да, и в этом письме, — продолжал Себастьян, — есть для тебя приписка.

И, достав письмо, спрятанное у него на груди, он показал его Питу.

“Р. С. Бийо велит передать Питу, чтобы он не докучал людям на ферме и не отвлекал их от работы.”

—Эх!—вздыхнул Питу.—Излишнее наставление. Мне уже некому там мешать и некого отвлекать.

Потом с еще более тяжким вздохом он добавил:

—Лучше бы он обратился с этим увещанием к господину Изидору.

Но тут же взял себя в руки, и, возвращая письмо Себастьяну, поинтересовался:

—Где аббат?

Мальчик наострил уши и, хотя от лестницы, поскрипывающей под ногами почтенного священнослужителя, его отделил целый двор и добрая часть сада, тут же сказал:

—Да вот он спускается.

Питу из сада прошел во двор и только тогда услышал тяжелую поступь аббата.

Достойный наставник спускался по лестнице, читая газету.

На боку у него, словно шпага на боку у офицера, висела его верная плетка.

Уткнув нос в газету, благо число ступеней и каждая неровность или выбоина в полу были ему знакомы наизусть, аббат поравнялся с Анжем Питу, который к этому времени постарался как можно больше приосаниться перед лицом своего политического противника.

Тут уместно будет обрисовать положение в нескольких словах, которые на других страницах могли бы показаться ненужными длиннотами, а сейчас придутся весьма кстати.

А именно: они объяснят, откуда взялись в доме аббата Фортье те тридцать или сорок ружей, на которые зарились Питу и двое его сообщников—Клод и Дезире.

Аббат Фортье, в прошлом капеллан или помощник капеллана замка, о чем у нас уже был случай упомянуть ранее, сделался с течением времени, а главное, благодаря присущей духовным лицам терпеливой целеустремленности единственным распорядителем всего добра, которое на языке театра называется сценическим реквизитом. Помимо церковной утвари, библиотеки, склада мебели, он получил на хранение старое охотничье снаряжение герцога Орлеанского, Луи Филиппа, отца того Филиппа, который позже получил имя Эгалите. Часть этого снаряжения принадлежала еще Людовику XIII и Генриху III. Все эти предметы аббат искуснейшим образом разместил в одной из галерей замка, отведенной ему для этой надобности. Дабы придать галерее более живописный вид, он развесил между прочими экспонатами старинные круглые щиты, копья, кинжалы и мушкеты с инкрустацией времен Лиги*.

Вход в галерею надежно охраняли две небольшие бронзовые посеребренные пушки—дар Людовика XIV его дяде, Месье.

* Имеется в виду Католическая лига 1576—1589 гг.

Кроме того, имелось с полсотни мушкетов—трофеи, добытые Жозефом Филиппом в битве при Уэссане и переданные им в дар муниципалитету; а муниципалитет, который, как мы уже упомянули, предоставил бесплатное жилье аббату Фортье, поместил эти мушкеты, не находя им никакого применения, в одной из комнат коллежа.

Там под охраной дракона по имени Фортье и таилось сокровище, на которое покусился новый Ясон*, то бишь Анж Питу.

Скромный замковый арсенал был достаточно известен в крае, и многие не прочь были бы бесплатно прибрать его к рукам.

Но, как мы уже сказали, бессонный дракон—аббат отнюдь не склонен был уступить золотые яблоки Гесперид всем Ясонам на свете.

Теперь, обрисовав положение вещей, вернемся к Питу.

Он весьма почтительным поклоном приветствовал аббата Фортье, сопроводив поклон легким покашливанием, каковым обычно привлекают внимание рассеянного или озабоченного человека.

Аббат Фортье оторвался от газеты.

—А, это ты, Питу,—сказал он.

—К вашим услугам, коль скоро буду в состоянии их оказать, господин аббат,—любезно отозвался Питу.

Аббат сложил газету, вернее, закрыл ее наподобие бумажника, потому что в ту счастливую эпоху газеты были еще размером с небольшую книжку.

Затем, закрыв газету, он заткнул ее за пояс с другой стороны от плетки.

—Да, конечно,—насмешливо отрезал аббат,—но только беда в том, что едва ли ты будешь в состоянии мне их оказать.

—О, господин аббат!

—Ты меня понял, господин лицемер?

—О, господин аббат!

—Ты меня понял, господин революционер?

—Ну вот, я еще ни слова не сказал, а вы уж на меня разозлились. Нехорошо с этого начинать, господин аббат.

Себастьян, который слышал, как аббат при всех честил Питу последние два дня, не пожелал стать свидетелем ссоры, неминуемо назревавшей между его другом и его учителем, и улизнул.

Питу не без огорчения поглядел ему вслед. Себастьян не оказал бы ему мощной поддержки, но все же мальчик исповедывал в политике ту же веру, что он.

Видя, как Себастьян скользнул в дверь, Питу испустил вздох и вновь обратился к аббату.

—Вот как! И все же, господин аббат,—сказал он,—почему вы называете меня революционером? Или вы, часом, считаете, что революция учинилась из-за меня?

* Ясон—в греческой мифологии герой, возглавивший поход аргонавтов в Колхиду за золотым руном.

—Ты жил вместе с теми, кто ее произвел.
—Господин аббат,—с большим достоинством возразил Питу,—всякий волен мыслить, как ему угодно.

—Как ты сказал?

—*Est penes hominem arbitrium et ratio**.

—Вот-те раз!—поразила аббат.—Разве ты, болван, знаешь латынь?

—Я знаю все, чему вы меня учили,—скромно отвечал Питу.

—Да, причем твои познания направлены, уснащены, обогащены и украшены варваризмами!

—Эх, господин аббат, что страшного в варваризмах? Ей-богу, ими грешат все, кто угодно!

—Негодяй!—возопил аббат, явно уязвленный тем, что Питу дерзнул возвести в ранг обобщения тягу к этой погрешности.—Да разве я допускаю в речи варваризмы?

—Тот, кто сильнее вас в латыни, нашел бы варваризмы и у вас.

—Вы только послушайте его!—взвыл аббат, бледный от гнева, но при этом сраженный не лишенными убедительности доводами Питу.

Затем с болью в голосе аббат продолжал:

—Вот вам в двух словах система этих злодеев: они все руют и все попирают, но во имя чего? Они и сами не знают, во имя чего; они подыгрывают неведомой силе. Ну, господин лентяй, высказитесь начистоту. Знаете ли вы более сильного латиниста, чем я?

—Нет, но такие люди, по всей видимости, существуют, хоть я с ними и не знаком: я же не всех знаю.

—Еще бы, черт побери!

Питу осенил себя крестным знаменем.

—Что это ты делаешь, вольнодумец?

—Крещусь, господин аббат, ведь вы чертыхаетесь.

—Вот как, господин негодяй, так вы явились сюда, чтобы подвергнуть меня публичной критике?

—Подвергнуть критике?—переспросил Питу.

—Ты что, меня не понял?

—Отчего же, господин аббат, понял. Благодаря вам я разбираюсь в этимологии: критика, от латинского *critica*, от греческого *κρίσις*, от глагола *κρίω*, что значит—сужу, выношу приговор.

Аббат застыл на месте от изумления.

—*Critae*—так по-гречески назывались судьи у древних евреев, а на латыни они именовались *judices*. Таковые сведения находим мы в "Саду греческих корней", составленном Лансело**. Отсюда *criticus*—ценитель и судья художественных произведений, а также *crisis* и *criterium*. Вот оно как.

—Ах ты, плут!—все более изумляясь, подхватил аббат.—Сдается мне, что ты еще кое-чему выучился, даже тому, чего прежде не знал.

* Человеку присущи свобода суждения и разум (лат.).

** Лансело, дон Клод (1615—1695)—французский грамматист.

—Да что вы!—скромно запротестовал Питу.

—Почему же ты никогда не отвечал мне так бойко, покуда жил у меня в доме?

—Потому, господин аббат, что когда я жил у вас в доме, вы превращали меня в тупицу; потому что от вашего деспотизма у меня отшибало память и разумение, а от свободы они ожили. Да, от свободы, понимаете?—вскинув голову, настойчиво повторил Питу.

—От свободы! Ах ты прохвост!

—Господин аббат,—проговорил Питу тоном, в котором слышалось предупреждение, не лишнее оттенка угрозы,—господин аббат, не оскорбляйте меня. *Contumelia* *pop arguimentum*, сказал один оратор,—оскорбление не довод.

—Сдается мне, что этот бездельник,—вскричал возмущенный аббат,—воображает, будто я нуждаюсь в том, чтобы он переводил для меня свою латынь!

—Это не моя латынь, господин аббат, это латынь Цицерона, то есть человека, который несомненно нашел бы в вашей речи не меньше варваризмов, чем вы в моей.

—Надеюсь, ты не претендуешь на то, что я вступаю с тобой в диспут?—отрезал аббат Фортье, потрясенный до глубины души.

—А почему бы и не вступить, если дискуссия проливает свет, *abstrusum versis silicum**.

—Однако!—вскричал аббат Фортье.—Однако! Негодяй явно прошел выучку у революционеров.

—Да нет же. Вы сами утверждаете, что революционеры—глупцы и невежды.

—Утверждаю.

—Значит, вы делаете ложное умозаключение, господин аббат, и ваш силлогизм никуда не годится.

—Никуда не годится? Мой силлогизм не годится?

—Разумеется, господин аббат: Питу рассуждает и гозорит хорошо, Питу прошел выучку у революционеров, следовательно, революционеры рассуждают и говорят хорошо. Это же очевидно.

—Скотина! Олух! Тупица!

—Не осыпайте меня бранными словами, господин аббат. *Objurgatio imbellem animum arguit*—гнев свидетельствует о слабости.

Аббат пожал плечами.

—Отвечайте же,—настаивал Питу.

—Ты уверяешь, что революционеры хорошо рассуждают и хорошо говорят. Ну-ка, назови мне хоть одного из этих негодяев, хоть одного, кто умеет читать и писать.

—Я!—без опаски отвечал Питу.

—Читать, пожалуй, но все-таки писать ты не умеешь.

—Писать?—переспросил Питу.

—Да, писать без словаря.

* Из кремня (извлекает) огонь потаенный (лат.).—Вергилий, Георгики, I, 135.

- Умею
 —Хочешь биться об заклад, что не напишешь под мою диктовку и страницы без четырех ошибок?
 —А хотите биться об заклад, что не напишете под мою диктовку и полстранички без двух ошибок?
 —Ну, знаешь ли!
 —Давайте попробуем. Я подыщу вам побольше причастий да возвратных глаголов. Приправлю погуще всякими "что" и "чтобы" и выиграю заклад.
 —Было бы у меня на это время... —усмехнулся аббат.
 —Вы проиграете.
 —Питу, Питу, помнишь пословицу: Pitoueus Angelus asinus est*.
 —Ну, пословицу можно подобрать на кого угодно. Знаете, какую пословицу напели мне по дороге сюда камыши Вюалю?
 —Не знаю, но любопытно было бы узнать, господин Мидас**.
 —Fortierus abbas forte fortis.
 —Сударь! —возмутился аббат.
 —Что в вольном переводе означает: "Аббат Фортье не самый надежный форт".
 —К счастью, —возразил аббат, —обвинить —это еще не все; нужно привести доказательства.
 —Увы, господин аббат, это не составляет труда. Ну-с, чему вы обучаете своих питомцев?
 —Однако...
 —Следите за ходом моих рассуждений. Чему вы обучаете ваших питомцев?
 —Тому, что сам знаю.
 —Хорошо. Запомните, вы сказали: тому, что сам знаю.
 —Да, именно тому, что сам знаю, —подтвердил аббат, уже не столь уверенно; он предчувствовал, что за время своей отлучки его странный оппонент изучил неведомые приемы борьбы. —Да, так я и сказал, что дальше?
 —Ну, положим, вы излагаете ученикам то, что сами знаете; ладно, а что вы знаете?
 —Латынь, французский, греческий, историю, географию, арифметику, алгебру, астрономию, ботанику, нумизматику.
 —Еще что-нибудь? —спросил Питу.
 —Но...
 —Вспоминайте, вспоминайте.
 —Рисование.
 —Продолжайте.
 —Архитектуру.
 —Продолжайте.

* Анж Питу осел (*искаж лат*).

** Мидас — в греч. мифологии царь Фригии; будучи третейским судьей на музыкальном состязании богов Пана и Аполлона, отдал предпочтение первому, за что Аполлон наградил его ослиными ушами, которые Мидас вынужден был прятать под фригийский колпак.

—Механику.

—Это отрасль математики, но не беда, пойдём дальше.

—Вот как! Ну и к чему ты клонишь?

—Да это же ясно, как день: вы мне весьма подробно перечислили сейчас все, что вы знаете, а теперь перечислите то, чего вы не знаете.

Аббат содрогнулся.

—А,—продолжал Питу,—вижу, что для этого вам требуется моя помощь; вы не знаете ни немецкого, ни еврейского, ни арабского, ни санскрита—четырёх основных языков. Уж не говорю о второстепенных, коим нет числа. Вы не знаете естествознания, химии, физики.

—Господин Питу...

—Не перебивайте! Не знаете физики, прямолинейной тригонометрии; вы несведущи в медицине, не имеете понятия об акустике, о навигации; не разбираетесь в гимнастической науке...

—Как ты сказал?

—В гимнастической, из греческого *gymnasticus*, от греческого же *gymnos*, что значит "нагой", поскольку атлеты упражнялись нагими.

—Между прочим, я же тебя этому и научил,—воскликнул аббат, почти утешившись в победе над ним его же ученика.

—Это верно.

—Хорошо хоть, что ты это признаешь.

—С благодарностью признаю, господин аббат. Итак, мы говорили о том, чего вы не знаете...

—Довольно! Разумеется, я не знаю больше, чем я знаю.

—Итак, вы признаете, что многие люди знают об этих предметах больше, чем вы?

—Такое возможно.

—Это именно так и есть, и чем больше человек знает, тем больше убеждается в том, что ничего не знает. Так сказал Цицерон.

—Делай заключение.

—Делаю,

—Послушаем твоё заключение. Оно, должно быть, здоровое

—Я заключаю, что в силу своего относительного невежества вам следовало бы снисходительней относиться к относительной учености других людей. В этом проявляется двойная добродетель, *virtus duplex*, какая, если верить тому, что рассказывают, была присуща Фенелону, который, между прочим, знал не меньше вашего; добродетель эта—христианское милосердие и смирение.

Аббат взвыл от ярости.

—Змея!—вскричал он.—Ты змея!

—Ты оскорбляешь меня, но не отвечаешь мне!—как говорил один греческий мудрец. Я сказал бы вам это по-гречески, но только что я сказал почти то же самое по-латыни.

—Что ж,—ответчал аббат,—вот ещё один результат революционных теорий.

—Какой?

—Они склонили тебя к убеждению в том, что мы с тобой были равны.

—Но даже если бы они не убедили меня в этом, все равно это не дает вам права на ошибки во французском языке.

—О чем это ты?

—Я говорю, что вы сейчас совершили чудовищную ошибку во французском языке.

—Ну жели? Любопытно, и какую же?

—А вот какую. Вы сказали, революционные теории склонили тебя к убеждению в том, что мы с тобой были равны.

—Ну и что?

—То, что "были"—это прошедшее время.

—Да, черт побери.

—А нужно здесь настоящее.

—А!—краснея, промолвил аббат.

—Вы только переведите эту фразу на латынь, и сами увидите, что, ставя глагол в прошедшем времени, допускаете вопиющий солецизм.

—Питу! Питу!—возопил аббат, которому подобная эрудиция показалась сверхъестественной.—Питу, какой демон внушает тебе все эти нападки на старика учителя и на церковь?

—Ах, господин аббат,—возразил Питу, немного смутясь от непритворного отчаяния, прозвучавшего в словах аббата Фортъе,—никакой демон ничего мне не внушает, и я на вас не нападаю. Просто вы всегда обращаетесь со мной как с дураком и забываете, что все люди равны.

Аббат вновь рассердился.

—Нет,—сказал он,—никогда я не потерплю, чтобы при мне раздавались такие кощунственные речи. Да разве ты равен человеку, которого шестьдесят лет совершенствовали господь Бог и труд? Немыслимо, невыносимо!

—Гром и молния! Спросите у генерала Лафайета, провозгласившего права человека.

—Да, подкрепляя свои слова авторитетом дурного подданного своего короля, поджигателя всяческих распрей, предателя!

—Ну, знаете,—рассвирипел Питу,—это генерал-то Лафайет дурной подданный? Это генерал-то Лафайет поджигатель? Это генерал-то Лафайет предатель? Сами вы кощунствуете, господин аббат! Вы что же, три последних месяца в сундуке просидели? Или вы не знаете, что этот дурной подданный—единственный, кто служит королю? Что этот поджигатель—порука гражданского мира? Что этот предатель—лучший из французов?

—О, мог ли я предполагать,—отозвался аббат,—что авторитет короля падет так низко и подобный прохвост,—тут он указал на Питу,—будет уповать на Лафайета, как уповали некогда на Аристиду или Фокиона**.

* *Аристид* (540—460 до н. э.)—афинский государственный деятель, прозванный Справедливым.

** *Фокион* (402—318 до н. э.)—афинский госуд. деятель, прославленный своей непопулярностью и непреклонностью.

—Ваше счастье, господин аббат, что народ вас не слышит,—неосторожно заметил Питу.

—А!—торжествуя, вскричал аббат.—Вот оно! Вот ты и разоблачил себя наконец! Ты угрожаешь! Народ—да, народ, тот самый, что подло перебил королевских офицеров и вспарывал животы своим жертвам! Да, народ господина Лафайета, народ господина Байи, народ господина Питу! Ну, почему бы тебе не донести на меня поскорее революционером из Виллер-Котре? Почему бы тебе не потащить меня на берег Плэ? Почему бы тебе на засучить рукава и не вздернуть меня на фонарь? Ну, Питу, *macte animo**, Питу! *Sursum! Sursum***, Питу! Ну-ка, ну-ка, где у тебя веревка? Где виселица? Палач на месте: *macte animo, generose Pitoue!*

—*Sic itur ad astra!*—сквозь зубы продолжил Питу с единственным намерением довершить стих и не замечая, что в результате получается весьма кровавый каламбур.

Впрочем, он тут же спохватился, видя, как вознегодовал его наставник.

—Ах, вот ты как!—истощно возопил аббат Фортъе.—Вот ты и попался! Значит, ты меня отправишь к звездам! Итак, ты уготовал мне виселицу.

—Да не говорил я этого!—воскликнул Питу, начавший приходить в ужас от того, какой оборот принял диспут.

—А, ты сумеешь отправить меня на небо тем же путем, что несчастного Фулона, что бедного Бертье!

—Да нет же, господин аббат.

—А, у тебя уже и петля заготовлена, палач, *carنيفex****! Да уж не ты ли залезал на фонарь на Ратушной площади и гнусными паучьими лапами вцеплялся в свои жертвы?

Питу взвыл от ярости и возмущения.

—Да, это ты, я узнаю тебя,—продолжал аббат в порыве священного вдохновения, придававшего ему сходство с Иодаем****,—я узнаю тебя! Это ты, Катилина*****!

—Ну, знаете ли!—завопил Питу.—Вы, господин аббат наговорили мне сейчас такое, что страх берет! Знаете ли, вы, в сущности, меня оскорбили!

—Я тебя оскорбил?

—Знаете, если вы не перестанете, я пожалуюсь в Национальное собрание. Вот так-то!

Аббат разразился зловецким ироническим хохотом.

—Донеси на меня,—сказал он.

* *Хвала тебе (лат.)*—оборванная цитата из "Энеиды" Вергилия, в полном виде строка звучит так: "Хвала тебе, благородный отрок, так идут к звездам".

** *Выше (лат.)*; "выше сердца"—возглас католического священника во время мессы.

*** *Палач (лат.)*.

**** *Ветхозаветный первосвященник, в трагедии Расина "Гофолия" (1690) изображенный боговдохновенным пророком.*

***** *Зд. злодей. Луций Сергий Катилина (108—62 до н. э.) пытался свергнуть республику в Риме.*

—А дурным гражданам, которые оскорбляют добрых граждан, полагается наказание.

—Фонарь!

—Вы дурной гражданин...

—И веревка! Вережка!—Тут аббата осенило, и в порыве благородного негодования он воскликнул:—Каска! Каска! На том человеке тоже была каска!

—Вот еще,—опешил Питу,—что вам до моей каски?

—Человек, который вырвал дымившееся сердце из груди у Бертье, людоед, который принес его, окровавленное, и бросил на стол выборщиков, был в каске; этот человек в каске был ты, Питу, человек в каске—это ты, изверг! Прочь, прочь, прочь!

И с каждым новым "прочь", произносимым в трагическом тоне, аббат делал шаг вперед, а Питу пятился на шаг назад.

Слыша это обвинение, которого, как известно читателю, Питу нисколько не заслужил, бедный парень далеко отшвырнул от себя каску, которою так гордился, и та, погнувшись, ударилась о булыжник с глухим звоном меди, под которую был подложен картон.

—А, злодей!—вскричал аббат Фортье.—Ты сознаешься!

И он приосанился, как Лекен* в роли Оросмана, когда, найдя письмо, он обвиняет Заиру.

—Ладно, ладно,—проговорил Питу, до глубины души потрясенный подобным обвинением,—вы преувеличиваете, господин аббат.

—Я преувеличиваю? Это значит, что на самом деле ты совсем немножко вешал и только самую малость резал, ничтожество!

—Господин аббат, вы сами знаете, что это не я, сами знаете, что это Питт.

—Какой еще Питт?

—Питт-младший, сын Питта-старшего, лорда Чатама, того, который раздавал деньги и приговаривал: "Грабьте и не отчитывайтесь передо мной!" Если бы вы разумели по-английски, я сказал бы вам это на английском языке, но вы ведь его не знаете?

—А ты знаешь?

—Господин Жильбер меня обучил.

—За три недели? Ничтожный обманщик!

Питу понял, что вступил на неверный путь.

—Послушайте, господин аббат,—сказал он,—я больше с вами не спорю, у вас обо всем собственное мнение.

—В самом деле!

—Но это же впрямь так и есть.

—И ты это признал? Господин Питу позволяет мне иметь собственное мнение? Благодарю вас, господин Питу!

—Ну вот, опять вы сердитесь. Поймите, если вы не пере-

* Лекен, Анри Луи (1728—1778)—французский актер. Одна из его лучших ролей—султан Оросман в трагедии Вольтера "Заира" (1732).

станете, я так и не смогу приступить к делу, которое привело меня к вам.

—Негодник! Так ты явился по делу? Может быть, ты депутат?

И старик разразился ироническим смехом.

—Господин аббат,—сказал Питу, который, наконец, получил возможность обратиться к теме, на которую хотел свести разговор с самого начала дискуссии,—господин аббат, вы знаете, какое почтение внушал мне всегда ваш характер...

—Что ж, давай поговорим об этом.

—И как я всегда восхищался вашей ученостью,—добавил Питу.

—Змея!—процедил аббат.

—Я?—ахнул Питу.—Да что вы!

—Ну, о чем ты собирался меня просить? Чтобы я снова принял тебя в дом? Ну нет, Я не стану развращать моих учеников, нет, ты навсегда пропитался пагубным ядом. Ты отравишь мне эту юную поросль: *infecit rabula tabo**.

—Однако, господин аббат!

—Нет, об этом не проси, как бы ты ни изголодался, ибо я предполагаю, что парижские свирепые вешатели едят так же, как честные люди. Эти твари тоже хотят есть! Силы небесные! Словом, если ты начеушь, чтобы тебе швыряли порцию сырого мяса, ты ее получишь. Но за дверьми, в *sportules***, как подавали римские патроны своим клиентам.

—Господин аббат,—выпрямившись, возразил Питу,—слава Богу, я не прошу у вас пропитания, и я ни у кого не желаю сидеть на шее.

—Вот как!—вымолвил удивленный аббат.

—Я живу, как все: не попрошайничаю, я кормлюсь промыслом, который подсказала мне природа. Я живу своим трудом и настолько далек от того, чтобы стать обузой для моих сограждан, что некоторые избрали меня своим начальником.

—Неужто?—вырвалось у аббата, и в голосе его послышалось такое изумление, смешанное со страхом, словно он наступил на аспида.

—Да, да,—с готовностью подтвердил Питу.

—Начальником чего?—осведомился аббат.

—Начальником отряда свободных людей,—объяснил Питу.

—О Господи!—воскликнул аббат.—Несчастный спятил.

—Я начальник арамонской национальной гвардии,—с превеликой скромностью закончил Питу.

Аббат надвинулся на Питу, пытаясь прочесть у него на лице подтверждение его слов.

—В Арамоне объявилась национальная гвардия?—воскликнул он.

—Да, господин аббат.

—И ты ее начальник?

—Да, господин аббат.

* Заразой луга питаешь (лат.)—Вергилий, Георгики, III, 481.

** Корзина (лат.).

—Ты, Питу?

—Я, Анж Питу.

Аббат воздел к небесам искривленные руки подобно великому жрецу Финею*.

—Какая мерзость! Есть от чего прийти в отчаяние,—прошептал он.

—Вы не можете не знать, господин аббат,—мягко возразил Питу,—что национальная гвардия учреждена с целью охраны жизни, свободы и имущества граждан.

—О-о!—простонал старик, сломленный безнадежным горем.

—И чем сильнее станут отряды национальной гвардии, тем лучше, особенно в деревнях, которым угрожают банды,—продолжал Питу.

—Ты сам главарь одной из таких банд!—вскричал аббат.—Это банды грабителей, поджигателей, убийц!

—Ну, не смешивайте разбойников и честных людей, дорогой господин аббат. Надеюсь, вы увидите моих солдат и убедитесь, что более порядочных граждан...

—Молчи! Молчи!

—Уверю вас, господин аббат, что мы, напротив, являемся вашими естественным защитниками; недаром же я пришел прямо к вам.

—И зачем же?

—Вот то-то и оно,—промолвил Питу, почесав за ухом и поискав глазами, куда закатилась его каска, чтобы оценить, не будет ли похоже на бегство, если он сходит за этой весьма существенной принадлежностью своей военной амуниции.

Каска упала всего в нескольких шагах от парадного входа, обращенного на Суассонскую улицу.

—Я спрашиваю, зачем ты пришел?—повторил аббат.

—Что ж!—произнес Питу, попятившись в сторону своей каски.—Вот в чем заключается моя миссия. Разрешите мне, господин аббат, предложить ее на ваш суд.

—Зачин,—прошептал аббат.

Питу сделал еще два шага по направлению к своей каске.

Но аббат, к вящей тревоге Питу, повторил его маневр и, покуда Питу все ближе продвигался к каске, сделал тоже два шага к Питу, дабы расстояние между ними не сократилось.

—Ну что же,—повторил Питу, приободряясь по мере приближения к средству своей обороны,—солдатам никак нельзя без ружей, а у нас их нет.

—Ах, у вас нет ружей!—возликовал аббат.—У них ружей и то нет! Что это за солдаты без ружей! Да, хороши, нечего сказать!

—Но, господин аббат,—добавил Питу, делая еще два шага по направлению к каске,—когда оружия нет, следует его поискать.

* Финей—в греч. мифологии жестокий царь (а не жрец, как у Дюма) фракийцев, пораженный за свои грехи слепотой и преследованием гарпий.

—И что же?—осведомился аббат.—Вы его ищете?

Питу в это время добрался до каски, поддел ее ногой и, весь поглощенный этой операцией, промедлил с ответом.

—Вы его ищете?—повторил аббат.

Питу подобрал каску.

—Ищем, господин аббат,—сказал он.

—Где же?

—У вас,—отвечал Питу, нахлобучивая каску на голову.

—У меня? Оружие?—вскричал аббат.

—Да, ведь у вас его сколько угодно.

—А, мой музей!—воскликнул аббат.—Ты пришел разграбить мой музей. Чтобы такие мерзавцы, как ты, напялили кирасы наших старых героев! Господин Питу, я вам уже говорил недавно: вы не в своем уме. Вооружить господина Питу и его приспешников шпагами испанцев из-под Альмансы* и пиками швейцарцев из-под Мариньяно**! Ха-ха-ха!

Аббат расхохотался, и в хохоте его прозвучала такая презрительная угроза, что Питу мороз пробрал по коже.

—Нет, господин аббат,—возразил он,—речь не о швейцарских пиках и не об испанских шпагах: такое оружие нам не нужно.

—Хорошо хоть, что ты сам это признаешь.

—Нет, господин аббат, нам не это оружие требуется.

—А какое же?

—Нам нужны добрые флотские ружья, господин аббат, те добрые флотские ружья, которые я нередко чистил по вашему поручению во времена, когда имел честь изучать науки под вашим руководством, *dum me Galatea tenebat****,—с лучезарной улыбкой добавил Питу.

—И впрямь!—произнес аббат, чувствуя, как поредевшие волосы зашевелились у него на голове от улыбки Питу.—И впрямь, мои флотские ружья!

—Это единственное оружие в вашем собрании, не имеющее исторической ценности и пригодное к употреблению.

—А,—промолвил аббат, потянувшись рукой к рукояти плетки, как потянулся бы военачальник к эфесу шпаги,—а, наконец-то предатель показал свое истинное лицо.

—Господин аббат,—сказал Питу, от угрожающего тона переходя к умоляющему,—уступите нам эти тридцать флотских ружей.

—Назад!—рявкнул аббат, наступая на Питу.

—И вы прославитесь,—продолжал Питу, попятившись еще на шаг,—прославитесь как участник освобождения наших краев от угнетателей.

—Чтобы я дал врагам оружие против себя и своих дру-

* Город в Испании, под которым в 1707 году французы одержали победу над англичанами и испанцами.

** Город в Италии (ныне Меленьяно), где французами в 1515 г. была одержана победа над швейцарцами герцога Миланского.

*** "Пока Галатей была мне подругой" (лат.).—Вергилий, Буколики, I, 31; зд.: пока я служил науке.

зей!—вскричал аббат.—Чтобы я отдал ружья, из которых будут стрелять в меня же!

И он выхватил из-за пояса плетку.

—Никогда! Никогда!

И он занес плетку над головой.

—Господин аббат, ваше имя пропечатают в газете господина Прюдома.

—Мое имя в газете господина Прюдома!—вскричал аббат.

—С похвальным отзывом о вашей гражданской доблести

—Лучше позорный столб! Галеры!

—Неужели вы отказываетесь?—настаивал Питу, но уже более вяло.

—Отказываюсь и изгоняю тебя прочь.

И аббат пальцем указал Питу на дверь.

—Это произведет на людей дурное впечатление,—продолжал Питу,—вас обвинят в отсутствии патриотизма, в измене. Умоляю вас, господин аббат, не подвергайте себя такой опасности.

—Сделай из меня мученика, Нерон! Лишь об этом я и прошу!—воскликнул аббат, сверкая глазами и походя более на истязателя, чем на жертву.

Питу он показался именно истязателем, и Питу поскорее обратился в бегство.

—Господин аббат,—сказал он, делая еще шаг,—я мирный депутат, посланец, явившийся для мирных переговоров, во избежание кровопролития; я пришел...

—Ты пришел разграбить мой склад оружия, как твои сообщники разграбили Дом Инвалидов.

—И заслужили тем самым множество похвал,—напомнил Питу.

—А ты заслужишь уйму ударов плетью,—парировал аббат.

—Ох, господин Фортье,—ответствовал Питу, издавна знакомый с орудием аббата,—неужели вы так грубо нарушите права человека?

—Сейчас увидишь, негодяй! Погоди же!

—Господин аббат, я как посол пользуюсь неприкосновенностью.

—Погоди же!

—Господин аббат! Господин аббат! Господин аббат!!!

Питу добрался до двери, выходящей на улицу, по-прежнему лицом к противнику; далее следовало либо принять бой, либо бежать.

Но чтобы бежать, надо было отворить дверь, а чтобы отворить дверь, надо было отвернуться.

Если бы Питу отвернулся, он подставил бы под колотушки аббата Фортье ту часть своего тела, которая, по его мнению, была недостаточно укрыта броней.

—Ах, ты мои ружья захотел!..—произнес аббат.—Ах, ты явился за моими ружьями!.. Ах, ты пришел мне сказать ружья или смерть!..

—Что вы, господин аббат,—возразил Питу,—я вам об этом ни слова не сказал.

—Что ж! Ты знаешь, где мои ружья, так убей меня и за-
владычь ими. Переступи через мой труп и возьми их.

—Я неспособен на это, господин аббат, неспособен.

И Питу, протянув руки к щеколде и не сводя взгляда с за-
несенной длани аббата Фортье, принялся подсчитывать в уме
не ружья, запертые в арсенале аббата, а удары, готовые со-
браться с ремешков его плетки.

—Итак, господин аббат, вы не желаете отдать мне ружья?

—Не желаю.

—Считаю до трех: не хотите?.. Раз!

—Нет.

—Два!

—Нет.

—Три!

—Нет! Нет! Нет!

—Ну что ж,—промолвил Питу,—оставьте их у себя.

И он проворно повернулся и выскользнул в приотворен-
ную дверь.

Но несмотря на все его проворство, умелая рука со сви-
стом рассекала воздух и с такой силой хлестнула Питу по мяг-
кому месту, что доблестный покоритель Бастилии не удержался
от горестного вопля.

На этот вопль выскочили соседи и к своему глубочайшему
изумлению увидели Питу, который удирал во всю прыть при
каске и при сабле, между тем как аббат Фортье, стоя на пороге
своего дома, потрясал плетью, как карающий ангел—огненным
мечом.

XXXV. Питу-дипломат

Только что мы видели, как Питу упал с облаков на греш-
ную землю.

Удар был болезненный. Сам сатана не скатывался с такой
высоты, когда удар молнии поверг его с небес в преисподнюю.
И потом в преисподней сатана оказался царем, а Питу, испе-
ленный аббатом Фортье, вернулся к прежнему состоянию и
снова стал Питу.

Каково теперь ему было предстать перед теми, кто облек
его доверием? Теперь, когда он уже так неосторожно с ними
пооткровенничал, каково ему было признаться, что избранный
ими начальник—хвостун, фанфарон, который в каске на ма-
кушке и с саблей на боку стерпел удар плети по мягкому мес-
ту от аббата Фортье?

Зачем, зачем он похвалялся, что сладит с аббатом Фортье,
а сам потерпел поражение!

Питу присел на краешек первой попавшейся канавы, об-
хватил голову руками и призадумался.

Он надеялся умаслить аббата Фортье, говоря с ним по-гре-
чески и по-латыни. В своем наивном добродушии он льстил се-
бя мыслью, что задобрил Цербера медовым пирогом красноре-
чия, но пирог оказался горек, и Цербер не стал глотать его, а
укусил руку дарителя. Так и рухнули все его планы.

Да, аббат Фортье был наделен необъятным самолюбием; на это самолюбие и понадеялся Питу; ведь аббата Фортье больше уязвило то, что Питу уличил его в ошибке против французского языка, чем требование отдать тридцать ружей из его арсенала.

Прекраснодушные молодые люди вечно совершают одну и ту же ошибку, веря в совершенство других людей.

Итак, аббат Фортье был оголтелый роялист, а главное, исполненный гордыни филолог.

Питу горько упрекал себя, что припелел короля Людовика XVI и прошедшее время глагола, и тем пробудил в аббате двойную ярость, которая обрушилась на него же. Зная аббата, ему следовало быть обходительней. Тут он совершил нештучный промах, в котором теперь раскаивался, но, как всегда, слишком поздно.

Оставалось найти выход из положения.

Надо было использовать все свое красноречие, чтобы убедить аббата Фортье в том, что он, Питу, добрый роялист, а главное—не ловить его на грамматических ошибках.

Надо было убедить аббата, что национальная гвардия в Арамоне выступает против революции.

И самое главное—надо было пропустить мимо ушей это злополучное прошедшее время!

И тогда, вне всякого сомнения, аббат допустил бы его к своему сокровищу, распахнул бы перед ним свой арсенал, дабы оказать поддержку доблестным защитникам монархии и героическому их начальнику.

Это было бы не притворство, а дипломатия. Пораскинув умом, Питу припомнил немало подобных примеров в истории.

Он подумал о Филиппе Македонском, который столько раз приносил ложные клятвы, а между тем его считают великим.

О Бруте, который притворялся тупицей, чтобы усыпить подозрение своих недругов, а между тем его считают великим.

О Фемистокле, который всю жизнь водил за нос своих сограждан для их же пользы, а между тем его тоже считают великим.

И напротив, он вспомнил Аристида, отвергавшего недостойные средства,—его тоже почитают великим.

Этот довод его озадачил.

Но, поразмыслив, он решил, что Аристиду очень повезло: он жил в те времена, когда персы были настолько глупы, что их можно было победить и не кривя душой.

После дальнейших размышлений на ум ему пришло, что Аристид в конце концов был вынужден удалиться в изгнание, и хотя изгнали его несправедливо, но это заставляет чашу весов склониться в пользу Филиппа Македонского, Брута и Фемистокла.

Перебрав к новой истории, Питу спросил себя, как бы в его шкуре действовали г-н Жильбер, г-н Байи, г-н Ламет, г-н Бар-

нав*, г-н де Мирабо, если бы на месте аббата Фортье оказался Людовик XVI?

Как бы они поступили, чтобы заставить короля вооружить триста, а то и пятьсот тысяч солдат французской национальной гвардии?

Да уж не так, как Питу, а как раз наоборот.

Они бы уговорили Людовика XVI, что самое пылкое желание всех французов—спасти и сохранить своего отца и властелина, а для того, чтобы спасти его от любой опасности, французам требуется от трехсот до пятисот тысяч ружей.

И Мирабо наверняка добился бы успеха.

Кроме того, Питу припомнил пословицу:

*Просишь Черта об одолженьи—
Окажи ему уваженье!*

Из всего этого он заключил, что сам он, Анж Питу,—круглый дурак и тупица, и что будь он полной противоположностью тому, каков он на самом деле, вот тогда он вернулся бы к своим избирателям со славой.

Устремившись мыслью в этом новом направлении, Питу решил, что хитростью или силой раздобудет оружие, которое собирался получить благодаря уговорам.

И тут его осенило.

Он придумал хитрость.

Проникнуть в музей аббата и похитить, выкрасть ружья из арсенала.

С помощью сотоварищей Питу унесет добычу, а похищение произведет сам.

Похищение! Нет, честному Питу не нравилось, как звучит это слово.

Что до выноса награбленного—здесь можно не сомневаться: во Франции еще хватает людей, живущих по старым законам, и эти люди назовут его поступок разбойным нападением или кражей со взломом.

Все эти соображения заставили Питу отказаться от вышеупомянутого замысла.

К тому же на карту было поставлено его самолюбие, и если Питу стремился достойно выйти из положения, ему не следовало прибегать к посторонней помощи.

Он снова принялся ломать себе голову, в глубине души любясь сам собой и тем новым руслом, по которому устремилась его мысль.

Наконец, подобно новому Архимеду, он воскликнул: "Эврика!"—что в переводе значит всего-навсего "Я нашел!"

И в самом деле, вот какое средство отыскал Питу в своем собственном арсенале. Верховным главнокомандующим французской национальной гвардией является генерал Лафайет.

Арамон находится во Франции.

В Арамоне имеется национальная гвардия.

Итак, генерал Лафайет не должен смириться с тем, что

* Барнав, Жозеф (1761—1793)—французский политический деятель, сторонник конституционной монархии.

арамонские воины безоружны, коль скоро солдаты других отрядов национальной гвардии имеют оружие или вскорости должны его получить.

К Лафайету можно обратиться через Жильбера, к Жильберу через Бийо.

Питу напишет письмо г-ну Бийо.

Бийо читать не умеет, значит, письмо ему прочтет Жильбер—следовательно, за вторым посредником дело не встанет. Порешив на этом, Питу дождался прихода темноты, крадучись, вернулся в Арамон и взял в руки перо.

Но как он ни старался вернуться инкогнито, Клод Телье и Дезире Манике все-таки его углядели.

Они удалились в молчании, с таинственным видом, прижав пальцы к губам и оглядываясь на письмо.

Питу между тем с головой окунулся в пучину политики.

Итак, вот письмо, которое было сложено в белый бумажный квадратик и произвело на Клода и Дезире столь сильное впечатление:

"Любезный и высокочтимый господин Бийо!

С каждым днем дело революции в наших краях продвигается; аристократы теряют почву под ногами, патриоты наступают.

Арамонская коммуна изъявила желание нести действительную службу в национальной гвардии.

Но она не располагает оружием.

Есть способ добыть его. Некоторые частные лица хранят дома изрядное количество боевого оружия, которое могло бы серьезно сократить общественные расходы в случае, если эти запасы перейдут в собственность нации.

Если господин генерал Лафайет соизволит распорядиться, чтобы эти незаконные запасы были переданы коммуне в количестве необходимом для вооружения всех мужчин, способных стать под ружье, я, со своей стороны, обязуюсь добыть для арамонского арсенала не меньше тридцати ружей.

Это единственное средство дать отпор контрреволюционным проискам аристократов и врагов нации.

*Остаюсь вашим согражданином и покорнейшим слугой
Анжем Питу"*

Сочинив это послание, Питу спохватился, что забыл сообщить фермеру новости о его доме и семье.

Но Бийо все же не был Брутом; с другой стороны, рассказывать Бийо о Катрин все, как есть, значило либо навлечь на себя обвинение в клевете, либо разбить отцовское сердце; кроме того, для самого Питу это значило беречь свежую рану.

Питу подавил вздох и сделал приписку:

"P S. Г-жа Бийо и м-ль Катрин, а также все домочадцы здоровы и шлют г-ну Бийо поклоны".

Таким образом, Питу не бросил тень ни на себя, ни на других.

Показав посвященным белый конверт, которому предстояло быть отправленным в Париж, командующий арамонскими вооруженными силами ограничился тем, что проронил одно слово:

—Вот!

Затем он пошел и опустил письмо в ящик.

Ответ не заставил ждать.

Через день в Арамон прибыл верхом нарочный и спросил г-на Анжа Питу.

То-то был переполох, то-то размечтались и забеспокоились бдущие воины!

Лошадь у гонца была вся в мыле.

Сам он был одет в мундир штаба парижской национальной гвардии.

Легко вообразить, каково было произведенное им впечатление, легко вообразить, как забилося и затрепетало сердце Питу.

Дрожащий, бледный, он приблизился и принял пакет, который не без улыбки протянул ему присланный офицер.

Это был ответ г-на Бийо, писанный рукой г-на Жильбера.

Бийо советовал Питу сохранять умеренность в своем патриотизме.

При сем прилагался приказ генерала Лафайета, подписанный военным министром: то был приказ о вооружении арамонской национальной гвардии.

Приказ был составлен в следующих выражениях:

“Тем, кто имеет более чем одно ружье или одну саблю, предписывается сдать все остальное оружие в распоряжение начальника отрядов каждой коммуны.

Настоящая мера обязательна для исполнения во всей провинции”.

Покраснев от радости, Питу поблагодарил офицера, а тот снова улыбнулся и отбыл к следующему пункту назначения.

Так Питу вознесся к вершинам почестей: он получил указания прямо от генерала Лафайета и министров!

И эти указания изрядно способствовали планам и притязаниям самого Питу.

Невозможно описать, какое впечатление произвел гонец на тех, кто избрал Питу. Нам не по силам такая задача.

Стоило только поглядеть на эти взволнованные лица, сверкающие глаза, на всеобщее воодушевление; стоило только поглядеть, каким глубоким почтением прониклась вся деревня к Анжу Питу, и даже самый недоверчивый наблюдатель убедился бы, что отныне нашему герою уготована выдающаяся роль.

Избиратели один за другим просили дозволения прикоснуться к печати министра, и Питу милостиво давал им такую возможность.

Когда часть собравшихся разошлась и остались одни посвященные, Питу произнес:

—Сограждане, мои планы возымели успех, как я и предполагал. Я написал генералу Лафайету, что вы желаете учредить отряд национальной гвардии и избрали меня своим начальником. Прочтите, к кому обращено послание министра.

И он показал депешу, на адресе которой было написано:

*"Сьеру Анжу Питу,
начальнику арамонского отряда национальной гвардии."*

—Итак,—продолжал Питу,—генерал Лафайет признает и считает меня начальником национальной гвардии. Соответственно, и он, и военный министр признают и числят вас солдатами национальной гвардии.

Продолжительный вопль радости потряс стены лачуги, в которой обитал Питу.

—Что до оружия,—продолжал наш герой,—я нашел способ его добыть. Вы незамедлительно изберете из своей среды лейтенанта и сержанта. Эти два чина будут спешествовать мне в действиях по добыче оружия.

Присутствующие нерешительно переглянулись.

—Скажи свое мнение, Питу!—предложил Манике.

—Мое дело сторона,—с достоинством возразил Питу,—никто не имеет права влиять на исход выборов. Соберитесь в мое отсутствие, назначьте двух младших офицеров, о коих я вам говорил, да только выберите людей понадежнее. Вот все, что я могу вам сказать. Ступайте.

На этих словах, произнесенных воистину по-королевски, Питу спровадил своих солдат и остался один, осененный величием, равным величию Агамемнона*.

Он упивался своей славой, покуда избиратели на улице спорили, кому принять бразды военного правления в Арамоне.

Выборы продолжались час. Наконец, лейтенант и сержант были назначены: сержантом стал Клод Телье, а лейтенантом Дезире Манике. Потом сходили за Анжем Питу, который утвердил и поздравил избранных.

Едва с этим делом было покончено, он объявил:

—А теперь, господа, нельзя терять ни минуты.

—Да, да, поскорее начнем строевые занятия,—воскликнул один из самых пылких энтузиастов.

—Погодите,—сказал Питу,—прежде нужно раздобыть ружья.

—Иначе и быть не может,—поддакнули сержант с лейтенантом.

—А пока у нас нет ружей, нельзя ли поупражняться с палками?

—Давайте будем делать все, как полагается в армии,—отрезал Питу, который не чувствовал в себе сил обучать людей искусству, о котором сам покуда не имел никакого понятия.—Солдаты, которые обучаются ружейному артикулу с пал-

* Агамемнон—в греч. мифологии царь Микен, верховный предводитель греков под Троей.

ками, будут выглядеть нелепо; негоже с самого начала ставить себя в смешное положение!

—Это разумно,—ответили все,—сначала ружья!

—Итак, лейтенант и сержант, следуйте за мной,—сказал подчиненным Питу,—а все остальные ждите нас здесь.—Ответа ему было почтительное одобрение отряда.—До темноты остается еще часов шесть. Этого более чем достаточно, чтобы добраться до Виллер-Котре, уладить там наше дело и вернуться. Вперед, шагом марш!—вскричал Питу.

И штаб арамонской армии немедленно пустился в путь.

Но когда Питу перечитывал письмо, желая лишний раз убедиться, что все это счастье ему не приснилось, он заметил приписку от Жильбера:

“Почему Питу забыл написать доктору Жильберу, как поживает Себастьян?”

Почему Себастьян не пишет отцу?”

XXXVI. Питу торжествует

Аббат Фортье даже не догадывался, бедняга, ни о том, какую бурю навлекает на него эта тайная дипломатия, ни о том, каким доверием пользуется у властей Анж Питу.

Он хлопотал о том, чтобы доказать Себастьяну, что дурное общество ведет к полной утрате добродетели и невинности, что Париж—это пучина, и сами ангелы развратились бы там, если бы подобно тем, что блуждали по дороге в Гоморру, не возвратились бы поскорей на небо; и, потрясенный посещением Анжа Питу, этого падшего ангела, он пустил в ход все красноречие, на какое был способен, чтобы убедить Себастьяна остаться добрым и верным роялистом.

Поспешим уточнить, что толкуя о добрых и верных роялистах, аббат Фортье подразумевал под этими словами далеко не то же самое, что доктор Жильбер.

Добрейший аббат упустил из виду, что, вкладывая в эти слова совершенно иной смысл, он поступает неблагоприятно, поскольку своей пропагандой пытается настроить, пускай невольно, сына против отца.

Впрочем, следует признаться, что он не встретил особого сопротивления.

Странное дело! В те годы, когда дети—мягкая глина, как сказал поэт, в годы, когда в них глубоко отпечатывается все, что к ним прикасается, Себастьян уже обладал решительностью и твердостью суждений, присущими взрослому человеку.

Быть может, дело объяснялось тем, что он был сын аристократки, которая презирала плебея и гнушалась им?

Или то была истинная аристократичность плебея, доходившая в докторе Жильбере до стоицизма?

Аббату Фортье было не по силам проникнуть в эту тайну; он знал, что доктор—патриот, не чуждый восторженности, и, вдохновляясь простодушным стремлением к добру, присущим

духовным особам, пытался перевоспитать его сына на благо королю и Господу Богу.

Впрочем, Себастьян не слушал его советов, хоть и казался внимательным учеником; он грезил о тех неясных видениях, которые с некоторого времени снова стали преследовать его, появляясь под старыми деревьями в парке Виллер-Котре, когда аббат Фортье водил своих учеников в сторону Клуизовой глыбы, к Сент-Юберу или к башне Омон; он грезил об этих галлюцинациях, которые были для него второй жизнью, полной обманчивых поэтических радостей, и эта жизнь шла для него бок о бок с настоящей, проникнутой докучной прозой учения и коллежа.

Вдруг дверь на улице Суассонской отворилась от сильного толчка, и в дом вошло несколько человек.

Эти люди были мэр городка Виллер-Котре, его помощник и секретарь мэрии.

Позади маячили две жандармские шляпы, а за шляпами—головы поддюжины зевак.

Аббат встревожился и шагнул навстречу мэру.

—Что случилось, господин Лонпре?—осведомился он.

—Господин аббат,—сурово ответствовал мэр,—известен ли вам новый декрет военного министра?

—Нет, господин мэр.

—Тогда потрудитесь прочесть.

Аббат взял бумагу и стал читать.

Еще не дочитав, он побледнел.

—Так что же?—спросил он, волнуясь.

Тут Питу решил, что настал момент показаться, и приблизился к аббату; за ним шли лейтенант и сержант его отряда.

—Вот они,—провозгласил мэр.

Аббат из бледного стал багровым.

—Эти негодяи!—вскричал он.—Эти бездельники!

Мэр был человек благодушный и еще не обзавелся определенными политическими взглядами; он старался убажить и тех, и этих и не хотел ссориться ни с Господом Богом, ни с национальной гвардией.

Инвективы аббата Фортье вызвали у него гулкий смешок, который и помог ему овладеть положением.

—Слыхали, как аббат относится к арамонской национальной гвардии?—обратился он к Питу и двум его офицерам.

—Это потому, что аббат Фортье помнит нас детьми, и ему кажется, что мы все еще дети,—с мягкой печалью в голосе объяснил Питу.

—Но детки превратились в мужчин,—глухо произнес Манике, протягивая к аббату свою изуродованную руку.

—И эти мужчины оказались ядовитыми змеями!—крикнул возмущенный аббат.

—И если этих змей заденут, они выпустят жала,—подхватил сержант Клод.

В этих угрозах мэр провидел всю грядущую революцию.

Аббат угадал по ним свое мученичество.

—Чего им от меня надо, в конце концов?—спросил он.

—Часть оружия, которое хранится здесь у вас,—отвечал мэр, пытаясь привести всех к согласию.

—Это оружие не мое,—возразил аббат.

—Чье же оно?

—Оно принадлежит монсеньеру герцогу Орлеанскому.

—Не спорим, господин аббат,—сказал Питу,—но это не меняет дела.

—Как это, не меняет?—возмутился аббат.

—Да так: мы, несмотря ни на что, просим у вас это оружие.

—Я напишу об этом его высочеству,—величественно отрезал аббат.

—Господин аббат забывает,—вполголоса заметил мэр,—что это будет бессмысленная отсрочка. Разумеется, монсеньер, если вы к нему обратитесь, ответит, что следует отдать патриотам не только ружья их врагов англичан, но и пушки его предка Людовика XIV.

Это истина сразила аббата.

Он прошептал:

—Circumdeditis mehostibus meis*.

—Да, господин аббат,—сказал Питу,—это верно, но речь идет только о политических врагах, потому что мы ненавидим вас только как дурного патриота.

—Глупец!—возопил аббат Фортье в приступе ярости, придавшей ему красноречия.—Невежественный и опасный глупец! Кто из нас двоих дурной патриот—я, кто хочет оставить оружие здесь ради мира на своей родине, или ты, требующий его для раздоров и гражданской смуты? Кто из нас добрый сын—я, сжимающий оливковую ветвь, чтобы увенчать общую нашу мать, или ты, жаждущий оружия, чтобы рассечь ей грудь?

Мэр отвернулся, чтобы скрыть волнение, и украдкой подал знак аббату, словно говоря:

—Очень хорошо!

Помощник, новый Тарквиний, стал сшибать тростью головки цветов**.

Анж растерялся.

Это не укрывало от двух его подчиненных: они нахмурились.

И только Себастьян, спартанский мальчик, остался невозмутим.

Он приблизился к Питу и спросил:

—Скажи, Питу, о чем идет речь?

Анж в двух словах все ему объяснил.

* Избавь меня от врагов моих (лат.).

** Тарквиний Гордый (ум. 494)—последний римский царь. Собираясь захватить город Габии, отправил туда своего сына Секста под видом перебежчика. Тот был радушно принят в Габиях и, прижившись там, послал к отцу гонца за указаниями. Тарквиний вывел гонца в сад и стал молча сбивать палочкой красивейшие цветы. Секст понял намек, истребил знатнейших граждан Габии, и город был захвачен.

—Приказ подписан?—уточнил мальчик.

—Министром и генералом Лафайетом, а написан рукой твоего отца.

—В таком случае,—надменно спросил мальчик,—какие могут быть сомнения, повиноваться ему или нет?

Его глаза с расширенными зрачками, трепещущие ноздри, сурово нахмуренный лоб—все в нем выдавало непреклонную власть, доставшуюся ему в наследство по обеим линиям.

Аббат услышал слова, сорвавшиеся с уст ребенка; он содрогнулся и потупил голову.

—Против нас три поколения врагов,—прошептал он.

—Что же, господин аббат,—произнес мэр,—нужно покориться.

Аббат шагнул вперед, теребя ключи, которые по старой монастырской привычке носил на поясе.

—Нет! Тысячу раз нет!—воскликнул он.—Оружие мне не принадлежит, я дождусь приказа от своего господина.

—Эх, господин аббат!—вздыхнул мэр, не в силах скрыть упрек.

—Это бунт,—сказал Себастьян священнослужителю,—бегитесь, дорогой учитель.

—*Tu quoque!**—прошептал аббат Фортье, жестом Цезаря набрасывая на лицо край сутаны.

—Полно, господин аббат, полно,—сказал Питу,—не беспокойтесь, оружие послужит на благо отчизны.

—Замолчи, Иуда,—возразил аббат.—Ты предал своего старого наставника, почему бы тебе не предать и отчизну?

Питу понурил голову: его нещадно мучила совесть. Он вел себя как искусный начальник, но не как благородный человек.

Однако, потупившись, он увидел в сторонке двух своих подчиненных, которым, судя по всему, было досадно, что у них такой нерешительный командир.

Питу понял, что теряет влияние: его авторитет пошатнулся.

Гордость придала сил доблестному солдату французской революции.

Итак, он поднял голову и сказал:

—Господин аббат, как бы я ни был предан своему старому наставнику, я не собираюсь безропотно сносить подобные оскорбления.

—А, ты выучился делать комментарии?—парировал аббат, надеясь обезоружить Питу насмешками.

—Да, господин аббат, я выучился комментировать, и сейчас вы убедитесь, насколько справедливы мои комментарии,—продолжал Питу.—Вы зовете меня предателем, потому что отказались выдать мне оружие, которое я просил у вас добром, с оливковой ветвью в руке, а нынче я пришел отнять его силой, вооруженный правительственным приказом. Что ж, господин аббат, лучше пусть покажется, будто я предал свой долг, чем

* И ты тоже (лат.)—слова, приписываемые Цезарю, которые он произнес, по преданию, перед смертью при виде убийц, после чего закрыл лицо ладонью.

протянул вместе с вами руку контрреволюции. Да здравствует отчизна! К оружию! К оружию!

Мэр кивнул Питу точно так же, как до того кивал аббату, приговаривая:

—Очень хорошо! Очень хорошо!

И впрямь, эта речь словно громом поразила аббата, а всех остальных привела в неистовство.

Мэр потихоньку скрылся, приказав помощнику остаться.

Помощник тоже рад был бы ускользнуть, но отсутствие обоих представителей муниципалитета наверняка было бы замечено.

Итак, он вместе с секретарем суда последовал за жандармами, а те—за тремя солдатами национальной гвардии, и все вместе двинулись к музею, вокруг которого Питу знал все ходы и выходы, потому что был 'воспитан в серале'*.

Себастьян прыжками, как лыенок, побежал по следам патриотов.

Другие дети в растерянности застыли на месте.

Аббат отворил дверь своего музея и, чуть живой от стыда и гнева, упал на первый попавшийся стул.

Войдя в музей, оба сподвижника Питу готовы были все подвергнуть разграблению, но их командир показал себя сдержанным и честным малым.

Он подсчитал, сколько солдат находится под его началом, и, поскольку их оказалось тридцать три, приказал изъять тридцать три ружья.

Но поскольку национальной гвардии могла прийти нужда пострелять, а отставать от других Питу не собирался, он взял тридцать четвертое ружье для себя—настоящее офицерское ружье, короче и легче остальных, из которого можно было с одинаковым успехом стрельнуть и дробью по зайцу или кролику, и выпустить пулю в дурного патриота или пруссака.

Кроме того, он выбрал себе шпагу, прямую, как у генерала Лафайета, которая принадлежала прежде какому-нибудь герою, отличившемуся при Фонтенуа или Филипсбурге, и прицепил ее к поясу.

Двое его соратников взвалили себе на плечи по двенадцать ружей, и ликование их было столь необузданным, что оба даже не пригнулись под этой чудовищной ношей.

Остальные ружья взял Питу.

Возвращались не через Виллер-Котре, а парком, чтобы не возбуждать страсти.

К тому же этот путь был короче.

Сокращая себе дорогу, три офицера избегали и опасности наткнуться на тех, кто не одобрял их предприятия. Питу не боялся схватки, тем более что ружье, взятое им на этот случай, придавало ему смелости. Но Питу стал куда рассудительней, чем прежде, и справедливо посчитал, что одно ружье, пожалуй, способно защитить человека, а много ружей лишь мешают обороне.

* Пересказ стиха Расина из трагедии "Баязид". IV, 7.

Нагруженные этими доспехами, взятыми в качестве трофеев, три наших героя бегом пересекли парк и вышли на круглую площадку, где им пришлось остановиться. Наконец, чуть не падая от усталости и обливаясь потом, они приволокли домой к Питу драгоценную кладь, которую, быть может, несколько опрометчиво доверила им родина.

В тот же вечер собрался весь отряд, и Питу вручил каждому солдату по ружью, приговаривая, словно спартанская мать сыну, идущему в бой:

—Со щитом или на щите!

В отряде, который совершенно преобразился благодаря гению Питу, это событие произвело переполох, сравнимый с паникой в муравейнике во время землетрясения.

Деревенские парни, все до мозга костей браконьеры, пылавшие к охоте безумной страстью, подогреваемой суровостью сторожей, до того обрадовались ружьям, что Питу превратился для них в бога на земле.

Забыты были его несуразные ноги, забыты непомерные руки, забыты толстые коленки и чересчур большая голова, забыты были даже нелепые обстоятельства его прежней жизни; Питу явился им в образе местного божества, и они поклонялись ему все время, покуда златокудрый Аполлон пребывал в гостях у прекрасной Амфитриты*.

На другой день все они, прирожденные стрелки, только и знали, что возились с ружьями, начищали их до блеска; те, кому досталось оружие получше, ликовали, у кого оказались ружья поплотше, мечтали исправить несправедливость судьбы.

Тем временем Питу, удалившись к себе в каморку, как великий Агамемнон к себе в шатер, размышлял, покуда другие драили металл, и ломал себе голову, покуда другие стирали себе пальцы.

О чем размышлял Питу?—спросит читатель, неравнодушный к этому юному военному гению.

Сделавшись пастырем народов**, Питу размышлял о бессмысленной тщете величия в нашем мире.

В самом деле, приблизился миг, когда здание, возводимое им с таким трудом, грозило рухнуть во прах.

Накануне были розданы ружья. Целый день ушел на то, чтобы привести их в надлежащий вид. Завтра следовало показать солдатам ружейные приемы, а Питу не знал даже первой команды "Заряжай!" на двенадцать счетов.

Питу всегда заряжал ружье не по счету, а как получалось.

Со строевыми маневрами дело обстояло еще хуже.

Пишущий эти строки сам знаком только с одним маневром; правда, он соотечественник Питу.

Итак, Питу размышлял, обхватив голову руками, вперив взгляд в пустоту и не шевелясь.

* то есть всю ночь. Аполлон—бог солнца в греч. мифологии. Амфитрита—богиня моря, супруга Посейдона.

** Пастырь народов—постоянный эпитет Агамемнона у Гомера.

Ни Цезарь, блуждая по лесам дикой Галлии, ни Ганнибал, затерянный в снежных Альпах, ни Колумб, бороздя неведомый океан, никогда не погружались в такие возвышенные размышления перед лицом неизвестности, и не стремились столь напряженными думами к *Dis ignotis**, к сим безжалостным божествам, владеющим тайной жизни и смерти, как Питу на протяжении этого бесконечного дня.

—Ох,—приговаривал Питу,—время идет, завтрашний день приближается, и завтра всем станет ясно, какое я ничтожество.

Завтра героический воин и покоритель Бастилии будет объявлен круглым дураком, и объявит его таковым соображение всего Арамона, как древние греки... не помню уж кого.

Завтра меня освищут! Меня, сегодняшнего триумфатора!

Этого не будет: я этого не допущу. Иначе об этом узнает Катрин, и я буду опозорен.

Питу перевел дух.

—Кто и что может меня выручить?—спросил он.—Отвага? Нет, отвага—это минутная вспышка, а зарядание по-прусски идет на двенадцать счетов.

Обучать французов на прусский манер—какая все-таки вздорная затея!

А что если я скажу, что я, мол, добрый патриот и не желаю обучать французов прусским премудростям, а изобрету для них более французские строевые упражнения? Нет, я запутаюсь. Помню, видел я обезьянку на ярмарке в Виллер-Котре. Эта обезьянка исполняла строевые приемы, но, небось, она это проделывала как попало, по-обезьяньи... Ох!—вскричал он внезапно.—Кажется, придумал!

И тут же сорвавшись с места, он принялся было мерить пространство, как циркулем, своими огромными ногами, но тут его остановила неожиданная мысль.

—Все удивится, куда я пропал,—сказал он.—Надо предупредить моих людей.

Он отворил дверь, кликнул Клода и Дезире и обратился к ним с такой речью:

—Объявите на послезавтра первые строевые занятия.

—А почему не на завтра?—спросили оба младших чина.

—Потому что и вы, и сержант устали,—объяснил Питу,—а я, прежде чем обучать солдат, хочу сперва обучить младших офицеров. И кстати,—строго добавил Питу,—на будущее прошу вас уяснить привычку повиноваться приказам без рассуждений.

Подчиненные поклонились.

—Ладно,—сказал Питу,—объявите, что занятия начнутся послезавтра в четыре утра.

Младшие чины поклонились еще раз, вышли и отправились спать; было уже девять вечера.

Питу дождался, пока они ушли. Когда они завернули за

* Неведомые боги (лат.).

угол, он ринулся в другую сторону и через пять минут углубился в самую темную и густую чащу леса.

Посмотрим, какова была спасительная мысль, осенившая Питу.

XXXVII. Папаша Клуис, или История о том, как Питу изучил тактику и приобрел благородный вид

Питу бежал около полудня, все дальше и дальше углубляясь в самую чащу.

Там, среди зарослей строевого леса, среди трехсотлетних стволов, окруженная непроходимым колючим кустарником, прилепилась к огромной скале хижина, выстроенная лет тридцать пять-сорок тому назад, и жил там человек, у которого были причины окружать себя некоторой таинственностью.

Хижина наполовину вросла в землю, ее оплели узловатые ветви и побеги; воздух и свет проникали в нее только через скошенное отверстие в крыше.

Иногда из трубы вырывался дым, позволяя прохожим заметить эту хижину, похожую на цыганские лачуги Альбаисина*.

Иначе никто, кроме лесников, охотников, браконьеров да окрестных крестьян, не догадался бы, что эта избушка служит жильем человеку.

Между тем вот уже сорок лет здесь жил старый гвардеец в отставке: в свое время герцог Орлеанский, отец Луи Филиппа, дал ему разрешение жить в лесу, носить мундир и делать каждый день один выстрел по кроликам да зайцам.

На птицу и крупную дичь разрешение не распространялось.

В то время, о котором мы ведем наш рассказ, отставному солдату было шестьдесят девять лет; сперва его звали просто Клуис, а потом, по мере того как он старел, все чаще стали кликать папашей Клуисом.

По его имени стали называть и огромный валун, к которому прилепилась его хижина: его нарекли "клуизова глыба".

Старик был ранен при Фонтенуа, и в результате ранения ему огняли ногу. Вот почему он так рано ушел в отставку и получил от герцога Орлеанского все перечисленные привилегии.

Папаша Клуис никогда не ходил в город, а в Виллер-Котре навещался раз в год: там он покупал себе порох и триста шестьдесят пять пуль, а в високосные годы—триста шестьдесят шесть.

Задно он заглядывал к скорняку Корню, жившему на Суассонской улице, и приносил ему то триста шестьдесят пять, то триста шестьдесят шесть кроличьих и заячьих шкурок, а мастер шапочных дел платил ему семьдесят пять туренских ливров.

И говоря о том, что шкурок было триста шестьдесят пять в обычные годы и триста шестьдесят шесть в високосные, мы

* Предместье испанского города Кордовы.

нисколько не погрешаем против истины, поскольку папаша Клаус имел право на один выстрел в день, вот он и наострился убивать каждым выстрелом кролика либо зайца.

Никогда он не делал ни больше, ни меньше, чем триста шестьдесят пять выстрелов в обычные годы и триста шестьдесят шесть в високосные, а потому папаша Клаус убивал ровным счетом сто восемьдесят три зайца и сто восемьдесят два кролика в обычные годы, в високосные же сто восемьдесят три кролика и сто восемьдесят три зайца.

Мясо зверьков давало ему пропитание; он и ел его, и продавал.

На выручку от шкурок он, как мы уже говорили, покупал себе порох и пули, а также делал сбережения.

Кроме того, раз в году у папаши Клауса бывал приработок. У валуна, к которому была пристроена его хижина, одна сторона представляла собой отлогий склон.

Этот склон был не более восемнадцати футов длиной.

Предмет, помещенный на верхушку валуна, потихоньку скатывался вниз.

С помощью добрых кумушек, покупавших у него крольчатину и зайчатину, папаша Клаус распустил по окрестным деревням слух, что девицы, которые в день святого Людовика трижды скатятся по его валуну с верхушки до самого низу, на будущий год выйдут замуж.

В первый год пришло много девушек, но ни одна не отважилась скатиться.

На другой год рискнули три девушки и две из них в самом деле вышли замуж, а про третью, оставшуюся в девках, папаша Клаус бесстрашно утверждал, что, значит, она скатывалась без полной веры, иначе ей тоже нашелся бы муж.

Еще через год набежали все девушки в округе и все скатывались с валуна.

Папаша Клаус объявил, что для всех этих невест невозможно отыскать женихов, но треть тех, кто скатится, все-таки выйдет замуж, причем это будут те, что глубже других уверуют в силу валуна.

И впрямь, немало девушек повыходило замуж. С того времени никто не оспаривал матримониальных свойств Клауизовой глыбы, и в день святого Людовика всегда бывало два праздника, один в городе, а другой в лесу.

И тогда папаша Клаус испросил для себя привилегию. Поскольку никто не станет целый день скатываться, не подкрепляясь ни едой, ни питьем, папаша Клаус пожелал иметь монополию на то, чтобы в этот день, двадцать пятого августа, продавать еду и питье любителям и любительницам скатываться с валуна: дело в том, что парни сумели убедить девушек, что для пущей надежности валуна следует скатываться с него вдвоем, причем лучше всего одновременно.

Так жил папаша Клаус вот уже тридцать пять лет. Округа чтила его, как чтят арабы своих отшельников. Он стал живой легендой.

Но более всего изумляло охотников и бесило лесничих то

всеми признанное обстоятельство, что папаша Клуис стрелял не больше трехсот шестидесяти пяти раз в год, убивая тремястами шестьдесятю пятью выстрелами сто восемьдесят три зайца и сто восемьдесят два кролика.

Не раз знатные господа из Парижа, приезжавшие на несколько дней погостить к герцогу Орлеанскому, узнавали от него историю папаша Клуиса и навещали отшельника; в зависимости от своей щедрости, они вкладывали в его ручищу экую или луидор и пытались выведать непостижимый секрет этого человека, никогда не стрелявшего понапрасну.

Но единственное объяснение, которое мог им дать папаша Клуис, состояло в том, что в армии, вооруженный этим самым ружьем, он привык каждой пулей поражать врага. И если ему хватало одной пули на человека, то еще легче оказалось поразить зайца или кролика одной дробиной.

А у тех, кто улыбался, слыша такое объяснение, папаша Клуис спрашивал:

—Зачем же вы стреляете, если не уверены, что попадете?

Эти слова вполне могли бы быть приписаны г-ну де Ла Палиссу*, если бы не сверхъестественная меткость стрелка.

—Но почему же,—допытывались у него,—господин герцог Орлеанский, отец нынешнего, отнюдь не скупой человек, разрешил вам делать только один выстрел в день?

—Потому что больше было бы уже чересчур: он хорошо меня знал.

Диковинные облик и занятная теория приносили, таким образом, старому отшельнику еще худо-бедно двенадцать луидоров в год.

А поскольку он зарабатывал столько же на заячьих шкурках и на празднике, который сам же учредил, а тратился только на одну пару гетр, вернее, на одну-единственную гетру раз в пять лет да на мундир раз в десять лет, жилось папаше Клуису совсем недурно.

Напротив, поговаривали, будто у него припрятана кубышка, и тому, кто станет его наследником, привалит удача.

Таков был этот диковинный старик, к которому среди ночи бросился Питу, когда его осенила спасительная мысль, каким образом ускользнуть от смертельной опасности.

Но для того, чтобы отыскать папашу Клуиса, нужна была изрядная ловкость.

Подобно древнему пастуху нептуновых стад** Клуис никогда не давался в руки с первого раза. Он прекрасно умел отличать пустопорожнего зеваку от щедрого посетителя, а поскольку даже к последним он уже успел проникнуться презрением, то вообразите сами, с какой яростью он гнал взашей докучных представителей первой категории.

* Капитан *Ла Палисс*—реальное лицо, был убит в битве при Павии в 1525; олицетворяет собой простодушие и привычку изрекать всем известные истины.

** Имеется в виду Протей, персонаж греческой мифологии, вечно менявший свой облик.

Клуис нежился на перине из вереска, превосходном и благоуханном ложе, которое каждый сентябрь дарил ему лес и которое не требовало себе замены раньше следующего сентября. Время шло уже к одиннадцати вечера, в лесу было свежо и еще не совсем стемнело.

Чтобы попасть в хижину папаши Клуиса, нужно было, хочешь не хочешь, продираешься через заросли дикого каштана или через такие густые кусты ежевики, что пустынный сразу слышал шум, производимый посетителем.

Питу шумел в четыре раза больше, чем обычные посетители.

Папаша Клуис поднял голову и стал всматриваться: он и не думал спать.

В этот день папаша Клуис был утрюм. На него обрушилось страшное несчастье, и теперь к нему не смогли бы подступиться даже самые дружелюбные из его соседей.

Несчастье и впрямь было ужасно. Ружье, которое пять лет служило ему, стреляя пулями, и тридцать пять—стреляя дробью, треснуло, когда он пальнул по кролику.

То был первый кролик, которого он упустил за тридцать пять лет.

Но убежавший подобру-поздорову кролик—это было не самое худшее огорчение, что настигло папашу Клуиса. Взрыв размозжил ему два пальца на руке. Клуис приложил к пальцам жеваную траву, обернул их листьями, но починить ружье он не мог.

Чтобы добыть себе новое ружье, папаше Клуису надо было потревожить свой клад; впрочем, даже если он пожертвует на это дело неслыханную сумму в два луидора, кто знает, будет ли новое ружье бить без промаха, как то, которое так неудачно взорвалось у него в руках?

Как мы видим, Питу угодил к старику в недобрую минуту.

Итак, в тот самый миг, когда Питу коснулся щеколды на двери, папаша Клуис издал рык, при звуке которого начальник арамонской национальной гвардии отступил.

Может быть, вместо папаши Клуиса там засел волк? Может быть, это поросится дикая свинья?

Словом, Питу заколебался, входить или нет: он читал "Красную шапочку".

—Эй, папаша Клуис!—крикнул он.

—Чего?—отозвался мизантроп.

Питу ободрился: он узнал достойного анахорета по голосу.

—Ага, вы на месте,—пробормотал он.

Затем шагнул внутрь и, расшаркиваясь перед хозяином дома, любезно вымолвил:

—Добрый день, папаша Клуис.

—Кого там принесло?—спросил раненый.

—Это я.

—Кто это—я?

—Я, Питу.

—Какой еще Питу?

—Да как же, Анж Питу из Арамона, знаете?

—А мне какое дело до того, что вы Анж Питу из Арамона?

—Ох! Ох! Видать, папаша Клуис не в духе: сдается мне, что я разбудил его некстати,—схитрил Питу.

—Истинно так, некстати.

—Что же мне теперь делать?

—Ступайте, откуда пришли, так оно будет лучше.

—Как! И мы даже не поговорим?

—О чем нам говорить?

—Я нуждаюсь в вашей услуге, папаша Клуис.

—Я за так не обслуживаю.

—А я за услугу плачу.

—Может, оно и правда, только я уже никому и ничем не могу послужить.

—Почему это?

—Я больше не стреляю.

—Как так, не стреляете? Вы же попадаете в цель с одного выстрела! Нет, этого быть не может, папаша Клуис.

—Говорю вам, убирайтесь.

—Милый мой папаша Клуис!

—Вы мне надоели.

—Выслушайте меня и вы не пожалеете.

—Ну, ладно, хватит болтовни... что вам надо?

—Вы ведь старый солдат?

—Дальше!

—Так вот, папаша Клуис, мне бы хотелось...

—Да говори же, бездельник!

—Мне бы хотелось поучиться у вас строевой науке.

—Вы спятили?

—Нет, что вы, я в своем уме. Научите меня строевой науке, папаша Клуис, а о плате мы договоримся.

—Нет, в самом деле эта скотина не в себе!—свирепо воскликнул старый солдат, поднимаясь с сухого вереска.

—Папаша Клуис, так или иначе, научите меня приемам, какие выделывают в армии на двенадцать счетов, и требуйте за это все, что хотите.

Старик привстал на одно колено и, смерив Питу угрюмым взглядом, переспросил:

—Все, что хочу?

—Да.

—Хорошо же! Я хочу ружье.

—Как удачно получается,—отозвался Питу.—У меня есть тридцать четыре ружья.

—Это у тебя-то? Тридцать четыре ружья?

—И тридцать четвертое я собирался взять себе, а теперь оно будет ваше. Прекрасное ружье: такие были у городской стражи, у него на затворе золотой королевский герб.

—А откуда ты добыл это ружье? Надеюсь, не украл?

Питу в ярких красках, со всей откровенностью и ничего не утаивая, рассказал ему свою историю.

—Ладно!—изрек старый гвардеец.—Я понял. Я согласен учить тебя строевой службе, но у меня пальцы болят.

И он в свой черед поведал Питу о своем злословии.

—Что ж!—отвечал Питу.—О ружье не печальтесь, у вас

уже есть новое. А вот пальцы, черт побери... Это вам не ружья, у меня их не тридцать четыре.

—Да ладно, обойдусь, и если ты обещаешь, что завтра ружье будет у меня, тогда пошли.

Стоявшая в зените луна проливала потоки белого пламени на поляну перед домом.

Питу и папаша Клуис вышли на поляну.

Тот, кто увидел бы, как в этом пустынном месте, в серых сумерках, размахивают руками две черные тени, испытал бы непреодолимый суеверный ужас.

Папаша Клуис взял обломок своего ружья и со вздохом показал Питу. Для начала он продемонстрировал, какова должна быть солдатская выправка и как держать оружие.

Удивительное дело: этот высокий старик, вечно сгорбленный, потому что он привык пробираться через заросли, внезапно выпрямился и, воодушевившись воспоминаниями о своем полку и о строгостях строевого учения, гордо вскинул голову, увенчанную белоснежной гривой, и расправил сухие, широкие и крепкие плечи.

—Смотри хорошенько,—говорил он Питу,—смотри хорошенько! Пока смотришь—учишься. Посмотришь, как я делаю, тогда попробуешь сам, а я уж посмотрю, что у тебя выходит.

Питу попробовал.

—Колени вместе, плечи разведи, голову держи веселей. Стой поустойчивей, черт тебя дер, стой поустойчивей; с такими ножищами тебе это легко!

Питу старался изо всех сил исполнять все требования.

—Вот так,—пробурчал старик.—Теперь у тебя вполне благородный вид.

Питу чрезвычайно польстило, что у него благородный вид. Его надежды не простирались так далеко.

Какой-нибудь час занятий, и вот у него уже благородный вид! Что же будет через месяц? Он приобретет величие!

И ему захотелось продолжать науку.

Но для первого раза было уже довольно.

К тому же, папаша Клуис не хотел слишком продвигаться вперед прежде, чем получит ружье.

—Нет уж,—сказал он,—на сегодня хватит. Научишь их этому на первом занятии, и то им четыре дня надо будет упражняться, чтобы усвоить, а ты за это время придешь ко мне еще два раза.

—Четыре!—вскричал Питу.

—Ишь ты,—с холодком заметил папаша Клуис.—Да ты, оказывается, усердный малый и не ленив. Ладно, пусть будет четыре раза, приходи. Но имей в виду, что последняя четверть луны на исходе и завтра будет уже темней, чем сегодня.

—Будем заниматься в пещере,—отвечал Питу.

—Тогда захвати свечу.

—Фунтовую свечу, а если надо, то две.

—Ладно. А мое ружье?

—Завтра получите.

—Ну, смотри у меня. А ну-ка проверим, как ты усвоил, что я тебе говорил?

Питу так хорошо повторил урок, что удостоился похвалы. От радости он готов был посулить папаше Клуису целую пушку.

После повторения он распростился со своим наставником, ибо был уже час ночи, и не столь поспешным, хотя по-прежнему упругим шагом пустился обратно в деревню Арамон, все обитатели которой, солдаты национальной гвардии и простые пастухи, спали крепким сном.

Во сне Питу видел себя командующим многомиллионной армии; все человечество повиновалось его командам "в ногу" и "на караул", выстроившись в одну шеренгу до самой долины Иосафата*.

На другой день он дал—вернее, передал—урок своим солдатам, держась так молодцевато и показывая все движения с такой уверенностью, что любовь, которую он пользовался у своих подчиненных, перешла все границы.

О, непостижимая народная любовь!

Питу стал всеобщим любимцем, им восхищались мужчины, дети и старики.

Даже женщины не насмеялись, когда при них он кричал зычно, как Стентор, своим тридцати солдатам, выстроенным в одну шеренгу:

—Черт побери! Держитесь по-благородному! Смотрите на меня.

И в самом деле, он выглядел благородно.

XXXVIII. Катрин в свой черед пускается в дипломатию

Папаша Клуис получил ружье. Питу был человеком чести: для него обещать означало исполнить.

После еще десятка визитов, которые прошли так же, как первое, Питу превратился в заправского гренадера.

К сожалению, в тактике папаша Клуис был не так силен, как в строевой науке: преподав поворот, полуоборот и все виды перестроений, он исчерпал свои знания до дна.

Тогда Питу обратился к "Французскому практику" и к "Учебнику национального гвардейца"—обе эти книги незадолго до того вышли в свет, и он издержал на них сумму в один экю.

Благодаря щедрости своего командира, арамонский отряд научился недурно передвигаться на местности по всем правилам тактики.

Затем, чувствуя, что тактические задания усложняются, Питу предпринял поездку в Суассон, город, где стоял армейский гарнизон: там он посмотрел, как маневрируют настоящие

* Иосафат—долина между Иерусалимом и Гефсиманским садом, куда, согласно христианской традиции, соберутся все жившие в день Страшного суда.

отряды под командованием настоящих офицеров, и в один день научился больше, чем за два месяца по книгам.

Так прошли два месяца, полные трудов, усталости и рвения.

Питу был честолюбив, влюблен, несчастен в любви и в то же время—слабое утешение!—избалован славой; он научился обуздывать свои инстинкты или, как сказали бы ученые физиологи, победил в себе зверя.

Зверь, засевавший в Питу, был безжалостно принесен в жертву душе. Анж столько времени проводил в движении, столько сил отдавал физическим упражнениям, так напрягал свою мысль, что никто бы не поверил, что сердцу его требуются поддержка и утешение.

Тем не менее это было так.

Сколько раз после строевых занятий, перед которыми Питу, бывало, всю ночь просиживал над книгами, сколько раз Питу после всех трудов пересекал равнины Ларни и Ну, а потом из конца в конец искаживал лес до самой границы земель Бурсона, чтобы подстеречь Катрин, по-прежнему бегавшую на свидания!

Катрин отрывала от домашних хлопот час-другой в день и спешила в маленький павильон посреди примыкавшего к бурсонскому замку заповедного леса, где ее ждал обожаемый Изидор, счастливейший смертный, который становился все краше, все горделивей, между тем как вокруг него все страдало и склонялось к земле.

Какая тоска снедала бедного Питу, какие приходили ему на ум печальные размышления о том, что счастье на земле достается людям не поровну!

За ним увивались девушки из Арамона, Тайфонтена, Вивьера, он тоже мог бы назначать в роце свидания, но вместо того, чтобы важно выступать в роли счастливого любовника, предпочитал плакать, как обиженное дитя, перед затворенной дверью павильона, принадлежавшего Изидору.

Дело в том, что Питу любил Катрин, любил страстно, и оттого, что он смотрел на нее снизу вверх, любовь его становилась еще сильнее.

Он даже не думал больше о том, что она любит другого. Нет, он уже не ревновал к Изидору. Изидор был дворянин. Изидор был красавец, Изидор был достоин любви; но может быть, Катрин, девушке из народа, не подобало бесчестить свою семью или, во всяком случае, не следовало приводить в отчаяние Анжа Питу.

Все эти мысли впивались в него острыми иглами, причиняя неотвязную мучительную боль.

—Подумать только,—изумлялся Питу,—у нее хватило жестокости прогнать меня. А с тех пор как я ушел, она даже не соизволила поинтересоваться, не умер ли я с голоду. Что сказал бы папаша Бийо, узнай он, каково обращаются с его друзьями, каково блюдут его дела? Что он сказал бы, кабы узнал, что хозяйка дома вместо того, чтобы присматривать за работниками, бегаёт любиться с господином де Шарни, с аристокра-

том! Папаша Бийо ничего бы не сказал. Он убил бы Катрин на месте. Хорошо уже и то,—рассуждал сам с собой Питу,—что я запросто могу ей отомстить.

Да, но он ни за что не пошел бы на подобную месть.

Между тем Питу уже знал по опыту, что добрые дела, которые остаются в неизвестности, никогда не идут на пользу тем, кто их совершает.

Но разве нельзя было намекнуть Катрин, с каким великодушием он ее щадит?

Ей-богу, ничего не было легче: нужно было только окликнуть Катрин в воскресенье на танцах и сказать ей как бы между прочим ужасные слова, из которых виновные поняли бы, что в их тайну проникло третье лицо.

Не следовало ли на это решиться хотя бы для того, чтобы заставить гордячку немного помучиться?

Но идти на танцы значило поставить себя на одну доску с этим высокородным красавцем, а кто же согласится, чтобы его сравнивали со столь привлекательным соперником?

Питу, изобретательный, как все, кто замыкается в кругу своих горестей, нашел выход получше, чем беседа на танцах.

Павильон, где Катрин встречалась с виконтом де Шарни, был окружен густыми зарослями, переходившими в лес, который обступал Виллер-Котре.

Владения графа были отделены от владений простых частных лиц неглубоким рвом.

Катрин, которая по делам, связанным с фермой, часто навещала окрестные деревни, ездила туда через лес, так что никто не удивился бы, повстречав ее там; ей нужно было только перебраться через ров, и она оказывалась на землях своего возлюбленного.

Это место потому и выбрали, что Катрин легко было бы оправдаться, если бы ее здесь застали.

Павильон стоял так высоко над зарослями, что сквозь косо прорезанные окна с цветными стеклами просматривалась вся округа, а выход из павильона был так надежно спрятан в зелени, что всадник на лошади мог в три скачка очутиться в лесу, на нейтральной почве.

Но Питу так часто бывал там и днем, и ночью, он так хорошо изучил местность, что знал, откуда появлялась Катрин, как браконьер знает, откуда выскочит лань, которую он поджидает в засаде.

Изидор никогда не провожал Катрин до леса. Он задерживался в павильоне на некоторое время после ее ухода и следил, чтобы с ней не приключилось никакой беды, а потом удалялся в обратном направлении, и дело с концом.

В тот день, который Питу наметил для атаки, он сел в засаду на пути у Катрин. Он вскарабкался на огромный бук, с высоты своих трехсот лет взиравший и на павильон, и на заросли.

Не прошло и часу, как он увидел Катрин. Она привязала лошадь в лощине и, как испуганная лань, одним прыжком перескочила ров; затем она углубилась в заросли, которые вели к павильону.

Она прошла под тем самым буком, на ветке которого сидел Питу.

Питу оставалось только спуститься со своей ветки и расположиться у подножия дерева. Прислонившись к стволу, он извлек из кармана книгу "Образцовый национальный гвардеец" и притворился, будто читает.

Через час до слуха Питу донесся стук затворяемой двери. Послышалось шуршание платья в листве. Среди ветвей показалось лицо Катрин: она испуганно озиралась.

Она была в десяти шагах от Питу.

Питу замер, держа на коленях книгу.

Но он более не притворялся, будто читает, а смотрел на Катрин с явным желанием, чтобы она это заметила.

Узнав Питу, Катрин испустила тихий сдавленный крик, побледнела так, словно сама смерть предстала ей и протянула к ней руку, и, после секундного колебания, заметного лишь по дрожи в руках и по взметнувшимся плечам, она стремглав бросилась в лес, вскочила на лошадь и ускакала прочь.

Ловушка Питу была хитро расставлена, и Катрин угодила в нее.

Питу вернулся в Арамон, обуреваемый то радостью, то страхом.

Едва он уразумел как следует, что, собственно, он сделал, как ему стало ясно, что его незамысловатый поступок чреват многими опасными последствиями, о коих он и не думал.

В следующее воскресенье в Арамоне должны были состояться военные торжества.

Солдаты деревенской национальной гвардии, уже в достаточной степени обученные или почитающие себя таковыми, попросили своего командира, чтобы он собрал их и устроил им публичное учение.

Несколько соседних деревень, одержимых духом соперничества, потому что они тоже изучали военную премудрость, пожелали прийти в Арамон и вступить с арамонцами в соревнование под руководством своих начальников.

Депутации от этих деревень обо всем условились со штабом Питу; возглавлял их некий земледелец, в прошлом сержант.

По случаю такого великолепного зрелища набежала любопытная, принарядившаяся публика, и арамонское Марсово поле с самого утра было заполнено толпой девиц, к которым позже присоединились отцы и матери ратников—эти стекались не столь поспешно, но с неменьшим любопытством.

Началось с завтрака на траве: то было незатейливое пиршество, состоявшее из фруктов и лепешек, сдобренных родниковой водой.

Затем забили четыре барабана по четырем сторонам деревни, где начинались дороги на Ларни, Вез, Тайфонген и Вивьер. Арамон оказался центром, четыре же эти деревни изображали собой четыре стороны света.

Под бойкую дробь барабана тридцать три арамонских национальных гвардейца строем вышли из деревни.

Среди зрителей виднелась кучка местной дворянской ари-

стократии и буржуа из Виллер-Котре; эта публика пришла посмеяться.

Кроме того, было множество окрестных фермеров—эти пришли поглазеть.

Вскоре на двух лошадках, бок о бок, прибыли Катрин и мамаша Бийо.

В этот миг арамонская национальная гвардия под флейту и барабан как раз выходила из деревни, предводительствуемая своим командиром Питу, который восседал на мощном белом коне, которого уступил ему на время его лейтенант Манике ради возможно более полного сходства с Парижем: разве мог Арамон обойтись без своего маркиза де Лафайета!

Лучась гордостью и самодовольством, Питу со шпагой в руке сидел верхом на могучем коне с золотистой гривой, и, не покривив душой, скажем, что на него любо-дорого было взглянуть: хоть ему и недоставало изящества и утонченности, зато он воплощал собой силу и отвагу.

Триумфальное выступление Питу и его людей, тех, кто привел в движение всю провинцию, было встречено радостными приветственными криками.

Арамонские национальные гвардейцы были все в одинаковых шляпах с национальными кокардами, ружья у всех сверкали, и шагали они колонной по два в весьма стройном порядке.

Итак, едва ступив на плац, они сразу снискали одобрение собравшихся.

Краем глаза Питу заметил Катрин.

Он покраснел, она побледнела.

С этого мига смотр стал для него важнее, чем для всех остальных.

Для начала он отдал своим людям приказ исполнить простой ружейный прием, и каждое движение было исполнено по его команде с такой точностью, что воздух дрогнул от рукоплеканий.

Не то вышло с другими деревнями: они проделали все вяло и нестройно. Одни были кое-как вооружены, кое-как обучены и заранее пали духом, видя, сколь невыгодно для них сравнение; другие пыжились от гордости и с излишним пылом исполняли то, что так хорошо усвоили накануне.

И все они выступили с весьма средними успехами.

Затем от строевых упражнений перешли к тактическим. Здесь Питу предстояло соперничать с бывшим сержантом.

В силу своего прежнего опыта сержант взял на себя общее командование; его задача сводилась к тому, чтобы заставить сто семьдесят солдат объединенного отряда маршировать и маневрировать.

Он с этим не справился.

Питу со шпагою под мышкой и в неизменной каске на голове наблюдал за происходящим, посмеиваясь с видом собственного превосходства.

Когда бывший сержант увидел, что головы колонн заплутали в лесу, в то время как хвосты уже возвращаются назад в Арамон, что все его каре рассеялись в непредусмотренных на-

правлениях, что подразделения неуклюже топчутся на месте, а направляющие бредут куда попало, он растерялся, и два десятка его солдат недовольно возроптали на своего командира.

И тут со стороны Арамона поднялся крик.

—Питу! Питу! Пусть командует Питу!

—Да, да, пусть командует Питу!—подхватили жители других деревень, разъяренные поражением, которое они милосердно приписали тем, кто их обучал.

Питу вновь взобрался на белого коня и, став во главе своих людей, которых поместил во главе всего войска, отдал команду такой силы и таким великолепным густым басом, что содрогнулись окрестные дубы.

В ту же секунду смешавшиеся ряды словно чудом восстановились: все солдаты по приказу принялись исполнять движения с энтузиазмом, не нарушавшим порядка, и Питу с таким успехом применил на практике уроки папаши Клуиса и теорию, почерпнутую в "Образцовом национальном гвардейце", что снискал себе неслыханное всеобщее одобрение.

Войско в единодушном порыве единогласным криком нарекло его своим полководцем прямо на поле боя.

Питу спешил, обливаясь потом и упиваясь гордостью, и едва он коснулся земли, народ устремился к нему с поздравлениями.

Но он все пытался поймать в толпе взгляд Катрин.

Вдруг голос девушки раздался прямо у него над ухом.

Питу не пришлось идти к Катрин: Катрин сама пришла к нему!

Это был истинный триумф.

—Ну, что,—сказала она с веселым видом, плохо вязавшимся с ее побледневшим лицом,—что же, господин Питу, вы ничего нам не скажете? Куда там, вы теперь загордились, вы у нас теперь большой генерал!..

—Ох, да что вы!—вскричал Питу.—Добрый день, барышня.

И добавил, обращаясь к мамаше Бийо:

—Имею честь приветствовать вас, сударыня.

Потом он опять обернулся к девушке и сказал:

—Вы не правы, барышня, какой из меня большой генерал! Я простой парень, вдохновленный желанием послужить отчизне.

Эти возвышенные слова, подобно кругам по воде, разошлись по толпе, вызвав бурю рукоплесканий.

—Анж,—потихоньку промолвила Катрин,—мне нужно с вами поговорить.

"Ага!—мелькнуло в голове у Питу.—Я своего добился!"

Вслух он ответил:

—Всецело вам повинуюсь, мадемуазель Катрин.

—Проводите потом нас до фермы.

—Хорошо.

XXXIX. Мед и полынь

Катрин позаботилась о том, чтобы остаться вдвоем с Питу, несмотря на присутствие матери.

Славную г-жу Бию окружили несколько добрых приятельниц, которые завели с ней беседу, поспешая за ее лошадью, а Катрин тем временем уступила одной из них свою лошадь и пешком вернулась через рощу к Питу, ускользнувшему со своего торжества.

В деревне такие уловки никого не удивляют: тайны теряют там всю свою важность, благо, все друг к другу снисходительны.

Все сочли в порядке вещей, что Питу понадобилось потолковать с мамашей и дочкой Бией; возможно, никто этого и не заметил.

В тот день все дорожили тишиной и сумраком. В Лесном раю вся слава и все счастье таятся под сенью столетних дубов.

—Вот и я, мадемуазель Катрин,—сказал Питу, когда они остались одни.

—Почему вас так давно не видно на ферме?—спросила Катрин.—Нехорошо, господин Питу.

—Ах, барышня,—возразил удивленный Питу,—вы же сами знаете...

—Ничего я не знаю! Нехорошо.

Питу закусил губу: ему не по душе было видеть, что Катрин лжет.

Это от нее не укрылось. К тому же обычно Питу глядел прямо и преданно, а теперь он явно лукавил.

—Погодите, господин Питу,—продолжала она.—Я хочу вам сказать еще кое-что.

—Вот оно как!—отозвался он.

—В тот день, когда вы меня видели там, в зарослях...

—Где это я вас видел?

—Ах, сами знаете!

—Я-то знаю.

Она покраснелась.

—Что вы там делали?—спросила она.

—Так вы меня узнали?—спросил он с нежным и печальным упреком.

—Сперва не узнала, а потом узнала.

—Что значит потом?

—Знаете, как это бывает: идешь себе в рассеянности и ни о чем не думаешь, а потом спохватываешься.

—Верно, так бывает.

Она опять приумолкла, он тоже; оба опасались договаривать до конца.

—Значит,—подхватила Катрин,—это были вы?

—Да, барышня.

—Что же вы там делали? Прятались?

—Прятался? Нет, с какой стати мне было прятаться?

—Ну, из любопытства...

—Я, барышня, не любопытен.

Она нетерпеливо топнула оземь ножкой.

—Как бы то ни было, вы были там, а обычно вы туда не ходите.

—Вы же видели, барышня, я читал.

—Ах, не знаю.

—Если вы меня видели, должны были это знать.

—Верно, я вас видела, но мельком. А вы... читали?

—"Образцового национального гвардейца".

—Что это такое?

—Книга. Я по ней изучаю тактику, чтобы потом преподавать ее своим людям; а чтобы усваивать науку, барышня, сами знаете, надобно найти укромное место.

—В самом деле, так оно и есть: там, на лесной опушке, вам ничто не мешает.

—Ничто.

Снова наступило молчание. Мамаша Бийо с кумушками по-прежнему ехали вперед.

—И подолгу вы там изучаете науку?—вновь подала голос Катрин.

—Бывает, что и целыми днями, барышня.

—Значит,—горячо воскликнула она,—вы там сидели долго?

—Очень долго

—Как странно, что я вас не заметила, когда пришла,—сказала она.

Она агала, причем агала так дерзко, что у Питу возникло робкое желание ее уличить, но ему было за нее стыдно, он был влюблен, а значит, застенчив. Все эти изъяны сделали его неосмотрительным.

—Наверное, я задремал,—предположил он.—Когда слишком долго работаешь головой, это случается.

—Ну вот, а пока вы дремали, я шла лесом, чтобы было прохладнее. Я шла... шла к старой стене, которая окружает старый павильон.

—Вот как, павильон?—удивился Питу.—Какой павильон?

Катрин снова покраснела. На сей раз Питу явно притворялся, и поверить ему было невозможно.

—Павильон господина де Шарни,—сказала она с безмятежным видом, также притворным.—Там растет лучшая живучка в наших краях.

—Вот так так!

—Я обожглась во время стирки, вот мне и понадобились листья живучки.

Анж покосился на руки Катрин, словно изо всех сил стараясь поверить.

—Нет, не руки, а ноги,—поспешно сказала она.

—И что, наши живучку?

—Самолучшую: вот видите, я не хромаю.

"Когда я видел, как она быстрее козочки бежит по вереску, она тоже не хромала",—подумал Питу.

Катрин вообразила, что добилась своего; она надеялась, что Питу ничего не видел и ничего не знает.

Уступив порыву радости, порыву, который не красил эту добрую душу, она сказала:

—А господин Питу, значит, на нас обиделся: видать, господин Питу гордится своей новой должностью; теперь он офицер, вот он и презирает бедных крестьян.

Питу был уязвлен. Когда приносишь такую жертву, пускай даже сам стараешься, чтобы ее не заметили, все-таки в глубине души ждешь хоть какой-нибудь награды, а между тем Катрин только и делала, что морочила Питу, издевалась над ним, вне всякого сомнения сравнивая его с Изидором де Шарни, и вот все добрые намерения Питу развеялись. Самолюбие—это уснувшая гадюка: ее можно с ходу раздавить, но наступать на нее неразумно.

—Сдается мне, барышня,—возразил Питу,—что вы сами на меня обиделись.

—С чего вы взяли?

—Сперва прогнали меня с фермы, не дали никакой работы. Нет, господину Бийо я об этом ни слова не сказал: у меня, слава Богу, есть руки и сердце, я сам могу о себе позаботиться.

—Уверяю вас, господин Питу...

—Хватит барышня! Вы у себя дома хозяйка. Значит, вы меня прогнали; а если так уж вышло, что вы шли к павильону господина де Шарни, а я оказался там, и вы меня заметили, то надо было со мной заговорить, а не удирать, как мальчишка из чужого сада.

Гадюка выпустила жало: спокойствие Катрин растаяло, как туман.

—Удирать?—повторила она.—Разве я удирала?

—Вы бежали, как на пожар, барышня, не успел я захлопнуть книгу, как вы уже вскочили на беднягу Каде, который был привязан в зарослях; он объел всю кору с ясеня—пропало дерево!

—Пропало дерево? Да что вы такое говорите, господин Питу?—пролетела Катрин, чувствуя, что теряет всю свою самоуверенность.

—Да ведь дело понятное,—продолжал Питу.—Покуда вы собирали живучку, Каде пасся, а за час он много всего успел сжевать.

—Какой там час!—вскричала Катрин.

—Барышня, чтобы так ободрать дерево, лошади надобно не меньше часа поработать зубами. Небось, вы столько живучки набрали, что хватило бы на всех, кто был ранен на площади Бастилии: эта травка и впрямь хороша для припарок.

Катрин, бледная, сбитая с толку, не знала, что и сказать.

Питу тоже приумолк: он и так уж достаточно наговорил.

Остановившись на развилке дорог, мамаша Бийо распросалась с приятельницами.

Питу терпел адские муки, потому что он терзался от раны, которую нанес: от боли он переминался с ноги на ногу, словно птица, готовая взлететь.

—Ну, что скажет офицер?—крикнула фермерша.

—Он желает вам доброго вечера, госпожа Бийо.

—Нет, погодите еще,—произнесла Катрин упавшим голосом.

—И вам того же,—сказала фермерша.—Ты идешь, Катрин?

—Ну, скажите же мне правду!—прошептала девушка.

—Какую правду, барышня?

—Значит, вы мне не друг?

—Увы!—промолвил несчастный, который в силу своей неопытности дебютировал в любви в несносном ампула наперсника, в роли, которую лишь хитрецы умеют обернуть к своей выгоде, поступаясь самолюбием.

Питу чувствовал, что тайна вот-вот сорвется у него с языка; он чувствовал, что по первому слову Катрин готов сдаться.

Но в то же время он осознавал, что стоит ему заговорить, и он погиб; он сознавал, что умрет с горя, если Катрин сама скажет ему о том, о чем он только подозревал.

Пронзенный этим опасением, он онемел, как римлянин.

Он отвесил девушке поклон, исполненный такого почтения, что у нее сжалось сердце, с приветливой улыбкой поклонился г-же Бийо и исчез в густых зарослях.

Мамаша Бийо сказала дочке:

—Вот хороший парень: и ученый, и сердце доброе.

Оставшись один, Питу принялся рассуждать сам с собой.

—Неужели это и есть любовь? Иногда от нее так сладко делается, а иногда ужас как горько.

Бедняга был добр и простодушен; ему и в голову не приходило, что в любви мед перемешан с полынью, и весь мед достался на долю г-на Изидора.

С этой минуты, причинившей ей невыносимые страдания, Катрин прониклась к Питу боязливым почтением, какого у нее еще недавно и в помине не было по отношению к этому потешному и безобидному чудаку.

Когда тебя не любят, не так уж неприятно знать, что тебя хотя бы побаиваются, и Питу, весьма трепетно относясь к собственному достоинству, чувствовал себя не на шутку польщенным оттого, что Катрин испытывает перед ним страх.

Но так как он не был столь искушенным психологом, чтобы догадываться, что думает женщина на расстоянии полутора лье от него, то ограничился тем, что власть напалаклся, а потом завел одну за другой унылые деревенские песни на самые жалобные мелодии, какие знал.

Воинство его было бы изрядно разочаровано, если бы командир явился перед ним, изливая душу в столь безутешных сетах.

От души попев, поплавав, пошагав, Питу вернулся к себе в комнату, перед которой обожествлявшие его жители Арамона выставили вооруженного часового, дабы оказать ему почет.

Часовой уже был настолько пьян, что разоружился: он спал, сидя на каменной скамье и поставив ружье между колен.

Удивленный Питу разбудил его.

Тут он узнал, что тридцать его молодых заказали пирушку у папаши Телье, Вателя* здешних мест; что двенадцать самых развязных молодок увенчали победителей лаврами, а для мест-

* Метрдотель принца Конде; когда тот давал обед Людовику XIV в своем дворце в Шантилли, Ватель, видя, что опаздывает заказанная к обеду рыба, закололся шпагой, поскольку счел себя обесчещенным.

ного Тюренна, победившего Конде* из соседнего кантона, оставлено почетное место.

Сердце Питу так истомилось, что желудок тоже начинал терпеть муки. "Мы удивляемся,—говорит Шатобриан,—сколько слез вмещает в себя королевское око, но никому не под силу измерить ту пустоту, что образуется от слез в желудке взрослого человека".

Часовой увлек Питу в пиршественную залу, где его встретили громовыми приветственными кликами.

Он молча поклонился, молча сел и с присущим ему хладнокровием набросился на ломти мяса и салат.

Он ел и ел, пока на сердце у него не полегчало, а желудок не наполнился.

XI. Неожиданная развязка

Когда за горем следует пиршество, горе или становится еще острее, или сменяется полным утешением.

Через два часа Питу спохватился, что боль перестала расти.

Он встал—меж тем как его сотрапезники уже не в силах были подняться на ноги.

Он обратился к ним с речью о спартанской трезвости, не смущаясь тем, что все они были мертвецки пьяны.

Ему подумалось, что покуда все храпят прямо за столом, не дурно было бы пойти прогуляться.

Что до юных жительниц Арамона, то мы должны сообщить, что, к их счастью, они ускользнули до десерта, пока головы у них еще не успели закружиться, ноги—подкоситься, а сердца—воспламениться.

Питу, храбрейший из храбрых**, невольно призадумался.

Сколько любви, красоты, пышности он перевидел, но в душе и в памяти у него осталось лишь несколько взглядов и последние слова Катрин.

Память, подернутая дымкой, подсказывала ему, что рука Катрин несколько раз коснулась его руки, плечо Катрин по-свойски задело его плечо, а во время затянувшегося спора она даже позволила себе кое-какие вольности, приоткрывшие ему все ее достоинства и чары.

И тут, пьянея от всего, чем ранее столь хладнокровно пренебрег, он принялся шарить вокруг, словно человек, только что пробудившийся ото сна.

Он вопрошал темноту, зачем он с такой суровостью обрушился на девушку, проникнутую любовью, нежностью, очаро-

* В апреле-июле 1652 г. во время восстания Фронды Тюренн, командовавший королевскими войсками, разгромил армию фрондеров под командованием принца Конде.

** Дюма иронизирует: храбрейшим из храбрых Наполеон прозвал маршала Мишеля Нея (1769—1819) после битвы под Бородино

ванием, на девушку, которой, в сущности, так легко было в самом начале жизни прельститься бесплотной мечтой. Увы, с кем не бывало!

Кроме того, Питу гадал, почему ему, неотесанному, неказистому бедняку, поначалу выпало счастье внушить чувство самой красивой девушке во всей округе, хотя за ней увивался, не считая сие зазорным для себя, первый щеголь здешних мест, красивый и знатный юноша.

Питу тешил себя мыслью, что есть, видно, и у него свои достоинства: он сравнивал себя со скромной фиалкой, источающей незримый аромат.

В том, что аромат и в самом деле незрим, нет ни малейших сомнений, однако истина все же в вине, в том числе и в ароматском.

Поборов в себе таким образом дурное чувство с помощью философии, Питу признал, что вел себя с девушкой неподобающим и даже весьма предосудительным образом.

Он рассудил, что такое обращение могло поселить в ней ненависть, что вел он себя крайне нерасчетливо: ослепленная г-ном де Шарни, Катрин может воспользоваться первым же предлогом и разочароваться в блестящих и неоспоримых достоинствах Питу, если Питу проявит скверный нрав.

Итак, следовало доказать Катрин, что нрав у него добрый.

Но как?

Вертопрах на его месте сказал бы: "Катрин обманывает меня и водит за нос, но дай-ка я сам ее обману и посмеюсь над ней".

Вертопрах сказал бы: "Оболью ее презрением, сделаю так, чтобы ей стало стыдно своих походов и прочих пакостей.

Нагоню на нее страх, ослаблю на весь свет, чтобы закалялась бегать на свидания".

Но Питу, великодушный, добрый Питу, ошеломленный счастьем и винными парами, сказал себе, что заставит Катрин устыдиться, как она могла не любить такого парня, как он, а когда-нибудь потом признается ей, что раньше думал о ней дурно.

Надо добавить еще вот что: чистосердечный Питу и в мыслях не допускал, что прекрасная, чистая, гордая Катрин оказалась для г-на Изидора не просто смазливой кокеткой, которая заглядывается на кружевное жабо, да на кожаные кюлоты, да на сапоги со шпорами.

Впрочем, стоило ли хмельному Питу так страдать, если бы Катрин и впрямь прельстилась шпорами и жабо?

Рано или поздно г-н Изидор уехал бы в город, женился бы на какой-нибудь графине и больше не взглянул бы на Катрин—тем бы дело и кончилось.

Вот какие достойные старца мысли внушило нашему отважному начальнику арамонской национальной гвардии молодящее старцев вино.

Итак, чтобы поубедительнее доказать Катрин свой добрый нрав, он решил взять назад все обидные слова, которые наговорил ей в течение вечера.

Но сперва нужно было вернуть назад самое Катрин.

Для пьяного, если у него нет часов, время не существует.

Часов у Питу не было, и пройди он десять шагов за порог, его бы развезло, как Вакха или его возлюбленного сына Феспида*.

Он уже не помнил, что расстался с Катрин более трех часов назад и что путь до Писле занимает у Катрин самое большее час.

Он ринулся напрямиком через лес, храбро продираясь сквозь чащу и не желая петлять вместе с торной дорогой.

Оставим его блуждать под деревьями, в кустах, в колючих зарослях, сокрушая то ногой, то палкой принадлежащий герцогу Орлеанскому лес, который в ответ немилосердно хлестал его и царапал.

Вернемся к Катрин, которая вслед за матерью ехала домой, погруженная в задумчивость и отчаяние.

Неподалеку от фермы есть болотце; в этом месте дорога сужается и двум лошадям рядом не проехать—только гуськом.

Мамаша Бийо поехала вперед.

Катрин последовала за ней, как вдруг ей послышался тихий призывный свист.

Она обернулась и разглядела в темноте галун на фуражке, принадлежащей лакею Изидора.

Она помедлила, чтобы мать отъехала подальше, и та спокойно продолжала путь, зная, что ферма в какой-нибудь сотне шагов.

Лакей приблизился к Катрин.

—Барышня,—сказал он,—господину Изидору надобно повидать вас нынче же вечером; он просит, чтобы в одиннадцать часов вы встретились с ним, где сами скажете.

—О Боже!—промолвила Катрин.—С ним приключилась беда?

—Не знаю, барышня, нынче вечером он получил из Парижа письмо, запечатанное черным сургучом; я здесь вас уже час поджидаю.

Часы на церкви Виллер-Котре пробили десять; ударыплыли на бронзовых крыльях по воздуху один за другим.

Катрин огляделась.

—Что ж! Здесь темно, безлюдно,—сказала она.—Я буду ждать вашего хозяина на этом месте.

Лакей вскочил на лошадь и галопом умчался.

Дрожа с головы до ног, Катрин вернулась на ферму следом за матерью.

О чем еще хочет поведать ей Изидор в столь поздний час, как не о какой-нибудь беде?

Любовные свидания обыкновенно бывают обставлены не столь зловеще.

Но дело было не в этом. Изидор просит о свидании ночью,

* *Fespig* (VI в. до н. э.)—по античной традиции афинский поэт, создатель жанра трагедии, выросшей из гимнов, исполнявшихся на празднествах в честь Вакха.

и ей все равно—когда и где: она согласилась бы ждать его хоть в полночь на кладбище в Виллер-Котре.

Поэтому она даже не раздумывала, а поцеловала мать и ушла к себе в спальню.

Мать, питая к девушке полное доверие, разделась и легла.

А если бы бедная женщина что-нибудь и заподозрила? Все равно по приказу главы семейства хозяйкой теперь стала Катрин!

У себя в спальне Катрин не стала ни раздеваться, ни ложиться.

Она ждала.

Она слышала, как пробило половину одиннадцатого, потом три четверти одиннадцатого.

В три четверти одиннадцатого она задула лампу и спустилась в столовую.

Окна столовой выходили на дорогу; она открыла одно окно и ловко спрыгнула на землю.

Чтобы вернуться в дом тем же путем, она не заперла окно, а только прикрыла ставень.

Потом она поспешила в темноте к указанному месту и стала ждать; сердце у нее бешено колотилось, ноги дрожали, одну руку она прижимала к пылающему лицу, другую—к груди, которая готова была разорваться.

Ожидать ей пришлось недолго. Она услышала стук лошадиных копыт.

Девушка шагнула вперед.

Перед ней стоял Изидор.

Лакей остался поодаль.

Не спускаясь с коня, Изидор протянул девушке руку, подхватил ее, посадил в стремя и поцеловал.

—Катрин,—сказал он,—вчера в Версале был убит мой брат Жорж. Катрин, брат Оливье зовет меня, я должен уехать, Катрин.

Катрин с горестным криком сжала Изидора в объятиях.

—Ах, если они убили вашего брата Жоржа,—воскликнула она,—они и вас убьют!

—Катрин, ничего не поделаешь, старший брат ждет меня; Катрин, вы же знаете, как я вас люблю.

—Ах, останьтесь, останьтесь,—причитала Катрин, изо всех слов Изидора уловив только, что он уезжает.

—А честь, Катрин? А брат Жорж? А мщение?

—Ох, бедная я, несчастная!—вскричала Катрин и, задрожав, без чувств поникла на руках у всадника.

По щеке Изидора скатилась слеза и упала на грудь девушки.

—О, вы плачете,—прошептала Катрин,—благодарю вас: вы меня любите.

—Да, люблю, Катрин, но брат, старший брат написал мне "Приезжай!" Я должен повиноваться.

—Ступайте же,—откликнулась девушка,—я вас больше не держу.

—Последний поцелуй, Катрин!

—Прощайте!

И девушка, смирившись и поняв, что Изидор все равно исполнит приказ брата, выскользнула из его объятий на землю.

Изидор отвернулся, вздохнул, на мгновение заколебался, но приказ Оливье призывал его, и послушаться он не мог; в последний раз сказав девушке "прости", он пустил лошадь в галоп.

Следом за ним по полю скакал лакей.

Катрин простерлась на том самом месте, куда опустил ее Изидор; ее тело загородило узкую тропу.

В тот же миг на пригорке показался человек, шагавший из Виллер-Котре: он торопливо шел к ферме и на ходу наткнулся на тело, лежавшее на булыжнике.

Он потерял равновесие, запнулся, полетел на землю и опомнился не раньше, чем нащупал это безжизненное тело.

—Катрин!—возопил он.—Катрин умерла!

И он испустил нечеловеческий рев, на который отозвались рычанием собаки на ферме.

—Кто это сделал? Кто убил Катрин?—кричал Питу.

И он сел, дрожащий, бледный, похолодевший от ужаса, держа на коленях бесчувственное тело девушки.

Содержание

В. Е. Балахонов. Предисловие.....	3
Часть первая	
Главы I—XXI—перевод Л. Цывьяна, главы XXII—XXX— перевод И. Русецкого.	
I. Глава, в которой читатель знакомится с героем этой истории и с местом, где он явился на свет.....	13
II. Глава, в которой доказывается, что тетка—это совсем не то, что мать.....	21
III. Анж Питу у тетки.....	30
IV. Какое влияние могут оказать на жизнь человека три варваризма и семь солецизмов.....	42
V. Фермер-философ.....	47
VI. Буколика.....	54
VII. Глава, в которой наглядно демонстрируется, что длинные ноги хоть и неуклюжи в танце, зато очень удобны, когда удираешь.....	62
VIII. Для чего человек в черном явился вместе со стражниками на ферму.....	73
IX. Дорога в Париж.....	81
X. Что произошло в конце пути, которым следовал Питу, то есть в Париже.....	88
XI. Ночь с 12 на 13 июля.....	95
XII. Что происходило в ночь с 12 на 13 июля.....	102
XIII. Король так добр, королева так добра.....	110
XIV. Три власти во Франции.....	122
XV. Г-н Делоне, комендант Бастилии.....	129
XVI. Бастилия и ее комендант.....	135
XVII. Бастилия.....	143
XVIII. Доктор Жильбер.....	155
XIX. Треугольник.....	161
XX. Себастьян Жильбер.....	168
XXI. Г-жа де Сталь.....	176
XXII. Король Людовик XVI.....	191
XXIII. Графиня де Шарни.....	200
XXIV. Королевская философия.....	207
XXV. У королевы.....	213
XXVI. Как ужинал король 14 июля 1789 года.....	219
XXVII. Оливье де Шарни.....	224
XXVIII. Оливье де Шарни (окончание).....	229
XXIX. Втроем.....	235
XXX. Король и королева.....	240
Часть вторая	
Главы I—XXI—перев. И. Русецкого, главы XXII—XL— перев. Е. Баевской.	
I. О чем размышляла королева в ночь с четырнадцатого на пятнадцатое июля 1789 года.....	253

II. Королевский врач	258
III. Совет	271
IV. Решение	276
V. Нагрудник	283
VI. Отъезда	289
VII. В дороге	295
VIII. Что происходило в Версале, пока король слушал речь в муниципалитете.....	302
IX. Возвращение.....	308
X. Фулон.....	310
XI. Тесть.....	317
XII. Зять	322
XIII. Бийо начинает замечать, что путь революции устан отнюдь не одними розами.....	327
XIV. Питты	334
XV. Медея	341
XVI. Что замышляла королева	345
XVII. Фландрский полк.....	349
XVIII. Пир королевских гвардейцев	354
XIX. В дело вмешиваются женщины.....	358
XX. Генерал Майар.....	363
XXI. Версаль.....	368
XXII. День пятого октября.....	371
XXIII. Вечер пятого октября	375
XXIV. Ночь с пятого на шестое октября.....	379
XXV. Утро	384
XXVI. Жорж де Шарни	389
XXVII. Отъезда, путешествие и прибытие Питу и Себастьяна Жильбера	394
XXVIII. Как Питу, проклятый и изгнанный теткой за один варваризм и три солецизма, был снова проклят и изгнан ею же за домашнюю птицу с рисом	399
XXIX. Питу-революционер	406
XXX. Отречение г-жи Бийо	413
XXXI. Почему Питу решил покинуть ферму и вернуться в Арамон, на свою единственную и настоящую родину.....	418
XXXII. Питу-оратор.....	424
XXXIII. Питу-заговорщик.....	432
XXXIV. Глава, в коей выходят на сцену монархический принцип, воплощенный в аббате Фортье, и принцип револю- ционный, представляемый Анжем Питу	439
XXXV. Питу-дипломат.....	453
XXXVI. Питу торжествует	459
XXXVII. Папаша Клаус, или История о том, как Питу изучил тактику и приобрел благородный вид.....	466
XXXVIII. Катрин в свой черед пускается в дипломатию	472
XXXIX. Мед и полынь	477
XL. Неожиданная развязка.....	482





АЛЕК-
САНДР
ДЮМА

